
Владимир
ОРЛОВ
АПТЕКАРЬ

Annotation

За плечами у Владимира Орлова не одно десятилетие творчества. Следуя традициям Гофмана, Гоголя и Булгакова, он имеет свой собственный неповторимый голос и статус классика современной литературы.

Хотя все события и персонажи в романах В. Орлова выдуманы, это не исключает того, что история, рассказанная в «Аптекаре», могла произойти на самом деле в многовариантности нашего бытия. Это роман о любви, об отношении человека к природе, полной загадок и тайн, и собственному бытию в ней.

Владимир Орлов.
Аптекарь

1

Их развели.

– Платить-то будешь? – спросила Мадам.

– У матросов нет вопросов, – ответил Михаил Никифорович.

Это было лет пять назад, до нашего знакомства с Михаилом Никифоровичем. Заявление написал он. Теперь он темнит, уверяя, что текст заявления не помнит. Мол, что-то там такое было, что вот, мол, от меня ждут аристократических детей, а я, мол, рабоче-крестьянского происхождения, и потому, чтобы дальнейших огорчений не было, прошу развести. Мол, там посмеялись, но недолго, и развели.

В пивном автомате на улице Королева Михаила Никифоровича называли и Михаилом Никифоровичем, и Мишей, и Мишкой, и Аптекарем, и Лысым, и Дипломатом, все вспоминать скучно. Знакомых у него множество, у каждого из них свои обстоятельства жизни и свои основания называть его так или иначе. Да и знакомства возникали тут порой мимолетные, приметы же приходили на память самые случайные. Кто-то запомнил Михаила Никифоровича именно лысым (а Михаил Никифорович раз в год брился наголо), кто-то запомнил его рассказ о том, как он, окончив в своей курской деревне десятилетку, приехал поступать в МГИМО, все сдал, возможно, был бы теперь дипломатом, но на последнем экзамене, немецком, срезался…

Впрочем, представить его дипломатом трудно. То есть, конечно, жизнь то и дело, как и каждого из нас, заставляла Михаила Никифоровича проявлять себя и дипломатом, или, скорее, умиротворителем, но эта его бытовая дипломатия вряд ли бы принесла удачу в международных отношениях. И Михаил Никифорович нисколько не жалеет, что не был принят в МГИМО.

Михаилу Никифоровичу Стрельцову под сорок. Рост у него сто семьдесят пять сантиметров, весит он семьдесят девять килограммов. В юности, когда он попал в матросы и узнал прелести флотской кухни, он быстро набрал девяносто два килограмма, клеши на нем были как колокола. Теперь он не толст, живота не имеет, носит подтяжки и производит впечатление крепкого, здорового человека.

Я видел многих родственников Михаила Никифоровича, двоюродных братьев и племянников его. Все они блондины, носы у них острые, тонкие. Михаил же Никифорович черен, таких в роду нет, бриться ему полагалось

бы дважды в день, щетина прет, да и тело его, что называется, в шерсти. Нос у Михаила Никифоровича с горбинкой и чуть расплющенный внизу. Выговор у него южнорусский, курский. Но это когда он забывает, что давно москвич. Тогда и меняет «в» на «у». «Пошел у магазин» и так далее. Знает он и украинску мову, жил в Мариуполе, Запорожье, Харькове. Где только не жил…

Все эти сведения о внешности Михаила Никифоровича и некоторых его особенностях я сообщаю на тот случай, если вдруг кто-то из предполагаемых моих читателей забредет в Останкино, увидит Михаила Никифоровича и сообразит: «Вот он, тот самый…» Но вполне вероятно, что он примет за Михаила Никифоровича и кого-нибудь другого. Виноват тут будет автор. Он воспитан на пренебрежительном отношении к описаниям внешности персонажей, полагая вместе с другими, что в двадцатом веке в этом нет нужды. Что словесные портреты должны занимать более милицию, нежели литературу. Есть фотографы. А ты сколько ни пыжься, все равно опишешь человека так, что всякий увидит его по-своему. Да и стушевался бы автор, принявшись за добросовестное описание внешности Михаила Никифоровича, нет у него в этом умения, свойственного, скажем, людям девятнадцатого века. Но дать кое-какие приметы Михаила Никифоровича я все же не удержался…

А читатель, кого судьба или любопытство заведут в Останкино, может и не утруждать себя, вспоминая мои слова и разгадывая, кто же тут Михаил Никифорович. Если есть нужда, надо просто спросить, и многие Михаила Никифоровича покажут. Возможно, Михаил Никифорович будет в компании знакомых. О некоторых из них речь пойдет позже.

В день же, с какого начались события моего повествования [1], Михаил Никифорович стоял в пивном автомате рядом с дядей Валей. И со мной тоже.

Дяде Вале было под шестьдесят, он работал шофером, собирался на пенсию. В довоенном фильме шпик в котелке кричал полицейским, хватавшим революционера: «За яблочко его! За яблочко!» По общему мнению, дядя Валя был похож на того кричавшего, и иногда некоторые интересовались: «Ну как, дядя Валя? За яблочко его или как?» Дядя Валя посмеивался и говорил: «Но беда-то ведь небольшая, а?» Месяца два он не появлялся в пивном автомате, потом пришел с палочкой. Михаил Никифорович увидел его сегодня впервые после отсутствия, покачал головой.

– Что это с вами, дядя Валя?

– Осколки удалили, – сказал дядя Валя. – С финской еще…

Вчера дядя Валя рассказывал мне, что ногу он сломал, вышел как-то поутру прогуливать собаку, поскользнулся на ровном месте – и, нате вам, в гипс на два месяца.

– Сколько лет сидели, – продолжил дядя Валя, – и ничего, а тут как заныли, на ногу ступить нельзя. «Надо удалять», – говорят. Девять удалили, двенадцать осталось там.

– Надо же, – покачал головой Михаил Никифорович.

– Но беда-то ведь небольшая, а? – заключил дядя Валя.

Новый поворот истории дяди Валиной ноги меня не удивил. Но и сдержаться я не мог:

– Дядя Валя, а вы мне говорили, что сломали…

Дядя Валя поглядел на меня укоризненно. Сказал:

– Правильно. Они и думали сперва, когда меня из «Звездного» вынесли в машину, что сломал…

– Из ресторана, что ли?

– Из ресторана. Из буфета.

– А как же собака? – опять влез я.

– Собака? – удивился дядя Валя. Потом сообразил: – Собака… Ага, я гулял с собакой возле ветеринарной больницы, там и упал…

– А как же ресторан?

– Но беда-то ведь небольшая? – И дядя Валя продолжил, забыв о моих вопросах: – Осколки хотели сначала магнитом вытянуть, может, из кого и вытянули бы, а из меня нет, или магнит испортился. Они и резали. Но все не вырезали. А то бы сухожилия и связки попортили. Вот двенадцать и осталось. С испанской войны…

– Вы говорили, с финской?

– И с финской. С испанской и финской. В Испании пришлось, сам знаешь. Я все хочу в Мадрид съездить. Мне ведь испанское правительство пенсию платит.

– За что же?

– Ты еще не родился, а я бил франкистов!

– Это я понимаю. Но за что же правительству-то вам пенсию платить? Что им, что вы франкистов-то били?

– Я знаю. – Дядя Валя стал серьезным, замолчал, видимо, что-то обдумывая. – Я газеты читаю. Ты меня не так понял. Я сказал, не правительство. Не правительство, а партия…

Он словно бы тяжкий подъем преодолел, слова сразу же стали выкатываться из него легко.

– А ты говоришь – правительство. Стало бы мне их правительство! А

партия платит. Поздравления присылают. Меня там помнят все. И Долорес, и другие. Меня их нынешний секретарь хорошо знает. Приходи, я тебе телеграмму от него покажу.

– Это от кого же?

– Ну как его…

– Карилья, что ли?

– Карилья, как ты догадался! Он у меня под Гвадалахарой был на пулемете. Совсем молодой парнишка. Огонь, треск, я ему кричу: «Мишка, тащи быстрее патроны, мать твою!»

– Почему же Мишка? – заинтересовался долго молчавший Михаил Никифорович.

– А мы их по-нашему звали, – сказал дядя Валя. – Мишка да Мишка. Это как же по-ихнему будет, постой…

– Мигель…

– Вот. Мигель Карилья.

– Так это, значит, другой Карилья. Тот, который секретарь, тот Сантьяго Карилья.

– Точно! – вскричал дядя Валя. – Я его Санькой звал, а не Мишкой. «Санька, мать твою!»

– Так его надо было скорее Яшкой звать, – вставил Михаил Никифорович.

– На Яшку он не откликался, – сказал дядя Валя.

Помолчали. Михаил Никифорович с дядей Валей закурили. Стояли мы под табличкой «Не курить». Автомат на Королева считался магазином. А магазины не предполагают курения. Тут существовали и иные запреты: «Приносить и распивать…» И так далее. Но коли не приносить и не распивать, откуда же возникнут на полу или прямо в руках уборщиц пустые бутылки, те, что потом мешками – и не раз в день – волокут в магазин на сдачу? Понятно, что про распитие никаких слов и не произносилось. Желающих же платить за окурки и выпотрошенные сигаретные пачки не было, оттого в автомате то и дело звучали пронзительные восклицания: «Прекратите курить!» Но сейчас Михаил Никифорович и дядя Валя курили спокойно.

– Мне Батов вчера звонил, – сказал дядя Валя.

– Генерал, что ли?

– Ну да. Генерал. Вот он как раз со мной и был в Испании… – Тут дядя Валя осекся и настороженно поглядел на меня.

– Да нет, дядя Валя, я ничего, – сказал я.

– Что-то вы все об одном да об одном, – заметил Михаил

Никифорович.

– А что, есть конструктивное предложение? – оживился дядя Валя и достал рубль.

– Нет, дядя Валя, – быстро сказал Михаил Никифорович.

Он втянул носом воздух, мышца над правой ноздрей его стала знакомо дергаться, можно было понять, что рубля, тем более с сорока копейками, у Михаила Никифоровича нет. И у меня не было.

– Но беда-то ведь небольшая, а? – сказал дядя Валя и спрятал рубль.

Мышца все еще дергалась над ноздрей Михаила Никифоровича.

– А соленые помидоры хорошие продаются в овощном, – неуверенно сказал Михаил Никифорович.

– Ну и что?

– Ничего. Это я так, к слову…

– К слову нужна музыка, – вступил дядя Валя. – Вот однажды Аркаша Островский…

Дядя Валя остановился. Я пошел за пивом, а когда вернулся, дядя Валя говорил об Островском, Ленине, Френкеле, еще о ком-то. Испанскую тему сменила музыкальная. Скоро следовало ожидать перехода к кинематографу. Причем если имена вспоминались дядей Валей обычно одни и те же, то истории, связанные с этими именами, возникали, как правило, свежие. Много бы музыки не звучало теперь, если бы не дядя Валя. Возможно, что и рапсодии Будашкина для домры с оркестром не было бы. А уж про кино и говорить не приходилось. Десятки фильмов со звуком и без звука, особенно на студии «Межрабпомфильм», вышли при помощи дядя Вали. Как я и ожидал, дядя Валя свернул на Эйзенштейна.

– …Сережа-то Эйзенштейн, – сказал дядя Валя, – тогда еще не лысый, как раз в тот день приехал ко мне советоваться. Валентин, говорит…

Долгое время дядя Валя считал, что Сережка Эйзенштейн живой и что он, правда, не часто, раз в год, но все же заходит к нему, дяде Вале, домой, на Кондратюка, 14. Однажды я, возбужденный, что ли, был, не выдержал и предположил вслух, что это, наверное, не тот Сережка Эйзенштейн, который поставил «Броненосец „Потемкин“. Дядя Валя резко и с обидой возразил, что это именно тот Эйзенштейн и что он хороший и простой мужик. Я хотел было сгоряча притащить из дома в автомат том энциклопедии, но поберег книгу, а дяде Вале посоветовал обратить внимание на мемориальную доску, что висит на одном из домов у Чистых прудов. Видимо, дядя Валя доску эту, проезжая мимо на своем автобусе, рассмотрел, и Эйзенштейн перестал приходить к нему в гости. Однако в предвоенном и военном прошлом он, Эйзенштейн, многое в своих фильмах

все еще решал лишь после советов с дядей Валей. Возможно, дядя Валя и работал в киностудиях водителем, возможно, после войны он был шофером кого-то из композиторов. Возможно. Во всяком случае порой сведения об истории кинематографа и отечественной эстрадной песни дядя Валя сообщал достоверные. Но еще больше он рассказывал о вещах, широкой публике неизвестных. Внимать ему в этих случаях было тем более интересно. Например, я с удовольствием слушал варианты рассказа дяди Вали о том, как его вызвал к себе в июле сорок пятого маршал Жуков, обнял, прослезился, расцеловал за победу и подарил олдсмобиль. Что сделал дядя Валя с олдсмобилем, как-то упускалось. Но не в этом была суть. Мне всякий раз были интересны скачки дяди Валиной бескорыстной памяти. Или воображения, опять же бескорыстного. Иные фантазеры или мемуаристы упрямы, кулаки сожмут, зубами заскрипят, а будут стоять на своем. Дядя же Валя, пойманный на исторической неточности (правда, авторитетным для него человеком, а не каким-нибудь шалопаем), не скандалил, не скулил, не скисал, а будто вспыхивал. „Точно! – говорил он, и радость горела в его глазах. – Как это ты догадался! И как я забыл! Точно, все было не так! Но беда-то ведь небольшая!“ И сразу же следовал новый поворот только что рассказанной истории, да такой крутой и бесстрашный, что на душе становилось знобко и празднично. И опять дядя Валя сокрушал врагов или делал искусство в компании с известными всем людьми. И главное, что на финской и на испанской (на Отечественной-то естественно) он был. Впрочем, я скажу: наверное, был, – потому как точно не знаю. Дядя Валя не раз звал меня к себе домой посмотреть всякие документы и фотографии. А я не ходил. Боялся. Вдруг и нет никаких документов. С дяди Вали сталось бы. Пришли бы, а он сказал бы: „Где же они? Украли, что ли? Ванька Карась давно грозился украсть! Или жена, когда уходила к таксисту, сожгла…“ Предполагаю, что он даже нюхать начал бы, не пахнет ли горелой бумагой. И я точно почуял бы, что пахнет. Вот я и не ходил… А с другой стороны, если бы я увидел свидетельства реальной жизни шофера Валентина Федоровича Зотова, мне труднее (или скучнее) было бы воспринимать его дальнейшие рассказы. Цеплялось бы мое воображение за эти свидетельства…

Тем временем дядя Валя опять достал рубль и повертел им. Мышца над правой ноздрей Михаила Никифоровича снова задергалась. А я развел руками. Меня ждали дела, и рубля не было. С тем я и покинул собеседников…

2

Однажды я зашел в автомат в воскресенье.

Я был с сумками. В одной уже стояли пакеты картофеля. Другая была пуста, ждала молока, сыра и мясных полуфабрикатов. Я пожал руки человекам тридцати. Останкинские мужья в воскресные дни сходились в автомате непременно с отчаянными сумками, а то и с рюкзаками. Некоторых только с этими сумками и выпускали из дома, другие же брали сумки добровольно, желая заработать привилегии в суровом и прекрасном семейном сосуществовании. Личности в тот день пили пиво самые разные, кто с высшим образованием, а кто и со средним. Среди прочих стояли дядя Валя и Михаил Никифорович.

– На рынке был? – спросил меня Собко, в будние дни занятый изучением тайской культуры.

– Видишь: пакеты, – показал я на сумку. – А на рынке картошка тоже небось химическая.

– Ну нет, – возразил Собко. – Я всегда беру у одного хозяина из-под Ярославля. У того на навозе.

Я это знал. А Собко будто бы жене давал положительную информацию. Был он краснощек и бодр и, как выяснилось, через два часа собирался в баню. Картошкой на навозе в глазах жены его поход в баню был уже оправдан. Оттого Собко пил пиво с удовольствием. У иных же, нынче менее краснощеких и с лицами как бы набрякшими, настроение было не столь благостное. Им и пиво пока не помогало. Вчерашние напитки и лакомства еще угнетали. Кое у кого и кружки в руках дергались нервно. Создавалось впечатление, что эти страдальцы вряд ли вчера смогли бы воспользоваться услугами подземного транспорта. Впрочем, некоторые из них были степенные и с хорошей координацией движений, таких всегда впустят в метро.

– Ну как? – спросил меня Собко. – Киев в этом году или Тбилиси?

– Очень может быть, что и московское «Динамо».

Начался март, самая пора думать о сюжете футбольного сезона.

– Нет, Киев, – твердо сказал Собко.

В автомате темы в разговорах быстро меняются. Мы побеседовали о футболе, о хоккее и тут же перешли к международной политической ситуации. Возник спор о составе китайской дивизии. Толя Серов, лектор и социолог, вспомнил Бжезинского, он читал все его книги и теперь бранил

безнравственные построения вашингтонского ястреба. Кошелев сказал, что Бжезинский не стоит и упоминания в нашем пивном автомате, а пора обсудить польскую книгу «Мужчина после сорока». Тут сразу зазвучали анекдоты, имеющие отношение к сути книги. Все отдыхали от воскресных семейных разговоров. Тем более что многим еще предстояло пылесосить и полотерить.

– А ты слушал «Скупого» Пашкевича в Камерном театре? – спросил меня таксист Тарабанько.

Я хотел было сказать, что слушал, но тут дядя Валя сделал шаг вперед, как бы имея в виду меня, но, впрочем, наверное, и других. И достал рубль. Михаил Никифорович тоже сыскал рубль.

– Водку или вино? – спросил Тарабанько.

– Водку! – решительно сказал дядя Валя.

На этот раз деньги у меня были, однако мой желудок дурно переносит смесь пива с вином или водкой, да и размечтался я после слов Собко о бане. Я отказался участвовать в предприятии.

Если бы я знал, от чего отказываюсь!

Почему-то все замялись. Вроде бы и хотели, но руки за рублями не лезли. Наконец Игорь Борисович Каштанов, причудливые изгибы судьбы которого были известны всему Останкину, решился. Был он как раз одним из тех, у кого кружка в руке мелко дергалась. Да и авоська его с буханкой черного и банкой рыбацкой ухи то и дело вздрагивала. Говорил он вяло и как-то обреченно. Всех выспрашивал, не видели ли его вчера после десяти часов вечера. Все, что происходило с ним до десяти, он помнил, что потом – нет. Теперь Игорь Борисович стал третьим. И его можно было понять.

Компания образовалась. Следовало собрать сумму. Водку сегодня можно было купить лишь с черного хода, сумма требовалась усиленная. Михаил Никифорович подумал и выложил еще рубль. Прошу на это обратить внимание! Дядя Валя и Игорь Борисович наскребли по нескольку гривенников каждый. Михаил Никифорович вынул еще сорок копеек [2]. Но суммы все не было.

– Дай, сколько у тебя есть, – сказал мне дядя Валя.

Я сунул руку в карман, мелочи было всего четыре копейки. Дядя Валя взял четыре копейки, а у Серова шесть и предположил:

– Хватит, наверное.

Михаил Никифорович заметил, что в овощном магазине опять хорошие соленые помидоры. Компаньонам дали мелочь на помидоры.

– Кто сегодня торгует? – спросил дядя Валя.

– Зинка и Анька, – сообщили ему.

– Это не мои! – рассердился дядя Валя. – Ну, кто будет гонцом? Кто Зинкин клиент?

Все посмотрели на усатого красавца Моховского, финансиста, прозванного паном Юреком, к нему Зинка относилась как к другу.

– Нет, – помотал головой Моховский. – Я нынче мягко стою.

Действительно, стоял он кое-как, прислонившись к стене. И выражение глаз было у него романтическое. Порой он ласково что-то снимал с плеч и с груди. Наверное, это были невидимые, но известные всем по описаниям Моховского бегемотики.

– Я теперь как облако в штанах, – сказал Моховский. – Дядя Валя, ты читал «Облако в штанах»?

– Нет, не читал.

– А зря. Один тоже не читал, а через два дня дал дуба.

– Ладно, – проворчал дядя Валя. – Ты что, красного, что ли, уже набрался?

Тут в поле зрения дяди Вали попал тихий человек Филимон Грачев. Он работал токарем на «Калибре», было ему лет тридцать, надо полагать, немало шуток выслушал он по поводу своего имени. Низенький и щуплый на вид, руки он всем жал так, будто ему подавали эспандеры. Впрочем, руки протягивали ему лишь люди свежие и наивные, незнакомые с увлечением Филимона гиревым спортом. В автомате Филимон был и первым кроссвордистом. Я сам носил ему кроссворды из «Книжного обозрения». На него-то и поглядел дядя Валя.

– Ну давайте, – сказал Филимон.

Гонцы имели право на пятнадцать капель с бутылки. Стало быть, на пятьдесят граммов. Прошу и на это обратить внимание. Филимон взял деньги. Между тем обнаружились еще пайщики, взбудораженные предприятием дяди Вали, всего Филимону вручили деньги на четыре бутылки водки и на две портвейна «Кавказ». Филимон ушел в шестидесятый магазин. Михаил же Никифорович отправился за милыми ему солеными помидорами.

И вот влажные помидоры с трогательными вмятинами были разложены на газете, чистый граненый стакан покоился в кармане дяди Вали, Игорь Борисович Каштанов движением губ, на звуки у него не хватило сил, попросил меня подержать авоську с продуктами, явился и гонец, раздал жаждущим бутылки, завернутые в белую бумагу. Какое их ждало удовольствие! Но тут взяли и вошли три милиционера.

Один был свой, участковый, старший лейтенант Куликов, два других – старшина и сержант – чужие. Таксист Тарабанько бросился к окнам,

углядел у парадного входа в заведение кремовую машину «Спецмедслужбы», известную также в публике под названием «Алло, мы ищем таланты».

– Из вытрезвителя, – сообщил Тарабанько.

– Что-то они так рано? – было общее мнение. – Или план горит?

Все с состраданием поглядели на работника банка Моховского.

– Пойду-ка я домой бегемотиков кормить, – сказал Моховский.

– Ну уж нет! – твердо заявили ему. – Ты только стой. А мы тебя прикроем.

Однако за Моховского беспокоились напрасно. Старальцы из вытрезвителя быстро покинули ни с чем (и уж точно – ни с кем) наш мирный автомат. А старший лейтенант Куликов остался. Он по-отечески беседовал со многими, просил не курить, и создавалось впечатление, что скоро из автомата он не уйдет.

Михаил-то Никифорович не спешил. Он, как обычно, не столько сам хотел выпить, сколько желал кого-нибудь угостить. Чтобы беседа шла приятней. А уж вокруг вилось несколько малознакомых личностей, явно любителей выпить на халяву. И дядя Валя, похоже, потерпел бы, дождался бы отхода лейтенанта Куликова. А вот организм Игоря Борисовича Каштанова требовал участия. И немедленного! Михаил Никифорович сжалился над бедным Игорем Борисовичем, сказал:

– Ну пойдем на детскую площадку.

И они пошли. Михаил Никифорович (взяв, конечно, помидоры). Каштанов. Дядя Валя со стаканом в кармане. Гонец Филимон Грачев… Шествие их и теперь перед моими глазами.

Обладатели остальных бутылок до ухода лейтенанта Куликова от принятия доз решили воздержаться.

Кто-то с сумками из нашей компании уходил, кто-то прибывал с теми же как будто бы сумками. Разговор тек по многим руслам, пиво шло пока хорошее. Отбыл из автомата лейтенант Куликов. Но присутствие его полагалось чувствовать еще полчаса, бутылки оставались нераскупоренными. Пора было бы вернуться с детской площадки четвертым, а гонцу Филимону Грачеву следовало бы получить со всех пайщиков по пятнадцать капель. Однако четверо не шли, вызывая у нас догадки и опасения. Не увезла ли их кремовая машина? Не свалилась ли с крыши льдина и не разбила ли бутылку? Какое-то предчувствие холодило нашу компанию.

И нелишним было это предчувствие!

Вошли четверо. Мы сразу поняли, что они странные.

– Вы что? – спросил я.

– Да ничего, – сказал Михаил Никифорович.

Но мышца над ноздрей его чуть ли не рвалась. Дядя Валя икал. Зрачки Филимона Грачева сдвинулись к переносице. Игорь же Борисович шел бесчувственный, вид его был жуток. Но при этом внимательный глаз мог бы углядеть, что из карманов Михаила Никифоровича высовываются бутылки коньяка и дяди Валин карман не пустой.

– Ну что? Приняли? – спросил я.

– Нет! – дядя Валя чуть не закричал.

И последовал рассказ о случившемся на детской площадке…

Понятно, им, в особенности Игорю Борисовичу, уже не терпелось. Сорвали штемпель, дядя Валя держал стакан. И тут из бутылки вышла женщина. Бутылка и поначалу насторожила дядю Валю. В Останкине водка идет исключительно Московского ликерно-водочного завода, редко когда – Александровского. А тут на крышке было обозначено: Кашинский ликерно-водочный завод. Хотели дать в морду Грачеву, но тот справедливо пожал плечами – ходили бы сами. Кашинский значит Кашинский, лишь бы стакан был чистый. И все же нехорошее чувство возникло у дяди Вали. Сам он не стал открывать бутылку, а передал ее Михаилу Никифоровичу. И когда Михаил Никифорович открыл бутылку (а дядя Валя держал стакан рядом), из нее вышла женщина. А может, девушка. Женщина-то хрен с ней, но бутылка-то оказалась пустой. Никакой жидкости в ней уже не было. Игорь Борисович вздрогнул. А тут женщина, которая не просто стояла как человек, а плавала над детской площадкой, заговорила. Здесь я передаю сведения, какие мы получили от четверых. Михаил Никифорович и вообще не большой оратор, да и камни бы ему не мешало подержать во рту, дяде Вале в этот раз не хотелось бы верить, язык Игоря Борисовича от нетерпения лишь трясся, Филимон Грачев с большим бы удовольствием, нежели говорил, руки бы жал, поэтому мы, слушая четверых, информацию из их нервных слов как бы выковыривали. Итак, женщина не только вышла из бутылки, но и заговорила. Слова ее были примерно такие. Она, мол, раба человека, который купил эту бутылку. Все выполню, что он захочет, по любому желанию. Навечно будет так. И далее в этом роде. Дядя Валя ей возразил, что пошла бы она подальше, но пусть вернет при этом водку. Тем более что Игоря Борисовича бьет колотун. Она тоже возразила, что она кашинский эксперимент и что колотун в ее образовании – пробел. К словам об эксперименте отнеслись серьезно, но Игоря Борисовича надо было спасать. «Давай две бутылки коньяку армянского розлива и портвейн „Кавказ“, раз ты придуриваешься, и катись, а не то сдадим в милицию!» –

сказал ей дядя Валя. Она как-то поморщилась чуть ли не брезгливо, будто ждала более замечательных просьб, но востребованные бутылки возникли. Потом она опять сказала, что она раба хозяина бутылки («Хозяев! – поправил ее дядя Валя. – Мы – на троих!»), другие слова говорила, некоторые проникновенные, выходило, что она то ли фея, то ли ведьма, то ли какая-то берегиня. Она и на землю опустилась, а ножки у нее были стройные, или же их обтягивали хорошие джинсы. Михаил Никифорович осмелел и попытался даже из дружеского расположения взять женщину за талию. Она тут же вспыхнула, как бы взорвалась, и исчезла. Кашинская бутылка выпала у Михаила Никифоровича из рук и разбилась. Все вокруг зашипело, а голые ветки тополей и яблонь долго вздрагивали. Остаться на детской площадке компания, понятно, не могла…

– Вы хоть теперь-то дайте выпить Игорю Борисовичу, – сказал Собко. – А то он упадет.

– Неизвестно, что это за коньяк такой, – возразил Михаил Никифорович, – выпьешь и превратишься еще в козла, как братец Иванушка.

– Давай! – резко сказал Игорь Борисович.

Было видно, что ему теперь все равно, в козла так в козла, а то действительно упадет. Михаил Никифорович не сразу, и несколько отстранив от себя бутылку, отодрал крышку и вырвал пробку. Все были в напряжении. Однако из бутылки никто не вышел. Игорь Борисович ухнул стакан, проглотил помидор. Его приставили к стенке.

– Ну кто еще будет? – спросил Михаил Никифорович.

– А! Давай я! – отважился дядя Валя.

Конечно, это была пошлость – пить коньяк в пивном заведении. Водка и вино ладно… Но даже я попробовал из бутылки с детской площадки. Раз такая история. Ереванского он розлива или нет, определить никто не мог. Да и подумаешь! Что за чудо такое, ереванский-то розлив.

– Нет среди нас братцев Иванушек, непорочных душ, – сказал Собко.

– Это верно, – согласился Игорь Борисович Каштанов.

Он оживал, и я посчитал возможным возвратить ему авоську с черным хлебом и рыбацкой ухой.

– Наврали они все! – решил таксист Тарабанько, поставив на полку стакан, освобожденный им от портвейна «Кавказ».

– А ты что, им поверил, что ли? – удивился Собко. – Ты что, дядю Валю не знаешь?

– А откуда у меня взялись деньги на коньяк? – возмутился дядя Валя. – И на портвейн?

Тут все зашумели, стали высказывать предположения, откуда взялись. Во-первых, дяде Вале срочно из Испании на детскую площадку подослали прибавку к пенсии. Вроде прогрессивки. Во-вторых, таких видных мужчин, как Михаил Никифорович или Игорь Борисович, многие женщины захотели бы взять на содержание, вот они и стали для начала приманивать их коньяком. В-третьих, Филимон Грачев мог по дороге продать вырезки с кроссвордами какому-нибудь особенному любителю.

– Ну галдите, галдите! – сказал дядя Валя. – А вот вы сейчас откройте другие бутылки, которые принес Филимон, из них, может, чего похуже женщины выйдет.

Действительно, те бутылки еще не трогали. Пришла их пора. Первое разочарование ждало нас при осмотре крышек: перед нами была продукция (я оставляю тут в стороне бутылки «Кавказа») исключительно Московского ликеро-водочного завода. Когда крышки сдернули, жидкость в бутылках осталась.

– А что ж ты нам-то подсунул Кашинского завода! – закричал дядя Валя на Филимона Грачева. Он был готов пойти врукопашную.

Филимон уже принял все свои капли и к разговору с дядей Валей не был расположен. Только пробормотал:

– Да что вы все злюки какие-то…

Раздались сомнения по поводу существования Кашинского завода вообще. И что за место такое – Кашин? Есть ли оно? И был ли кто в нем? Я развеял сомнения. Я был в Кашине. Стоит Кашин на тверской земле, на речке Кашинке, час плыть по ней тихим пароходом до Волги, и это один из самых приятных городов, какие довелось мне увидеть на Руси. Что касается ликерно-водочного завода, то и такой стоит в Кашине, лет уже сто пятьдесят как стоит.

– Ну вот видите! – обрадовался дядя Валя. – Мне не дадут соврать! Есть завод-то! И Кашин есть! На тверской земле!

– Валентин Федорович, – уважительно сказал Собко, – существование Кашина и столь замечательного завода еще не может стать основанием веры в ваши слова о женщине, вышедшей из бутылки.

– Я один, что ли, ее видел? – горячо заявил дядя Валя. – А эти трое? Мишка, так тот ее и за зад хватал!

– Я не хватал, – сказал Михаил Никифорович. – И не за зад. Я ей руку положил на талию. Для поддержки. Она чуть не упала. Там ведь хламу много, на детской площадке.

Многие из страдавших с утра ожили теперь, как и Игорь Борисович Каштанов, и тоже с удовольствием вступили в беседу. В женщину,

конечно, никто не верил, но отчего же и не поговорить о ней?

– И что же, ты и тело ее почувствовал? – спросил Толя Серов.

– Почувствовал, – сказал Михаил Никифорович.

– Ну и как?

– Тело как тело, – пожал плечами Михаил Никифорович. – Женское.

– И сколько ей лет?

– Лет двадцать, – сказал дядя Валя. – Девчонка.

– Нет, нет, двадцать семь, – предположил Михаил Никифорович. – Дама в соку.

– Вот с такими щеками, – сказал Филимон Грачев. – И зубы кривые. Клыки!

– С какими еще щеками! Где клыки! – возмутился Игорь Борисович. – Она точно фея.

– Ведьма, – сказал Филимон. – Шесть букв лежа. Четвертая буква мягкий знак.

– Постойте, – сказал Серов, – она раба хозяина бутылки, да? Так чья же, выходит, она раба?

– Я понимаю твой интерес, старик, – сказал Собко Серову, – ты дал им шесть копеек.

– При чем тут шесть копеек? – обиделся Серов. – Я в теоретическом плане. Кто хозяин бутылки? И кто хозяин этой женщины?

– А мы на троих, – сказал дядя Валя. – Мы трое и хозяева.

– Тут все нужно уточнить, – продолжал Серов. – Паи-то вы вносили разные…

– Чего уточнять, – сказал дядя Валя. – Она на троих, и все. Она и сама понимает. Я ей велел: гони коньяк. Она – тут же.

– Да никто не оспаривает, дядя Валя, ваших прав, – поморщился Серов. – Но вот Михаил Никифорович внес два сорок, стало быть, у него прав больше ваших.

И снова начались прения. Нам бы – кому на рынок, кому домой, к житейским обязанностям, к умственной работе, к мировым проблемам, а мы все говорили про женщину, будто у нас своих фей и ведьм не хватает в квартирах. Начали даже считать. Два сорок внес Михаил Никифорович, это все видели. Рубль сорок четыре были дяди Валины, рубль тридцать шесть Игоря Борисовича. Итого пять двадцать. Шесть копеек взяли у Серова, четыре у меня. Сумма.

– Вот и делите акции, – сказал Серов.

Собко выразил сомнение насчет Серова и меня как акционеров, заметив, что мы не вносили паи, а просто у нас взяли деньги подлинные

пайщики. Я и не претендовал ни на какие права. Но нашлись защитники и моих интересов. А как быть с Филимоном Грачевым? Мог ли он считаться одним из хозяев бутылки? Или гонец и есть гонец, пусть и с пятнадцатью каплями? Подавали голоса люди, не пожалевшие мелочь на помидоры, в том числе и Кошелев, но их урезонили, сказав, что из помидоров никто не вышел. Таксист Тарабанько указал как на существенное обстоятельство на то, что именно Михаил Никифорович открыл бутылку.

– Джинн, – сказал он, – всегда служит тому, кто его выпустил.

– Джин! – проворчал дядя Валя, недовольный этим соображением. – Ты еще скажи – виски! Нам на их нравы наплевать! У них своя посуда! А у нас была водка, старорусская, понял?

И все же сомнения остались. Ясности в ситуации с женщиной в нашей компании не было.

Тогда и возникли Шубников и Бурлакин, шумные люди. Закричали:

– Здорово, дети подземелья!

Были они ровесники, прожили по тридцать пять лет, оба носили бороду и усы. Но Бурлакин, кандидат наук, математик или ракетчик, работавший в хорошей фирме, казался бородатее Шубникова. Борода у него росла лопатой и была черная, как неблагодарность. Бурлакин был известен публике и тем, что раз в четыре месяца назло врагам неделями изнурял себя голоданием. Друг его Виктор Шубников окончил когда-то кинематографический институт (выпускников и студентов ВГИКа было всегда немало в нашем автомате), или не окончил, работал на телевидении, потом был фотографом, потом массовиком на турбазе, потом кто знает кем, теперь нигде не работал, а по субботам и воскресеньям торговал на Птичьем рынке щенками. Имел в базарные дни по семьдесят, а то и по сто рублей. Кандидат наук Бурлакин ему ассистировал. С утра они скупали у мальчишек псин дворовых пород, а часа через два предлагали солидным людям благородных животных с княжескими родословными. Оба были артисты. Мы ездили на Птичий рынок смотреть их работу.

От большинства торговцев Птичьего Шубников с Бурлакиным отличались интеллигентностью (Шубников кроме бороды носил еще и очки). Таким можно было верить. От таких можно было без раздумий приобрести ньюфаундленда, пусть он и походил на помесь дворняги с таксой. Рассказывали, что однажды некоей дорого одетой даме Шубников сторговал хомяка, уведенного Бурлакиным из живого уголка 280-й школы, выдав хомяка за щенка-суку северокавказской овчарки.

И вот они теперь вклинились в нашу компанию, громкие, напористые, удачливые, видно, что с Птичьего рынка, а потом и из рюмочной на

Таганской площади. Услышав историю кашинской бутылки и женщины, Шубников радостно заорал:

– Михаил Никифорович, ты мой золотой! А ты ведь должен мне два с полтиной. Брал неделю назад. Должен?

– Должен, – сказал Михаил Никифорович. – Вот бери.

– Ну уж нет! – захохотал Шубников. – Теперь я у тебя не возьму. Считай, что это мои два с полтиной пошли на ту бутылку. Стало быть, и все права на женщину мои!

– Точно! Его! – закричал Бурлакин.

– Таких, как ты, я в гражданскую расстреливал, – сказал дядя Валя. Потом добавил, указав при этом не только на Михаила Никифоровича и на Игоря Борисовича, но – для убедительности – и на нас с Серовым: – Мы, пайщики, клали на твои вонючие два с половиной.

Шубников был наглец. Иные заходят в троллейбус и робко объявляют – «сезонный», «единый», будто в чем-то виноваты, а Шубников басит: «Пригласительный!» – и садится. Однако он не любил какие-либо свои предприятия подводить к мордобою. Впрочем, тут он заупрямился.

– Мои права есть мои права, и я от них не откажусь!

– Точно! Не отказывайся! – снова заорал Бурлакин.

Публика зашумела. Некоторые считали, что коли два с половиной рубля имели место, то почему бы не принять их во внимание. Тем более что Шубников был брошенный женой и в будние дни – без реальных источников дохода. Большинство же полагало, что мало ли кто кому должен. И тут именно стали вспоминать, кто кому и сколько был должен. Разговор грозил принять малоджентльменский характер.

– Да прекратите! – громко заявил Собко. – Из-за чего шум? Из-за женщины, которая из бутылки… Пошутили, и хватит. Не было ее и нету!

– Вон, вон она! – вскричал дядя Валя. – Идет!

Палец его указывал в сторону двери. Действительно, мимо стойки с раздатчицей монет Полиной шла женщина. Красивая. Со вкусом одетая. Волосы русалочьи. Трезвая. И что-то трепетное, ищущее было в ее глазах, стремилась она к кому-то. И не было в ней ни ненависти, ни брезгливости, ни чувства превосходства, ни победительной решимости, какие бывают у женщин, являющихся в наш автомат за своими мужчинами…

– Фея! – тонко произнес Игорь Борисович Каштанов.

– Ведьма, – пробормотал Филимон Грачев, – злюка какая-то…

А мы замерли, молчали в оцепенении. Метров семь оставалось дойти ей… И тут двое мужчин, направлявшихся к выходу, заслонили ее, и, когда они прошли, женщины уже не было, а на ее месте столб синего дыма

утекал потихоньку к потолку.

– Как будто бы она, – задумчиво сказал Михаил Никифорович.

– Видимо, никак контактов с нами не может установить, – предположил дядя Валя. – Что-то ломается в ней.

– Да бросьте вы! – сказал Серов, социолог. – Она же в дубленке! Как же это она в дубленке из бутылки вышла? Из кашинской!..

И все же мгновенная пропажа женщины удивила. Впрочем, нынче они именно в мгновение могут появиться и в мгновение пропасть… Разговор теперь шел как бы по инерции. Все будто притихли. Или задумались. Даже Шубников с Бурлакиным не шумели, не трясли бородами, не требовали ничего. Долго молчавший финансист Моховский произнес в связи с этим (а может, и просто так) свою любимую фразу:

– Главное, не бежать впереди паровоза.

И все потихоньку стали расходиться.

А Михаил Никифорович остался.

3

Дней десять не был я на улице Королева.

В среду зашел в автомат часа в четыре. Думал, постою минут десять и уйду. Знакомых было мало. Я подошел к Мише Лескову, тридцатилетнему инженеру-энергетику. Лесков болел за «Торпедо», с «Торпедо» и начался у нас разговор.

– Да, ты знаешь, – сказал Лесков, – Анатолий Сергеевич Серов в субботу будет есть шапку.

– Нет, не знаю.

– Он тебя разве не пригласил?

– Что значит пригласил? Я просто один из тех, в присутствии кого он обязан есть шапку. Если он порядочный человек.

– У него две шапки.

– Есть он должен ту, что из каракуля. Он в ней спорил.

– Я вчера встретил Собко, – сказал Лесков. – Он говорит, Серов объявил: шапку будет есть в субботу.

Серов не верил в фортуну наших хоккеистов, в споре был упрям и безрассуден, а может быть, в тот вечер в автомате давал выход раздражению, причины которого нам были неизвестны, во всяком случае называл нас дураками и ставил на чехов. Спорил он сразу с шестью ценителями хоккея, и идея относительно шапки посетила именно его. Он тогда кричал: «Вы будете есть шапки, а я на вас погляжу!» Прошло три недели, и, когда стало ясно, что не мы теряли шапки, а обречен его коричневый пирожок, Серов вдруг заартачился. Мол, все это шутка и у нас должно быть чувство юмора. «Руки разбивали?» – спрашивали его. «Разбивали», – соглашался Серов. «Тогда ешь!» Вскоре многие перестали здороваться с ним, дали понять, что лучше ему съезжать из Останкина, здесь не любят людей, не умеющих держать слово. И вот Серов сделал объявление о субботе.

– Ну а Михаил Никифорович как? – спросил я.

Михаил Никифорович жил в соседнем доме, и по возвращении с работы ему нелегко было миновать автомат. По сведениям Лескова выходило, что за неделю Михаил Никифорович изменился. Больше молчит, пьет одно пиво и словно бы о чем-то думает. И глаза у него то мечтательные, то печальные. Видно, происходит что-то в его душе. А возможно, у него какие-нибудь неприятности по службе. Михаил

Никифорович тоже спорил с Серовым, вернее, Серов и его вынудил спорить с ним. Как и Игоря Борисовича Каштанова, меня, Собко, летчика Германа Молодцова и Володю Холщевникова с телевидения. Михаил Никифорович Серов жалел и поначалу поддерживал старания того назвать весь этот спор шуткой. Конечно, шутка, согласился автомат. Но шапку он пусть ест.

Тут зашел в автомат сам Михаил Никифорович. Действительно, был он грустный.

– Что так рано? – спросил Лесков.

– Что-то неможется в последние дни, – сказал Михаил Никифорович. – Странный какой-то стал.

Он закурил. Стояли мы теперь не под табличкой «Не курить», а под гордостью автомата, да и всего Останкина – большим медным листом на деревянной основе, за который управление торговли уплатило чеканщику триста шестьдесят два рубля. Посреди листа была выбита радующая душу кружка, курчавая, как борода Зевса, медная пена вываливалась из нее. По обе стороны кружки лежали тарелки: справа на тарелке был расположен рак, слева – какая-то рыба, полторы штуки, нередко среди свежих посетителей автомата возникали споры, лещ ли это, рыбец ли, сырок или же чехонь? Или же еще какая-нибудь историческая особь. Ясно было, что не вобла. Замечательная эта чеканка, как бы компенсировавшая отсутствие в автомате какой-либо закуски к пиву (кроме сушеного картофеля в пакетах), появилась здесь после ремонта. До ремонта заведение на Королева было грязным и вонючим. Некоторые женщины, неизвестно зачем возникавшие в мужском гуле, в сигаретном дыму, кривились и, может, вспоминали о противогазах или иных средствах гражданской обороны… Голубовато-серые ободранные стены – пространство для движения рыжих тараканов, немытые плитки под ногами располагали к тому, что прямо под ноги и бросали всякую дрянь – промасленную бумагу, яичную скорлупу, огрызки бутербродов, да чего только не валялось на полу! И пиво из кружек туда плескали. Мерзко тут было! Впрочем, никто об этом не думал, лилось бы пиво и не было бы разбавленным. А после ремонта, что вы! Мастера отделали помещение под избу, обшили стены досками, доски же покрыли лаком. Там и тут появились деревянные подзоры, солнца, полотенца и орнаментальные полосы с языческими мотивами. Под одной из арок поставили чугунные ворота, а за ними на жардиньерках разместили вьющиеся растения – как бы зимний сад. И вот чеканка. При такой чеканке дрянь уже не хотелось бросать на пол, руки сами тянулись к урнам. Раньше чего в туалете только не писали! Какие

люди не оставляли здесь своих имен («Вася-псих из Оренбурга», «Коля из МИСИ, дипломник» и прочие), какие истины здесь не провозглашались! Теперь осталась только одна надпись в центре чистейшего потолка, видно, пожалели ее маляры: «Пусть стены этого сортира украсят юмор и сатира!».

Но сегодня и чеканка с закусками не радовала Михаила Никифоровича.

– Что это ты? – удивился Лесков.

– Да так… – вздохнул Михаил Никифорович. Тут он словно вздрогнул, зрачки его забегали, будто отыскивали кого-то в толпе, Михаил Никифорович напрягся… Но вскоре напряжение отпустило его. – Показалось, что ли… – пробормотал Михаил Никифорович. – Никто не окликал меня?

– Никто, – переглянулись мы с Лесковым.

– Не первый раз на этой неделе… – сказал Михаил Никифорович. – Будто кто-то хочет поговорить со мной. Но словно бы звонит из испорченного автомата…

– А ты попроси перезвонить, – предложил Лесков.

– Это не так смешно, – сказал Михаил Никифорович. – И моя душа будто ожидает чего-то, стремится, что ли, к чему-то…

Фраза была совершенно несвойственна Михаилу Никифоровичу. Мы с Лесковым опять переглянулись и, видимо, подумали об одном, но решили странной темы вслух не касаться.

– У тебя в аптеке, может, чего стряслось? – предположил Лесков. – Ну, в субботу развеешься. Серов будет есть шапку.

Эта новость несомненно оживила Михаила Никифоровича.

А в автомате становилось теснее. Уже спрашивали, нет ли лишних кружек. Тогда и появился Игорь Борисович Каштанов. Заметно возбужденный. К нам он не подошел, а остановился метрах в десяти, у окна. Потому как был с дамой. Даму эту мы хорошо знали.

Это была Татьяна Алексеевна, лет тридцати от роду, бывшая жена участкового милиционера. Но не Куликова, из-за кого наши пайщики ушли на детскую площадку, а приятеля Куликова лейтенанта Панякина, участкового иных кварталов. Но, может, и не приятеля, а так, сослуживца. Впрочем, бывшего сослуживца, потому что в милиции Панякин уже не работал.

Года два подряд Игоря Борисовича Каштанова сжигала страсть к Татьяне Алексеевне. Одно время он сильно пил, не имел средств, дружба с Панякиной его устраивала. Бывало, сидит он дома в тоске в час ночи, вдруг – стук в дверь, на пороге Татьяна Алексеевна, оставившая спящего мужа в

квартире, и при ней авоська с пятью бутылками вермута. Игорь Борисович даже думал тогда жениться на ней. Татьяна Алексеевна иногда и на месяцы переходила жить к Каштанову. Служебные чины уговаривали ее вернуться по-хорошему. Но где уж там! Разве можно было женщине уйти от Игоря Борисовича!

Игорь Борисович Каштанов мужчина был примечательный. Окончил два института. Сначала строительный. Потом кинематографический. И как-то быстро сделал карьеру. Ему, молодому, дали редактировать журнал. Он и сам в ту пору пописывал. Выпустил с соавтором две книжки. Журнал дали не очень именитый и не толстый. Но журнал. Как полагается. Для Игоря Борисовича он был звездой пленительного счастья. И деньги приносил. Но что тогда были для Игоря Борисовича деньги! Бывало, в дни, когда Игорю Борисовичу выдавали гонорар или авансы, жена его, а Игорь Борисович был женат и любил свою Олю, посылала доверенных лиц, целую экспедицию, Долотова в числе других, сопровождать Игоря Борисовича в странствиях от кассы до дома. Но и доверенные лица не спасали семейство Каштановых от предвиденных потрат. Пройдет Игорь Борисович по дороге домой сквером, увидит на скамейке влюбленную пару и посыплет ее десятками. Спустится в туалет по нужде, протянет червонец уборщице, попросит: «Помолись, бабушка, за меня, грешного!» А доверенные лица, Долотов в том числе, бывали к тому времени уже в таком праздничном состоянии, что и свои десятки были готовы рассыпать по скверам. Или вот. Знаменит в Останкине ресторан «Звездный». Так Игорь Борисович снимет его на вечер, встанет в дверях и приглашает в зал любого проходящего по улице Цандера, кто ему приглянется. Он застолья любил в ту пору куда крепче, нежели заседания редколлегии. А потому и продержался редактором полгода. Душа его однажды поутру находилась в рассеянном состоянии, чутье притупилось, и он напечатал какие-то легкомысленные или даже безответственные фотографии. Его низвергли. «Ничего, – решил он, – будет больше времени для настоящей литературы». Он много надежд возлагал на свою прозу. Но она шла трудно. И Игорь Борисович оставлял на столе чистую бумагу и шел в автомат на Королева, тогда еще с винными и коньячными кранами. Жена Оля стала его упрекать. Правда, говорила: «Пей, но пиши. Я готова тебя кормить, но ты пиши». С работы Оля возвращалась полседьмого. Игорь Борисович каждый день спешил домой из автомата к пяти, садился за машинку, брал том Платонова, перепечатывал из мастера страничку и вечером предъявлял ее жене. Оля умилялась, говорила: «Вот видишь, ты же талантливый, как ты пишешь! Неужели ты не можешь взять себя в руки!» Однако потом и

перепечатывать Платонова стало Игорю Борисовичу лень. Ольга ушла от него.

Но давно это было. Лет десять назад.

И без работы и без жены Игорь Борисович существовал скорее весело, нежели грустно. В автомате, в ресторанах Останкина и Выставки он пребывал даже неким героем со всякими неправдоподобными легендами. Многим было интересно посмотреть на него и тем более напоить и накормить Игоря Борисовича, эти люди и на могилу Сережки Есенина ездили с вареными яйцами и белыми бутылками. Оставалось у Каштанова немало влиятельных друзей или приятелей, жалевших его, желавших вернуть Игоря Борисовича в большую жизнь, они устраивали ему командировки и авансы. Командировочные Игорь Борисович охотно брал, но никуда не ездил, а широко гулял. Заключал и авансовые договора, однако не выполнял своих обязательств. На квартире его всегда было шумно: звучали и мужские голоса, и, конечно, женские, и благородное стекло звенело, заставляя старушку, подселенную к Игорю Борисовичу после отъезда Оли, тихо сочинять в своей комнате жалобы на соседа. Иногда сердиты были на Игоря Борисовича и его гости. Кое-каких денег, и будто бы немалых, не обнаруживали они, случалось, в своих карманах и бумажниках. Некоторые горячие люди стремились что-то доказать Игорю Борисовичу кулаками. Порой готовы были сразиться с Игорем Борисовичем и неудачливые мужья. Дважды наносили ему тяжелые удары пивными кружками по голове, вызывая потерю сознания. Но Игорь Борисович выходил из больниц и улыбался. Он вообще был обаятельный.

Но тут в судьбу Игоря Борисовича вмешались судебные исполнители. Уж очень он задолжал разным учреждениям. И пришлось Игорю Борисовичу работать, чтобы расплатиться за командировочные и авансы. Сначала он был устроен мойщиком троллейбусов в проезде Ольминского. А затем его направили ночным сторожем в павильон юннатов Выставки. Игорь Борисович сокрушался, что все это дела не творческие, и был обрадован, встретив однокурсника по строительному институту. Тот взял его к себе в контору. Был Игорь Борисович разнорабочим, потом стал учетчиком, а потом и прорабом. Долги все еще висели над ним. Но надо сказать, что в последние месяцы Игорь Борисович был аккуратнее. Не в смысле внешнего вида. Тут Игорь Борисович даже и в дни безобразий был опрятен и красив, всегда в костюме, белой рубашке и при галстуке. Нет, теперь он мог зайти в автомат трезвый, взять лишь пару кружек пива и ни с чем то пиво не смешать. Говорили, будто страсть его к Татьяне Алексеевне угасала. А Игорю Борисовичу пришлось многое перетерпеть из-за этой

страсти. Панякин развелся с Татьяной Алексеевной, но все же пытался вернуть ее в дом, действовал и угрозами. Игорь Борисович вступался за честь Татьяны Алексеевны, порой с нарушением правил, а потому однажды был увезен с улицы Королева в известном направлении на пятнадцать суток. Потом запил Панякин, был уволен из милиции и иногда братался с Игорем Борисовичем на наших глазах в автомате. И вот теперь Игорь Борисович начал жить аккуратнее. Страсть его к Татьяне Алексеевне, может, совсем угасла, Татьяна же Алексеевна все крутилась возле Игоря Борисовича, и сейчас разговор их с расстояния представлялся нам нервным.

– Вот, вот, опять! – быстро сказал Михаил Никифорович.

– Что – опять? – спросил Лесков.

– Кто-то окликнул меня.

– Не слышал, – признался я.

– А как тебя окликали-то? – спросил Лесков. – По имени или по фамилии?

– Не по имени и не по фамилии, – угрюмо ответил Михаил Никифорович.

В это мгновение Игорь Борисович Каштанов, чуть ли не кричавший до того что-то Татьяне Алексеевне, встал перед ней на колени, вернее, припал на одно колено, как подданный или как раб, и замер на секунду с опущенной головой. Татьяна же Алексеевна выпрямилась, застыла, будто дочь сандомирского воеводы вблизи фонтана, правую ногу выставила вперед и носком ее постукивала теперь по керамическому полу. Игорь Борисович поднял голову, протянул руки к постукивающей этой ноге – возможно, в то мгновение для Игоря Борисовича и царственной – и снял с нее туфлю. Тут в его движениях вышла задержка. Туфлю он был вынужден поставить на пол и обратился к авоське, висевшей на крюке под полкой, вынул оттуда бутылку портвейна «Агдам», бутылку эту открыл. Татьяна Алексеевна держала ногу несколько на весу, видимо, не желая запачкать чулок. Игорь Борисович наполнил туфлю портвейном «Агдам», бутылку утвердил на полу, поднял туфлю торжественно, будто держал в руке турий рог, оправленный золотом, и был намерен читать стихи, губы его шевелились, потом он церемонно выпил темно-красную жидкость и, не вставая, преподнес туфлю Татьяне Алексеевне. Татьяна Алексеевна туфлю приняла. Рассмеялась зловеще и с силой с размаху туфлей ударила Игоря Борисовича по щеке. Громко заявила: «Так будет всегда!» – надела туфлю и победительницей отправилась к выходу. Игорь Борисович вскочил, побежал на улицу за Татьяной Алексеевной.

– Страсти-то какие! – сказал Лесков. – А ты, Михаил Никифорович, со своими сигналами!

Рассказывая об эпизоде с Игорем Борисовичем и туфлей, я как бы выделил его из жизни автомата, будто бы перенес его на сцену. У людей несведущих могло возникнуть впечатление, что жизнь в автомате прекратилась, все только и были заняты отношениями Игоря Борисовича и Татьяны Алексеевны, глазели на них. Нет. Движение людей с кружками вокруг Игоря Борисовича не прекращалось, если кто и смотрел на него, то так, краешком глаза. Между прочим. Мало ли какие драмы и комедии могли произойти сейчас на других площадках автомата. Кому какое дело до манер Игоря Борисовича! Ну хочет пить на коленях, ну пусть и пьет. Может, ноги его не держат. Это мы, знакомые Игоря Борисовича, проявили к нему внимание, и при этом нас более всего занимала мысль, будет ли пить Игорь Борисович из этой туфли… Однако выпил…

– Фу-ты, как можно пить из такой разношенной! – поморщился Михаил Никифорович. Михаил Никифорович был известен своей чистоплотностью, кружки в автомате мыл минут по пять, хотя и понимал, что толку от этого мало. – Пойду-ка я подышу свежим воздухом…

Он дышал, я беседовал с Лесковым, и тут меня как будто бы кто-то окликнул. Назвал по имени и отчеству. Голос был женский. Я оглянулся. Женщины рядом не было. Спросить Лескова, окликал ли кто меня, постеснялся. «Неужели это из-за тех четырех копеек?» – подумал вдруг. И сейчас же прогнал нелепую мысль. Однако же кто-то окликал…

Автомат был уже забит. Знакомые люди теснились рядом. Кто-то принес кильку, кто-то болгарскую брынзу. Пили уже пиво дядя Валя, летчик Герман Молодцов, два брата инженеры Камиль и Равиль Ибрагимовы, Володя Холщевников с телевидения – тот угощал черными сухариками, приготовленными особым способом, с подсолнечным маслом и чесноком. Появились и таксист Тарабанько, и усатый красавец Моховский, работник банка, он же пан Юрек, и тихий человек Филимон Грачев. Зашел на этот раз и Коля Лапшин. Он, как и дядя Валя, был шофером и тоже имел склонность к фантазиям. Фантазии Лапшина от дяди Валиных отличались. Лапшина влекли иные, нежели дядю Валю, моральные ценности, иные доблести и геройства. Коле было тридцать четыре года. Однако из его рассказов выходило, что он уже провел в колониях особого режима не менее пятидесяти лет. Убивал, участвовал в групповых насилиях и разбоях, грабил банки. Некоторые слушали рассказы Лапшина внимательно и уважали его. Верили, например, что он своим основным предметом может поднять ведро с водой или разбить

граненый стакан. Другими же слова Лапшина брались под сомнение. В особенности дядей Валей. Дядя Валя готов был показать людям, что он-то ладно, а вот Лапшин по всем статьям лгун. Банков не грабил, никого не насиловал и примерный семьянин. Сегодня Лапшин пришел сильно покорябанный. В черных очках. И лоб его и щека были ободраны, а под глазом цвел синяк.

– Асфальтовая болезнь? – участливо спросил дядя Валя.

– Еще чего! – обиделся Лапшин. – Опять задавил.

– Насмерть?

– Насмерть. Восьмой труп. Дура баба. Выскочила откуда-то, а там лед. Она как на коньках и прямо под меня.

– А морду где покорябал?

– А я в столб.

– Врешь, – сказал дядя Валя. – Восьмого давишь – и ни разу не был виноват?

– Ни разу. Они сами.

– Дурочку-то не валяй! Мордой вчера проскребся по асфальту. А нам лапшу на уши вешаешь. У тебя и фамилия такая – Лапшин!

– Да ты! Да я тебя!

Их разняли. Лапшин еще бурчал что-то, а в зал вошли Михаил Никифорович и Игорь Борисович Каштанов. Каштанов был по-прежнему возбужденный. Минуты через две в автомате появился Собко, можно было предположить, что в его кейсе, как и всегда, лежит купленный по дороге килограмм трески горячего копчения в сетке. Так оно и оказалось. Треска была предложена нам.

– Ты что как обиженный воробей? – спросил Собко Игоря Борисовича Каштанова.

– Они нынче вино «Агдам» из туфли пили, – сказал Михаил Никифорович.

– Пил! Ну пил! – взорвался вдруг Игорь Борисович. – Что ты, Миша, понимаешь! Что ты видел в своих курских деревнях! – Игорь Борисович размахивал руками, движения его были красивыми. Как бы поставленными.

– А что же это вы туфлей по лицу схлопотали? – не выдержал Лесков.

– Ну… – сник вдруг Игорь Борисович. – А-а!.. Мне жалко ее… Да что говорить!.. Тут такой узел… И не развязать и не разрубить!..

И на глазах Игоря Борисовича появились слезы. Всем стало неловко. Кто-то пошел за пивом, тихий человек Филимон Грачев достал вырезку с кроссвордом, многие сразу принялись гадать вслух, какой же такой

персонаж пьесы Островского «Без вины виноватые» из пяти букв.

– Серова нет, – сказал Собко, – а он просил напомнить, что известное событие у него в субботу в четыре часа.

Все зашумели, заговорили о шапке.

– Подумаешь, пирожок из каракуля! – сказал Лапшин. – Я однажды на спор съел радиолампу.

– Крошил, что ли, и глотал? Какую лампу-то?

– ЛД-34. Не крошил, а прямо жевал.

– Врет он! – обрадовался дядя Валя. – Он хлеб-то губами мнет. И лапшу.

– Я вру?! – вскипел Лапшин. – Да давай мне прямо сейчас лампу! Хоть целый приемник!

– Опять, – тихо произнес Михаил Никифорович.

– Ты что?

– Опять кто-то зовет меня…

– Тебе, Миша, действительно лечиться надо. Малинки бы тебе на ночь…

Но тут странная сила подняла, подбросила Михаила Никифоровича, повлекла его ввысь, несколько секунд на глазах у публики, растерянный, он висел возле самой чеканки и мог даже коснуться волшебной кружки с курчавой пеной, а потом был опущен на пол.

Хорошо хоть, Лапшин был среди нас в тот вечер. Он заговорил первый.

– Это что! – сказал Лапшин. – А вот меня однажды в Калмыкии, только я в сайгака прицелился, так прихватило и подняло, что я полчаса висел над степью, тут мне бы по нужде сходить, а я ружье держу, штаны расстегнуть нечем, и сайгак убежал…

Эти слова Лапшина нас несколько успокоили. Даже дядя Валя не стал на этот раз оспаривать его сведений. А, видно, подмывало его сказать что-то относительно штанов…

4

И пришла суббота.

Накануне Серов обзвонил всех кого следовало и подтвердил насчет четырех часов.

Была обговорена и процедура субботней встречи. Решили, что и со стороны проигравшего и со стороны победителей должны присутствовать секунданты или ассистенты, которые обязаны следить за чистотой исполнения условий пари. Чтобы потом Останкино не сомневалось. Победители могли пригласить также друзей – по другу на победителя. Желая проявить великодушие и не подрывать экономическую мощь семьи Серовых, мы постановили: совместить друзей и секундантов.

– Как хотите, – сказал Серов. – На стол уже все куплено.

Стол у Серовых был накрыт богатый. Напитков хватило бы и на две смены друзей. Было и пиво. Серов, оказывается, собирал кружки, прекрасные экземпляры их, числом почти пятьдесят, были вывезены им из разных пьющих и непьющих стран, и теперь он хотел, чтобы мы опробовали в деле его коллекцию.

– Всему свое время, старик, – справедливо заметил Собко.

Игорь Борисович Каштанов явился без ассистента и без друга. Михаил Никифорович привел дядю Валю. Не такой уж дядя Валя был ему друг и ассистент, но, видимо, по дороге к Серову Михаил Никифорович увидел дядю Валю и позвал. Я так думал потому, что сам, гадая, кого вести к Серову, заметил тихого человека Филимона Грачева в печали и пожалел его. Летчик Герман Молодцов опоздал, он летал с утра куда-то в низовья Волги и прибежал к Серову без друга, но с семикилограммовым сазаном. Сазан был опущен в ванну. Ассистентом со стороны Собко был признан адвокат Миша Кошелев. Посоветовавшись, доверили ему составление протокола. Володя Холщевников с телевидения тоже пришел без друга. Казалось, Серов был несколько обижен столь малым числом участников встречи, он ждал более серьезного отношения к себе. При нем были два ассистента, его соседи. Конечно, присутствовала и жена Серова, Светлана Юрьевна, блондинка, веселая и крепкая. Такая, наверное, и в городки могла удачливо играть.

Надо сказать, что большинство из нас впервые попало в дом Серова. Мы стеснялись Светланы Юрьевны. Известно, что может думать жена о знакомых мужа по пивной. Но Светлану Юрьевну наше происхождение не

смущало. Возможно, она вообще была женщина без предрассудков.

– Ну что? – сказал Серов. – К столу? И нальем?

– Нет, – покачал головой Собко. – Мы не будем. До этого. А ты можешь.

Собко был самый крупный из нас и самый рассудительный, в командиры не лез, но порой виделся и командиром.

– Давай шапку, – сказал Собко.

Серов сразу стал серьезным, пошел за шапкой. Внес ее он торжественно на блюде для заливной рыбы. Утвердил на столе.

– Нож точил? – спросил Собко. – Или будешь грызть?

– Точил, – вздохнул Серов.

– Но жевать-то ему все равно придется, – предположил летчик Герман Молодцов.

– Мы решили, – сказал Собко, – для облегчения твоей участи разрешить тебе воспользоваться растительным маслом или сметаной. Можешь макать кусочки в жидкость.

– Нет, – сказал Серов строго. – В этом нет нужды.

«Экая в нем гордость», – подумал я.

– Ты не робей! – вступил дядя Валя. – Михаил Никифорович врач, поможет, если что…

– Да, старик, – подтвердил Собко, – дело тут рискованное, и мы попросили медицинского работника иметь при себе аптечку, английскую соль и клизму.

Лицо Серова так и осталось строгим, а вот крепкая блондинка Светлана Юрьевна обрадованно рассмеялась. И мы поняли, что она не только крепкая, но и задорная.

– Прошу победителей, побежденного, секундантов и протоколиста, – сказал Собко голосом церемониймейстера, – занять свои места. А уж Светлану Юрьевну в особенности.

Места были заняты мгновенно. Один лишь Серов не сел, застыл в задумчивости, его не теребили, может, он так себе и намечал – кушать стоя. Серов глядел на шапку. И мы стали глядеть на нее.

Некоторая метаморфоза происходила в нашем отношении к этой шапке. Раньше мы на нее и не обращали внимания. Ну шапка и шапка на голове у Серова. Ну пирожок. Правда, из каракуля. По нынешним временам, стало быть, дорогая вещь – только такое летучее соображение прежде и являлось. Но теперь-то перед нами, лишенная своей бытовой функции, переместившаяся с головы Серова или с вешалки в прихожей на фаянсовое блюдо для заливной рыбы, шапка превращалась в нечто

особенное, чуть ли не в живое существо, которому сейчас предстояло быть принесенным в жертву, предстояло погибнуть и исчезнуть. Коричневые тугие завитки, казалось, вздрагивали и шевелились в ожидании заклания. Но и Серов будто бы сейчас изменился, словно бы разросся – так виделось мне, – стал фигурой особенной, идолом каким-то или жрецом…

– Не жаль вам вещи-то? – обратился летчик Герман Молодцов к Светлане Юрьевне.

– У него есть еще одна, – рассмеялась Светлана Юрьевна. – А в случае чего пришлют шкурку, из Бухары.

Их слова отчасти нарушили возвышенные состояния наших душ. Но отчасти…

Собко снял часы с руки, положил на стол, сказал:

– Я засекаю время.

– Да, да, – кивнул Серов.

Нас он и не видел сейчас. Возможно, тоже находился мыслями и душой в неких высях. А впрочем, был он человеком практическим, как тот же Герман Молодцов, и вполне мог теперь думать и о стоимости вещи или же об услугах Михаила Никифоровича.

Но вот Серов сел на стул, подвинул блюдо к себе, взял вилку и нож. Наточенный нож долго не мог справиться с каракулем, еще и подкладка мешала. Теперь приходилось жалеть о том, что накануне не было консультации с понимающими людьми, хотя бы со скорняками и шорниками, и вот Серов маялся, разделывая меховое изделие (живое жертвенное существо из квартиры уже как будто бы исчезло). Наконец он отрезал кусочек, выпилил, выковырнул его. Вцепиться в мех вилка не смогла, и Серов, забыв о приличных манерах, сдернув салфетку, пальцами сунул кусок шапки в рот. Долго жевал. И вот кадык его дернулся, челюсти разжались.

– Проглотил? – спросила Светлана Юрьевна.

– Проглотил, – кивнул Серов.

Тут мы ожили. Можно было и к угощениям тянуться. Но мы не потянулись. Серов стал отрезать новый кусок. Потолще.

Надо ли было ему есть дальше? Не одному мне, чувствовалось, пришла в голову эта мысль. Ну ладно, проявил Серов готовность к исполнению условий пари, убедил нас в том, что сможет, испортил шапку, и хватит! Мы строгие, но отходчивые. Кто-то сказал об этом, правда, робко. Как бы от себя. Но Серов продолжал. Резал, жевал и проглатывал. Тут уже и Собко произнес с некоторой надеждой:

– Ну, наверное, хватит, старик.

Но Серов только мотнул головой… Минут через пятнадцать он съел уже треть шапки. Он стал нас раздражать. Создавалось впечатление, что он издевается над нами или – хуже того – получает удовольствие от своей пищи. Нам-то каково! Что же нам-то смотреть, как он выламывается, смотреть на стол, на котором стынут и сами по себе холодные закуски. И в этом богатом столе виделось уже нам заранее придуманное издевательство. Когда Серов мучился с первым куском каракуля, он был нам друг. Теперь же, обедающий в одиночку, он стал нам врагом. А судя по скорости движения его челюстей, нам еще предстояло сидеть дураками не менее сорока минут.

И тут Серов подавился.

Он вздрогнул, дернулся, подался вперед, будто его должно было вырвать. Мы сразу же поняли, что дело тут серьезное. Михаил Никифорович подскочил к Серову, стал колотить его по спине. Не помогло. Лет десять назад один мой знакомый погиб оттого, что ему в дыхательное горло попал кусок отбивной. Сейчас Серов откинулся на стуле и был похож на того знакомого. Глаза его закатились, лицо синело. Лишь однажды дернулись веки, шевельнулись губы, какое-то усилие делал Серов, последнее, прощальное, или молил о чем-то, просил спасти, но сразу же лицо его стало неподвижным.

– Толя! Толя! – кричала Светлана Юрьевна. – Нет! Нет!

– В «скорую»! Надо в «скорую»! – бросился к телефону Собко. – В реанимацию!

– Миша! Ты же медик!

– Разрешите! – услышали мы вдруг.

Мы обернулись.

Женщина шла к столу. Шла быстро. Мягко, но и с силой отстранила, чуть ли не оттолкнула Михаила Никифоровича, склонившегося над Серовым, руку опустила на лицо Серова, прошептала что-то тихое, спокойное, и Серов ожил.

Он встал и принялся ходить вдоль стола. Правая рука его поднималась, будто указывая на нечто, и губы дергались. Сначала его движения показались мне бессмысленными, но потом я понял, что он пересчитывает свои коллекционные пивные кружки.

– Анатолий Сергеевич, – сказала женщина, – вы сядьте.

Серов поглядел на нее удивленно, но не сел.

– Толик, – сказала женщина ласково, – сядь.

Серов кивнул, подошел к своему стулу, сел. Недоеденная шапка лежала перед ним на рыбном блюде.

Теперь удивленно поглядела на женщину Светлана Юрьевна. Потом она перевела взгляд на мужа, взгляд этот как бы соединил женщину с Серовым, и было в нем подозрение.

Надо сказать, что хождение Серова вдоль стола нас несколько успокоило. Суетились мы вокруг потерявшего сознание Серова, понятно, перепуганные, понимание же всей серьезности случая должно было прийти к нам после. И вот мы отдышались. Все сознавали, и тем не менее мысли наши об отлетевшем ужасе, о возможности гибели Серова были теперь легкими. То ли оттого, что Серов ожил и позволил себе энергичное хождение вдоль стола. То ли оттого, что за его стулом стояла новая для нашей компании женщина.

– Садитесь, – твердо сказал Серов. – Надо доесть.

– Да ты что! Зачем! Хватит! – зашумели мы.

– Нет, – сказал Серов. – Садитесь.

И он доел шапку.

Доел быстрее, чем следовало ожидать. Мы не так волновались теперь и за него и за себя. Только Светлана Юрьевна нервничала, но не из-за шапки. Серов стал вытирать салфеткой губы, а Светлана Юрьевна сказала с укоризной:

– Толя, ты освободился и, может быть, познакомишь нас с новой гостьей?

– Я не знаю ее, – сказал Серов, впрочем, тут же спохватился, поклонился незнакомке, сказал: – Извините…

– То есть как не знаешь! – теперь уже с угрозой произнесла Светлана Юрьевна.

Этой угрозы я от нее не ожидал. «Ты врешь! – читалось на лице Светланы Юрьевны. – Ну а если и незнакома, что же торчит здесь, могла бы уже и катиться!»

Неловко нам всем стало.

– Это моя ассистентка! – вскричал дядя Валя. – И даже не моя! А Михаила Никифоровича! Ведь он тогда бутылку открывал! Не я же! Михаил Никифорович, ты что молчишь! – И дядя Валя толкнул Михаила Никифоровича в бок.

– Да… – пробормотал Михаил Никифорович, – моя… она… подруга и эта…

В иной раз педант Собко обратил бы наше внимание на то, что Михаил Никифорович привел уже одного друга и ассистента, а именно дядю Валю, и, стало быть, хватит. Но тут он промолчал.

– И как же вас зовут? – улыбнулась Светлана Юрьевна подруге

Михаила Никифоровича.

Незнакомка словно бы растерялась.

– Любовь Николаевна ее зовут! – обрадовался дядя Валя.

– Да, Любовь Николаевна, – быстро согласилась гостья, – Любовь Николаевна Кашинцева. Или просто Люба.

– Что же вы стоите-то, Люба, – подскочил дядя Валя, – вы садитесь вот сюда, между мной и вашим Михаилом Никифоровичем.

Любовь Николаевна села, дядя Валя тут же обхватил ее за плечи, Любовь Николаевна руку его сняла, прошептала дяде Вале что-то строго, но доверительно, отчего дядя Валя рассмеялся и сказал громко:

– Но беда-то ведь небольшая, а?

А Михаил Никифорович нахмурился и взглядом дал понять дяде Вале, что поведение его бестактное.

– Да я же к Любочке как отец, – объяснил свой порыв дядя Валя.

А Светлана Юрьевна отошла. И на Любовь Николаевну и на Михаила Никифоровича смотрела ласково. Победу Серова над каракулевой шапкой отметили шумно, со звоном бокалов. Протоколист Миша Кошелев представил нам проект протокола; имевшие право подписаться под ним – подписались. И понеслось застолье.

Тут мы потихоньку рассмотрели Любовь Николаевну.

Женщина она была приятная. То есть так казалось. Это именно она пыталась подойти к нам в автомате, но двое мужчин заслонили ее, и она исчезла. Тогда она шла к нам в свежей дубленке и большой лисьей шапке. И теперь она была одета прилично. Не знаю, какие нынче наряды в Кашине – я был там в последний раз лет пятнадцать назад, – но, во всяком случае, наша Любовь Николаевна провинциалкой не выглядела. Для Москвы, оговорюсь, для Москвы! Может быть, для какого-нибудь Парижа она была явная провинциалка. А для нас внешность и манеры ее сошли вполне за светские. К Серову явилась она в джинсовом костюме, и было видно, что костюм этот не от «Рабочей одежды». В красоте, или, вернее, миловидности, ее лица виделось нечто стандартное, но, впрочем, забавный короткий нос, полные губы, тихая крестьянская улыбка, правда, редкая, отчасти эту стандартность разрушали. И была сегодня у Любови Николаевны коса, темно-каштановая. Но не та коса, которая для иных женщин, особенно пышных, становится как бы сущностью натуры, а коса, скорее, декоративная, элемент сложной прически, сочиненной дамским мастером в стиле ретро. Нет, неплохо выглядела подруга Михаила Никифоровича, и не наблюдалось в ней ни необыкновенных щек, ни кривых клыков, обещанных нам Филимоном Грачевым. Как и Михаил

Никифорович, я дал бы ей лет двадцать пять – двадцать семь.

Сидела она смирно, больше молчала. Как бы прислушивалась и присматривалась к нам. Даже я ощутил дважды ее заинтересованный взгляд. Словно бы исследовательский. Мы и сами на нее глазели. Экое явление! Впрочем, скоро застолье отвлекло нас от наблюдений за Любовью Николаевной. Пошли в ход и коллекционные кружки, Светлана Юрьевна принесла из кухни горячие креветки, в шуме и звоне Любовь Николаевна как бы утонула: была она за столом и не было ее. Однако через час мы о ней вспомнили. Курильщики решили выйти из-за стола, я не курю, но тут понял, что и мне нужно выйти. И так случилось, что у шахты лифта мы оказались всемером: Михаил Никифорович, Игорь Борисович Каштанов, дядя Валя, Филимон Грачев, я, Серов и Любовь Николаевна.

Курила она «Новость», Игорь Борисович протянул ей зажигалку, она затянулась, пальцы у нее были тонкие, красивые.

– Извините, пожалуйста, что я об этом поведу речь, – сказала Любовь Николаевна, – но мне ночевать негде.

Мы молчали, смотрели в стены.

– Вы ведь разбили бутылку там, на детской площадке, – сказала Любовь Николаевна. – Где же мне жить?

– У меня вся комната завалена гирями и гантелями, – хмуро заявил Филимон Грачев.

– Жить я имею право лишь у основных владельцев бутылки, – сказала Любовь Николаевна деликатно, как бы извиняясь перед Серовым, мной и Филимоном.

Мы с Серовым только головами покачали. Вот, мол, какие печальные обстоятельства.

– Любовь Николаевна, – галантно произнес Игорь Борисович Каштанов, и было видно, что говорит он искренне, – я бы с удовольствием ввел вас в мой дом, но моя соседка тут же наскребет жалобу, я же в плохих отношениях с райисполкомом.

– А я импотент! – выскочил дядя Валя. – У меня был климакс! Я тем более не могу.

– При чем тут импотент? – удивился Каштанов.

– А при том! – обиделся дядя Валя. Потом он сказал: – И бутылку я не открывал и не разбивал. Я бы посуду сдал. Это Мишка трахнул ее о кирпичи!

– Я же нечаянно… – пробормотал Михаил Никифорович.

– А у меня из-за этой бутылки… – жалобно произнесла Любовь Николаевна, и губы ее нервно вздрогнули, – у меня из-за нее… Я и прийти-

то к вам не могла… И…

Она сразу же замолчала. Видно, и так сказала лишнее.

– Не печальтесь, Любовь Николаевна, – заверил ее растроганный Каштанов. – Мы вас пристроим. Вот у Михаила Никифоровича однокомнатная квартира.

– Да уж, – обрадовался дядя Валя, – ты, Миша, бери ее! Ты бутылку разбил!

Мы поддержали Каштанова и дядю Валю.

– Пожалуйста, – неуверенно произнес Михаил Никифорович, – только ведь Любовь Николаевна – женщина, я буду стеснять ее.

– Ничего, – сказал дядя Валя. – Да я бы на твоем месте!..

– Я столько пережила за эти дни… – сказала Любовь Николаевна. – Мне так нужно было выйти к вам, а я не могла… Вот только когда ощутила просьбу Анатолия Сергеевича, лишь тогда я прорвалась…

Мы вспомнили то мгновение. Просьба Серова, а то и мольба его, была существенная… Но сейчас мы уже думали о Любови Николаевне. Стояла она тихая, нежная, с влажными глазами, и мы расчувствовались, жалели ее, хотели бы ее поддержать, а то и приласкать, как беззащитное дитя.

Тут нас позвали к столу: была подана индейка.

– Знаете, – сказала Любовь Николаевна, – пока это все снова не началось…

– Пока глаза у нас еще умненькие! – уточнил дядя Валя.

– Да, именно так, – продолжила Любовь Николаевна. – Я бы хотела просить вас об одолжении. Мне нужно знать о ваших желаниях, но о желаниях не случайных, не пустячных, исполнение которых, может, и пользы вам не принесет, а о желаниях, для каждого из вас важных… Вы подумайте, и завтра мы встретимся…

– Зачем же завтра! – сказал Каштанов. – Вы отдохните, с Москвой познакомьтесь. Сходите на ВДНХ. Или в «Ванду» – в «Вечерке» пишут: там фестиваль косметики. Или на Таганку. А уж потом соберемся.

– Хорошо, – согласилась Любовь Николаевна.

Мы ели индейку и запивали ее кто чем. Тут и позвонили в дверь Шубников с Бурлакиным. В доме Серовых прежде они не были. Да и в автомате Серов вряд ли здоровался с ними, так, наблюдал их порой… А они пришли.

– Ба! – заорал Шубников. – Вот вы где от нас попрятались! В Останкине только и разговоров что про шапку. Мы с Бурлакиным на Птичке мерзнем, а они здесь пьют и закусывают! Нехорошо, господа офицеры!

И Шубников с шумом занял стул, руки протянул к блюду с индейкой.

– Слушай, Шубников, – сказал я, – чего вы пришли-то? Вас кто-нибудь звал сюда? Толя, ты звал их?

– Ну! – обиделся Шубников. – Это, наконец, не по-джентльменски! Вы, гости-ветераны и хозяева, нас, свежих, замороженных, должны были бы приголубить и обогреть, а ты дерзишь! – И он положил себе на тарелку приметный кусок белого мяса, в мюнхенскую же кружку плеснул «Сибирской».

– Что такое? Что такое?! – появился в комнате Бурлакин, задержавшийся было в прихожей.

– Да вот попрекают нас с тобой, Бурлакин! – сказал Шубников.

– Какие неблагородные люди! – взревел Бурлакин. – А у них там в ванне рыба плавает! И фыркает!

– Мой сазан, что ли? – удивился летчик Герман Молодцов.

– Сазан! Ничего себе сазан! Кит! Моби Дик! Нам бы его, мы бы на машину наторговали!

– А они нам его подарят, – сказал Шубников. – Зачем им сазан-то? Мы здесь только одни с тобой и понимаем душу животных.

– Тут и женщины! – оглядев компанию, повеселел Бурлакин. – Но мы им не представлены.

И Бурлакин, как бы имея в виду женщин, исполнил некий книксен. Покачнулся, но все же выпрямился. Все были сытые и напоенные, благодушествовали, я со своим неприятием Шубникова и Бурлакина остался в одиночестве. Они были представлены Светлане Юрьевне, проявили себя комплиментщиками. Ручку у дамы целовали и вспоминали строки из песен трубадуров («Я, вешней свежестью дыша, на пыльную траву присев, узрел стройнейшую из дев, чей зов мне скрасил бы досуг…»). Словом, кое-как оправдали свое высшее образование, отчасти гуманитарное. Пришел черед Любови Николаевны. Услышав о том, что эта прелестная амазонка – подруга Михаила Никифоровича, Шубников, видно, сразу что-то заподозрил.

– Миша, – заявил он тоном сюзерена, – а насчет трех рублей ты не забыл?

– Двух с половиной, – вздохнул Михаил Никифорович.

– Ну двух с половиной. Экий ты педант!

– Не забыл. Пожалуйста, возьми их.

– Ну уж нет! Ты мне их теперь не всучишь! Я догадываюсь, чем тут пахнет. Я свои права и возможности знаю!

– Мы знаем свои права! – загоготал Бурлакин.

– Меня не проведут. Я за эти три рубля и сотню не возьму! – заявил Шубников грозно. Но тут же успокоил публику: – А вот сазана я возьму. Не за те три рубля, конечно, а так.

Все пошли смотреть молодцовского сазана. Молодцов уверял, что его сазан еще утром резвился в Волге и лишь по дурости и недостатку воображения дернулся к проруби, но когда перед съедением шапки сазана выгружали из рюкзака и опускали в ванну, то вид он имел скорее усопшего, нежели живого, хотя и дергал хвостом. Сейчас же он плавал и резвился и выглядел на все свои семь килограммов. Бурлакин с Шубниковым только руки потирали и охали:

– Такого бы на Птичку! С этакой драматической мордой он бы им показал!

Неожиданно моим союзником выступил Собко. Он сказал Серову:

– Старик, отдай ты им рыбу. И пусть они катятся.

– Фу! Это грубо! – расстроился Шубников.

Впрочем, тут же он побежал на кухню, отыскал там ведро, какое не могло не оказаться на кухне останкинской квартиры, с трудами и воплями всунул рыбу в ведро и сказал Бурлакину:

– Пошли. Пока живой!

Уже в дверях Шубников скорчил зловещую рожу и сказал Михаилу Никифоровичу:

– Помни про три рубля-то! Помни! – Потом добавил: – Рыбка ты моя золотая!

Глядел он не на ведро с сазаном и не на Михаила Никифоровича, а прямо на Любовь Николаевну. И смех его был мерзкий.

После ухода Шубникова с Бурлакиным все вернулись к индейке, но тихим стало застолье. То ли о сазане скучали, то ли еще о чем… Потом возникла гитара. И запели. «Гори, гори, моя звезда…» – громко пел Герман Молодцов. И мы подпевали. Неожиданно запела Любовь Николаевна. Голос у нее был красивый, низкий, грустный. Пела она вот что: «Что ты жадно глядишь на дорогу в стороне от веселых подруг…» Пела медленнее, чем того требовал привычный темп песни, и оттого ее пение казалось усталым, печальным и вечным. Остальные голоса как бы расступились и отпали. Все умолкли. Я слушал Любовь Николаевну закрыв глаза. Деревня виделась мне, изгибы неспешной речки Кашинки, трепет листьев на прибрежных ивах, дрожание и покачивание водорослей в прозрачной, пока еще не зацветшей воде. И вдруг в видениях этих мелькнуло зловещее лицо Шубникова…

5

Назавтра мы, пайщики кашинской бутылки, встретились у Михаила Никифоровича.

Мы с Серовым сразу заявили, что свои голоса считаем совещательными, раз женщина и ночевать у нас не имеет права, поговорить поговорим, а решать дело не наше. Филимон Грачев промолчал. Он-то был намерен решать, но кроссворд. Он и достал вырезку из рекламного приложения к «Вечерке».

Поначалу мы прошлись по квартире, пытаясь обнаружить следы пребывания здесь женщины. Но ничего этакого не обнаружили. По сведениям Михаила Никифоровича, Любовь Николаевна на самом деле с утра ушла смотреть Москву, видно, ей тут все было в новинку.

– Небось с авоськами пошла, – предположил дядя Валя. – Или с рюкзаком. Я бы давно все электрички посжигал! Ну как, Миш, баба-то она ничего?

– Я-то откуда знаю…

– Ну ладно, Миш, дурачком-то не прикидывайся! – Дядя Валя подмигнул нам. – И ночевать она пошла сразу к тебе. Не к кому-нибудь.

– Дядя Валя, – сказал Михаил Никифорович. – она ведь и к вам просилась, да вы ей отказали…

– Просилась! Если б хорошо просилась, то и устроилась бы. И уж не жалела б. Но зачем мне она? У меня уже одно животное есть. Собака.

– Я пришел, постелил себе в ванной, – сказал Михаил Никифорович, – сразу заснул. Ее не видел.

– А что она ела-то? – спросил дядя Валя.

– По сковородке можно понять: делала яичницу.

– Этак она тебя по ветру пустит.

– Было бы что пустить, – сказал Михаил Никифорович.

– Ну ладно, – заметил Серов. – Она возьмет и придет. А мы так и не выработаем никакой программы.

– Я, – сказал Игорь Борисович Каштанов, – от такой женщины ничего не буду просить, ни тем более требовать.

– А что в ней такого особенного? – сказал дядя Валя. – Баба как баба. Только что из Кашина. Но Каштанов прав. Не должны мы, здоровые мужики, сесть на шею Любочке!

– Кстати, – спросил я, – почему Любочка? Почему – Любовь

Николаевна? Откуда это?

– Оттуда, – сказал дядя Валя. – Была у меня когда-то Любовь Николаевна… И я вам доложу… – Дядя Валя замолчал. Застеснялся.

– Но ведь Любовь… эта женщина… она ведь не ваша подруга, а Михаила Никифоровича…

– Ну и придумывал бы Мишка ей имя! – сердито заявил дядя Валя. – И почему же это одного Михаила Никифоровича? Я что, не вносил рубль сорок четыре? Но не будем выклянчивать у Любочки того-сего. Не будем просить, чтобы у нас в домах кисель тек из кранов, чтоб ворота «Спартака» от мяча бегали, чтобы она нам носки штопала.

– А меня вот что волнует, – сказал Серов. – Не связаны ли будут… эти… ну, наши отношения с Любовью Николаевной с какими-либо обязательствами… Не придется ли нам за них расплачиваться… Как бы не было тут какой-нибудь шагреневой кожи или портрета Дориана Грея…

– Или геенны огненной! – вставил дядя Валя.

– Какие вы мистики! – удивился Каштанов. – Да такая женщина!..

Мы с Михаилом Никифоровичем посчитали соображение Серова здравым. И решили: выясним прежде насчет обязательств и уж потом будем говорить об услугах и желаниях. Я-то вообще не стал бы ни о чем просить Любовь Николаевну, даже если бы и дал на бутылку не четыре копейки, а рубль пятьдесят. И Серов заявил, что ему никакие ее услуги не нужны. Тут, правда, была одна тонкость – Серов-то уже воспользовался услугой. Я чуть было не напомнил ему об этом, однако вышла бы бестактность. Да и вряд ли в то мгновение Серов мог помнить о кашинской бутылке и молить о чем-то именно Любовь Николаевну.

– Ну ладно, – сказал Серов, – надо составлять документ. Садитесь, Игорь Борисович, и пишите. А впрочем, что я вам говорю, вы документ и составляйте, а мы втроем будем зрителями.

– И советчиками, – сказал дядя Валя.

– По части формулировок, – уточнил Серов.

И действительно, документ был составлен без промедления. То ли из-за спешки, то ли потому, что авторы документа были не совсем искренни друг перед другом и как бы оставляли в стороне главные свои интересы и заботы, не проникла в документ особенно интересная информация о каждом из пайщиков кашинской бутылки. Была проявлена и некая осторожность по отношению к Любови Николаевне, а то ведь на самом деле, развесивши уши, можно было вляпаться с ней неизвестно во что. Пайщики давали понять Любови Николаевне, что они существа одушевленные и самостоятельные, что они сожалеют о требовании,

предъявленном ей на детской площадке, хотя там заявка на коньяк ереванского розлива и портвейн «Кавказ» была отчасти вызвана драматичностью ситуации. «Больше никогда в жизни», просил записать лично от него в документ дядя Валя, – он был решителен и горд, правда, что-то тут же произнес, не слишком, впрочем, внятное, о прибавке к пенсии из Испании. С поправками к документу выступил Игорь Борисович Каштанов. Он просил подчеркнуть, что не намерен посягать на женские достоинства Любови Николаевны, не будет использовать никакие ее прелести, в чем и нам предлагает поддержать его. То есть все были благонамеренными и никаких кусков ухватывать не желали.

– Ей самой надо помочь, Любочке-то, – сказал дядя Валя уже в лифте. – Что-то у нее там не получается, помните, как она вчера то и дело страдала.

– Затурканная она, – согласился Михаил Никифорович.

– И нежная, – сказал Каштанов. – И верно вы ей, дядя Валя, имя нашли. Именно Любовью ее и звать…

– Какой Любовью! – поморщился Филимон Грачев. – Варварой ее звать! И больше никем!

6

На следующий день мы встретились с Любовью Николаевной на квартире Михаила Никифоровича. Опять возникло собрание. А когда мы стали рассаживаться, вышло так, будто бы мы избрали Любовь Николаевну председательницей. Или, скажем, будто бы Любовь Николаевна была народным судьей, а мы заседателями.

– Я познакомилась с вашей запиской… – начала Любовь Николаевна.

– Простите, – сказал Серов, – у меня есть своего рода предварительные соображения…

И опять пошли слова о шагреневой коже, о портрете Дориана Грея, но выяснилось, что ни Бальзака, ни Уайльда Любовь Николаевна не читала.

– Но я вас поняла, – сказала Любовь Николаевна. – Нет, вы не будете связаны каким-либо обязательством. Вы уже заплатили.

– Пять рублей, что ли? – спросил дядя Валя.

– Пять рублей тридцать копеек, – кивнула Любовь Николаевна.

– И все? – удивился дядя Валя.

– И все, – сказала Любовь Николаевна. – Но вы меня опечалили. Вы ведь мне ничего не приказали.

– В этом нет нужды, – сказал Каштанов.

– Да, – подтвердил Михаил Никифорович. – Нет нужды. Мы самостоятельные. Мы – мужики. И не расстраивайтесь. Как раба вы нам не нужны. И в бутылку мы вас не закупорим.

– Такую-то женщину! – сказал Каштанов.

– Гуляйте себе, веселитесь, – продолжил Михаил Никифорович. – Тратьте свободно свою молодую жизнь.

– Нет, – сказала Любовь Николаевна грустно. – Вы все неверно понимаете. Я ведь теперь для вас неизбежна. Даже если вы намерены отказаться от меня, то я не имею возможности вас бросить. Вы поймите. Ведь я не только ваша раба, но и ваша берегиня.

Филимон поднял голову и посмотрел на Любовь Николаевну с удивлением. Таких слов он в кроссвордах не встречал.

– Что-то в «Неделе» было, – задумался Серов, – про берегиню…

– Нет, в «Труде», – сказал дядя Валя, он уважал исключительно «Труд».

Я знал про берегиню, наверное, больше других пайщиков кашинской бутылки, читал труды академика Бориса Александровича Рыбакова и иные

умные книги, но говорить об этом сейчас не стал.

– Я предупреждала вас еще там, на детской площадке, – сказала Любовь Николаевна, – что я раба и берегиня.

Некая энергия и резкость проявились в последних словах Любови Николаевны, будто она желала принудить нас к чему-то. Это мне не слишком понравилось. Впрочем, мне-то что было волноваться! Я себя и осадил. Я бы и на собрание пайщиков кашинской бутылки не пошел, но попробуй усмири любопытство…

– А как берегиня, – сказала Любовь Николаевна, – я обязана действовать самостоятельно, не дожидаясь ваших просьб.

– Так дело не пойдет, – покачал головой Михаил Никифорович. – Вы раба и уж будьте покорны!.. – Михаил Никифорович, минуту назад улыбавшийся, сидел сердитый. Всегда он был мирный и доброжелательный, а сейчас в нем что-то взыграло. – Если вы будете так вести себя, – продолжал он, – я охотно признаю, что те два сорок были не мои, а Шубникова.

– Ты что, Миша! – испугался дядя Валя. – Он и так уже у нас рыбу унес. Семь килограммов.

– Ничего, – сказал Михаил Никифорович, – вот Шубникову нужны рабы и берегини.

А Любовь Николаевна заплакала.

Кому из мужчин приятно смотреть на женские слезы. Да еще в компании! Тут все сразу же принимаются изучать потолок и посуду за стеклом серванта – из деликатности и в расчете, что слезы скоро сами собой иссякнут. Не бросаться же за стаканом воды – вовсе не героиня Жорж Санд перед тобой, а современница Светланы Савицкой. Лишь чувство неловкости возникает, как будто нарушаются правила общежития или неизбежный ход эмансипации. Или даже подозрения вспыхивают – не артистические ли это слезы, не притворные ли? Но Любовь Николаевна, похоже, не играла, а заплакала честным образом. И та ее назидательная энергия, которая минутами раньше насторожила меня, забылась. И жалко стало Любовь Николаевну, будто она девочкой-лимитчицей приехала к нам из своего добрейшего Кашина или ближней к Кашину лесной деревни с желтыми кувшинками в тихой поленовской воде и сейчас сидела раздавленная, испуганная напором жестокой столичной суеты. И нам ли, этой суетой взлелеянным, ко всему привыкшим, было терзать чистую, наивную душу! Нам бы подумать, сколько у этой кашинской девчонки забот и страхов – и с пропиской, и с устройством на работу, и вообще с гражданским состоянием и с прочим! Может, и деньги, спрятанные где-

нибудь в платье или на груди, кончились у нее. Может, от троллейбусов она шарахалась, а в автобусах ее тошнило! И какие муки пришлось ей испытать, заставляя себя войти в пивной автомат. А нам бы только от нее отделаться, бросить ее, слабую, в водопады московской жизни!.. Не один я, видимо, так думал сейчас, и другие пайщики были растроганы. Дядя Валя встал, подошел к ней, даже движение рукой сделал, будто хотел погладить Любашу (Любаву?), успокоить ее, бедолагу, но сдержался.

Один Михаил Никифорович сидел строгий.

И этот строгий мужчина был намерен передать Любовь Николаевну наглецу Шубникову! Беззастенчивому торговцу перекупленными щенками и взрослыми вонючими псинами. А уж тот-то при своей склонности к авантюрам, при своем бузотерстве мог не только развратить Любовь Николаевну, но и вовсе погубить ее, мог вообще черт-те чего наделать в Москве.

– Да ты что, Миша, – заговорил Филимон, – злюка-то какой!

– А ничего, – сказал Михаил Никифорович.

– Не позволим к Шубникову! – заявил дядя Валя. – Не дадим!

Шелковым платком Любовь Николаевна вытерла слезы. Улыбнулась. И будто бы мы услышали звуки деревенского утра, когда роса на листьях подорожника еще хрустальная и холодная, и будто бы запахло в комнате парным молоком.

– Извините меня, – сказала Любовь Николаевна, – за бабью слабость… И не из-за Шубникова я… Я не знаю, как мне жить дальше… Как быть с вами… И с собой… Может быть, я не поняла многое из того, что должна была знать… Про свое назначение… Про то, что и как делать…

– Нет, надо пожалеть девушку, – обратился к нам дядя Валя. И спросил Любовь Николаевну: – А может, мне удочерить тебя?

Любовь Николаевна покачала головой.

– Это лишнее, дядя Валя, – сказал Игорь Борисович Каштанов, и были некий протест в его голосе и словно бы напоминание и о его правах. – Нам просто надо принять условия Любови Николаевны. Придется помочь ей. Будем терпеть.

– А я что говорю? – сказал дядя Валя. – Тем более что тут кашинский эксперимент! – добавил он.

– Что там – эксперимент или еще что, нас это не должно касаться, – осторожно заметил Серов.

– Тебя это пусть и не касается, – указал ему дядя Валя, – а мы к экспериментам относимся серьезно. Штемпель-то на бутылке стоял государственный!.. А насчет удочерения вот что, – обернулся он к

Каштанову. – Одна она в Москве пропадет. Ты же видишь, она неприспособленная. И как, ты думаешь, мы будем крутить с пропиской?

– Вы сначала у самой Любови Николаевны спросите, – сказал Каштанов, – согласна ли она на это ваше удочерение.

Глядел он на Любовь Николаевну с обожанием и с неким значением, будто бы Любовь Николаевна должна была показать теперь же всем, что он, Игорь Борисович, из пайщиков кашинской бутыли ей самый интересный и близкий.

– Ну если не удочерение, – сказал дядя Валя, – тогда фиктивный брак.

– С вами, что ли? – брезгливо сжал губы Каштанов.

– Ну пусть с тобой. Или с Мишкой.

– С Шубниковым, – твердо сказал Михаил Никифорович.

Все возмутились, стали стыдить Михаила Никифоровича. А Любовь Николаевна поднялась, сказала тихо:

– Спасибо вам за участие. Но ни удочерять, ни выдавать меня замуж не надо.

И она нам всем поклонилась. Словно прощаясь. Было ощущение, что она сейчас исчезнет. Изойдет тихим дуновением. Как некое наваждение, бередившее наши души. И останется в нас только печаль. А может, и боль… Но Любовь Николаевна не исчезла, не рассеялась в прохладной мысленной дали, опять явно материальное и человеческое случилось в ней – снова глаза ее стали влажными.

– Как же мне жить, – сказала она, – если вы от меня отказываетесь?

– Все! – вскричал дядя Валя, сам чуть не плача. – Не могу больше!

– И я! – вскочил Каштанов.

– Погоди, я первый, – осадил его дядя Валя.

– Но как же Михаил Никифорович, – сказала Любовь Николаевна, – ведь он… – Тут она замолчала, не желая, видно, из деликатности разъяснять, кто для нее Михаил Никифорович.

– Ладно, Любаша, вы на него не глядите, – сказал дядя Валя. – Они, курские, сами знаете. Но беда-то ведь небольшая, а? А я уж ладно. Я сдаюсь. Готов на первое желание!

– Я вас слушаю, – кивнула Любовь Николаевна.

Дядя Валя, Валентин Федорович Зотов, тут же выразил желание побыть электросексом, который лечит и двигает глазами. После уточнения терминов он согласился быть экстрасексом.

– Экстрасенсом…

– Ну ладно… экстрасенсом, – сказал дядя Валя и нахмурился. Он, видно, засомневался в чем-то и потому добавил нерешительно: – Со

следующей недели.

– Хорошо, – сказала Любовь Николаевна.

– Ну! – торжествующе обратился дядя Валя к Михаилу Никифоровичу. – Теперь ты!

– Любовь Николаевна, – сказал Михаил Никифорович, – жидкость в той бутылке была какая? Пшеничная? Или из табурета?

– Ну если даже из табурета? – обиженно спросила Любовь Николаевна. – Что тогда?

– Что ты к ней пристал! – рассердился Каштанов. – Что ты взъелся-то! Из-за немытой сковородки, что ли?

– Из-за какой сковородки? – насторожилась Любовь Николаевна.

– Это мое дело, – встал Михаил Никифорович. – Простите, я должен идти. Ждут рецепты.

Молча он направился в прихожую, надел свое серое пальто, кепку. Открыл дверь. А мы молчали. Делать нам в квартире Михаила Никифоровича больше было нечего. Мы вышли вместе с ним. Каштанов фыркал возмущенно, губы тонкие сжимал. Дядя Валя лишь плечами подергивал. А не нам с Серовым и Филимоном Грачевым было требовать от Михаила Никифоровича объяснений. Одно было отрадно: не попросил Михаил Никифорович Любовь Николаевну покинуть его квартиру.

Впрочем, нам-то какое до этого было дело…

7

Дней через десять я узнал, что дядя Валя надорвался.

Он еле ходил, плохо ел, мерз душой. Собаку дядя Валя по улице Кондратюка все же выгуливал, но получалось так, словно бы собака выгуливала его.

А началось все со случая с таксистом Тарабанько.

Случая этого я был очевидцем.

Открывая в пивном автомате банку трески в томатном соусе, Тарабанько порезал палец. Даже и не порезал, а поцарапал лохматым краем измученной ножом крышки. Но кровь была. Тарабанько стоял, отправив палец в рот. Понятно, пошли советы: звонить в «скорую», везти несчастного к Склифосовскому и прочее. Тут дядя Валя и заявил, что он берется прекратить кровь и без Склифосовского. Тарабанько вынул палец изо рта, кровь текла. Дядя Валя отошел от Тарабанько метров на шесть. «Оттуда слабо будет!» – говорили дяде Вале. «Да я хоть от той стены могу прекратить и заморозить!» – заявил дядя Валя. И он смело, будто Суворов на Чертовом мосту, ринулся к стене, на которой, между прочим, и была укреплена чудесная чеканка с кружкой пива и вымершими рыбами. У Равиля Ибрагимова не выдержали нервы, он крикнул, что предоставит дяде Вале за четыре сорок две, если тот прекратит кровь. «Тихо!» – сказал дядя Валя, даже и не приняв во внимание приманные слова Ибрагимова. Он был уже не здесь. И мы притихли. Казалось, и пиво нигде не лилось, и кассирша Полина прекратила размен монет. Тарабанько стоял базальтовым столбом – до того значительным и для него стало происходящее. Светильники горели не все, и в полумраке автомата глаза дяди Вали казались углями. Пламя вот-вот могло полыхнуть из них. Сколько мы так стояли? Минуту, две, три, больше? И в нас самих, похоже, кровь застыла. «Все! – хрипло произнес дядя Валя. – Опускай!» Тарабанько опустил палец, но не сразу, и поглядел на него как будто бы со страхом. Крови не было. То есть она была, но засохшая.

А дядя Валя в это мгновение рухнул.

Его подняли и поставили.

Возле стены он кое-как укрепился, но был не в себе. Сила из него вышла, поняли мы. «Исполняй обещание!» – сказали Равилю Ибрагимову. Он согласился исполнить, но при этом дал понять, что принимает во внимание лишь болезненное состояние дяди Вали, что же касается

прекращения крови, то тут он не верит. За это время, считал Ибрагимов, кровь на тарабаньковской царапине и сама могла засохнуть. Тем более что палец был поднят вверх, а прямо над ним крутился вентилятор. Возможно, что Ибрагимов был и прав… Впрочем, о пальце Тарабанько скоро забыли. Пытались поправить здоровье рухнувшего дяди Вали. Ничего не помогало. Расстраивало нас полное безразличие дяди Вали к явлениям жизни. Лишь однажды губы его зашевелились, и мы услышали, что пусть ему, дяде Вале, не верят, пусть, еще пожалеют, вот он возьмет и на тех, которые не верят, наведет порчу. Однако угроза была тусклая и безвольная, никаких надежд на прибавление сил не дала, дядя Валя тут же затих. Пришлось его вести домой. Самое обидное было в том, что останкинские жительницы, и тем более общественницы, могли принять дядю Валю за нетрезвого, а ему сама мысль о спиртных напитках была в ту пору противна.

И вот неделю дядя Валя, рассказывали, страдал: не касался золингеновской сталью щек, не следил за политическими событиями в Испании. Только собака выводила его на полчаса на улицу. А так он лежал.

Рассказывали, что раза три посещал дядю Валю наглец Шубников.

Я купил апельсины, зашел к дяде Вале. Дверь дядя Валя не запирал, лежал на диване. В ответ на мои слова прошептал что-то. Но вряд ли существенное.

– Помочь, дядя Валя, надо? – осторожно спросил я. – Может, врачей каких привести?

Дядя Валя не ответил.

– Шубников вам настроение не портил? – поинтересовался я после неловкой паузы. – А то скажите. Мы его отвадим.

И теперь дядя Валя не открыл рта. Он и глаз не открывал.

Глупым становилось мое пребывание возле недужного. Я стал оглядывать комнату. Я уже говорил как-то, что в доме дяди Вали я ни разу не был, хотя он и звал меня к себе. Я боялся, как бы знание тех или иных свидетельств дяди Валиной жизни не испортило и не исказило впечатлений от его повествований, прошлых и неизбежных новых, не стало бы своей определенностью одергивать мое воображение и дяди Валины фантазии… А тут я видел фотографии на стене над диваном. Вот жена дяди Вали, покинувшая его года три назад. Вот его дочь, смазливая девица, чернявая, видно, верткая, теперь она замужем – тоже за таксистом – и живет в Марьиной роще. Вот сам дядя Валя, молодой, ушастый, рядом именно с Эйзенштейном. Вот он положил руку на плечо Василия Ивановича Чапаева. Впрочем, в пору вскинутого клинка Василия Ивановича дядя Валя по хронике его жизни был младенцем, и если точнее – грудным. Стало

быть, кто же это – не Василий Иванович, а, предположим, Бабочкин? Определить точно я не смог. Подойти к стене не решился. Снимок так и остался для меня загадкой. Были и иные фотографии. Скажем, дядя Валя в красноармейской форме без погон, наверное, на финской. А вот он с погонами возле трехтонки, на ней, если вспомнить его историю, он возил снаряды в сорок четвертом в Белоруссии. Испанских снимков не было. Впрочем, это ничего не значило…

– Ты эту… не видал?.. – прошептал дядя Валя, открывая глаза и словно бы выныривая из дремотного состояния.

– Нет, – сказал я. – Работы было много. Никого я не видал.

– Что же это она?.. – еле произнес дядя Валя.

– А может, ее и вообще уже нет? Была – и нет… И потом, дядя Валя, ведь вы просили ее дать вам силу со следующей недели. А дожидаться не стали…

– Но сейчас-то уже срок пришел… – Кое-как он все же приподнялся, опустил ноги на пол. Сказал: – Положи на стол предмет.

Я достал из авоськи апельсин.

– Нет, – поморщился дядя Валя. – Мелкий предмет.

– Спичку, что ли?

– Спичку, – кивнул дядя Валя. – Две спички. Нет, стакан с водой.

– Да что вы, дядя Валя! Ну зачем!

– Неси стакан…

Прозвучало это как последнее желание, я вздохнул, пошел на кухню. Стаканы у дяди Вали были все деловые, граненые. Тяжелые. Воды я налил чуть-чуть. Стакан поставил на край стола, поближе к дяде Вале.

Он сжал губы и уставился на стакан. Такой приказ был в его глазах, что и меня, казалось, боковым течением его воли, как худого комара, отнесло к окну. Но стакан был будто примерзший. Пять минут пытался подвинуть дядя Валя глазами предмет. Я словами хотел помочь дяде Вале, но удержал себя, убоявшись спугнуть дяди Валино вдохновение. Или разрушить его энергию… На седьмой минуте дядя Валя и сам закрыл глаза.

– Замени стакан спичкой, – понял я из движений его губ.

Я уж нарочно – и не спеша – отнес стакан на кухню, чтобы дать дяде Вале мгновения отдыха.

И спичку дядя Валя сдвинуть не смог.

Слег опять, ноги еле-еле занес на диван.

– Может, я поищу Любовь Николаевну, – сказал я неуверенно. – Или хотя бы Михаила Никифоровича?

Опять молчание было мне ответом…

На самом деле, что же Любовь Николаевна-то? Странной казалась непоследовательность ее действий. Или просто необязательной была девушка? Ну ладно, не дала она пока силы дяде Вале (хотя, возможно, дядя Валя и сам что-либо напортил, принявшись прекращать кровь и двигать предметы раньше срока?). Ладно. Но что же дальше-то мучить его? Или Любовь Николаевна и вправду больше не существовала?

– Оставь меня, – сказал дядя Валя.

Я пошел к двери, хотел было еще раз спросить дядю Валю о посещениях Шубникова: отчего-то беспокоили меня эти посещения. Но дядя Валя повернулся к стене. «А не унес ли Шубников, между прочим, собаку?» – подумал я. Нет, собака спала на коврике возле двери, дышала невинно, но еле заметно, будто готова была испустить дух, видно, и ее, как хозяина, покинули силы.

Стало быть, интерес Шубникова был не к собаке…

8

Пришлось искать Михаила Никифоровича.

Дома его не оказалось, как не оказалось там и Любови Николаевны, что, впрочем, нельзя было считать удивительным. Следовало ехать в аптеку. Но в какую? В одной Михаил Никифорович работал, в другой прирабатывал, служебного расписания его я не знал. На всякий случай попробовал обнаружить Михаила Никифоровича в пределах Садового кольца.

Читателю, коему хватило терпения следить за ходом останкинских событий, понятно, могла прийти мысль о том, что все житейские интересы моих знакомых были связаны исключительно с пивным автоматом. Да еще и с пивным автоматом именно на улице Королева. Это не так. Все мы работали. Кто где. И в иных зданиях и сферах были наши сердечные дела, наши коренные заботы и интересы. В автомат же в будние дни мы заходили ненадолго, чаще всего заскакивали туда в вечерние часы, когда вот-вот должна была появиться над оконцем кассирши валтасарова надпись «Пива нет» и печально прозвучать прощальные звонки. В выходные дни наши удовольствия продолжались дольше, впрочем, об этом уже было сказано. Тем более что полагалось отдохнуть, прежде чем волочить сумки и рюкзаки домой. Я не оправдываюсь. (Хотя для жены, ведшей, между прочим, в некоем издании раздел «НОТ в доме», мог бы произнести эти слова и ради оправдания.) Но где нам еще можно было встретиться со знакомыми, давними и случайными, постоять просто так в шумной компании, ни о чем не думая или, напротив, именно думая о существенном? Где еще можно было дух перевести? Где дать душе отдохновение после суеты, страстей, бед, хлопот и радостей летящей жизни? Не за решением же шарад и плетением входящего в моду макраме! И не было у нас в Останкине никакого мужского клуба. Вот мы и переводили дух на Королева, пять.

А так мы трудились. Даже профессиональным и вечным посетителям автомата и тем приходилось время от времени оставлять кружки и плестись в бакалейные, овощные, хлебные магазины, таскать там мешки с луком, ящики с крупами и макаронами, болгарские коробки с томатными банками, к чему они были принуждены административными решениями комиссий по трудоустройству.

Я ехал к Михаилу Никифоровичу и думал: а что я ему скажу? О дяде

Вале? О чем спрошу? И чем его так рассердила тогда Любовь Николаевна, что за знак он углядел в ней? Отчего остался непоколебим в своем упрямстве, как скальная порода? Кто знает, может быть, вернувшись тогда домой из аптеки, он взял да и выгнал Любовь Николаевну на мороз. Или на панель. Или вообще учинил над ней какое-либо зверское насилие, что-нибудь испортил в ней, отчего дядя Валя и не получил возможность двигать глазами мелкие предметы.

Ну да, скажет читатель, что же вы только теперь хватились? Что же на другой хотя бы день не осадили Михаила Никифоровича или просто не поинтересовались обстоятельствами жизни Любови Николаевны? Не поинтересовался… Вообще намерен был не думать ни о Любови Николаевне с ее трепетной, птичьей, чуть ли не лебединой шеей, ни о разбитой бутылке, месте ее прежнего, одинокого, но спокойного обитания, положив: ладно, это дело не мое, лучше быть от него подальше… Однако теперь грустная история дяди Вали изменила мои настроения…

Михаил Никифорович в своей аптеке сидел в рецептурном отделе.

Если бы вы видели Михаила Никифоровича лишь в Останкине и лишь в пивном автомате, то в аптеке вы могли бы его и не узнать. И дело было не в цеховом одеянии Михаила Никифоровича – белом халате и белой шапочке. Дело было прежде всего в совсем ином, нежели в останкинские досужие часы, состоянии Михаила Никифоровича. Кем он пребывал там и кем здесь? Здесь он был Верховный жрец. Или даже Демиург. Здесь от него зависело течение жизни в природе, в людском сообществе, в любой человеческой натуре, в любой живности, в любом зеленом побеге. Здесь и каждая звезда, особенно влияющая на эпидемии и поветрия, была в его управлении, здесь каждая былинка, ядовитая и целительная, засушенная, попавшая в сборы трав или еще и вовсе не проросшая, вздрагивала при движениях его бровей и губ. Здесь Михаил Никифорович помнил о людских бедах и болях. Здесь он был целитель и колдун, здесь он был и хирург, и терапевт, и акушер, и хозяин сновидений, и знаток кровяных токов и давлений, и охранитель зеницы ока, и врачеватель душ.

Самые миловидные девушки – представим вдруг, и доброжелательные! – или же сонные, умученные собственным жизненным сроком дамы, хоть и провизоры по должности, чьи лица мы наблюдаем (порой и в раздражении) за аптечными стеклами, все же представляются нам подавательницами товара. Сунули мы им рецепт с чеком – и вон из очереди. Капли же с таблетками будто бы сами помогут от хворобы, если не подорвут печень. А присутствие в аптеке Михаила Никифоровича, мужчины в белом халате и белой шапочке, наводило на мысль о встрече с

профессором. Тут уж явно не за товаром стояли, а ради консультации у нездешнего светила в надежде, что оно выслушает, поймет и спасет.

Подойти просто так к окошку Михаила Никифоровича я не мог. Старушки из очереди меня бы сразу урезонили. А если бы Михаил Никифорович мне ответил как знакомому, доверие к профессору могло быть поколеблено. Я встал последним, достал листок бумаги и в письменной форме попросил Михаила Никифоровича удостоить меня разговором. Способ общения был проверенный. Однажды Кочетков, тридцатилетний дизайнер из Останкина, натура лирическая, оказался поутру в центре города с подорванным здоровьем. Кочетков изобразил на бумаге как бы рецепт и латинскими буквами написал: «Миша! Добудь три рубля!» Выстоял очередь, протянул бумажку. Михаил Никифорович терпеливо и с достоинством изучил рецепт, встал, сказал: «Пойду посмотрю, есть ли у нас ваше лекарство». Вернулся с маленькой коробочкой, Кочетков почуял, что три рубля в ней есть, а Михаил Никифорович сказал ему с долей назидания: «Но принимать его все же советую вечером». Вот я и стоял. Очередь шла тихо, по логике нашей жизни многим пора было уже и осерчать, но нет, Михаила Никифоровича спрашивали, и он отвечал. По привычке – с паузами, вспоминал случаи из практики, а когда выдавал наружное, мазь Вишневского, предположим, то и руками показывал, как и что надо делать. Мне он кивнул сдержанно, прочитал просьбу, подумал и сказал:

– Попробуйте зайти через два часа.

Что, у меня время, что ли, лишнее было!

Лишнего не было, но свободное было. Я пошел на Покровку, посмотрел, как реставрируют палаты Сверчкова, а потом заглянул в Кривоколенный – не сломали ли там дети в забавах охранный забор у пустого нынче дома с подвалами семнадцатого века? Не сломали.

Через два часа Михаил Никифорович встретил меня у аптеки. Я был хмурый. Не на Михаила Никифоровича я хмурился, а на себя. Что я маюсь дурью, неужели мне не хватает своих забот? Но все же я рассказал Михаилу Никифоровичу о дяде Вале.

– Я знаю, – кивнул Михаил Никифорович. – Я у него был.

– Ну и что же ты? – спросил я с неким укором, будто бы Михаил Никифорович был в ответе за состояние дяди Вали.

– А что я… – пожал плечами Михаил Никифорович, но глаза при этом отвел в сторону. – Лекарств он не принимает…

– При чем тут лекарства? Ну ладно… А про Шубникова он тебе ничего не говорил? Зачем Шубников приходил к нему?

Михаил Никифорович не ответил. «Что я его пытаю? – подумал я. – Может быть, он и вправду доверил Шубникову попеченье над Любовью Николаевной».

– А как Любовь Николаевна? – спросил я осторожно.

– Как, как! – сказал Михаил Никифорович. – Живет у меня!

– Значит, она осталась…

– Ну осталась, – сказал Михаил Никифорович без особой радости.

– И что же, она ничего не знает о дяде Вале?

Тут и Михаил Никифорович стал сумрачный. Закурил.

– Надоело мне все это, – сказал он.

Михаил Никифорович жаловался редко и теперь скорее не пожаловался, а просто пожурил судьбу. Из нескорых и будто бы ни к кому не обращенных слов его я узнал вот что. Живут они с Любовью Николаевной как разведенные судом супруги, вынужденные оставаться пока под одной крышей. Обращаются иногда друг к другу с холодными дипломатическими выражениями. Нецензурных слов, во всяком случае, Михаил Никифорович ни разу не употреблял. Поначалу, поняв, что к Шубникову ее не определяют, Любовь Николаевна запрыгала, чуть ли не приятельницей крутилась возле Михаила Никифоровича, вроде бы даже и глазки строила. Но он ее осадил. Любовь Николаевна замолкла, и Михаил Никифорович почувствовал, что она гордая.

– Так уж и строила? – засомневался я.

Ну, не строила, пояснил Михаил Никифорович, а пыталась приветливо улыбаться. Теперь не улыбается. Закуски утром и вечером берет из холодильника, а чем и где она питается днем, он не знает. Выдает ей рубль в сутки, больше не в состоянии. На три дня она пропала вовсе, Михаил Никифорович уже обрадовался, но она вернулась. Положила на стол три рубля, видно, кормилась где-то за чужой счет или бесплатно. Про устройство на работу, хоть бы и лимитчицей, Михаил Никифорович ей даже и не намекал, но пора было этой дармоедке и самой задуматься.

– Уж больно ты строг к ней, – сказал я.

Мне-то было легко говорить так. Не со мной в квартире проживала Любовь Николаевна. Но обычно Михаил Никифорович своих денег не жалел, а деньги у него были малые, аптекарские, дамские зарплаты, пусть и две. Что же все-таки он учуял в Любови Николаевне, отчего она так раздражала его?

– Ладно, – сказал Михаил Никифорович, – что уж…

Тут он словно бы застеснялся чего-то в самом себе. Или какую вину в себе обнаружил… Помолчав, он согласился со мной, что да, возможно, и

слишком строг. Тем более что в последние дни что-то неладное происходит с Любовью Николаевной. Что-то мучает ее. Какие-то всхлипы и стоны слышит порой Михаил Никифорович. Как медик он должен был бы дать совет, но нужна ли тут медицина? Он и не суется. Возможно, за советами, поддержкой и наставлениями Любовь Николаевна и отправлялась куда-то на три дня. Возможно, летала на помеле. Но толку мало, коли дядя Валя ослаб. Порой она взглядывала на Михаила Никифоровича как бы украдкой, но тут же отворачивалась в испуге, а Михаил Никифорович видел в ее глазах и беспомощность, и растерянность, и мольбу о чем-то. Раза два она падала ни с того, ни с сего, будто бы наткнувшись на железную палку. Вчера Михаил Никифорович пришел домой, а она сидит в халатике на диване, ноги поджав под себя, шепчет что-то просительно, а глаза у нее опять мокрые. То ли кто-то ей мешает. То ли она недоучка. То ли просто растрепа.

– Ты ее вчера успокоил? – спросил я.

– Еще чего! – сказал Михаил Никифорович.

Оказывается, не всегда она смирная и затравленная. Оказывается, третьего дня Любовь Николаевна позволила себе разбушеваться. Швыряла на пол одежду, книги и посуду. Правда, скромная посуда Михаила Никифоровича при этом не билась. А вот книги его, в том числе и «Определитель лекарственных растений», она топтала босыми ногами. Была Любовь Николаевна в те яркие полчаса разбойной, как Алла Пугачева в народных легендах. Но и прекрасной. Возможно, и нечто ведьминское проявлялось в ней. Грозила она кому-то. Но явно не Михаилу Никифоровичу. И не было в ней дикарской свирепости, а было нечто озорное, благородно-отважное, будто Любовь Николаевна тотчас же должна вступить в рискованное сражение. В сражение она вступала не в латах и не в кольчуге, а в одной лишь нежнейших свойств голубой ночной рубашке, без прочего белья, ничего не боясь и не стесняясь Михаила Никифоровича, принимая его как бы за своего. Однако не ее доспехи возмутили Михаила Никифоровича. Возмутило его топтание «Определителя». Он на Любовь Николаевну цыкнул, пообещал применить силу и буйство прекратил. Поэтому вчера он ни о каких успокоениях жилички не думал. Сама, видно, при желании кого хочешь может успокоить.

– Отчего ты, Миша, тогда при нас рассердился на нее? – спросил я. – И теперь сердит…

– Бог Асклепий и дочери его Гигиея и Панацея!.. – резко произнес Михаил Никифорович, и мышца над правой ноздрей его задергалась.

Выражение это, связанное отчасти с историей фармации, Михаил Никифорович произносил редко. Но коли произносил, следовало оставить Михаила Никифоровича одного.

– Извини, Миша, – сказал я. – Зря я к тебе пристал.

– Надо идти, – сказал Михаил Никифорович. – У нас там напряженное состояние.

Недели три назад Михаил Никифорович говорил о неприятностях в аптеке. Наверное, перемен не случилось.

– Пора бросать это занятие, – вздохнул Михаил Никифорович. – А то… Тут сто и там сто. Месяцами и пятьдесят. Это разве деньги для мужика? Никитин зовет меня на химический завод…

Совета я Михаилу Никифоровичу никакого дать не мог. Мы попрощались, предположив, что скоро увидимся на Королева, тем более что мне подарили воблу. Пообещали друг другу звонить, если что.

Свидание с Михаилом Никифоровичем меня огорчило. В самом Михаиле Никифоровиче было нечто тревожное… А я? Что я-то приставал к нему? Михаил Никифорович мог подумать, что из любопытства. Отчасти так и было. Но и что-то иное, смутное, для меня самого тайное толкало: иди, иди к Михаилу Никифоровичу. Ясно было, что Михаил Никифорович всего мне не открыл. Либо посчитал ненужным все-то открывать. Либо у него самого не было уверенности, что он в своих оценках и поступках прав.

Не зашел я в тот день к дяде Вале. Что я мог сказать ему?

Вечером я был направлен в овощной магазин за капустой провансаль. Было зябко. Ветер успокоился, снег, падавший нынче часа два, лежал мягкий и чистый. Мне бы с приобретением идти домой, а я минут сорок ходил возле дома Михаила Никифоровича, убеждая себя в том, что ходить полезно, что воздух – целительный, что снег, и весенние сумерки, и природа – прекрасны, что и сон будет хороший и что несомненно именно здесь и проходит тропа здоровья… Тогда я и увидел Любовь Николаевну. Она тихо шла от троллейбусной остановки к дому Михаила Никифоровича. Похоже было, что для буйств настроения у нее сегодня не было. Впрочем, Любовь Николаевна прошла от меня шагах в двадцати, а сумерки уже были синие. Заметил я вот что. Сутулилась она несколько, будто обреченно. Раза три вздрагивала испуганно, оглядывалась резко: не преследует ли кто ее. Никто не преследовал… Вот уж и лифт отвез ее, наверное, на восьмой этаж… А ладная все-таки женщина, не мог не отметить я, хоть и сутулилась из-за тяжких обстоятельств… Впрочем, женщина ли была Любовь Николаевна?

И тут из-под арки, ведущей во двор, словно из засады, выскочили двое бородатых мужчин. Глядели они на мостовую и именно на следы, оставленные в свежем снегу легкими ногами Любови Николаевны. Были это Шубников с Бурлакиным. Будто охотники или любители природы и мира животных, исследовали они следы. Наклонялись, пальцами тыкали в снег и явно нюхали следы. Потом принялись укладывать что-то во вмятины от каблуков Любови Николаевны. Вернее, укладывал один Шубников, а Бурлакин, прыгавший рядом, давал советы. Потом Шубников пробежался вдоль следов Любови Николаевны, остановился возле одной из вмятин, расстегнул штаны и помочился в нее. И опять Бурлакин прыгал и кричал, видимо выражая радость.

Я не выдержал, двинулся к ним.

– Эй, живодеры, во что играете-то?

Явление мое подействовало на Шубникова и Бурлакина странным образом. Взрослые, здоровые люди, они словно бы испугались меня. Будто были застигнуты на месте серьезного безобразия не частным лицом с хозяйственной сумкой, а представителем власти. Конечно, они меня узнали, но, не дожидаясь моего приближения, бросились бежать и исчезли под аркой.

Я осмотрел следы Любови Николаевны. Струей Шубников опошлил безукоризненный белый цвет нынешней мостовой. Некоторые следы были затоптаны. В один из них Шубников вмял гвоздь, в четырех других, удостоенных внимания, лежали: лезвие «Нева», чуть ржавое, обглоданный хребет рыбы, видно конченой, битое стекло и измятые бигуди. Мне захотелось все подарки вытолкнуть из следов Любови Николаевны. Я и сделал это носком ботинка. И не просто вытолкнул, а выбил чуть ли не к самой стене.

Гулять желания более не было, я пошел домой.

Обернулся. Две бородатые физиономии смотрели на меня из-под арки. Я погрозил мошенникам кулаком.

9

Дней через пять я узнал, что дядя Валя стал двигать в Останкине дома. Глазами. А иногда и опустив веки. Мысленным взором.

Не сразу он привык к домам, начал именно с мелких предметов. А прежде он просто ожил. Почувствовал на своем диване в какой-то особенный миг возрождение организма, вскочил, подпрыгнул и встал на ноги. Почувствовал он и возобновление аппетита. Стало быть, надо было идти к народу, на улицу Королева. Авось у кого-то и картошка с селедкой, разложенная на «Строительной газете», нашлась бы. Но тут, рассказывали, что-то словно бы осенило дядю Валю, что-то будто толкнуло его в грудь. Или в спину. Или в иное место. И он взглянул на стакан с водой. Или на мой апельсин. Или на запонку с фальшивым рубином. Напрягся, брови нахмурил, заиграл скулами – и предмет двинулся. Ожившая и зазвучавшая собака суетилась возле ног дяди Вали, дядя Валя посмотрел на нее строго, отважился и поднял блошиную суку в воздух. Подержал ее полминуты над столом и распоряжением воли мягко опустил на линолеум. Никакой опустошенности, никакой гибельной усталости дядя Валя не ощутил, напротив, душа его рвалась к новым свершениям.

Палку дядя Валя все же взял. То ли желал на манер Ильинского, которому дядя Валя, а не Яшка Протазанов наверняка подсказал трактовку образа в «Иоргене», явить останкинским жителям чудо, то ли все же оставались в нем сомнения. А встретили дядю Валю хотя и с радостью, но и с непременными ироническими недоумениями и укорами. Скрывать силу дядя Валя не мог и, не усладив даже натуры, принялся подымать и двигать отдельные тела килек, луковицы, ломти черного хлеба, а потом, разъярившись, и пивные кружки. Полные кружки дяде Вале поначалу не доверяли, но затем, убедившись, что пустую посуду дядя Валя поднимает и опускает ровно, без толчков и срывов, разрешили ему двигать кружки и с напитком. Дядя Валя не оплошал. Он вошел в кураж, раскраснелся, годы сбросил.

– А вот мусорный ящик тебе, дядя Валя, слабо будет, – предположил таксист Тарабанько.

– Чего! – возмутился дядя Валя. – Пойдем! Пошли во двор. Человек двадцать пошло. Про палку дядя Валя забыл.

– Какой? – спросил дядя Валя.

Ящиков стояло три. Металлические, серые, они и пустые-то были

тяжелые. А два из них уже и забили всяким житейским хламом. Тарабанько заказал дяде Вале пустой ящик. Но дядя Валя поблажек не желал.

– На сколько подымать? – спросил дядя Валя.

– Ну… на метр…

Тарабанько, похоже, и сам был не рад своей дерзости.

– Стану я из-за метра суетиться! – раззадорился дядя Валя.

И через десять секунд мусорный ящик висел над головой дяди Вали. Зрители, понятно, стояли в стороне. Мало ли чего. Дядя Валя, конечно, богатырь и дух, но вдруг в нем опять иссякнет сила и предмет рухнет. А был момент, когда ящик, взвешенный в весеннем воздухе метрах в семи над грунтом, вздрогнул, покачнулся, картофельные очистки, дырявый валенок, мятая целлулоидная кукла посыпались из него, зрители зашумели, призывая дядю Валю отпрыгивать, но тот не смалодушничал, остановил покачивание ящика и поднял его еще метра на два. Потом дядя Валя поднимал два мусорных ящика сразу и как бы жонглировал ими. Потом он заставил в некоей карусели носиться разные предметы детской площадки, памятной всем, в том числе цветные лавочки и стол, однако тут его опыты стали надоедать. Некоторые зрители пошли обратно в пивной автомат. И Тарабанько бы ушел, но он чувствовал себя как бы обязанным дяде Вале – и за остановленную прежде кровь, и за поднятые в воздух по его дурости мусорные ящики. Он стал осторожно намекать дяде Вале, что тот опять израсходует себя и сляжет с собакой в полном бессилии, но дядя Валя остановиться не мог.

Тогда он и пообещал двигать дома.

Его опять же образумливали, выражали беспокойство по поводу здоровья и благополучия жильцов, как бы их не опрокинуло, не растрясло и не ужаснуло при передвижке. Дядя Валя заверил, что начнет он с домов пустых, обреченных на снос. Такие дома, деревянные, чуть ли не дачные, с террасами и мансардами, в один и в два этажа, действительно стояли в голых пока садах на северной стороне улицы Королева, той, что ближе к Шереметевской дубраве и Выставке достижений. При этих беспокойствах зрителей и кураже дяди Вали и появились, рассказывали, Шубников и Бурлакин. Они принялись подстрекать дядю Валю к свершению безрассудных и авантюрных действий. Шубников был при бороде, как всегда, беззаботен и громок, а Бурлакин отчасти притих и надел на голову мешок из белого сурового полотна с прорезями для глаз, носа и рта. Будто гентский палач. Позже выяснилось, что накануне Бурлакин по своей склонности ввязываться в пустые затеи съел на спор восемь килограммов

фотографической бумаги. Бумага же эта, как известно, содержит галогены серебра. Другой бы сдох, а Бурлакина лишь пронесло. Но свойства бумаги перешли к нему. В темноте кожа Бурлакина была хорошей, а на солнце и даже при электрическом освещении становилась еще лучше – совсем черной, словно Бурлакин родился не на Большой Переяславской улице, а в пригороде Нджамены. Бурлакин тогда еще не привык к засвечиваниям, при всей своей наглости смущался последствий спора и ходил за Шубниковым смирный. Но и он давал дяде Вале советы… Жаль, что я в тот день был занят работой.

Вот тогда дядя Валя и поднял первые в своей жизни дома. Начал он, правда, с усадебных построек – летних кухонь, сараев, туалетов, – но потом неким винтом послал в воздух столетней красоты дом, то ли избу, то ли дачу, память о добашенном Останкине. А там уж взлетели дома покрепче и бараки в два этажа. Дом-музей Сергея Павловича Королева, стоявший поблизости, хотя Шубников и подзуживал, дядя Валя отказался трогать – все же в нем были экспонаты и люди.

Стоял дядя Валя со зрителями метрах в ста, а то и дальше от увлекших его домов. Стоял в сквере, известном местным жителям как Поле Дураков. Прохожие, проезжие, водители и пассажиры троллейбусов, работники милиции особого внимания на полеты деревянных строений не обращали. Мало ли что. Может, кино снимают. Скажем, режиссер Шамшурин. А может, пробуют новые способы удаления одряхлевших кварталов. Впрочем, никакого удаления не происходило. Постройки дядя Валя ставил на место. Ставил аккуратно, и они как бы снова прирастали к останкинской земле.

Шубников требовал, чтобы дядя Валя перешел к каменным строениям. Но дядя Валя сказал:

– Хорошенького понемногу.

Тут и Бурлакин стал подзуживать, стыдить, на что дядя Валя посоветовал ему высморкаться в мешок. При этом было видно, что он не устал.

Два дня он ничего не двигал и не останавливал кровь.

В субботу я пошел в магазин, теперь уже в очередь за югославским черносливом, и встретился с Михаилом Никифоровичем Стрельцовым. Оказалось, что перемены случились не только с дядей Валей, но и с Каштановым. И с Любовью Николаевной.

– С ней это я дал маху… – поморщился Михаил Никифорович, и мышца над правой ноздрей его задергалась. Он стал говорить нервно про какие-то цветы и про каких-то дураков, которые покупают цветы.

Но вот чернослив был приобретен. И когда мы уже держали кружки, Михаил Никифорович объяснил мне, что дурак – это он. Именно он пять дней назад купил цветы. Как человек разведенный (о его разводе я сообщил в первых строках своего рассказа и буду вынужден позже вернуться к этому обстоятельству), Михаил Никифорович имел все права и желания, а порой и обязанности отправляться свободными вечерами к той или иной приятной ему знакомой. Но никогда в подобных случаях цветов он не покупал! А тут взял и купил. А женщины не оказалось дома. Михаилу бы Никифоровичу швырнуть букет в урну, он же забыл о том, что у него в руках, и приехал с цветами домой. И преподнес цветы жиличке. Та снова сидела в халатике на диване, вздрагивала и вытирала слезы. Михаил Никифорович спросил, отчего она вздрагивает и ревет. Любовь Николаевна, не вступавшая в последние дни с ним в беседы, заговорила. Оказалось, что у нее воруют тень и что ей портят следы. «Ну не ревите! – сказал Михаил Никифорович. – Возьмите лучше». И сунул ей букет. Потом выяснилось, что это не букет, а три букета. Михаил Никифорович до сих пор не может простить себе, что потратил десятку на эдакую дрянь. «Это мне?» – робко и трепетно спросила тогда Любовь Николаевна, будто не веря своему счастью. «Ну а кому же еще? – сказал Михаил Никифорович. И соврал на всякий случай: – Других у меня нет». Он скоро заснул на раскладушке в ванной, но был разбужен. Любовь Николаевна плясала и пела. На голове у нее был венок, красное с желтым, и тюльпаны, и гвоздики, и еще какие-то растения венчали голову Любови Николаевны, надо признаться, красивую. «Все вернулось, все пришло! Все вернулось, все пришло!» – пела Любовь Николаевна. И когда Михаил Никифорович встал и попросил женщину не шуметь, Любовь Николаевна поклонилась ему в пояс, да так ладно, будто была воспитана в ансамбле танца Сибири… Теперь все, теперь она бойкая и задорная, хотя порой и снова вздрагивает… Перемены эти Михаил Никифорович связывал с венком, сплетенным из букетов, доставленных не по адресу.

– Значит, ты говоришь, – сказал я, – воровали тень и портили следы?

– Что-то вроде, – кивнул Михаил Никифорович.

– Насчет следов я видел. А вот тень… Тут для меня новое…

– Что ты видел?

– Видел кое-что…

Невдалеке от нас стоял дядя Валя. И возле него, естественно, люди. Мы с Михаилом Никифоровичем подошли к ним. Дядя Валя был нынче значительный и задумчивый. В старые времена мы бы за полчаса узнали от него десятки острых и поучительных историй про войну и про искусство с

непредвиденными поворотами, а тут дядя Валя молчал и курил. Я не выдержал и выразил дяде Вале свою жалость по поводу того, что не присутствовал при опытах с мусорными ящиками и останкинскими коттеджами. Прежний дядя Валя тут же бы сказал: «Но беда-то ведь небольшая, а? Пойдем!» И мы бы пошли. На это я и рассчитывал. Но этот дядя Валя строго – да и то после затяжки – заявил:

– С домами хватит.

Опять задумался. И сказал:

– Буду лечить.

– Лечить?

– Лечить не сразу… Сначала буду ставить диагнозы.

– На расстоянии? – поинтересовался Михаил Никифорович.

– И на расстоянии, – сказал дядя Валя. – Кому и через стену. Кому по переписке. Кому по телефону. Кому прикосновением.

На всякий случай я отодвинулся от дяди Вали. Как человек с воображением, а стало быть, с предрассудками и суевериями, я предпочитал болеть без диагнозов. Так хоть какие-то надежды остались бы…

10

Перемены, происшедшие с Игорем Борисовичем Каштановым, были такие. Во-первых, он купил лошадь. Во-вторых, у него появилась жена, юная кабардинка.

О приобретении лошади Игорь Борисович при встрече охотно рассказал мне. Дня три назад он лежал утром в кровати уже почти одетый. Без желания опохмелиться. Без многих других желаний. Жизнь снова казалась ему погубленной. Все он проклинал. И себя. И Татьяну Алексеевну Панякину. И стройку, куда он обязан был по принуждению отправиться через полчаса. Проклинал и долги, вызвавшие это принуждение. Вот, мечтал он, заплатить бы долги и заняться приятным делом. Предположим, снова начать писать прозу. Или пойти в мясники. Или еще куда-нибудь. Или вообще никуда не ходить… Вот если бы хоть тысячу рублей внести в счет погашения…

Когда Игорь Борисович все же смог поднять себя и стал надевать штаны, он нашел в кармане тысячу пять рублей. А накануне он и двух копеек не сумел выудить из того же кармана. Да и дыра вчера была в кармане. Сегодня же она оказалась заштопанной. Мечтать-то Игорь Борисович мечтал, но и в грезах своих к Любови Николаевне он не обращался. Выходило, ей было достаточно устного согласия принять ее услуги, вырвавшегося у Игоря Борисовича из жалости к Любови Николаевне на памятной встрече пайщиков кашинской бутылки. Выходило, она его желание подстерегла. Подстерегла, и нате вам – тысяча рублей! И еще пять рублей поверху.

Игорь Борисович растерялся. Что делать с пятью рублями, он знал. А что с тысячей? Одно дело мечтать о погашении долгов несуществующими рублями, другое – нести чужим дядям живые, кровные деньги. Но нести было надо. «Отнесу», – пообещал себе Игорь Борисович. Впрочем, обещание не содержало в себе обязательного срока. Может, завтра, решил Игорь Борисович. Или еще когда… Но что-то и тяготило его, будто бы он отчитываться должен перед кем-то за эту тысячу. Может быть, перед Любовью Николаевной? Не хватало еще. А вдруг и не из ее кошелька была та тысяча?

Однако он скоро забыл о Любови Николаевне. А возвращаясь со стройки, увидел, как извозчик бил лошадь. Извозчик и кобыла служили, видно, при складе стеклянной посуды, на телеге или на чем там, на конном

прицепе, что ли, – колеса в резиновых шинах – были установлены в четыре ряда ящики с пустыми бутылками. Кобыла и так была измордованная, а свирепый мужик в черном тулупе все полосовал ее кнутом, впрочем, она все равно не шла. Среди выражений произносились и слова: «Когда я от тебя избавлюсь, старая кляча!» Каштанов хотел было вырвать кнут у мужика. Но не дотянулся.

– Что ты делаешь, скотина! – закричал он. – Что ты мучаешь животное!

– Моя лошадь, – сказал мужик, успокоившись вдруг. – Что хочу, то и делаю. Купи себе лошадь, целуй ее хоть в зад. Да денег у тебя не хватит купить!

– У меня денег хватит! – возразил Игорь Борисович. – И на лошадь и на тебя в придачу!

Извозчик все же выразил сомнение по поводу богатств Игоря Борисовича, пришлось тому трясти в воздухе пачкой зеленых банковских билетов.

– А бери ее к лешему! – заявил мужик. – За семьсот рублей.

Каштанов тут же отсчитал семьсот рублей.

Пока мужик отвозил посуду на склад, Игорь Борисович нервничал, все не верил, что ему удастся выкупить животное. Однако сделка состоялась. Мужик освободил кобылу, протянул поводья Игорю Борисовичу. В воодушевлении находился Игорь Борисович, долгие версты от Бескудникова до улицы Королева вышагивал он легко. Все вспоминал: нет ли у кого нынче либо на неделе дня рождения? Предположим, у Скорупы или у Добкина? Он лошадь преподнес бы в подарок. Но нет, торжества вроде бы ни у кого не намечалось. На Королева, у автомата, Игорь Борисович привязал лошадь к тополю, публика ходила смотреть на нее, пока Каштанов пил пиво и разговаривал. Но надо было найти животному крышу.

Во дворе дома Игоря Борисовича на Кондратюка пустовал гараж, хозяин его за пятьдесят рублей в месяц согласился сдать помещение в аренду. Игорь Борисович достал лошади и пищу – купил сена и овса у служителей павильона животноводства на Выставке.

Относительно жены, юной кабардинки, Игорь Борисович говорить не захотел. Сообщил только, что ее зовут Нагимой.

– Нет ли у нее братьев? – спросил я.

– Есть. Три брата, в ауле под Нальчиком. А что?

– Да так… – сказал я. И лишь добавил, что кабардинцы народ горячий, особенно братья юных красавиц. И коней любят. Все наездники из

Кабарды.

– Ничего, – сказал Игорь Борисович и грудь распрямил.

А я вспомнил, что в своем утреннем монологе на кровати Игорь Борисович, по его словам, проклинал Татьяну Алексеевну Панякину. Возможно, что и тут Любовь Николаевна подстерегла некое мечтание Каштанова, оттого и возникла в жизни Игоря Борисовича кабардинка Нагима.

Многие ходили смотреть лошадь Игоря Борисовича (кто-то говорил, что и не лошадь, а коня). Михаил Никифорович, рассказывали, кормил лошадь овсом из ладоней и гладил ее по холке. Что же касается дяди Вали, то утверждали, будто он поставил лошади диагноз. Как раз напротив домов дяди Вали и Каштанова на Кондратюка в зеленом месте находилась известная в Останкине ветеринарная лечебница. Лошадь можно было отвести туда и проверить справедливость диагноза. Дядя Валя отверг это предложение, посчитав его унизительным. Он брался и лечить лошадь без ветеринаров и костоломов. Впрочем, лечить ее он был намерен не сейчас, тем более что недуг не был смертельным. В ближайшие недели дядя Валя полагал заняться лишь диагнозами. Лошади дядя Валя ставил диагноз сначала прикосновением, а потом и через обитую железом стену гаража. Показания вышли одинаковыми.

Иные посвященные останкинские жители, впрочем, их было немного, с интересом поглядывали на Михаила Никифоровича. Дядя Валя и Каштанов уже начали. Следовало ожидать, что и Михаил Никифорович начнет. А он не начинал.

В автомате в часы досуга крутились возле Михаила Никифоровича Шубников и Бурлакин. Действие галогенов серебра на организм Бурлакина так и не прошло, но Бурлакин уже не смущался засвечиваний и перестал носить мешок.

– Ну, Миша, ты-то чего-нибудь такое отмочи! – хитро шептал он Михаилу Никифоровичу.

– А то ведь я не выдержу! – громко добавил Шубников. – Отберу у тебя права! За свои-то четыре рубля!

Михаил Никифорович молчал.

– Сазана-то съели? – спросил я как-то Шубникова.

– Отчего же, – сказал Шубников. – Он живет в ванне. Вот какой стал!

– Мы его воспитываем, – добавил Бурлакин.

Такие времена наступили в Останкине. В ванне плавал и рос волжский сазан, в гараже квартировала лошадь. Причем Каштанов предполагал через месяц, коли позволит природа, начать пасти ее на Поле Дураков, возле

дома-музея Сергея Павловича, а потом, возможно, и отправлять в ночное в Сокольники, на Оленьи пруды.

– А что же вы женщине следы портили? – спросил я Шубникова. Спросил, отчасти прикидываясь простаком. Я-то догадывался, зачем они портили следы.

– А затем! – сказал Шубников. – Дальше будет хуже. Увидите.

Менее всего я узнавал в те дни о Любови Николаевне. Иногда я все же встречал ее, но разговоров с ней не вел… Кое о чем сообщил мне Михаил Никифорович. Да, Михаил Никифорович временами был молчун, но все же не до такой степени молчун, как тургеневский Герасим. И однажды он в явной досаде рассказал мне о приходе в его квартиру участкового милиционера Куликова. Якобы было получено анонимное письмо с намеками о присутствии на жилплощади Михаила Никифоровича Стрельцова, в особенности в ночные часы, когда город безмятежно и доверчиво спит, таинственной женщины без прописки. Возможно, что и иноземки. Возможно, что и из страны с конвертируемой валютой. Куликов частично зачитал Михаилу Никифоровичу письмо. Михаил Никифорович услышал выражения, свойственные устной речи Шубникова и Бурлакина. Дать отповедь авторам письма и участковому, заявив, что никакой таинственной женщины не было и нету, Михаил Никифорович не мог, потому как женщина, и именно Любовь Николаевна, открыла дверь лейтенанту. Поняв, в чем суть деликатного прихода участкового, Любовь Николаевна, поначалу любезная и улыбчивая, несколько возмутилась, принесла сумочку и резко протянула Куликову паспорт, какие-то справки, еще какие-то документы. Из них и из слов Любови Николаевны Куликов и Михаил Никифорович узнали, что Любовь Николаевна Стрельцова приходится Михаилу Никифоровичу племянницей, она дочь его старшего брата Николая, проживающего ныне в городе Ровно Украинской ССР; окончив институт, она два года работала в городе Кашине Калининской области, а теперь поступила в аспирантуру Московского стоматологического института, могла бы устроиться в общежитии, но участливый дядя Миша пригласил ее в свой дом. Штамп временной прописки был поставлен в паспортном столе пятьдесят восьмого отделения, где служил и лейтенант Куликов. Никаких сомнений документы и справки у него не вызвали, он стал шутить с Любовью Николаевной, на прощанье пожелал ей счастливой учебы и выразил мечтание, если у него заболит зуб, доверить этот зуб именно Любови Николаевне… «Ну вы наглеете! – заявил жиличке Михаил Никифорович. – Вы хоть санитаркой себя объявили бы, а то аспиранткой… Вы хоть бормашину-то от унитаза

отличите?» Любовь Николаевна ответила, что она изучила паспортные порядки и что приезжая племянница-санитарка вряд ли бы имела право на временную прописку. «Ну ладно, – сказал Михаил Никифорович, надо полагать, строго. – Но чтоб больше ни о каком моем брате вы не вспоминали!..» Брат Михаила Никифоровича действительно проживал в Ровно и по стечению обстоятельств был там заведующим стоматологическим отделением больницы. «Как скажете, так и будет», – согласилась Любовь Николаевна. Но особой почтительности в ее словах Михаил Никифорович не почувствовал.

– Может, она и аспирантские деньги получает? – предположил я. – А ты ей еще по рублю даешь.

Это предположение озадачило Михаила Никифоровича. Он долго молчал. Потом все-таки сказал:

– Пусть.

Однажды, когда кто-то стал рассуждать о простудах, я поинтересовался у Михаила Никифоровича, не подвержена ли Любовь Николаевна воздействиям весенней дурной погоды. Михаил Никифорович посмотрел на меня с неким удивлением и сказал: «Нет. Она крепкая, как тумбочка»; я хотел было спросить, почему именно как тумбочка, но Каштанов тут же стал говорить о повышении цен на Мальте.

11

2 мая Любовь Николаевна посетила пивной автомат на улице Королева.

Накануне дядя Валя поднял в воздух пятиэтажный кирпичный дом в Хованском проезде, возле входа на Выставку достижений. Через полчаса он поставил его на место, не повредив ни людей, ни их судеб, ни мебели, ни электрических проводов, ни системы водоснабжения и канализации.

Это было отчасти удивительно, потому как дядя Валя – все помнили – обещал теперь лишь ставить диагнозы и лечить.

В автомате Любовь Николаевна пробыла часа два. Стояла со всеми. Лишь однажды отходила в сторону по просьбе Михаила Никифоровича для частной беседы. Михаил Никифорович потом сообщил мне, что он решил сразу же предупредить Любовь Николаевну о возможных затруднениях. О том, что, если она собралась стоять в автомате и пить пиво, ей придется терпеть. Во-первых, терпеть матерные выражения, истребить которые здесь никто не в силах. Во-вторых, помнить, что пиво куда стремительнее арбуза, а туалет в автомате таков, что им могут воспользоваться лишь мужчины. Как решились сложности с туалетом, сказать не возьмусь, а вот выражений – в нашем по крайней мере углу автомата – в те часы не прозвучало ни одного. Все стали рыцарями, говорили, правда, медленнее, чем обычно, будто бы подбирали слова из чужого языка. Чувствовалось, что не чья-то чужая воля исказила словарный запас участников беседы, а виной тому – общее расположение душ.

«Отчего это Михаил Никифорович сравнил ее с тумбочкой?» – снова подумал я. Никак Любовь Николаевна не была похожа на тумбочку.

Очень приятная и ласковая стояла она в тот день с нами. И кружку с пивом держала изящно. Не портило ее место. Напротив, она облагораживала и само место и нас, постоянных посетителей. Погибших – в глазах иных жен – людей (почти никто из нас не имел автомобиля). Нынешних ее собеседников. Любовь Николаевна даже приняла участие в решении двух кроссвордов. Надо заметить, что кроссворды были не простые. Один в виде танка с пушками. Другой, из «Гудка», с железнодорожными смыслами. И не все слова в них даже самые энциклопедически образованные любители смогли взять. А Любовь Николаевна, пусть и не сразу, эти слова отгадала. В частности, вспомнила, что «часть здания, выступающая за основную линию фасада», зовется

ризалитом. И когда стали судить, какая же такая была первая киргизская опера, она без колебаний назвала «Айчурек», а сомневающимся напомнила и фамилию композитора Малдыбаева. Проще всего, как казалось мне, было ей сообщать нам имена всяких птиц, лесных, болотных, прочих. Хорошо известны были ей деревья и растения, в частности лекарственные и медоносные… Вполне возможно, что нынешняя Любовь Николаевна знала и о шагреневой коже и о Дориане Грее, которыми мы морочили ей голову совсем недавно. Было видно, что за последние недели представления Любови Николаевны о мироздании и его частностях углубились. Или расширились.

День был праздничный. Славно грело солнце. Кто-то заметил, что скоро в сквере возле автомата и на Поле Дураков вспыхнут одуванчики. Любовь Николаевна стала говорить о свойствах и запахах одуванчиков, потом о ландышах. Говорила она складно, с неким поэтическим чувством. С удовольствием говорила. Но вдруг замолчала. Будто спохватилась…

Позже, думая о 2 мая, я вспомнил, что на самом деле Любовь Николаевна в автомате говорила не больше других. А создавалось впечатление, словно она в разговоре главная.

Праздник уже устал, но совсем не иссяк и не утих. Люди, кто с Выставки, кто из Останкинского парка, кто из дубрав и оранжерей Ботанического сада, заходили в автомат семьями. Поздравляли знакомых и незнакомых. Случалось, ввозили и коляски с младенцами. Непременные воздушные шары, красные, лиловые, желтые, напрягали нити, готовы были, казалось, поднять коляски в выси. Иные из шаров обретали свободу, уплывали в предпотолочье, качались там в воздушных струях беспечно, способствуя общему благодушию. Известная художница Жигуленко, хоть и пришла с приятелями в автомат (со мной раскланялась) в праздном настроении, не выдержала, достала из кармана кожаного пальто то ли открытку, то ли вчерашнюю телеграмму и фломастером стала что-то набрасывать на бумаге. Потом выяснилось, что все бывшее тогда с нами она хотела вместить в себя и выразить в линиях и в цвете. Осенью на Кузнецком мосту мы увидели ее картину «Праздник», и на холсте были мы с кружками и с сумками, и Любовь Николаевна, и коляски с младенцами, и лиловые шары под сводами.

А я смотрел тогда на как бы высвеченную изнутри вдохновением художницу и вдруг сообразил, что и Любовь Николаевна сегодня в кожаном пальто.

Кожаное пальто знаете сколько стоит? Иному кумиру дважды придется выступать в концертах минут по пятнадцать (не менее того),

прежде чем он сможет приобрести натуральное кожаное пальто. А Любовь Николаевна уже являлась на встречу с нами в хорошей дубленке, возможно что и в канадской. Да и платья, кофточки, брюки, однажды – джинсовый костюм, носила она отменные, вряд ли бы они вызвали презрительные усмешки останкинских модниц.

Подумал я тогда и о другом.

Менялись не только наряды Любови Николаевны. Менялся и ее облик. Вот сегодня носик у нее оказался вздернутый. Одежды – ладно, их и погода заставляла менять. Да и дамы, украсившие Москву, не могли не влиять на туалеты Любови Николаевны. Как подтвердилось позже, была она особой наблюдательной и азартной. Да и вообще женщина есть женщина… Но вот носик… Я помнил точно (хотя теперь, конечно, и имел причины для сомнений в этом), что в первые минуты посещения автомата Любовью Николаевной нос у нее был прямой. Не большой, не малый, а совершенный. Приятно было смотреть на этот нос. Но вот пришла художница Жигуленко, сама по себе симпатичная, хотя шустрая и ветреная, со вздернутым носиком, и сразу, а может быть, и через полчаса, изменилась форма носа Любови Николаевны. То ли позавидовала Любовь Николаевна женщине, то ли понравилась ей ее внешность, то ли нечто родственное (вдруг и ведьминское?) почуяла она в художнице. Словом, с носом ее случилась метаморфоза. И когда художница ушла, помахав мне своей талантливой рукой, нос Любови Николаевны прежним не стал.

И еще я вспомнил. В мартовский день, когда Любовь Николаевна вышла к нам впервые, из-под ее лисьей шапки на дубленку падали волосы золотисто-апельсиновые. Затем у нее была коса, тяжелая, как самородок. Вскоре волосы у нее стали темные и короткие. Потом опять была коса, и уже русая. Конечно, тут можно было вспомнить об услугах парикмахерских, о свойствах шампуней и красителей. Но я понимал, что всегда цвет волос Любови Николаевны был естественный, от рождения. И что коса, возникшая сразу после короткой стрижки, лежала на ее спине своя. При этом мысль о подмене у меня не возникала. Наверное, всегда это была именно Любовь Николаевна. Но как будто бы каждый раз и вариация на тему Любови Николаевны… То она являлась полная, то худая, как ветка карагача… Опять же на ум могут прийти соображения о нервной московской жизни, о невзгодах существования под одной с Михаилом Никифоровичем крышей, о недостаточной силе рубля для взятия сытного обеда, отсюда, мол, и колебания веса Любови Николаевны. Но нет, тут явно было нечто иное. Менялся и рост Любови Николаевны. (Я здесь не принимаю во внимание высоту ее каблуков.) То она была с Михаила

Никифоровича, то ниже его на полголовы. И годы при разных встречах угадывались в ней разные. Порой она виделась (и была ею!) двадцатилетней женщиной, еще с надеждами, порой – совершенной и успокоенной дамой, а то и совсем девчонкой. И менялись линии ее бровей, рта, губ. То это были линии из журнала «Бурда», то они вызывали мысли именно о лесной тверской деревне. А вот теперь – вздернутый носик. Зачем это ей? Случайно ли так выходит из-за каких-либо особенностей натуры Любови Николаевны? Или мучается она, стремясь найти наиболее верное свое воплощение?

– Что это вы так смотрите на меня? – спросила Любовь Николаевна. Улыбка ее была отчасти одобряющая, а отчасти строгая.

– Да нет… Это я так… – растерялся я. – У вас есть вкус. Вы любите хорошо одеваться?

– Да… люблю… – теперь уже смутилась Любовь Николаевна.

– Я знаком с Зайцевым, – сказал я. – Вы слышали о нем?

– Да, – кивнула Любовь Николаевна.

– Я могу рекомендовать вас ему. Если вы захотите что-нибудь у него сшить.

Мне сразу же стало стыдно. Желая быть приятным Любови Николаевне, я теперь просто хвастался. Это жена моя была знакома с блистательным модельером, брала у него интервью.

– Правда, его работа дорого стоит… – нерешительно добавил я. – И сейчас его нет в Москве. Он вместе с Волчек готовит «Вишневый сад» в Веймаре…

– Но ведь он скоро вернется?

– Да… Конечно… – пробормотал я. – Если он куда-нибудь еще не унесется… В крайнем случае я познакомлю вас с моей женой. У нее все последние журналы мод…

Вовсе я не был намерен знакомить Любовь Николаевну и с женой. Да и жена бы, наверное, отнеслась к моему пособничеству в модных делах Любови Николаевны холодно, а то бы и поставила меня в угол. Однако остановиться я не мог… Любови Николаевне учуять бы мое состояние, а она охотно согласилась увидеть модные журналы и дала при этом понять, что журналы журналами, а встречу с Зайцевым заменить они никак не смогут.

– А вот вы, Любовь Николаевна, – встрепенулся вдруг финансист Моховский, – начали говорить про одуванчики. Про их целебные и питательные свойства… Вы считаете, что они выгоняют желчь?

– Выгоняют.

– Это вы по Ковалевой?

– По какой Ковалевой? – удивилась Любовь Николаевна. Но тут же как бы и вспомнила: – Да, по Ковалевой. И еще по Туровой.

– Турова куда суше в описаниях, – сказал Моховский.

– Корни и трава одуванчика, – заговорил Михаил Никифорович, и словно бы аптекарская шапочка возникла на его голове, – находят применение как горечь для возбуждения аппетита при анорексиях различной этиологии и при анацидных гастритах для повышения секреций пищеварительных желез. Рекомендуется также применять в качестве желчегонного средства. Корни используются и для приготовления пилюльной массы.

– Понял? – обратился к финансисту Моховскому Собко. – Гони из себя желчь. Или жуй одуванчики. Или закажи у Михаила Никифоровича пилюли.

– А, скажем, полынь? – то ли Любовь Николаевну, то ли Михаила Никифоровича спросил таксист Тарабанько.

– Полынь! – обрадовался Собко. – Полынь – это абсент.

– Полынь, – сказала Любовь Николаевна, – бывает горькая, метельчатая и таврическая.

– Смертельная доза сухой полыни, – строго сказал Михаил Никифорович, – равна двумстам пятидесяти – двумстам семидесяти граммам. Во время похода в Персию Петр Первый возле Кизляра потерял за ночь пятьсот лошадей, накушавшихся полыни таврической.

– Это ихняя, таврическая! – возмутился Собко. – Наша-то горькая чем плоха?

– Из нашей горькой, – сказал Михаил Никифорович, – выходят препараты, полезные при гастритах, протекающих с пониженной кислотностью. Они рекомендуются также для улучшения аппетита после перенесенных истощающих заболеваний…

– Ну! – восторжествовал Собко. – После истощающих заболеваний! А я что говорю!

– А вот лебеда… – опять вступил таксист Тарабанько.

– Погоди! – сказал Собко. – Мы не кончили про полынь…

Однако видно было, что все хотели говорить про лебеду. Иные из нас росли в войну или после войны и знали лебеду. Кто-то стал лебеду бранить, сравнивать ее пренебрежительно с капустой. Но нашлись и почитатели лебеды. Все в их детстве было хорошим, куда лучшим, чем в годы зрелые, щи из лебеды в частности. Впрочем, большинство из постояльцев автомата выглядели нынче скорее упитанными, нежели

тощими, и мысли о лебеде, корнях аира, крапиве казались больше баловством, а не напоминанием о горестной поре. И Михаил Никифорович стоял достаточно плотный, хотя питался в последние годы в столовых, где натуральная лебеда, аир, крапива могли и поспорить с блюдами, интересно названными в меню. И предположить можно было, что не одну лебеду Михаил Никифорович ел в детстве. А еще и картошку.

– И картошку, – согласился Михаил Никифорович.

Он заулыбался и стал вспоминать, как он ел картошку. Протяженные рассказы противопоказаны пивной. И теперь Михаил Никифорович говорил недолго, но мы уже знали кое-что о его детстве. А я нечто и домысливал. Вот о чем был рассказ.

Многого из войны Михаил Никифорович по малости лет не помнил. Но как и что ел – помнил… Была зима сорок второго. Февраль, наверное. Лежал большой снег. Однажды поутру немцы стали сгонять всех ельховских жителей на площадь. К церкви? Нет, не к церкви. Было у них в Ельховке две церкви, обе на концах деревни, километра два меж ними, сейчас их нет, пошли на щебень. Сгоняли к сараю, тот до войны и после нее был колхозным клубом. Гнали прикладами, люди и бежали. Погнали и мать Михаила Никифоровича. То есть какой он тогда был Михаил Никифорович! Ему, Мишке-то, неразумному, сидеть бы в тепле, а он бросился вдогонку за матерью. В одной рубахе, босой, с голым задом. Провалился в сугроб, пополз по снегу. Дурак был четырехлетний. Соседка Евдокия Николаевна, тетя Дуся, увидела Мишку, подхватила его, на площади у клуба передала матери. На руках у нее Мишка и просидел всю казнь. Расстреливали двух наших окруженцев, пробиравшихся, наверное, к линии фронта. Каких красноармейцы были лет, он не знает. Потом он не раз вспоминал о них, сам строил предположения, что и как было тогда, расспрашивал мать, и теперь его догадки и опыт взрослого добавились к запечатленному в сорок втором. Теперь ему виделось, что один был совсем молоденький, второй – пожилой. А немцев стоял взвод. Может, и больше. Человек двадцать. Не человек. Солдат. Тот, молоденький, не дожидаясь залпа, дернулся первым. И побежал. Пожилой не сразу, но бросился к лесу. Молоденького застрелили быстро – у мелового оврага, оттуда брали мел на побелку хат. А пожилой добежал почти до леса. Но и в лесу бы он не спасся. Лес малый, степной… Каково тем бабам было смотреть! Им и кур-то резать страшно. Да и не в страхе дело. У каждой муж или сын в армии… Похоронили наших там, где они упали. С одного, с пожилого, сняли тулуп, в крови, отдали зябнущему парню из Старковых. Носи! А что? Жить было надо… В тот день мать и накормила Мишку картошкой. Скотину, все

харчи немцы забрали, припрятанной картошкой мать тянула до весны, до зелени, из очистков картофельных пекла оладьи, в супы и на варево шли сушеные травы и корни. А в тот день мать разрыдалась и отварила картофелин десять. Крупных. Была еда. Память – на всю жизнь. О тех красноармейцах плакала мать, о себе, о муже, Мишкином отце, в армию он ушел в июле сорок первого. Плакала и о других. О дяде Мишкином, наверное, плакала, старшем отцовом брате, Павле Ивановиче. Месяц назад по чьему-то доносу немцы искали партийца Стрельцова Ивана Павловича, а пришли к Павлу Ивановичу. Переводчик шел с ними плохой, понять или объяснить толком ничего не смог, отцова брата увели и расстреляли… Потом Мишка долго не ел картошку. И еще были годы голодные. Сорок седьмой среди них. Его Михаил Никифорович помнил уже хорошо. Щи были именно из лебеды и из крапивы. Из крапивы вкуснее. Молока хватало лишь плеснуть каждому в тарелку – щи все же получались беленые. Дети в Ельховке пухли, болели, соседская девочка, дочь тети Дуси, умерла. А Мишке повезло. Отец каждый год брал его с собой в Дом инвалидов войны.

Отец воевал под Ленинградом. Рядовой пехоты. Пеший пехотинец. Выдержал чуть ли не все горькие дни блокады. Часто, ну как часто, по очереди, наверное, а может быть, и чаще других, с термосом за плечами ходил с передовой к кухне за обедом. Однажды его и подстрелили. Как поленом ударило по ноге. Перебили сухожилие. Отец упал, потерял сознание. Свои, голодные, поползли из окопов навстречу и нашли. На машине вместе с ранеными, вместе с женщинами и детьми отвезли на Большую землю. А там в тыл, в пермские края, в Кудымкар. Если бы сразу соперировали, может, нога и осталась бы живой, теперь-то сшивают, а тогда потеряли время… И все же в Кудымкаре его выходили, сначала в госпитале, а потом в доме у одной женщины, пермячки, отец всю жизнь благодарил пермяков. Там таких, как он, калек после курса лечения передавали в деревни на содержание. Одна женщина и кормила его. Молоко, картошка, что еще надо? А потом, когда освободили курскую землю и война пошла дальше, в Ельховку отправили письмо. Так и так, живы ли? А если живы, не сможете ли принять раненого мужа и отца? И вот, в сорок четвертом уже, прибыла в деревню повозка и на ней Никифор Иванович Стрельцов с медсестрой. «Принимайте раненого», – сказала медсестра. А какой он раненый, никто не знал. Костылей не нашлось. Кое-как доставили отца в хату. Собрались родственники, уцелевшие приятели, бабы. Сидели хорошо. Понятно, возник и самогон. Отец, правда, почти и не пил. С блокады мучился желудком. Выпьет полрюмки, а его

выворачивает. От желудка через четверть века он и умер. Страдал, не ел дней десять, икал и умер.

А тогда отца устроили в колхозе ночным сторожем. Он ходил в правление, это почти напротив их дома, спал там. Научился шить тапочки, катать валенки. Правда, катал не слишком крепко, оттого что катал сидя. Каждый год он обязательно ездил в Курск на два, на три месяца в Дом инвалидов войны. Поначалу его пробовали лечить, делали операции, колдовали ортопеды, старались, чтобы из его ноги вышел хотя бы протез. Не вышел. Дом инвалидов стоял на горе, возле собора, если кто знает Курск, на улице Добролюбова, у кинотеатра. В сорок девятом его закрыли, устроили поликлинику. А после войны фронтовиков там не лечили, а сохраняли. Мишка ездил в Курск с отцом. Он был самый малый в семье, поздний ребенок, так хоть этот рот надо было брать в сытное место, коли можно было брать.

В Доме инвалидов имелась комната для родственников калек или для людей, привозивших калек в Курск. Там они ночевали, несколько дней их кормили. Мишка же каждый год оставался с отцом на весь срок. Спал с отцом на кровати. Был как свой. И вот отчего. Палата считалась тяжелая. В ней всегда жил Самовар, Герой Советского Союза, человек без рук и без ног. Лежать с ним в палате многие отказывались, а Мишкин отец соглашался. Оттого и прощали его, Мишку. Самовар кричал иногда, просил убить его, пристрелить или отравить. Жена отказалась от него. Дети? Но они были еще малые, двое их. Запомнилось Михаилу Никифоровичу, как Самовар читал. Над его лицом укрепляли рамку с досочками, туда и клали книгу. Мишка переворачивал страницы. Самовар читал вслух. Мишкин отец был неграмотный, слушал чутко. Как-то к Самовару приезжал генерал. Самовар спас генерала, тогда его и изранили. Тот генерал узнал Мишкиного отца. В первую мировую они служили вместе. Уже в гражданскую охраняли мост через Волгу под Сызранью. После гражданской им, молодым красноармейцам, предложили учиться. Мишкин отец поспешил домой, знакомец же его согласился на курсы… Все обстоятельства жизни Дома инвалидов ему, Мишке, были хорошо известны. То и дело его о чем-то просили, а то и поручали что-то. Да и сидеть все время в одной палате было бы ему скучно. Его прозвали медбратом. Просьбы-то, впрочем, были простые: позвать медсестру, подать то да се. Мал он был, чтобы делать большее. Однако делал все, о чем просили. Жалел он калек. Они были, как отец, а отца он любил.

– У меня тоже отец был без ноги, – сказал я, растолкав слова Михаила Никифоровича. Сказал я как бы для самого себя, подумал вслух. А вышло

неловко. Будто я со своим отцом намерен был пристроиться к рассказу о судьбе Михаила Никифоровича.

Но Михаил Никифорович лишь кивнул мне и стал говорить дальше. О том, как хорошо и вкусно кормили в Доме инвалидов, как они с отцом отъедались там. Пока не полегчало в сорок восьмом. А какие в Доме инвалидов давали кисели и суфле!.. Впрочем, выяснилось, что и мать Михаила Никифоровича, Антонина Васильевна, умела готовить кисели. Не хуже курских. Из дикого терна, в частности, коли случалась ягода (терн у них в деревне шел и на настойки). Выходили кисели и из корня лопуха. Корни лопуха мать и пекла, и жарила, прежде отварив в подсоленной воде, и делала из них повидло – застывшее, оно походило на мармелад, с которым Михаил Никифорович познакомился впервые в юношеском возрасте, когда уже щупал девок… Тут Михаил Никифорович замолк, покосился на Любовь Николаевну, но та проявила деликатность, и Михаил Никифорович быстро сказал, что в их семье вообще понимали в травах и корнях, и его мать, и бабка, и их, наверное, матери и бабки. В голодные годы к ним приходили за советами, что можно и что нельзя и как стряпать, мать объясняла, а все равно стол у нее получался богаче. Были у них дома салаты из свербиги восточной, а проще – дикой луговой редьки с желтыми цветами, собранными в кисточки, и салаты из ярутки, из чертополоха со щавелем, и из сердечника лугового, и из молодых листьев кровохлебки. Молола мать муку из корней кубышки желтой, или – по-дачному – кувшинки, их Мишка добывал на речке, знал тихие места, из той муки пекли лепешки, жарили котлеты, рекой они, казалось Мишке, и пахли. Жарили и пекли не только корни лопуха, но и клубни зопника и корни лапчатки гусиной. Корневища же рогоза иногда тушили с картошкой. А уж на чай шли многие травы…

– Это какой еще зопник? – выказал удивление Моховский.

– А вот такой, – сказал Михаил Никифорович, – с метр высотой, рос в кустах, но у нас редко, стебель лиловый, а цветы розовые, чуть беловатые. Выкопаешь корни, они тоненькие, а на них катыши – клубни. Горькие. Но хорошо нагреешь – и горечи нет.

– Слово-то какое грубое! Зопник! – поморщился Моховский.

– Хорошее слово, – сказал Михаил Никифорович. – Но мы и не слово ели.

– Нет, дрянь! – стоял на своем Моховский.

Но было заметно, что разговор о ельховских кушаньях вызвал у слушателей мысли о доме, о кухонных столах, о закусках из праздничных заказов, еще мерзнущих в холодильниках. И, конечно, о горячем. Было

удивительно, что мы так долго молчали, а Михаил Никифорович так долго говорил. И еще. К Любови Николаевне, если помните, он относился строго, порой и с раздражением, причины которого угадать я пока не мог. Нынче они стояли рядом мирные. Будто семейные. А когда Михаил Никифорович говорил о травах и печеных корнях, Любовь Николаевна смотрела на него чуть ли не с обожанием. Словно притихший болельщик «Спартака» на вратаря Дасаева… А за словами Михаила Никифоровича вставали картины, многим знакомые. Растрогали нас отчасти его рассказы…

Тут нечто случилось с нами. Все шумы исчезли из пивного автомата. С улицы Королева. Из Москвы.

И мы замерли. И никого вокруг себя не видели. Будто каждый впал в состояние нирваны. Впрочем, это я потом предположил, что каждый. Тогда-то я подумал, что самопогружение внутрь себя, в глубины собственной сути и жизни, произошло только со мной (а может, и вообще не думал об этом). И слово «нирвана» здесь неточное. Нирвана – скорее сладостное и горестное забвение, остановка мысли и чувств. Здесь же забвения не было. Движения мысли продолжались. И некие видения стали возникать во мне. Рассказы Михаила Никифоровича вызвали и воспоминания. Поначалу о детстве. Воспоминания эти и никогда не покидали меня, нынче же они явились как ожоги и как доброе прикосновение женской руки (или души?). Вот мать на теплой террасе теткиного дома в Яхроме подбрасывает меня чуть ли не к потолку (так мне тогда казалось) и ловит, я визжу – от страха, от удовольствия, – и громкие летние мухи с обидой разлетаются. Вот пароход везет нас в эвакуацию, я на палубе прижался к матери, нижегородский берег горит, туда, где автозавод, где делают «эмки», падают бомбы, в небе огненно, и на земле огненно и черно, воют самолеты, световые столбы вцепились в небо. Страшно… Вот ноябрьским днем отец ведет меня на «Динамо», сорок пятый, зябко, то ли снег, то ли дождь, асфальт мокрый, черные резинки на костыле и палке отца не дают ему скользить, финал Кубка, играют ЦДКА и «Динамо», титаны и рыцари, в перерыве отец пьет пиво, а я, давясь от жадности и счастья, жую горячие сосиски с белой булкой, о чем я мечтал всю войну и всю жизнь и о чем я всю жизнь не могу забыть… Потом были видения отроческих лет. Видения любви… Возникали и видения странные, грезы какие-то, словно бы музыкальные или цветовые выражения нестойких, случайных моих дум и смятений или же, напротив, коренных моих житейских исканий. Виделись мне люди близкие и неприятные мне люди, виделись друзья, какие есть и каких уже нет, виделись мимолетные знакомые. Виделись звери, цветы, деревья (лябры, отчего-то я подумал

тогда – с чего вдруг? почему? Лябрами называли деревья мастера шпалерной мануфактуры в Петербурге в восемнадцатом веке, я читал об этом, потом забыл и вот вспомнил)… Чего только не увидел и не почувствовал я. И испытал я тогда некое просветление. Будто бы вот он наконец я истинный. Каким я себя хотел бы видеть, и каким я нужен людям. Будто бы мне нечего в себе стыдиться, нечему в себе отчаиваться, будто бы я все сделаю, что мне предназначено, и для себя и для людей. Или уже делаю… Высокий был миг.

Какая-то зеленая птица с красной головой, видел я ее в Пуще-Водице под Киевом, а имени не узнал, пролетела мимо меня, холодные капли стряхнула с голубых веток ели… И все зашумело.

Я очнулся. Я был в пивном автомате на улице Королева… Я посмотрел на своих знакомых. Сколько времени я отсутствовал здесь и был в себе? Час? Два? Год? Или минуту? Или мгновение? Не знаю… Тут я заметил, что и знакомые мои тоже как бы смущены. У иных же лица были напряженные. Или растерянные. А Михаил Никифорович стоял задумчивый. На него и глядели теперь посетители автомата… На Любовь Николаевну, похоже, в те минуты никто и не взглянул.

12

4 мая день был рабочий, а именно 4 мая закрыли на улице Королева пивной автомат.

Сначала думали, что недоразумение. Что, наверное, после праздников на Останкинском заводе кончилось пиво. А до Бадаевского далеко. Стояли у дверей в ожидании. Жаждущих было немало. Кто имел отгулы. Кто шел на работу вечером. И горло у многих пересохло.

Я проходил мимо. Постоял со всеми.

Оказалось, не все кроссворды в суете праздников были решены, теперь пришла и их пора. Иные вопросы вызывали досаду, до того коварными представлялись их составители. В частности, «Водный транспорт» озадачил видом конденсатора, последняя буква «д». Нет, говорили, таких видов конденсатора. А среди думавших были и знатоки конденсаторов.

– Есть на «д»! – горячился таксист Тарабанько. – Есть! Я знаю! Только забыл. Вот в тех телефонах, которые барышни соединяли…

Когда-то на каких-то курсах Тарабанько разбирал телефонный аппарат времен брусиловского прорыва, и был в нем конденсатор с последней буквой «д». Лесков заявил, что на тех аппаратах вообще никаких конденсаторов не было. Тарабанько возмутился, стал рассказывать, что они на курсах только тем и занимались, что вертели динамо-машины и подзаряжали конденсаторы, правда не на «д», а другие. Однажды он замкнул пальцем проволочки, его так тряхнуло, только что не взорвало и не сожгло. Он пришел в себя, обрадовался свежей мысли и в день получки сунул три заряженных конденсатора в карманы пиджака, два в боковые, один во внутренний. Его разбудили крики жены. Жена оказалась натурой упрямой и отважной, за что Тарабанько стал уважать ее еще больше, – она разрядила все три конденсатора. С тех пор в его карманах она ничего не ищет. Мрачный шофер Коля Лапшин сказал, что можно отучить жену лазать по карманам и другим способом. Он не сразу, но заметил, что в его карманах стала бывать женская рука. Он обиделся. До того он любил свою жену, что не мог ожидать от нее никакой низости. Публика удивилась. Коля Лапшин обычно рекомендовал себя жестоким мужчиной, убийцей, насильником, бандитом, а тут мы услышали о его тонких чувствах, пусть хоть к жене. Лапшин подтвердил, что да, любил, и не просто любил, а сильно любил, так любил, что даже расширил для нее туалет. Дом у них

пятиэтажный, панельный, туалет известно какой, а жена у Лапшина метр пятьдесят ростом, но если приложить рулетку к ее заду, сантиметров окажется, может, и не меньше, за что Лапшин, в частности ее и любил. В туалет она входила боком, маялась. Лапшин с трудом, но расширил туалет за счет ванной. И вот при такой его любви она стала шарить в его карманах. Деньги он всегда носил в верхнем кармане пиджака. Когда он стоял, достать их оттуда ей было трудно. Когда же лежал или вешал пиджак на стул – что ей стоило их достать? Ну ладно, сказал себе Лапшин. И в день получки наломал три лезвия «Балтики», сунул в карман. Утром обломки бритв там лежали, а денег не было. Пальцы жены оказались забинтованными. «Что это?» – спросил Лапшин. «Да так, – сказала жена, – обожглась». «Ну-ка разбинтовывай!» Понятно, что на пальцах были порезы от лезвий. «Поняла? – спросил Лапшин. – И верни деньги владельцу!» С той поры его карманы стали для жены запретной зоной… В очереди нашлись практики, поставившие под сомнение способы Тарабанько и Лапшина отстаивать свою финансовую независимость. Можно, сказали, и без конденсаторов и без бритв. Можно, предположим, с помощью валерьянки. Как это делает летчик Герман Молодцов. Молодцов был теперь в полетах, и о валерьянке вспоминали с его слов. Молодцов, холостой, жил с матерью, ей всегда и отдавал деньги. Мать его, старенькая, рассеянная, часто не помнила, куда их прятала. Молодцов, чтобы не беспокоить мать, прежде чем отдать ей деньги, серьезно смачивал их валерьянкой. Когда возникала необходимость пополнить карманный фонд, Молодцов брал кусок колбасы или рыбы, выходил во двор и приманивал в дом корыстного кота. Попадались коты, какие тут же угадывали место залежи. Бестолковые же по полчаса мыкались в комнатах. Потом коту, естественно, доставалось под зад ногой, а Герман Молодцов оказывался при средствах.

Разговоры эти никак не подвинули знатоков к решению кроссворда в «Водном транспорте», хотя сведения о пользе динамо-машины и в особенности о заде лапшинской жены и произвели на некоторых сильное впечатление. Но пусть так коротали время. Двери автомата не открывались, никаких движений в недрах его не возникало, и машина с пивом – ни с Бадаевского завода, ни даже с Очаковского – не прибывала.

Кто-то сказал, что, наверное, сегодня в городе вообще нет пива. Разведчики отправились в павильон у Крестовского моста, или в «Кресты». Там давали не только пиво, но и креветки. Тогда-то и возник слух, что автомат закрыли совсем. Лапшин знал, где живет одна из уборщиц, пошел к ней на квартиру, уборщица подтвердила: «Закрыли!» Позвонили из

треста, сказали – все. Теперь на Королева, пять, будет то ли галантерея, то ли диетическая столовая, то ли архив райотдела милиции.

Вечером – до восьми часов – толпа мужчин стояла у дверей автомата не сломленная, но удивленная. Можно было ожидать брожения умов. Но нет, кто-то предположил, что в стеклянном магазине на Аргуновской может кончиться и бутылочное пиво. Туда толпа и хлынула.

Мертвым был автомат и в День Победы. О причинах его закрытия никаких объявлений не делали. Некоторые полагали, что закрыли из-за иностранцев. По Королева ходят стада их от метро и до башни, к столикам на «Седьмое небо». Глядишь, забредут в автомат – и что увидят? Большинство же грешило на жильцов дома номер пять. Не на всех, конечно. А на особенно оголтелых общественников. Те не одну жалобу направляли в низкие и высокие учреждения. Вспоминали, что и перед выборами автомат был под угрозой. Жильцы-будораги – а их якобы раздражали голоса посетителей пивной – куражились и грозили не явиться к избирательным урнам. Теперь и без урн они добились своего.

– Никакие это не жильцы! – заявил, однако, при народе Михаил Никифорович. – Это она, стерва!

13

3 мая утром Михаил Никифорович ушел на работу. На Любовь Николаевну зла он тогда не держал. Напротив, после вчерашнего стояния в автомате он испытывал к ней чуть ли не нежность. «Душа у меня к ней лежала», – сказал мне позже Михаил Никифорович. Утром она даже показалась ему отощавшей. Михаил Никифорович пожурил себя, пообещал сегодня же вечером накормить Любовь Николаевну мясом. На самом деле он ни разу не порадовал ее московским хлебосольством.

Мысль об угощении не покидала Михаила Никифоровича и на работе. Трудился ли он у окошка рецептурного отдела, брал ли порошки с вертушки, ходил ли в ассистентскую или материальную комнату, он не забывал о мясе. Хотел в обед выскочить в магазин, но его позвали на заседание группы народного контроля – сегодня предстояло говорить об экономии электроэнергии. Михаил Никифорович вздохнул, сказал себе: «Ну ладно, после работы». Никаких происшествий в тот день в аптеке не случилось. И не было особенных покупателей. Запомнился Михаилу Никифоровичу лишь один взволнованный парнишка. Впрочем, парнишка оказался отцом двухлетнего Васи. Вася простыл, кашлял, Михаил Никифорович выдал отцу микстуру от кашля. Тот не отходил.

– А вот, говорят, от кашля помогает, – заторопился он, – отвар веток багульника. А?

– Помогает, – сказал Михаил Никифорович. – Надо порубить ветки багульника и отварить вместе с алтеем.

– С чем?

– С алтеем. Трава такая. Подойдите к штучному отделу, у них есть.

Михаил Никифорович рассказал, как готовится отвар. А парень все стоял.

– Вот еще, – сказал парень. – Говорят, есть очень полезная трава. Трава меланхолия.

– Меланхолия? – спросил Михаил Никифорович. – Может, вам сказали – хаммомиля? Это ромашка.

Михаил Никифорович стал объяснять, что меланхолия – это определенное состояние человека, но парень твердил свое:

– Нет, мне точно сказали!

«Трава меланхолия, трава меланхолия… – повторял Михаил Никифорович, оставив в аптеке халат и направляясь к продовольственному

магазину. – Трава меланхолия…» Он прошел метров сто по улице Кирова и увидел Сергея Четверикова. С Четвериковым Михаил Никифорович учился в Харькове в фармацевтическом. В столице оседали не только харьковчане, но и знакомые Михаилу Никифоровичу киевляне, крымчане, магаданцы. Всякие. Четвериков, завоевав Москву, года три работал в аптеке рецептаром, стал заведующим отделением готовых форм, но посчитал, что он уже взрослый мужчина и на аптекарские копейки жить ему не резон. Пятый год он санитарный врач. Четвериков и Михаила Никифоровича призывал образумиться, он бы помог однокашнику добыть приличное место. Доказательства его житейской правоты были теперь у Четверикова в руках. Его хозяйственную сумку растянули приятные на вид упаковки, а могучий черный портфель разнесло.

– Куда направился? – спросил Четвериков.

– Да так… – смутился отчего-то Михаил Никифорович. – Мясо надо достать…

Тут Четвериков обеспокоился, взглянув на сумку и на портфель, будто бы Михаил Никифорович претендовал на его добычу. Сказал быстро:

– А ты к Петьке Дробному зайди.

– Может, и зайду… – кивнул Михаил Никифорович. И они разошлись… «И вправду, что ли, к Дробному?» – задумался Михаил Никифорович. Он не хотел идти к Дробному, не в его это было правилах. Но, заглянув в четыре магазина, понял, что принесет домой лишь кости, в лучшем случае – обрубок грудинки для щей. «Зайти, что ли, к Петьке? – затосковал Михаил Никифорович. – Посмотреть, что у них в магазине?» Он свернул в Банковский переулок и вышел к зданию, где рубил туши Петя Дробный.

Мясо в магазине было, на глазах Михаила Никифоровича принесли два полных лотка. Но и очередь была. Ощущая неловкость, Михаил Никифорович подошел к прилавку, смиренно спросил продавца:

– Петр Иванович сегодня работает? – Спросил с надеждой, что не работает.

– Тут он, – сказал продавец и бросил подсобнику, черному халату: – Позови Петра Ивановича!

В очереди привычно молчали: что сердить кормильца, да и каждый небось в своем месте тоже вызывал такого же Петра Ивановича. Дробный пришел не сразу. Михаил Никифорович заметил, что он в возбуждении.

– Ну что тут у вас? – сухо спросил Дробный и продавца и очередь. Несмотря на то что белый халат его был запачкан красным, Дробный производил впечатление не кого-нибудь, а именно директора магазина. –

Ну что тут у вас? – спросил он уже устало. – А вы, – обратился он к Михаилу Никифоровичу, – пройдите ко мне в кабинет. Нет, нет, не здесь, а через парадный подъезд.

«Зачем я приплелся сюда!» – ругал себя Михаил Никифорович, однако обогнул магазин и подошел к черному ходу. Дробный уже ждал его в дверях, сказал:

– Давай, давай, быстрее! А то мне сейчас надо рубить.

Мясницкая помещалась в подвале со сводами, была хорошо освещена, и Михаил Никифорович сразу же понял, отчего Петя Дробный, всегда корректный и холодноватый, показался ему нынче возбужденным.

Рубили деньги.

То есть какие деньги. Так, рубли. В мясницкой стояли четыре колоды. Четыре стула, на языке Дробного. А рубщиков было пятеро. Находился при них и шестой, черный человек в очках, лет тридцати пяти, но он выглядел наблюдателем. Черный человек в очках, как выяснилось позже, был известный хирург Борис Шполянов, остальные же, как и Петр Иванович Дробный, служили рубщиками мяса. Одного из них Михаил Никифорович через Дробного знал. Фамилия его более подходила для молочного магазина – то ли Маслов, то ли Сметанин. Он окончил университет на горах, работал ядерным физиком, а потом пошел в мясники. Трое же других соревнователей, как вскоре узнал Михаил Никифорович, были мясниками по образованию. Что же касается Пети Дробного, то он, как и Четвериков, учился вместе с Михаилом Никифоровичем в Харькове, но на педиатра. Диплом получил с отличием, чего и теперь в разговорах не стыдился. Петр Иванович Дробный был всегда изящен, знал манеры, ассистенты Бондарчука вполне могли пригласить его для съемок сцен в салоне графини Шерер. Халат, запачканный кровью скотины, не портил его. Рубашка под халатом была свежайшая, галстук Петр Иванович завязывал без единой морщинки. Побывав года три назад в гостях у Дробного, Михаил Никифорович был удивлен его книжными богатствами, в том числе изданиями по искусству. «Что касается книг, – сказал тогда Дробный, – то тут я запойный». Собирал Дробный и живопись. Икон не держал, считая их приобретение делом пошлым, а вот за портретами начала девятнадцатого века охотился. А уж конца восемнадцатого тем более. Интересовали его и художники круга Алексея Гавриловича Венецианова, «русский бидермейер», как разъяснил Дробный. Как бы между прочим, но и не без удовольствия представил он Михаилу Никифоровичу раму, купленную у известного мастера за восемьсот рублей. Рама висела пока без холста. Была хороша и сама по

себе. «Для такой рамы, – сказал Дробный, – нужен либо Глазунов, либо Шилов». На Глазунова Дробный уже выходил, но ничего не купил, на Шилова же его только обещали вывести. Вполне возможно, раме предстояло совместиться с портретом самого Петра Ивановича Дробного. Что ж, он того стоил…

Дробный надел фартук из серой клеенки, ему предстояло разделывать говяжью и бараньи туши. Остальные же были и без халатов. Один из мясников, толстый короткий мужчина по прозвищу Росинант, как-то лежал в клинике доктора Шполянова, попал туда с острым животом. Шполянов его спас, сделал рискованную операцию. «Доктор, вы – ювелир, – сказал ему Росинант, – но и мы не лыком шиты, вы вряд ли разрубите рубль по-нашему…» Вот теперь хирурга и пригласили в мясницкую. Топоры (тупицы, как их называл Дробный) – и Михаил Никифорович в том убедился – были наточены на совесть, делом занимались люди серьезные.

Михаил Никифорович в годы юности попадал и в помощники экскаваторщика. Помнил, как большие мастера на спор поднимали ковшами карманные часы, среди прочих и женские. У мясников были свои нравы. Рубль у них полагалось разнести топором так, чтобы ни один клочок государственной бумаги не вмялся в раздробленную, шершавую, чуть ли не клыкастую поверхность колоды. И не приклеился к ней. Хирург Шполянов на глазах Михаила Никифоровича дважды махал топором и дважды, к удовольствию мясников, вминал раскрошенный рубль в колоду. «Это вам, доктор, – радовался Росинант, – не людей потрошить!» Шполянов, и сам по себе, видно, застенчивый, улыбался виновато, говорил, что устал за праздники, дежурил оба дня в клинике, вчера сидел в реанимации с больной до двенадцати ночи. Объяснения его серьезными не посчитали. «Давайте я, – сказал Дробный, – мой черед». Однако явился подсобник, очередь требовала мясо. «Ну ладно, сейчас», – сказал Дробный.

Место его занял мясник-физик, то ли Маслов, то ли Сметанин. Дробный с подсобником уложили на колоду баранью тушу, по жиру видно, что новозеландскую. Физик разместил на своей колоде три рублевых бумажки, но не поднимал топор, а словно бы поджидал работы Дробного. Дробный и начал. Он был артист. Михаил Никифорович ни разу не видел, как он рубил, а тут увидел. Дробный не суетился и не нервничал, движения его были с некоей долей небрежности или даже высокомерия. К кому? К чему? К делу ли своему полезному, к судьбе ли своей, к людям ли, заставившим его возиться с тушей, к миру ли всему, к художникам ли, чьи холсты еще не оказались в его рамах, к красной ли бараньей плоти? Не ухал Дробный, как делал потом Росинант, и не испытывал каких-либо

напряжений. Взмахи его были моментальны и изящны, туша лежала перед ним мороженая, кровь не стекала с дубовой, словно бы выросшей из бетонного пола колоды. Или плахи. Впрочем, отчего плахи? Не казнь тут была, а именно раздел туши. Но, может быть, и казнь? Второе разрушение, второе исчезновение живого недавно существа, брата меньшого, части природы, творения, возможно, и случайно возникшего после стараний или игры чьей-либо воли или возникшего не случайно, а в результате неизбежного движения материи. И вот теперь это бывшее живое существо сокрушалось ударами топора Дробного, рассекавшего мышцы, сухожилия, кости, нервы, сосуды, хрящи убитой уже кем-то другим части природы, предназначенной для поддержания жизненных токов в иных существах, жестоких и хищных. В некоего исполина вырастал сейчас Дробный, оттого он и позволял себе быть высокомерным. Будто бы выделился он теперь из природы, стал над ней, крушил ее и давал понять, что и впредь всегда он будет всесилен и жесток и, коли захочет, разрубит не одну лишь красную плоть глупого агнца, жевавшего клевер на лугах под Оклендом, но и Млечный Путь размахнет, разгонит скопления звезд, планет, черных дыр, пульсаров, облаков, ионизированного водорода в разные углы галактик… «Давай хватит! – сказал подсобник. – Уже три лотка насек. Эти горлопаны пока обойдутся. За говядину берись». «А вот теперь мы!» – обрадованно заявил физик.

Он так и не поднимал топор, видимо, засмотрелся на работу Дробного, а может, и какие секреты старался углядеть в этой работе. В его-то движениях не было строгости и высокомерия Дробного, нечто егозливое, даже клоунское, хотя опять же и артистическое было в них. Маслов или Сметанин и приседал, и будто бы подпрыгивал, и топор, вскинутый над головой, подбрасывал, ловил его рукой на лету и уже тогда с силой разил им колоду. Первый рубль он разрубил легко, правда, несколько наискось, но, как и требовалось, не вмяв бумажку в дерево. При осмотре на остатках рубля и следа не обнаружилось. Два других приготовленных денежных знака физик разнес быстро и уже не наискось, а напрямую, листочки четвертого рубля поднялись в воздух и лепестками южного растения опали на сырой пол. Физик принимал от зрителей рубли и трешки. Но и своих денег не было ему жалко. «На четыре слабо будет!» – подзадорил его Росинант. «На четыре! – воскликнул Дробный. – На четыре каждый дурак сможет. Пусть он на три! Или на семь!» «И на три! И на семь! И на сколько хочешь!» – кричал физик, взмахивая топором, и рубли с трешками рассекались действительно и на три и на семь клочков, физику бы успокоиться, а он не мог, деньги ему все подавали, пошли и десятки,

отрубая им углы, физик объявлял с торжеством и сладостью страсти: – А это вот мы от почечной части! Для плова! Для пловчика! А это от тазобедренной! Отличный кусочек, пальцы оближешь! А это на шашлык! На шашлычок! На дачу в воскресенье! Костерок с дымком! А это с костями на лоток и на прилавок! А это будут голяшки! Голяшки!» Все же его призвали угомониться, напомнили о совести. Да он и сам, видно, натешился, допустил к колоде Дробного.

Но не было Дробному везения, опять спустился продавец, требуя говядину. «А-а-а! Чтоб вас!» – выругался Дробный. Матерных слов он не употреблял, вырос в нежной семье.

Подсобники притащили ему половину коровьей туши. Теперь рубщики у колоды с деньгами менялись быстро, чтобы не раздражать друг друга; возвращаясь к колоде, приемы не повторяли, а показывали новое, нынче в ходу еще не бывшее. «Ух-ма!» – восклицал Росинант и крошил рубли, то тяжело держа топорище обеими руками возле металла, то схватив его за самый конец одной рукой, однажды – правой, в другой раз – левой. Рубщик из магазина у Сретенских ворот по фамилии Фахрутдинов, сменивший Росинанта, тоже хватал конец топорища, но свирепо крутил топором над головой будто томагавком; деньги же, казалось, рассыпались сами по себе, не дожидаясь его ударов, а просто от страха. Пятый же, весельчак Николай Ефимович, при бороде и усах, словно был не мясник, а цирюльник и не топор держал в руке, а золингеновскую бритву, короткими ласковыми движениями сбривал клочки рублей с дерева, оставляя колоду чистой. А Дробный рядом снова исполином сокрушал природу в уверенности, что теперь-то он сокрушит все и обретет наконец успокоение. Или даже свободу… Один лишь хирург Шполянов был как бы и не здесь или просто спал, сидя с закрытыми глазами в углу на отставленной колоде. А ведь из-за него были затеяны нынче мясницкие игры, именно ему Росинант желал показать, какие они мужчины и виртуозы. Впрочем, Росинант и его коллеги о Шполянове забыли. До того ли им было? Оказывались на колоде десятки, четвертные, пошли и зеленые – казначейские билеты в пятьдесят рублей, – и сотенную положил первым под лезвие топора, под лезвие томагавка отчаянный Фахрутдинов. «Призовой фонд подавайте!» – приказал Дробный. Отправив говядину очереди, принесли деньги на лотке, был пущен в дело и призовой фонд, мастера рубили в нетерпении, но все по правилам, ошибок себе не позволяли, нарезанные, настриженные будто бы для карнавальных буйств цветные кусочки бумаги лежали, теснились вокруг колоды, их пачкали, давили толстые подошвы и скошенные высокие каблуки фирмы

«Саламандра», вминали в сырость бетонного пола. «А ты-то что стоишь? – обернулся Дробный к Михаилу Никифоровичу. – Ты ведь тоже медик. Один вон хирург уже оказался слабаком. Ты хоть не посрами профессию!» И Михаила Никифоровича увлекло соревнование, и он, случалось, на спор ломал сушки на три части, Михаил Никифорович шагнул к колоде, но чуть было и не остановился, вспомнил, что у него в кармане пять рублей тремя бумажками. Не то чтобы он их пожалел (хотя и пожалел), нет, просто он не забыл о своем намерении угостить Любовь Николаевну. На какие шиши стал бы он ее угощать? Однако что уж тут было жадничать. Михаил Никифорович расправил мятый рубль, бросил его на колоду, неловко это было делать после сотенных-то, но, похоже, достоинство его бумажки не вызывало ничьего ехидства. Замахнулся Михаил Никифорович мощно, будто лаппенрантский лесоруб, и топор послал вниз, ахнув с удалью, но бумагу не разрезал. И не разрубил. И после второго замаха рубль остался целым. В третий раз Михаил Никифорович уже и не думал о чистоте рубки, он хотел одного – рубль разнести, пусть и вмяв его в колоду. Не разнес и не вмял. «Да что же!» – обиделся Михаил Никифорович, швырнул на колоду трешку, но и трешку его свирепый удар не повредил. Трешку, чтобы не мешала, Михаил Никифорович убрал, а по рублю своему зловредному, осердившись, бил и бил топором снова. «Да что же это!» – все удивлялся он и не мог образумиться, ахал и рубил, пока не развалил колоду.

Хирург Шполянов так и проспал это происшествие.

Дробный жалел изувеченную колоду. Ее недавно красили суриком, она была могуча и так широка, что могла служить постаментом для парковой скульптуры. Именно была. Теперь на полу валялись две ее половинки и щепа с бумажками вокруг. Наглый же рубль Михаил Никифорович поднял совершенно здоровым, без единого повреждения. Стыдно было Михаилу Никифоровичу на него смотреть.

– На вид будто Котовский, – Росинант поглядел на Михаила Никифоровича как на больного, – а бумажки разрубить не можешь.

Он хотел показать Михаилу Никифоровичу, каким должен быть настоящий мужик, но и сам осрамился. И его топор на свежей колоде рубль Михаила Никифоровича не одолел. Опозорились и другие рубщики.

А хирург Шполянов все спал.

– Забери ты, Миша, свой рубль, – сказал Дробный, отчасти озадаченный. – Может, он заколдованный. Или неразменный.

Михаила Никифоровича эти слова не обидели, он видел, что рубщики в смущении. Как, впрочем, и он сам. Однако комплекс непобежденного

рубля недолго печалил мясницкую. Положив на колоду свои деньги, рубщики опять ощутили возможности топора и собственных рук. О происшествии с рублем Михаила Никифоровича тут же было забыто. Однако наличные деньги соревнователей скоро исчерпались. Чудесный Фахрутдинов вызвался идти добывать новые. Но видно было, что страсти уже удовлетворены. И победителя не определяли. Тем более что призовой фонд был израсходован.

Росинант сказал, что надо идти к нему и просто отметить. Разбудил он хирурга Шполянова, снова заявил, торжествуя:

– Это тебе не людей потрошить! Да и это что! Рубить рубль – дело техники. А вот рубить мясо – дело ума. Тут уж надо стратегом стоять с тупицей у стула. Новичок-то или просто глупый нарубит пятьсот килограммов на пятьсот килограммов, а мастер нарубит пятьсот килограммов на девятьсот! Понял?

А Михаил Никифорович, как, наверное, и доктор Шполянов, признал в Росинанте мастера.

– Все, – сказал Дробный подсобнику. – Мясо кончилось. И до восьми осталось пятнадцать минут… Пойдешь с нами? – спросил Дробный Михаила Никифоровича.

– Нет, – сказал Михаил Никифорович, – у меня дела.

– Ну смотри, – кивнул Дробный. Потом спросил: – А что ты приходил ко мне?

– Да так, – смутился Михаил Никифорович. – Просто… Давно не видал.

– Ну спасибо, – сказал Дробный, – что просто заходил. А то все заходят за чем-нибудь. Будет скучно, еще заглядывай…

Они простились. Хирург Шполянов тоже отстал от компании, хотя его звали настойчивее, чем Михаила Никифоровича. Сонный, он двигался за Михаилом Никифоровичем к станции «Тургеневская».

– Надо бы вегетарианцем стать, – сказал вдруг Шполянов. – А?.. Но ведь не смогу…

– И я не смогу, – вздохнул Михаил Никифорович.

– Приятно было познакомиться, – протянул ему руку Шполянов, сойдя с эскалатора. – У меня такое ощущение, что мы с вами еще встретимся.

– Только не в вашей клинике, – сказал Михаил Никифорович.

– Нет, нет, – успокоил его Шполянов.

«Что же делать?» – думал Михаил Никифорович. В Останкине магазины уже закрыли. Единственно, что смог Михаил Никифорович, это купить в киоске возле метро два больших пломбира. Но разве мороженым

собирался он кормить отощавшую Любовь Николаевну?

А Любовь Николаевна 3 мая ночевать не явилась.

Улегшись на раскладушке в ванной и закрыв глаза, Михаил Никифорович опять увидел, как крушил Дробный пачку десяток, стянутую банковской ленточкой, и как опадали на пол бумажные лепестки…

14

Между прочим, два пломбира Михаил Никифорович купил на рубль, не поддавшийся топору. Неразменным он не оказался. Михаилу Никифоровичу дали четыре копейки сдачи.

Той ночью Михаил Никифорович вставал два раза. Пил воду. Любовь Николаевна однажды уже исчезала на три дня и три ночи. Тогда Михаил Никифорович не волновался, а надеялся. Сгинула бы она совсем! Теперь же Михаил Никифорович был готов звонить в милицию и в бюро несчастных случаев, будто Любовь Николаевна приходилась ему дочкой-семиклассницей. Но была-то она именно не дочкой…

Под утро он, правда, заснул крепко и спал спокойно. А когда проснулся, Любовь Николаевна уже присутствовала в его квартире. Михаил Никифорович собирался было пожурить Любовь Николаевну, спросить, есть ли у нее совесть. Но не спросил. Любовь Николаевна была поутру хорошенькая, со вздернутым чуть-чуть, как и вчера, носом (или носиком), но уставшая и озабоченная. Ночью, возможно, была в путешествиях или полетах. Михаилу Никифоровичу и иные картины рисовало воображение. Но зачем рисовало? Что ему было до приключений Любови Николаевны?

– Михаил Никифорович, – сказала Любовь Николаевна робко, будто бедная Лиза Эрасту, – вы не смогли бы сделать мне укол?

– Там мороженое в холодильнике, – сердито сказал Михаил Никифорович. – Ешьте. А то пропадет. Куда укол? В вену или в мышцу? Сейчас?

– В мышцу, – совсем смутилась Любовь Николаевна. – Сейчас.

– Ладно, поставлю кипятить шприц.

Шприцы Михаил Никифорович держал в доме всегда. Когда-то у соседей больная старушка нуждалась в уколах, и Михаил Никифорович вызвался заменить приходящую сестру. И с других этажей дома Михаила Никифоровича в ожидании неотложек не раз вызывали оказывать помощь. Никелированная коробка со шприцами и иглами стояла в шкафчике, в ванной, и Любовь Николаевна ее, вероятно, видела. Михаил Никифорович налил в коробку воды, поставил ее на газовую плиту, приготовил пилку для ампул, вату и пузырек со спиртом. Один из брикетов пломбира, твердый еще, Михаил Никифорович положил в глубокую тарелку и вместе с ложкой протянул ее Любови Николаевне. Любовь Николаевна взглянула

и на мороженое и на Михаила Никифоровича с неким испугом. Словно бы и пломбира, лучшего в мире, ей не хотелось. Однако сердитый взгляд Михаила Никифоровича заставил ее проявить покорность. А сердился Михаил Никифорович сейчас отчасти и на себя. На ум ему то и дело приходила Люся Черкашина. Черкашина, красивая тонколицая женщина под тридцать, хохотушка, склонная с Михаилом Никифоровичем пошутить, и не раз, в особенности когда Михаил Никифорович, подменяя грузчика, тащил тесным коридором тяжеленные упаковки или мешки, с удовольствием и шумом щипавшая его, работала у них ассистенткой. Перед праздниками Михаил Никифорович прямо в ассистентской трижды колол ее. Ассистент Петр Васильевич, человек нравственный, ворчал и уходил покурить, а девчата оставались, смотрели на действия Михаила Никифоровича с интересом и давали рекомендации, как ему не повредить благородный Люсин зад. Люся была свободная женщина, ухажеры всегда возникали вблизи нее увлекательные и неуемные, а она уже растила двоих детей, новых заводить не собиралась и, когда возникали критические ситуации, сама назначала себе уколы, а Михаил Никифорович их исполнял. Он славился легкой, ласковой рукой, желваков не оставлял. Какие причины побудили Любовь Николаевну терпеть укол, не его было дело, и уж, во всяком случае, не следовало ему вспоминать именно о Люсе Черкашиной. Глупости какие-то лезли сейчас Михаилу Никифоровичу в голову.

– Шприц остыл, – сказал Михаил Никифорович.

– Хорошо. Я готова, – встала Любовь Николаевна.

– Идите в комнату. Там и ложитесь.

Михаил Никифорович вымыл руки и вспомнил, что он даже не спросил, какое лекарство он должен ввести Любови Николаевне и из каких склянок. А когда вошел в комнату, увидел, что Любовь Николаевна уже лежит на диване лицом вниз, на столике же у окна стоит флакон из-под духов, заткнутый бумажной, что ли, пробкой. А может, тряпкой. Жидкость во флаконе была светло-коричневая и мутная, напоминавшая то ли брагу, то ли медовуху. Михаил Никифорович вытянул пробку, она и впрямь была скручена из обрезка кухонного полотенца. «Не с нашей ли кухни?» – удивился Михаил Никифорович. Но полотенце полотенцем, а Михаил Никифорович был озабочен сейчас другим. В медицинском деле он был педант, считал обязательным соблюдение правил, а тут – какая-то брага и тряпичная пробка. Михаил Никифорович понюхал жидкость и спросил:

– Это хоть что такое?

– Это мне надо, – сказала Любовь Николаевна, не меняя позы, а лишь повернув голову, на губах и на щеках ее Михаил Никифорович увидел

белые и шоколадные следы мороженого. Вы не опасайтесь. Пить это мне не следует. Можно лить внутримышечно. Полный шприц. А я сама не умею.

Она будто бы стыдилась и своего неумения, и того, что вынудила Михаила Никифоровича кипятить шприц, и как бы обещала, что больше подобного не случится.

– Ладно, – сказал Михаил Никифорович. – И это… Приготовьте место… Пожалуйста…

Михаил Никифорович опустил шприц во флакон, жидкость, бесцветная на вид, оказалась тягучей и плотной. Он подумал, что иглы у него старые, наверное, затупились и Любови Николаевне будет больно. «Да небось у нее и кожа-то казенная», – попробовал успокоить себя Михаил Никифорович. Однако чувство тревоги и, уж точно, ощущение неловкости не отпускало Михаила Никифоровича. Он и к дивану подходил, глядя в пол, словно бы голое тело Любови Николаевны (какое там голое! Чуть-чуть приоткрытое!) могло взволновать его или возбудить в нем нечто стыдное или дурное. Это он-то, медик, в юнца, что ли, превратился тринадцатилетнего!.. Кожа у Любови Николаевны оказалась нежная, чистая, приятная на ощупь. И прикосновение к телу Любови Николаевны Михаила Никифоровича взволновало, как юнца! Тело ее было идеальных линий, крепкое, опрятное и вовсе не отощавшее, как предполагал вчера Михаил Никифорович. К стыду Михаила Никифоровича, игла и вправду затупилась, гнулась, никак не могла проколоть кожу Любови Николаевны. «Сейчас, сейчас! – говорил Михаил Никифорович. – Потерпите чуть-чуть…» А когда игла вошла наконец в ягодные места Любови Николаевны, Михаил Никифорович вынужден был давить на поршень шприца так, будто держал в руках отбойный молоток. Серьезным, видно, было мутно-коричневое снадобье. «Ну, все», – сказал он. Вату со спиртом приложил к ранке. Лоб его был мокрым. Михаил Никифорович отвернулся, давая возможность Любови Николаевне привести себя в порядок. Впрочем, она и была в порядке. Во время процедуры Любовь Николаевна не произнесла ни звука. «Она, наверное, и не чувствовала ничего», – подумал Михаил Никифорович. Спросил на всякий случай:

– Больно-то не было?

– Было больно, – тихо сказала Любовь Николаевна.

Михаил Никифорович удивился, посмотрел на нее. Губы Любовь Николаевна сжала, лицо ее было белее обычного. «Что она, как человек, что ли?..» Михаил Никифорович был готов даже взять платок и стереть со

щек Любови Николаевны следы мороженого. Платка под рукой не было, а вата была, ею Михаил Никифорович и воспользовался. Любовь Николаевна улыбнулась ему благодарно и беспомощно.

– Вы ложитесь, – сказал Михаил Никифорович. – Я сейчас сделаю грелку. На полчаса. Чтобы не вышло желвака.

Полчаса, однако, Любовь Николаевна пролежать не смогла. Минут через пять она уже стала вертеться. Лишь укоризненные взгляды Михаила Никифоровича останавливали ее. А видно было, что она готова нестись куда-то. «Хоть не окочурилась она от укола, – думал Михаил Никифорович, – и то хорошо. Иначе пришлось бы…» Впрочем, сразу же мысль Михаила Никифоровича как-то смялась. Что пришлось бы? Отвечать, что ли, ему? Но перед кем? А перед самим собой. Более, сказал он себе, никакие таинственные жидкости никому и никуда вводить он не будет. Все! Впрочем, что он волнуется? Что случилось бы с ней, в чем могло состоять ее окочуривание? Ну исчезла бы она. И все. А вот, понял вдруг Михаил Никифорович, и не нужно ему ее исчезновение… А тело это ее, чуть-чуть обнаженное… Сколько раз прежде бродила она по квартире, одетая по-домашнему, явилась как-то к нему буйная и прекрасная, в нежнейших свойств ночной голубой рубашке, но женщиной для него не была, а была неизвестно кем. Холодно оценивал Михаил Никифорович ее линии и формы. Терпел. А тут вот коснулся чистой кожи Любови Николаевны и… Было от чего смутиться Михаилу Никифоровичу… И о всяких подозрениях по поводу Любови Николаевны он теперь забыл.

Напрасно забыл.

Пока Михаил Никифорович был в раздумьях, Любовь Николаевна вскочила, минут пять причесывалась и красилась в ванной, из ванной же вышла готовая не только нестись куда-то, но, похоже, и взвиваться, и летать, а может, и рушить горы. И озорство, и удаль, и воля, и некое важное решение были в ее глазах.

– Спасибо, – быстро сказала она Михаилу Никифоровичу. – Я пошла.

В тот день на улице Королева и закрыли пивной автомат.

15

До 11 мая (исключая, конечно, обстоятельство с автоматом) ничего важного в Останкине не случилось.

Известно: первые десять дней мая – безалаберные, перескакивают с праздника на праздник и несут в себе не только удовольствия, но и опасности для любого организма, для мужского в особенности. Впрочем, те десять дней прошли для меня тихо. Меня щадили и не трогали. Но с 11 мая – началось…

11-го я проснулся с ощущением, будто бросил курить. То ли сам бросил, то ли меня вынудили.

Сорок лет свои я прожил некурящим. Чем удивлял, а то и раздражал знакомых. А тут почувствовал, что я курил, а с 11 мая прекратил. И осознание некоего самоуважения создалось во мне, словно я совершил долгожданный волевой поступок. И отчего-то тошнило. И хотелось, чтобы истребить в себе злонамеренность, сосать леденцы или жевать ломти сухого сыра.

Совершалось и иное. Прежде я жил совой (и это при наличии жены-жаворонка). До двух или трех часов ночи в придремавшем доме тихо сидел на кухне, писал и читал. Вставал поздно, разбитый, с тягучими, обидными мыслями. Теперь же в половине двенадцатого я начинал кругло зевать, закрывал глаза, сдавшийся, в полусне добирался до дивана. А вскакивал я в шесть утра, крутил головой, чуть ли не кричал петухом, со злой энергией, будто за мной наблюдали тренеры Тарасов и Тихонов, принимался делать зарядку, а потом в чешских неразмятых кроссовках давно забытым стайерским шагом бежал пустыми и чистыми тротуарами и скверами к зазеленевшим уже дубам, липам, вязам и тополям милого сердцу Останкинского парка. На что раньше никак не мог отважиться. Да ведь и не верил я в удачи трусаков…

А какие действия совершал я теперь в собственной квартире! Я уже рассказывал, что моя жена в некоем издании вела, в частности раздел «НОТ в доме». В том разделе шли справедливые соображения о равноправии, о дружбе в семейной жизни, следовали советы, как мужчине в быту и на отдыхе вести себя по-хозяйски и по-рыцарски. И я стал хозяин и рыцарь. Я начал для мелких нужд вбивать гвозди в стены. А прежде это у меня не выходило. Я натянул струны в ванной. И даже перетянул их от старания. Раньше я, морщась и злясь, соглашался пылесосить в

исключительных случаях, в надежде реабилитировать себя за какие-либо домашние проступки. Теперь я хватался за пылесос сам, не ожидая понуканий и щелканий бича, вскакивал из-за письменного стола, до того мне хотелось, чтобы ни одной пылинки, ни одной закатившейся пуговицы не было ни в одном углу. Я поливал цветы, все эти густые, многолистные примулы и дылды герани, а недавно я был намерен повышвыривать их с подоконников: что я, в саду, что ли!.. Жена, возвращаясь со службы, опускала пальцы в цветочные горшки, находила землю влажной и растроганно смотрела на меня (но, может быть, и с подозрением?). В час дня я шел на кухню, повязывал льняной фартук с вышитым на нем тигром и принимался стряпать. Варил почки для рассольника, жарил лук и морковь, чистил картофель, рубил капусту, провертывал мясо для котлет или пельменей. Что-что, а готовить блюда из мяса я всегда любил. И готовил. Причем часто импровизировал, словно бы ставил опыты, шпиговал, предположим, говядину или баранину, прежде чем отправить ее в духовку, не только чесноком и черносливом, но и иными сушеными фруктами из компота – курагой, грушами, яблоками, изюмом, иногда и разломанными дольками грецких орехов, и, поверьте, гости и домашние едоки опытами моими бывали довольны. Теперь я готовил только по науке. По советам проверенных людей. Брал легендарную «Книгу о вкусной и здоровой пище» с кулинарной мифологией тридцатых годов и пожеланиями наркома А.И.Микояна. Или работы Похлебкина. Или умные рецепты из издания моей жены. И считал граммы. Сколько чего и в какой очередности. Не забывал и о советах врачей. Скажем, с недоверием стал смотреть на сливочное масло. Оно и само по себе вызывало недоумение: при перетопке в русское испускало из себя странные черные комки, хлопья и пузыри. Но я уже думал не о комках и хлопьях. Я думал о липидах. Эти скверные частицы могли содействовать ожирению и сердечно-сосудистым недугам. Ну их к лешему! А соль? Она задерживала жидкость в организме, от этого могло повышаться давление. Строг я был теперь и с солью. О вяленой рыбе как будто бы перестал и думать. Помнил предупреждения о вреде сахара, даров моря, перца, острой югославской приправы «Вегета», говяжьих мозгов, пусть и в сухарях, молодых грибов свинушек. И прочего. О многом помнил. Благоразумным пребывал я теперь на кухне.

Да только ли на кухне!

Всегда я предпочитал носить свитеры и куртки. Галстуки душили меня. Теперь же я увидел в своих привычках разболтанность, фрондерство этакое, а может, и эгоизм. Мне стало казаться, что выходить к людям на улицу и по делам надо непременно при галстуке и в костюме. Хорошо бы и

в деловой серой тройке. Но ее у меня не было. Однако и в двух обнаруженных в гардеробе костюмах я, по всей вероятности, выглядел куда более приличным и дисциплинированным гражданином, нежели в дни моих беспечностей. На джинсы я смотрел как на баловство, о коем следовало забыть. Все я делал нынче без раскачки, без долгих внутренних уговоров и колебаний, свойственных мне всегда. Раза четыре в день вставал под душ, чтобы избежать привычных обвинений жены в неряшливости. Года полтора висели у нас в доме без окантовки картины Жигуленко и Нестеровой, подарки художниц, музейные вещи, теперь окантовка моментально состоялась. Лет двадцать я собирался, предвкушая большие радости, составить каталог домашней библиотеки. Теперь составил за два дня. И узнал, что у меня во вторых рядах. Обнаружил, предположим, Макиавелли под редакцией Дживелегова, изданного в тридцать четвертом году «Academia». «Чистую вынашивал мечту Макиавелли скорбный…» А я недавно пускался на охоту за этим же скорбным Макиавелли и тревожил Садовникова… И еще немало открытий совершил я в книжных шкафах и завалах. А главное – сколько же непрочитанных книг стояло и лежало вокруг меня! Я сейчас же напечатал список книг, которые я должен был одолеть в первом наступлении. Названий оказалось семьдесят три. В поддержку списку я отпечатал график усердий с книгами, которым я задолжал свое время и внимание. Вообще возникали самые разные списки и графики моих дел, увлечений, предполагаемых походов в концерты, на спектакли, на собрания и в гости. Телевизор, хоть бы и цветной, я перестал смотреть, чтобы не отвлекать себя от реальной жизни. Меня звали, я не шел. Раньше я не мог писать писем, тем более отвечать на чьи-то чужие послания. Если бы мне стали грозить дыбою или прорубью, я сказал бы: «Нате, жрите, вешайте, топите, а письма я не напишу». Не мой это был жанр. Дело в том, что я долго работал в газете в отделе писем. Каждый день приходилось читать десятки, а то и согни писем. Это-то ладно. Но и отвечать надо было на десятки писем, порой и самых глупых. Или хуже того – разбираться в историях чужой и, естественно, неудачливой любви и по просьбе корреспондентов давать советы. Я отравился этими письмами. И своими ответами. А в доме нашем скопилось немало писем, на которые я обещал – самому себе – ответить, мучился, каялся и не отвечал. Слава еще Богу, что письма эти не касались любви. Теперь я чуть ли не с остервенением заклеивал конверты. Извинялся, понятно. Перед кем-то – «за задержку с ответом», перед кем-то – за то, «что так долго заставил ждать…». Ростовскому театру кукол я должен был ответить четыре года назад, вряд ли в Ростове люди и куклы с

особенным нетерпением ждали сейчас мое письмо, но я и перед ними извинился и им отослал заказное. А как же! Порядок следовало соблюдать во всем. Разгреб я и свои бумаги – рукописи, договорные листы, блокноты с летучими записями, документы, все подобрал по делам и темам, разложил в папки и завязал тесемки папок уважительными узлами. Папки получили и названия.

Я любитель московской архитектуры. Иные здания, намеченные к сносу или сами по себе развалившиеся, приходилось и отстаивать. Коли бы возникла необходимость, я бы, наверное, мог сообщить собеседникам или оппонентам сведения об истории и свойствах немалого числа московских построек на улицах не только замкнутых Садовым кольцом, но и протянувшихся до Камер-Коллежского вала. Какие-то сведения выкопал в книгах, журналах и рукописях, какие-то открытия (для себя, естественно) сделал сам, обнаруживая в частых, порой и случайных, хождениях по Москве забытые путеводителями и перестроенные палаты семнадцатого века и начала восемнадцатого или церкви, как принято говорить в искусствоведческой литературе, приведенные в гражданское состояние. Потом об этих палатах и храмах я наводил справки, как и о показавшихся мне занятными зданиях других эпох – кирпичного стиля или, скажем, стиля модерн в среднерусском его выражении. Такое уж увлечение, и не осуждайте меня – я люблю свой город. Но увлечение мое было чисто любительское, я уповал на память, записи же, нужные мне, были разбросаны в самых разных бумагах, бестолково и бессистемно. Я все собирался привести их в порядок. Устроить досье. Или завести картотеку. И не заводил. Теперь, понятно, возникла и картотека.

Моя мать, хоть и учительствовала в Яхроме и полвека жила в Москве, в сути своей оставалась крестьянкой. Видеть человека в безделье, да еще и видеть в своей семье, было ей нестерпимо грустно. Вот если бы я на ее глазах с рассвета и до полуночи пилил дрова, копал землю, окучивал картошку, чинил электропроводку, кормил отрубями поросенка, сгонял опрыскивателем с деревьев злых насекомых, строил сараи, выкладывал кирпичами погреб для хранения овощей и разносолов, позволяя себе отвлечься от занятий лишь на минуту, чтобы промочить горло холодной водой или же стаканом парного молока, вот тогда бы мое существование могло показаться ей нормальным и нестыдным. Но мой образ жизни был иным. И этот образ жизни, в особенности с тех пор как я ушел из газеты, реже стал ездить в командировки и околачивался дома, мою мать, по всей вероятности, смущал. Своего смущения мне она почти никогда не высказывала, то ли боясь обидеть, то ли находя все же оправдания и моей

жизни. Однако иногда мелкие обстоятельства давали поводы для ее ворчаний как бы про себя, но и вслух: «А мусор вынести некому! Опять книжки читает, опять на диванах валяется!» На диванах я особенно не валялся, не любил этого занятия, а вот, оставив на столе тетрадь и ручку, часами мог слоняться по комнате из угла в угол, никого не видя и ничего не слыша. Что варилось во мне – было делом исключительно моим. Когда роман жил во мне (или я в нем), то повсюду: на улице ли, на собрании ли каком дремотном, в гостях ли или в том же пивном автомате на улице Королева, – я был именно внутри романа, в его жизни и его реальности, в обстоятельствах, приключениях, чувствах его (и моих) людей. Все то, что происходило вокруг меня и со мной, втягивалось в роман, как в черную дыру. И слова, слова возникали во мне… «Что ты? Что с тобой?» – одергивали меня, предположим, в пивном автомате. «А?.. Что? – терялся я. – Да так… думаю… Извините…». Слово «думаю» я произносил в некоей неловкости. Да и неточным было оно. Только ли я думал? Происходило во мне нечто иное, для меня – большее… А за столом я сидел мало. Мало! Записывал то, что возникало и оживало во мне, потом переписывал, и не раз, правил, калечил, корежил слова, увлекался, возможно, что и мучился, возможно, что и в поднебесьях парил, но через час (или через два, или через три) вскакивал и опять ходил из угла в угол. Каково было смотреть на меня матери! Когда-то полагал: вот уйду из газеты, и все, ковшом экскаватора меня от стола не отделишь, воблою астраханской не отманишь. Ан нет!

Галеру бы мне устроить дома. Или же держать меня, как медведя, на цепи вблизи стола. Бог ты мой, отчего же я такой родился! Я обвинял себя в склонности к мечтаниям, в шалопайстве, в дурости, в лени душевной, в частности. Читал книги о художниках. Кричал себе: вот учись! Вот Микеланджело! вот Ван Гог! Их-то от холстов, от глыб мрамора, от стен, покрытых сырой штукатуркой, оторвать было нельзя. Я понимал, что разные способы выражения человеческой личности (я уже не беру тут степени талантов и сути натур) имеют свои особенности и бумага не холст и не костяные клавиши мануалов органа, но страсть-то и одержимость должны были бы жечь душу любого художника! И меня ведь жгло нечто. Но я чуть что – шмыг от стола! И – в сады своих воображений…

Но так было! Так было до 11 мая.

С 11 мая я стал именно галерным гребцом, прикованным к столу. Исчезли лень и шалопайство. Отлетели мечтания. Бумага, бумага была нужна мне! Я писал, писал, печатал, писал, иссушая стержни и стирая до бесцветья ленту машинки… Понятно, отвлекался и на дела домашние, о

коих уже рассказывал. Но людьми, смыслящими в здоровьях и в недугах, и были рекомендованы такие отвлечения… На столе у меня теперь лежало пять раскрытых тетрадей. Я знал известного литератора, тот всегда писал пять или шесть вещей сразу. Драму, роман, рассказ, мемуары, либретто, памфлет, бичующий чьи-то происки. Час попишет что-нибудь одно, потом – по графику – пододвинет к себе ждущую очереди рукопись. И все успевал, потому как был серьезный, работящий и знал цену своей фамилии. И у меня появились нынче графики с красными, синими и черными энергичными линиями. Жена и тут дивилась мне, то ли радуясь, то ли справляясь с подозрениями. Звонила с работы, интересовалась, не подорвал ли я здоровье. А у меня и голова не болела, и мышцы играли. Трижды, по распорядку дня, я вставал на легкую олимпийскую «грацию», упирался пальцами в стену и с усердием, в охотку четверть часа вращал ногами зеленые металлические блины, исполняя губительные для гиподинамии упражнения. Моя мать уже не ворчала на меня, теперь я не то чтобы соответствовал ее житейскому идеалу, но хотя бы отчасти мог сравниваться в ее сознании с настоящим мужиком, который пилит, рубит, ходит за плугом, понимает в электричестве, кормит отрубями поросенка или на худой конец кролика, строит сарай.

Иногда, правда, приходилось отрываться от тетрадей и на несколько часов. И заниматься делами, связываться с какими прежде у меня не было желания. Или духа не хватало. Раньше я легкомысленно полагал, что для меня, такой уж уродился, в делах главное – терпение. Пусть все идет как идет, авось что-нибудь и выйдет. Когда я что-либо предпринимал или суетился, чаще всего ничего хорошего и не случалось. Теперь же я решил: все, хватит. Что я? Лежачий камень, что ли? Или не имею прав? Я отругал себя опять же за лень и за отсутствие отваги. Мужчина должен быть отважным! И даже наглым! Я подал в те дни много заявлений. Был намерен вступить туда, куда прежде вступать у меня никакой охоты не возникало. В частности, в дачный кооператив, будущее у которого было ясное, но вряд ли в нашем тысячелетии осуществимое. Я записался в очередь на машину, естественно «Жигули», и в кооператив на строительство гаража для машины. Машина была мне не нужна, и водить ее я не собирался, но я убедил себя в том, что нужна и что всякий приличный мужчина должен водить автомобиль. Убедил я себя и в том, что обязан стать приличным мужчиной. Казалось, что я и становлюсь им. Я начал выступать на собраниях и обсуждениях, тем более что вот-вот в говорильных делах должны были наступить летние каникулы. Я корил, поддерживал и предупреждал. Меня принялись сажать в президиумы.

Приглашали участвовать в дискуссиях, их вели две уважаемые в Москве газеты. Проблемы дискуссий не были мне близки и вообще казались пустыми, в них как бы выяснялось, нужна ли такая птица соловей или ее следует заменить барабаном, но я сказал себе: «Надо». Предположил, что, наверное, коли возьмусь, смогу углубиться в проблемы, и дал согласие участвовать. Дело было престижное, да и условия существования требовали лишних средств. Вообще я предписал себе жить через «не могу», быть в напряжении, припомнив, что звучит только натянутая струна, и так далее. Слова напоминания были банальные, но меня они удовлетворили. При этом я старался никаких противных собственным принципам действий не совершать, а поступать по совести. Мне представлялось, что так оно и выходило.

Эдак я жил месяца два. Или чуть больше. В Подмосковье косили траву, а охотники, говорят, уже резали в лопасненских грибных лесах ранние колосовики. А я все пробуждал в себе новые свойства. Но однажды будто очнулся. Мы с женой были в гостях у Муравлевых. Вилку я держал левой рукой, произносил, как мне казалось, необходимые собеседникам слова, не разводя дипломатии, а следуя лишь правде. В тот вечер Муравлев мне и сказал: «Что с тобой? В кого ты превратился? Отчего стал таким занудой?» Я промолчал, но в такси по дороге домой не выдержал и спросил жену, что это Муравлев напустился на меня. Жена ответила не сразу, и я понял, что у Муравлева, видимо, были основания назвать меня занудой. «Знаешь… – сказала жена, – ты сейчас много работаешь, помогаешь по дому и вообще… – Она замолчала, потом добавила деликатно: – Может, устал… Или в тебе что-то изменилось…»

Утром я захотел услышать пластинку. Она не звучала давно. Возможно, в последний раз я заводил ее, развлекая сына, лет десять назад. Впрочем, я ничего не заводил, заводят патефоны, я же опускал пластинку на диск проигрывателя. Но пластинка была именно патефонная, тяжелая, Ногинского завода, военных, а может, и довоенных, лет. Отыскал я ее легко, и в нашем собрании пластинок введен был теперь чрезвычайный устав, все диски получили в картонных коробках постоянные квартиры. Край вынутой мною пластинки был когда-то отбит, порченая пластинка видом своим вызывала у меня раздражение. «Не надо ее ставить!» – будто бы приказал я себе. Тут же я рассердился: надо же, еще и внутренние голоса завелись во мне! Ну уж нет! Я включил радиолу, опустил иглу на диск. Зашипело. И стала Рина Зеленая излагать историю Агнии Львовны Барто про снегиря. «На Арбате в магазине за окном устроен сад…» Дальше знаете сами. И дошла до слов, какие, как выяснилось, и были мне нужны:

«Было сухо, но галоши я послушно надевал. До того я стал хорошим – сам себя не узнавал!» Вот оно! Я сейчас же выключил радиолу. Фу-ты, гадость какая, подумал я. Ну ладно, тот мальчик, которому сейчас лет под шестьдесят, галоши надевал из-за снегиря. А я-то ради чего надеваю галоши? Что я с печи-то спрыгнул? Из-за чего вдруг решил себя облагородить? У бургомистра Брюгге Мартина ван Ньювенхове, чей портрет в 1487 году написал Ганс Мемлинг, был жизненный девиз: «Есть причина». Какая причина была у меня? Ответить на это я не мог… Мне бы сейчас в своих сомнениях посоветоваться с мудрецами, заглянуть в тома, предположим, Монтеня или Гёте, а я отчего-то захотел слушать пластинку с отбитым краем. Но, может, именно младенец, мальчишка из моего детства, очарованный снегирем, и должен был сейчас окликнуть меня? Или одернуть?

Я призадумался. А выходило так, что в последние месяцы задумывался я редко. Делал что-то, суетился, спешил, а вот думал редко. Я писал, писал. А написанного и не перечитывал, не имея на то времени. Теперь перечитал и ужаснулся. Какая дрянь была в моих тетрадях! Рвать их надо было. Или жечь!

Страниц в тетрадях исписано действительно было немыслимо много. А толку-то что? Эти страницы можно было бы отдать за два порядочных абзаца. Они были чужие, бойкие, но и холодные, мною не пережитые. Да и не мог, видимо, я в сорок лет ни с того ни с сего начать жить и писать иным способом, нежели это делал прежде. Возможно, кто-либо другой и способен переменить себя, но не я. В сорок лет походку не меняют… В отчаянии сидел я за столом. Неужели никогда не избавиться мне от лени, медлительности, склонности к рассеянным и будто бы досужим мыслям? Но вдруг это не лень, а непременное свойство именно моей натуры? Каждому свое. Не могу, видно, я стать расторопным и деловым, пусть мне того и хотелось бы. Но, может быть, именно нерасторопный и неделовой я и соответствовал и самому себе, и людям, и бумажному листу? Однако я теперь ни ответить себе толком, ни успокоить себя не мог.

Вспоминая же последние недели, я ощутил себя в них человеком заведенным. Будто в действительности гнутой ручкой коломенского патефона, под мембраной коего и рассказывала когда-то Рина Зеленая о снегире, напряглись во мне несуществующие пружины, и я закружился. Возможно, что не мои обороты, не ту частоту вращения определили мне, отчего голос мой, наверное баритон, превратился в нервное и суетливое колоратурное сопрано. Однако кто «завели» и «определили»? Не сам, что ли, я закрутился и заспешил? Так думать было отраднее всего…

Возникали и сомнения. Ну ладно, скверными и вышли мои описания. Способности, стало быть, такие мне даны. Но ведь и нечто полезное я сделал. Завел, скажем, картотеки… Но и тут были поводы для печали. Книги я энергично просмотрел, расставил и описал, однако при этом не получил никаких долгожданных удовольствий. Просто произвел механическую работу. Не было в ней смака! И создание моего московского досье вышло скучным. Я занимался инвентаризацией.

Все, хватит! – сказал я себе. Пожил месяца три правильным человеком. И хватит! В сорок лет походку не меняют…

Два дня я пребывал в состоянии некоего протеста. Или даже бунта. Мне хотелось курить. Я купил три пачки сигарет. Я уже сообщал, что прежде меня никогда не тянуло курить. А тут яростно потянуло. Однако сигарета мне не давала удовольствия. Но я понял: и еще буду курить! Назло! Кому назло? Против кого или чего я желал бунтовать?

И посетило наконец меня одно соображение…

Неужели это все из-за тех четырех копеек?

Я должен был увидеть Михаила Никифоровича. Или дядю Валю. Или Каштанова. Или Серова. Или на худой конец Филимона Грачева.

В последние месяцы я не встречался с ними. В делах, в беготне о них почти и не вспоминал. Где они, как они, я не знал. Работай пивной автомат на улице Королева, я, может быть, увидел бы их или хотя бы добыл сведения о их жизни. Заскочил бы в автомат на минуту и… Впрочем, мог бы и не заскочить. Я почти не пил теперь пива. Не курил, не пил и произносил одни благородные слова, будто окончил Смольный институт.

Я позвонил Михаилу Никифоровичу. В квартире Михаила Никифоровича трубку не подняли. Не обнаружил я Михаила Никифоровича и в аптеках. «Может, у него отгул? – предположил я. – Может, он в „Крестах“? Или в Останкинском парке? Или на Выставке?»

И в Останкинском парке пивом теперь не торговали. А на Выставку пиво не завезли по причине недомоганий водителей пивных цистерн.

В «Крестах» стоял Михаил Никифорович. И были там многие останкинские жители. Всем им я пожал руки.

– Ну как сам-то? – спрашивали меня.

– Ну ясно как…

– Ну и ладно, – кивали мне.

С кружкой пива и тарелкой креветок я подошел к Михаилу Никифоровичу.

– Михаил Никифорович, – спросил я, – есть какие-нибудь изменения в твоей жизни?

– Есть, – сказал Михаил Никифорович. – Некоторые…

– В квартире-то, – осторожно начал я, – ты, надеюсь, теперь живешь один?.. Или?..

– Или! – нахмурился Михаил Никифорович.

– Сигаретой ты меня не угостишь?

– Разве ты куришь? – удивился Михаил Никифорович.

– Не курю. А вот сейчас захотел.

– Я бросил, – сказал Михаил Никифорович.

– А дядя Валя не бросил, случайно?

– И дядя Валя бросил.

– А Каштанов?

– И он… Вроде бы…

– Что же она меня-то курящим посчитала? – сказал я. – Ведь ошиблась.

Об изменениях в жизни Михаила Никифоровича спросить я постеснялся, да и приятны ли были ему эти изменения, доставили бы ему радость напоминания о них?

– Еще закурим, – произнес Михаил Никифорович, но с неким отчаянием.

Помолчали.

– А дядю Валю ты давно не видал? – спросил я.

– Он здесь. Только на улице. В загоне. И Каштанов там.

– Ты здесь давно не был?

– Давно… Вот сегодня взял и поехал…

– Я вижу, – сказал я, – ты будто бы из пустыни выбрался… А может, в ней что-нибудь ослабло?

Михаил Никифорович пошел за пивом, принес и пачку сигарет.

– Будешь? – спросил Михаил Никифорович.

– Нет, – сказал я и удивился себе. Опять вдруг я ощутил, что никогда не курил и никогда не хотел курить.

– А я посмолю, – сказал Михаил Никифорович, сказал с вызовом, но при этом нервно оглянулся, будто кто-то строгий и бдительный стоял за его спиной. По залу бродил местный смотритель в белом халате, но явно не его имел в виду Михаил Никифорович. – Да курить-то здесь нельзя… рубль еще потребуют… – пробормотал Михаил Никифорович, но, видно, ему стало стыдно своей нерешительности, он зажег сигарету и затянулся.

И через минуту его сигарета не погасла.

– Ослабло, – сказал я.

Из двора-загона, называемого, впрочем, в отличие от Греческого зала,

где стояли мы, Летним садом, за креветками явился дядя Валя.

– А вот Михаил Никифорович закурил, – сообщил я дяде Вале.

– Но беда-то ведь небольшая, а? – сказал дядя Валя.

– Вы не пробовали?

– Ну, – кивнул дядя Валя. – Закурил минут пять назад. И Каштанов.

– Точно в ней что-то ослабло, – сказал я уже уверенно.

– А если ее придушить? – задумался дядя Валя. – Эту гадину.

– Как придушить?

– Напрочь. Каким-нибудь шнуром. Или полотенцем.

– Вы же были намерены ее удочерить?!

– И дочку такую придушить не жалко.

– Вам-то что она сделала плохого?

– Может, одно хорошее и делает, – сказал дядя Валя. – Оттого и надо ее придушить. Или переехать автомобилем.

– Вы же никого не давили! Это Коля Лапшин давит всех!

– Вот его и нанять, – сказал дядя Валя.

Пришел из Летнего сада и Игорь Борисович Каштанов. Поздоровался со мной.

– И Игорь Борисович хотел бы ее придушить? – заинтересовался я.

– Нет, – сказал Игорь Борисович. – Она – женщина. И красивая. А вы не джентльмены.

Игорь Борисович был в свежей серой тройке, являвшейся мне недавно в мечтаниях, вид имел человека здорового, разумного, готового к государственным делам. Впрочем, к государственным делам, казалось, были готовы и дядя Валя и Михаил Никифорович. Что им-то пришлось перенести, подумал я, коли на меня из-за моих четырех копеек выпало столько улучшений!

– Значит, вы, Игорь Борисович, довольны? – спросил я. – А как ваша семейная жизнь? И молодая жена Нагима?

– Я опять холостой, – резко сказал Каштанов.

Я хотел было просить извинения за свой бестактный вопрос, но дядя Валя не дал открыть мне рта, а сообщил как бы из сочувствия к Игорю Борисовичу, что неделю назад на дом к нему прискакали три брата Нагимы в бешметах, в папахах и с кинжалами, три всадника из Кабарды, завернули Нагиму в ковер или в ковровую дорожку и увезли ее под Нальчик, в предгорья Кавказа, заросшие буком и грабом, славные своим целительным воздухом и видом на Эльбрус, а Игорь Борисович, чтобы не испортить братьям впечатление от столицы, был вынужден провести час в ванной, запертой им на крючок.

– Все было не так! – обиженно сказал Каштанов. – Не совсем так!

– Однако увезли, – сказал дядя Валя. – Но беда-то ведь небольшая, а?

– Вы, дядя Валя, – губы Каштанова сжались и утончились, – лучше расскажите, за что ваши коллеги, шоферня, вам стекла побили в автобусе.

– Ладно, хватит, – помрачнел дядя Валя. – Они уже извинились, когда я им все рассказал. Они меня уважают. Несмотря ни на что…

– Михаил Никифорович, – сказал я, стараясь увести разговор на иные тропы, – ты сегодня в аптеку не пойдешь? Выходной?

– Я не хожу в аптеку, – сказал Михаил Никифорович. – То есть захожу туда. Но не на работу.

– Куда же ты ходишь на работу?

– Теперь никуда. Третий день на инвалидности.

– Ты что, Миша! – удивился я.

Удивились и Каштанов с дядей Валей.

А Михаил Никифорович показал нам бумажку, видно временную, с заключением врачей, посчитавших, что он, Михаил Никифорович Стрельцов, страдает токсическим гепатитом, а потому должен пребывать инвалидом второй группы.

– С такой дрянью, – сказал дядя Валя, – тебе и пиво нельзя пить.

– Нельзя, – согласился Михаил Никифорович и поднял кружку. – Но беда-то ведь, дядя Валя, небольшая, а?

Оказывается, однажды в цехе химического завода, где с конца мая трудился Михаил Никифорович, произошла утечка четыреххлористого углерода, вечером Михаила Никифоровича стало рвать, температура пошла под сорок, «скорая» отвезла Михаила Никифоровича к Склифосовскому в реанимацию. В Склифосовском, уже в общей палате, Михаил Никифорович пролежал десять дней. Теперь ездит туда, наблюдается, и вот три дня назад его одарили представленной нам бумажкой. Михаил Никифорович полагал, что ему удастся упросить лекарей сменить группу на профессиональное заболевание.

Я стоял, браня себя. Вот, значит, как. Ну ладно Каштанов и дядя Валя. Они все же не из числа моих друзей. Они мне интересны, но они могут прожить и без меня, как и я без них. Месяцами, случалось, не виделись, и ничего, жизнь продолжалась, трава росла, трамваи ходили… Но вот Михаил Никифорович… Собственно говоря, и с ним мы были лишь собеседниками, разговаривали о том о сем в останкинских проездах, в магазинах и в автомате на улице Королева. И все. Однако… Однако о том, что «скорая» увезла его к Склифосовскому, что он лежал там, я должен был бы знать, я должен был бы проведать его, помочь ему, коли возникла

бы нужда, да и коли бы она не возникла! И о том, что он взял да и ушел из аптекарей на химический завод, я обязан был бы знать! Что же я за человек оказался? Выходит, в том моем праведном деловом существовании последних недель люди, жившие рядом со мной, стали мне безразличны, я и думать о них не думал, мне и в голову не приходило, что с ними может что-то случиться, дурное или хорошее, они исчезли для меня. Если так, зачем были нужны мои совершенствования? Да и совершенствования ли это?

Горько мне было. И стыдно.

– Почему ты ушел из аптеки? – спросил я.

– Долгая история, – сказал Михаил Никифорович.

Он опять закурил, говорить далее как будто бы не желал. Да и что ему было открывать нам душу?

– У меня есть приятель, – не выдержал я, – известный врач, желудок, печень, гепатит – как раз его дело.

Михаил Никифорович промолчал.

– А ведь она себя объявила берегиней, – опять сказал я. – Что же она-то смотрела?

И снова Михаил Никифорович промолчал.

Последние слова я произнес скорее для самого себя. Теперь подумал: ведь и дядя Валя в апреле испытывал болезненное состояние. Но тогда и сама Любовь Николаевна хандрила и теряла способности. Почему нынче она допустила гепатит у главного пайщика?

– Мне стекла в автобусе вставили сами, которые выбивали, – сказал дядя Валя.

– Но ведь выбивали, – сказал Каштанов. – И за дело.

– За дело, – согласился дядя Валя. – И вставили. А тебе Нагиму обратно на лошади не привезли.

– Нагима супы готовить не умела, – вздохнул Каштанов.

– Сам бы и варил. Брал бы концентраты…

– Я и варил, – опять вздохнул Каштанов.

– Моя-то дура, – сказал дядя Валя, – тоже плохо варила супы, а вот ушла к таксисту, и без нее тошно…

– Зато какие рекорды вы ставили на своем автобусе в прошлом месяце! – усмехнулся Каштанов.

– Ладно, хватит! – сердито произнес дядя Валя. – И с автобусом хватит… И от донорства откажусь завтра же…

– Я свой пай продам Шубникову, – сказал Каштанов. – А документ заверю у нотариуса…

– Не выйдет! – взволновался дядя Валя. – С дезертирами знаешь как!.. Шубникова развращать! И не выход это. Ее надо душить, коли нет бутылки, куда ее можно было бы засунуть. Михаил Никифорович молчит, а бутылку разбил он!

– Пускай она его сначала вылечит, – сказал я. – Или просто отменит болезнь… Кстати, дядя Валя, ведь вы же собирались лечить людей и животных, ставить диагнозы, что же вы-то прохлопали гепатит у Михаила Никифоровича?

– Она меня в такой оборот взяла, – махнул рукой дядя Валя, – что я сам стану скоро инвалидом… Единственно, что она мне… это… восстановила…

– Что это?

– Ну… это… – замялся дядя Валя. – Теперь как у допризывника…

– Что же вы ее душить собрались? – спросил Каштанов.

– А зачем мне теперь-то как у допризывника? Баба моя все равно с таксистом. На нее у Любови Николаевны, видно, нет силы.

– Но если вы Любовь Николаевну придушите, вы и всяких надежд лишитесь.

Дядя Валя задумался.

– Все равно, – сказал он, отпив пива, – дело тут решенное.

– А вы интересовались, – спросил я, – мнением на этот счет Михаила Никифоровича?

– Михаил Никифорович и будет душить, – сказал дядя Валя.

– Может, сменим тему? – строго сказал Михаил Никифорович. – Может, просто постоим, а от нее наконец отдохнем?

Час стояли, наверное, мы еще в «Крестах». Рассуждали о футболе, сравнивали Блохина и Шенгелию. Сошлись на том, что Шенгелию через два сезона забудут. Потом отправились по домам в Останкино. Ждали трамвай, и тут дядя Валя не выдержал и проворчал в сердцах, что хоть бы автомат на Королева надо эту Любовь Николаевну заставить открыть, доколе ж она будет издеваться над народом!

16

Утром слабости и недомогания Любови Николаевны, видимо, прошли. Опять я почувствовал себя человеком, бросившим курить.

А накануне я клял себя. И ругал Любовь Николаевну. Стало быть, 2 мая Любовь Николаевна вынула из нас души и заглянула в них. Мы тогда призадумались, замолчали после воспоминаний Михаила Никифоровича, размягчились, мечтали или даже грезили о чем-то, а она наши души держала на ладонях. Я в те минуты испытывал некое просветление. Думал: вот он наконец я истинный, каким я себя хотел видеть. И еще я думал о том, что мне как будто бы нечего в себе стыдиться, не от чего в себе отчаиваться, что я все сделаю, что мне предназначено, или уже делаю это…

Любовь же Николаевна, поняв наши сути или посчитав, что она поняла их, взялась за наше совершенствование. Она желала нам добра. Она желала видеть нас хорошими.

Но что вышло? Тошно подумать… Впрочем, последнее соображение касалось только меня. Сведений о последних неделях жизни Михаила Никифоровича, дяди Вали, Каштанова я ведь почти и не имел. Я только ощутил их недовольство… Но, может быть, настроения моих знакомых были случайными, может быть, каприз некий возник в них сроком на три часа? Впрочем, в случае с Михаилом Никифоровичем, похоже, было не до капризов…

Однако, как я сообщил, Любовь Николаевна тут же вновь окрепла. А я впал в суету. Стремнина праведной жизни повлекла меня дальше, к чему – неизвестно. Но что-то во мне и изменилось. Теперь, когда я знал, что, не явись и не займись мной Любовь Николаевна, перемен, несмотря на все мои упования, наверное, во мне никаких не произошло бы, я порой думал: «Да что же, игрушка, что ли, я в ее руках? Нет уж, дудки!»

Я стал сопротивляться стараниям Любови Николаевны. Полагал, что Любовь Николаевна ощутит сопротивление и задумается: права ли она, не ошиблась ли в чем?.. Ведь ошиблась она, приписав мне любовь к табаку. И вот я, проснувшись, например, постанавливал: а посплю-ка еще часок, куда спешить, или просто полежу, закрыв глаза, фразу одну серебряную обдумаю… Нет, одеяло сейчас же само сплывало на пол, а меня нечто подбрасывало и ставило на паркет. «Увиливаешь! – шипело во мне это нечто. – Поблажек хочешь! А тебя ждут великие дела!» Я мог

предположить, что шипящий зверь или, может быть, кусачее насекомое существовали теперь и в Михаиле Никифоровиче, и в дяде Вале, и в Каштанове, и в Серове, и в Филимоне. Да и еще десятки останкинских жителей могли попасть вблизи нас под напряжение полей Любови Николаевны…

Настроение мое становилось все более угнетенным. Я нервничал, часто раздражался, хотя и говорил себе, что раздражение не должно быть свойственно праведному человеку. И Любовь Николаевна, видимо, не могла отменить мои раздражения.

Значит, все-таки чего-то не могла?.. Значит…

Словом, однажды, опять возроптав, я пришел к некоей тайной мысли. То есть мне хотелось бы, чтобы она оказалась тайной для Любови Николаевны. Не могла же Любовь Николаевна ежесекундно иметь в виду все наши состояния. Да и на ошибки, как вы знаете, она была способна. И я, случалось, минутами или часами ощущал свою самостоятельность. Не раб я совсем-то! – полагал я (впрочем, с сомнениями).

И я пошел к дяде Вале.

Рассказы дяди Вали были будто выцветшими. Где машковские колориты славных его фантазий! Или правд! Но вот что я узнал. Стекла дяди Валиного автобуса его коллеги били за неожиданную для них прыть водителя Зотова. А главное – за прыть, по их разумению, вредную. Дядя Валя их донял. Или достал. В своем трудовом, а возможно, гражданском усердии дядя Валя, по мнению коллег, стал издеваться над ними. Автобаза дяди Вали была ведомственная, виды не портила, получала и знамена. Заданий ей не занижали, да и кто бы позволил. Однако план перевозок за прошлый месяц дядя Валя выполнил на шестьсот четырнадцать процентов. Откуда только взялись перевозки и маршруты для этих шестисот четырнадцати процентов? Но вот взялись… За месяц дядя Валя выступил с семнадцатью инициативами, из-за которых на автобазе то и дело толклись представители и ученые. Четыре инициативы были связаны с экономией горючего, две – с запасными частями, четыре – с резким улучшением работы тормозов, одна – с бесперебойным проливом на Москву дождей, остальные шесть – с нравственной атмосферой на автобазе. После речи дяди Вали на автобазе создали отделение Вентспилсского общества любителей вереска. Он же предложил столовой базы уменьшить выходы мясных изделий, памятуя о голодающих в азиатских и ближневосточных трущобах. Стал дядя Валя и донором, хотя у него временами, после закрытия автомата на улице Королева, и кружилась голова. Люди, являвшиеся по делам на автобазу со стороны, говорили о водителе Зотове с

умилением и предлагали всем по жизни ехать за ним следом. Говорили, что труд и порывы дяди Вали дают основания снизить расценки. За полтора месяца дяде Вале четырежды удавалось спасать детей. Проезжая мимо Останкинского пруда, дядя Валя увидел панику на берегу, выскочил из автобуса, вытащил из воды уже затонувшую и притом, видно, укушенную мелким ротаном девочку семи лет. Откачал. В подмосковной деревне Большой Двор Талдомского района, будучи в рейсе, дядя Валя вынес из горящей избы близнецов Курнениных, дошкольников. Труднее было снять десятилетнего путешественника, застрявшего на уровне восьмого этажа на водосточной трубе дома номер одиннадцать по Аргуновской. Руки у того дрожали, женщины внизу плакали, и, пока катили к объекту из Рыбникова переулка пожарники с лестницей, дяде Вале с помощью связанных простынь пришлось спускаться к оболтусу. Оболтус потом уговорил дядю Валю накормить его мороженым. И прежде, случалось, дядя Валя в часы энергических настроений проявлял себя общественником и по месту жительства. В частности, как-то заставил дворовых мальчишек залить на задах ветеринарной лечебницы хоккейную площадку и купил им десять шайб. Теперь же во дворах домов по Кондратюка и по Цандера общественные инициативы, возбужденные дядей Валей, стали чуть ли не извергаться. Оживил дядя Валя работу уснувших было ремдружинников, рожденных когда-то отчаянными и пробивными мыслями бытового фантазера Матвея Розова. Дядя Валя сам ходил по квартирам, предлагая хозяевам помыть им полы. Брался и отвезти хоть в Луховицы на автобусе. Хозяева смотрели на него с испугом, полы мыть не доверяли, а вот отправить вещи на дачу с дяди Валиным автобусом двое согласились. Не было покоя дяде Вале и по ночам. Из газет, из передач телевидения он узнавал о множестве событий в мире, и сейчас же в нем возникало желание откликнуться, или высказать протест, или даже предупредить кого-нибудь по-хорошему. Предупреждал дядя Валя принца Сианука, но вежливо, Сианук был для него как малое дитя. Предупреждал и президента Картера, но куда строже. Бросался дядя Валя и в эпистолярную полемику с ведущими телепередачи «Это вы можете», призывая их не спускаться на лыжах с горы, а возлетать мыслью в бирюзовые высоты. Были направлены им и чувственные послания во внеземные галактики в надежде, что братья по разуму, пусть на лицо и уроды, ощутят его сигналы и вступят для пользы человечества с дядей Валей во взаимоотношения…

Я понимал, что дядя Валя сейчас не фантазировал. Не вспоминал он ни маршала Жукова, ни Сергея Михайловича Эйзенштейна, ни чудесных творцов легких песен, ни сражений под Гвадалахарой и Теруэлем. Я даже

загрустил. А может, и встревожился.

Что касается стекол дяди Валиного автобуса, то дело обстояло так. Окружили как-то дядю Валю коллеги, водители и механики, сказали: «Дядя Валя, мы тебя уважаем. Но ты нас доведешь!» «А что такое?» – удивился дядя Валя. «А ничего! – сказали ему. – Ты в школе учился? Приятно тебе было выслушивать попреки завуча и сравнения с отличниками?» «Чего уж приятного…» – сказал дядя Валя. «Ну вот. А что же нам занозой задницу колешь? Мы сознательные не хуже тебя, а ты нас загнать, что ли, хочешь? Ты уймись… Взрослый человек, на пенсию пора, а туда же…» Но уняться дядя Валя, увы, не смог. Тогда кто-то из мужиков поокаянней и применил к нему меру. Побил стекла. А стекла в автобусе известно какие. Сразу их и не одолеешь.

Только тогда дядя Валя будто бы и сообразил, что он несется куда-то с отчаянным превышением скорости. «Куда гоню-то я?» – спросил себя дядя Валя. На колени был готов встать водитель Зотов перед персоналом предприятия. Он сказал: «Все. Больше мучить вас не буду!» Он и от донорства, как обещал нам, отказался, сославшись на шевеление осколков в ноге. Но толку-то что было от его повинных слов и обещаний персоналу? Завод-то в нем от этой шелудивой Любови Николаевны так и не прекратился.

– Вы же сами, – сказал я осторожно, – предложили называть ее Любовью Николаевной…

– Филимон был прав, – сказал дядя Валя. – Варвара ее имя!

Так бурно и страстно жил дядя Валя в летние недели, что спал два-три часа в день. Забросил собаку. Та вынуждена была стать совершенно самостоятельной. Обедать ходила в диетическую столовую, соседствующую с рестораном «Звездный». Дядя Валя дверь в квартиру не запирал. О всяких подъемах в воздух жилых и служебных зданий, о диагнозах через стены и с закрытыми глазами забыл. До того ли ему было! Изнурила дядю Валю просветленная жизнь. Следует при этом напомнить, что дяде Вале была возвращена мужская сила. Ощутив ее явление, дядя Валя поначалу обрадовался; возможно, что и трудовые порывы его были подстегнуты сознанием, что сила вернулась. Но потом-то она стала чуть ли не обузой. Куда ее было употребить дяде Вале? С кем расходовать? Ездил дядя Валя к своей бывшей жене Нине Борисовне, вез в черной синтетической сумке цветы жасмины и гостинцы, полкилограмма севрюги горячего копчения в частности. Но ничего, кроме конфуза, из этого визита не вышло. Цветы и гостинцы Нина Борисовна приняла, а дяде Вале сказала: «Цурюк!» – и напомнила о месте прописки: улица Кондратюка,

четырнадцать. Уже тогда в сердцах дядя Валя бранил Любовь Николаевну. Коли эта Любовь Николаевна на самом деле вышла к нам из бутылки добродетельной, она бы обязана была к возвращению дяде Вале мужской силы приурочить и возвращение навек покоренной Нины Борисовны. Но или беззаботной порхала в столице Любовь Николаевна. Или, что более похоже на правду, не распространялось ее влияние на такую женщину, как Нина Борисовна. Неужели эта проходимка Любовь Николаевна не могла вылезти из посуды пять лет назад, когда его, дяди Вали, беды лишь начинались и Нина Борисовна еще жила в его квартире!

Дядя Валя замолчал, а я хотел обратить его внимание на то, что в конце рассказа его обнаружилось противоречие. Да и хвастался дядя Валя прежде, что жена женой, а и дамы и барышни разных пород и калибров никогда прохода ему не давали, да он прохода от них и не требовал.

– Но беда-то ведь небольшая, а? – сказал дядя Валя.

– Что будем делать? – спросил я.

– Душить паскуду! – сказал дядя Валя. – И все!

– А может, мы не правы? – предположил я.

– В каком смысле? – насторожился дядя Валя.

– А в таком, что, может быть, она старается реализовать стремления каждого из нас к идеалу, пусть и неосознанные стремления, а мы недовольны, сопротивляемся ей и сами отказываемся от себя.

Дядя Валя задумался. Потом сказал:

– Знаешь что. Какая у меня есть судьба, такая и есть. И нечего ей в мою судьбу лезть. И без нее хватало войн и прочих обстоятельств.

– Однако же вы досадуете, что пять лет назад, когда жена еще не ушла от вас, Любовь Николаевна не вылезла из бутылки…

– А тебе-то что? – взглянул дядя Валя на меня с подозрением.

Расстались мы с дядей Валей, как бы стыдясь друг друга. Поговорить-то мы поговорили, обсудили свое житье и Любовь Николаевну; возможно, и выглядели теперь воителями, дядя Валя тот и вовсе мог вызвать мысли о генерал-губернаторе графе Палене, задумавшем истребить несносного императора в Михайловском замке. Но, расставаясь, мы опять спешили угодить в ярмо. Я понесся к столу, на котором неизбежно должны были возникнуть пять тетрадей. Дяде Вале, наверное, выходило теперь думать уже не о шестистах четырнадцати процентах, а о полных семистах. Чему еще, кроме стекла, предстояло пострадать в его автобусе?

Через неделю, когда вновь пришло ощущение, что гнет Любови Николаевны ослаб, я нашел Каштанова.

– Ты где сейчас трудишься? – спросил я Игоря Борисовича.

Оказалось, что все в том же строительном управлении. Но и еще в одном месте.

– А конь твой жив? Или кобыла…

И кобыла Игоря Борисовича, или конь, или мерин, во всяком случае – лошадь, жила и по-прежнему квартировала во дворе в гараже. Три брата, всадники из Кабарды, ее с собой не увели, а ведь могли использовать в дороге как сменное животное. Но опять же – почему Любовь Николаевна в день похищения братьями Нагимы не оберегла интересы Игоря Борисовича? Или именно оберегла?

Ни о бывшей молодой жене Нагиме, ни об известной в Останкине женщине Татьяне Панякиной, ударившей на наших глазах Игоря Борисовича туфлей по чистой щеке, Каштанов сам говорить не стал, я же о них не спросил. И все же он, видно, что-то хотел открыть мне, вот-вот намерен был начать рассказ, но не отважился. Или боялся, или стыдился чего-то.

Все же из новых и как бы нечаянных реплик Каштанова я понял, что Любовь Николаевна преобразила его существование. Но что это за преобразования, знать мне не было дано. Понял я, что Игорь Борисович в своих чувствах к Любови Николаевне не столь тверд и воинствен, как, скажем, дядя Валя. Сомнения терзали тонкую натуру Игоря Борисовича. Он и прежде склонен был топтаться на перепутьях. Опека Любови Николаевны, возможно, и тяготила Каштанова, но, возможно, и была ему сладка. Когда я спросил: «Что делать будем с Любовью Николаевной?» – он лишь пожал плечами.

С Серовым и Филимоном Грачевым встретиться мне не удалось. О Филимоне Грачеве я все же кое-что услышал. Каким он был, таким и остался. Хотя и не совсем. В гиревом спорте он словно бы перешел из третьеразрядника в мастера международного класса. Теперь и по ночам крестился двухпудовиками и рвал на грудь штанги. На заводе «Калибр», в случае нужды и когда запаздывали краны, при толпах глазевших поднимал станки. Достал Энциклопедический словарь и выучил его наизусть. Если просили, мог подолгу произносить тексты из него страницу за страницей. Покончив со словарем, Филимон записался в районную библиотеку, часами сидел там с томами двух последних изданий Большой Советской Энциклопедии. Изучал и энциклопедии специальные – медицинские, географическую, литературную, музыкальную. Досадовал на то, что они краткие. Успехи его образования были очевидны – иные кроссворды, даже такие сложные, какие преподносятся народу «Гудком» и «Лесной промышленностью», он разносил за две-три минуты. Выходило, что над

Филимоном Любови Николаевне и не слишком много пришлось трудиться. Она лишь подчеркнула особенности его личности, усилила их проявления. Причин для огорчений, видимо, у Филимона не было.

Интересовало меня, случилось ли что удивительное в жизни останкинских бузотеров Шубникова и Бурлакина. Но нет, никто из моих собеседников о них ничего не слышал. То ли они притихли. То ли успокоились.

А вот встретиться с Михаилом Никифоровичем я никак не мог отважиться. Все чувствовал себя виноватым перед ним. Но надо, надо было зайти к нему… И отчего-то тянуло увидеть Любовь Николаевну. Поздороваться с ней и взглянуть ей в глаза… Смутил меня однажды дядя Валя. Мы оказались вместе с ним в вагоне метро. Потом шли от станции к своим домам. Дядя Валя молчал. Лишь у ветеринарной лечебницы, когда мы уже пожали руки друг другу, он сказал:

– Одному-то мне с ней не справиться. Придуши-ка ее в одиночку! Вы-то все – в сторонку!

– И Михаил Никифорович?

– Михаил Никифорович только мешать будет. Влюбился, похоже, в нее Михаил Никифорович.

– Чепуха какая! Она же…

– Что ей стоит околдовать кого хочешь! Она же ведьма!

– Прежде вы такого не говорили…

Дядя Ваня лишь махнул рукой. И пошел к себе.

17

Видимо, дядя Валя что-то знал. Вряд ли бы он, не имея оснований или хотя бы подозрений, мог позволить себе сказать эдакое о Михаиле Никифоровиче. При всех фантазиях и полетах мысли дядя Валя обычно был деликатен и почти никогда не касался роковых или легкомысленных чувств своих знакомых, знаменитых и безвестных. А тут такое откровение!

Однако и поверить дяде Вале я не хотел. Это Каштанов, временами мечтатель и романтик, да и в летящие дни человек ветреный, смог бы вообразить нечто, окунуться в грезы или музыку, уверить себя в том, что он увлечен кашинской легкокрылой берегиней, но Михаил Никифорович, крестьянский сын, способен был, полагал я, отличить пшеничное зерно от пуха…

Размышляя так, я столкнулся на Звездном бульваре с Шубниковым. Шубников шел мрачный.

– Что с тобой? – спросил я.

– Этот идиот Бурлакин… – начал Шубников.

Оказалось, что этот идиот Бурлакин, чье тело так и не выпустило совсем галогены серебра, поймал сачком, а может быть, трусами, в Останкинском пруду годовалого ротана. Бурлакин посчитал, что сазан, доставленный с низовьев Волги летчиком Германом Молодцовым и проживающий в ванне Шубникова, скучает и ему необходим собеседник и друг. Не посоветовавшись с Шубниковым, а как бы готовя сюрприз, он подпустил ротана к большой и миролюбивой рыбе. Энциклопедически образованный Филимон Грачев, коли бы его спросили, объяснил бы, что ротан – особь из породы окунеобразных, заезжая с Дальнего Востока, в просторечье – головешка. Так вот эта головешка за ночь съел сазана. Сожрал, не оставив ни костей, ни жабр, ни чешуи. При этом нисколько не увеличился в размерах. А в сазане уже было девять килограммов. Шубников его холил и лелеял, угощал размоченными в квасе пряниками, квашеной капустой, нюхательным табаком, иногда наливал в ванну до стакана портвейна «Кавказ», связывая с сазаном планы покорения Птичьего рынка. И вот такая оказия!

Бурлакин каялся, но сазана-то вернуть он был не в силах! Бурлакин предлагал казнить ротана и им, испеченным в сметане, заесть напиток, но ротан, подлец, все понимал и ни в руки, ни в сачок не давался. В Останкинском пруду под башней ротан, видимо, жил впроголодь, теперь

сжирал все, что Шубников по глупости или будучи находясь оставлял в ванной комнате. Выпрыгивал из воды и проглатывал зубные щетки, мыло, мыльницы, флаконы дезодоранта. Шубников остался без полотенец и без потрепанного, но любимого халата. Ротан сгрыз подставку из стальной проволоки, над которой крепилось зеркало, и теперь покусывал и само зеркало. При сазане из уважения к тихой рыбе Шубников не пользовался ванной, но и нынче, при ротане, ему приходилось мыться в Астраханских банях, вот до чего дошел. Сейчас он возвращался из Астраханских бань.

– Найди покупателя, – предложил я.

– Кому нужна эта мелочь! Он жрет, но не растет!

Шубников сплюнул и пошел дальше.

Он не поинтересовался останкинскими новостями. И о Любови Николаевне не спросил. Видно, ротан был отловлен Бурлакиным и впрямь каверзный и эгоистичный. Впрочем, дурные обстоятельства жизни Шубникова не слишком опечалили меня.

А я, не дойдя до дома, свернул на улицу Цандера и потом дворами выбрался на Королева к жилищу Михаила Никифоровича.

Михаил Никифорович открыл мне дверь, пригласил в кухню. Возле ванной в коридоре стояла собранная раскладушка. Дверь в комнату, где когда-то проживал Михаил Никифорович, была закрыта, и, как мне показалось, Михаил Никифорович взглянул на эту дверь с неприязнью. Никаких вещей Любови Николаевны я не увидел, но женщина в квартире Михаила Никифоровича несомненно жила. Или хотя бы ночевала.

– А что она… эта… – помолчав, начал было я, но отчего-то шепотом и сам шепота устыдился.

– Ее нет, – сказал Михаил Никифорович.

– Совсем нет?

– Сейчас нет.

– Слушай, а ведь наверняка ты надышался этой химической дряни именно из-за Любови Николаевны. Не явись она, не ушел бы ты на завод.

– Мне сорок, я взрослый и сам за себя в ответе.

– Все мы взрослые… И должна ли быть при нас Любовь Николаевна?

Да, мы взрослые и сами за себя в ответе… Однако возникают на моем столе пять тетрадей. И били стекла автобуса Валентина Федоровича Зотова.

– Дядя Валя, похоже, терпеть более не может…

– Знаю, – сказал Михаил Никифорович.

– Ну и как?

– Ну и никак.

Неловким и даже неприятным получилось наше свидание с Михаилом Никифоровичем на кухне. Мы молчали. Михаил Никифорович закурил. Был ли это поступок или же Михаил Никифорович из-за неловкости, возникшей в разговоре, закурил просто так, по давней привычке, я оценивать не стал. Я корил себя. Вовсе, видимо, и не нужен был Михаилу Никифоровичу мой приход. Что я явился бередить ему душу? Я хотел встать и уйти. Узнать у Михаила Никифоровича, нужно ли какое доступное мне участие в его делах, и уйти. Я и спросил:

– На что живешь теперь? Деньги-то есть у тебя? Если нужно, возьми в долг у меня…

– Спасибо. Пока есть. Потом, может, и возьму.

Опять замолчали.

– К матери в этом году поедешь? – спросил наконец я.

Михаил Никифорович каждый год ездил в свои курские земли, к матери. Брал две недели отпуска в пору, когда копали картофель, доставал банок двадцать тушенки, коли удавалось, гречневой крупы, жесткой колбасы и покупал билет до Рыльска. Братья Михаила Никифоровича жили кто где, звали мать к себе, она гостить у сынов гостила, но совсем уезжать из Ельховки не собиралась. На здоровье, слава Богу, жаловалась мало. Михаил Никифорович на всякий случай возил ей пузырьки валокордина, она их раздавала соседкам, сама же верила травам. В прошлом году Михаил Никифорович и меня чуть было не уговорил ехать с ним в Ельховку, обещав за труды на огороде оделить меня мешком курской картошки. Не из-за копки картофеля он меня звал, а хотел показать свою родину, я было загорелся, но какие-то пустяки перечеркнули мои намерения.

– Может, и не поеду, – сказал Михаил Никифорович. – Если не подлечусь. Зачем матери…

Я взглянул на него. Он был хмур.

– Павел поедет, – сказал Михаил Никифорович. – С детьми. Я написал ему.

Опять я был готов бранными словами напомнить о Любови Николаевне.

А Михаил Никифорович стал говорить. И многое мне рассказал в тот день. Теперь я жалел, что не пришел к нему раньше. Недавние мои сомнения оказались вздорными. Михаилу Никифоровичу собеседник был нужен. Не позвонил бы я ему в дверь, он бы нашел меня.

Начал он с 4 мая. С того самого дня, когда на улице Королева перестал работать пивной автомат.

4-го, отправляясь на работу, Михаил Никифорович ощутил, что в нем (или с ним) возможны перемены. Он почувствовал, что вот-вот начнет ерепениться.

Михаил Никифорович чаще всего проявлял себя человеком уступчивым и покладистым, что давало основания его бывшей жене Тамаре Семеновне, или Мадам, укорять Михаила Никифоровича и называть его тюфяком, тряпкой, диванным валиком. Мадам Тамара Семеновна, учительница географии, считала Михаила Никифоровича своим вечным должником. А он оказался должником с дырявым карманом. Именно Тамара Семеновна улучшила социальное и даже сословное положение Михаила Никифоровича, согласившись расписаться с ним, и Михаил Никифорович превратился из обыкновенного провинциального жителя в москвича. Познакомились они в Ялте в курортный сезон. Михаил Никифорович работал тогда в аптеке богатого санатория, а Тамара Семеновна отдыхала в Ялте, пробивалась вместе с подругой на санаторный пляж – там хоть можно было сесть на гальку. Сначала к Михаилу Никифоровичу приблизилась подруга Мадам. Подруга в мечтах похудеть выпрашивала у Михаила Никифоровича упаковку фуросемида, при этом ссылалась на опыт знакомых, прежде грузных. Михаил Никифорович объяснил, что фуросемид полезен не всем и может привести к критическому упадку давления и общей слабости. Но подруга будущей Мадам играла глазами, разжалобила душу Михаила Никифоровича, он протянул ей упаковку фуросемида. При этом все же счел нужным сказать, что барышню могут ждать и огорчения на пляже, тут, коли она намерена худеть всерьез, ей придется быть готовой к частым пробежкам. Так оно и случилось. Но подруга все перетерпела, хотя потом уже и не бегала, а еле волочила ноги. Однако шести килограммов она лишилась.

Тогда и пришла к Михаилу Никифоровичу Мадам. То есть какая она еще была Мадам? Тонкая, скромная девушка, глаза – в пол. И отчего-то совсем не крымская, не загорелая. Не то что ее подруга. Смущаясь, она рассказала Михаилу Никифоровичу о недомоганиях подруги. «Пусть ест больше, – холодно произнес Михаил Никифорович. – Тут же на ноги встанет». Все же он дал ей серо-бурые таблетки: вдруг у подруги вместе с жидкостью вышло и много калия. Для себя Мадам, то есть Тамара Семеновна, попросила бироксан. Михаил Никифорович удивился: «Вам-то зачем?» «Это не мне, – совсем смутилась тонкая девушка, заговорила быстро: – Это отцу. В Москве никак не могли достать, а у вас, говорят, есть…» «Есть-то есть…» – засомневался Михаил Никифорович. В ту пору харьковские фармацевты, к школе которых относился Михаил

Никифорович, изготовили и пустили в промышленное производство препарат бироксан. Бироксан, полагали, мог противостоять облысению. Полагали также, что он был способен дать обновление натуры и совершенно лысым. Сейчас этот препарат с производства сняли, сообщил мне Михаил Никифорович, хотя, как выяснилось, бироксан все же помогал лысым не лысым, но людям, страдающим витилиго, от которого по телу идут белые пятна. Однако в ту пору надежда на него еще была… Но и на бироксан требовался рецепт. Что-то тогда с этими двумя подругами нашло на Михаила Никифоровича. Дурман какой-то. Без рецепта он отпустил фуросемид, без рецепта выдал Мадам бироксан. И нельзя сказать, чтобы московские барышни произвели на него сильное впечатление. Вдогонку Мадам, уходившей с оротатом калия и бироксаном, он чуть ли не произнес пустые слова, чуть не передал обижаемому природой отцу Мадам совет не сидеть с головой, намазанной бироксаном, на солнце… В тот вечер Михаил Никифорович о Мадам не вспомнил, а наутро он взволновался. Да и есть ли у этой дуры отец с лысиной, не свою ли белую кожу она решила натереть бироксаном? Были ведь случаи! Были! И один серьезный. Прошел слух, что бироксан помогает загорать. Выходило, что помогает. Одна дама из Алушты, сама по образованию провизор, в день голубого неба намазала себя бироксаном. То ли организм ее оказался восприимчивым, то ли кожа была особо нежной, только получила она ожог третьей степени, ей делали переливание крови, вводили плазму, еле спасли. Михаил Никифорович бросился на пляж. Ни Мадам, ни ее подруги он не увидел. А солнце уже грело хорошо, и не первый час. В одном из галантных разговоров с Михаилом Никифоровичем подруга сказала, что они сняли комнату на Старокрымской улице. Назвала и фамилию хозяев. Михаил Никифорович и поспешил на Старокрымскую. Ему, бывалому-то мужчине, мерещились ужасы. Случалось, виноватыми оказывались судьба, стихия, война, злоба, зависть. Здесь виноват был он… Мадам на самом деле обгорела. Не так, как алуштинская провизорша, но болезненно. Хорошо хоть, что догадалась быстро уйти с пляжа. Лежала, постанывала при движениях, вечером температура у нее была под тридцать девять. Михаил Никифорович вызвался быть сиделкой. Подругу Мадам, ослабленную борьбой с плотью, все еще качало. Чувство вины и жалость в иные дни приводили Михаила Никифоровича на Старокрымскую. Михаил Никифорович носил мази, дыни «колхозница» с рынка, веселил разговорами. Подруги поправились, а вина и жалость Михаила Никифоровича, известное дело, претерпев метаморфозу, превратились в романтическое увлечение. При этом ни чувство вины, ни жалость не исчезли вовсе. Михаилу Никифоровичу и

Тамаре Семеновне показалось, что они полюбили друг друга. Может, так оно и было… Иначе бы, наверное, Тамара Семеновна не предложила ялтинскому аптекарю расписаться с ней, а Михаил Никифорович при его щепетильности и гордости не согласился бы переехать в столицу. В Москве они прожили домом пять с половиной лет. А потом развелись. О чем мне пришлось сообщить на первой же странице рукописи.

К чему это он все ведет, пояснил мне Михаил Никифорович, а вот к чему. К набату домашнему, к кличу призывному: «Взъерепениться!» Тамара Семеновна, давая советы Михаилу Никифоровичу, вынуждена была повторять: «Тебе надо взъерепениться!» На развод Михаил Никифорович согласился без особых колебаний. Хотя и понимал, что ему будет о чем жалеть. Пять с половиной лет семейной жизни для него, побродившего по морям и землям, будто приписанного судьбой к нарам, койкам, каютам, палаткам, казармам, общежитиям, были погружением в уют. Но что делать? Он разрушил надежды Тамары Семеновны. Ее житейские претензии вошли в противоречие с натурой Михаила Никифоровича.

Причем Тамара Семеновна не была вредной. Просто она хотела от Михаила Никифоровича большего. У нее были идеалы, ее посещали грезы. В грезах, девичьих еще, догадывался Михаил Никифорович, она видела себя и Наташей Ростовой, явившейся на первый бал. Даже если и не самой Наташей, то хотя бы ее сверстницей, и хорошенькой, естественно, имевшей на том балу не меньший, нежели графинюшка с Поварской, успех. И, предположим, не князь Болконский приглашал ее на тур вальса, а князь Барятинский. Или какой-нибудь Лобанов-Ростовский. И были в тех грезах мраморные колонны благородного зала, и надменные кавалергарды, и ироничные гусары, и князья, и знатные маменьки, и прочее. Словом, Высший Свет. И позже Мадам, женщина на вид тихая, строгая, но с явным норовом, готовясь к урокам по программе учебника профессора Барановского «Экономическая география СССР», выписывая, например, из газет сведения о строительстве Шарыповской электростанции в рамках КАТЭКа, наверное, не выпускала из виду Высший Свет.

Были времена, когда Мадам мечтала о детях. Впрочем, она полагала, что у нее будет одна девочка и она поступит в Плехановский институт. Однако муж девочки должен быть непременно из международных отношений. Или хотя бы из внешней торговли. Михаил Никифорович чуть было не рассказал Мадам, как он с аттестатом зрелости, или аттестатом глупости, приезжал из Ельховки поступать в Институт международных отношений. Но не рассказал и хорошо сделал.

Впрочем, уповать на девочку было рискованно, да и ждать пришлось бы долго. Конечно, профессия Михаила Никифоровича, разъясняла ему Мадам, не самая престижная и не самых Высоких Выходов, но и будучи аптекарем, а в особенности заведующим аптекой, пусть даже не Ферейновской, пусть хотя бы первой или второй категории, он все же может рассчитывать на приближение к нынешнему Высшему Свету. «Пошла ты знаешь куда!» – рассердился однажды Михаил Никифорович. Но он был отходчив. А женские слезы или хотя бы укоризненные вздохи тяготили его, заставляли думать о собственном несовершенстве, о том, что на самом деле надо что-то предпринимать, ведь он мужик и ему за тридцать, а сколько он приносит в дом?

Образование Михаила Никифоровича, его опыт и послужной список и, наконец, то обстоятельство, что он мужчина, вполне могли обеспечить ему достойное положение в профессиональных регистрах. Но не вырастал из Михаила Никифоровича добытчик положений!

Ходил он, случалось, и в заведующих аптеками. Правда, не первой категории и не второй. Одна из тех аптек размещалась у нас в Останкине, на Цандера. В соседнем с рестораном «Звездный» доме под парикмахерской. Теперь там пункт проката. В пору заведования Михаилом Никифоровичем останкинской аптекой Мадам относилась к нему искательно и нежно. Сколько раз прежде она отчаивалась, сколько раз стыдила Михаила Никифоровича! Она уже и возможность явления девочки ставила в зависимость от его служебных взлетов. На что же иначе покупать коляски, кроватки, пеленки, югославские корма ребенку? А тут она опять дала волю надеждам и грезам. Теперь-то ей казалось, что все, что Михаил Никифорович понял истины жизни. Сколько достойных людей Останкина сразу же стали ее знакомыми – и из трех продовольственных магазинов, и из зеленного, и из мебельного, и из хозяйственного, и из здешних мастерских, обувной и мелких металлических работ, и из кинотеатра «Космос», где, между прочим, в дни фестивалей шли внеконкурсные фильмы и люди плакали. И из парикмахерской.

Эта парикмахерская и привела к разводу Мадам и Михаила Никифоровича.

В одну из майских ночей парикмахерская протекла на аптеку. Мастерицы из дамского отделения, в числе их, наверное, и большая художница Кирпичеева Юнона, улучшавшая в последние месяцы прелести Тамары Семеновны, ушли с работы, забыв выключить воду в душе. А душевая была как раз над материальной комнатой аптеки. А в материальной комнате заместительница Михаила Никифоровича

заведующая отделом запасов Ольга Ефремовна Чеснокова распорядилась накануне выложить на столы лекарственные препараты. На предмет учета. Михаил Никифорович был на больничном. Прибежал в аптеку, звонил в Тимирязевское аптекоуправление. Оттуда сейчас же явились инспектор и бухгалтер. Охали, ругали. Призвав на помощь райисполком, заставили возмещать ущерб парикмахерскую. Кое-какие лекарства сочли возможным спасти. Все это – на пятьсот рублей. А семьсот рублей остались за аптекой. Правила хранения товара были нарушены. Резких слов Чесноковой Михаил Никифорович говорить не стал. Не смог. Видел: она сама не своя, того и гляди наложит на себя руки. Чеснокова поднимала двух дочек, мужа не имела, зарплата у нее была – сто двенадцать. Михаил Никифорович покряхтел-покряхтел и в объяснительной райздравотделу виноватым во всем объявил себя. И семьсот рублей легли на него.

Мадам Тамара Семеновна никогда не кричала. И тут голоса не повысила. Просто глазами, губами дала понять: все, конец. «Что же мне, эту Чеснокову, дочек ее топить, что ли, – говорил Михаил Никифорович, – из-за этих дур с ножницами?.. Заплачу потихоньку, из зарплаты будут вычитать понемногу, займу у братьев…» «Все, Миша! – сказала Тамара Семеновна. – Все! Привык калечить добротой свою жизнь – и калечь. А с меня довольно!»

Аптека на улице Цандера труды прекратила. Ее сразу же закрыла санэпидемстанция. Разумные головы из проверяющих и вообще удивились. Как это аптеку устроили в здании, для ее существования непригодном? Михаила Никифоровича освободили от долга. Однако новую аптеку ему не предложили. Возможно, при решении его судьбы произносились слова: «Это который Стрельцов? Который аптеку затопил? Ну ясно…» Вода из парикмахерской и в будущем могла плескаться в делах Михаила Никифоровича. И стал опять Михаил Никифорович просто аптекарем.

Когда он им стал, Мадам Тамара Семеновна и написала заявление о разводе.

Во дни разбирательства потопа она давала Михаилу Никифоровичу понять, что все, конец, однако чего-то и ждала. Поступка ли какого необыкновенного Михаила Никифоровича, вмешательства ли судьбы либо вмешательства неизвестного ей влиятельного лица. Но нет, ничего не случилось. Михаил Никифорович опустился на прежний собственный знаменатель, определенный, видимо, ему обстоятельствами жизни, и застыл на нем. При размене квартиры Михаил Никифорович остался в одиночестве, чувство же его вины перед Тамарой Семеновной обострилось… Сначала он полагал уехать из Москвы и оставить Мадам

всю квартиру. Но куда уехать? К матери в Ельховку? А что делать там?.. Вскоре Мадам удачно съехалась с родителями (кстати, отец Мадам, бывший тесть Михаила Никифоровича, волосы имел густые, хоть стриги их на носки, и не нуждался в бироксане). И вышло так, что Мадам не потеряла ни метра. Однако и известие об этом не слишком успокоило Михаила Никифоровича. Он не переставал отчитывать себя за слабость и малодушие. Ну ладно, не может быть он пронырой, но деловым-то и гибким мужчиной он должен стать. Приятно ли жить мямлей и рохлей, когда вокруг тебя – чаще всего – именно деловые и гибкие мужчины и женщины? И что толку от его доброты и жалости, коли он своей добротой и жалостью облегчает жизнь людям недобросовестным и безответственным. Ладно, у Чесноковой – дочки, но ведь и ей самой надо было иметь голову на плечах… Получалось к тому же, что он в конце концов не был добр к Мадам. Нет, порой он старался угодить ей и что-то предпринимал. Случалось такое. Но не мог поломать в себе нечто, хотя и намерен был поломать. А проводив Мадам в новую жизнь, он и вовсе махнул рукой на многое. А-а-а!.. Пусть все идет как идет.

Оно и шло…

18

А 4 мая Михаил Никифорович понял, что он взъерепенится. Странности какие-то возникали в нем. Будто потоки, вихревые и музыкальные, должны были поднять его и повлечь куда-то. К синим лесам. Или к гималайским вершинам. Словно бы стал он воздушным шаром, разумным к тому же, отважным в своей разумности, способным стрясти с корзины мешки с песком и вознестись в выси подлунные.

Но это были лишь предощущения…

Народу в аптеке толпилось много. Кто утомился в дни пролетарской солидарности, кто изжевал все таблетки, кто прогулял сроки выдачи порошков и микстур. Возникали очереди. Разговоры у касс и окошек случались громкие, нервные. Стучались в дверь заведующей. Были в аптеке лица унылые, удрученные, помятые. А Михаил Никифорович то ли из-за своих предощущений, то ли из-за легких воспоминаний о Любови Николаевне, коей делал вчера укол, желал всех носить на руках. Всем готов был помочь. И помогал, когда его подменяли в рецептурном отделе. Ящики и мешки с лекарствами, предметами сангигиены, травами, оправами для очков таскал от машин и на склад. Зашел в ассистентскую, увидел, как Люся Черкашина – колоть ее сегодня не требовалось, но шлепнуть поощрительно по заду было можно и надо – мыкалась, растирая порошок пестиком в ступке, а ступка прыгала и ерзала по столу. Стал ругать себя, он-то еще четыре дня назад придумал – и сделал! – особую подставку под ступку, забыл, дурья башка, побежал, принес подставку, ступка перестала ерзать и прыгать. Случалось Михаилу Никифоровичу в тот день подменять и химика-аналитика, и дефектора, и даже заведующую отделом готовых форм. Все делал он хорошо. Сидел он также и у себя в рецептуре, в в ручном, и в оптике.

Сцены в аптеке происходили знакомые, но отношение к ним Михаила Никифоровича было нынче, пожалуй, особенное. Он и прежде нередко ставил себя на место посетителей аптеки. Теперь же он словно бы оказывался в их судьбах, как будто бы переселялся в их жизни. Он был алкашом из Уланского переулка, по прозвищу Штурман, дрожавшим от колотуна, с глазами пса, изловленного живодерами. Штурман три года назад еще летал на «Илах», теперь же дошел до «аптеки», до тройного одеколона и чесночной настойки, вливая в себя жидкость из флаконов в кабинках туалетов у Кировских ворот: из пивной и из пельменной его бы

погнали. Михаил Никифорович был и одним из мальчишек-восьмиклассников, нагловато – от смущения – требовавших пачки тройчатки, они еще станут штурманами, дай Бог, чтобы не стали, нынче же они полагают, что, проглотив после стакана молдавского портвейна таблетки тройчатки, они словно бы героин примут и будут вместе с подругами балдеть, как настоящие. Михаил Никифорович был и инвалидом войны Шаньгиным, давним своим собеседником, или дядей Шурой, когда-то наводчиком сорокапятки, теперь же хозяином киоска «Союзпечати» на Сретенском бульваре. Шаньгин страдал астмой, и жилы и нервы на ноге, как говорил он сам, перекрутили ему после ранения в госпитале, определив его тем самым в предсказатели погоды. И неизвестной ему доселе женщиной, прибежавшей в испуге за кислородом для отца, стал Михаил Никифорович. Присоединяя подушку к баллону, он успокаивал ее и успокаивал себя. Отчаяние и тихие печали больных, получавших лекарства, прописанные районным онкологом, ощутил Михаил Никифорович. И даже супруги Лошаки, пенсионеры, вечные ходоки по аптекам, городским и ведомственным, настырностью и бестолочью своими способные вывести из себя и зимнюю черепаху, не вызвали у Михаила Никифоровича усмешки. Лошаки не верили врачам, но открывали в себе все новые недомогания, каких на самом деле не было; они бы умерли, если бы не чувствовали этих недомоганий. И без новейших, теперь-то уж точно спасительных препаратов, им не нужных, они не могли жить. О каких только лекарствах они не разнюхивали! А разнюхав, тотчас же бросались их доставать. Сейчас им непременно был необходим сандратол югославского производства по швейцарской лицензии. Но следовало ли над ними смеяться? Разве они были не такие же люди, как он, Михаил Никифорович Стрельцов? Ничем они не были хуже его…

К середине дня чужие боли, печали, надежды и страхи осели в Михаиле Никифоровиче, и он уже не был так легок и светел, как утром. А к вечеру он неожиданно для себя и для сослуживцев повздорил с заведующей аптекой Ниной Аркадьевной Заварзиной и ассистентом Петром Васильевичем.

И уж совсем стал серьезным Михаил Никифорович после разговора со своим харьковским однокашником Сергеем Батуриным. Батурин был биохимик и работал теперь в институте на Пироговке. Михаил Никифорович его уважал. Они столкнулись на Кировской, поинтересовались делами друг друга и решили зайти в шашлычную «Ласточка», ту, что напротив Сретенского монастыря.

– Слушай, что за штука сандратол? – спросил Михаил Никифорович в ожидании закусок и горячего. Напиток в продуктовом магазине был заготовлен свой и пребывал пока в укрытии в портфеле Батурина.

– Сандратол?

– Югославского производства по швейцарской лицензии.

– Не знаю. Не слыхал. Наш институт получает информацию со всего света. Такого препарата, видно, нет.

– Раз Лошаки говорят, значит, есть. Или будет.

– Кто такие Лошаки?

Михаил Никифорович объяснил, кто такие Лошаки. А уже были поданы маслины.

– Будь здоров, – сказал Батурин. – Слушай, Миша, а не надоело ли тебе сидеть в аптеке? Не надоело иметь дело со всякими идиотами вроде Лошаков?

– Лошаки тоже люди, – сказал Михаил Никифорович.

– Ну ладно, люди, – согласился Батурин. – И все же… Шел бы ты к нам. И место бы нашли.

– Я человек аптеки, – сказал Михаил Никифорович.

– Брось, Миша! – со страстью и громко для шашлычной заговорил Батурин. – Я помню о твоих принципах, но что такое аптека в нашем веке и кто в ней аптекарь? Магазин! И ты в ней продавец! Ты, Миша, торговый работник. И все. И успокойся.

– Не шуми, – сказал Михаил Никифорович. – Цыплят принесли.

– Аптека нынче – старческий сон, – не мог уняться Батурин. – Статика! Неужели тебе не скучно? Какие могут быть у вас происшествия, какие драматические коллизии, какие бури, возвышающие человека или опрокидывающие его в пропасть, могут бушевать у вас? Сейчас назову. Мне хватит трех пальцев. Палец первый! Дефектура. Нехватка нужных, или, вернее, модных, лекарств. Следствия: возможность спекуляции для кого-то, а для кого-то – нервотрепка с покупателями. Второй палец. Ошибка в изготовлении лекарства. Доза не та. Компонент не тот. Не учтено противопоказание. Бывают случаи трагические, редко, но бывают. Тогда аптеку трясет. Но все это из-за рассеянности, из-за безграмотности, из-за чепухи. Третий палец. Бытовые беды. Вроде вод из парикмахерской. Прочее-то еще мельче. Тут и пальцы не нужны… Ну ладно, наведи ты в аптеке порядок, пусть на все, что требуется больным и страждущим, можно выбить чек в кассе, – дальше-то что? Скука, Миша, скука!

– У вас, стало быть, веселее…

– У нас, Миша, динамика! Динамика! Не такая, как, скажем, в

хирургии, но динамика. Со всеми возможностями для опыта, исследования, терзания мысли, риска, настоящего дела. Для открытия. И для провала. А значит, и для нового риска и для нового дела. И у нас есть суета, но она ли главное?

– А не служите ли вы Лошакам?

– И Лошаки люди. Ты сказал.

– Не служите ли вы одним Лошакам?

– Миша, возможно, я тебя обидел. Извини. Из-за обиды, возможно, тебе нелегко понять меня. Однако пойми… Берут, к примеру, в вашей аптеке контрикал?

– Берут.

– Берут! При наших-то ценах на медикаменты, когда в аптеке можно обойтись не только рублем, но двадцатью копейками или даже тремя, берут контрикал, цена которому сорок восемь рублей. Но в горестных случаях без контрикала не обойдешься, и семья больного денег не пожалеет, и государство не станет жадничать. И будут эти деньги тратить, какой вопрос, но вот мы сейчас в нашей лаборатории…

И Батурин стал рассказывать, что они делают в своей лаборатории, как они, в частности, создают верный и недорогой заменитель контрикала, манил Михаила Никифоровича замыслами ближними и дальними, аж до самых горизонтов, и чуть ли не нобелевские награды плавали, шевеля золотыми хвостами, над теми горизонтами. Назывались имена дерзких умов. Среди прочих Михаил Никифорович услышал и фамилию хирурга Шполянова, с кем он на днях познакомился у Дробного в мясницкой. С клиникой Шполянова Батурин был связан работой.

– Ну и что! А толку-то что из всего этого! – резко сказал Михаил Никифорович.

Отчего так резко он возразил Батурину, Михаил Никифорович и сам не знал. Батурин всегда был ему приятен, но сейчас и сам он и слова его чуть ли не подстрекали Михаила Никифоровича протестовать.

– Как толку что? – удивился Батурин. – Что же, выходит, что вы в аптеке хороши, а мы бесполезны? Или даже вредны?.. Мы ищем новое, как будто бы несвойственное человеку, но мы не противоречим природе, нет, мы опираемся на резервы человеческого организма, мы их будим…

– И побегут за вашим новым Лошаки и будут хвастать: «Достали наисовременнейшее, самое чудотворное…» Вы свысока смотрите на каких-то там Бомелиев из шестнадцатого века, а их снадобья тоже были когда-то наисовременнейшими, и ради них суетились Лошаки… Хотя Лошаки тогда не суетились…

– Мы, по-вашему, шарлатаны? – чуть ли не крикнул Батурин.

– Мальчики! – миротворицей взмолилась официантка, женщина пышная, огненная, в меру обтянутая форменной юбкой. – Вы оба такие симпатичные. А ссоритесь. И цыплята увяли.

– Ладно, – кивнул Батурин и, оторвав кусок цыпленка, сказал: – Бомелий – шарлатан. А куда ты нас поставишь в историческом ряду? К алхимикам не отнесешь?

– Из алхимии – вся наука… Вы взяли на себя часть алхимии.

– Спасибо. А алхимики? Они тоже были бесполезны и вредны?

– Нет, – замялся Михаил Никифорович. – Я про них ничего дурного не скажу. – И вдруг рассердился: – А к пенициллину эти сволочи бактерии взяли и приспособились.

– Ну и пусть. А мы-то на что?

– Вы, – сказал Михаил Никифорович, – на то, чтобы люди несли из аптек домой товару не меньше, чем из булочных. А скоро будут носить, как из овощных. Вы к этому людей приучаете. Попали бы нынешние москвичи во времена Бориса Годунова да не обнаружили бы в лавках Аптекарского приказа привычных им килограммов лекарств, они тут же все и передохли бы. Стало быть, теперь в аптечном деле важнее всего отпускатели товара и грузчики. Вот я и есть. Но дальше-то что? Толку-то что?

– Миша, тебе ли это говорить?

– А почему бы и не мне? Не ко мне ли бегут с подушками для кислорода? Не я ли вижу, что стопка рецептов, подписанных районным онкологом, тоньше не становится? Не скорбный ли дом магазин, в котором я служу продавцом? Не я ли желал, чтобы люди, которых я знаю и которых я не знаю, коли они люди, жили бы долго, всегда, болезни же их были бы временными и не гибельными, лишь напоминающими им о ценности бытия? Но нет этого…

– Михаил Никифорович, вон ты куда! – изумился Батурин и как бы даже обрадовался. – Ты уже не нами недоволен, а порядками в мироздании!

– А бывают минуты, – словно бы и не услышал его Михаил Никифорович, – иногда и там, в аптеке, когда мне хочется всех спасти! Всех! Всех!.. Дать и этому, и тому, и тому здоровье, спокойствие и благо… Кем-то таким стать, чтобы дать это…

Михаил Никифорович замолчал. Его самого смутило признание.

– Нет, ты не свое дело выбрал, – сказал Батурин. – Тебе надо было идти в хирурги. Ты бы спасал…

Михаил Никифорович посмотрел на свои руки. Покачал головой.

– Руки не те. Пальцы не те. – Потом добавил, как бы оправдываясь: – И конкурс на хирургов помнишь был какой.

– Чего ты тогда хочешь? – взвился Батурин. – От себя? От меня? От всех?

Они уже с официанткой расплатились, и та, пышная и огненная, жалела их, советовала беречь нервы, как бы они из-за своих нервов не попали в Красную книгу на манер лошадей куланов. И на улицу они вышли, но разойтись никак не могли. И все старались вразумить, урезонить друг друга с таким усердием и жаром, что со стороны их разговор мог показаться скандалом, обещающим драку. Радиофицированные ходоки-милиционеры с интересом и надеждой поглядывали на них. А ведь не были собеседники пьяными, не те сосуды опрокинули они под птицу и маслины. Но словно бы неприятеля видел теперь перед собой Михаил Никифорович, все слова Батурина казались ему обидными, неверными, чуть ли не опасными для человечества.

– Опять ты тычешь своей лабораторией! – кипятился Михаил Никифорович. – Не там вы ищете, не там! Вся история рода людского – это история приспособления человеческого организма к травам, растениям, у нас с ними одна биохимия, мы живые, и растения живые…

– Ты латынь-то помнишь еще? – спрашивал его Батурин.

– Наверное, не хуже тебя, что же мне было забывать-то ее!

– Ну так мне латынью или отечественными словами напомнить истину: «От смерти нет в саду трав»? Нет, Миша! Нет их! Хочешь громить порядки в мироздании? Громи!

– И все равно ты не прав. Не прав! Надо найти что-то такое, чтобы всем помочь, и сразу!

– Ну поищи!

– И поищу!

– Ну и найди!

– И найду!

На этот раз Батурин не ответил, а поглядел на Михаила Никифоровича по-иному, как бы жалеючи однокашника.

– Что-то ты, Михаил Никифорович, разошелся, – сказал он. – Или тебя волхвы посетили? Или какой-то волшебник обещал спуститься к тебе?

– Какой волшебник? – Михаил Никифорович взглянул на Батурина настороженно, чуть ли не с испугом. – С чего ты взял? Какой еще волшебник?

– Я не знаю, – усмехнулся Батурин, – какой волшебник. Может, и не

волшебник даже, а, предположим, всемогущий Демиург. Или развитой пришелец со сверхвозможностями.

– Нет никаких волшебников, – быстро сказал Михаил Никифорович, оглянувшись при этом.

– То-то и оно что нет, – назидательно произнес Батурин. – А потому и милости прошу в нашу лабораторию.

– Нет никаких волшебников, – повторил зачем-то Михаил Никифорович. – И хватит. И прекрати.

Однако прекратить был намерен сам Михаил Никифорович. Он забормотал тут же про чрезвычайные дела, повернулся, руку забыв протянуть на прощание, и пошел к остановке девятого троллейбуса. Батурин кричал ему что-то вслед, напоминал свой адрес и номер телефона, а Михаил Никифорович будто бегством спасался.

Затейница Любовь Николаевна прохлаждалась в московских кущах. Или где еще. А похоже, и Любови Николаевне Михаил Никифорович мог наговорить в те часы немало обидных, хотя, впрочем, и благородных слов. Однако по адресу наговорил бы?

Но он быстро остыл. То есть вскоре не был более в настроении спорить с Батуриным или ругать Любовь Николаевну. А себя-то, сидя на кухне и отложив «Вечернюю Москву», бранил и склонял. Вспоминал разговоры с заведующей аптекой Заварзиной, с ассистентом Петром Васильевичем и особенно с Серегой Батуриным. Дивился на самого себя: он ли все то наговорил или какой другой Михаил Никифорович?

Печалили его и мелочи. Скажем, принялся он чуть ли не в обиде утверждать, что помнит латынь не хуже Батурина. Какое там не хуже! Что он помнит? Ну читает рецепты и справочники, и ладно! Впрочем, подумаешь – латынь! Но каков он был, когда заявил, что непременно будет искать – и найдет! – нечто спасительное для человечества! Хорош гусь! И что он взъелся на Батурина? На заботы и старания Батурина и ему подобных не следовало хмуриться и тем более издеваться над ними, что-то ведь и вправду дают они людям, дают. Обольщаться, конечно, их делами не стоит. Но ведь кому не стоит обольщаться? Не приказчику в лекарственном магазине, а действительно существу, взлетевшему над жизнью, влияющему на ход бытия, проникшему разумом и душой в суть мироздания, в глубины времени. Может, и именно Демиургу. Или хотя бы просто ученому уму, ироничному или даже скорбному из-за тщеты своих усилий улучшить участь людского рода. А он-то, Михаил Никифорович Стрельцов, аптекарь, какие такие научные или житейские подвиги свершил, чтобы отменить формулу «От смерти нет в саду трав», или хотя

бы для того, чтобы иметь право не обольщаться открытиями Батурина? Никаких не свершил. А стало быть, только уповал… И что делал в последние годы, как жил? Что он может изменить в себе, в людях, в ходе событий? Вот сегодня нагрубил Нине Аркадьевне и Петру Васильевичу, и что? Петр Васильевич чуть ли не носом стал хлюпать, а Нина Аркадьевна, заведующая, смотрела на Михаила Никифоровича удивленно, повторяла, как бы журя его и в то же время жалея по-матерински: «Да что ты, Миша? Что с тобой сегодня? Что ты сердишься на нас, будто какой-то человек со стороны?» Это «человек со стороны» и именно что сегодня, а не всегда, она подчеркивала. Пина Аркадьевна Заварзина была женщина властная, деятельная, но безалаберная. Образцовым хозяйством их аптеку назвать было никак нельзя. Однако внешность и манеры Нина Аркадьевна имела самые представительные. Без нее сиротели президиумы. Да что президиумы! Такую хоть отправляй послом в Португалию. Или еще куда. К тому же и супруг ее служил на одной из ближних улиц заместителем министра. В районе ею были довольны. А может, и не только в районе. На взгляд Михаила Никифоровича, баба она была безвредная, он с ней ладил. Интриг в аптеке не поощряла. И сама не заводила. Или почти не заводила. Может, нужды в них не имела. А то, что дела в аптеке, хотя аптека нередко и отмечалась премиями, шли не самым идеальным образом, что особенного? Где они идут идеальным-то образом? Словом, не было никакого резона Михаилу Никифоровичу нападать сегодня на Нину Аркадьевну. Ладно, упрекнул он – и резко притом – ассистента Петра Васильевича. Тихий Петр Васильевич, возмущенный нынешними дамскими нравами, в годы войны оказавшийся нервно расстроенным, но теперь как бы и имевший отношение к победе хотя бы в силу возраста, симпатий Михаила Никифоровича не вызывал. Работник был аховый. По его вине не приготовили сегодня два порошка, а люди с квитанциями пришли. Михаил Никифорович произнес ему слова. Петр Васильевич было огрызнулся, а Михаил Никифорович добавил: «Меньше реплик по поводу барышень отпускайте. От них-то толк есть. А от вас…» Петр Васильевич и захлюпал носом. А Михаил Никифорович не успокоился, зашел к Нине Аркадьевне и обличительными словами изложил ей все, что думал – сегодня! – о порядках в аптеке. Были бы столь же серьезных свойств упреки произнесены лет сто пятьдесят назад какому-нибудь гвардейскому офицеру, тот, коли порядочный, сейчас же должен был бы застрелиться. А Нина Аркадьевна обошлась тем, что напомнила Михаилу Никифоровичу о персонаже из современной драмы. Но что он приставал к Нине Аркадьевне? Прав Батурин. Пусть и наступит в их аптеке золотой или

изумрудный век со сверканием порядков и трудов, перестанет ли аптека быть магазином, а он в ней – продавцом? Ведь нет. А главное – не исчезнут страдания и болезни людские. «От смерти нет в саду трав». И он, Михаил Никифорович, изменить что-либо в миропорядке не в силах. Стало быть, и нечего ерепениться. А он как будто начал следовать призывам Мадам Тамары Семеновны. Впрочем, ее ли призывам?..

Михаил Никифорович постановил тут же прекратить думать и каяться, а жить, как жил прежде. В частности, пойти и включить телевизор. Но не встал и не пошел. И думать не прекратил. Он сидел на кухне виноватый перед всем миром.

И это чувство вины в нем все разрасталось и как бы даже вскипало. Напряжение в нем возникло такое, что Михаилу Никифоровичу плакать хотелось. А видел ли кто прежде слезы на его глазах? И был он готов броситься сейчас же куда-то и подвиг совершить. Драконов рубить или менять сущность галактик, чтобы всех излечить и спасти, или даже дать человеку бессмертие. Жизнь свою он не задумываясь положил бы за это.

Однако и останкинское обыденное благоразумие не оставило совсем Михаила Никифоровича. Оно-то и не позволило разойтись геройскому куражу и вселенской тоске аптекаря Стрельцова. И на подвиги он никуда не отправился. Но всю ночь взъерошенный ходил по квартире из угла в угол. Курил. Любовь Николаевна, надо полагать, знала о состоянии Михаила Никифоровича и ночевать не явилась. И разумно поступила.

Но и дальше терзания Михаила Никифоровича продолжались. Дерзкие мысли и намерения все больше взъярялись в нем. Никогда таких смерчей и самумов не ощущал в себе Михаил Никифорович. Откуда взялись они? Все Михаил Никифорович готов был привести в идеальное состояние. И аптеки, естественно. Но истинным ли поприщем были для него теперь аптеки?.. Михаил Никифорович начал было бунт на корабле, но сразу же понял, что никакой пользы от его действий не выйдет, а выйдет мелкий производственный конфликт. Или скандал. Тогда Михаил Никифорович, чтобы не злить себя и других, решил немедленно уйти из аптеки. Но и не в лабораторию Сергея Батурина.

Ушел он на химический завод, куда его давно манил Никитин. Никитин тоже оставил аптеку. Во-первых, объяснял Никитин, у них на заводе – мужское дело. Во-вторых – хорошие деньги за вредность и пенсия чуть ли не в сорок пять лет. А дальше можешь начинать жить заново. Хочешь – для себя, хочешь – для человечества… Оформляли Михаила Никифоровича недолго, хотя имелись там и свои сложности. И превратился Михаил Никифорович неизвестно в кого, то ли в лаборанта, то

ли в оператора, то ли в человека на подхвате. Рангом, во всяком случае, он был ниже техника. Но процессы-то химические шли и без его усилий. А в денежных ведомостях отношение к Михаилу Никифоровичу было самое уважительное.

Но утек четыреххлористый углерод. Не по вине Михаила Никифоровича утек. Однако дышал им Михаил Никифорович. И вечером его доставили к Склифосовскому.

Теперь Михаил Никифорович – вольный гражданин со справкой о недуге. Может начать жить заново. Хочет – для себя. Хочет – для человечества.

Вот что я узнал от Михаила Никифоровича в разговоре о событиях, начавшихся 4 мая.

– А вдруг это она тебе знак дала? – предположил я.

– Кто она?

– Любовь Николаевна.

– Может, и знак, – сказал Михаил Никифорович.

– Она тебя к подвигам призывала, а ты дезертировал. А впрочем, если это так, она может его и отменить. Обязана даже.

– С чего это обязана?

– Она ведь не только раба. Но и берегиня.

– Берегиня! – сказал Михаил Никифорович. – Они все с этого начинают.

Мог ли я не согласиться с Михаилом Никифоровичем?

– Ладно, – сказал я. – Но зачем тебе надо было идти именно на химический завод?

– А затем! – горячо произнес Михаил Никифорович. – А затем, что мне надо было идти куда похуже. Ведь на самом деле я возжелал всех и все спасать и сейчас желаю. Может, и сильнее прежнего! А что я могу? Ничего. Что же мне мучиться-то? Вот я и пошел туда, где уж никаких возможностей у меня не могло бы быть!

Тут Михаил Никифорович как бы устыдился произнесенного им и добавил:

– И потом деньги…

– И пенсия…

– Ну и не смейся.

Сидел он теперь передо мной совсем растерянный, я удивился ему. «Неужели она так прибрала тебя к рукам?.. Или ты…» Я чуть было не сказал Михаилу Никифоровичу о догадках дяди Вали. Но и без того фраза мною была произнесена не слишком рыцарская. А Михаил Никифорович

стал чрезвычайно серьезен. Совет ли какой желал испросить у меня? Или не все он мне открыл, а открыть хотел? Снова закурил Михаил Никифорович.

– Михаил Никифорович, – начал я, стараясь говорить как можно деликатнее, – тут тебе надо осмотрительнее… Мало ли что может прийти в голову?.. А ведь выйдет-то чепуха какая-то… Если посмотреть на всю эту историю холодным взглядом…

– Вот именно – холодным взглядом… – вздохнул Михаил Никифорович.

– А ты что же?

Я сразу же замолчал.

– Слушай, – спросил я погодя, – а на заводе наказали кого-нибудь за аварию?

– Никого.

– Отчего так?

– Я сказал, что отравился случайно. И никто не виноват. Дело далеко не пошло.

– Ну, Михаил Никифорович!.. Ведь была же авария. Ведь после тебя еще и других повезут к Склифосовскому!

– Теперь будут внимательнее, – сказал Михаил Никифорович, не слишком, впрочем, уверенно. – Да и не мог я ставить под удар Никитина… И люди под суд пошли бы…

– Я тебе не судья, Михаил Никифорович, – сказал я. – Но ты шутки шутишь! И если бы эти шутки тебя одного касались!

– В чем же я виноват? И перед кем?

– Михаил Никифорович, ты ведь сам говорил, что перед всем людским родом виноватый.

– Это другое, – сказал Михаил Никифорович.

– Другое, – согласился я. – Но неизвестно, что тяжелее весит. Это другое, высшее, или то мелкое, из чего у тебя и у меня вся жизнь.

Михаил Никифорович мне не ответил.

Похоже, больше он ничего не намерен был сказать.

– По моим предположениям, – произнес я уже у двери, – главные пайщики долго не выдержат. Бунтовать начнут…

19

Они и начали.

Дядя Валя и Игорь Борисович Каштанов дней через пять явились ко мне, оторвали от стола и тетрадей, сказали, что все, они больше не могут.

Я не то что удивление им выказал, я был возмущен.

– Вытащил бы я вас, дядя Валя, на ходу из-за руля автобуса, – сказал я, – вы бы на меня с лопатой бросились!

Но я лукавил. И от работы я был не прочь сейчас отлынуть. И некие эгоистические надежды связывал я с порывом дяди Вали и Каштанова. И я, видно, уже не мог. Каштанов же выглядел измученным, такой теперь мог и муху тронуть.

– А Серов и Филимон? – поинтересовался я.

Ни Серов, ни Филимон Грачев, оказывается, не пожелали вступить в сражение с Любовью Николаевной (дядя Валя уже не называл ее Любовью Николаевной, а говорил: «С этой…»). Филимон был упоен своим творческим растворением в чайнвордах, кроссвордах, крестословицах, шарадах, своими блистательными, прямо-таки корсунь-шевченковскими погромами когда-то труднодоступных для него ведомственных умных задач даже и в «Лесной промышленности», и в «Водном транспорте», и в «Московском автозаводце», и в зарайской районной газете. Серова же, выходило, Любовь Николаевна никак и не сдвинула. То ли оказался он невосприимчивым к ее энергии (или к чему там), то ли и скрытых резервов или узких мест в нем никаких не было.

– Но присутствие Серова и Филимона Грачева при этом разговоре необходимо, – сказал я.

– Я их приведу, – кивнул дядя Валя.

Каштанов дрожал, дергался, будто его бил колотун, но можно было понять, что происхождение колотуна Игоря Борисовича не связано с напитками. Одет он был чисто – костюм утюженый, рубашка свежая, – однако вид имел измятый.

– Этот-то, – указал на Каштанова дядя Валя, – уже намылился продать свой пай Шубникову.

– Терпения больше нет, – сказал Каштанов.

– Ну уж шиш! – оборвал его дядя Валя. – Прежде ее надо придушить. А Шубников ее душить сразу не даст.

– Нельзя ее душить! – чуть ли не с мольбой в глазах сказал Игорь

Борисович.

Между ними тут же возникла перебранка, и я снова ощутил себя на грани веков, среди заговорщиков, измученных доктринами и выходками хозяина Михайловского замка. И раздавались сейчас реплики смельчаков, способных на тираноубийство, и слышались жалостливые голоса миротворцев, отвергающих насилие. Смельчаки не исключали возможности наемных или добровольных убийц. В частности, на роль штабс-капитана измайловца Скарятина, порешившего императора, рекомендовался мрачный водитель Лапшин с его бешеным самосвалом.

– Никогда! – кричал Каштанов. – Нельзя этого!

– Чистеньким хочешь быть! – отвечал ему дядя Валя. – Ну и мучайся дальше! И нас мучай! И все Останкино!

– А что Михаил Никифорович? – спросил я на всякий случай.

Заговорщики умолкли. Дядя Валя, видно было, смутился.

– А что Михаил Никифорович? – быстро сказал он. – Ты и сам знаешь… Влюбился Михаил Никифорович!

– Безответственно вы говорите, Валентин Федорович. Как это можно влюбиться в фантом, в движение воздуха? – сказал я на всякий случай.

– Это она-то движение воздуха? – поинтересовался дядя Валя.

– Отчего же нельзя в нее влюбиться? – печально сказал Каштанов.

– Мы тебя и зовем, – объяснил дядя Валя, – чтобы ты Михаила Никифоровича поколебал.

Устройство встречи с Михаилом Никифоровичем дядя Валя брал на себя, полагал, что провести ее удастся сегодня же. Когда дядя Валя и Каштанов уже уходили, я спросил, каковы нынче обстоятельства жизни Шубникова, не огорчает ли его подброшенный Бурлакиным ротан. О ротане дядя Валя с Каштановым толком не знали, но слышали, что теперь Шубников средства для поддержания сил добывает шапками. До него дошло, что шапки из собак дороже самих собак, он завел дела с умельцами и стал уводить или перекупать животных для шапок.

– Живодер! – поморщился Каштанов.

– Живодер! – согласился дядя Валя. – А ты хочешь загнать ему пай!

Они ушли. Через час дядя Валя позвонил и сказал:

– В восемь вечера на моей квартире.

В восемь вечера на квартиру дяди Вали шесть останкинских жителей явились без опозданий. Три пайщика-фундатора и три соучастника с совещательными мнениями. Серов давал понять, что он человек воспитанный, оттого и принял приглашение дяди Вали, но ему пора домой. Филимон Грачев достал семь газет и ручку. Собака дяди Вали, возможно,

не вызвавшая симпатий Шубникова, улеглась у серванта и уставилась на Михаила Никифоровича, будто укор какой желая ему высказать. Михаил Никифорович был в напряжении, словно душить предполагали его.

– Начнем, – сказал Серов.

– И кончим, – кивнул дядя Валя.

– Кого кончим? – удивился Филимон Грачев.

– Варвару!

– «Я вас обязан известить, что не дошло до адресата письмо, что в ящик опустить не постыдились вы когда-то», – произнес Филимон, уткнув ручку в лист «Книжного обозрения». – Кто автор? Семь букв. Вторая «и», шестая «о». Либо Тихонов, либо Симонов? А? Кто?

Прежние бы милые времена! Дядя Валя тотчас бы вспомнил или Колю, или Костю, как они с Костей били самураев на Халхин-Голе или как они с Колей лазали по индийским горам. Но нет, нынешний дядя Валя был строг.

– Прекрати, Филимон! – сказал дядя Валя. – Ну как, Михаил Никифорович, вы с нами или опять в либерала будете играть?

Михаил Никифорович сидел молча.

– Все страдают. Мы пятеро, – сказал дядя Валя твердо. – И другие в Останкине. Наверное, и еще где-нибудь в Москве. Или в области… Михаил Никифорович, мы вас спрашиваем: будете вы по-прежнему потакать ей или нет?

Собака дяди Вали подняла голову и кивком поддержала хозяина.

– Что я-то? – сказал Михаил Никифорович. – Разве я могу больше, чем вы?

– А кто вносил два сорок? – спросил Каштанов.

– Ага, – сказал дядя Валя. – Эгоистом быть легко. Пусть, мол, другие страдают, а я буду жить в наслаждениях.

– Кто это живет в наслаждениях? – спросил Михаил Никифорович.

– Это я так, к примеру, – сказал дядя Валя. – Все мы считаем, что ее для пользы людей надо ликвидировать, один ты…

Тут дядя Валя умолк, и мне стало ясно, что никаких консультативных бесед дядя Валя с Михаилом Никифоровичем не имел и мнение о взглядах Михаила Никифоровича на кашинскую гостью вывел из неких наблюдений и догадок.

– Нельзя с ней так, – возмутился дяди Валиным словам Каштанов. – Можно ведь и договориться по-хорошему…

– А тебя и не спрашивают. Спрашивают Михаила Никифоровича. Будет он устраивать свою судьбу за счет несчастья других? Или хотя бы

воздержится?

– Дядя Валя, – сказал я, – по-моему, у вас нет оснований для подобных претензий к Михаилу Никифоровичу. И вообще вы сегодня много берете на себя.

– Имею право! Не пожалел бы в тот день рубль с мелочью, и ты бы имел право…

– Спасибо за напоминание. И разрешите откланяться.

– Нет. Погоди! Извини! Она ведь и тебе не нужна. Сейчас быстро решим и все уйдем. Ну, Михаил Никифорович?

– Ладно, – сказал Михаил Никифорович, – поговорить поговорим. Но без всяких душегубств.

– Это мы еще посмотрим! – заявил дядя Валя.

20

Разговор с Любовью Николаевной состоялся в субботу в четыре часа на квартире Михаила Никифоровича.

Встретиться с пайщиками дядя Валя предложил у бывшего пивного автомата, мертвого теперь помещения, и уж оттуда идти на квартиру, будто какие чувства факельные должны были обостриться в нас на месте встречи, по замыслу дяди Вали, возможно, сначала чувство жалости к себе, а потом и бунтарского протеста. Дядя Валя посмотрел на часы и сказал неожиданно:

– Еще могут успеть и пиво завезти!

Трех минут дороги к дому Михаила Никифоровича хватило дяде Вале для произнесения огненных слов «огласим приговор!» и «доведем до акта полной капитуляции!». И иных. Тут уже не грани прошлых столетий и не императорские замки приходили на память, а казалось, что дядя Валя выводит нас на Зееловские высоты.

– Ну? Тут она? – спросил дядя Валя Михаила Никифоровича, открывшего дверь.

– Здесь.

– Пошли! – чуть ли не приказал дядя Валя.

Однако решимость наша тут же куда-то истекла. Даже дядя Валя и тот засмущался. Мы долго терли ноги о плетеный коврик, будто выбрались из болота. И волосы наши, оказалось, нуждались в услугах расчесок. Вышло так, что мы опять как бы просителями пришли на беседу с Любовью Николаевной…

А она сидела на диване в свободной артистической позе, красивую руку легко положив на спинку дивана. Может, и не совсем мадам Рекамье, возлежавшая когда-то на ампирной кушетке вблизи холста Жака Луи Давида, но сегодня, похоже, не менее той воздушная и пленительная. И ноги ее были красивыми. В лице же Любови Николаевны никаких изменений со дня майского посещения ею пивного автомата я не углядел. Но, пожалуй, Любовь Николаевна несколько повзрослела. И было видно, что пленительная-то она сегодня пленительная и милая, но и властность свойственна ей. Впрочем, порой и прежде властность в ней ощущалась…

Мы уселись на предложенные нам Михаилом Никифоровичем стулья и табуретки. Молчали. Михаил Никифорович смотрел в пол.

Дядя Валя быстро взглядывал то на меня, то на Каштанова, как бы

требуя от нас слов.

– Я жду, – сказала Любовь Николаевна.

Сказала она вроде бы лениво и дружелюбно, будто благодушный профессор онемевшему на экзамене первокурснику, но по дрожанию ее русалочьих губ я понял, что и она волнуется.

– Давайте! Давайте! – опять взглянул на нас с Серовым дядя Валя. – Сами же гнали нас!

– Извините, дядя Валя, – сказал я. – Тут трое главных пайщиков с правами. Мы же с совещательными мнениями.

Но и теперь люди с правами не заговорили.

– Странно получается, – сказала Любовь Николаевна. И даже улыбнулась. – Вы собрались пойти на меня чуть ли не с вилами и топорами, а пока и рта не раскрываете…

– Если бы вы не были женщиной… – вздохнул Каштанов.

– Да какая она женщина! – прорвало наконец дядю Валю. – Она – стерва! Филимон сразу сказал, что она ведьма. Вот с такими клыками! А вы нам не верили!

– Валентин Федорович! Гражданин Зотов! – сказала Любовь Николаевна. – Вот уж не ожидала, что вы, бывалый человек, унизитесь до базарного крика.

– Ты, стерва, довела нас до… – вскочил дядя Валя.

– До чего? – спросила Любовь Николаевна.

– До того, – сказал дядя Валя и сел.

Чувствовалось, что ему неприятно открывать собравшимся, до чего довела его Любовь Николаевна. Да и я постеснялся бы говорить вслух о своих заботах последних недель.

– Вот даже пивной автомат закрыли! – проворчал дядя Валя. – Все Останкино мучаешь!

– Это да! – встрепенулся Филимон Грачев.

Слова дяди Вали, похоже, нашли поддержку у всех. Справедливые были слова.

– Автомат – еще мелочи, – сказал дядя Валя. – А вот…

И опять дядя Валя не отважился на откровенность.

– Я ведь хотела как лучше, – сказала Любовь Николаевна.

– Мы – переростки! – взъярился дядя Валя. – Нас поздно улучшать!

– Тут, дядя. Валя, – вступил в разговор Серов, – вы отчасти не правы. Улучшать себя никогда не поздно. Однако, видимо, методы Любови Николаевны могут показаться странными и не для всякого приемлемыми.

В иной день дядя Валя сразу бы поставил Серова на место, но нынче

он не был намерен иметь его оппонентом. Он как бы не услышал Серова.

– А что она ко мне в душу полезла? – обратился дядя Валя к Михаилу Никифоровичу. – Кто дал ей на это право?

– Я так просила вас открыть мне ваше сокровенное, – сказала Любовь Николаевна. – А вы не стали. Мне и пришлось…

– Нет, зачем надо было ко мне в душу лезть! – не мог успокоиться дядя Валя. – Хватало таких, которые ко мне уже лезли!

– Я была обязана все узнать о вас, – сказала Любовь Николаевна, и чувствовалось, что она, набравшись терпения, малым детям разъясняет очевидное и неизбежное. – Я и узнала. И поняла, что вы можете жить лучше, чем жили прежде. А раз можете, стало быть, и должны.

– Во дает! – заявил дядя Валя. – С чего это вдруг – и должны?

– Предназначение у вас такое.

– Тебе-то какое дело до наших предназначений?

– Я ощутила ваши свойства и ваши устремления, какие вы сами чаще словами назвать не можете, но какие в вас есть. Этим вашим порывам, желаниям я и дала ход и усиление. Тому, что всегда билось в вас и не находило выход. Как вы не можете понять это? И отчего вы не хотите согласиться с тем, что вы можете быть куда полезнее и необходимее и самим себе, и всем, и всему? Вы же сами желали этого!

– Утомили нас научные организации жизни… – вяло и словно бы для себя сказал Каштанов.

– Ты нас взбудоражила! – заявил дядя Валя. – А какие средства ты нам дала? Слаба оказалась! И тут драмы. Желания-то наши – одно, они при нас, они разрослись! А что мы можем? Ерунду! Вот я должен был эту паскуду Уриэрте выгнать из Гондураса [[3]] и все переменить… А выгнал? Как же!..

Дядю Валю, как потом выяснилось, всегда, с отроческих лет, задевали и беспокоили состояния народов, пусть и самых малых, пусть и вовсе ему не известных. В особенности находившихся в бедственном, разбойничьем мире. Тут и испанские происшествия дяди Вали имели объяснения. А теперь-то дядя Валя ощутил себя стратегом и тактиком, готовым устроить всюду порядок, каким он себе его представлял: тех-то сместить, а этих возвысить, этим, достойным и труженикам, все отдать и поручить, а этих, кровавых, мордами провести по столу. Глобус появился в квартире дяди Вали, а потом и атлас мира по весу не легче ведра с мокрым песком, и дядя Валя часами с лупой инспектировал континенты, водоемы, страны, департаменты, штаты, вилайеты, кантоны. Поначалу думал, что порядки он сумеет наладить, и скоро. Думал, предположим, что это после его усердий христианские демократы потеряли на выборах места в ландтаге земли

Северный Рейн-Вестфалия. Сейчас-то понял, что нет, он ни при чем… Долго раздражал дядю Валю подонок Уриэрте. Появись он в пределах присутствия дяди Вали, скажем, на улице Цандера возле «Кулинарии» и ресторана «Звездный», пришлось бы махровой марионетке с прокисшими усами и в генеральских штанах размазывать по физиономии горючие слезы. И ветеринарная лечебница на Кондратюка его бы не приняла. До того ненавидел дядя Валя Уриэрте за страдания народа. По, как ни напрягался дядя Валя, какие слова, достойные и сессий и ассамблей, ни произносил он вслух и про себя, каналья Уриэрте из Гондураса никуда не убирался [4]. Отсюда и вышла драма, о которой намекнул дядя Валя. То есть можно было догадаться, одна из драм, пережитых дядей Валей у политических карт мира…

За дядей Валей и Каштанов было поднялся с намерением – так казалось – объявить Любови Николаевне о своих печалях, ею вызванных, но храбрости не хватило.

– Вы нетерпеливы, – сказала Любовь Николаевна. – Вы захотели все сразу. А спешить нельзя. – Потом она задумалась. – А может быть, я дала каждому из вас слишком энергичный толчок…

– Я его не ощутил, – вежливо сказал Серов.

– Нет! Мы так больше не можем! – выдохнул дядя Валя.

– Ну почему же… – начал было Филимон Грачев.

– Помолчи ты, жертва интеллекта! – оборвал его дядя Валя. – Мы не можем так, непонятно, что ли!

– Дядя Валя прав, – кивнул Каштанов.

– А ты-то что молчишь? – обратился дядя Валя к Михаилу Никифоровичу. – Она тебя своим участием искалечила, превратила в инвалида, а ты молчишь! Не такая она уж и красивая, чтобы ей все можно было прощать!

Михаил Никифорович слова не произнес.

Губы Любови Николаевны опять задрожали.

– Я ведь не все могу, – сказала она тихо. – Я, наверное, не все умею… Но ведь вы должны были сами…

– Вот тебе раз! – возмутился я. – Если вы не все умеете, зачем же вы поставили Михаила Никифоровича в такое положение, что при нем утек четыреххлористый углерод? Это ведь нехорошо…

– Но я… – начала Любовь Николаевна. И не договорила.

Укорить-то я Любовь Николаевну укорил, но тут же и ощутил возможную несправедливость собственных недоумений. Сейчас воином рати Валентина Федоровича Зотова я был ненадежным. Я не противился

бы тому, чтобы Любовь Николаевна сгинула, исчезла бы из останкинской жизни. Но я и жалел ее. И себя опять упрекал в малодушии, житейской лени, в намерениях существовать гедонистом, стрекозой порхающей. Плохого нам Любовь Николаевна, выходило, не желала, а мы ее произвели во вражью силу. Старания Любови Николаевны мы посчитали ярмом, игом. Но не стали бы мы потом горевать об этом иге и ярме? Час назад я был уверен в том, что действия Любови Николаевны вредны, что они – насилие надо мной, над нами, что она над нами – кнут, чьи удары еще исполосуют в кровь наши натуры. Но, оказавшись рядом с Любовью Николаевной, существом неизвестно каким, но живым и несомненно женщиной, ослабевшей теперь, растерянной, впрочем, не потерявшей привлекательности, а потому и трогательной, я снова чуть ли не «Вальс-фантазию» Михаила Ивановича Глинки желал услышать… Словом, я не знал, что делать и что говорить. И все молчали.

– Я не все могу и не все умею, – снова сказала Любовь Николаевна, и твердость уже появилась в ее голосе (руку Любовь Николаевна прежде сняла со спинки дивана и более не вызывала мыслей о мадам Рекамье). – Но вы должны были рассчитывать и на самих себя, на свои решения и поступки.

И далее она голосом классной руководительницы или голосом постового милиционера стала говорить о нашем жизненном предназначении, о наших обязанностях перед планетой, людьми и самими собой. И выходило так, что уроки мы приготовили плохо и следует ожидать переэкзаменовки осенью.

– Может, ты еще и родителей вызовешь? – сказал дядя Валя.

– Каких родителей? – спросила Любовь Николаевна.

– Наших, – сказал дядя Валя. – Чтобы призвали детей к порядку и надрали уши. Но с вызовом моих родителей могут возникнуть сложности.

– Вы шутите, Валентин Федорович…

– Шучу, – сказал дядя Валя. – Но беда-то ведь небольшая? И пора кончать комедию! Мы хозяева бутылки? Мы! И испытывать на себе опыты не согласны. На кой ты нам сдалась со своими уздечками? Насилиев терпеть не будем. Сгинь, и разойдемся по-хорошему.

– Я не могу сгинуть, – кротко сказала Любовь Николаевна.

И взглянула она на нас чуть ли не с мольбой, словно бы давая понять, что она готова ради нас и сгинуть, но не может, беда такая и для нее и для нас. Дядя Валя и тот замялся.

– Тогда хоть пивной автомат откройте, – сказал Филимон.

– Да погоди ты! – рассердился на Филимона дядя Валя. И обратился к

Любови Николаевне: – А ты, если не врешь и вправду не можешь сгинуть, сама придумывай способ, как от нас отстать. Не будем же мы об тебя руки пачкать… Или как? – Теперь уже дядя Валя взывал к нам.

Но было видно, что террорист и каратель из Валентина Федоровича Зотова вряд ли получится. Хотя как знать… Ведь и безмятежного голубя тротуарного можно ввести в раздражение и заставить взлететь.

– Пусть сама что-нибудь предложит, – сказал Игорь Борисович Каштанов.

– Пусть сама, – согласился Михаил Никифорович. Это были его первые слова при разбирательстве с Любовью Николаевной.

– Что же я могу придумать? Что я могу предложить?..

– Мне думается, – вступил я, – Любовь Николаевна, прежде чем освободить нас от своих забот, должна излечить Михаила Никифоровича.

– Я не смогу сделать это, – печально произнесла Любовь Николаевна. – Не смогу сразу… И я…

– Что значит не можешь! – вскричал дядя Валя. – Калечить людей ты можешь, а лечить отказываешься?! Если ты его сейчас же не поставишь на ноги, мы тебя разорвем в клочья!

– Оставьте мои недуги, – рассердился Михаил Никифорович.

– Нет, – сказал я, – это дело важное не только для тебя, но и для нас.

– Я не смогу. – Теперь уже не печаль, а страдание было в голосе Любови Николаевны. – Здесь случай особенный… Но я… Я попробую… Позже… Я не могу вам все теперь объяснить…

– Да вылечит она! Вылечит! – принялся уверять нас Каштанов.

– Врет она все! – взревел дядя Валя. – Притворяется она! Цепляется за Москву и морочит нам головы! А ей и в Кашине делать нечего. Будет тянуть время с излечением, чтобы мы ее сразу же не прихлопнули!

– Вы не правы, Валентин Федорович, гражданин Зотов, – сказала Любовь Николаевна.

– Чего не прав! Чего не прав! – не мог утихнуть дядя Валя. – В общем, так. Ты сейчас же подпишешь акт о полной и безоговорочной капитуляции, а там мы решим, оставлять тебе жизнь или нет. А о Москве перестань и думать. Михаил Никифорович, неси бумагу и чернила. И печать.

Михаил Никифорович ни за какими чернилами никуда не пошел. Тогда дядя Валя достал из кармана пиджака кусок плотной розовой бумаги, использованный, впрочем, уже коммунальными работниками для сообщения о летнем отдыхе горячей воды.

Любовь Николаевна сидела бледная, горем убитая.

– Зря вы, Валентин Федорович, – жалобно сказала она. – Вы ведь себе

хотите сделать хуже…

– Молчи! – оборвал ее дядя Валя. – Ты – раба хозяев бутылки! И все! Мы натерпелись от тебя.

Любовь Николаевна, будто и не говорившая с нами полчаса назад властно и своевольно, теперь руки смиренно на коленях сложившая, носиком своим вздернутым шмыгавшая, робко взглянула на Михаила Никифоровича, может быть, вымаливая у него заступничество, однако Михаил Никифорович заступником себя не проявил. А вот дядя Валя насторожился: мало ли какие изменения могли внести в ход разговора женские жалостливые взгляды? Он потяжелевшей рукой, будто бы готовой в глубины земли вминать танки и самоходные орудия, незамедлительно, снимая все сомнения и не дав компании дух перевести, вывел на не запачканном коммунальным распоряжением боку розовой бумаги слова: «Акт о капитуляции». Потом добавил буквами помельче: «полной и безоговорочной».

И теперь Михаил Никифорович облегчать судьбу Любови Николаевны не вызвался.

Составление документа как будто бы увлекало пайщиков кашинской бутылки. И фундаторов, исключая, правда, Михаила Никифоровича, который молчал, и нас троих, присяжных с совещательными мнениями. Все мы были приучены жизнью обсуждать формулировки не спеша и подолгу, порой и купаясь в их сметанных волнах, а сейчас словно бы началась для нас и умственная игра. Серов был деликатен, старался смягчить и облагородить казнящие слова. И его можно было понять. Мало того что Любовь Николаевна спасла его, она и позже ему не мешала. Не мешала она и Филимону Грачеву, напротив, стараниями своими совпала с его сутью и в выси его подбросила, однако Филимон, наверное, посчитал, что он и без Любови Николаевны хорош и в выси шарад и гиревого спорта сам подпрыгнул, а потому теперь он, неожиданно для меня, оказался самым – после дяди Вали – кровожадным. Игорь Борисович Каштанов опять начал проявлять себя романтиком с останкинскими особенностями, дядю Валю он раздражал.

Говорили много. Однако слов на розовой бумаге не прибавлялось. Поначалу спросили, от чьего имени должен следовать текст. Любовь ли Николаевна будет сдаваться в документе пайщикам? Или же пайщики сами все назовут и постановят? Последнее посчитали более достойным и отвечающим историческим традициям. Но как только дело доходило до разделов и параграфов акта, телега начинала скрипеть и застревать колесами в весенней алтуфьевской глине. То есть требования общие – для

преамбул и деклараций – были ясны, но о случаях частных, а стало быть, и существенных для каждого из нас пока не говорилось, отчего документ получался лишенным определенности и юридической точности. Повторялись лишь два требования с отчасти конкретной информацией: «Вернуть Михаилу Никифоровичу здоровье» и «Возобновить работу пивного автомата (типа магазина) по улице академика Королева, пять». К пункту насчет Михаила Никифоровича предполагали добавить справку о несчастном случае на производстве и заключение врачей, подтвержденное печатью. Что же касается пивного пункта, то Филимон Грачев настаивал на том, чтобы усилить фразу и начать ее словами: «Возобновить бесперебойную работу…» Поправку приняли, но о самом пункте говорили теперь с неловкостью. Мелочный пункт-то был, хотя и справедливый.

Игорь Борисович Каштанов, разгорячившись и будто бы в останкинские Ликурги себя произведя, предложил «Акт о капитуляции» отставить, а назвать документ «Постановлением о разводе». Поначалу мы растерялись, но потом зашикали на Каштанова. Ведь на бумаге при разводе пошла бы житейская дребедень – раздел имущества и жилой площади, алименты и прочее. И с кем будет развод у Любови Николаевны? Со всеми нами? Или с кем-нибудь одним? А не потребует ли при этом Любовь Николаевна раздела имущества с Михаилом Никифоровичем, не отхватит ли у него полквартиры, не преподнесет ли ему в день аванса дитя в сырых кружевных пеленках, требующее средств на воспитание? Да и станет ли к тому же разведенная жена, ну не жена, а неизвестно кто слабого пола, лечить мужа, ну не мужа, а Михаила Никифоровича, и открывать для него и для его приятелей пивной автомат? Последнее соображение отрезвило и Игоря Борисовича. Нет уж, акт так акт. Капитуляция так капитуляция.

– Но какую капитуляцию вы имеете в виду? – спросил Серов.

– Как какую? – удивился дядя Валя.

Серов с терпением лектора, прибывшего к людям с путевкой общества «Знание», объяснил ему, что капитуляции бывают разные. Чаще всего капитуляция – это неравноправный договор государства, зависимого от сильного государства, с этим самым сильным государством, устанавливающий для представителей и граждан последнего особый режим привилегий. Скажем, предоставление им льгот налогового порядка, закрепление размера таможенных пошлин и так далее.

– Это разве капитуляция! – возмутился дядя Валя.

И бывают капитуляции военные, продолжил Серов. Это прекращение сопротивления сухопутных, воздушных, морских сил на условиях, предъявленных победителем.

– Вот! – возрадовался дядя Валя. – Это настоящая капитуляция!

При этом, не мог остановиться Серов, все вооружение, все крепости и военное имущество передаются победителю, ему же личный состав побежденных поступает в качестве пленных.

– Пленных мы брать не будем! – заявил дядя Валя.

– Не один вы имеете право решать! – возразил Каштанов, и губы его утончились.

– Все равно, если возьмем пленных, – не сдавался дядя Валя, – можно будет устроить потом Нюрнбергский процесс.

Решили наконец в тексте акта выразить главное, а частности содержать в уме. Но опять термины, какие требовались для документа, стали вызывать споры. Серов считал, что надо употреблять слова «хозяева бутылки» и «раба хозяев бутылки» и нет никаких оснований называть пайщиков победителями, а Любовь Николаевну – потерпевшей поражение. Дядя Валя настаивал, что нет, была истинная война, а в войне всегда случаются победители и побежденные. Споры прекратил Филимон Грачев. Он напомнил нам, что при капитуляции всегда устанавливают час, с которого начинает действовать акт, а сейчас уже пятнадцать минут шестого и до семи может не успеть прийти машина с Останкинского завода.

Документ закончили за десять минут. В нем было указано, что так называемая Любовь Николаевна, существо неопределенных свойств, сдается на милость победителей, основных хозяев бутылки и трех сопричастных к ним останкинских жителей с совещательными правами. Она обязана освободить их от своих напрасных, навязчивых забот, каких – она знает сама, предоставив каждому путь самостоятельного развития и существования. Так называемая Любовь Николаевна обязана немедленно вывести себя и свои вещи из жилого помещения М.Н.Стрельцова без всяких территориальных и имущественных к нему претензий. Документ вступал в силу в восемнадцать часов.

– Подписывай! – приказал дядя Валя Любови Николаевне. – А не то мы…

– Я прошу вас, – сказала Любовь Николаевна с жалостью к нам, а возможно, и к себе самой, – подумайте обо всем еще раз. Ведь вы испортите свои жизни.

– Мы все обдумали! – сказал дядя Валя. – Подписывай!

Любовь Николаевна подписала.

И все мы подписали. Валентин Федорович Зотов подписывал акт как главнокомандующий. А мы как члены делегации.

И Михаил Никифорович подписал.

Я со значением сообщаю об этом отдельно.

– Печати нет, – сказал дядя Валя. – Завтра могу взять на автобазе. Но ждать нельзя. А-а-а! Можно кровью.

Он достал из кармана перочинный нож, грозный, с полным холостяцким набором, с ножницами, с шилом, с консервным ключом, и порезал себе палец. Испачкал пальцем розовую бумагу. Предложил и нам скрепить акт кровью. Мы с возмущением (или с высокомерием? Или с брезгливостью?) отказались, а Филимон и выразился при даме.

– И моей хватит, – не стал настаивать дядя Валя. – А она пусть приложится.

Не дожидаясь наших слов, Любовь Николаевна взяла у дяди Вали нож, ткнула – и сильно – острым концом его в палец, будто проколоть его в отчаянии желала, брызнула кровь ее на документ. Кровь Любови Николаевны была красная, словно бы человеческая. Михаил Никифорович поднялся, намереваясь, надо полагать, принести бинт и йод, но Любовь Николаевна остановила его, слизнула с руки кровь и обвязала палец льняным платком.

– Теперь это документ, – сказал дядя Валя.

Я с некоею неприязнью смотрел на то, как дядя Валя видавшей виды из шоферской жизни тряпкой, впрочем, выстиранной, фланелью, что ли, вытирал нож, собирал его, а потом и неторопливо, степенно, чуть ли не торжественно укладывал в карман, не клал, не совал, а именно укладывал, как музейную теперь вещь. А Любовь Николаевну было жалко.

Дядя Валя мог бы успокоиться и примеривать на себя лавровые венки, триумфальные арки заказывать придворным живописцам и архитекторам, назначать сюжеты фейерверков, но нет, в нем еще бурлили страсти. Акт был подписан, но чувствовалось, что Валентин Федорович Зотов жаждет и процесса. Времени до шести еще оставалось.

– Убрать ее из квартиры Михаила Никифоровича мы постановили, – сказал дядя Валя. – Но ведь она возьмет да и останется в Москве. – Потом он подумал и добавил: – А захочет – и начнет портить жизнь не нам, а другим.

И дядя Валя потребовал от Любови Николаевны исчезнуть вообще из реальной действительности, не являться на наши глаза ни под каким видом и тем более не возникать из бутылок – и винно-водочных, и молочных, и с подсолнечным маслом, и в особенности из азербайджанского портвейна «Чишма», который и без всяких ведьм отравляет жизнь. Если же возникнет – в клочья!

– А как же милость победителей? – спросила Любовь Николаевна.

– Какая еще милость? – удивился дядя Валя.

– А вы, Валентин Федорович, взгляните на документ.

Дядя Валя взглянул. Там действительно было написано: «Сдалась на милость победителей». Дядя Валя осмотрел составителей акта, стараясь обнаружить автора упомянутой оплошной фразы. Но фразу эту, как мы помнили, предложил он сам.

– Ну и что? – сказал дядя Валя. – Ты наивная, что ли? Или прикидываешься дурочкой? Это дипломатическая формулировка. А они ничего не значат.

– Нет, – сказала Любовь Николаевна, – значат. И милость есть милость. Тем более победителей. Вы же победители…

– Ты что глазками играешь! – рассвирепел дядя Валя. – Ты что, издеваешься, что ли, над нами?!

А и мне показалось, что Любовь Николаевна глазами играет и издевается. И я рассердился. Не задумала ли чего Любовь Николаевна нам в отместку?

– Ну и все! – заключил дядя Валя. – Опять ты нас доводишь! Никаких поблажек тебе не будет. Сгинь! И навсегда.

И тут Любовь Николаевна, чуть ли не спрыгнувшая, чуть ли не взлетевшая с дивана, рухнула на колени перед Михаилом Никифоровичем.

– Не погуби! Вызволи! Спасенья прошу!

Не театральные уроки были в словах Любови Николаевны, а чувства искренние, испуг и мольбу ощутили мы в них.

Михаил Никифорович растерялся. Потом вскочил, стал поднимать Любовь Николаевну.

– Да что вы, Любовь Николаевна! Зачем вы так!

Теперь и Игорь Борисович Каштанов, и Серов, и я бросились к Любови Николаевне, успокаивали беднягу, заверяли ее в том, что не звери мы лютые, не птицы-стервятники, не акулы из австралийских прибрежных волн.

Любовь Николаевну усадили на диван, спрашивали, не подать ли ей лекарств или воды, говорили, что, конечно, коли слово «милость» попало в документ, придется вспомнить о милости. И придется придумать нечто, облегчающее участь Любови Николаевны.

– Ага! Облегчайте! – мрачно сказал дядя Валя. – Опять на шею сядет.

– Без пяти шесть, – напомнил Филимон Грачев.

Серов засуетился.

– Ну вот! Ну вот! – говорил он. – Надо и честь знать. И свое время

надо ценить!

И мы с Игорем Борисовичем было засуетились, но тут же поняли, что это нехорошо, не дети мы, которым в шесть обещано мороженое, а уж суетиться сейчас перед Любовью Николаевной было и вовсе неприлично. Серов, взглянув на нас, снова присел. Притих. В ходе разговора он как будто бы и поддерживал пайщиков, но и давал понять Любови Николаевне, что он зла на нее не держит. Однако можно было предположить, что присутствие вблизи его жизни и служебных занятий женщины из бутылки или неизвестно откуда, его тяготило. И, понятно, никак не совмещалось это присутствие с его представлениями о возможностях мироздания. Поэтому он почти и не противостоял дяди Валиному напору, а лишь старался придать разговору изящное направление.

– Действительно, – сказал он, – Любовь Николаевна теперь не представляет для нас… для вас… опасности. Но пока не поправится Михаил Никифорович, существовать она должна, вот и…

– Где она будет существовать? – грозно спросил дядя Валя. – Здесь, что ли, останется? А Михаил Никифорович опять на раскладушке, что ли, будет?

– Пусть остается, – сказал Михаил Никифорович. – Пока…

– Ну ты, Миша, даешь! – расстроился дядя Валя.

– Но беда-то ведь небольшая, а? – сказал Михаил Никифорович.

– Седьмой час, – обратил наше внимание на ход времени Филимон Грачев.

Он встал. И я встал. Одна Любовь Николаевна осталась сидеть. И было видно, что она оживает. На Михаила Никифоровича она смотрела не только с благодарностью, но, похоже, и с обожанием. Красивая сидела Любовь Николаевна, можно было позавидовать Михаилу Никифоровичу… Впрочем, с чего бы это завидовать? И чему?

– Михаил Никифорович, ты пойдешь с нами? – деликатно спросил Каштанов.

– Пойду, – сказал Михаил Никифорович.

Мы двинулись к двери, не найдя ни единого слова для Любови Николаевны. А она, поднявшись, проводила нас хозяйкой квартиры. Будто и не хотела отпускать приятных ей людей, но, однако, и не намерена была уговаривать их остаться.

У двери дядя Валя остановился и сказал опять фанфарным голосом главнокомандующего:

– К мерам мы еще вернемся!

В ответ на слова дяди Вали Любовь Николаевна поклонилась, будто

девушка из тверского хоровода. И возникли запахи влажного леса, деревенского утра, парного молока… Дверь уже была открыта, свет падал на лицо Любови Николаевны, и зеленые глаза ее показались мне в тот миг лукавыми, а то и шалыми. Пожалуй, и кураж был в них.

По улице Королева мы шли молча, быстро, как спортивные ходоки, готовые побежать, не страшась судей, шли волнуясь, то ли боясь опоздать куда-то, то ли не веря в избавление.

Волнения наши оказались напрасными.

Возле дома номер пять по улице академика Королева наблюдалось праздничное брожение мужчин.

Пивной автомат был открыт.

21

Я стоял в Большом Головине переулке.

И сам не знал, почему я приехал именно сюда.

Сел на девятый троллейбус, отправился в Белый город, возможно, с намерением зайти в издательство. А взял и вышел у знакомого мне с детства кинотеатра «Уран». Остановка «Даев переулок»… Когда-то этот дом был праздничным и казался волшебным. А сняли с него слова «кино» и «Уран» (а от меня ушло детство), и он сначала ослеп, а потом умер, серым нелепым складом или торцовой стеной нелепого склада остался на живой, горячей улице. В щелях между портьерами виднелись в темноте склада бледные усопшие гипсы. Я свернул за угол и попал в Большой Головин переулок.

А там что?

Взглянуть на клен? Отчего же и не взглянуть…

Год назад, в мае, занесло меня в Большой Головин. Там, в зеленом кармане переулка, стояло вишнево-красное дерево. Высокое, с дом. Листья его только-только распустились, разошлись и были красными. Наверное, если бы один из них я положил на ладонь, он оказался бы и не совсем красным. Но дерево горело. Я спросил у старушки при коляске: «Что это?» Она сказала: «Канадский клен». Но, может, он был вовсе и не канадский. Может, маньчжурский. Я знал: в тридцатые годы в Москве и под Москвой увлекались американскими кленами – сколько их вместе с желтыми акациями стоит вдоль канала к Волге! И у нас в Напрудном прямо под моим окном рос американский клен. Но по весне он никогда не был красным. Прошлым летом я опять зашел в Большой Головин. Клен отгорел, исчез в зеленых соседях. И сам он теперь, в июльский полдень, стоял зеленый, спокойный и пушистый. Я пообещал себе вызнать, прочитать об особенностях этого дерева. Но не нашел ничего путного. Узнал только, что кленов на земле не менее ста пятидесяти видов. Июльским днем я, кирпично-каменный, горожанин, дитя булыжной мостовой Напрудного переулка, прошел бы мимо него, головы не повернув. Это весной клен удивил меня своей нездешностью.

На самой Сретенке деревьев нет. Сретенка, как известно, единственная старая улица в Москве, почти не имеющая ворот. На ней с конца восемнадцатого века, когда разлился и разгулялся Сухаревский рынок, было так тесно домам торговых людей, что ни воротам, ни

деревьям места не оставалось. А в переулках деревья росли. Переулки тут – семь на запад, вниз, к Цветному бульвару и к Трубе, девять на восток, к Костянскому, – тоже одни из немногих в Москве сохранившие свои изгибы и течения со времен Ивана Грозного. На них веками стояли чуть ли не деревенские избы с огородами. Но теперь и в сретенских переулках камень взял свое, и здесь не везде есть ворота и дворы, а коли есть, это чаще всего дворы проходные, земля в них придавлена асфальтом. Однако шампиньоны рассекают в Москве и асфальты. И камень не смог совсем извести напоминания о чащобах земли вятичей. Пусть даже клен, пламенеющий веснами в Головине, был не из тех чащоб…

Но что я пришел к нему? И что стоял возле него?

Не взглядом естествоиспытателя смотрел я на клен. Вовсе не был намерен исследовать, предположим, какие у головинского клена листья – цельные, супротивные либо перисто-сложные. Не делился он для меня на составные – корень, штамб, ствол, крона, ветви, листья. «Далекие фигуры – все без ртов, далекие деревья – без ветвей. Далекие вершины – без камней: они, как брови, тонки, неясны. Далекие теченья – без волны: они – в высотах, с тучами равны. Такое в этом откровенье!» – сказал в восьмом веке мудрец и художник. Но для меня сейчас и близкое дерево было без ветвей. Оно стало важным для меня в своей живой цельности. Важным стало и то, что я стоял перед живым существом. Понятно, что любое растение и есть живое существо. Однако оно живое само по себе, а не для тебя. Оно – среда, в которой живой – ты. В особенности когда деревьев, трав, цветов вокруг тебя множество. В лесу. Или даже у нас в Останкине. Тебе среди них хорошо. Или просто покойно. И ладно. Здесь же множества не было. Дерево – как и три его соседа – стояло в камнях. Со мной на равных. И жило. Будто некое поле тихого интереса или даже доверия возникло между нами. Будто и сигналы неясные принимал я сейчас. Или услышал музыку. То есть, возможно, сигналы и были музыкальные. И светлое звучало в них, и тревога, и будто просьба о чем-то, и будто смиренная подсказка… Я вспомнил о Любови Николаевне. «Вот, – подумал я, – весной клен был красный и осенью снова будет красный, и багровый, и желтый… Может, и он ищет наиболее верное воплощение своей сути и своей натуры, как искала свое воплощение Любовь Николаевна? Может, и она, как часть природы, родственна сретенскому клену и душой они близкие?.. Что за чушь! – поставил я себя сейчас же на место. – Какая она часть природы! И какая у нее и у этого дерева может быть душа?»

Я вернулся на Сретенку. Сердился: «Да отстанет хоть когда-нибудь от

нас эта Любовь Николаевна? Волю нам она дала, а в память нашу, выходит, вцепилась?..» И тут же пропала Любовь Николаевна из моих соображений.

Но вдруг живыми существами стали представляться мне дома на Сретенке. Клен ладно, он истинно часть природы, родня, соглашусь, мне и всему торопливому сретенскому люду. А строения с лифтами и без лифтов, с покривленными временем перекрытиями, с башмаками и соком манго в витринах – какая они мне родня? С чего ожить им? Однако что было, то было… Опять же, предположим, могло остановить меня эстетическое чувство и заставить смотреть на какой-либо дом, а фантазия принялась бы устанавливать отношения с ним. Но особенные красавцы здесь не стояли, только два сретенских здания государство приняло на охрану, да при этом одно из них – Троица в Листах, – обезглавленное и приведенное некогда в «гражданское состояние», пока лишь лесами у стен и расчищенными следами сбитых наличников обещало обрадовать возвращением к красоте, если к Олимпиаде постараются реставраторы (а они не постарались, и леса остались декоративными) [[5]]. А так улицу все более составляли дома в два-три этажа, на вид явно конца прошлого века. В ту пору Сретенку называли вечно копошащимся уголком Москвы. Улица – пролог Сухаревского рынка, трактиры и лавки, теснота у Троицы в Листах, торговля мясом аж из каменных мешков-подвалов, мышиных нор, куда пролезть можно было лишь с тротуара. Людям, полагавшим иметь дела на Сретенке, и путеводителями давались рекомендации помнить о кошельках и карманах. А вниз – слетали переулки к Грачевке, где обитали веселые девицы. Бедовая Сретенка! Вот от нее-то, от прошлого века и его людей и стояли вокруг меня дома (кроме разве что серой и нескладной школы), выстроенные как будто бы без затей и для деловых надобностей. Как они оказались бы мне родней и как могли ожить для меня?

Я был в сомнениях и спорил с собой. «Ну и что? – говорил себе. – Но ведь и они Москва. И они теперь наши, нынешние дома. И хорошо, что стоят!» Да, и они для меня были именно Москва. Сами по себе, в отдельности, пусть и не красавцы, что правда, то правда, но вместе они, разные, со своенравием характеров и обличий, все же оказывались на Сретенке красивы, а оттого, что среди них я не чувствовал себя мелочью и чужим и все для меня здесь было по-домашнему, я готов был признать и то, что они приветливы и человечны, возможно, и душевны. И отчего же не посчитать и улицу эту и дома на ней своей родней? И они, дома эти, могли оказаться для меня живыми существами. Отчего же нет? Сколькими людскими судьбами они пропитаны, сколько страданий и радостей

людских они вобрали в себя и держат в себе, сколько житейской энергии осталось в них – отчего же им не ожить для меня и не заговорить со мной? А память их? Не одну лишь свою историю должны были помнить они. Не одно лишь людское копошение на подходах к Сухаревскому рынку. Дома, палаты, избы и усадьбы, бывшие здесь прежде, передали им и свои истории и свою память. И все, что видели и знали деревья, травы, росшие вдоль дороги на Троицу, Переславль и Владимир, еще не ставшей улицей Сретенкой, помнили они. Могли помнить они! И о том, как у северных ворот Белого города встречали москвичи образ Владимирской Божьей Матери в простодушной и нерушимой надежде, что она поможет им выжить, устоять и уберечь свой город от воинства Хромого Тимура. И о том, как возвращались в Москву русские полки, одолевшие Казанское ханство. И о том, какие люди жили в Новой Сретенской слободе – кафтанники, сусальники, кузнецы, ветошники, дегтяри, сабельники, лубенники, шапочники, холщовники, подошвенники, луковники, кисельники, ножевники, калачники, москательщики, рудометы… А потом, что в особенности дорого мне, – печатники, чье место трудов было за китай-городской стеной. И еще – стрельцы полка стольника Сухарева. И пушкари – они-то как раз между Головиным и Просвириным переулками. Жили труженики, жили воины. Они и в сорок первом из дома номер одиннадцать, где теперь уже нет военкомата, уходили на фронт. Они уходили, но не ушли. Так отчего же теням всех этих людей, нет, и не теням, а их жизням не остаться на Сретенке, не наполнить ее собой?

Я шел мимо сретенских домов, останавливался и снова шел. Они теснили меня, но не сдавливали, в них не было агрессии. Их разговор между собой и со мной получался перекрестным. И голоса в нем стали звучать из разных слоев жизни и отлетевших лет. Они вовлекли и меня в свою память, позволяя и мне участвовать в их движениях во времени. Будто бы и я бежал теперь со слободским людом в сторону Сретенских ворот за царем Алексеем Михайловичем в надежде остановить его, ублажить принять челобитную, и верховые стрельцы плетьми охлаждали меня. Будто бы и я ждал потом возка царицы, следовавшей за мужем с богомолья из Троицы, и вместе с другими подавал ей все же челобитную. И был опять бит, а в стрельцов уже летели камни и палки, начиная Соляной бунт. И я стоял у Сретенских ворот Белого города и ждал Владимирскую Богоматерь. Я стоял в нейлоновой куртке и в вельветовых брюках, я знал, что Владимирская Богоматерь висит сейчас в Третьяковской галерее и числится произведением темперной живописи. Но я не мешал людям, окружившим великого князя, их не пугали, не

раздражали мое присутствие, моя одежда. Я был один из них. И, как они, жаждал и ждал чуда… И я в усердии и в азарте в горький день смуты подавал мужикам ведра с водой, но не сбивала вода пламя, погибелен был сретенский пожар… И я в печали и растерянности видел, как рушили Сухаревскую башню, сестру Ивана Великого, продутую когда-то холодными останкинскими ветрами Петрову школу навигацких и математических наук, без коей не было бы в Москве моего университета. А потом я слышал, как ревнитель во френче, бывший кожевник или сапожник, крикливый мужчина, открывал на осиротевшей площади у устья Сретенки мраморную Доску почета, позже сгинувшую и забытую (сгинул и ревнитель, но забывать о нем – грех)… И я с мосинской винтовкой за спиной уходил осенним днем сорок первого на Перемиловские высоты из дома номер одиннадцать (в доме том в пятьдесят четвертом году я получал приписное свидетельство)… Меня сегодня пронизали (или пронзили) московские века, и я, оставаясь на Сретенке, был и сейчас и всегда, соединяя собой столетия, физически ощущая себя в них и чувствуя прикованность к моему городу. Есть душа города. Есть гений города. Неужели нынче я хоть на шаг подвинулся к пониманию души и гения Москвы? Вдруг и подвинулся…

Однако… Я осадил себя. Красиво – «к пониманию души и гения Москвы…». Но достоин ли именно я этого понимания? Достоин ли причастности к душе и гению?.. Эко хватил! Стою-то я что? Это мне теперь легко (удобно или даже приятно), в солнечный и торговый день на Сретенке, когда листья удивившего меня клена не шелохнутся и не садятся контролеры в троллейбусы, при равнинном, как выразился мой сорокалетний коллега, течении жизни, размещать себя в самом благородном виде в московской истории. И я, выходит, бежал с челобитной, и я тушил пожары, и я глаза напрягал, чая явления Богородицы, и я с мосинской винтовкой шагал по мостовой… То-то молодец! Но не бежал, не тушил, не шагал. Там были другие. А я бы смог? Выдержал бы? Кем я был в сорок первом, мне известно: четырехлетним владельцем педальной машины. Кем бы я был в иных столетиях со своей натурой и сутью – в веках двенадцатом, семнадцатом, в прошлом, – я бы очень хотел знать. Но знать этого мне не дано. Просто бы распался я в московских суглинках и песках или бы, распавшись, все же оказался одним из тех, кто и родил, слепил, выковал, выдохнул, сберег гений и душу города? И этого знать мне не дано. А предки мои? Дальше дедов судеб я их не знаю. Но ведь не соображение о собственных предках вызвало сегодня мысли о причастности к судьбе города, а вот прежде всего дома эти

сретенские в два-три этажа, желтые, белые, розовые, серые, и их голоса… «Но погоди! – сказал я себе. – Зачем отвлекаться! Есть ли именно сейчас нужда в рассмотрении самого себя: соответствую ли? Сопричастен ли?».

Нет, нынче следовало не ввинчиваться внутрь себя с претензиями, сравнениями и недовольствами, а видеть и слушать то, что открывалось мне вне меня, в городе моем… А открывалось вот что.

Убери Сретенку – не будет Москвы. Убери соседнюю Мясницкую-Кировскую – и не будет Москвы. Убери Ордынку – и не будет Москвы. Поставь вместо них дома с нового Арбата – будет столица, а то и провинциальное место для свежего государства, хоть переноси их на берега Нигера или Иравади. Естественно, и дома нового века Москве нужны, но не как доминанта, а как слой, как одно из колец, пусть и широкое, ствола пожившего, но и вечного дерева. Оно и так хорошо и могуче. И будут другие века…

Были годы, старшие классы, когда я стеснялся матери. Я любил ее, но старался не быть вместе с ней на людях, особенно вблизи одноклассников. Коли же приходилось отправляться куда-либо с ней, я нарочно шел быстро, так, чтобы хоть метров шесть было между мной и матерью, вроде бы я не имел к ней отношения, ноги у матери болели, она спешила за мной, но не обижалась. Видеть себя со стороны я в ту пору не умел. На мать я смотрел со стороны. Причем не со своей стороны, а со стороны возможных наблюдателей – сверстников и сверстниц с Мещанских улиц и людей просто посторонних. Они-то – я был уверен – видели мать убогой, пожилой женщиной (сорок семь лет), ссутулившейся от забот, старомодно и дешево одетой, домработницей, что ли, из деревенских. Вернуть бы те годы…

Я любил Москву, но и как бы стыдился за нее. В спорах с ленинградцами тушевался, мямлил что-то и соглашался: да, конечно, большая деревня и прочее. Лукавил отчасти, но соглашался. Да и не нравилось в Москве многое мне тогдашнему. Хорошо хоть, таблицы и чертежи решительных планов переустройства успокоительно обнадеживали, на них под маршевые мелодии выстраивались дома-богатыри – все как на подбор, из мрамора и гранита – на грядущих московских проспектах… Юношеские заблуждения, однако, развеялись, и я, получив представление о мировом опыте зодчих, как бы установил для себя, что в архитектуре хорошо, а что пошло. Понятно, что мои установления для других ничего не значили и могли быть зряшными и ошибочными, но для меня они стали важны, и я их придерживался. И Москва мне все более и более нравилась, в частности и как произведение искусства. Но я знал, что принимаю в Москве многое из-за привычки к ней.

И из-за любви к ней. А коли бы я не любил ее и не жил бы в ней, а прилетел бы в Москву с суетной и деловой душой из чужих земель на неделю, что бы я сказал о ней? «Не Париж!» Не Париж. Не Вена. Не Дрезден… Во скольких только городах я ни побывал, а надо мне было попасть именно в Париж, чтобы навсегда перестать стесняться Москвы. Господи, какой красавец город Москва, явилось мне. И дело было не в том, что я после упоительного карнавала зимних игр в Гренобле, после бессонно-счастливой репортерской круговерти двух недель устал и затосковал по дому. И, конечно, дело было не в собственной гордыне и высокомерии, отчего кепчонке полагалось остаться на голове. И не в том было дело, что в Париже со слякотью у кладбища Батиньоль, где лежал Шаляпин, Москва увиделась мне снежной и голубонебой и пришли на ум «гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные…». И мокрый февральский Париж был прекрасен! (Простите меня за столь отважное открытие. Однако ведь именно я-то ощутил тогда Париж впервые.) Но и Москва, понял я, – город сказочный. Явилась и еще мысль: а Москва-то не хуже Парижа… Мысль человека, открывшего рот от удивления. Мысль пустая. При чем тут хуже, лучше! Париж и Москва открывают разные ряды. Париж не похож ни на какой другой город. Москва не похожа ни на какой другой. Но есть множество городов, похожих на Париж и похожих на Москву. Париж и Москва первичные и сами по себе. Однако, принимая особость Москвы и ее первородность, я прежде на правах своего человека досадовал на нее. Казалась она мне и безалаберной. И слишком простодушной. И конечно – не могло и быть иначе! – провинциальной. Порой казалась Москва и вульгарной, даже сварливой, с перепалками, а то со скандалами домов, оказавшихся соседями, домов столь разных норовов и физиономий, столь разных умонастроений хозяев и строителей, домов, никак не похожих по возрасту и по росту, из камней, из глины и из дерева. Отчего же им не спорить, не вызывать недоразумения и скандалы, если стояли в моем городе рядом князья Хованские и адмиралы Брюсы, Симоны Тюфелевские и Фролы Федуловичи, Ростовы и Ионычи, Паты с Паташонами, Бимы с Бомами, Держиморды с Незнакомками в цветах югендстиля, Раскольниковы со старушками-процентщицами? Могли ли они понять друг друга, могли быть друг с другом в состоянии мира и гармонии?.. Возможно, что Москва была и просто архитектурно несостоятельной. Была ведь и большая деревня, виделись и угадывались повсюду вдоль булыжных мостовых порядки деревянных домов, бараков, изб, полудач, сараев, помоек, отхожих мест на две персоны, черт знает чего. И имелись ли в этой деревне истинные ансамбли, способные

пристыдить иной пристойный город или даже сравниться, хоть кое-как, с Дворцовой площадью, с улицей зодчего Росси, с Елисейскими полями, с набережной Брюля, с римскими красотами вблизи создания Буонарроти? Нет, при холодном исследовании ничего правильного, геометрически упорядоченного просветителю, предположим, обнаружить бы не удалось. Дворец Баженова с поломкой кремлевских стен в Москве состояться не мог (разве только смастерили его модель). Театральная площадь Бове, свобода и правильность линий коей были обеспечены Наполеоновым пожаром, и та вышла с косым боком. А потому и казалась Москва развалившейся поленницей, чьи хозяева и не намеревались ее собирать по причине того, что всего у нас много, и земель, и недр, и бревен, и песков, и глин, и камней, и прочего, что жадничать и беспокоиться? Потому в ее кольцах и лучах все так и образовалось как бы случайно, и случайность эту невозможно было изменить никакими исхищрениями. А исхищрения бывали. И не исхищрения, а будто бы движения чугунного утюга с углями по мятым брюкам с намерением владельца утюга быть в этих брюках среди избранных на балу, или на приеме, или на параде. Грели углями такие утюги и в нашем веке, в годы тридцатые и позже. Не мне одному представлялась Москва провинциальной, случались скорые жители Москвы, и притом влиятельные, тот же кожевник или сапожник, ласкавший словами Доску почета, ныне утраченную, какие горели желанием сейчас же превратить большую деревню в град державный с гранитами и мраморами. И везли граниты и мраморы, складывали в надутые, сановные дома. Но ведь и утюг требует умения и понимания. Складки-то на тех брюках получались, причем и немнущиеся, но оставлены были и дыры, и их не залатать, не заштопать…

Значит, вот какая во временных критических моих копаниях получалась Москва. И безалаберная. И простодушная. И провинциальная. И сварливая. И вульгарная. И скверно одетая. И развалившаяся поленница. И звучавшая будто бранные слова, не то что город с мелодиями гондольеров в Адриатике. И прочая… И дальше можно было бы перечислять московские несовершенства и неприличия. Скажем, скучная, в особенности в часы вечерние и ночные. Скажем, плохая хозяйка, заставляющая гостей мыкаться в поисках ночлега и стола со свежей скатертью. Скажем, и вправду не верящая слезам и равнодушная к печалям мелких новых людей своих, расселившая их в отчуждении, в одинаковости дальних кварталов, какие словно бы и не ее уголки. Скажем, порой жестокая, недоверчивая и коварная. В молодые или даже юные дни свои вынужденная терпеть нагайку кочевника и, чтобы выжить, выбиться из

рабынь и стать собирательницей земель, научившаяся интриговать, а в случае с Тверью и хитрить, да так и не истребившая в себе уроков (или семян) басурманства и азиатчины (впрочем, окаянные святополки возникали у нас и прежде нагаек и кривых сабель)… И не настоящая она Европа, и не настоящая Азия, оттого и тянуло ее к эклектике и смесям… И, скажем еще, в силу своих государственных забот привыкшая к чиновничьим правилам и придиркам… То есть тут я уже в запале собственных обличительных усердий уходил от начальных размышлений лишь об облике Москвы и об ее архитектуре, устремлялся неизвестно куда и неизвестно зачем, забывая сгоряча обо всем добром и беря в соображение моменты истории и жизни избирательные.

Но я любил Москву и ни в каком ином городе не хотел бы жить. А вот ворчал на нее и дулся. И даже как будто бы страдал оттого, что судьбой поселен в городе с изъянами и грехами. Впрочем, это преувеличение. Не страдал я и не мучился. Просто жил себе и жил. А мысли об изъянах и грехах были от недолгих досад, быстротечные, как возникали они, так и исчезали в нашем серо-голубом небе или в вечерних подмосковных туманах, обещающих теплый день. Да и относились они, скорее, к умозрению, а увлекаться им в годы молодости не было ни времени, ни нужды.

И вот в Париже (а могло, конечно, это произойти и не в Париже, а в Калькутте или в Ресифе-Пернамбуку, но там я не был) я вдруг почувствовал Москву по-иному, нежели я чувствовал ее во дворах Сретенки и Мещанских улиц. И не со второго этажа дома номер шесть по Напрудному переулку я взглянул на нее. И даже не со столпа Ивана Великого и не с крыши дома Нирензее. А словно бы с некоего удачного места над землей, откуда, предположим, в свои дни Альтдорфер задумал наблюдать битву при Иссе Александра Македонского с царем Дарием и углядел опрокинутые вокруг места сражения моря, материки и небеса. Хотя нет, и не оттуда… Я не собираюсь приписывать себе будто бы открывшиеся во мне способности к вселенскому зрению. Зрение это, понятно, было внутреннее. Оно было чувством. Вот тогда и привиделась мне Москва городом, украшающим землю. И увиделась в ней сказка (хотя бы для меня), сказка веселая, озорная, балаганная и горькая. Вспомнились мне лентуловские звоны, кустодиевские карусели, суриковский снег… Но то было запечатлено не моими глазами. Да и не одни глаза тут были нужны… Опять же повторяю, что никакого замечательного открытия я не сделал, просто себя, остолопа, утвердил в некоем мнении. Перестал стесняться Москвы. Понял, как она прекрасна, несмотря на все порчи и

напраслины. Многое из того, в чем я позволял себе укорять мой город, стало вдруг казаться мне его достоинством. Или составными этих достоинств. Или приправами к главному, без коих главное бы и не приобрело особенные вкусы, аромат и цвет.

Ну безалаберная… А может быть, и не безалаберная? И не суматошная. Может быть, ее вечная стихия, ее неподчинение спокойствию и правильности линий, поддержанное или вызванное изгибами реки и спинами холмов, ее неспособность и нелюбовь к симметрии (отчего даже Театральная площадь вышла с косым боком) и есть достоинства? И они необходимы неистребимому ходу жизни города, безостановочному движению его в истории Земли и вселенной, и не от них ли, в частности, город наш живой и естественный, как русский человек свободной души? И величие в нем, и простота, и размах, обеспеченный ширями и далями отечества, и удаль, и чувство достоинства, и умение терпеть, и уважение к иным городам, землям и их людям и их красоте, уважение и интерес к ним и способность, оставаясь самим собой, в себе не замкнуться, а принять и чужую красоту, была бы она талантливой, собственной и соединимой с красотой Москвы…

Есть историки и искусствоведы, для которых слово «стихия», употребленное в связи с Москвой, кажется оскорбительным. При этом они обижаются на кого-то и за отечественную историю вообще. В предках наших, ставивших Москву, они видят лишь оснащенных точным знанием зодчих и градостроителей, чьи разметки, чертежи и планы не допускали никаких стихий и вольных мелодий. Может, и не допускали. И все же… В большинстве своем зодчие и строители Москвы были талантливы, как талантлив сам город, а потому их усердия (какие можно измерить локтями, саженями, верстами) не стали очевидными, а растворились, утонули в натуре города. Город же вырос растением, деревом, живым существом, дочерью или сыном своего народа, воспринявшим от родителя кровь, норов и душу. Городом на холмах над Москвою-рекой и на крутых берегах Неглинной проросла русская земля. Встал город, чтобы служить кровом, очагом и крепостью бывшим лесным и деревенским людям, и оказался их частью, их продолжением, приняв их свойства, ответив их представлениям об устройстве мира, о справедливом общем существовании, о заботах продления рода, о простом быте и уюте. Он был построен не для державного престижа, не для демонстрации могущества неведомой до поры до времени страны, не после удара кулаком по столу и не для переселения управителей и чиновных дьяков в тихое, независимое место, как случилось позже с Канберрой или Бразилиа, а по житейской

необходимости. Необходимость и естественность его жизни и выразились стихией искусства, она почти исключила напряжение и натугу (не в самих делах московских строителей, а в результатах их дел). Без напряжения и натуги изящен Париж. Без натуги и напряжения сказочна и стихийна Москва. Для меня стихия – не нечто дурное и оскорбительное. Это не хаос. Это одно из важных проявлений живых и творческих свойств природы. А цунами, скажете, а потоки лавы, а шевеление недр под Мессиной и Лисабоном? Но я-то имею в виду стихию человеческой жизни. А она разумна в своем идеале. Или в стремлении к идеалу. И вряд ли, несмотря ни на что, несмотря на заблуждения, кровь, злой глаз, ошибки, наглость купеческой сумы, можно отказать в стремлении к идеалу жителям нашего города. Были меж ними и Пушкин, и Гоголь, и Достоевский, и Толстой… Стихия всегда органична. Естественность создания Москвы, особенности ее строителей с трезвым и поэтическим взглядом на жизнь выводили на дороги к гармонии. Пусть это не гармония рублевского душевно-музыкального и равнобратского соединения всех состояний мира (но ведь и Рублев возник в Москве, и его энергия осталась в ней). Пусть внутри той гармонии немало углов и резкостей, противоборств, скрещения страстей, гордынь, ума и глупостей, пусть эта гармония пересекается молниями, но это гармония. Это не гармония пасторали с искренностями пастушки. Это гармония Мусоргского и Стравинского. В ней – сосуществование высокого и низкого, но коли брать результат (промежуточный, и, надеюсь, никогда не будет результата конечного), то высокое в гармонии Москвы более очевидно…

Впрочем, я опять увлекся. Как некогда в укорах Москве, так теперь в похвалах ей. Но, возможно, тут сказалась натура москвича, человека, склонного к крайностям в своих сомнениях или, напротив, оправданиях жизни и всего сущего рядом с ним. Однако Москва не нуждалась в оправданиях… Да и принялся я лишь вспоминать о том, какой увиделась мне Москва в другом прекрасном городе…

И сейчас же я представил, что мои ностальгические состояния тех дней могли бы вызвать раздражение многих москвичей и людей приезжих, скажем, тех, которым здесь же, на Сретенке, в душном магазине на углу улицы Хмелева не досталась в очереди прикарпатская колбаса. И я их понимаю. «Тьфу! – сказали бы они, если бы узнали о моих одобрениях Москвы. – Это дерьмо хвалить!» Что бы ответил им я? Да ничего, наверное. Смутился бы, а потом стал бы спорить с ними. Но спорить – про себя…

Москва златокипящая! Да не покажется слово «златокипящая»

выспренним и сладким. Оно не так давно взошло к нам из прошлого в соединении с именем города студеного, исчезнувшего из жизни России. Златокипящая Мангазея. А для меня это определение тут же подошло к Москве. В деревянной Мангазее «кипел» именно металл, везли его к краю Ледовитого океана ради дел торговых людей, ради таежных и тундровых мехов. В Москве же – кипение жизни, кипение духа. В пестроте ее существования, в звонах ее красок в столетиях главными были три цвета – красный, белый и золотой. Золото было вверху, над головой, словно бы от богатств Ярилы. Золотые сферы и иглы на красных и белых вертикалях рифмовались с солнцем истинным и как бы намечали, а то и прокладывали дорогу к нему. И дальше – в глубины мироздания, к звездам манящим и тревожным, в пространства непостижимые. Москва всегда росла, рвалась ввысь, к небу. Запечатленная в давнюю пору в рисунках наблюдателями и мастерами, она – словно бор корабельный. Или стол со свечами. Можно посчитать, что эти свидетельства – с преувеличениями. А впрочем, почему с преувеличениями? За десятки километров виделись путникам ринувшиеся к облакам ходячим высоченные столпы и башни Москвы. Да и внутри города вертикали, обязательно по здешней привычке замыкавшие перспективы улиц с избами и палатами коренастыми, казались исполинами. Это последние века, наш в особенности, изменили представление человека о высоте. В двадцатом столетии Москва осела. В частности, и потому, что подросла. Но главное, потому, что изменилось людское ощущение пространства. И золото московских сфер будто бы опустилось к земле, да и повсюду ли заметно оно? Но все равно осталась Москва златокипящей. Златокипящей она и будет. Должна быть. Не только во вновь приобретенных своих просторах с транспортерами магистралей, протянутых к бетонному обручу, но и в местах истинно московских, обжитых, обустроенных веками. Вот и здесь – на Сретенке. Чтобы не стали эти места всего лишь офисом, конторой, дневным деловым сити, истекающим к вечеру жизнью, печальным и пустым после восемнадцати ноль-ноль, когда покинет его, спустившись с сумками и портфелями в подземелье метро или же захлопнув дверцу «Жигулей», служивый человек. Ничто не должно остудить московскую жизнь. И в центре своем Москве надо остаться живой, Москвой златокипящей…

Такие соображения явились мне.

Впрочем, сейчас на Сретенке для всяких опасений как будто бы и поводов не было. Все здесь бурлило. Может, один я и бродил по Сретенке с праздными мыслями. Подумав так, я чуть было не пристыдил себя и не заставил немедленно отправиться куда-либо к делу. Однако разрешил себе:

«Броди по городу, если возникла нужда, может, это и есть для тебя дело…» И не отпускали меня сретенские дома, будто давали понять, что я не волен прекратить сегодняшнее общение с ними… Я переходил из переулка в переулок. Чаще – дворами или пустырями. Более я любил нижние, или западные, переулки, спуски к Трубной улице. По ним после гроз неслась горная вода к Трубе, в люки Неглинки – по Сухаревскому, по Большому Головину (опять я забрел туда), Последнему, Колокольникову, Печатникову.

Так я ходил, смотрел, слушал, отвечал. И будто бы произносил внутренние монологи, то ли споря с кем-то, то ли упрашивая кого-то разделить мое восприятие Москвы. Но кто был моим слушателем? Может быть, Любовь Николаевна? Я остановился. Вот тебе раз! Опять я думал о Любови Николаевне! Или я вообще так и не переставал иметь ее в виду, хотя и приказал себе забыть о ней, поверив в то, что я свободен от ее участия? Не свободен, значит? Или я так привык в последние недели к ее стараниям, что и оглядка на Любовь Николаевну во мне воспиталась неистребимая? Нет, похоже, нынче дело было не в оглядке…

Иных каких-то свойств связь ощущалась сейчас с Любовью Николаевной. Вполне возможно, что мы и на самом деле получили свободу от нее. Но получила ли она свободу от нас? А вдруг Любовь Николаевна навсегда или хотя бы еще на какой-то срок вынуждена была оставаться приставленной к нам? И некое отражение ее личности (личности ли? Фантома ли ее? Или еще чего-либо неизвестного и неодолимого?) вошло в нас или даже только в меня?

Ответить себе на это я не мог. Что мне теперь Любовь Николаевна? Ее не было и не могло быть. Однако в Большом Головине в досужих мыслях о душе дерева я вспомнил именно о Любови Николаевне и вот теперь своими велеречивыми соображениями о Москве уперся в Любовь Николаевну. Легче всего было произнести: «Чур! Рассыпься!» Но ведь я был уверен, что сегодняшнее мое общение с городом вызвано возвратом к самому себе постоянному, вырвавшемуся из-под кашинского ига. Что же снова думать о Любови Николаевне?..

Впрочем, настроение мое не омрачилось.

«А, ладно! – сказал я себе. – Пойду-ка я дальше, в Армянский переулок, в Сверчков…»

И опять меня вобрала Москва…

22

Прошло много дней, прежде чем Останкино узнало, что Каштанов продал пай Шубникову. Останкинцы поставили под сомнение правомочность самой продажи. После подписания акта о капитуляции Любови Николаевны пайщики, судили в Останкине, как будто бы договорились отказаться от ее забот совсем и навечно. Стало быть, Каштанов продал Шубникову простоквашу.

Сам Игорь Борисович никаких заявлений не делал. На вопросы, нередко и непарламентские, не отвечал. Но ходил кислый, будто скушал типографский шрифт журнала «Катера и яхты». Или поднял руку на младенца. А теперь опасался, что за него не станет молиться юродивый.

Горлопаны Шубников и Бурлакин поначалу прыгали и веселились, будто триумфаторы, пугали людей ротаном, сравнявшимся, по их словам, статями с псом сенбернаром, но потом пропали, не объявив останкинским жителям никакой программы. Да и имелась ли у них программа? По представлениям останкинских жителей, Шубников и Бурлакин были просто дурные. Сведущие люди, помнившие о кинематографическом образовании Шубникова, пусть и не получившем завершения и не увенчанном дипломом, знавшие и о затеях Шубникова с животными, называли его главным режиссером Птичьего рынка. Я, рассказывал уже, ездил однажды на Птичку с намерением поглядеть именно на Шубникова. Режиссером я его не ощутил. Но, возможно, я был невнимателен. Я увидел его артистом и вралем. Бурлакин удачно ассистировал Шубникову. Прибыль их торгового дома составила в тот день семьдесят пять рублей. Бурлакин служил в будние дни в некоей космической фирме и, если опять же верить сведущим людям, в присутственные дни хорошо ловил там мышей, проявляя себя способным математиком. Или физиком.

Что могла изменить в останкинской жизни перекупка Шубниковым пая?.. Впрочем, может, интригу с паем начала сама Любовь Николаевна? Известно, она сдалась на милость победителей. Сдалась-то сдалась… А вдруг только прикинулась разбитой в сражениях и теперь помышляла о реванше? Может, и Шубникова именно она склонила к перекупке, рассчитывая с помощью двух дурных голов все же осуществить свою миссию? Но я не верил в одаренность Шубникова и Бурлакина и полагал, что набор их шуток и желаний вряд ли окажется богатым. Да и наскучили бы им долгие игры с Любовью Николаевной. Но вот сама она?.. Вдруг

Любовь Николаевна опущена в Москву навечно и неким веретеном обязана тянуть свои нити?

Неделю я был в трудах. А потом встретил дядю Валю на троллейбусной остановке возле кинотеатра «Космос».

Поздоровались.

– Автомат-то работает? – осторожно спросил я.

– Работает, – успокоил меня дядя Валя.

– Дней семь не заходил, все дела, – сказал я, как бы давая дяде Вале повод вспомнить для меня останкинские новости.

– Ну и зря, – кивнул дядя Валя, – пиво все дни хорошее. Такое пиво мы с Сережкой Эйзенштейном последний раз пили в Одессе, пока ассистенты коляску с ребенком по лестнице гоняли… «Тип-топ» называлось пиво. Еще от нэпманов…

– А что, Любовь Николаевна все еще у Михаила Никифоровича живет? – осторожно направлял я разговор.

– Надо полагать.

– И по городу гуляет?..

– Молодая, – сказал дядя Валя.

– А эти… Шубников с Бурлакиным?

– Их не встречал дней пять. Или шесть.

– А разве Каштанов имел право продавать пай?

– Не имел.

– А вдруг это Любовь Николаевна подбила Шубникова перекупить пай?

– Ну хоть бы и она, – сказал дядя Валя.

Дядя Валя, Валентин Федорович Зотов, никаких возмущений жизнью, явлениями атмосферы, поведением московских жителей или каких-либо залетных сомнительных существ не выказывал, в душе его, похоже, были тишь и безветрие.

– Валентин Федорович, – сказал я церемонно, – а акт о капитуляции Любови Николаевны вы не выбросили?

– Лежит в серванте, – сообщил дядя Валя. – Вместе с жэковской книжкой и облигациями.

– Копию с него снять нельзя ли?

– Зачем тебе?

– Ну хотя бы для того, чтобы понять нечто.

– Ответы на все, – сказал дядя Валя, – ищи в себе самом.

Мы миновали гастроном, перешли улицу Цандера и вошли в автомат. Пиво и впрямь оказалось удивительное.

– А я что говорил! – сказал дядя Валя. – Коли бы она сгинула совсем, завозили бы к нам на Королева такое хорошее пиво?

И он тихо отпил из кружки, кроткий и умиротворенный. Никаких бед, даже и небольших, для него и вовсе не существовало. Вдруг он поинтересовался:

– Слушай, говорят, эта… нечисть всякая, упыри там, вурдалаки… или болотные девы… и вообще всякая дребедень. Говорят, что они изнутри – полые. На самом деле так?

– Что значит – полые? – удивился я.

– Как труба, – сказал дядя Валя. – Сверху сталь или бетон, а внутри пустота. Или газ. Или вот как яйцо, только без начинки. Скорлупа, и все.

– Это вы к чему? Или про кого?

– Ну так… – сказал дядя Валя. – Вообще.

– Вы бы взяли сами и проверили.

– А вдруг она и не нечисть?

– Очень может быть… Это в разных региональных мифах и поверьях говорится, что интересующие вас личности – полые. Босх и Брейгель, например, использовали эти поверья.

– Вот видишь! – обрадовался дядя Валя. – Босх и Брейгель!

– Что же тут радоваться?

– Как что! Яшка Брейгель мне точно говорил, что они полые!

– Я имею в виду Питера Брейгеля Старшего.

– Ну и он… И старший… Питер… Петр Семеныч. И он на «Межрабпомфильме»…

– Хорошо, и Петр Семенович. А что радоваться-то?

– Радоваться тут нечему, – сказал дядя Валя. – Но если она полая…

– Вот вы и проверьте.

– Это Михаилу Никифоровичу было бы удобнее, – вздохнул дядя Валя. – Но с другой стороны… Если бы она была полая, стал бы Михаил Никифорович так долго терпеть ее в своей квартире?..

– Она ведь обязана его лечить.

– Пусть лечит… Но я на его месте отселил бы ее куда-нибудь в телефонную будку. Или в мусорный ящик.

И мне показалось, что относительно безветрии и застывших лав в душе Валентина Федоровича я ошибался. Некое усмирение, собственной ли волей вызванное или подсказанное чем-то, видно, произошло, но потухшим вулканом дядя Валя мог привидеться лишь легкомысленному исследователю. Может быть, дядя Валя делал вид, из каких-либо своих соображений, что он потухший и умиротворенный? Но ведь снова –

«может быть». И о Любови Николаевне я подумал, что она, «может быть», прикинулась покоренной. Она прикинулась, дядя Валя прикинулся. Но зачем?

– Покупка Шубникова вас не расстроила? – снова спросил я дядю Валю.

– Мне на нее наплевать.

– Врете вы, Валентин Федорович.

– Что ты мне грубишь?

– А что вы стоите замаскированный, как Большой театр в сорок втором году?

– Ты видел Большой театр в сорок втором году?

– Не видел. Я был в эвакуации.

– Вот и молчи. И я не видел. Я тогда работал там. – И дядя Валя резко показал рукой на запад, за Останкинскую башню, в сторону Берлина.

– Шофером?

– Нет, – сказал дядя Валя. – У меня был личный автомобиль.

– Вас понял. Тогда Останкину нечего опасаться. Что нам какие-то Шубниковы с Бурлакиными. Или Любови Николаевны.

– Я справедливости хочу!.. – заявил вдруг дядя Валя.

И сразу же он будто бы расстроился из-за своих слов. Заерзал, засуетился, принялся оглядываться, искал в карманах двугривенные монеты и не находил… Я вспомнил:

– Между прочим, Михаил Никифорович почти каждый день давал этой… Любови Николаевне… по рублю.

– Ну и что?

– Вы драмы Островского знаете?

– Ты еще не родился, а мы с Яшкой Протазановым думали, как переделать для Алисовой «Бесприданницу».

– Помните, как всякие негодяи у Островского скупают векселя должников?

– Ты что? – Дядя Валя задумался. – Ты считаешь, что Шубников выкупил у Любови Николаевны ее долги Михаилу Никифоровичу? Вот это поворот! – И он сокрушенно покачал головой…

– А могла быть Любовь Николаевна кленом? Или ольхой? – после паузы спросил я.

– Это ты к чему?

– Так, вспомнилось одно…

– По-твоему, она не полая, а ольха?

– Я вас спросил.

– Ладно, – сказал дядя Валя. – Пора нам с тобой разойтись.

– Такое впечатление, Валентин Федорович, что вы намерены вести партизанскую войну…

– Ничего я не намерен.

– И, видно, в одиночку. Это вы-то, сторонник общественных действий! Или вы для себя какие-то выгоды ищете? Корысть какую? И что-то задумали таинственное…

– Ты надо мной не издевайся! – возмущенно сказал дядя Валя. – Молод еще!

– Я не молод. И не издеваюсь.

А что я, собственно, пристал к дяде Вале? Что я хотел выпытать у него? И ради чего? Или ради кого? Ради себя?.. Но меня-то, похоже, отпустила Любовь Николаевна, я вспоминал о ней, но не ощущал ее ига. Из опасений, как бы не набедокурили Шубников с Бурлакиным? Возможно… Прежде дядя Валя всегда осаживал Шубникова и других вовлекал в прения с ним, сегодня же он о Шубникове с Бурлакиным ничего мне не разъяснил. А что-то знал. И можно было предположить, что Валентин Федорович принял решение, неизвестно какое и неизвестно чем вызванное, сам же затаился. Впрочем, все это было его дело, а нам и впрямь следовало разойтись… Но я напомнил дяде Вале чуть ли не с ехидством:

– Уриэрте-то все в Гондурасе.

– Это меня не касается, – холодно сказал дядя Валя. – Это их внутренние дела.

– А Шубников?

– Что Шубников? Оставь его. Он просто балбес. («Прыгающие глаза балбеса…» – вспомнилось мне.) И он – приблудный. Он жил как-то и у нас во дворе.

– Что значит – приблудный? – спросил я.

– Для Москвы приблудный. Не лимита, а так… Однако, если Шубников выкупил долги, тут ведь и кроме паев возникает анекдот… А? Но должен заметить, что и твой Михаил Никифорович хорош!

– А что?

– А ничего! – вдруг тонко, чуть ли не истерично вскрикнул дядя Валя. – А ничего! – Потом он опять успокоился. Присмирел. Сказал: – Я ничего не говорил. Ни до кого из вас у меня нет дела. И я опаздываю в парк, на Лебединую площадку.

Лебединая площадка, или Лебединое игрище, или Лебединая стая, или даже Лебединое озеро, а по мнению посторонних прохожих, благополучных и семейных, склонных к тому же к банальностям, просто

Плешка, была в Останкине местом знаменитым и согретым жизнью. Здесь, в Шереметевской дубраве, на аллее, тропинки к которой вели от детского пруда с лодками и каруселями, от беспечной возни и визга, мимо шашлычной, бильярдной и читальни, в сухую погоду, в милые летние дни, да и по весне и осенью, сходилось изысканное общество – все более люди бывалые и пожившие, часто и пенсионеры, бобыли и бобылихи, натуры неуемные, неспокойные и с затеями, в надежде устроить или изменить жизнь или хотя бы в компании и в беседе усладить душу мадерой, вермутом розовым и танцем. И уж точно – одолеть одиночество. Там музыка играла, магнитофон или баян, там водили хороводы или коварно сокрушали сердца расположенных к тому дам в роковых фигурах танго, там грезили в вальсах и играли в ручеек, там под гитары и мандолины басы тигриных тембров исполняли песни легендарного магаданца Вадима Козина и крымского кенара Евгения Свешникова, там чаще всего утомленное сердце нежно прощалось с морем, впрочем, без досад и после взаимных удовольствий. Однако порой возникали там и лебединые мелодии судеб. Вот туда и отправился Валентин Федорович Зотов.

Раньше к Лебединому игрищу он относился чуть ли не с презрением. Во всяком случае высокомерно. Он и Игоря Борисовича Каштанова, не вышедшего возрастом, но залетавшего к лебедям в порывах к приключениям, стыдил при людях. Теперь же и сам поспешил в парк.

23

А Михаил Никифорович опять устроился на работу в аптеку.

Но приходилось ему посещать и учреждения, какие имели дела с бумагами о болезнях, несчастных случаях на производстве и схожих происшествиях. На химическом заводе проведали о том, что Михаил Никифорович вернулся в аптекари, и посчитали, что он не оголодает и без инвалидных денег. А потому с завода потекли поворотные бумаги во ВТЭК. Мол, желаем вывести из заблуждения. Мол, виноват Михаил Никифорович сам. И пусть выкусит.

Плуты Пигулин, начальник смены, и Безюкин, аппаратчик, вызвались быть свидетелями и, желая угодить, напрягали память. Теперь они уверяли, что в день отравления Михаил Никифорович бродил по цеху без противогаза. Он, без противогаза, «как сейчас» стоял перед их глазами. Прежде, в поспешных, сразу же после увоза Михаила Никифоровича к Склифосовскому, бумагах, именно Пигулин и Безюкин назывались разгильдяями (впрочем, не так гневно), именно они проводили промывку аппарата, и от них утек четыреххлористый углерод. Начальник смены Пигулин и не имел права допустить Михаила Никифоровича к трудам, не убедившись в присутствии на его голове противогаза. И противогаз тогда голову Михаила Никифоровича украшал, но не тот, какой мог бы противостоять большим дозам хлора в воздухе, а какой имелся в хозяйстве Пигулина. Против чего-то он, возможно, и был хорош, но не против хлора. Однако кто же полагал, что промывка аппарата выйдет нескладная? Теперь в бумагах, где Михаила Никифоровича лишили противогаза, утверждалось, что никакой промывки в тот день и не было. А Михаил Никифорович сам вроде бы белены объелся…

Михаилу Никифоровичу и в Останкине говорили, что он объелся белены, коли дал делу об аварии затухнуть. Он пожалел и своего приятеля Никитина, соблазнившего его химией, и начальство цеха, и непутевых тружеников Пигулина и Безюкина. По доброте души написал какое-то смутное объяснение. Испуганное (тогда) начальство сулило ему златые горы. И бесплатные путевки в санатории с копчеными угрями и бассейнами, и пособия в каждое полнолуние за грехи предприятия. Но при этом имелась в виду договоренность внутри завода. И на словах. Ты нас не выдашь. И мы тебя не обидим. Ты человек порядочный, сраму нам не уготовишь, под следствие, под сроки и скандалы нас не подставишь,

безвинных работников из прочих смен с малыми детьми премий не лишишь. И мы люди порядочные, и мы своих долгов не забудем. Станем держать их в уме и вблизи совести. Все были так добры к Михаилу Никифоровичу, так жалели его, что и Михаил Никифорович стал испытывать ко всем на заводе чувства братские или сыновние. Какой-то неуклюжий человек из администрации для спокойствия Михаила Никифоровича и как бы в подтверждение слов о совести выдал ему справку о несчастном случае на производстве, за что теперь на писаря этого орали и топали ногами. Поначалу Михаила Никифоровича предполагали устроить у себя же на заводе. Но на конторской должности Михаил Никифорович заскучал бы. И понимал он, что существовал бы на заводе напоминанием о неприятностях, пусть и былых, а кому такие напоминания в радость? И Михаил Никифорович посчитал благоразумным вернуться в аптекари. К тому времени он был исследован ВТЭКом и получил инвалидность второй группы. На срок. Возможно, и недолгий. Но вскоре выяснилось, что в Михаиле Никифоровиче напрасно возбудились братские или сыновние чувства. Никаких пособий ни в дни полнолуний, ни в дни открытия окошек касс он не получал. В Останкине Михаилу Никифоровичу советовали писать и в профсоюзы, и в Министерство здравоохранения, и даже в Нью-Йорк, прямо в штаб-квартиру ООН, самому Пересу де Куэльяру, а уж если ничего нигде не выгорит, то на крайний случай – руководству футбольной команды «Спартак», которое никакого отношения ни к делу, ни к Михаилу Никифоровичу не имеет, но все может. Однако Михаил Никифорович уповал на то, что все само собой образуется. Не бессовестные же совсем люди. К тому же он не хотел жаловаться на завод, ведь он сам написал отступную записку и в ней туманными словами безалаберность приписал себе. Ему тогда говорили, что эта записка – так, на всякий случай, никуда не пойдет. Но нынче, видимо, пошла…

И пошли в ход исправленные и дополненные воспоминания начальника смены Пигулина и аппаратчика Безюкина. Михаил Никифорович снова, уже по приглашению, ходил во ВТЭК и, хотя не ощутил никаких перемен в своей натуре, получил новый диагноз. Вместо токсического гепатита ему был определен гепатит с хроническим воспалением желчного пузыря. И уже не инвалид стал Михаил Никифорович, а просто неспособный трудиться в тяжелых производствах, в частности – в химической промышленности. Видно, люди с завода побывали и во ВТЭКе и в чем-то убедили втэковских медиков. Один из этих медиков, понимающе улыбнувшись, даже поинтересовался, а не пил

ли он, Михаил Никифорович, в свой горький день, желая отвлечься от насущных проблем, какую-либо жидкость, оставшуюся, между прочим, в цехе и показавшуюся ему похожей, скажем, на спирт. «Я был в противогазе», – мрачно ответил Михаил Никифорович.

Ну ладно, ему не подтвердили группу, но при этом, пусть и не инвалиду, а хотя бы потерявшему способность трудиться в тяжелых производствах, были обязаны платить пособие и выделять суленые путевки в санатории. А они не желали. Почему? Что они пошли на него войной? Что им вдруг стало жалко денег, не своих, а государственных, стало быть, и не денег, а знаков или чисел в ведомостях? Этому объяснений Михаил Никифорович дать не мог. То есть он мог предположить – с Никитиным он с той поры не виделся, – что на заводе, где он проработал всего ничего, возникли какие-нибудь неловкие обстоятельства, например, пришла каверзная проверка, и тут вовсе лишним оказался отравленный. Но ведь он-то их пожалел…

Михаил Никифорович мог бы прожить и без пособия (в сорок пять рублей оно) и без копченых угрей на завтрак в санатории, тем более что они теперь были не для его печени. Но он обиделся. Что же они ему руки жали, улыбались в глаза, а один даже очки снял и протер платком стекла – повлажнели они?

Конечно, своим на заводе Михаил Никифорович стать не успел. Он и фамилии помнил не всех, кто ему жал руку и улыбался. Но за недели работы нескольких людей он узнал. Скажем, начальника цеха Муромцева. И никаких поводов посчитать его скотиной у Михаила Никифоровича не возникло. Однако и Муромцев, прежде охавший и ахавший, при встрече сказал: «Пить надо меньше всякую дрянь на халяву!»

Словом, Михаил Никифорович все же из-за обиды ходил по учреждениям. Его бы скоро урезонили, а дело прекратили, но на руках у Михаила Никифоровича была нечаянно выданная ему справка о несчастном случае на производстве. Болельщиков завода в учреждениях эта справка огорчала, они разводили руками. А химические конторщики, тоже огорченные, никакого пособия Михаилу Никифоровичу не платили.

– Тебе, Михаил Никифорович, – сказали на Королева, – надо подавать на них в суд.

Михаил Никифорович позвонил мне, рассказал про пособие, напомнил, что я обещал свести его с моим приятелем – адвокатом Кошелевым.

– Пожалуйста, – сказал я.

– Завтра и зайду, – пообещал Михаил Никифорович.

Но не зашел. И неделю не давал о себе знать. Через неделю я нажал кнопку его звонка.

– Что же ты, Михаил Никифорович? – сказал я. – Я говорил с Кошелевым. Он тебя ждет.

– А-а-а! – в раздражении махнул рукой Михаил Никифорович. – Проходи.

Я прошел и, не дожидаясь распоряжений Михаила Никифоровича, сразу направился на кухню. Раскладушка, привычно сложенная, стояла у двери ванной. Михаил Никифорович вызвался приготовить чай, я отговаривать его не стал.

– Но ты сначала покажи мне бумаги, – попросил я.

– Ни к чему.

– Ты же сам звонил мне и рвался в суд.

– Пошли они подальше! – сказал Михаил Никифорович.

– Что так?

– Надоело! Да и что это я? Бился из-за какого-то пособия, из-за того, чтобы меня признали инвалидом! Стыдно! Хватит! Мужик в сорок лет выпрашивает инвалидность, суетится ради пособия! Да еще в суд… Стыдно!

– Михаил Никифорович… – начал было я.

– Все. Хватит! – сказал Михаил Никифорович. – Извини меня, если доставил хлопоты. И перед Кошелевым извинись. Бумаги рвать я не буду, но в суд не пойду. И сам я должен платить за все. Я ведь вначале написал неправду. И имею урок.

– Первый урок, надо полагать…

– Не первый! Не первый! Сотый!

– Не горячись.

– Да! Сто первый урок! – проворчал Михаил Никифорович, и как будто бы не только на себя и на обстоятельства жизни проворчал, но и на меня. – Может, и двухтысячный… И на Кадыкчане был не первый… И в Певеке…

Про Кадыкчан и про Певек Михаил Никифорович мне рассказывал. Почему сейчас он решил напомнить мне и себе о Певеке и Кадыкчане, ему было виднее. Путь к аптечным ступам и склянкам вышел у Михаила Никифоровича нескорый. Поначалу, и главным образом из-за отца, он полагал стать ортопедом. Правда, после десятого класса был у него полет в международные отношения, в институт у Крымского моста, полет сейчас же оборвался, и о нем Михаил Никифорович вспоминал с иронией. Не стал он и ортопедом, хотя и поступал в Курский мединститут. Курьезные

обстоятельства на практике вызвали появление фамилии Михаила Никифоровича в списке отчисленных (он выступил заступником приятеля-шалопая). И три года Михаил Никифорович ложку опускал в миски с флотскими борщами. А когда он окончил Харьковский фармацевтический и проработал год в селе под Воронежем (отец к тому времени умер, и у Михаила Никифоровича не было поводов просить направление поближе к дому), он пожелал испытать себя на краю российской земли. Предложил услуги Магаданскому аптекоуправлению. Из Магадана его послали дальше по Колымской трассе, в Сусуманский район, в угольный поселок Кадыкчан. Михаил Никифорович прилетел в Магадан в летних ботинках, в пальтишке, сносном для черноземных сентябрей, и в кепке. За Сусуманом мороз стоял под сорок. Охлажденный Михаил Никифорович кое-как автобусом доехал до Кадыкчана, от остановки до жилья было два километра, их бы пробежать, но ледяные ноги еле переступали. Аптека, где Михаил Никифорович должен был заменить беременную заведующую, собравшуюся ехать в Россию, помещалась в деревянном домике в четыре окна. Перекошенные двери не закрывались, их укутывали верблюжьими одеялами. В шубе можно было заведовать аптекой, но Михаил Никифорович шубу в Кадыкчане не приобрел. Он и всего-то пробыл в Кадыкчане неделю. Начальник шахты Михеев, хозяин поселка, государь и игрок, не пожелал оделить Михаила Никифоровича квартирой или хотя бы комнатой, предложил ночевать в общежитии, в зале на восемь коек. Михаил Никифорович не возражал бы и против девятой койки, но в аптеке негде было хранить наркологию, беременная заведующая на ночь забирала ее домой. Даже если бы Михаилу Никифоровичу выдали сейф для содержания вблизи его койки препаратов с наркологическими свойствами, броня сейфа вряд ли уберегла бы наркологию от бичей, пребывавших в обилии тут же в общежитии. Михееву звонили из Магадана, но он не подчинялся каким-то аптекарям и здравоохранению, куражился, будто бы чего-то ждал от Михаила Никифоровича, жилья не давал. И Михаила Никифоровича отозвали в Магадан. Там его успокоили и определили на чукотский берег Ледовитого океана, в порт Певек. В Певеке он прожил полтора года, не скучал, однако обещанное в Магадане порадовало Михаила Никифоровича лишь северным сиянием надежд и отцвело. А обещан был Михаилу Никифоровичу пост заведующего городской аптекой. Тут не то что в Кадыкчане, служили пять сотрудников, и лишь Михаил Никифорович имел высшее образование. Заведующая аптекой Леденцова из-за порушенной любви опять же собиралась уехать на материк и просила замену. Заменой подоспел Михаил Никифорович. Но

судьба пожалела Леденцову, сведя ее с геологом по золоту из-под Билибина, и отъезд был отменен. Присутствие в ее подчинении фармацевта с дипломом, да еще мужчины, Леденцову, естественно, нервировало. И подвигало к действиям. Год с лишним Леденцова со своей заместительницей Бекетовой (и для той Михаил Никифорович был конкурент) посылали в Магадан самолетами, а может, и с оленями, письма, живописующие образ жизни Михаила Никифоровича Стрельцова в Певеке. Михаил Никифорович о тех письмах не знал. Лишь через полтора года, когда он явился в Магадан с просьбами улучшить его мироположение и оклад, ему развернуто намекнули об этих письмах. И выходило, что он человек, которому нельзя доверить не только аптеку, но и вилку в столовой. Михаил Никифорович был удивлен. Леденцова жгла его глаголом, как Савонарола флорентийские пороки. Впрочем, насчет Савонаролы тут преувеличение. Леденцова сообщала о Михаиле Никифоровиче в деловых посланиях как бы между прочим, часто и хваля его, ложные же сведения приводила, словно бы сокрушаясь о судьбе сотрудника и испрашивая, как помочь летящему под откос, но и не погибшему еще вовсе человеку свернуть на правильную стезю. Образ Михаила Никифоровича выходил таким: он и вертопрах в компаниях чужих жен, и мот, и слушает черт-те что из-за Ледовитого океана, и гуляка, и способен горячить кровь понятно чем, может, тянется и к наркотикам. «Да что же это! Что за глупость! – возмущался Михаил Никифорович. – Вы проверьте! Вы пошлите к нам инспектора!». Конечно, Михаил Никифорович не связывал себя монашескими обетами, тем более в условиях полярного дня и особенно полярной ночи, порой действительно имел и утехи, хотя бывало в Певеке и тоскливо. Но уж вранье пришло о нем в Магадан бессовестное. «Нет, вы пошлите инспектора!» – настаивал Михаил Никифорович. «Да вы успокойтесь! – говорили ему. – Мы вам верим. Верим! И знаем мы, что за штучка эта Леденцова. И вы для нас были бы куда интереснее в Певеке, нежели она. Но ведь она, уважая вас как работника и даже жалея, пишет про вас такое… Как тут не почесать затылки… Мы вам лучше предложим марковскую аптеку. Марково – это чукотская Швейцария. Там растут помидоры…» Уговаривали, даже добавляли, что там не то чтобы чукотская Швейцария, но некоторые говорят, что и чукотская Италия. И помидоры привозили оттуда несомненно красные, и Семен Дежнев в семнадцатом веке именно там основал острог. Михаил Никифорович все же уговаривал поставить сначала на место певекскую ревнительницу нравов, а потом заводить с ним разговор о Маркове. «Ах вот вы как! – огорчались собеседники. – Вы,

значит, ставите нам предварительные условия…» И давали понять в огорчении, что Леденцова, может, и права и что он, может, и недостоин марковского заведования. Михаил Никифорович не выдержал, забрал трудовую книжку и отлетел на Камчатку, благо певекские приятели снабдили его хорошим петропавловским адресом. А через год Михаил Никифорович вернулся обратно в Европу. Сначала в Крым. А потом и в Москву. Да что в Москву, в само Останкино.

Но Кадыкчан, понятно, и Певек, и другие кадыкчаны и певеки не выходили из памяти Михаила Никифоровича. Не то чтобы позванивали в нем каждый день, а так, тренькали иногда. Досадно было, что там он много не сделал, а ведь в колымском автобусе не только шевелил бесчувственными пальцами в ботинках, но и строил добродетельные планы помощи населению, чтоб оно признало аптеку добросовестной и было благодарно ей. Однако ничего не улучшил и не преобразовал. Был честным работником – и только. И это опечалило. И явилось – не в первый раз – ему: «А что ты можешь? К чему твое рвение? Что ты можешь изменить? Кто ты такой? Кто ты есть?» Михаилу Никифоровичу не раз было говорено: «И ты этой силы частица…» Спасибо. Естественно, частица. Частица, дробинка, элемент, первоначальное вещество. Можно было бы припомнить и другие подходящие слова, но остановимся пока на самом расхожем. Частица (часть, по Далю, это ведь и участь, доля, жребий, удел, достояние жизни, счастье, рок, предназначение; «Часть моя еси…»). Частица толпы, частица курской земли, пяти миллиардов существ, частица вселенной. Частица… Оно хорошо, Михаилу Никифоровичу приятно было об этом знать. Но обязательная ли частица, задумывался иногда Михаил Никифорович, именно он? Если принять во внимание позицию его магаданских коллег, то и необязательная. Но, предположим, открылась бы ему, Михаилу Никифоровичу, что и впрямь обязательная. Что, лучше бы стало? Во всех лекарственных препаратах есть обязательные составные. В таблетке триампура непременно содержится двадцать пять миллиграммов триамперена. Должно содержаться. И величина этой обязательной частицы измениться не может. Будет его больше, будет его меньше – не станет триампура, воина с давлением. Стало быть, если ты обязательная частица, знай свои пределы и свой шесток? Так, что ли? А ведь это скучно. Однако, если начнешь своевольничать и пожелаешь вырваться из определенного тебе, только испортишь что-либо и ничего не улучшишь… Такие разъяснения давал себе иногда Михаил Никифорович. Ты – частица в мироздании, все равно какая, обязательная или случайная, и в ходе событий – в аптеке ли, на поверхности ли земной или тем более во

взъерошенной галактике – от твоего существования ничего не зависит. А потому повороты судьбы следует принимать со спокойствием. И печалью. Положив также, что история человечества – не в твоей компетенции и пусть все идет как идет.

Но не всегда Михаил Никифорович был в согласии со своими мыслями (понимая при этом, что в них есть и путаница или подмена понятий). Ну ладно, рассуждал он, Дон Кихот был хорош, но – как мечтание человечества. В окрестностях же Ламанчи, реализуя себя, он чаще вредил, хотя бы и пустячно, жителям и путешественникам. Однако страсть и действия, а особенно простодушная вера странного рыцаря в правоту собственных действий вызывали зависть Михаила Никифоровича. Он бы так не мог. Конечно, если бы на его глазах били слабого или рожь горела, он бы не стоял. Но в историях с самодуром из Кадыкчана или Леденцовой, даже сидя на Росинанте и будучи при копье, он бы не бросился ни на кого. И не потому, что копьем надо было разить вроде бы из-за себя, а не из-за дела. Просто не возникало порыва. А ну их к лешему… Не должно ли так? – задумывался Михаил Никифорович. Миллионолетнюю долю человечества он мог бы и не взваливать себе на плечи, но за миг-то летящий отвечать был обязан. Когда Любовь Николаевна довела его до обострения чувств, он взъярился и отмел прежнее свое успокоение. Даже отважился вступить в сражение с горестной истиной «от смерти нет в саду трав», был намерен сейчас же принести человеческому роду облегчение. А может быть, и благоденствие вечное. Видимо, желание это всегда было в Михаиле Никифоровиче, а Любовь Николаевна вряд ли могла ошибиться и приписать ему чужие свойства…

– Михаил Никифорович, я опять тебе не судья… Но, думаю, ты не прав. И зачем тебе нужны уроки с похожими сюжетами?

– Дуракам закон не писан, – просветил меня Михаил Никифорович. – Это я про себя.

– А хотя бы и про меня, – сказал я. – Однако я, Михаил Никифорович, отчасти удивляюсь твоим шатаниям. Тебе стало стыдно оттого, что ты начал выпрашивать себе как бы незаслуженные блага… А того, что ты поощряешь проходимцев или разгильдяев, тебе не стыдно?

– Мало ли чего…

– Ладно. Прости, что полез тебе в душу. Просто меня удивила твоя непоследовательность. Кстати, про пай Каштанова ты слышал?

– Слышал.

– И что?

– А ничего.

– Ты как дядя Валя. Как Валентин Федорович Зотов… Попью я сейчас чаю с этим приятным вареньем и откланяюсь.

– Варенье из терна… Мать варила.

– Спасибо твоей матери.

– Что касается Шубникова… – начал Михаил Никифорович.

Но тут зазвенело над дверью, и сразу же – стало понятно, что звонок был не просьбой распахнуть ворота, а знаком вежливости, – чья-то рука повернула ключом задвижку замка. Через мгновение на кухню, почувствовав гостя и как бы для решения, не обременителен ли гость, не гнать ли его взашей или, напротив, не требует ли он особенных почестей, заглянула женщина. Была это Любовь Николаевна.

– А-а, это вы, – очевидно успокаиваясь, произнесла она. – Здравствуйте.

Она назвала меня по имени-отчеству, опустила на пол сумку и протянула мне руку. Я пожал ей руку как давней приятельнице, не успев вспомнить, что еще на днях я относил Любовь Николаевну к движениям воздуха. Рука Любови Николаевны была крепкая, Филимону Грачеву следовало с уважением относиться к такой руке.

– Я сейчас, – сказала Любовь Николаевна. – Только переобуюсь… У меня здесь еще сумка, – добавила она из прихожей. – Я, Михаил Никифорович, купила материал на занавески. И хватит на ламбрекен. Еще тюль…

Я взглянул на Михаила Никифоровича. Тот, поначалу не выказавший никаких удивлений, теперь не то чтобы удивился, но, похоже, искал чему-то объяснения. Может быть, платежные способности Любови Николаевны перепроверял в уме Михаил Никифорович? Но что мне было гадать…

– Я пойду… – шепнул я Михаилу Никифоровичу.

Михаил Никифорович не проявил желания удержать меня.

– Вы пройдите сюда, в комнату, – услышали мы приглашение Любови Николаевны, – я уже разложила материал, мне хотелось бы, чтобы вы посмотрели.

– Мне пора…

– Зайди на минуту, – попросил меня Михаил Никифорович.

– Вот, – показала нам Любовь Николаевна свои приобретения, при этом то ли стесняясь покупки, то ли радуясь ей.

Ткани лежали на столе, и нежнейший тюль, и светло-желтая прозрачная ткань словно бы с камышинками или с какими иными водяными растениями, вызывающими мысли о тихих старицах и

колыхании ряски.

– Это интересно… – сказал я на всякий случай.

Михаил Никифорович молчал.

– Я у Никитских ворот купила, – сказала Любовь Николаевна. – Там на углу бульвара и улицы Качалова хороший магазин. Была очередь, но я выстояла.

Объяснения она давала Михаилу Никифоровичу. Но Михаил Никифорович молчал.

Любовь Николаевна переобулась и теперь была в тапочках. Впрочем, скорее бы к ним подошло название черевички, до того нарядно и дорого они выглядели, такими когда-то в исключительных случаях могли одаривать во дворце на невских берегах в присутствии запорожских сечевиков и светлейшего князя. Знал ли Михаил Никифорович о происхождении обуви Любови Николаевны?

– Вот эти занавески, – показывала Любовь Николаевна на тюль, – для дня. Когда солнце сильно бьет в глаза. Или просто от чужого взгляда. А эти вечерние. По-моему, они будут хорошо сочетаться по цвету и рисунку. А?

Теперь она обращалась ко мне. И я, хотя и не годился в оценщики несшитых штор и занавесей, да, впрочем, и сшитых, поспешил с ответом:

– По-видимому, будут хорошо сочетаться.

– Но в доме нет швейной машинки, – сказала Любовь Николаевна.

Эти слова, видно, озадачили Михаила Никифоровича. Я решил прийти ему на помощь:

– А у соседей твоих нет швейной машинки? Если попросить на время?.. Или вот. На месте твоей аптеки, на Цандера, теперь пункт проката. Можно там взять…

– Да, конечно, – обрадовалась Любовь Николаевна, – отчего же не воспользоваться услугами проката?

– Я схожу, – согласился Михаил Никифорович.

Тут я сообразил, что когда-то рассказывал Любови Николаевне о рукодельных успехах своей жены, в частности и о швейных, Любовь Николаевна, несомненно, помнила об этом, а машинку из нашей квартиры я не предложил.

– Я могу из дома, – сказал я. – Если жена… Или вы, Любовь Николаевна, зайдите к нам с этими…

– Нет, зачем же, – мягко сказала Любовь Николаевна, – что же вас обременять. Проще будет Михаилу Никифоровичу зайти с паспортом в пункт проката. Ведь верно?

– Да, – сказал Михаил Никифорович, – проще…

Теперь я почувствовал, что вопрос решается сугубо внутренний и не мне со швейными машинками встревать в его обсуждение.

– А ведь я опаздываю, – сказал я. – Зашел-то я всего на три минуты. Разрешите откланяться. А ты, Михаил Никифорович, если изменишь мысли и опять вспомнишь о Кошелеве, позвони мне.

Любовь Николаевна словно бы огорчилась скорому моему уходу, она была намерена извлечь пакеты из второй сумки, что-то еще показать мне и о чем-то посоветоваться, тем более что я знаком с самим Зайцевым. Намерения Любови Николаевны и упоминание о Зайцеве ускорили мои откланивания.

Михаил Никифорович, пребывавший тоже в домашних тапочках – я лишь теперь обратил на это внимание, – закрыл за мной дверь. Но тапочки Михаила Никифоровича вряд ли вызвали бы восторги запорожских сечевиков и одобрение светлейшего князя. Впрочем, может быть, и раньше Михаил Никифорович имел домашнюю обувь, берег ноги и полы, а я прежде в квартире Михаила Никифоровича, куда и не часто заходил, был невнимательным?

24

На улице я пожалел, что не дослушал Любовь Николаевну и не узнал о прочих ее сегодняшних покупках. И опять я отчего-то подумал о финансовой основе ее существования… Откуда у нее, в частности, деньги на всякие тюли и черевички? Из слов Любови Николаевны выходило, что ткани она приобрела земным способом. Стояла в очереди. Слова эти были сказаны без раздражения и усталости, а как бы даже с удовольствием удачливой охотницы. Неужели Михаил Никифорович снабдил Любовь Николаевну деньгами, согласившись с поводом ее трат? Но как мне представлялось, он находился нынче в стеснениях. Или она имела право тратить казенные средства на покупку штор и ламбрекена? Впрочем, в азарте женщина может ради тюля промотать и казенные деньги!

Однако мне-то что?

Пусть и казенные, пусть и кашинские, пусть тратит! Пусть Михаилу Никифоровичу это приятно! Мне-то что? Может, ему вообще приятно терпеть у себя дома Любовь Николаевну. Скорее всего, так оно и есть. К тому же, возможно, теперь она способна избавить его от болезней, потому он и отказался от судов и встреч с адвокатом Кошелевым.

Как выяснилось позже, и Михаил Никифорович не знал тогда, откуда случались деньги у Любови Николаевны. В начальную пору ее пребывания в Москве, как помните, он сам из сострадания вызвался давать ей рубль в день. Михаил Никифорович надеялся, что, определившись в столице, она откажется от его субсидий. Однако с ходом времени выдача им денежного пособия Любови Николаевне стала казаться ему делом чуть ли не обязательным, прекратить эту выдачу было бы стыдно, не по-мужски. Хотя на кой ляд он ссужал ее? Притом что это были за деньги для женщины! Разве таких денег ждала от него Мадам Тамара Семеновна? И все же Михаил Никифорович постановил – потерпеть, не вечно же будет являться Любовь Николаевна в его квартиру. К тому же Любовь Николаевна сразу заявила: за рубли – спасибо, она, мол, должница. Расписок, правда, не писала и позже не упоминала о долге, а Михаил Никифорович тем более. Но чтобы не вызвать кривотолков и превратных суждений среди знакомых и в Останкине, он как-то с намерением сообщил пайщикам нечаянного сосуда, что иногда дает Любови Николаевне деньги в долг.

Но если бы она их и не тратила, а копила, прятала в старом чулке на черный день, а теперь не удержалась и принялась транжирить, то и тогда

расходы Любови Николаевны Михаил Никифорович своими пособиями объяснить бы не смог.

А Любовь Николаевна между тем стала вдруг Михаила Никифоровича кормить. Раньше она лишь по утрам жарила себе яичницу либо жевала бывшую французскую булку с любительской или ливерной колбасой, а обедала или ужинала неизвестно где. И ела-то что? Михаил Никифорович, если не был сердит на жиличку, воображал ее в очереди за чебуреками на Неглинной или же за столом какой-нибудь сокрушительной для желудка пельменной и сострадал ей. Попытка его угостить Любовь Николаевну мясным блюдом, как мы помним, не привела к удаче, разве что он познакомился с доктором Шполяновым. Более Михаил Никифорович и не старался проявить себя хлебосольным хозяином, и не потому, что не было желания зайти в мясницкую к Петру Ивановичу Дробному, а потому что отсутствовали поводы сидеть с Любовью Николаевной за одним столом.

Как складывались их отношения после капитуляции в доме у дяди Вали, да и накануне, разъяснять не надо. Им бы друг друга не видеть в упор, а не то чтобы вместе расставлять на кухне посуду. Они и впрямь не видели друг друга в упор. Лишь однажды Любовь Николаевна при встрече в коридоре сказала Михаилу Никифоровичу, словно бы извиняясь перед ним, но и с достоинством: «Мне ведь на самом деле некуда деться…» На что Михаил Никифорович ответил: «Что тратить слова…» Более и не тратили. Но с перетеканием песка в стеклянных сосудах обиженная и от обиды будто мраморная Любовь Николаевна потихоньку оживала и даже иногда принималась напевать. Поначалу Михаил Никифорович слышал фразы из «В низенькой светелке…» и «Колокольчики мои, цветики степные…», но потом в квартире зазвучали и иные слова и мелодии, не всегда, заметим, грустные. Любовь Николаевна напевала и «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», и «Из-за острова на стрежень», и «Мой дельтаплан», и «Кузнечик запиликает на скрипке», и «Мы с железным конем все поля обойдем», и «Златые горы». Порой Михаил Никифорович слышал слова иностранные, понять какие он не мог, кроме «феличита», «аморе», но с чего бы ей петь «феличита» и «аморе», он даже и не строил догадок. Однажды Михаилу Никифоровичу из коридора показалось, что в комнате за притворенной дверью Любовь Николаевна сама с собой водила хоровод. Выявилось у Любови Николаевны драматическое сопрано с виолончельным тембром, но во фразах из опер, в особенности Верди, Вагнера и Масканьи, она, как Каллас, могла прозвучать и Азученою. Знала она тексты песен Высоцкого и Окуджавы… Любовь Николаевна проявляла музыкальную независимость, но и не вредничала. Чувствовала, видно, что

Михаил Никифорович Зыкиной предпочитает Плевицкую и Русланову, и пела в их манере, впрочем, не имитируя, а по-своему. Временами, казалось Михаилу Никифоровичу, пела чудесно. Но он сразу же осаживал себя, хмурился: мало ли что, мало ли как – ради выгод или ради еще чего – можно петь казенным голосом! Однако – ради каких выгод? И отчего же – казенным голосом? А если Любовь Николаевна пела своим голосом?

И нередко при пении Любови Николаевны возникали в квартире запахи, нисколько не раздражавшие Михаила Никифоровича. Это были и запахи деревенского утра и парного молока, прочувствованные как-то и мною, и запахи сырой после грибного дождя ольхи, и молодого, только что, в конце мая, сорванного с грядки чеснока, и расцветшего в Ельховке возле дома матери куста жасмина, называемого, правда, по науке жасмином ложным, или чубушником, и овчинного полушубка, и ветра со снегом в Беринговом море у острова Карагинского, и теплой ржаной горбушки, и декабрьской проруби, и смоленой лодки… Разные возникали запахи, они Михаилу Никифоровичу были приятны.

Иногда Михаил Никифорович, возвращаясь из аптеки или с бесед со знакомыми, заставал Любовь Николаевну у газовой плиты. Что она там стряпала, Михаил Никифорович знать не желал. Кастрюли и сковородки она брала его, еще в марте получила на это разрешение хозяина, но теперь Михаил Никифорович наблюдал на кухне и новую посуду, металлическую, стеклянную и фаянсовую. Возникали и неловкости. Вечерами Михаил Никифорович посиживал на кухне, читал, думал, слушал «Маяк», прежде чем отправиться на ночлег в ванную и поставить там раскладушку. А сейчас он толокся в прихожей, в коридоре – но что за коридор был у них! – делал вид, что у него много занятий в ванной. Любовь Николаевна сказала ему как-то, и довольно дружелюбно: «Да проходите вы, Михаил Никифорович, или в комнату или на кухню». Но зачем было проходить в комнату? Что там делать? И зачем проходить на кухню? Общий стол у них, что ли? Не хватало этого… Да и готовились на кухне, видно, какие-то острые мясные блюда, противопоказанные печени и желчному пузырю Михаила Никифоровича. Любови Николаевне полагалось бы по крайней мере проявить такт.

Но однажды она сказала: «Михаил Никифорович, сделайте наконец одолжение, присядьте к столу!» «У меня диета», – буркнул Михаил Никифорович. «Диету вы не нарушите, – сказала Любовь Николаевна. – И потом, я приготовила посинюшки. Или, если угодно, драники». Михаил Никифорович прошел на кухню. Запах был подлинный, и все же Михаил Никифорович не верил в то, что посинюшки у нее получатся. Он с войны

ставил посинюшки выше всех иных блюд и полагал, что никто так не готовит их, как его мать и как он сам. Другие как будто бы и вовсе не имели права делать посинюшки. А уж эта Любовь Николаевна… «Не из новой терли? – хмуро спросил Михаил Никифорович, усевшись на табуретку. – Не из рыночной?» «Ну как вы могли подумать? – удивилась Любовь Николаевна. – Конечно, из старой. Некоторые были и проросшие». «Яйца добавляли?» – «Три яйца разбила». – «А жарили на подсолнечном?» «На подсолнечном», – подтвердила Любовь Николаевна. Михаил Никифорович подумал. «А очистки терли?» – наконец поинтересовался он. «Нет, зачем же? Очистки в мусоропроводе». «Зря, – наставительно сказал Михаил Никифорович. – Мы всегда терли и кожуру. Отмытую. И вкуснее. И полезнее. И не пропадает добро». Все-таки он выявил пороки сегодняшних кухонных трудов Любови Николаевны! Могли ли ее посинюшки сравниться с настоящими, ельховскими, коли она не терла кожуру? Нет. «Но это теперь тяжелое кушанье для меня», – сказал Михаил Никифорович. Он мог встать и уйти в коридор. Любовь Николаевна будто испугалась этого, принялась успокаивать Михаила Никифоровича: «Я вам вот что скажу, Михаил Никифорович. Я на самом деле не могу сейчас снять ваши недуги. Но средства – считайте, из трав, – какие сделают любую мою стряпню безвредной для вас, у меня есть. Поэтому не тревожьтесь…» «Вы, стало быть, со своей аптекой?» – усмехнулся Михаил Никифорович и остался сидеть. Любовь Николаевна знала, с чего начинать. Это Михаила Никифоровича отчасти насторожило.

Но посинюшки, или, если хотите, драники, или просто оладьи из тертого сырого картофеля, оказались хороши. Горячими проглатывал их Михаил Никифорович, впрочем, пытаясь не уронить достоинства. Будто в Ельховке в своем доме сидел нынче Михаил Никифорович. «Ничего», – одобрил он Любовь Николаевну. «Нет, правда? – засияла она. – Вот и хорошо. А то они у меня долго не выходили. Или разваливались. Или не отлипали от сковороды. Или были недосоленные. Но я не знала, что нужно и кожуру. Я по книгам…» «Ну отчего же, – великодушно сказал Михаил Никифорович. – Можно и без кожуры. Хотя…» Он замолчал, не стал объяснять Любови Николаевне, что мать месяцами вынуждена была кормить его и других сыновей оладьями, ясно, что без добавки яиц, чуть ли не из одних очистков, но это было давно, а в поваренных книгах те очистки не стоили упоминания… Михаил Никифорович стал благодушен, что разрешило Любови Николаевне затронуть в разговоре темы недозволенные. «Я стесняю вас, Михаил Никифорович, – сказала Любовь Николаевна. – Вы из-за меня и телевизор почти не смотрите». «А там и

нечего смотреть», – опять нахмурился Михаил Никифорович. «Нет, я вас стесняю, Михаил Никифорович, – продолжала Любовь Николаевна. – Мне неловко и стыдно. Я готова ночевать в ванной, а вы уж переходите в комнату. Я прошу вас…» «Все. Хватит об этом! – резко сказал Михаил Никифорович. Но, увидев, что у Любови Николаевны задрожали губы, поспешил с вопросом: – По каким книгам вы готовили? У меня нет таких книг». «Я ходила в библиотеку, – оживилась Любовь Николаевна. – Я записалась в две библиотеки. В районную, это возле метро, и в ту большую, где можно прочитать все». Какие документы Любовь Николаевна предъявляла, чтобы получить читательские билеты, она не сообщила, а Михаил Никифорович и не выказал желания узнать какие.

Ванную на комнату с телевизором он так и не поменял. Однако все же стал смотреть иные передачи. Когда программу «Время». Когда «В мире животных». Когда «В мире растений». Смотрел молча. И Любовь Николаевна, если присутствовала, деликатно молчала. А возможно, и не считала себя способной на равных с Михаилом Никифоровичем судить о тех или иных аспектах международной и внутренней жизни. Но когда показывали животных, и в особенности растения, молчать ей было нелегко, она шептала что-то или нечто говорила себе самой…

На кухню она приглашала теперь Михаила Никифоровича часто. Ее не смущали отказы, да они и не всегда следовали. Тем более что звали Михаила Никифоровича к столу и не как едока, а как дегустатора и советчика. То есть словно бы требовалась помощь его просто как постороннего человека, и тут важничать или осаживать Любовь Николаевну было неудобно. А Любовь Николаевна увлеклась поваренными книгами и кулинарными советами всерьез, готовила в охотку и ела в охотку, будто прежде ее морили голодом или вынуждали питаться концентратами из тюбиков или вообще неизвестно чем. Продукты она приносила в дом хорошие, и можно было предположить, что из нее выйдет в Москве добытчица.

Правда, поначалу она обходилась картофелем, яйцами по рубль девять и вареной колбасой. Потом, жаль, лишь трижды, приносила в сетках цветную капусту. Ее, жаренную в сухарях на топленом масле, Михаил Никифорович уважал. Возбуждался у Любови Николаевны интерес и к мясным блюдам. Кулинарная эрудиция ее удивляла теперь Михаила Никифоровича. Быстро, в неделю, Любовь Николаевна будто выучила наизусть тысячи рецептов, книга Похлебкина «Национальные кухни наших народов» запомнилась ей целиком, стали ей известны и особенности кухонь заграничных, в частности она не прочь была бы приготовить петуха

в вине, каким его привыкли употреблять жители исторической провинции Лангедок. Но это были знания и намерения, а на кухне Любовь Николаевна долго маялась с супом харчо. Михаил Никифорович не возражал против харчо, но разговоры Любови Николаевны об этом супе не поддерживал, давал понять, что ни посинюшки, ни цветная капуста в сухарях ничего не изменили и режим их проживания в квартире остается прежним. Однако слова Любови Николаевны о том, что она никак не может подобрать для харчо сносную говядину, Михаила Никифоровича задели. «Нужна баранина», – сказал Михаил Никифорович несколько высокомерно. «А вот и нет! – разгорячилась Любовь Николаевна. – Харчо – это суп из говядины! По-грузински „дзрохис хорци харшот“ и значит „суп из говядины“! Или даже „говяжье мясо для харчо“. Это москвичи придумали баранину!» «Не знаю, что пишет ваш Похлебкин, – обиделся за москвичей Михаил Никифорович, – а только у нас харчо делают с бараниной. Вы зайдите в кафе таксистов у Гнесинского, там харчо всегда с бараниной». Михаил Никифорович понимал, сколь зыбок его довод, построенный на вкусах московских таксистов, но продолжал стоять на своем. И убедил Любовь Николаевну. «Все! – страстно вскричала она. – Похлебкин в подметки не годится таксистам! Будем варить харчо из баранины!» Красноречие Михаила Никифоровича вызвало у Любови Николаевны игру аппетита, она тут же съела два ломтя рижского хлеба и фиолетовую луковицу.

И был сотворен в квартире на улице Королева суп харчо. Отвергнув советы Похлебкина относительно говядины, Любовь Николаевна все же согласилась с остальными составными его рецепта. Тех составных было девятнадцать. В частности, требовалось полстакана чищеных, понятно, грецких, орехов. Где-то она орехи достала. Были опущены в кастрюлю и две ложки хмели-сунели, и пол-ложки семян кориандра, и две ложки зелени петрушки, и три лавровых листа и десять раздавленных Михаилом Никифоровичем горошин черного перца. А вот со сливами ткемали или тклапи, пюре из ткемали, вышли затруднения. Не было в Москве в продаже ткемали, в прейскурантах – алычи. А харчо нуждалось в кислой основе. Михаил Никифорович предложил заменить ткемали сушеным барбарисом. Куст барбариса рос в палисаднике у его матери в Ельховке, и у Михаила Никифоровича всегда на кухне лежал пакет с рубиновыми ягодами на сухих веточках. По весне на кусте висели лимонные гроздья цветов, пахнущих странно, будто сырыми грибами, в августе же и в сентябре капли ягод горели ярче рябины и бузины. Любовь Николаевна достала банку маслин, те пошли в подмогу барбарису. Отсутствовала рекомендованная Похлебкиным щепотка имеретинского шафрана – кардобенедикта, – но и

без кардобенедикта харчо удалось.

Между прочим, когда стало ясно, что харчо получилось, Любовь Николаевна опять принялась напевать. И напевала она не «Сулико», не что-либо из Брегвадзе, или Кикабидзе, или Гвердцители, а слова из репертуара Стрельченко: «У кого же нет капусты, прошу к нам в огород, во девичий хоровод…» Потом пошло: «Матушка родна, подай воды холодной…» При этом она взглянула на Михаила Никифоровича игриво, Михаил Никифорович игривость тут же пресек, хотя пела Любовь Николаевна приятно… Но харчо Михаил Никифорович ел с удовольствием, хвалил Любовь Николаевну. «Что вы меня-то хвалите! – сказала Любовь Николаевна. – Мы вместе готовили. Без вашего барбариса ничего бы не вышло». Любовь Николаевна сразу же поняла, что перестаралась, тут речь прямо пошла о совместном столе или о кухонном сообществе. Михаил Никифорович посерьезнел, и несколько дней отношения их с Любовью Николаевной были строгие, будто между Ливией и Тунисом. Но потом, после кабачков, фаршированных мясом и тушенных в сметане, отношения смягчились.

В те дни Михаил Никифорович и надумал отменить суды с химическим заводом. Хлопоты ему стали противны. Да и неловко было. Он мог есть вкусные и острые блюда без всяких диет, без ущерба печени и желчному пузырю, правда, дома и лишь при участии тайных приправ Любови Николаевны, но все равно – что же было ему корчить из себя инвалида?

Естественно, Михаил Никифорович задумывался: искренне ли увлечение Любови Николаевны домашними кушаньями, блюдами московских и национальных кухонь или же здесь игра и корысть? Михаил Никифорович не хотел думать о ней дурное. Любовь Николаевна не была ему противна. Он старался не смотреть на Любовь Николаевну, но когда был вынужден смотреть на нее, понимал, что она – женщина в его вкусе. А впрочем, может, все же вздумала окрутить его лукавая баба? Не хватало ему новой Мадам. Но на Мадам Тамару Семеновну Любовь Николаевна никак не была похожа. Она – теперь – была куда легче, изящнее, артистичнее, что ли, Тамары Семеновны в обращении с ним. Теперь будто все печали и заботы оставили Любовь Николаевну. С Михаилом Никифоровичем она все чаще вела себя как со старинным и доброжелательным приятелем, который ее понимает. И которого она тоже понимает и ценит. Слова произносила ласково, естественно, как будто бы без вранья и наигрыша, а если порой и кокетничала, то чуть-чуть. Михаила Никифоровича это «чуть-чуть» отчасти даже расстраивало: что же, она и за

мужчину его не считает?

Положение ее в квартире Михаила Никифоровича было уже как бы установившееся. Надолго. Или навсегда. Но Михаил Никифорович решил будущего не пугаться. Убедил себя: если Любовь Николаевна станет злоупотреблять его терпением (доверием? Привычкой? Жалостью?) или начнет вдруг покушаться на его житейскую самостоятельность, он тут же себя отстоит, а ее вытолкает в шею из Останкина. Но пока поводов выталкивать ее в шею у Михаила Никифоровича не было. И заскучал бы он, наверное, без Любови Николаевны…

А Любови Николаевне, похоже, все более и более нравилось проживать в Москве. Возможно, бывшие пайщики, дядя Валя в частности, успокоились и не напоминали ей об условиях акта о капитуляции. Любовь же Николаевна будто никогда и не объявляла себя рабой и берегиней и тем более не выходила ни из каких бутылок. Можно было посчитать, что она на самом деле приехала из провинции и теперь попала в плен столичных прелестей и затей. И можно было предположить, что она заслужила где-то беспечный отпуск с учетом отгулов, подкрепленный к тому же финансовым листом.

Впрочем, брать у Михаила Никифоровича рубли она так и не отказалась. И когда Михаил Никифорович, подсчитав стоимость посинюшек, или драников, супа харчо на основе баранины, кабачков с мясом, цветной капусты в сухарях, слоеного пирога с вишней, протягивал ей деньги за свою долю, она и эти деньги брала без слов и жестов.

Возможно, рубли Михаила Никифоровича шли на культурную программу Любови Николаевны. Подтверждением того, что она не коренная москвичка, а с луны свалилась или и впрямь заехала из Кашина, был ее интерес к художественным и историческим ценностям столицы. После капитуляции, как только начались ее праздные дни, угомонив свои печали и недоумения, Любовь Николаевна бросилась в музеи, на выставки и в театры. Среди прочих выставок она посетила только что открывшуюся на Крымской набережной – «Сахалин и Курильские острова в произведениях московских живописцев», где на полотнах уже известной ей художницы Жигуленко увидела девушек с острова Шикотан, острыми ножами разделывающих рыбу сайру. Конечно, Любовь Николаевна побывала и в Третьяковке, и в ГМИИ, и в Музее народов Востока, и в Историческом, и в «Палатах боярина» в Зарядье, где ей понравился глобус боярина и собрание самоваров. Поддавалась она мегафонным уговорам экскурсионных бюро, ездила по Москве в просветительских автобусах. Видела хвост лошади Юрия Долгорукого, голубей на плечах Тимирязева.

Однажды у Кузнецкого моста Любовь Николаевна вскочила в автобус литературного маршрута «Марина Цветаева в Москве». Выслушав истории экскурсоводши, она и сама взволновалась. Следуя этикету их с Михаилом Никифоровичем отношений, прежде она почти ничего не рассказывала ему о своих московских впечатлениях. А тут принялась говорить ему о квартире Цветаевых на улице Писемского, о картине Врубеля «Пан», о золоте инков, об актере Александре Голобородько, виденном ею в Малом театре по билету, купленному с рук. Михаил Никифорович то ли был не в настроении, то ли ничего не мог сказать о квартире Марины Цветаевой и актере Голобородько, пробурчал что-то лишь о Врубеле. И замолк. Более о своих походах по Москве Любовь Николаевна ему не говорила.

Михаил Никифорович догадывался, что Любовь Николаевна не пролетает и мимо магазинов, в каких продаются шляпки, помады, туфли, серьги и прочая бижутерия. Известно, и прежде менялись наряды Любови Николаевны, – в ту пору, мы предполагали, она искала свой московский образ. Но ранние вещи Любови Николаевны возникали как бы из воздуха, в воздухе же они и исчезали или висели там на невидимых вешалках. В шкафу и в чемодане, во всяком случае, Любовь Николаевна их не держала. Очевидно, те вещи были как бы служебной формой. Теперь же, считал Михаил Никифорович, в квартире стали появляться вещи Любови Николаевны личные. Эти-то были точно из московских магазинов. Однажды Михаил Никифорович допустил бестактность, поинтересовавшись, пусть даже без зла и укора: «Вы все по городу ходите. Вы что – в отпуске? Или на каникулах?» «Я не в отпуске. И не на каникулах, – сердито ответила Любовь Николаевна. – Я не у дел. И вы знаете почему». Михаил Никифорович тогда чуть было не спросил, долго ли Любовь Николаевна предполагает быть не у дел, в томлении натуры, но не спросил, боясь, как он понял позже, Любовь Николаевну спугнуть.

Однако испытывала ли Любовь Николаевна, будучи не у дел, томление натуры (когда-то Петр Великий уходил от сражения со шведами, дабы вызвать томление натуры сорвиголовы Карла, и притянул того к Полтаве)? Не вызывала ли она сама в ту пору томление иных личностей, скажем, Михаила Никифоровича? Или дяди Вали?.. Но оставим пока эту тему.

Как-то Любовь Николаевна высказала на кухне сожаление об австрийских сапожках, о том, что не удалось купить их. Михаил Никифорович предложил ей деньги. У кого-нибудь он полагал их на время одолжить. У Добкина, например. Любовь Николаевна растрогалась, но сказала, что он не так понял, что ее сожаление вызвано не отсутствием

денег, а безобразной очередью. «Что – деньги! – нервно сказала Любовь Николаевна. – С ними мы разберемся позже!» Кто «мы», Михаил Никифорович уточнять не стал.

Сапоги австрийские Любовь Николаевна не купила. Они были зимние, а холода еще не пришли. Первыми обновками стали ситцевые платья, серьги с бирюзовыми стеклышками, туфли на среднем каблуке, тапочки для дома, вызвавшие у меня мысли о черевичках. Вместе с этими черевичками она купила и тапочки для Михаила Никифоровича. Михаил Никифорович и при Мадам Тамаре Семеновне тапочки надевал редко, лишь когда был в чем-то виноватый и испытывая при этом утеснение. К вечерним шлепанцам, пижамам он, крестьянский сын и бывший матрос первой статьи, относился с высокомерием. Из теплого белья носил лишь тельняшку. Тапочки, преподнесенные ему, он готов был отправить в мусоропровод. Но посчитал, что они не его собственность, а Любови Николаевны, и распоряжаться ими он не волен. Вышло так, что в жаркий день Михаил Никифорович, приняв душ, сунул ноги в тапочки. И позже их надевал. Сколько они стоили, он не знал и денег Любови Николаевне за них не предложил, решив, что его вещью они стать не должны, а он будет как бы арендатором тапочек. Но чувствовал, что ни с того ни с сего покорился чуждой ему вещи…

А Любовь Николаевна вскоре принялась вслух, но как бы между прочим замечать, что в квартире Михаила Никифоровича многого не хватает. То есть и мебель бы надо иметь другую, а уж коли жить со старой, то ее следовало бы переставить по-другому, и прочее и прочее. Понятно, что замечания были пресечены Михаилом Никифоровичем. Покупки же Любови Николаевны Михаил Никифорович рассматривал, но оценку им давал по принуждению и из вежливости. Для красивой женщины все могло оказаться хорошим, дура же и страшила способна и туфли Золушки превратить в потертые калоши. Из Любови Николаевны получалась нынче красивая женщина. А потому и одобрительные оценки его («Да, ничего…», «Да, нормально…») чаще всего не были несправедливыми или фальшивыми.

Сложности случались, когда Любовь Николаевна возвращалась с пакетами из отделов нижнего белья. Когда-то весной она могла разгуливать вблизи Михаила Никифоровича чуть ли не нагишом, не видя в том ничего зазорного. Может, она и вообще не знала, что за звери такие мужчины. И Михаил Никифорович смотрел на нее тогда как на существо условное, по свойствам не лучше привидения. Теперь же Любовь Николаевна стала стыдливой. И хотелось ей похвастаться чем-то, и

неловко было. Но не терпелось оглядеть себя в новом одеянии, и она просила Михаила Никифоровича не заходить в ванную и там, в ванной, вертелась подолгу перед зеркалом. Что при этом пела, Михаил Никифорович не ведал. Однажды лишь услышал: «…под роскошным небом юга сиротеет твой гарем». С этими словами, как помнил Михаил Никифорович, в опере Глинки Людмила с просьбой вернуться к делам в родные края обращалась к Ратмиру, находившемуся в любовных заблуждениях. Михаил Никифорович предположил, что Любовь Николаевна недовольна покупкой. Действительно, бангладешские шальвары оказались с порчей, Любовь Николаевна тут же понеслась менять их.

Как-то она сказала Михаилу Никифоровичу: «В очереди говорили, что в Европе не носят лифов». И тут же смутилась. И не от взгляда Михаила Никифоровича, наверное, а от мыслей тайных и желаний. Какие возникают от туманов. Или потому смутилась, что позволила себе неприличное. До отлучения от дел Любовь Николаевна виделась нам и властной, и способной воспитывать в саду и в яслях, а то и дрессировать кого следует, сила, хватка и жесткость деловых женщин, хорошо известных нам, проглядывали в ней. Такой даме в дни церемоний и служб пошли бы серые костюмы английского покроя с бостоновыми пространствами для положенных наград. Теперь Любовь Николаевна порой сама походила на тех, кого следовало дрессировать. Шаловливая становилась и легкомысленная. Или дурашливая. Михаил Никифорович имел поводы опасаться, как бы она чего не учудила. И не вызвала административных решений. Нет, не вызвала… Либо тушила в себе пожары, либо ощущала чьи-то запреты и собственные слабости. Иногда она выглядела и растерянной, чуть ли не беззащитной. Не он ли, Михаил Никифорович, должен был стать ей щитом и оплотом?.. Но случались мгновения, когда Любовь Николаевна огнем глаз своих, движениями то ли дикого зверя – рыси на морозе, или выдры в промоине, или горностая на сосне, – то ли парящего баклана, то ли пенной волны обещала вдруг стать стихией буйной и громкой, пуститься в разгул, промотать состояния и наследства, раскачать Останкинскую башню, сокрушить поднебесные горы…

Михаил Никифорович имел вечерних приятельниц, о чем было сказано. До одной из них, как помнится, он не донес цветы, отчего Любовь Николаевна обрела силу. Когда Михаил Никифорович не ленился, не уставал от бесед с останкинскими знакомыми, он иных своих приятельниц посещал. Одну чаще. Другую реже (приятельница, до которой он не донес цветы, ему более не звонила). Теперь же он стал чуть ли не домоседом.

Себе удивлялся. Что это с ним? То, что он полагал стеречь Любовь Николаевну и уберегать ее от безрассудств, в объяснения не годилось. Что ее стеречь? И как бы он уберег? Тянуло теперь его быть рядом с Любовью Николаевной. Блажь какая-то, глупость, а вот тянуло. Любовь Николаевна волновала его. И будто дитя случая, игривое и забавное. И будто женщина.

Михаил Никифорович вспоминал, как он делал укол Любови Николаевне. Как вводил густую, словно желе, коричневую жидкость лешьего происхождения в ягодные ее места. Как ощутил он пальцами ее кожу, плотную и нежную, чуть шершавую… Мыслями он нередко возвращался в те мгновения и, возвратившись, корил себя за нескромные мысли. Однако мысли его не были нескромными. Скорее, они были возвышенными…

Понимала ли его состояние Любовь Николаевна? Порой Михаилу Никифоровичу казалось, что понимала. Иногда же она, несмотря на свою стыдливость, вела себя так, словно бы и впрямь не знала, зачем в мироздании мужчины и женщины. А как-то, вся сияющая, принесла из Петровского пассажа купальник, будто завтра ее ждали пески и гальки морских побережий. И купальник, а значит, и Любовь Николаевну в купальнике Михаил Никифорович должен был рассматривать. Каково ему приходилось…

Любовь Николаевна успела загореть. Где и как – ее было дело. Наблюдая ее в бикини, Михаил Никифорович мог понять, что белых пятен на теле Любови Николаевны не осталось. Не проглядывались и белые полоски. Загар был ровный, светло-бронзовый, для антикварных магазинов. Тело Любови Николаевны нельзя было признать худым, видимо, сказались ее аппетиты и кулинарные успехи. Но Любовь Николаевна и не располнела, была спортивна. При этом линии ее тела казались мягкими, овальными, как бы ленивыми, словно бы Любовь Николаевна всерьез занималась синхронным плаванием. И дядя Валя засомневался бы сейчас в том, что она полая. Но если бы, скажем, он подумал, что Любовь Николаевна была где-то отлита, оттерпела пресс-форму и вышла изделием массовой продукции (рост – 170 см, вес – 72 кг, ясно, не тощая), то он бы ошибся. Явно выказывалось теперь в ней свое, противное стандарту. И Михаил Никифорович это видел. Чуть широки были ее бедра, с подбором джинсов могли возникнуть у нее и затруднения. А грудь Любови Николаевны не только вызывала мысли о кипении страстей, но опять же давала основания полагать: выкормит близнецов. А при поддержке профсоюзов и государства – и четверых. Михаил Никифорович видел теперь в Любови Николаевне женщину особенную.

Родинки углядел он и на ее спине над левой лопаткой. Прежде их будто бы не было. И на руке ее открылись ему две оспинки, словно следы от школьных прививок. От каких прививок?.. Но эти две детские оспины Михаила Никифоровича растрогали. Ближе и земнее, казалось, стала ему Любовь Николаевна…

Словом, нелегкими выдались для Михаила Никифоровича примерка и показ купальника. Любовь Николаевна на его глазах вставала и под душ, желая провести испытание ткани, ахала в струях от удовольствия. «Что она, издевается, что ли, надо мной? – думал Михаил Никифорович. – Или устраивает искушение, посчитав меня каким-нибудь Антонием или Иеронимом?» Антония и Иеронима Михаил Никифорович знал по картинам и репродукциям, там они сидели немощными старцами. Ветхими деньми. Искушать таких можно было долгое время. Все равно что раскачивать водосточную трубу с намерением натрясти груш. Михаилу же Никифоровичу следовало усмирять плоть.

Михаил Никифорович закрыл тогда дверь в ванную, достал сигареты. «Куда же вы?» – услышал он. Голос у Любови Николаевны был охрипший, смешной, а потому и особенно волнующий. В день укола Любовь Николаевна кушала пломбир будто из-под палки, потом ей понравилось московское мороженое. Накануне она его переела и охрипла. «Нет, это не женщина, – решил Михаил Никифорович. – Это – чучело женщины. Или макет. В натуральную величину». Но хорош был он, рот разинув на это чудо природы! Михаил Никифорович ушел тогда из дома и до ночи бродил аллеями Останкинского парка.

Два дня Любовь Николаевна холодно и небрежно здоровалась в коридоре с Михаилом Никифоровичем. Потом отошла. А когда купила махровое платье, голубое, с молниями, не смогла не познакомить с ним Михаила Никифоровича. «Смотрите, махра какая плотная. И недорого. Всего сорок пять рублей!».

А потом принесла ткани для занавесей и ламбрекенов. И еще что-то в пакетах. Я уже рассказывал…

Я ушел. Любовь Николаевна хлопотала над тюлями и льном. А Михаил Никифорович пребывал в недоумениях.

Украшать квартиру он Любовь Николаевну не просил. Покупать себе сарафаны, колготы, серьги Любовь Николаевна была вольна. Тут – ее дело. Но тащить в дом без спроса какие-то занавеси, да еще вынуждать его плестись в ателье проката за швейной машинкой, это уж… Впрочем, Михаил Никифорович вспомнил о тапочках, какие были на его ногах, и его коммунальная позиция показалась ему зыбкой.

– Вы, Михаил Никифорович, извините меня, – сказала Любовь Николаевна, – что я купила, не посоветовавшись с вами…

– Да нет, почему же, – неуверенно сказал Михаил Никифорович, – наверное, с ними комната будет выглядеть лучше…

– Конечно, лучше! Конечно! – быстро согласилась с ним Любовь Николаевна. – И лучше будет, и наряднее, и приветливее! Вы сами увидите! И на кухне мы с вами устроим занавески. Может, и с вышивками. Или с кружевами.

– С какими еще кружевами… – напрягся было Михаил Никифорович, и кружева и в особенности украшения на кухне подтолкнули его к умеренному протесту, но Любовь Николаевна договорить ему не дала.

– Необязательно с вологодскими, – с пылом стала она просвещать Михаила Никифоровича. – Есть еще калужские кружева, у них крупный рисунок, и потому они скорее подойдут к окнам. И есть елецкие кружева. И есть закарпатские…

Любовь Николаевна, видно, торопилась домой от Никитских ворот, ехала в горячих троллейбусах с пересадкою на Трубной площади и сама была теперь жаркая, словно распаренная, капельки пота поблескивали на ее щеках и над верхней губой, и Михаил Никифорович подумал, что сейчас она определенно не чучело и не макет. В присутствии такой женщины он готов был примириться с кружевами, ламбрекенами, швейной машинкой и переустройством квартиры.

А Любовь Николаевна тем временем занялась пакетами.

Стояла она теперь спиной к Михаилу Никифоровичу. По Москве из-за теплыни Любовь Николаевна сегодня гуляла в васильковой блузке, называемой ею топ. Спина и грудь этой блузой были почти открыты, лишь две бретельки проходили возле трепетной шеи. И родинки над лопаткой Любови Николаевны были видны Михаилу Никифоровичу, и две оспины от прививок на левой ее руке. Михаилу Никифоровичу захотелось погладить эти оспины словно бы с намерением уберечь, охранить от чего-то Любовь Николаевну. Он шагнул к ней и коснулся пальцами ее руки. Любовь Николаевна будто не поняла, что случилось, до того она была занята пакетами, она лишь слегка повернула голову, сказала в удивлении: «Что вы, Михаил Никифорович? Что это с вами?» Михаил Никифорович тут же отпустил руку, отступил от Любови Николаевны, хотел было опять уйти на кухню, а потом в дубравы и кущи Останкинского парка, но Любовь Николаевна теперь совсем повернулась к нему, она словно бы забыла о тюлях и пакетах… В глазах ее высвечивались интерес к Михаилу Никифоровичу и его порыву, бесшабашная решимость и нестерпимость

желания…

– Что же вы отошли, Михаил Никифорович? – спросила она.

Теперь она шагнула к Михаилу Никифоровичу. И он шагнул к ней. Он обнял Любовь Николаевну и встретил ее губы. Язык ее коснулся языка Михаила Никифоровича. Нет, не чучело была Любовь Николаевна…

– Погодите, – вдруг вынырнула она из его рук. – Я ведь с улицы. Из очереди и троллейбусов. Я сейчас…

Дверь в ванную она за собой защелкнула, воду же, как стало казаться Михаилу Никифоровичу, включать не спешила, может, вообще решила спрятаться от него, превратить ванную в крепость – в Нарву какую-нибудь или в Седан, – способную выдержать его осаду и штурм. Михаил Никифорович ходил по коридору в досаде, надеясь, что желание его пропадет. Оно не пропадало. И когда зашумела, заплескалась за дверью вода, досада Михаила Никифоровича не прошла. Он уважал женщин-чистюль. Но все равно, если бы была страсть, обо всем можно было бы и забыть, что тут церемонии, привычки, правила! Что тут теплынь и запахи от очередей и троллейбусов!.. Стихла вода, но Любовь Николаевна не выходила еще минут двадцать. Теперь Михаил Никифорович был в сомнениях. Зачем ему все это? Зачем? Но когда дверь приоткрылась и возникла Любовь Николаевна, приветливая, душистая, при всех своих красотах, досада и сомнения покинули Михаила Никифоровича.

25

В конце сентября в Останкине на столбах и стенах, отнимая место у робких бумажек с пятью или шестью телефонными хвостами: «Меняю квартиру», «Продаю стиральную машину…» – появились написанные от руки приглашения присутствовать – кто пожелает – на играх в пруду под башней дрессированного ротана Мардария о четырех лапах. Под приглашениями стояла подпись: «Д-р Шубников». А приглашения, надо полагать, клеил названный на бумажке консультантом кандидат физико-математических наук Бурлакин.

В назначенный час публика притекла к пруду под башней. К зрелищам здесь привыкли. То станут доставать утопленника из останкинских вод. То пройдет регата ребячьих яхт, и родители на берегах возрадуются. То явятся к пруду, а это уже не пруд, а река Миссисипи, или голубой Дунай, или Венский лес, или отроги Карпатских гор, ковбои, мечтающие о Роз-Мари, либо красотки кабаре, либо драгуны, либо цыгане при бароне-путешественнике, либо хлопцы с гуцульскими трубами в руках, и засуетятся операторы, готовя угощения для цветных экранов.

Ничего странного не было и в играх на пруду воспитанного Шубниковым ротана Мардария.

Я помнил, что Шубников бранил и Бурлакина и ротана, тот и жрал много, и не рос, и не оправдывал надежд Шубникова. Что же, стал теперь оправдывать? Правда, говорили, что как-то Шубников похвалялся, будто ротан статями догоняет сенбернара, но в Останкине преувеличениям Шубникова мало кто верил.

В публике я не увидел ни Михаила Никифоровича, ни Любови Николаевны. А дядя Валя и Каштанов присутствовали.

Над Останкином, как, впрочем, и над всей серединной Россией, происходило сражение стихий. Сражения эти случались в последние годы часто. Нынче уныло двигался к югу циклон с Ямала, гнал с собой студеные воздухи и ветры от карских льдин, намерен был выжать, проморозить теплые слои и потоки, четыре дня радовавшие московских жителей. Но и никак не мог одолеть южанина. А потому то открывалось голубоватое, как бы намазанное сметаной небо, то проносились низкие, с хмурью и придурью облака, на клумбах вблизи пруда гнулись лиловые, розовые и белые астры, теряли лепестки, сгибались стебли георгинов, находила тоска поздней прощальной осени. И ряби возникали на серой воде

Останкинского пруда. Тревожно в те минуты было.

Но южный антициклон пятнадцатикилометровым добродушным толстяком все еще стоял над Москвой и погибать или уходить не собирался. Однако и при нем возникали тревоги…

Шубников с Бурлакиным принесли к пруду ящик, сбитый из фанеры, на носилках… Меня однажды угощали вяленым ротаном предельных, по уверению знающих рыбаков, форм. Рыбаки эти относились к ротанам с ненавистью. И кляли дураков, которые ради развлечения привезли с Дальнего Востока эту окунеобразную головешку. Ротан, по их рассказам, мог зимовать в подледных условиях чуть ли не совсем без кислорода. А потом, бодрый, поедал мальков всех пород, освобождая для себя жизненное пространство. Потому-то во многих московских и подмосковных водоемах и остался один ротан с башкой, наглыми глазами и более ничем. Помню, что вяленый ротан оказался плохой закуской к пиву. Игры же ротана, пусть и дрессированного, на мой взгляд, уместнее было бы показывать либо в ванной, либо во дворе – в тазу или в ведре. А Шубников и Бурлакин вели себя так, будто были намерены предъявить публике ботик Петра.

Купальщиков в пруду было немного, их попросили плавать у южного берега, лицом к Марьиной роще и Садовому кольцу. Там же стояли и юные рыболовы. Из воды они в моменты удач вытаскивали исключительно ротанов, предназначенных для поощрения домашних животных. В публике стали предполагать, что и ротан Шубникова скоро будет адресован какой-нибудь свирепой кошке черной масти. Шубников с Бурлакиным молчали, было в их лицах высокомерие. Они держали паузу. Создавали напряжение. Или ждали кого-нибудь важного.

Видимо, не дождались. И не вызвали напряжения. Но вызвали нетерпение публики. Стали раздаваться реплики, нелестные для Шубникова и Бурлакина. Реплики эти Шубникова и Бурлакина, несдержанных прежде бузотеров, не тронули. Возможно, их высокомерие и спокойствие были чем-то обеспечены. Не завладели ли нынче Шубников с Бурлакиным секретным оружием?

Но вот Бурлакин посмотрел на солнце, послюнявил палец и, подняв руку, изучил силу и направление ветра. Ветры, наверное, были те, что надо. Бурлакин кивнул Шубникову. Шубников подошел к ящику на носилках, откинув одну из стенок.

– Алле! – приказал Шубников.

Из ящика выпрыгнуло животное, поклонилось публике и башне и смиренно отнесло в пасти поводок Шубникову. Поводок тянулся к

металлическому ошейнику.

– Халтура! – закричали. – Это псина! Это эрдель!

Мне тоже в первые мгновения показалось, что из ящика явилась собака, возможно, и эрдельтерьер, а возможно, и пудель. Лапы животного по длине во всяком случае подошли бы и эрдельтерьеру и пуделю. Однако шкура животного была странно гладкая. И блестящая. Я вспомнил о недавних связях Шубникова со скорняками. Возможно, он предназначил для дрессуры, а потом и для обмана останкинской публики явно выморочного эрдельтерьера или пуделя. Но это были мысли первых мгновений. А скоро стало ясно, что перед нами рыба на лысых песьих лапах. И имя ей несомненно Мардарий. И это была рыба ротан.

Шубников без суеты привязал к поводку конец альпинистской веревки. Понятно, не ошейник был на рыбе, шеи она, как положено, не имела. Не суетился и ротан Мардарий. Степенно ждал команды укротителя. А когда команда («Алле! Отдать швартовы!») последовала, ротан оживился и с радостью бросился в серые воды. Юные рыболовы на южном берегу тут же повыдергивали удочки из водоема. Ротан и сейчас показал, что уважает Шубникова, и принялся подражать дельфинам батумской школы. Он выпрыгивал из воды, прижимая передние лапы к брюху, создавал хвостом волну, принимал носом подбрасываемый Бурлакиным резиновый мяч – то есть какой у него нос! – острием своей примечательной головы, – высоко подкидывал его, тут же открывал для приема мяча пасть, но не проглатывал и не раскрамсывал, а крутил его чем-то, возможно, зубами и губами и после серии упражнений отправлял мяч метров на шесть вперед в руки к Бурлакину. В публике кто-то пожалел дрессированное животное, младшего братишку, посчитал его утомившимся, попросил:

– Дайте ему просто поплавать! Искупаться дайте!

Ротан высунул морду, с одобрением посмотрел на просителя и с надеждой на Шубникова. Но укротитель был строг. Покачал головой.

– Ну хоть рыбешкой его наградите! – не унимался впечатлительный зритель. Это был финансист Моховский, известный своей привязанностью к невидимым миру бегемотикам. – Чтоб он ластой по пузу похлопал. Как морской лев!

– У него не ласты. У него длани, – сказал Шубников.

Поняв, что в просьбе заступнику отказано, ротан утонул.

Бурлакин тут же стал дергать веревку, напоминая ротану об его исполнительском долге. Ученая рыба, восприняв сигнал, показалась и продолжила игру с мячом. Многие подумали, что дрессированный-то ротан

дрессированный, но, видно, еще озорник, молод и глуп, может надерзить укротителю и консультанту, а то и проявить неразумную пылкость самостоятельности. И как тут без веревки? Однако дальнейший ход выступлений ротана показал нам, что веревка в руках Бурлакина орудие символическое. Или имеет смысл, нам не открытый.

Но пока ротан играл с мячом. Он повернулся на спину, поднял мокрые лапы, получил от Бурлакина еще два мяча, голубой и зеленый, стал жонглировать тремя предметами. Кое-кто на берегу принялся поддерживать его аплодисментами. По лицу Шубникова можно было понять, что все это пока пустяки и нечему удивляться. А Мардарий исполнял для нас упражнения с булавой, лентой, обручем и квасной бочкой. Бочку он крутил и подбрасывал задними лапами. Или нижними конечностями, кто знает. Делал он и номера из водяного цирка. Садился и на деревянный велосипед. Держал лапами зонтик. Наконец после секундной паузы подплыл к берегу и, получив из рук Бурлакина губную гармонику, прижал ее к пасти.

– Алле! – уже и не приказал, а попросил Шубников.

Ротан дернулся, возмутив воду. И возник звук.

– Алле! – закричал Шубников.

Мардарий опять подул в гармонику. Следовали новые «алле» Шубникова и новые звуки. Впрочем, одни и те же. Ожидаемого разнообразия не получалось. Может, Шубников не смог дать ротану приличное музыкальное образование, может, способности его как педагога были сомнительными, – что же он теперь кричал на рыбу? Но тут Мардарий заиграл, и мы услышали музыкальную фразу, вернее, отрывок из нее. Однако и отрывка этого было достаточно, чтобы понять: ротану или его учителю была хорошо известна мелодия песнопения «Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе…». Или же другого: «Соловей российский, звонкий птах…»

– Браво, Мардарий! Браво! – закричал Шубников.

– Во дает! – шумели в публике.

Надо сказать, что ценители разошлись в определении мелодической основы исполненной на гармонике пьесы. Некоторые считали, что тут чувствуются темы Аедоницкого. Другие говорили, нет, это Журбин. Называли и Людмилу Лядову, и Эдуарда Ханка, и Паулса. Выкрикивали и названия на английском языке. Серьезные же люди утверждали, что рыбу определенно вдохновил композитор Шаинский. Вспоминали даже полонез Шаинского. Одним словом, все были довольны, и пришло время для поощрений ротана Мардария.

Тут обнаружилось, что помимо фанерного ящика к пруду был принесен заранее и упрятан до времен в кусты крупный мешок с угощениями. Жестами ротана подозвали к берегу. Ротан подплыл и открыл пасть. И мы увидели, какие у него челюсти и зубы. Бурлакин развязал мешок, а Шубников стал бросать угощения ротану. Кидал он металлические предметы из тех, что могли порадовать заготовителей вторичного сырья. Какие-то ржавые и гнутые ломы, цепи, сковороды, ободы автомобильных колес, листы кровельного железа. Ротан ловил угощения пастью, как раньше мячи, кромсал, дробил их зубами и проглатывал. Потом из хозяйственной сумки Бурлакин начал доставать стеклянные банки, бутылки из-под вин, кефира и растительного масла.

– Их же сдавать можно! – возмутился таксист Тарабанько.

– У горлышек отбитые края, – успокоил его Бурлакин.

Стекло ротан жевал с хрустом, вызывавшим у многих зависть и ощущение голода. Мешок и сумка обмякли. Бурлакин перестал повторять:

– Ай, браво, Мардарий! Ай, браво!

Шубников задумался.

– Алле! – сказал он, вскинул руку и повелел ротану плыть в южную сторону, опять в направлении Марьиной рощи.

Следовало ожидать особенного номера.

Может, требовался барабанщик, чтобы дробью сопроводить искусство Мардария. (Мне при этом вспомнилось: «Ни в Брабанте, ни в Трабанте нет барабанщиков таких, как у нас».)

Ротан проплыл метров десять, перевернулся на спину и стал зевать. Потом, похоже, он задремал.

– Алле! – кричал Шубников.

Мардарий будто его и не слышал.

– Алле! – кричал Шубников уже обиженно и зло.

А ротан храпел.

– Тащи его! – насупившись, сказал Шубников консультанту.

Бурлакин потянул веревку и очень быстро выбрал рыбу из воды.

Шубников с Бурлакиным, не скажу, что бережно, погрузили его в ящик, взялись за носилки, не вспомнили о мешке и сумке, не взглянули на людей, ими приглашенных к пруду, и поспешили к дому Шубникова. Видно было, что расстроились.

В публике возникли вопросы и недоумения. Но разъяснить нечто существенное было некому.

– Ну что! – сердито было сказано Игорю Борисовичу Каштанову. – Понял, что выходит из твоей сделки?

– А что плохого, – спросил Каштанов, – в том, что мы увидели сегодня эту рыбу?

– Еще не такое увидим, – мрачно произнес Филимон. – И ты, Игорь Борисович, еще не возрадуешься. Может, и содрогнешься.

– Словато какие ты произносишь возвышенные. Будто для астраханских трагиков. Не из «Макбета» ли?

– Продан пай-то? Или проигран? – спросил я. – И каким образом оформлена купчая?

– Это имеет отношение единственно ко мне, – скривил губы Каштанов.

– Но ведь твой пай, как и все другие, отменен актом о капитуляции. Стало быть, он – пшик!

– Вот! – обрадовался Каштанов. – Именно что отменен!

– Но как же ты уступил его Шубникову?

– Ну пошутил! – сказал Каштанов. – Ну выпил и пошутил!

– А не было ли причин для твоей шутки? – предположил я, отчего-то желая раззадорить или даже обидеть Игоря Борисовича. – Не попал ли ты в зависимость к Шубникову? Не решил ли выйти из нее? Или выползти? Или еще из чего-то выползти?

– Мне этот пай не нужен! Не нужен! – рассердился Каштанов. – И оставьте меня! И потом – что вы меня-то укоряете? Что вы ко мне-то лезете? Если вы чем-то обеспокоены, не логичнее было бы вам прежде всего поговорить с Михаилом Никифоровичем? А еще бумагу перечитайте внимательнее, розовую, ту, что взялся хранить дядя Валя, внимательнее, внимательнее. А я пошел…

– Еще попомнишь мои слова! – бросил ему вслед Филимон.

– Валентин Федорович, – обратился я к дяде Вале, пребывавшему в молчании, – бумага, что просил Каштанов перечитать внимательнее, у вас? Вы однажды обещали дать мне ее. Копию снять.

– Я запамятовал, где она, – пожал плечами дядя Валя. – Засунул куда-то и не помню.

– Вы сказали: в серванте, вместе с облигациями государственных займов. Послевоенных.

– Разве? Там ее нет… Но беда-то ведь небольшая? А? Да и сам ты о бумаге мне не напоминал. А времени сколько прошло!

– Да, дядя Валя, – согласился я. – Времени прошло действительно много… А как ваш автобус? В порядке?

– Ну а как же, – сказал дядя Валя. – Пенсию мне оформили, но и уговорили остаться за рулем. Такие, как я, сам знаешь, на дороге не

валяются.

– Вы, помнится, стали ходить в парк. На Плешку. Или в Лебединую стаю.

– И сейчас хожу, – заулыбался дядя Валя. – Мне приятно. Многим приятно. Там есть забо-о-ористые подруги. А я ведь, если меня обожают, могу стать и душой компании.

– Я не сомневаюсь в этом, дядя Валя. И собака ходит?

– Ходит. Но она, если нужно, делает вид, что ее тут нет. И не дышит… Тактичная, сукина дочь!

– Бумагу, ту, розовую, вы не смогли бы все же отыскать?

– Не обещаю, – сказал дядя Валя. – Да и есть ли нужда искать?

– Еще ощутишь эту нужду! – опять пророком загремел Филимон.

– Не шуми, – тихо и словно бы устало сказал дядя Валя. – Не вызывай на пруду шторм…

Знакомые и незнакомые нам созерцатели Мардариевых игр уже расходились. Кто молча, кто обмениваясь впечатлениями. Высказывались вслух и суждения, какие уводили собеседников в далекие мысленные и социальные пространства. Гадали, в частности, каково пришлось бы ротану в странах «третьего мира». Полагали, что богатые обнаглевшие люди без зазрения совести стали бы использовать ручную рыбу для военных нужд. Скажем, для сбора разведывательных данных. В таком случае ротана могли одеть в гражданское платье, дать ему кличку Трианон и научить посещать магазины минеральных вод. Некоторых удивляла проявленная ротаном способность дышать останкинским воздухом. Лапы-то ладно, не такие игры позволяла себе природа, но прогулки рыбы по суше озадачивали. Впрочем, вспоминали Ихтиандра. Тот тоже терпел и воду и атмосферу. А в связи с Ихтиандром приходил на ум зловещий дон Зурита, сыгранный в кино не менее зловещим Михаилом Козаковым. Вспоминали, что дон Зурита был намерен эксплуатировать благородного, простодушного Ихтиандра и расставлял ему сети. Но мог ли обнаружиться дон Зурита и вблизи музыкального ротана Мардария?

В обсуждение зрелища на пруду я не вступал. А вот беспокойство в себе старался погасить. Думал: ну возник в Останкине ротан Мардарий, ну развлекаются с ним Шубников и Бурлакин, и ладно, их дело, что тут эдакого? Уступил Каштанов Шубникову живой или неживой пай, пропала у Валентина Федоровича бумага со словами и подписями, ставившими Любовь Николаевну на колени, – ну и что? Стоит ли из-за всего этого беспокоиться? Разве нет иных, более высоких забот?

Но никак не выходила из головы одна мелочь. Отчего расстроились

Шубников с Бурлакиным? Чем не угодил воспитателям ротан Мардарий? Отчего они не смогли управлять им, если пай их все же был существующим?..

26

Шубников и Бурлакин и впрямь расстроились. Подлец Мардарий заснул. Поначалу Шубников с Бурлакиным думали, что он притворяется, рыбья кровь, делает вид, что храпит. А он спал подлинно. Шубников с Бурлакиным принесли ящик с рыбой к дому, в лифте ящик пришлось ставить на попа, но даже и путевые неудобства не взбодрили ротана. Опущенный в ванну ротан сразу же сунул передние лапы под голову, подтянул хвост к брюху и принялся догонять сны. Хотя какие сны могли возникнуть в дурьей рыбьей башке!

Ротан заспал не один, а два номера.

Шубников не отважился бы назвать их уникальными, но нынче они казались ему необходимыми, как, предположим, хор «Славься» в финале оперы про костромского крестьянина на стихи С.Городецкого или как застывшие рты провинциальных чиновников и их дам в спектакле по пьесе Николая Васильевича Гоголя. Ротан Мардарий не дал возможности опустить занавес. Подлый стервец! Теперь Шубников будто жалел, что не возник момент апофеоза и не бросились к нему люди с поздравлениями, цветами и вопросами, на какие он в высокомерии мог позволить себе и не отвечать. Мерзкий ротан Мардарий уснул, обожравшись железом и стеклом, и смял финал представления. А должен был еще поймать на лету трясогузку, сидевшую за пазухой у Бурлакина, а потом сесть в прогулочную лодку и пересечь на веслах водоем с востока на запад.

– Плетью, что ли, его огреть? – спросил Бурлакин.

– Ладно, не надо. Пусть спит, – сказал Шубников. Не трогай. Зверь все-таки…

– Да, зверюга! – согласился Бурлакин.

Они закрыли дверь в ванную на защелку.

Для того чтобы изжевать и защелку и дверь, Мардарию не потребовалось бы и двух минут. Однако он относился к закрытой Шубниковым двери с почтением или страхом, признавая для себя обязательность двери. Отчего так, Шубников с Бурлакиным догадывались. Полагали, что догадывались… Но ведь это – пока. А вдруг бы ротан перестал уважать дверь? Сегодняшнее его неповиновение могло обещать казусы впереди… Впрочем, Шубников с Бурлакиным скоро успокоили себя, убедив в том, что виноваты они сами, перекормили Мардария. А Мардарий, видимо, перекупался в пруду. Или перегрелся на солнце. Или

долго был на ветру.

Бурлакин присел к столу, достал блокнот, ручку, японское счетное устройство и принялся выяснять энергетические затраты ротана, калорийность железных и стеклянных блюд, предложенных рыбе, степень изношенности его организма, возможности его жизненных ресурсов и прочее, вывел цифру и опечалился. Не так уж и перекормлен был Мардарий. Однако задрыхнул, подлец!

– Что-то здесь не так… – задумался Бурлакин.

– Э-э-э! – поморщился Шубников. – От твоей науки идут лишь одни приблизительности. И заблуждения… А впрочем, с Мардарием мы прекращаем!

– То есть? – обеспокоился Бурлакин.

– Хватит с ним! Надоел! – сказал Шубников. – Перейдем к насекомым.

– К каким насекомым?

– А к любым! Рыбу выкинем! Я из-за нее хожу в Астраханские бани!

О вынужденных походах Шубникова в Астраханские бани уже говорилось. Шубников и умывался теперь на кухне, там стояли и мыльница, и зубная щетка, и тюбики с пастой. Ванная походила на камеру одиночника. Единственно, что не употреблял ротан Мардарий в пищу, были краны, трубы, смеситель, стояк душа и душ подвижный. Рыба соображала, что к чему. Безмозглая, казалось бы, скотина, но очень не редко, и всякий раз к удивлению Бурлакина и Шубникова, она проявляла способность отстаивать свои житейские удобства и выгоды.

Бурлакин, продолживший было выводить цифры с коэффициентами, степенями и еще с чем надо, положил ручку на стол. Японское же устройство считало само по себе. Бурлакин знал нрав приятеля и привык к легкости, с какой Шубников менял занятия и увлечения. Мардарию мог сегодня и впрямь наступить конец.

– К каким насекомым? – повторил Бурлакин.

– А к обыкновенным! – сказал Шубников. – Хотя за чем нам насекомые! Что ты городишь! Давай возьмем птиц! Воробьев! Снегирей! Альбатросов! Займемся их развитием и воспитанием! Нет! Нет! Никаких птиц! Они еще примутся в волнении сбрасывать нам на головы гуано! Знаешь что. Давай раздуем самовар!

– Какой самовар?

– Хороший самовар! Из меди! Из золоченой. Тульский, баташевский. И чтоб с медалями. Нету, так достанем!

– Слушай, – и Бурлакин показал на ретивое японское устройство, – оно подсчитало, сколько и чего надо Мардарию, чтобы он был чуть-чуть

голоден и бодр.

– Отставить Мардария! Мардария укоротим, разберем и забудем! Пусть при этом вернет сазана и все, что сожрал в доме! А мы теперь раздуем самовар!

– Пойми, – сказал Бурлакин, – Мардарий сегодня не настолько переел, чтобы заснуть.

– Я понял, – утих Шубников. – Я понял. И хрен с ним, с этим Мардарием. И с самоваром тоже.

– Отчего же и с самоваром?

– Все эти хепенинги давно устарели. Ну раздули бы мы самовар посреди, скажем, Трубной площади, ну пришли бы дураки ротозеи, остановилось бы движение – ну и что дальше?.. Но и с Мардарием все! Все!.. Пойдет на хозяйственную сумку с рыбьей чешуей!

Шубников бушевал, говорил слова о Мардарий, в них были одни приговоры. Но сумку с рыбьей чешуей шить не спешил и не мешал пока Мардарию почивать в ванной. В истории с Мардарием кони понесли неизвестно куда, а вожжей не было в руках у Шубникова, но и прекращать бег коней он не находил резона.

Развитие ротана удивило Шубникова с Бурлакиным. Развитие это вышло скорым и отчасти неожиданным для них. Пай они добыли у Каштанова, но зачем он им – они и сами не знали. Да и какие были основания думать, что пай им окажется полезен? Так, вошли в кураж и сломили Каштанова. Добытый-то, но не действенный пай можно было повесить на гвоздик в коридоре. Однако не повесили, а взглянули однажды в ванной на шуструю мелкую рыбешку и попробовали. И пошло. При этом о причинах своих удач как будто и не думали. И уж точно не судачили о них вслух. С ротаном Мардарием все шло словно бы само собой. По прихоти природы. Ротан подрос, приобрел лапы, выучился манерам, стал хоть куда. Но, может быть, сегодня его развитию был определен предел? Все, посчитала природа, хватит?.. Или вдруг кто-то осерчал?

Бурлакин, испорченный точными науками, мог подвести свои мысли к определенности, сформулировать их и без дипломатии и оглядок высказать в воздух, кому-нибудь. И этим все испортить. Шубников более верил интуиции и чувствам, не любил о тех или иных явлениях жизни говорить впрямую, словно бы боясь усложнить отношения с судьбой и неизвестными ему силами или же спугнуть что-то. Бурлакин понял Шубникова и никаких мыслей и определенностей никому не высказывал, только спросил:

– Так что же будем делать с Мардарием?

– Не знаю, – неуверенно и присмирев сказал Шубников. – Посмотрим.

В тот день Шубников не вспоминал более ни о насекомых, ни об альбатросе с воробьями, ни о раздутии самовара, вел себя как школяр в углу. И потом два дня кряду он ходил подавленный и хмурый. После радения на службе приезжал к Шубникову Бурлакин, они заглядывали в ванную. Мардарий спал. Можно было облегчать себя мыслями о злонамеренном притворстве неблагодарной рыбы, о происках останкинских и марьинорощинских врагов, например аптекаря, но облегчения эти годились для склеротических старух. Шубников же с Бурлакиным были готовы к худшему. Все шло к тому, что не они сломили, облапошили, провели Каштанова, а некто более остроумный и с возможностями решил подшутить над ними. Видели Шубников с Бурлакиным, что спящий ротан усох, будто пребывал не в воде, а выпотрошенный валялся на балконе, и лапы его, похоже, вот-вот должны были превратиться в плавники. Шубников стал нервничать, его взволнованное состояние передалось и Бурлакину.

– Знаешь что, – сказал Шубников, – давай откажемся от всех желаний.

– Как же это?

– Я не говорю про желания организма. В их исполнении нет выгод, одно подчинение природе. Я говорю о желаниях и проявлениях воли. Отказаться надо от капризов и игры.

– Ты не сможешь, – сказал Бурлакин.

– Заставлю себя. Все во мне замрет. – Сразу же Шубникову стало жаль себя, он добавил: – На время… – И это собственное высказывание тотчас вызвало беспокойство или даже страх у Шубникова, он заерзал на стуле, стал оглядывать комнату, словно бы отыскивая слушателей. – А может, и не на время… – сказал Шубников, явно стараясь ублагостить кого-то. – А может быть, и навсегда…

– Врешь, – сказал Бурлакин. – И надо вернуть пай, не мучить, не соблазнять, не искушать и не запугивать себя. Жили и жили. Что выходило, то и было наше.

– Нельзя. Не могу. Пусть будет при мне перо райской птицы, хотя самой ее и нет.

– Но ведь ты же боишься, как бы оно, перо это, не сожгло тебя. Или не упорхнуло невзначай. И этим тебя не унизило.

– Хватит! – сказал Шубников. – Кончили. О пае мы забыли. Но возвращать его мы не будем. Тем более что мы о нем забыли.

На том и сошлись. Но оба они знали, что долго эдак не выдержат. Уж Шубников непременно начнет хорохориться. Или впадет в уныние и

примется рвать на груди рубаху либо пуловер. Нате, издевайтесь надо мной, увлекайтесь своими затеями, остроумиями, представлениями, только не держите меня в полудреме. В жизни и так все утопает во сне. Один сон, может, и есть… Однако, к удивлению Бурлакина, Шубников терпел и еще несколько дней, жил мирным гражданином. Он даже надумал устроиться утренним разносчиком почты. Шубникова нередко принуждали к службам и работам, но долгими его государственные усердия не получались. Хотя порой (поначалу) Шубников и увлекался особенностями свежих для него должностей и профессий, брызги идей рассыпал в азарте, однако очень скоро он мог и заскучать. Теперь же его удручали и финансовые обстоятельства. Продажей собак он не занимался с апреля, а летнее солнце присушило дела с шапками. Хорошо хоть, Бурлакин взял на сбережение часть его денег и теперь раз в неделю выдавал Шубникову на жизнь. Но тут же Шубников посчитал, что просыпаться на заре ему ни к чему, а потому надо идти ему не в разносчики почты, а, пока сезон, в продавцы фруктов на воздухе. Порыву его обрадовались в магазине «Грибы – ягоды», и Шубников начал торговать карибскими грейпфрутами, казанлыкскими помидорами, сизой и тугой михневской капустой у Сретенских ворот, прямо возле чугунной ограды церкви Успения в Печатниках, ныне морского музея.

Но вскоре он посчитал, что прибытки его нечестны. На пять рублей в день. Или на семь. Бурлакин пытался уверить его, что это чепуха. Пересортица. Или же ломка тары. Но Шубников не мог успокоиться:

– Желаний у меня нет! Пять рублей поверху мне не нужны. Или семь. Я ничего не желаю!

Крики его производили впечатление искренних. А Бурлакин вспоминал, как они волновались, следя за развитием ротана, тогда еще не имевшего имени. То-то было радости! То-то было надежд! Возникали тогда в голове Шубникова и Бурлакина и частные желания, от рыбы удаленные, и они сбывались! Но это были именно крошечные, легкомысленные желания-просьбы вроде того, чтобы срочно починить «молнию» на штанах Бурлакина без похода в мастерскую и унижений там, такие просьбы вряд ли кого могли обременить или раздражить. Нынче же и на желания подобной степени был объявлен запрет. Однако прибытки на Сретенке в пять или семь рублей странным образом оставались в руках Шубникова.

Шубников с Бурлакиным гадали, а не перестарались ли они с ротаном, не зарвались ли, не забрались ли в калашный ряд. Однажды Шубников и Бурлакин решили поговорить с Каштановым, вызнать подробности

пребывания Игоря Борисовича в роли пайщика кашинской бутылки. Каштанов подробности оставил в сыром, грустном склепе тайны, он будто бы все забыл. Хотя было очевидно, что он все помнил. Иные вопросы и напоминания заставляли Игоря Борисовича вздрагивать, а порой он оживлялся, глядел на Шубникова и Бурлакина с сожалением и иронией. Принимать пай обратно Игорь Борисович решительно отказался, нервически рассмеявшись.

Слова о возвращении пая произнес Бурлакин. Шубников потом отчитывал его, напоминал Бурлакину, на чье имя оформлен пай и чье дело, как поступать с паем. Бурлакин обиделся, сказал, что Шубников ему надоел и что ему хватит своих дел и забот. Два дня он не показывался в Останкине. Но потом объявился. За семь лет знакомства он привык к Шубникову, многое в натуре приятеля притягивало его, и теперь он как бы пошел на мировую с ним. Тем более что Шубников дважды вставал на колени перед Бурлакиным, говорил, что он может сейчас только каяться, каяться, каяться…

Раскаяния Шубникова сопровождались порой и слезами. С влажными глазами он вспоминал, как однажды, устроившись на лето массовиком-культурником с аккордеоном при турбазе в Карпатских горах, он по дури, из собственной гордыни и в назидание человечеству устроил сожжение при людях книг (приволок их в Карпаты чемодан), ставших ему неугодными. Горели институтские учебники Шубникова, горели работы мастеров, ему когда-то нужных: тома Эйзенштейна, «Режиссерские уроки Станиславского» Горчакова, книги Пудовкина и Кулешова, «История кино» Садуля, отчего-то и «Перегной» Сейфуллиной. Тогда Шубников веселился и прыгал вблизи костра. Теперь же он был готов признать себя дураком, идиотом и осквернителем праха. Он порицал сейчас свои авантюры и денежные добычи на Птичьем рынке. Случаи же с шапками из собачьих шкур он называл безобразными и подлыми. Обличал себя и каялся Шубников громко, и Бурлакин, растроганный страданиями приятеля, все же понимал, что Шубников как на слушателя рассчитывал не на одного него, но и еще на кого-то, более достойного. Но Бурлакин верил Шубникову и даже опасался, как бы Шубников в своих раскаяниях не отважился броситься в подвиги самоусовершенствования и не залез, грешным делом, на гранитный столб с намерением просидеть там сиднем и без пищи сорок лет, не принял бы черный обет молчания и безбрачия.

Но Шубников не залез на столб и не дал черных обетов.

Как-то вечером они мирно прогуливались с Бурлакиным бывшим Ярославским шоссе, а ныне проспектом Мира, возле Дома обуви. Бурлакин

молчал, а Шубников иногда произносил одни и те же слова: «Нет, я думаю об этом, но этого я не желаю». Или: «И этого я не желаю». Страсти сминали душу Шубникова.

И вдруг Шубников сказал:

– А вот чурчхелу я бы сейчас съел. Можно и не из грецких орехов. Можно и из фундука. Но в виноградном соке.

Бурлакин поглядел на приятеля с удивлением. Откуда было взяться чурчхеле возле Дома обуви с гуталинами и шнурками? Но они свернули за угол дома и на асфальтовых тропах, ведущих к Ярославскому колхозному рынку, увидели двух смуглых женщин в цветных одеяниях, то ли цыганок, то ли дочерей Кавказа.

– Чурчхела! Чурчхела! Берите, красавцы! – зазывали они. – Подарок солнца и гор! И на пенсии будете жить сто лет!

Шубников бросился к хозяйкам чурчхелы, все свои сегодняшние деньги отдал им.

– Куда столько? – удивился Бурлакин.

– Раздадим детям! – шумно ответил Шубников. – И сами съедим! Что я говорил! Пришел и на нашу улицу… Мчимся домой!

На бегу он роздал детям почти все кавказские лакомства, в лифте чуть ли не прыгал от нетерпения, дверь в квартиру готов был высадить плечом, ворвался в ванную. Ротан Мардарий сидел в ванне, широко растянув глаза, ковырял в зубах ржавым гвоздем.

– Ну! Видишь! – торжествуя, обратился Шубников к Бурлакину. – Вот тебе и верни пай! А мы еще опасались аптекаря!

Бурлакин пожал плечами: при чем тут Михаил-то Никифорович?

27

Ни о каких опасениях Шубникова Михаил Никифорович не догадывался.

«А ты вроде поправился», – говорили Михаилу Никифоровичу знакомые при встречах. Иные выражались грубее: «Ба! Да ты отъелся!» Михаил Никифорович в смущении оправдывался: «Сейчас в аптеке жизнь спокойная…» А ведь действительно отъелся.

Краткий, искаженный рассказ донесся до Михаила Никифоровича о представлении на Останкинском пруду. Плавала мелкая рыба, и ее дергали веревкой. Но мало ли какие фокусы с животными могли затеять Шубников и Бурлакин. Михаил Никифорович не удивился бы, если бы услышал, что Шубников с Бурлакиным в парке возле бильярдной устраивают на деньги битвы короедов или скачки бытовых муравьев.

Потом ему рассказали о губной гармонике. Теперь в Останкине все более склонялись к тому, что рыба играла (или даже напевала) сверхнебесное: «Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе…» И это известие мало тронуло Михаила Никифоровича. Но однажды певунья Любовь Николаевна, хлопоча на кухне – были принесены в дом баклажаны, – тихонько, скромно так начала: «…и снится нам не рокот космодрома»; далее пошла «трава у дома» и прочее. Михаила Никифоровича будто что-то насторожило. Или разочаровало.

– Любовь Николаевна, – сказал он, – разве имеет отношение ваша песня к баклажанам? И эти дрова у дома или трава у дома?

– На первое, – сказала Любовь Николаевна, продолжая резать баклажаны, – будет сегодня наманганская шурпа с горохом.

– Это хорошо, – кивнул Михаил Никифорович. Но и отступать он не хотел. – Даже и не думал, что вам на душу может лечь такая расхожая песня. Уж если рыбу заставили выучить ее, то…

– Михаил Никифорович, – мягко сказала Любовь Николаевна, – я ведь уже не пою про иллюминаторы. Эта песня не моя. Но она сейчас из всех щелей лезет, вот и в меня вползла…

– Ладно, – начал все же отступать Михаил Никифорович, – пойте что хотите. Меня лишь удивило, что вот вы и рыба…

– Михаил Никифорович, – покачала головой Любовь Николаевна, – у нас сегодня не рыбный день.

Она и улыбнулась Михаилу Никифоровичу, но в улыбке ее словно

была решительная просьба не касаться ими же самими отодвинутых вдаль тем. Конечно же, она знала о рыбе Шубникова, как знала и о многом другом, Михаилу Никифоровичу неведомом, и это он должен был держать в голове, а Михаил Никифорович теперь позволял себе быть забывчивым.

И тут Михаил Никифорович отправился в прихожую, надел куртку.

– Куда же вы, Михаил Никифорович, ведь обед! – удивилась Любовь Николаевна. – И в аптеку вам к трем.

– У меня дела, – пробурчал Михаил Никифорович. – И я не голоден.

И, не дожидаясь уговоров, упреков или досад Любови Николаевны, он вышел из квартиры.

Часа полтора он мог провести в прогулках по Останкину или в разговорах с приятелями. Должен заметить, что запахи кухни возбудили в Михаиле Никифоровиче чрезвычайный аппетит. Подумав, он забрел в пивной автомат на Королева. Михаилу Никифоровичу обрадовались, его давно не видели с кружкой в руке, такой он стал домосед. Охотно оделили его новостями, в особенности про ротана Мардария. Естественно, наиболее осведомленными оказались люди, в Мардариев день к пруду не попавшие. Их сведения были самыми живописными и достоверными. И выходило, что Шубников и Бурлакин с помощью насоса с ножной педалью для пляжных матрацев раздули ротана чуть ли не до размеров дирижабля, чью громадину искал во льдах летчик Чухновский. Все еще спорили о музыке. Говорили даже о переложении для губной гармоники Шюблеровского хорала Баха. Свидетель же и слушатель финансист Моховский вдруг стал уверять, что в тот день воздух Останкина был облагорожен звуками арфы. И будто бы не из пруда они восходили к небу, а, напротив, из-под облаков ниспадали на останкинских жителей. Однако о благородном вспоминали меньше, чем о низменном. Зверь ненасытный виделся в дрессированной Шубниковым и Бурлакиным рыбе. Не в стоячем бы пруду ему следовало пролеживать бока, а служить при городской свалке на станции Бирюлево-Товарная. Обсуждалось и бегство Шубникова и Бурлакина с рыбой под мышкой. Настораживала тихая, будто иноческая жизнь воспитателей ротана в последние дни. («И дядя Валя стал совсем тих», – говорили и показывали на стоявшего в автомате Валентина Федоровича Зотова.)

– О! – сказал явившийся к людям мрачный водитель Лапшин и ткнул в сторону Михаила Никифоровича пальцем. – Говорят, ты рыбами торгуешь?

– Дуб ты все же, Коля, хоть у тебя и генералиссимус на ветровом стекле, – сказал таксист Тарабанько. – Это не он, а Игорь Борисович Каштанов. Это он пай продал.

– Слушай, Михаил Никифорович, – спросил инженер по

электричеству Лесков, – ночуешь ты на раскладушке в ванной?

– Я никогда не интересовался, – хмуро сказал Михаил Никифорович, – особенностями твоих ночлегов.

– Поинтересовался бы. Я бы ответил. На раскладушке так на раскладушке. В ванной так в ванной. А тут дело касается всего Останкина. И многие желают прояснений.

– Ну хорошо, – сказал Михаил Никифорович. – На раскладушке. В ванной.

– Да я бы на твоем месте!.. – вскипел Лапшин. – Да я бы эту!..

– Коля, это не ты, – поинтересовался инженер Лесков, – расширял туалет для своей жены?

– Ну и что! – возмутился Лапшин. – Моя-то стоит того!

– Вы бы какие другие темы затронули, – мирно сказал стоявший поблизости дядя Валя.

– Михаил Никифорович, ты – на раскладушке. А ротан играет на губной гармонике, – сказал Лесков. – Но надо ли нам это?

– Что вам надо, а что не надо, – сказал Михаил Никифорович, – в этом вы сами разбирайтесь. И разрешите откланяться…

Однако не сразу Михаила Никифоровича пропустили к выходу. Охотников побеседовать с ним нашлось множество. Снова вспоминали и рыбу и арфу в поднебесьях. Что же волноваться, говорил Михаил Никифорович, если звучала арфа. На арфах играют благородные женщины. И ухоженные. В перстнях и браслетах. На сожаления по поводу раскладушки Михаил Никифорович отвечал уклончиво, он и так ввел публику в заблуждение. Вовсе не каждый раз он ночевал на раскладушке в ванной. Находилось место и в комнате, о чем еще сегодня утром Михаил Никифорович не жалел.

При этом порой на раскладушку и в ванную Михаил Никифорович, придумывая поводы, удалялся сам. Любовь Николаевна оказалась существом пылким, бурным, нередко и неутомимым. Нельзя сказать, что Михаил Никифорович был слаб. Нет, Михаил Никифорович был крепок и удал, но приходили мгновения, когда он тайно и мечтательно думал именно о раскладушке в ванной… Но какое кому дело было в Останкине до условий его ночлега? Что они к нему пристали?

Посещение пивного автомата не улучшило настроения Михаила Никифоровича. Последние недели он жил покойно, в тепле и уюте. Причем разборами и исследованиями своих отношений с Любовью Николаевной не занимался. Мало ли какие мысли и открытия могли возникнуть после тех разговоров и исследований. Были ли они нужны сейчас Михаилу

Никифоровичу? Пожалуй, что и не были. Редко когда так приятно и бездумно (и оттого еще более приятно) он проживал на земле. При этом выходило, что он был спокоен за Любовь Николаевну. Вернее, спокоен за степень и ровность ее отношения к нему. Конечно, Михаил Никифорович не считал, что он и его квартира для Любови Николаевны – все. Однако он как бы позволял себе забывать о том, что для нее кроме него может существовать и еще нечто. То обстоятельство, что, как выяснилось, Любовь Николаевна не была девушкой, нельзя сказать чтобы сильно покоробило или потрясло Михаила Никифоровича, хотя при всем том, что Михаил Никифорович на этот счет не имел ложных мнений и был полный либерал, оно, обстоятельство, поначалу все же удивило и расстроило его. «Но мало ли что! – подумал Михаил Никифорович в часы, какие были мудренее. – Ну и пусть! Ее дело!.. И мало ли что у нее могло быть раньше…» Эти «раньше» и «при нем» все поставили на места в существовании Любови Николаевны. «При нем» Любовь Николаевна словно бы не могла позволить себе ничего противного ему, Михаилу Никифоровичу, не могла и затевать или предпринимать неизвестное ему. С этим Михаил Никифорович и жил.

«Но кто же я при ней?» – думал Михаил Никифорович теперь, когда из-за песни Мардария взял и сбежал из дома. Ответы по дороге в аптеку приходили ему на ум малоприятные. Иные и грубые. «Нет! Все! В шею! – думал Михаил Никифорович. – Съедет она с квартиры сегодня же! – Ему даже привиделась табличка на его двери: „Квартира от постоев свободна“. – Все! В шею! – повторял Михаил Никифорович. – Если она… Если так… Если…» Впрочем, чувства Михаила Никифоровича никак не могли пробиться сквозь эти «если» и обрасти далее словами. Что – если? Что он должен был высказать Любови Николаевне, прежде чем произнести: «Все! И чтобы ноги вашей здесь не было!»? Возмутиться по поводу ротана Мардария и интриг с гипотетическим паем Каштанова? Или обвинить Любовь Николаевну в том, что у нее, оказывается, есть дела, встречи, отношения, наконец, неизвестная ему жизнь на стороне? Так, что ли? Но в чем тут вина Любови Николаевны? Какие такие соглашения с ним она переступила, какие нарушила клятвы?

Клятв они не давали друг другу. И не заключали соглашений.

А каков он сам-то во всей этой истории? Какие есть у него основания для возмущений и обид? Или Михаил Никифорович полагал, что Любовь Николаевна должна ощущать себя сиротой, спасенной и обогретой им из милосердия? Выходило, что нечто подобное, пусть и не названное – для удобства жизни – словами, Михаил Никифорович позволял себе допускать

в отношениях с квартиранткой. И он обязан был признаться теперь самому себе, что удобство жизни последней поры ему нравилось и порушить это удобство ему не хотелось бы…

Как бы ему ни было удобно и хорошо, решил все же Михаил Никифорович, а надо это прекратить.

Но что следовало сказать Любови Николаевне? Вдруг она обидится? Вдруг заплачет? И куда ей деваться на ночь глядя?

Воспоминание о баклажанах и наманганской шурпе, видимо пока не исчезнувших из его кухни, также могло облегчить участь Любови Николаевны. «Ну уж нет! – воинственно сказал себе Михаил Никифорович. – Перетерпим!» На всякий случай, окончив дела в аптеке, он зашел в кафе «Сардинка», съел рыбу терпуг с картофельным пюре. Даже кости перемолол зубами.

В троллейбусе Михаил Никифорович был уже сердит и свиреп. Попалась бы ему сейчас Любовь Николаевна!

Но не было Любови Николаевны в квартире. Надо заметить, что при подходе Михаила Никифоровича к дому свирепость его начала ослабевать. То, что он затевал, стало казаться ему неумным, а то и противным. Ведь действительно, куда деваться женщине московской ночью? У нее теперь и вещей-то набралось бы на четыре чемодана. Михаил Никифорович принялся жалеть Любовь Николаевну и бранить себя. Конечно, главным виновником был он.

Но отсутствие Любови Николаевны вызвало новый поворот чувств Михаила Никифоровича: «Что это она себе позволяет! Вот ведь негодная!» (Последние недели Любовь Николаевна все вечера проводила дома.) А потом беспокойство возникло: «Не случилось ли что с ней? Или она все поняла и ушла сама? А сейчас сидит на каком-нибудь вокзале в зале ожидания и тихо плачет?» Коли б знал Михаил Никифорович, на каком вокзале следует искать Любовь Николаевну, он бы сразу отправился на тот вокзал.

Долго пребывал Михаил Никифорович в волнении. Курил нервно. Прислушивался к звукам на лестничной площадке. Движения лифта порой обнадеживали его. «Хорош гусь! – ругал себя Михаил Никифорович. – Довел женщину!» В багровых видениях представлялась ему несчастная Любовь Николаевна.

Но вот ключ неверно заскребся в дверном замке. Михаил Никифорович пошел к двери, открыл ее.

Любовь Николаевна стояла на пороге возбужденная, похоже, возвращалась с приема из ресторана «Континенталь».

– Да, Михаил Никифорович, – сказала Любовь Николаевна с вызовом. – Загуляла я. А что?

– Ваше дело, – хмуро сказал Михаил Никифорович.

– Мое! – подтвердила Любовь Николаевна, сбрасывая возле вешалки туфлю с загулявшей ноги. – А что вы смотрите на меня как на падшую женщину?

– Я не знаю, кто такие падшие женщины.

– Тогда глядите на меня! И считайте, что я и есть падшая женщина! Будь я на вашем месте, я бы попортила мне физиономию! И выгнала бы из квартиры! Но вы этого не сделаете по причине доброты и деликатности.

– Пожалуй, вы мне надоели.

– Ах-ах-ах! Но вы говорите неправду. Вовсе и не надоела. И не надо было вам сегодня дуться на меня из-за какой-то рыбы. И сердить меня… Ах, какие есть в Москве квартиры, с какими интерьерами, с какой мебелью и посудой, с какими кинжалами и кортиками на коврах, с какой техникой, с какими системами, чтобы послушать и посмотреть, с какими кассетами… некоторыми очень и очень поучительными… Впрочем, вам это не понять…

– Надеюсь, в тех квартирах вы и станете проживать теперь…

– Была бы у вас какая-нибудь плохонькая радиола, – сказала Любовь Николаевна, – раз уж не завели «Шарп» и не можете слушать «Банановые острова» и Майкла Джексона, я бы хоть на радиолу могла поставить диск для ритмической гимнастики. Но у вас и радиолы нет…

Любовь Николаевна предприняла попытку показать себя Михаилу Никифоровичу ритмической гимнасткой, но снова вызвала мысли о том, что ее угощали хорошим и крепким вином. «Мадам Тамара Семеновна себе такого никогда не позволяла», – отчего-то пришло в голову Михаилу Никифоровичу. Впрочем, хотя Любовь Николаевна и покачнулась и чуть по стене не поехала, все равно движения ее вышли красивыми и артистичными, такие движения вряд ли бы стали свойственны Мадам Тамаре Семеновне, даже если бы ее воспитывали в Перми в хореографическом интернате. В руках Любови Николаевны возникла шляпа со страусовыми перьями. Тут же она украсила ее голову. Теперь, покачивая бедрами, Любовь Николаевна стояла перед Михаилом Никифоровичем подзагулявшей Периколой или даже дамой королевских кровей. Пусть и босая. Но тотчас шляпа была заброшена на антресоль. Выражение лица Любови Николаевны менялось, и вот она была уже не Перикола и не королевских кровей, а то – стыдливая девушка, вознесенная мастером из Флоренции на чуть розовую раковину-ладью, то – растерянная

от ярости будто бы доверчивого мавра Дездемона, то – горькая костромская бесприданница, оскорбленная Паратовым… Впрочем, перед Михаилом Никифоровичем стояла именно Любовь Николаевна.

– Ну что же вы?! Браните меня, Михаил Никифорович! Срамите меня! Учите уму-разуму! Напоминайте о правилах приличия. Только не устраивайте мне семейных сцен… впрочем, я бы и походила с фонарем под глазом.

– Еще, видно, и походите. Но не здесь.

– Ну тогда мораль прочитайте. О вреде распутства.

– Все эти вещи… – сказал Михаил Никифорович, – в последние недели… кухонные успехи… и прочее… Для чего это было вам нужно?

– Отчего же вы не называете точными словами это «прочее»?

– Оттого что был дурак и сам во всем виноват.

– Ну уж! Ну! Не ругайте себя. Хотя ругайте. Впрочем, вам ведь не было тошно? Не было! То-то и оно! Вы еще потом станете вспоминать и жалеть… Нда! И не надо было вам строить иллюзии по поводу того, что вы у меня должны быть исключительно один. Но вы и не строили… Вы и бутылку-то покупали на троих… А во мне – сила необузданная, я не знаю, что и сколько мне отпущено, я нетерпеливая, я спешу испытать многое. И уж извините!

При этом Любовь Николаевна отвесила Михаилу Никифоровичу полупоклон и шляпой со страусовыми перьями, слетевшей к ней с антресоли, чуть ли не подняла пыль с пола.

– Да! И извините!

– Пожалуйста. Но не считайте меня кавалером де Грие.

– Это кто таков?

– Вы же ходили в библиотеки.

– И еще схожу. И узнаю, кто таков. Но при чем тут кавалер и вы? Какой вы можете быть кавалер? Кстати, я ведь познакомилась с вашей бывшей женой Тамарой Семеновной…

– Не в квартирах ли с кинжалами на коврах?

– Не суть важно. И не суть важно, как я представилась.

– Удивили ее чем-нибудь? Или обрадовали?

– Возможно, что и расстроила…

– Радости-то людям вы, похоже, приносить и не способны.

– Вам ли это говорить, Михаил Никифорович? Вы просто в раздражении на меня и на себя. Да и что вы можете сказать, если вы, и не только вы, так и не поняли, зачем я вам всем нужна.

– Мы поняли.

– Ошибаетесь.

– Надо полагать, что вы приметесь испытывать нечто новое в компании с Шубниковым и Бурлакиным?

– Скоро разберемся… И пока надеюсь, что с ними будет не так скучно, как с вами! Да! Вот и знайте об этом! – обрадовано заявила Любовь Николаевна, показала Михаилу Никифоровичу язык и запела: – «Пора! Пора девицам в нумера!»

И прелестные босые ноги Любови Николаевны напомнили Михаилу Никифоровичу о весельях эпохи Оффенбаха.

– Вы в своих увлечениях, – поинтересовался Михаил Никифорович, – только и дошли до канкана? И до нумеров? В Париже, что ли?

– Какого канкана? Какого Парижа? – удивилась Любовь Николаевна. – Наши края тверские!

– Не очень верится, – сказал Михаил Никифорович.

– Будет случай, убедитесь, – пообещала Любовь Николаевна. – А пока катитесь на свою раскладушку! Или хотите, я вам всю посуду перебью?!

– Неприятно было бы применять к вам силу… Но все же! – И Михаил Никифорович сделал решительное движение в сторону Любови Николаевны.

– Не подходите ко мне! И руки уберите! – воскликнула Любовь Николаевна. – И не думайте выталкивать меня в шею! Не имеете права! Я здесь прописана!

– Это вы лейтенанту Куликову, участковому, расскажите, уже было, племянница, мол, и всякое такое…

– Я вам не племянница. Я вам жена.

– То есть? – замер Михаил Никифорович.

– Жена. И успокойтесь, – устало сказала Любовь Николаевна.

– Какая жена?

– Обыкновенная. Любимая, – сообщила Любовь Николаевна. – Могли бы и привыкнуть. Все бумаги я храню в порядке. Вот.

Любовь Николаевна как была в шляпе с перьями, так и отправилась в комнату, а вернулась оттуда в коридор с синей кожаной папкой. На папке было вытиснено: «VII Всемирный конгресс орнитологов».

– Вот смотрите, – сказала Любовь Николаевна.

Михаилу Никифоровичу был предъявлен паспорт Любови Николаевны и свидетельство о браке, из которого следовало, что документ этот, возникший в отделе загса Дзержинского района г.Москвы (имелись и печати, и кудрявая подпись заведующей бюро записей гражданского состояния С.Бодуновой), отправил в житейское плавание по семейным

волнам Михаила Никифоровича и Любовь Николаевну Стрельцову. И паспортом Любовь Николаевна объявлялась именно Стрельцовой, а не Кашинцевой, на девятой же странице поминался и сам Михаил Никифорович, с кем у владелицы паспорта был зарегистрирован брак. Что уж говорить о месте жительства Любови Николаевны! Улица академика Королева, прописка постоянная.

– Вы листайте, листайте, – поощряла опешившего Михаила Никифоровича Любовь Николаевна. – Все посмотрите. Чтобы потом не удивляться.

Однако не удивление было теперь главным в чувствах Михаила Никифоровича, не удивился он даже и увидев на одной из страничек паспорта Любови Николаевны штамп «Военнообязанная».

– И не вздумайте порвать документы! – предупредила Любовь Николаевна. Они восстановятся.

Из синей же папки явился и паспорт Михаила Никифоровича. Был он в неожиданной для владельца кожаной обложке со словом «pase», видно, что таллиннской или рижской выделки. «У вас теперь и бумажник такой же есть», – сообщила между прочим Любовь Николаевна. Вот в паспорте Михаила Никифоровича присутствовала Кашинцева, с ней он вступил в брак. «Смотрите, Михаил Никифорович, изучайте свое семейное положение и гражданское состояние». «А дети от вас у меня не вписаны?» – поинтересовался Михаил Никифорович. Нет, детей в его паспорте не было.

– Я так и думал, что вы… – сказал Михаил Никифорович.

– Всегда ли вы так думали, Михаил Никифорович? – спросила Любовь Николаевна. – Нет, не всегда.

Глаза ее были лукавыми.

– Вы надо мной не насмехайтесь! – взъярился Михаил Никифорович. – Вы…

– Вы себя-то оцените, – сказала Любовь Николаевна. – На себя-то, Михаил Никифорович, взгляните со стороны. Вы-то как и кем живете? Ваша первая жена, Тамара Семеновна, мне говорила…

– На себя и со стороны – это потом, – сказал Михаил Никифорович. – Это завтра… А сейчас – вот что!

И он стал рвать предложенные ему для знакомства документы. Даже кожаную обложку паспорта, таллиннскую или рижскую, разорвал в свирепости Михаил Никифорович, будто был Никита Кожемяка, одолевший на днепровском берегу змея-людожора. «Рвите! Рвите! – радовалась Любовь Николаевна. – Рвите! Мои-то восстановятся, а ваше

удостоверение личности гражданина – нет, вы будете ходить в отделение милиции, заплатите десять рублей штрафа, вам придется фотографироваться, а получите новый паспорт – и там опять будет вписана негодная, ненавистная, стервозная Любовь Николаевна Кашинцева!»

– Это посмотрим! – грозно сказал Михаил Никифорович. – А теперь вот что!

При этих словах Михаил Никифорович схватил Любовь Николаевну за шиворот и поволок к двери. На флотах доводилось ему передвигать и не такие тяжести. Любовь Николаевна не противилась и не оборонялась, будто забыла о своих силах, а может, ей были приятны усилия Михаила Никифоровича.

– А теперь вот что! – повторил Михаил Никифорович, левой рукой отжал защелку замка, правой же вышвырнул Любовь Николаевну на лестничную площадку из квартиры вон, поддав при этом коленом драгоценный зад самозваной супруги. Увидев туфли, бросил их вдогонку хозяйке, дверь захлопнул, опустил с грохотом крепостные ворота. Тут же вспомнил, что где-то уже швыряли туфли вслед выдворенной женщине. Где, кто, отчего он вспомнил об этом, Михаил Никифорович не знал.

– За вещами не вздумайте являться сами! – громко сказал Михаил Никифорович. – Унесите их ветром.

Любовь Николаевна ему не ответила.

Михаил Никифорович подумал, что, может быть, сейчас она и уносит ветром из его квартиры московские приобретения. Он и любые свои вещи, какими она привыкла пользоваться, телевизор, в частности, был готов отдать Любови Николаевне. Михаил Никифорович прошел в комнату с телевизором. Нет, все в комнате было на месте. «Гордая все же», – подумал Михаил Никифорович. Но он не был намерен смягчать отношение к Любови Николаевне. Вот ведь, вспомнил он, они еще, наверное, и с Мадам Тамарой Семеновной спелись, с первой, видите ли, женой!

А в дверь стали грубо колотить. Похоже, кулаками и ногами. (Ключи Любови Николаевны висели на гвозде в прихожей.)

– Откройте! Откройте сейчас же! – кричала Любовь Николаевна. – Что вы себе позволяете! Откройте! Я сейчас весь дом на ноги подыму! Всю общественность! Жену в дом не пускают!

– Вы сначала дом найдите, – сказал Михаил Никифорович, – в котором вы жена.

Впрочем, негромко сказал он, вышло, что скорее для себя сказал, нежели для Любови Николаевны. Старания ее вернуться к нему несколько удивили его. Совсем, видимо, нет у нее в Москве пристанища, подумал

Михаил Никифорович. И жилье-то у него по нынешним интересам было скромное, если не убогое, отчего оно стало так мило Любови Николаевне? И удивляло Михаила Никифоровича то, что Любовь Николаевна колотит кулаками и ногами в дверь. Что для нее были ключи и замки! Если ей так не терпелось вернуться, она и стены могла рассечь или хотя бы пронестись сквозь них. Что же ей взывать к общественности? Но, может быть, она должна была соблюдать установленные правила, оттого и барабанила в дверь и кричала… Или она просто дурачилась?

– Я милицию вызову! – кричала Любовь Николаевна. – Я им синяк под глазом предъявлю и следы побоев на теле! Вас упекут надолго! Это же надо, люди добрые! В ночь, в мороз выгнать женщину, жену из дома, босую, на улицу, на панель!

– В какой еще мороз? – сам того не желая, сказал Михаил Никифорович. – Ну и скандальная вы женщина!

«Да и если бы женщина, а то ведь… Прав, наверно, был Филимон, когда говорил, что она…» – подумал Михаил Никифорович.

– Чепуху говорил ваш Филимон! – яростно воскликнула за дверью Любовь Николаевна. – И клыков у меня нет! И хвоста нет – в этом-то вы могли убедиться! Открывайте сейчас же!

– Никогда, – сказал Михаил Никифорович.

Он пошел в комнату, сел на диван. Но комната принадлежала Любови Николаевне, это он ощутил сразу. И запахи в комнате были ее. Запахи влажного деревенского утра, парного молока, весенней ольхи, желтых кувшинок в чистых струях лесной речки. «А ведь мне без нее будет тошно», – подумал вдруг Михаил Никифорович.

– Михаил Никифорович! – услышал он голос Любови Николаевны. – Не злите женщину! Отворяйте двери! Не вводите жэк в расходы!

Любовь Николаевна будто в комнате находилась, никакие бетоны, никакие стены и переборки, никакие кирпичи не искажали, не утишали ее доверительных просьб.

– Мое решение окончательное, – сказал Михаил Никифорович.

– Ну ладно! – пригрозила Любовь Николаевна. – Ну смотрите!

И дом сразу же вздрогнул. Немецкая люстра с пятью рожками принялась раскачиваться, диван, на котором сидел Михаил Никифорович, поехал к окну, а внутри Михаила Никифоровича начались перемещения. Впрочем, безобразия скоро прекратились.

Михаил Никифорович вышел в прихожую, приоткрыл дверь. Любовь Николаевна пропала. Михаил Никифорович прошел на лестничную площадку. Черная дерматиновая обивка двери была измята, пробита

нежными пальцами Любови Николаевны, кое-где висела и клочьями. Искорежена была металлическая сетка шахты лифта. Погнутыми оказались и многие планки лестничных перил. «Озверела, что ли, она?» – подумал Михаил Никифорович. Очумевшие жильцы кто в чем, видно, что из постелей, выскакивали из квартир, некоторые с малыми детьми, спешили вниз, на улицу, на твердь земли и асфальта, гадали, звонить ли сейсмологам, не повторится ли толчок. И Михаил Никифорович не мог бы сказать, повторится толчок или нет.

Но на улицу он не пошел, а вернулся в квартиру. В комнате сидела Любовь Николаевна. Форточка балконного окна была открыта, ею, возможно, и воспользовалась Любовь Николаевна.

– На помеле добирались? – спросил Михаил Никифорович. – Или ползком по стене?

– Не утруждайте себя догадками, – сказала Любовь Николаевна. – И не пробуйте снова хватать меня за шиворот. Я все равно вернусь, хотя бы и по водосточной трубе. Я женщина не только падшая, но и бесстыжая. Вы к этому привыкайте.

– Об этом попросите кого-нибудь другого.

– Это уж как пожелаю. А вы меня не сердите… Впрочем, я отходчивая… Но вы же сами… Я и загулявшая, и спать хочу, а вы меня из дома выгнали. Вот видите, зеваю уже…

– И спите себе. Я вам больше мешать не буду.

– Отчего же, могли бы и помешать… – теперь уже чуть ли не ласково, но и зевая, произнесла Любовь Николаевна.

– Я вам вообще докучать больше не буду, – сказал Михаил Никифорович.

И он покинул квартиру дома номер семь по улице Королева с намерением никогда туда не возвращаться.

28

Ротан Мардарий проснулся, сел, поковырял в зубах ржавым гвоздем, однако далее заметных успехов в его развитии не случилось. Дня три он был живой, голодный, ловкий в упражнениях с трясогузкой, а потом снова захирел, стал усыхать.

Шубников с Бурлакиным приуныли.

Желания Шубников позволял теперь себе самые крохотные, будто выпрашивал две копейки на телефонные разговоры с судьбой, обещая к тому же в скором времени долг вернуть. Но и эти его двухкопеечные желания, выходило, не всегда поощрялись.

Случай же с чурчхелой виделся сейчас сверкающей тяньшаньской вершиной в жизни Шубникова и Бурлакина.

– Ты бы поговорил с этой… с рабыней… – сказал однажды Бурлакин. – А то ведь несерьезно получается. У нас какой-то тлеющий пай.

– Я говорил! – взвился Шубников. – Я говорил! Но не будем об этом…

Бурлакин дал понять Шубникову, что тот не хорош, если имеет тайные, отдельные от него разговоры или даже отношения с Любовью Николаевной. Шубников как будто бы смутился, но сейчас же восстал духом и принялся уверять Бурлакина, что если он о чем-то и просил в отдельном разговоре Любовь Николаевну, то лишь о том, чтобы она помогла ему прекратить обвешивать и обсчитывать покупателей овощей и фруктов на семь рублей в день. Такое он высказал ей сокровенное желание.

Однажды, явившись к Шубникову, Бурлакин увидел приятеля за кухонным столом с листами бумаги, глиняной чернильницей для фиолетовых чернил и древесной ручкой со стальным пером. Такие чернила и ручки увидишь теперь только в сберегательных кассах и на почте. Оттуда, наверное, они и прибыли на кухню Шубникова. На листе бумаги было написано: «Любови Николаевне Х.», – а внизу более рослыми и сытными буквами: «Записка о повреждении нравов в Останкине». Было сочинено Шубайковым и начало первой фразы: «Взирая на нынешнее состояние Останкина моего, а также Сретенки…»

– Не считаешь ли, – поинтересовался Бурлакин, – что ты из потомков князя Щербатова, а стало быть, и из Рюриковичей?

– Нет, – скривился Шубников. – Щербатов был консерватором, глядел назад, я же верю во всемирное просвещение. Пока верю.

А к жанру записок Шубников обратился вот отчего. Цель его

разговора с Любовью Николаевной не была достигнута. Вопреки своим желаниям Шубников по-прежнему обвешивал и обсчитывал покупателей, к тому же стал и грубить им. А что, если Любовь Николаевна находится в заблуждениях? Вдруг и при ее способностях как будто бы все знать или обо всем узнавать она ничего толком и не знала? И Шубников посчитал необходимым сесть за записки, которыми он вразумил бы Любовь Николаевну, открыл бы ей глаза на то, что в Останкине есть истинные пороки и истинные добродетели. И тогда, может, она бы прозрела, растрогалась и оценила натуру Шубникова, поняла бы, какие злые ветры и снеги заметали дорогу Шубникова ко всеобщей пользе, и поощрила бы наконец скромные, но благородные и подвижнические его желания.

– Лукавишь ты! – сказал Бурлакин.

– Я не лукавлю! – обиделся Шубников. – И она это почувствует!

Тут и Бурлакин засомневался: а вдруг и не лукавит?

Записки давались Шубникову нелегко. Будто курсовая работа в институте, отказавшем ему в дипломе. Впрочем, курсовые работы Шубников в конце концов списывал. Сейчас списывать ему было неоткуда, но иногда его перо выводило отчего-то облаченные в камзолы и парики слова, совершенно несвойственные устной речи автора: «Умножились в Останкине искания способов без разбору, дабы оными ублажить сластолюбие… Несть в Останкине дружбы, ибо каждый жертвует другом для пользы своея…» Последнее утверждение покоробило Бурлакина, он сказал Шубникову: «Вот ты, значит, каков. Но ведь это тебе явилось небось именно из Щербатова… Однако учти. Ты называешь Щербатова консерватором, а он был прежде всего умен и честен. А ты?..» «Прозрение – вот что необходимо! – воскликнул Шубников. – Или озарение! А там уж возникнут и идея, и истина, и воля!»

Надо заметить, что составление записок увлекло Шубникова. Как будто бы и вправду не было в них ни корысти и ни лукавства и даже не имелась в виду никакая Любовь Николаевна. Обличителем зла почувствовал себя Шубников. Он был готов выявить и истребить в Останкине и на Сретенке все пороки. И прежде всего свои. А потому еще раз напомнил на бумаге о шапках из собак и обсчитанных, обруганных им покупателях. Теперь Шубников с удовольствием полагал себя искусным в познании сердец человеческих. Впрочем, полагать-то он полагал, но искусность свою часто не мог выразить. Необходимые слова летали далеко от кухонного стола Шубникова, и Шубников принимался ожидать прозрений. Или озарений.

Пожелал он описать какого-нибудь одного останкинского жителя (не

себя, ради истины – не себя!) и так этого жителя исследовать, так его препарировать, так его распотрошить, так ему все косточки, все фибры, все подсознания обнажить, чтобы и каракумскому варану стало ясно, до чего дошло в Останкине повреждение нравов. Сразу же захотелось Шубникову распотрошить именно Михаила Никифоровича Стрельцова, этого аптекаря, этого останкинского цирюльника. Но Шубников охладил себя, вспомнив, кому он адресует записки, и сообразив, что в случае с Михаилом Никифоровичем могут возникнуть и сложности. «Постой, – сказал ему вдруг Бурлакин. – А почему ты увлекся повреждением нравов? Тебе ведь придется сравнивать. Если теперь нравы повреждены или повреждаются, стало быть, когда-то они были неповрежденными. Когда? Какой у тебя уровень отсчета?» «Чепуха! – махнул рукой Шубников. – Когда! Какой! Да хоть бы когда не было в Останкине лимитчиков!» «Это несерьезно, – сказал Бурлакин. – Лимитчики – это частность». Задумавшись, Шубников был вынужден признать правоту Бурлакина и, хотя свыкся со словом «повреждение», заменил его «состоянием», мало ли куда, на самом деле, можно было заехать с «повреждением». Но «состояние» ему не нравилось, впрочем, он успокоил себя, решив, что рано или поздно верное слово объявится.

Никак не выходило у Шубникова описание и исследование местного индивидуума. Михаила Никифоровича он точно описал и развенчал бы в назидание человечеству. И, пожалуй, еще Бурлакина. Но Бурлакина ему стало жаль. А вот другие останкинские жители усилиям мысли Шубникова не поддавались. Он то и дело вспоминал какие-либо отдельные случаи и поступки, но они рассыпались. И все же Шубников повелел себе описывать и их, постановив, что пока он создает лишь черновик записок. А потом добудет машинку, перепечатает сочинение набело и придаст ему умный вид.

Решил Шубников, что в его записках будут разделы. Или параграфы. Или статьи. Скажем, раздел Распутства и Разврата. Раздел Мздоимства. Раздел Торжества Плоти. Раздел Пренебрежения к Печатным Органам.

При мыслях о разделе, или параграфе, или статье, «Распутство и Разврат» привиделся Шубникову закройщик из ателье на проспекте Мира Цурюков. Цурюков был высокий и наглый блондин нордического характера, по мнению Шубникова, все останкинские и ростокинские красавицы падали и раздевались поблизости от него. Шубников завидовал Цурюкову. Он знал и факты. Воображение Шубникова сейчас же воспроизводило их в красках и в движениях. Вот Цурюков открыл дверь медсестре из районной поликлиники, что на Цандера, Анечке Бороздиной.

Он был в махровом халате на голое тело, и от него пахло коньяком «Мартель». Впрочем, Цурюков не пил. Вот он Анечку, переступившую порог, обнял… «Сволочь какая!» – подумал Шубников. Он был готов размазать негодяя Цурюкова на бумаге. «Да и портной-то он паршивый! – думал Шубников. – Эвон как брюки мне испортил!» Муки обличителя нравов кончились тем, что рука его сама по себе вывела на бумаге фразу: «Цурюков учинил из Останкина и Сретенки очаг распутства, не было здесь почти ни одной дамы и девушки, которые не подвергнуты были бы его исканиям, и коль много было довольно слабых, чтобы на оные искания приклоняться, и сие терпимо было Останкином…» Сочиненную фразу Шубников перечитал с удивлением. Он ли писал? Во-первых, в нее проникли преувеличения. Конечно, Цурюков был повеса, пострел и ходок, но не настолько же, чтобы перебрать всех дам и девушек Останкина (к тому же при чем тут была Сретенка, как будто бы между Сретенкой и Останкином не протекал проспект Мира?). Во-вторых, слова вышли чересчур деликатные, а требовалось, чтобы изображение Цурюкова и разврата было не слабее биографии Распутина Григория Ефимовича. «Да и Анечка-то эта хороша!» – вспомнилось отчего-то Шубникову. Вспомнилось и то, как пела Анечка на квартире под гитару с бантом, адресуясь к родительнице, проживающей в Ворошиловграде: «Мама, мама, я пропала, я даю кому попало». И сразу же Шубников вывел на бумаге: «К коликому разврату нравов женских и всей стыдливости пример множества имения А.Г.Бороздиной любовников, один другому часто наследующих, а равно почетных и корыстями снабженных, подал другим женщинам…» Шубников аж вспотел, выводя эти слова, перечитал их и опять удивился. Да он ли и это писал? Снова вышла какая-то чепуха. Действительно, любовники Анечки Бороздиной один другого наследовали, порой и перемежались, но какими они снабжались почетами и корыстями? Только если липовыми больничными справками. И никакого примера другим Анечка не подавала, потому как сама следовала чужим примерам… Но записанное Шубников марать и зачеркивать не стал. Может, именно такие слова и оказались бы понятнее Любови Николаевне.

Но он сознавал, что для основательного сочинения или даже документа одного нордического блондина Цурюкова и одной девушки с гитарой Анечки Бороздиной мало. Тут были нужны исторические наблюдения. И потом. Он коснулся пока лишь разврата или, вернее, того, что он предполагал представить развратом. Но ведь не одним же развратом могло быть сильно в Останкине состояние нравов.

И Шубников незамедлительно перешел к иным разделам. Появление

на бумаге прежде чужих для него слов и выражений более не удивляло и не пугало Шубникова. Даже радовало. Поначалу он предположил, что в недрах его натуры существуют какие-то неведомые ему словарные запасы, а может, и клады и тайны, доставшиеся ему от предков. Не было в этих словах нужды, они и лежали себе, а теперь потребовалось – повылезли. Потом Шубников посчитал: а вдруг Любовь Николаевна способствует ему? Чувствует, как он мучается, стараясь для нее же, в надежде открыть ей истину, как ищет достойные слова, чтобы выглядеть не безответственным горлопаном, а добросовестным и ученым мужем, а потому она и подсказывает из сострадания ему умные тексты. Мысль об этом обнадежила Шубникова. Обличая в записках себялюбие, он отважился проверить догадку и был вознагражден. Опять возникли на бумаге чужие, но замечательные слова.

– Откуда это у тебя? – удивился Бурлакин.

Составление записок потребовало неделю стараний Шубникова. В ванную к Мардарию он не заходил, не имел времени. Он даже и не спрашивал о рыбе Бурлакина, посещавшего ротана. Мардарий не доставлял хлопот и Бурлакину, еды почти не просил, увядал.

Бурлакин призывал Шубникова не разбрасываться, не перескакивать со случая на случай, а употреблять метод или систему. Метод или система действительно стали появляться в сочинении Шубникова. Хотя и теперь ярче прочего отражались в нем чувства автора. Оттого-то и шли, скажем, едкие разоблачения бравых поваров из шашлычной Останкинского парка, мало Шубникову известных, но однажды накормивших его гнусными купатами, в простонародье называемыми колбасками. Досталось (тут бы и Михаил Никифорович порадовался) и дамам из парикмахерской на Цандера, услугами которых Шубников не воспользовался как-то из-за очереди. Дамы из парикмахерской, в их числе и Юнона Кирпичеева, пролившая воды на аптеку Михаила Никифоровича, были обвинены Шубниковым в лени и корыстолюбии, корыстолюбие же их происходило оттого, что дамы эти имели в виду лишь собственные пользы, а потому, даже и взирая на недостаток народный, увеличивали тщаниями своими доходы с каждой побритой головы и шеи. Особенно с помощью одеколонов «Шипр» и «Полет». Но это все были частности.

Система же и метод подводили Шубникова и его советчика и оппонента к выводам значительным. При этом Шубников вовсе не желал представиться Любови Николаевне ругателем, злыднем и саркастическим старцем, он просто, как совестливый и благонамеренный человек, грустил и желал исправлений. Он готов был предоставить Любови Николаевне

планы переустройств, если б она посчитала его достойным применения ее благ. Он не собирался закрывать глаза и на светлые стороны останкинской жизни, о чем сообщал в преамбуле. Да и что же закрывать-то? Что было, то было. Расписание ходьбы троллейбусов, скажем, соблюдалось. И жена детского писателя Мысловатого готовила хорошие пельмени (правда, Шубников в дом Мысловатого не был вхож, но рассказывали). И башня не гнулась под ветрами, хотя и раскачивалась. Однако и еще лучше могло жить Останкино, о чем Любовь Николаевна непременно и сейчас же должна была знать. «Ведь могло бы лучше-то? А?» – сокрушался и ждал подтверждения Шубников. «Могло бы и лучше!» – подумав, говорил Бурлакин.

Тогда Шубников снова срывался в сатиры. И следовали разделы о Злых Женах. Об Увлечениях Азартными Играми. Здесь вспоминались не только преферанс, или нарды, или шахматы, не только домино, снова чрезвычайно модное, не только коварная железка, но и швыряние двадцатикопеечных монет в молочные бутылки с расстояния семи метров. Возникали разделы, или этюды, о Чревоугодии и Пьянстве, в них доставалось праздным гулякам-бражникам, в особенности бормотологам. «Чревоугодие, пьянство – страсти, чьи спутники – нужда, несчастье», – вышло из-под пера Шубникова. Увидев эти слова, Бурлакин насторожился и стал припоминать… Осуждению Шубникова подверглись мздоимство, кумовство, взяточничество, нарушения правовых судебных норм (хотя никакого суда в Останкине не размещалось). Вспомнив же, что обещанный жэком электрик не приходит четвертый день, Шубников высказал мысль о том, что мастеровые теперь вообще нехороши и несостоятельны, а потому их следует осадить. «Портачи одни да лодыри, проходимцы, топчущие дисциплину, – записал Шубников, – украшают нынче производство. И нет в Останкине в наши дни респекта к ремеслам». Бурлакин опять насторожился. А Шубников уже перешел к случаям нарушения общественного порядка. Сокрушаться ему пришлось и по поводу забияк-валтузников, и по поводу блюстителей в форме и с повязками. Одним вменялись в вину дурные манеры и этическое невежество. Другим – как недостаточная доблесть, так и, напротив, превышения в усердиях. Были обличены Шубниковым льстецы и ленивые врачи. Досталось и утаителям правды, беспечным администраторам, смотрителям квасных цистерн. Пришел на память Шубникову высокий человек Собко, и Шубников тут же написал слова о пустодушных прагматиках, живущих в вечной суете, хотя обличения эти к знатоку тайской культуры имели отношение косвенное. «Да что ты всех чернишь? – не выдержал Бурлакин. – У тебя не Останкино

получается, а какой-то вертеп, какой-то корабль дураков… Ага, вспомнил! Вспомнил наконец! То у Щербатова! То у Бранта! Ты ведь теперь занимал слова у Себастьяна Бранта!» «У какого еще Себастьяна Бранта? – удивился Шубников. – Ах, у этого… Ну и что? Ну и пусть у Бранта. Культурное наследие не должно пропадать втуне. Не один ты начитанный. И я знаю Бранта…» В студенческие годы Шубников, похоже, читал Бранта. Но сейчас вспомнить из него смог, пожалуй, лишь одно: «Я, жаркозадая Венера…» И более ничего. Брантовской Венерой он называл когда-то в сердцах однокурсницу с актерского факультета, теперь звезду, но после упоминания «Корабля дураков» он посмотрел на листы бумаги как бы с испугом. «Куда это я забрел? – подумал Шубников растерянно. – Мне бы больше писать о благоразумии, о торжестве освобожденной энергии высоких частиц, о справедливости и доброжелателях… Мне бы жалеть Останкино… А меня эвон куда понесло!»

Тут что-то сделалось с Шубниковым. Он резко отодвинул от себя листы бумаги. Иные посыпались и на пол.

– А разорву-ка я все это, – сказал Шубников. – И сожгу.

– Зачем воздух-то в доме грязнить? – возразил ему Бурлакин. – Дай их сожрать Мардарию. А Любовь Николаевна и так, наверное, хорошо знакома с твоим текстом.

Шубников, казалось, его не слышал. Прошел к дивану, улегся на нем. И застыл. Впрочем, губы его шевелились. Что-то он, видимо, объяснял кому-то. Может, и одному себе. Но вряд ли. «Как мне жаль их, – наконец прошептал он. – Как сострадаю я им. И хочется им помочь, все исправить и все улучшить. Но как?» Бурлакин мог и рассмеяться. Но не стал. И не стал спрашивать, кого Шубников жалеет и кому сострадает. Ясно, что останкинским жителям, которых он только что обличал и пытался отстегать ювеналовым бичом. Сейчас бич валялся изломанный и истерзанный, а Шубников, похоже, был намерен вырывать сердце из груди и устраивать из него светильник. Но куда вести останкинских жителей, он, видно, еще не знал. Случалось и прежде, Шубников укладывался на диван, грезил о чем-то или строил планы, но и тогда в глазах его мелькали скорые, а то и шальные соображения, и тогда глаза его оставались прыгающими глазами балбеса. Теперь же в глазах Шубникова, будто замерзших, отражалось нечто важное и серьезное.

– Ты не слышал, – спросил Бурлакин, – чего бы пожелал Коля Лапшин, если бы фортуна решила его осчастливить?

Шубников не откликнулся.

– Желание у него такое, – сказал Бурлакин. – Иметь сто крепостных.

Из числа посетителей пивного автомата. И – чтоб был порядок. И страх.

Пожелание свое, а может быть, мечту мрачный водитель Николай Лапшин высказал позавчера в пивном автомате при большом скоплении мужчин. Собеседники отнеслись к его мечте без раздражения, скорее, с благодушным субботним интересом. В частности, поинтересовались, что бы с каждым из них Лапшин стал делать в положении барина-крепостника. «В карты проигрывал бы всю эту шваль!» – сказал Лапшин. «А кому?» – спросили. Выходило, что проигрывать Лапшин соглашался лишь таким же, как и он, помещикам. Значит, и другие помещики должны были быть. «И сечь бы принялся и ноздри рвать?» «И сечь и рвать», – ответил Лапшин. «А барщина была бы у тебя или оброк?» – «И барщина и оброк!» – «А кем бы мы у тебя стали? Ведь цена-то у каждого своя…» Тут Лапшин задумался. Проще всего было с таксистом Тарабанько, того Лапшин быстро перевел в кучера. Потом и других он определил – в шорники, кузнецы, чесальщики шерсти, большинство же решил держать при сохе и на гумне. «А крепостные актрисы у тебя будут?» Лапшин долго молчал. «На хрен они мне нужны! У меня жена есть… Хотя… – тут он взглянул сквозь стену на дворец Параши Жемчуговой. – Может, и придется прикупить. В Малом театре. Или выиграть. Штук двадцать».

Шубников поднял голову.

– Зачем ты мне рассказываешь?

– Откуда я знаю, – сказал Бурлакин. – Затем, чтобы ты не заснул. Или не рехнулся в печалях о юдоли земной.

– Я принял твою историю к рассмотрению.

И Шубников опять сник. Голову опустил на мягкое, а глаза закрыл. Будто энергия из него изошла. Всякая энергия. И та, что по Фарадею, и та, что по Вернадскому, и та, что по Л.Н.Гумилеву. Бурлакин посчитал, что измученный заботами Останкина приятель его задремал. Шубников и задремал. Но не сразу. Он еще думал о своем несовершенстве и своих неудачах. Никаких даров после чурчхелы и временного оживления ротана Мардария он так и не получил. Возможно, что и замысел записок случился ошибочным, ничего в трудах своих Шубников не приобрел, кроме словесных подсказок Любови Николаевны. Да и подсказки ли это были? Теперь Шубников уже сомневался в этом. В школьные и студенческие годы он славился памятью, выигрывал пари, произнося наизусть двухстраничные периоды Гегеля или же цельные журнальные отчеты о заграничных прогулках редакторов «Огонька». Может, и теперь память его оживилась? Ведь на самом деле Михаила Михайловича Щербатова и Себастьяна Бранта он когда-то читал.

«Ну и ладно, – произнес Шубников самому себе. – Жили без пая и проживем без него». Ему было отрадно сознавать, что он сострадает Останкину и Сретенке, будто он отец им. И он верил сейчас в то, что к нему придет прозрение и он облагородит жизнь Останкина и Сретенки. Пусть при этом и сам пострадает.

С тем он и заснул.

29

Вялое участие Любови Николаевны в жизни пайщика Виктора Александровича Шубникова имело объяснение.

Михаил Никифорович вернулся домой.

В неприятную для него и жильцов дома ночь он дошел до Рижского вокзала и просидел там на жесткой скамье пять часов. Рядом шумели цыгане, но не пели, а рассовывали в мешки губную помаду для продажи в Великих Луках. Где жить, решал Михаил Никифорович. К кому пойти. Приятных ему женщин Михаил Никифорович не имел в виду. Почему, объяснять я не стану. Не имел в виду, и все. Знакомые же, которые бы его приняли, обогрели и не отпустили, все были семейные, с детьми и без излишков площади. Бессовестно было бы обременять их своим проживанием. Подумал Михаил Никифорович о дяде Вале. Нет, странным казался ему теперь Валентин Федорович Зотов. Такой дядя Валя мог и не открыть дверь.

В конце концов Михаил Никифорович посчитал, что скамьи на вокзалах не такие уж и жесткие. Но вот беда. Быстро росла щетина на щеках Михаила Никифоровича. А чужие бритвы он не любил. Несвежая рубашка тяготила его, явиться в ней сегодня на работу было бы скверно. И Михаил Никифорович решил, что он зайдет, заскочит на минуту в свою квартиру побреется, встанет под душ, переоденется, заберет вещи. Авось его гулящая знакомая еще спит либо отправилась развлекаться на помеле или на зубной щетке.

В квартиру он вошел неслышно, словно был таинственный персонаж готического романа. Он согласился бы стать и невидимым.

Любовь Николаевна сидела на кухне в мятом халате и вид имела самый несчастный. Макияжем она не занималась, волосы не причесала и не уложила, здоровье ее, надо понимать, было подорвано. Михаил Никифорович намерен был сразу же удалиться или хотя бы незаметно прошмыгнуть в ванную, но не вышло. «Михаил Никифорович», – чуть ли не прошептала Любовь Николаевна, и ноги Михаила Никифоровича повели его к ней. А Любовь Николаевна и на колени перед ним рухнула.

– Этого не надо, – угрюмо сказал Михаил Никифорович. – Это уже было однажды.

Усаженная им на табурет Любовь Николаевна молчать не могла.

– Михаил Никифорович, простите меня, – сказала она. – И не считайте

сейчас меня притворщицей. Я все говорю как есть. Я подлая. Я грешная. Я противна самой себе. И виновата перед вами. И перед всеми я виновата.

– Это известное состояние, – сказал Михаил Никифорович. – Оно поправимо. Я в таком случае пью горячий чай с каким-нибудь кислым вареньем. Стакана четыре. Вам поставить чайник?

– Поставьте, пожалуйста, – кивнула Любовь Николаевна.

– Потом бы, часа через два после чая, я бы поел горячего и выпил бы две кружки пива, тогда и ощущение вины и перед соседями и перед всеми выветрилось бы.

– Вы не о том, Михаил Никифорович, вы зря так… Вы не хотите поверить мне…

Михаил Никифорович снова взглянул на Любовь Николаевну.

В тоске сидела перед ним женщина. Может, и вовсе неуместны были теперь его ирония, строгость его? Но хватит. Ведь было решено: побриться, встать под душ, взять вещи – и вон из дома. Куда и насколько – потом будет видно. И вот снова пошли досадные разговоры… Вода в чайнике тем временем вскипела.

– Чай сделать вы, надеюсь, сами в состоянии. И не забыли, где стоят чашки и стаканы…

Любовь Николаевна поднялась покорно, поставила на стол стакан и для Михаила Никифоровича. Михаил Никифорович хотел было сказать, что он ни о чем не просил и что распивать чай в компании с ней не собирается, но утренний чай и ему был необходим, и он, то ли разжалобившись, то ли ослабев натурой, сел на табурет напротив Любови Николаевны.

– Сейчас для вас было бы хорошо крыжовенное варенье, – сказал Михаил Никифорович, – то, что мать прислала…

Слова его были восприняты Любовью Николаевной как приказание. И розетки с крыжовенным вареньем появились тут же, и лучшие из кухонного собрания Михаила Никифоровича чайные ложки, чуть ли не мельхиоровые, добавились к ним, опять Михаил Никифорович сидел за одним столом с Любовью Николаевной. Но теперь-то, полагал он, ни в какую телегу его запрячь не смогут…

– Я подлая… И падшая… Я грешная… – снова начала каяться Любовь Николаевна.

– Это надо исполнять на волынке, – сказал Михаил Никифорович. – Есть такой инструмент. Или в крайнем случае на скрипке. И знаете, вы мне больше нравились нынче ночью во всех пыланиях страстей. Пусть и трясли дом.

– Я все починю. И в доме. И в парке. И возле метро.

– Где это – в парке и возле метро? – удивился Михаил Никифорович. – И что там надо чинить?

– В парке – бильярдную и читальню, но не всю, а возле метро киоски, те, что по дороге к Выставке, три липы, столовую у троллейбусного круга.

– Ночную, где едят милиционеры и водители троллейбусов?

– Я не хотела…

Естественно, она не хотела, чтобы люди в парке, в особенности в состоянии заслуженного отдыха, не могли шелестеть поутру газетами или загонять шары в лузы, коли без этого их жизнь пустая, и не хотела, чтобы ночные милиционеры стояли и ходили голодные, но энергии или молнии ее чувств и досад разлетелись в буйстве и наделали дел, привели к поломкам и порчам.

– Я починю… И липы исправлю…

– Нет, вам надо покинуть Москву, – сказал Михаил Никифорович. – И немедленно.

– Я не могу покинуть…

– Постарайтесь!

– И без вас я не могу, Михаил Никифорович.

– Если вы меня разжалобить хотите, то тут старания напрасные. К тому же ночью вы говорили, что никаких предпочтений мне выказывать не имеете нужды, да и натура ваша требует иного.

– Имею нужду! Без вас я не могу! А паем Шубникова я вас дразнила и задорила, я хотела, чтобы вы встрепенулись.

– Взъерепенился, – усмехнулся Михаил Никифорович.

– Нет, встрепенулись. Мне обидно за вас…

Михаил Никифорович отставил пустой стакан, тонуть в беседе с Любовью Николаевной он не желал, а молча отправился в ванную. Шел дождь, следовало с презрением отнестись к дождю или, наоборот, посчитать, что нет ничего приятнее, чем прогулка под осенним московским дождем в созерцании еще не опавших листьев тополей, нынче они были цвета недозревших лимонов. Да и многое можно было созерцать сейчас в Москве, приняв мировосприятие китайских пейзажистов и поэтов классического периода, видевших мудрость и бренность жизни в застылости сырых туманов, в движении мокрых облаков вблизи безмолвных скал. Михаил Никифорович положил в спортивную сумку вещи, какие ему были теперь нужны.

– Я все починила, – сказала Любовь Николаевна. – И липы поправила… А столовую сделала даже лучше… С росписями стен…

– Под Палех, что ли?

– Под Мстеру… Что вам приготовить на ужин?

– Ужинать здесь я не буду, – заявил Михаил Никифорович. – И прошу вас более не утруждать себя заботами обо мне. И то, что я вам сказал сегодня, примите к сведению всерьез.

– Михаил Никифорович… – Любовь Николаевна встала и даже шагнула к нему, но Михаил Никифорович движением руки остановил ее. – Вы забудьте про документы, какие я вам показывала. И не считайте себя как-либо связанным со мной. Мне и из-за бумаг этих теперь стыдно и противно.

– Вы мой настоящий паспорт мне верните.

– Вы и разорвали настоящий. Но не волнуйтесь. Чистый паспорт, без записи обо мне, сейчас в кармане вашего пиджака.

– А он что – фальшивый?

И он не фальшивый.

– На том спасибо. – И Михаил Никифорович двинулся к двери.

– Вы возвращайтесь вечером, Михаил Никифорович. Здесь ваш дом. Я вас не буду стеснять. Я цветком стану или пылинкой крошечной и раздражений ваших не вызову.

Мольба была в глазах Любови Николаевны.

Михаил Никифорович вышел из квартиры.

30

Суета дня не позволила Михаилу Никифоровичу стать созерцателем. Да и какие могут быть в Москве безмолвные горы и ущелья с сырыми туманами? Созерцателем в Москве затруднительно пребывать, будучи и совсем удаленным от дел. Хотя бы и в опасениях, как бы тебя не переехал ломовой автомобиль, как бы ноги тебе не оттоптали на тротуаре, не ухудшили зонтиками зрение и не повредили локтями ребра. Михаил Никифорович лишь мельком взглянул на опадающие зелено-лимонные листья тополей. «Ляжет ли нынешней зимой снег?» – подумал он. Хорошо бы лег.

Восточные созерцатели, представление о которых у Михаила Никифоровича было чрезвычайно приблизительное, пришли ему на ум случайно, но в памяти он их держал несомненно после разговора с Петром Ивановичем Дробным. Дробный повстречался Михаилу Никифоровичу дней пять назад на Сретенском бульваре, выглядел он неожиданно задумчивым и уязвимым. Или незащищенным. И не в энергическом движении, свойственном ему, находился Дробный, а сидел на бульварной скамейке. К проходящему мимо него Михаилу Никифоровичу Дробный отнесся как к некоему миражу, он видел его и не видел, и не было для него никакой необходимости, чтобы Михаил Никифорович из проплывающей мимо или недвижной картины мира превратился в физическую реальность. А Михаил Никифорович не понял состояния Дробного и поздоровался. Ему было предложено сесть на скамью. Долго они сидели молча. Попытки Михаила Никифоровича заговорить Дробный гасил запретом губ и глаз. Но при этом он как бы приглашал созерцать вместе с ним осенние деревья бульвара, прозрачный теплый воздух, сухие, но будто обретшие в солнечный день надежду на вечное существование листья, желто-апельсиновые, пурпурные, багряные и еще зеленые, стрекозокрылые и жестяные, приглашал созерцать потемневшие руки-ветви, худоба и оголенность иных из них были уже роковыми, тревожными и противоречили надеждам листьев. Приглашал Дробный созерцать на багрово-охряном шлаке пешеходной дорожки жизнь воробьев, каждого со своими возможностями и норовом выхватывавших крошки печенья из-под клюва балованного горожанами ленивца голубя. Но вот Дробный взглянул на часы, кивнул часам, себе, а может быть, и Михаилу Никифоровичу, словно давая понять, что срок созерцания вышел. «Мудрее – пребывание в

жизни, – сказал Дробный, не глядя на Михаила Никифоровича, – а не знание о ней». Дробный и просветил Михаила Никифоровича относительно дальневосточных созерцателей. Но он по-своему их понимал и во многом с ними не был согласен. То есть ему стало интересно их отношение к природе, миру, но, приняв к сведению их нравственные и философские позиции, он остался человеком иных корней, а главное – самостоятельным. Однако выходило, что созерцание ему необходимо, хотя бы полчаса созерцания в день или хотя бы даже час в неделю, иначе в бегах и толкотне жизни можно невзначай унестись к пульсарам и в них исчезнуть либо провалиться в коричневые тартарары. К тому же в толкотне и в бегах этих случалось столько паскудного, что душа Дробного порой стонала и горела. Дробный так и сказал: «Душа стонет и горит!» И являлись ему мечтания… Дробный проводил Михаила Никифоровича к аптеке, говорил еще, реализуя, видно, потребность в слушателе, в особенности таком уважительно молчаливом, как Михаил Никифорович. Из его слов Михаил Никифорович понял, что нечто Дробного испугало, или удручило, или смутило. Оттого-то он вспомнил, в частности, о созерцании. И как будто какие-то житейские перемены наметил себе Дробный. Прежде всего он решил вовремя уйти из мясников. Дробный полагал, что рано или поздно может появиться столько блеющих и мычащих скотин, что почет и уважение в народе к мясникам истают и их положение будет ничем не замечательнее, чем у продавцов жевательной резинки. Но даже если такого и не случится, однообразие жизни заставит его, Петра Ивановича Дробного, загрустить, а натура его оскудеет. Не исключал Дробный возможности пойти на время в каскадеры. «Но там же есть возрастные ограничения, – засомневался Михаил Никифорович. – И я читал: берут только мастеров спорта». «И кандидатов, – сказал Дробный. – А я был кандидатом в мастера. Как раз в спринте. Им нужна реакция спринтера. Машины я вожу сносно. С гор же съезжаю не хуже многих…» Михаил Никифорович знал, что зимой Дробный ездит на Кавказ, в Карпаты и Хибины, а костюмы и снаряжение у него – изысканные, лучших альпийских фирм, не менее ценные, нежели рама, достойная полотна А.Шилова. Дробного привлекало и то, что каскадеры могли не бросать свою опорную профессию. Скажем, если верить программе «Время», группой каскадеров при Одесской студии руководил действующий кандидат философских наук, философ-каскадер. Или каскадер-философ. «Одно другому способствует, – объяснил Дробный. – Особенно в Одессе… Впрочем, пойти в каскадеры – лишь один из возможных для меня вариантов…».

Когда уже подходили к аптеке, Дробный из созерцательного перетек в деловое состояние, душа его свое сегодня отстонала и отгорела, быстро выстудили ее житейские ветры. Дробный мог возвращаться к говяжьим и бараньим тушам.

Еще в студенческие годы Дробный был куда более организованной натурой, нежели Михаил Никифорович, а теперь день бывшего педиатра наверняка был жестко расписан, в том расписании отводились обязательные часы и для занятий контактным каратэ, и для сеансов созерцания. Правда, созерцать Дробному приходилось невдалеке от мясницкой, в местах, какие вряд ли были бы одобрены восточными созерцателями. «Приезжай к нам в Останкино, – посоветовал Михаил Никифорович. – Там и парк, и пруды, и башня». «Что Сретенка, что Останкино – одно! – покачал головой Дробный. – Тут нужны горы, ледники, море, водопады, снежные поля, большая река!» Впрочем, Дробный добавил, что Москва и есть и горы, и ледники, и море, и водопады, и большая река. А созерцать можно и муравья, и цветок черемухи, и пьяницу, свалившегося на пути к метро «Тургеневская».

Нынче же, после ухода из квартиры с вещами в спортивной сумке, Михаил Никифорович мог бы созерцать – в мыслях – единственно самого себя и Любовь Николаевну. Но какое это было созерцание? Михаил Никифорович нервничал.

Решение его порвать с Любовью Николаевной было вызвано прежде всего природой Любови Николаевны. Михаил Никифорович словно очнулся и увидел, в какой лес он забрел. Но если бы Любовь Николаевна была обычной женщиной, как бы он должен был поступить? Ведь жил он последние недели в своей квартире в тепле и сытно, пригрелся и подремывал котом на печи. И главное – Любовь Николаевна была ему мила, он совпадал с ней душой и плотью. Может быть, он и полюбил ее. Однако слова «любовь» Михаил Никифорович избегал и в мыслях, то ли стесняясь его, то ли опасаясь, что к случаю с Любовью Николаевной оно подойти никак не может. Разрыв с Любовью Николаевной выходил сейчас попросту бегством с криками: «Чур, меня!» Получалось скверно. Жил он себе припеваючи, закрыв глаза на очевидное, словно забыв по слабости натуры, что и ему за что-то надо отвечать и платить, а теперь обрадовался поводу, оправдывающему бегство без ответов и расплат.

Земную, останкинскую женщину Михаил Никифорович должен был бы выслушать и понять. Мало ли что вчера Любовь Николаевна наговорила ему сгоряча, спьяну и в кураже. И если даже она сказала ему правду (о чем? О том, что загуляла и будет загуливать? О том, что может

увлечься и еще кем-то кроме него, Михаила Никифоровича?), нынче-то с утра, видя женщину в бедственном положении, он должен был не иронизировать над ней, не измываться, а выяснить все и уж тогда решать, в последний раз он с ней разговаривает или не в последний. Конечно, его взволновали предъявленные ему Любовью Николаевной поддельные документы. Но не он ли вынудил ее завести эти документы? А он-то сам как полагал жить дальше? Рассчитывал (не объясняя, впрочем, ничего себе) на то, что рано или поздно Любовь Николаевна рассеется, изыдет или просто отправится к новому кавалеру, а в его, Михаила Никифоровича, судьбе и личности изменений не случится? Так, что ли? Выходило, что и так… Непорядочно это, сказал себе Михаил Никифорович. Что же он раньше-то себе этого не говорил? И еще Михаил Никифорович задавал вопросы, но не на все отвечал, посчитав, что и не надо отвечать; как бы в своих ответах он не принялся отыскивать себе оправдания, а оправдывать себя Михаил Никифорович ни в чем не желал.

Уже в середине дня Михаил Никифорович понял, что домой он вечером вернется. Ему стало спокойнее. Ассистентка Люся Черкашина, удивленная утренней пасмурью Михаила Никифоровича, уловила поворот в его настроении, сама обрадовалась и дважды в коридоре ущипнула аптекаря.

Квартира была пуста. Не сразу, но вспомнил Михаил Никифорович обещания Любови Николаевны: стеснять его она не будет, а станет то ли цветком, то ли пылинкой крошечной. Ходил Михаил Никифорович по квартире осторожно, все боялся что-либо раздавить или сломать. Думать о том, что Любовь Николаевна уместила себя в цветке или в пылинке, было Михаилу Никифоровичу неприятно. В комнате на подоконнике стояло с недавних пор три горшка с многолетними фиалками, в дом их принес, естественно, не Михаил Никифорович. К окну Михаил Никифорович подходил теперь и с некоей боязнью – не лиловой ли фиалкой с желтым жостовским глазом росла Любовь Николаевна в ближнем горшке, не белой ли фиалкой смотрела она на него, укоряя и печалясь? Нет, ни на пылинки, ни на переплетения тюлевых занавесей, ни на лиловые, ни на белые фиалки Михаил Никифорович не был согласен. В дом на улице Королева он возвращался к земной женщине.

Но не была Любовь Николаевна земной женщиной. То есть для Михаила Никифоровича она была и земной женщиной. Но при этом ведь и еще кем-то! И это он, Михаил Никифорович, должен был иметь в виду как обстоятельство, существенное и для него. Так он теперь себе постановил. Не уповать на авось, не ожидать, что дурман, часто и приятный ему,

выветрится, не считать Любовь Николаевну созданием искусственным, синтезированным из анекдотического табурета, игрушкой галактической или кашинской, инструментом добродетельным либо злым, а признать ее с ним, Михаилом Никифоровичем, как и с другими останкинскими жителями, равносправедливой (или равноошибочной) личностью, со своей бесценной сутью, со своей правдой и болью, со своими порывами, надеждами и крахами, со своими слезами, обидами, слабостями, со своей любовью. Пусть Любовь Николаевна и не такая, как он, пусть из иного слеплена, или выделана, или выделена, или сотворена, – пусть, мало ли с кем в грядущие тысячелетия придется встретиться людям, дружить или ссориться, мало ли чему и кому придется удивиться и к чему привыкнуть! Теперь же ему важно было помнить о своей человеческой ответственности перед иными, нежели он, существами. Тем более что, может, они слабее его и горемычнее. И всякие сомнения – а вдруг эти мысли внушены ему чужой силой и хитростью? Вдруг в последние недели им управляла чужая воля? – он отметал, не желая считать себя личностью зависимой или подневольной. Нет, он ощущал себя хозяином своей судьбы и воли в той мере, в какой человек вообще может быть хозяином судьбы и воли, оправданий себе не искал, готов был отвечать и платить за все, за что должен был платить и отвечать. Таков был нынче Михаил Никифорович.

Михаил Никифорович опять подошел к окну. Раньше он не рассматривал цветы на подоконнике. Оказалось, что во всех горшках фиалки разные. Те, что росли в двух небольших горшках и представлялись Михаилу Никифоровичу белыми, на самом деле были бледно-желтыми и бледно-розовыми. Однако, по предположениям Михаила Никифоровича, Любовь Николаевна предпочла бы поселиться в большом горшке, помещенном в плетеную шестигранную корзину с витой ручкой-ожерельем. Там цветы – не только лиловые, но и с синевой возле желтых глаз, с фиолетовыми прожилками у границ лепестков – поднимались на одиннадцати стеблях, а окружали, обегали, сторожили их будто бы изломанные, встревоженные барочным вихрем листья, скрученные в напряжении по краям, впрочем, сохранившие в сердцевине зелено-плюшевых черешков детскую пухлость и оттого капризные и нервные. Тут был целый мир, а может, и галактика, тут жили разные натуры – и жестокие, угрюмые цветы-совы, и жеманные кокетки, и грустные невольницы, опустившие очи к черной земле. Кем стала здесь Любовь Николаевна?..

Дверной звонок робким звуком отвлек Михаила Никифоровича. За дверью стояла Любовь Николаевна.

– Можно к вам зайти? – спросила она.

– Входите, – сказал Михаил Никифорович.

На цветок фиалку Любовь Николаевна не походила. Была она в черном кожаном пальто и кожаной пилотке. Когда Любовь Николаевна сняла пальто, обнаружилось, что надела она нынче черный же, немного поблескивающий костюм стиля «диско». Свободная блуза была с вырезом и отчасти открывала ничем не стесненную грудь Любови Николаевны, чуть смуглую кожу ее видеть Михаилу Никифоровичу было приятно. Подорванное было здоровье, видимо, пошло на поправку, чувствовалось, что вечерняя Любовь Николаевна могла работать и в каменоломнях.

– Михаил Никифорович, – сказала Любовь Николаевна, – все, что я говорила утром пусть и излишне нервно, я могу повторить и сейчас. Я вас прошу определить мне место в квартире. В комнату вашу без разрешения я не войду.

– Где вы размещались, там и размещайтесь, – сказал Михаил Никифорович. – Вы же прописаны в этой квартире. Все.

– Вы не желаете со мной разговаривать? – спросила Любовь Николаевна.

– Скорее всего, нет. И мне не мешало бы отдохнуть.

– Извините… Я только хотела посоветоваться с вами… Я решила устроиться работать, но не знаю, куда пойти… Есть возможность в посудомойки в «Звездном» и в диетической столовой… Есть возможность в штукатуры или маляры. Стройка недалеко отсюда, на Кашенкином лугу. Или вот еще – в цирке на Цветном бульваре…

– Это ваши заботы, – сказал Михаил Никифорович.

– Извините, – поклонилась ему Любовь Николаевна. И ушла в комнату.

Михаил Никифорович вдогонку чуть было не присоветовал Любови Николаевне обратиться именно на Цветной бульвар, оно вышло бы хорошо и для самой Любови Николаевны, и в особенности для цирка, возможно, в цирке случилось бы и обновление программ, и Шубникова с Бурлакиным следовало бы определить туда для детских утренников. Но не произнес Михаил Никифорович никаких слов, и слава Богу. Отчасти он был и удивлен. Ради чего вдруг Любовь Николаевна занялась трудоустройством?

После некоторых колебаний Михаил Никифорович предпочел посидеть не в ванной (там у него кроме раскладушки был и табурет), а на кухне. Он достал газеты, октябрьский номер «Химии и жизни» и японский роман «Записки пинчраннера». Японский роман как бы сопротивлялся Михаилу Никифоровичу, но отставлен пока не был. Есть хотелось

Михаилу Никифоровичу. А на кухне пахло вкусно. Не хотел он, а все же приподнял крышки кастрюли и сковороды. Осталось вчерашнее – наманганская шурпа и баклажаны. Но появилось и новое блюдо, в теплом еще чугунном горшочке – тушенное с черносливом мясо. «Нет, ни за что!» – решил Михаил Никифорович. Испытание судьбы, впрочем, оказалось не самым жестоким. В хлебнице лежали батон за шестнадцать копеек и буханка орловского. А стоило Михаилу Никифоровичу нагнуться, как в его руке оказались три фиолетовые луковицы, к ним добавилась соль, – чего еще оставалось желать? Михаил Никифорович съел полбуханки черного и луковицы.

Но желания остались! К ним добавились и иные…

А утром он будто бы по рассеянности съел четыре солнечных сырника. Но не он их испек. Стало быть, медный духовой инструмент протрубил «отбой»…

И опять Михаил Никифорович и Любовь Николаевна, случалось, сидели вместе за кухонным столом и вели мирные, неспешные беседы на темы, впрочем, далеко отлетавшие от их судеб. Сидения эти и беседы наверняка отражались на житейских успехах, грезах и движениях души уже известного нам составителя «Записки о состоянии нравов в Останкине и на Сретенке…», о чем он и не догадывался. Шубников был в неведении и относительно того, что иногда Михаил Никифорович и Любовь Николаевна позволяли себе сыграть в подкидного, в домино или в шахматы. Случайному гостю квартиры, попавшему, скажем, сюда из девятнадцатого века, Любовь Николаевна могла бы показаться в те дни экономкой или домоправительницей, до того строгими и целомудренными выглядели отношения Любови Николаевны и Михаила Никифоровича. Если они в тесноте кухни иногда касались друг друга нечаянно, то тут же от стыда словно бы готовы были разлететься в дальние углы вселенной…

Впрочем, так продолжалось неделю. А потом раскладушка была сложена и приставлена к стене в ванной.

Как-то Михаил Никифорович благодушно поинтересовался, на самом ли деле Любовь Николаевна надумала работать.

– Правда, – отвечала Любовь Николаевна.

– Но вы, – сказал Михаил Никифорович, – как будто бы учились в аспирантуре стоматологического.

– Я так говорила. И показывала документ. Но ведь это для того, чтобы у вас и у меня не было тогда неприятностей и лишних хлопот.

– А почему вы зубы лечить не хотите? Или та ваша справка была формальная?

– Зубы я могла бы лечить, – не сразу ответила Любовь Николаевна, – и без всяких справок… Но тут есть свои тонкости… – Она замолчала, задумалась. Потом сказала: – Все же я пойду в штукатуры или в маляры. Там обещают квартиру, и в скором времени.

– Вы говорили, – удивленно сказал Михаил Никифорович, но и как бы шутливо, – что только здесь и можете проживать.

– Говорила, – согласилась Любовь Николаевна. – А у нас станет две квартиры, и их можно будет поменять на одну большую…

«Вот тебе раз!» – собрался было сказать Михаил Никифорович. Закурил. Значит, пребывание Любови Николаевны в Москве ожидается длительное. А коли речь пошла о квартирных обменах, вернее, о слиянии жилищной площади, выходило, что представления Любови Николаевны о ее дружбе с ним были стойкие и определенные. Но не мог ли оказаться он в этой долговременной программе все же используемым лицом?..

– В маляры так в маляры! Если вы не можете добыть жилье иным путем… – буркнул Михаил Никифорович и прекратил разговор.

Через день Любовь Николаевна устроилась на работу. Сообщила она об этом Михаилу Никифоровичу хмуро, видимо, была на него обижена. Сказала еще:

– Я прочитала историю Манон Леско. Вы вспомнили тогда о ней напрасно. И я не Манон. И вы не кавалер де Грие.

– Ну и хорошо, – кивнул Михаил Никифорович.

Любовь Николаевна попала в комплексную бригаду отделочников. Ей надо было и штукатурить, и заниматься малярным делом, и клеить обои. В ученицах она не ходила, возможно, предъявила в отделе кадров верные бумаги или трудовую книжку, а может, справку об окончании орденоносного ПТУ. Домой, к удивлению Михаила Никифоровича, она приходила усталая, разбитая, Михаил Никифорович поинтересовался однажды, зачем Любовь Николаевна так изнуряет себя. «Ничего. Потихоньку привыкну, – слабо и будто виновато улыбнулась она. – Я терпеливая. И выносливая. Просто с непривычки тяжко». И ведь изнуряла себя. Усталая и смирная после трудов, стала будто не способна на ласки, все боялась, что не выспится, потеряла интерес к нарядам, а уж кулинарными удовольствиями занималась лишь по воскресеньям, и то если Михаил Никифорович приходил в субботу с полными сумками.

Однако через месяц она, видно, привыкла к трудам, снова стала способна глядеть телевизор и начала поговаривать о необходимости вечерней светской жизни. «Какой еще светской жизни?» – насторожился Михаил Никифорович. Вот-вот мог пойти разговор и о домашних японских

стерео – и видеосистемах. Решительно возражать Любови Николаевне Михаил Никифорович в тот вечер не стал, посчитав, что, может быть, он обленился и закоснел, а Любови Николаевне нужен более молодой, хотя бы по образу жизни, друг и спутник. И все же Михаил Никифорович засомневался вслух, хватит ли у них средств на поддержание интересной вечерней жизни. Любовь Николаевна заверила его с оптимизмом московской удачницы, что средств должно хватить. И она со стройки, с премиями, тринадцатой зарплатой и внеурочными, может теперь приносить в дом немало денег, и вообще – тут она со значением поглядела на Михаила Никифоровича, словно бы подсказывая ему нечто, – в Москве есть множество способов обеспечить себе безбедное, независимое или даже веселое существование. Михаил Никифорович насупился, сказал, что на что он способен, на то и способен и нечего строить по поводу него иллюзии, они потом могут оказаться и утраченными.

Но вскоре Любовь Николаевна снова озаботилась, приходила домой раздраженная, с пятнами краски и цемента на лице, на руках, обзывала прорабов и мастеров бестолочью, недоучками, бранила снабженцев, поставщиков, сетовала на то, что у них до сих пор не могут ввести бригадный подряд, грозилась, что рассыплет строение в шестнадцать этажей, сооружаемое, в частности, и ею, как Вавилонскую башню. Михаил Никифорович ее успокаивал, упрашивал не надрываться, пощадить дом во избежание жертв, да и многим семьям в случае ее погрома пришлось бы долго ждать квартир с улучшенной планировкой. «Улучшенной! – саркастически усмехнулась Любовь Николаевна. – Как же! Очень улучшенной!».

И все же судьбу Вавилонской башни зданию она не уготовила. Напротив, Любовь Николаевна стала ревнительницей дел на Кашенкином лугу. Ее, несмотря на малый стаж, включили в две общественные комиссии, ей давали слово для выступлений в присутствии начальства, которое тут же было ею пристыжено. Михаил Никифорович не удивился бы, если бы Любовь Николаевну доизбрали в местный комитет треста или управления, и, вероятно, такая задиристая, горластая и борец могла получить квартиру раньше чем через полтора обещанных года.

Михаил Никифорович, прекративший хлопотать о пенсии, оставался на учете как аварийный человек в институте Склифосовского и в районной поликлинике на Цандера. Порой его вызывали и обследовали. И будто бы перемены к лучшему свершались в организме Михаила Никифоровича. Он и сам это чувствовал.

Жизнь в Останкине словно бы притихла. Снег в декабре выпал

наконец зимний, среднерусский, в парке за башней можно было брать лыжи и ботинки для катаний по аллеям, вдоль заборов и на отлогих берегах дальнего пруда. По воскресеньям Михаил Никифорович приглашал Любовь Николаевну в парк, снежные прогулки нельзя было отнести к светской жизни, но Любовь Николаевна отзывалась на приглашения охотно, с особенным удовольствием и ловко скатывалась с горок, не избегая и устроенных сорванцами мальчишками трамплинов, громкая, краснощекая, кормила хлебом уток, зимовавших в полынье на западном краю паркового пруда. А потом они с Михаилом Никифоровичем шли домой…

В сладкой полудреме пребывал Михаил Никифорович. Словно убаюканный и укрытый стеганым одеялом. Почти забыл он о своих вселенских устремлениях и печалях, о бедах рода человеческого, о своей готовности всех уберечь от болезней и невзгод, всех спасти. Что он горячился тогда в разговоре с Батуриным? Смог ли бы такой Михаил Никифорович в осенних, худеньких ботинках, в суконной кепке морозной Колымской трассой добираться до аптеки поселка Кадыкчан? Смог ли бы он удальцом матросом стоять на вахте в водах Ледовитого океана? Нет, не смог бы…

31

Но так продолжалось до тех пор, пока Любовь Николаевна снова не загуляла.

Должен сказать, что не одного Михаила Никифоровича в Останкине убаюкали и укрыли стеганым одеялом. И я жил будто в полудреме. При этом меня расстраивало то, что я ощущал внятное отчуждение от жизни других людей, мне знакомых. Безразлично стало, что с ними и как. И хотелось что-то узнать и в чем-то участвовать, но тут же звучал голос: «Да брось ты! Сиди себе тихо, и все. Что там вне тебя может случиться?» Летом я тоже почувствовал, что люди и их судьбы от меня отдалились. Но тогда я был весь в движении и суете, в энергичном самоусовершенствовании, все бежал куда-то, а людей вокруг почти не замечал. Теперь и бежать куда-нибудь казалось нелепым и противным. И веки разлепить не хотелось. Словно бы птица Феникс с прекрасным восточным лицом из послевоенной кинобылины уселась на Останкинской башне и крылья сложила.

Но и невесело стало. И не мне одному.

В те дни ротан Мардарий пребывал в ванне без движений, задумчивый. Лишь иногда полусонным шлепком хвоста напоминал Бурлакину, что вода остыла, а нужна горячая. Бурлакин устало смотрел на рыбу, беседовал с ней тихо, а горячую воду просто перестал отключать, она лилась и лилась. Шубников по-прежнему торговал овощами и фруктами, теперь ему были доверены цитрусовые из грузинских рощ, из испанских и алжирских, по утрам он наряжался на Сретенке в белый халат, иногда в синий. А дома все больше лежал.

Лежа, Шубников продолжал думать о людских несовершенствах и вздыхал. «Но ведь не собрание одних скотин – люди-то!» – успокаивал он себя. Однако ненадолго. Причем сейчас размышления свои Шубников уже не посвящал Любови Николаевне. Да пусть ее и нет, пусть! Она и не нужна ему. И никому не нужна!.. Нет, он размышлял для себя. И для людей. Он сам хотел все понять и найти свое расположение в судьбе человечества и мироздания. Сейчас Шубников считал себя освобожденным от заискивания, лести, ползания на коленях перед Любовью Николаевной неизвестно из-за чего. Нет, не так он жил. Он жил плохо. Жил как неудачник и скандалист. Жил как мошенник. И теперь следовало все изменить. И в себе самом. И если удастся, если ему дано, если случатся

озарения, то и в людях.

Нынче Шубников парил в мыслях над Останкином, проспектом Мира, бывшими Мещанскими улицами и Сретенкой. И над своей прошлой жизнью он парил. И над Любовью Николаевной… Обойдется он и без неведомых сил, своей головой и своим сердцем. Да если бы и втесалась в его намерения и действия неведомая сила, ее надо было бы подчинить своей воле и использовать, а потом забыть о ней. Мало ли какие личности и средства оказывались в безымянных подручных у великих режиссеров и творцов!

Впрочем, Шубников вряд ли бы назвал сейчас действия и намерения, в которые могла бы втесаться Любовь Николаевна. Ничего определенного он так и не придумал. Он только уповал. Ждал нечто. Сигналов каких-то. Или событий. И озарений, естественно. Или прозрений. Он знал только, что он обязан повести куда-то за собой останкинских, мещанских и сретенских жителей, чтобы вызвать в Останкине и вблизи него совершенство душ и благородство коммунальных отношений. Может быть, природа, создавая его, имела в виду предоставить ему высокую роль (Шубников был согласен: пусть и жертвенную) в людском общежитии.

Бурлакин со своими цифрами, интегралами, с компьютерами, с микропроцессорами, с кубиками Рубика, с дисплеями, что там еще у него, с заблуждениями своих обманных, но высокомерных наук был сейчас Шубникову низок и подл. «Паразитируют их науки на теле души!» – придумал однажды Шубников, сам понял, что придумал какую-то нелепость, но оставил ее при себе. Бурлакина в квартире по вечерам он терпел, да и энергии, пожалуй, обругать его или тем более выгнать у Шубникова сейчас не было. Свою прежнюю недостойную жизнь со скандалами, неудачами, торговлей на Птичьем рынке, авантюрами, дешевыми портвейнами, шапками из псин он склонен был отчасти объяснить влиянием на него наглых, искренних в своих заблуждениях, но часто и циничных естественных наук и их представителя Бурлакина. Да, тот поощрял и Птичий рынок, и шапки, и крепленое вино и сам резвился оттого, что ему, видите ли, бывало скучно на работе. А ведь наглые эти науки не только не объяснили природы (да и как они могли объяснить ее!), но и не улучшили ее, напротив, наверняка ухудшили. Придумав же разные облегчения жизни человека, они избаловали, развратили и испортили его. Какое же они имели право дурно воздействовать на него, Шубникова, приставив к нему в друзья и собеседники Бурлакина? Никакого. При этих мыслях Шубников поворачивался лицом к стене, а к Бурлакину спиной, давая понять ему, как он подл и низок и как ложны все естественные

науки.

Однажды, ощутив в себе нестерпимую готовность вести за собой людей с факелом в руках и жертвовать собой, он подумал с вызовом кому-то, что такие редкие натуры, как он, наверное, заслуживали бы и бессмертие, притом и физическое. Шубников сразу же испугался своей мысли и вызова кому-то, запретил себе и думать об этом.

Но чаще Шубников просто подчинялся тихой апатии и засыпал без снотворных капель.

Валентина Федоровича Зотова я не встречал ни в автомате, ни в магазинах. Смутные слухи о дяде Вале ходили. Будто он – при подругах из Лебединого игрища, перешедших по причине зимы под крышу. Или при одной подруге, но уж больно душевной и миловидной. Или подруга при нем.

Игорь Борисович Каштанов не расстался с лошадью и находил средства платить за аренду гаража. Он состоял в переписке со своей бывшей молодой женой Нагимой и тремя ее кавказскими братьями. Дружеские отношения Каштанов поддерживал и с известной в Останкине дамой Татьяной Алексеевной Панякиной, ударившей некогда Игоря Борисовича туфлей по выбритой щеке. Да и самого Панякина, ныне служителя ветеринарной лечебницы, он угощал на Королева пивом и сухим картофелем из пакетов…

Но потом в Останкине все забурлило.

Напуганная птица Феникс с прекрасным лицом вздрогнула, взмахнула крылами, взлетела в морозные выси, и полудрема прекратилась.

К тому времени трудовая благонамеренность Любови Николаевны не сразу, но иссякла. О делах на Кашенкином лугу она говорила с раздражением. Видно было, что ударницы из нее не выйдет. Похоже, что и ожидаемая квартира более не увлекала Любовь Николаевну. Стали беспокоить ее соображения о том, что малярное и штукатурное производство ухудшит ее внешность. Руки ее и впрямь огрубели. «Да что я ломаться-то вздумала, как Микула Селянинович какой-то! – взбунтовалась однажды Любовь Николаевна. – И главное – из-за чего?» Михаил Никифорович понял, что Любовь Николаевна созрела для прогулов. Он пожурил ее, стал давать советы, как себя преодолеть и как найти в себе дальнейшие силы. «Ну и зануда вы, Михаил Никифорович!» – вспыхнула Любовь Николаевна. Михаил Никифорович и сам смутился. Осторожно сказал, что уж если на стройке такие тяготы, можно подыскать занятие и получше. «Нет, Миша, вы истинно зануда! – опять отчитала его Любовь Николаевна. – И какое ж это занятие получше?» Михаил Никифорович

растерялся и произнес уж совершенно несусветные слова: «Но ведь когда мы катались в парке на лыжах, мне казалось, что вам нравится…» «Да идите вы со своими лыжами! – грозно заявила Любовь Николаевна. – И со всем… Надоели мне ваши лыжи напрокат, да и вы!..»

Тут она остановилась, возможно, посчитала, что хватит, что Михаил Никифорович прибит и повержен, и дальше говорила с меньшей резкостью, будто не желая более унижать Михаила Никифоровича, а только жалея его.

А в Останкине при этом сделалась метель, пусть и не самая свирепая, но с чудным, густым, обильным падением снежинок. Башня утонула в белом. Метель была красивая, редкая, останкинские дети лишь в книгах читали о такой. Но в душу Михаила Никифоровича она принесла хандру… Движение троллейбусов и автомобилей на улице Королева затруднилось, а посетители пивного автомата, не решаясь выйти на улицу, долго не возвращались к семьям и занятиям. Пока снег падал, пока коммунальные работники обзванивали дворников, призывая их взять в руки скребковые лопаты, пока выползали из автобаз машины со щетками и песком, Любовь Николаевна делилась своими неудовольствиями с Михаилом Никифоровичем.

Михаил Никифорович полагал услышать опять о том, что, мол, у некоторых есть в квартирах японские системы с поучительными кассетами, а он жалкий аптекарь. Но Любовь Николаевна брала круче. Ей стала скучной жизнь в Останкине и в Москве, ей стал скучен Михаил Никифорович, хотя она ему и многим обязана, ей были нужны теперь удаль молодецкая, бурные забавы и приключения и наряды подороже малярских комбинезонов. Терпеть она дальше не могла. Выходило, что пособить ей могли иные, нежели Михаил Никифорович, спутники жизни и удовольствий. Хотя и с ним были связаны некогда ее надежды.

– Ну и ладно, – сказал Михаил Никифорович. – И расстанемся.

Любовь Николаевна остро взглянула на него.

– Вы еще пожалеете, что не использовали свои возможности.

– Это были не мои возможности, – ответил Михаил Никифорович.

– Как знать, – сказала Любовь Николаевна.

И она покинула квартиру на улице Королева.

Дверью не хлопнула, лифт не сломала.

То, что она не забрала вещи, ничего не меняло. Это были вещи женщины со скучной жизнью. Уход Любови Николаевны не принес Михаилу Никифоровичу ни ощущения свободы, ни радости, ни простого облегчения.

Метель же не прекратилась, а из тихой и живописной, словно бы устроенной для зимних валютных гостей столицы, стала буйной, вздорной, будто драчливой, с молниями в заснеженном небе, в такую метель в степи недолго было бы замерзнуть или повстречать Пугачева. Останкинская башня не могла передавать цветные изображения, все на экранах телевизоров было опять черно-белым, к тому же кривилось, морщилось, куда-то истекало или пересекалось снежными лавинами. Машины со щетками и песком и широкие скребковые лопаты оказались бесполезными. И что-то тревожа жителей, в высях над Москвой, в бело-серых вихрях, в небесных прорубях то хохотало, то словно бы выстреливало пробками шампанского, то ухало и стонало. И так продолжалось дня четыре. На пятый день метель устала и усмирилась. А в квартире Михаила Никифоровича Стрельцова появилась Любовь Николаевна Кашинцева.

– Что это вы как куропатка ощипанная? – поинтересовался Михаил Никифорович.

– Вам бы высказать сострадание мне, – грустно сказала Любовь Николаевна. – Дайте хотя бы закурить…

– Похоже, и я достоин сострадания, коли вы вернулись.

– Я не вернулась…

Она сидела на кухне, не скинув шубы из ондатры, а лишь сняв лохматую шапку, курила, и можно было подумать, что она действительно забежала ненадолго объявить важное и через полчаса уйдет. Но через полчаса она не ушла. Новые для Михаила Никифоровича шуба и шапка не вызывали мысли об ощипанной куропатке, но лицо, глаза, волосы Любови Николаевны свидетельствовали о том, как она гуляла. На лице ее были ссадины и царапины. Позднее, когда Любовь Николаевна отчасти облегчила себя сигаретами, тремя стаканами оживляющего чая, а потом и кружкой собственного зелья и пошла спать (вышло – отсыпаться), она была вынуждена снять шубу, и выяснилось, что платье ее порвано и в пятнах, а на открытых разрывами ткани спине, груди и руках также – ссадины и синяки. Но это было потом, а пока Михаил Никифорович спросил:

– Вам не надо ли чего? Вы дрожите.

– Не надо… Это нервное… Я справлюсь сама…

И вскоре перестала дрожать. Но тоска не исчезала из ее глаз.

После чая и кружки снадобья Любовь Николаевна заговорила снова. И вот что услышал Михаил Никифорович.

– Я хотела, чтобы вы поняли меня… Или задумались…

Любовь Николаевна трудно подбирала слова, они не были

приготовлены ею заранее и отчасти получались невнятными… И она сомневалась, что Михаил Никифорович сможет понять ее, потому как она сама себя не понимает и, возможно, никогда не поймет… Выходило так, что она заново открывала или испытывала жизнь. Жизнь – во всем и себя – в ней… Она многое желает испытать, испробовать, испить. И многое – наперекор неизбежному… Наперекор тому, какой она должна быть (но какой она должна быть?). В ней происходят изменения, часто неожиданные для нее самой… Ей еще воздается за непослушание и за дерзость. Но она не может иначе… Порой она успокоенная и благонравная, но потом успокоенность и благонравие (да и что такое успокоенность и благонравие?) становятся ей нестерпимы, ее захлестывают загулье и азарт, она не может совладать со своей свободой, страстями и стихией… Но после – летит в несчастья, в отчаяния, в самоотрицания, в желания все оборвать и прекратить. Однако можно ли все прекратить? Она не знает… Ведь и сама природа, сказала Любовь Николаевна, все ищет себя, она как будто бы не способна пребывать в спокойствии. Но, может быть, она, природа, так никогда и не найдет своего истинного состояния, не обретет верного воплощения, и мы осуждены на вечные тайны и поиски? И муки?..

– Вы – природа? – спросил Михаил Никифорович.

– Я – часть природы, – сказала Любовь Николаевна. – Как и вы. Но я – иная, нежели вы, часть природы. И только иногда кажусь себе свободной. Когда я забываю, кто я есть и что должна…

И Любовь Николаевна замолчала.

– Спасибо за метель, – сказал Михаил Никифорович. – Хорошая вышла метель. Но зачем же было огорчать южан? В Италии случились заносы на дорогах и люди мерзли.

– Обойдутся! – жестко сказала Любовь Николаевна. – И вот еще. В той метели вы не заметили… не ощутили ничего необычного?

– О чем вы?

– Именно одно мгновение… Я попробовала, и как будто бы вышло… Если применить ваши знания… Исчезли время, пространство, энергия… Но тут же вернулись… Вы ничего не ощутили?

– Кажется, случился однажды перебой в сердце, – неуверенно сказал Михаил Никифорович.

– Значит, было. Значит, вышло! Они исчезали, а то, что оставалось, прогнулось!

– И теперь стоит прогнутое?

Любовь Николаевна сказала строго:

– Оно и всегда прогнутое. Я лишь усилила выгиб в одном месте и на

одно мгновение.

– А если вы увлечетесь, раззадоритесь еще раз и что-то из-за вас исчезнет уже не на мгновение, то ведь не только могут случиться перебои в сердце, а и само сердце остановится. Вам это в голову не приходило? Или вам все равно?

– Мне этого не позволят. Мне и за нынешнее шею свернут, – мрачно сказала Любовь Николаевна. – Но я попробовала. И вышло!

Она встала, сообщила Михаилу Никифоровичу, что должна выспаться, пусть он ее извинит. Михаил Никифорович посоветовал ей отклеить блестки под левым глазом, они были закапаны черной и синей краской с ресниц и век, но Любовь Николаевна дала понять, что сил у нее нет, ей бы только добрести до дивана и рухнуть. Так оно и случилось. Михаил Никифорович вздохнул, поднял шубу и прикрыл ею Любовь Николаевну.

Отсыпалась она двое суток.

*

Останкино потихоньку очищали от снега, мороз ослаб, вышла и оттепель, после которой пришлось сбивать сосульки и ледяные наросты, угрожавшие головам москвичей.

Встревоженные товарки-отделочницы с Кашенкина луга отыскали квартиру подруги, набросились на Михаила Никифоровича: не случилось ли чего с Любашей? Михаил Никифорович дальше кухни их не пустил, врать он не любил, растерянно говорил, что Любаша внезапно уехала к родственникам, что-то там у них стряслось.

– Что стряслось? Куда уехала? – спрашивали.

Ничего толком не мог объяснить им Михаил Никифорович.

– Что же вы за муж такой? – удивлялись девушки с Кашенкина луга, обещали зайти еще. Говорили громко. Однако не разбудили Любовь Николаевну.

Проснувшись же, Любовь Николаевна ходила по квартире побитой и словно бы обреченной. Несмытые потеки краски, блестки, оставшиеся черными и синими, эту обреченность подчеркивали. Неслышно сидела Любовь Николаевна, ничего не видела, молчала будто бы в отсутствии всяких чувств, пила кофе и покусывала овсяное печенье, купленное ей Михаилом Никифоровичем. Михаил Никифорович не смог не рассказать

ей о приходе девушек с Кашенкина луга.

– Какой Кашенкин луг? – не сразу дошло до Любови Николаевны. – Ах этот… Я туда не пойду. Ничего не буду объяснять, хотя они и хорошие… Они-то хорошие, да вот я дурная. И как я пойду с таким лицом…

– Вам же надо взять расчет, деньги за работу и трудовую книжку, – сказал Михаил Никифорович и сразу понял, как ему ответит Любовь Николаевна.

Но, к его удивлению, она задумалась.

– Действительно, – сказала она. – И зарплата. И трудовая книжка.

И сходила в контору. И оказалось, что ее не уволили за прогулы и не желают увольнять. Напротив, ее были намерены отправить на курсы повышения квалификации с перспективой сделать бригадиром. «Но ведь я прогуляла!» – настаивала Любовь Николаевна. «Что вы, – говорили ей, – вы же ездили к серьезно заболевшим родственникам, это так понятно…» Любови Николаевне пришлось подать заявление об уходе с работы по собственному желанию. «Но зачем ей нужна была трудовая книжка?» – гадал Михаил Никифорович.

Он опять по ночам ставил раскладушку в ванной.

Любовь Николаевна выглядела понурой, подавленной, то ли ждала трепки за свой загул, то ли на самом деле ей было противно жить. В день увольнения в квартиру Михаила Никифоровича явились ее приятельницы-отделочницы. Была водка, вареная картошка, соленые огурцы с рынка. Сидели шумно. Но Любовь Николаевна почти не улыбалась. Одна из отделочниц давала понять Михаилу Никифоровичу, что он плохо холит и лелеет Любашу. На вопрос, куда Любаша пойдет работать и что будет делать вообще, она ответила, что ей опять на некоторое время придется уехать из Москвы к родственникам. «Это в Кашин, что ли?» – поинтересовался Михаил Никифорович. «Куда? В Кашин? Почему в Кашин? – рассеянно переспросила Любовь Николаевна. – Ах да… Возможно, что и в Кашин…»

Потом она ходила по магазинам, сказав Михаилу Никифоровичу, что намерена подобрать гостинцы кашинским родственникам. При расчете ей выдали больше двухсот рублей.

– Хорошая была работа, – сказал Михаил Никифорович. – Не то что в аптеке.

Ни разу не запела в те дни Любовь Николаевна. А ведь Михаил Никифорович простил бы ей теперь и исполнение «Земли в иллюминаторе». Но не вспомнила она слов о траве у дома. Да и росла ли

когда-нибудь у ее дома трава? И где был ее дом?

32

Потом Любовь Николаевна пропала.

Михаилу Никифоровичу хотелось думать, что она уехала в Кашин. Поезда туда ходили с Савеловского вокзала.

Из слов Любови Николаевны, не к нему, впрочем, обращенных, а куда-то в воздух, Михаил Никифорович мог вынести, что каникулярное или отпускное время кончилось. Тому, что он называл некогда бездельем, видимо, был положен предел. Самой ли Любовью Николаевной либо ее пастухами, но положен. Возможно, Любовь Николаевну отзывали как несправившуюся. А возможно, она сама сникла, сдалась, сказала: все, не могу, неспособная, хватит. Под телевизором Михаил Никифорович обнаружил записку. В ней Любовь Николаевна предлагала ему «в случае чего» сдать в комиссионный магазин ее пальто, платья, брюки и прочие вещи, деньги же взять себе в возмещение долгов. Михаил Никифорович в комиссионный не пошел, неизвестно чем и какими могли оказаться эти деньги и вещи. Да и пусть они лежат и висят в его квартире, посчитал он. Михаил Никифорович ходил хмурый, ел плохо и мало, боли и неприятные ощущения, от которых было избавился его организм, возобновились. Впору было начинать снова тяжбу с химическим заводом при участии юриста Кошелева. Он это и сделал. И Михаил Никифорович понимал, что, объявляя пропажу Любови Николаевны благом для себя, он занимался самообманом. Пропасть или сгинуть ей следовало бы прошлой весной…

А вот Виктор Александрович Шубников ожил, на диване более не лежал, опять принялись его посещать скорострельные идеи, хотя, по наблюдениям Бурлакина, в глазах Шубникова отражалось теперь нечто важное, выстраданное, вечное. Странное случилось и с ротаном Мардарием. После исчезновения Любови Николаевны он, казалось, должен был подохнуть или превратиться в мелкую поганую головешку. Но не подох, не уменьшился, не потерял лап.

Шубников удивился. А потом и возрадовался. «Это, значит, не она! – воскликнул он. – Это мы! Это я! Это моя воля! Значит, и все возможно!» Но сразу же будто и забыл о Мардарии. Он заставил Бурлакина заново рассказать о мечте Лапшина иметь сто крепостных, посетил Музей-усадьбу Останкино, взял в библиотеке книги, в каких упоминался род Шереметевых, что-то выписывал из них, но потом, опечалившись, решительно и гордо заявил: «Нет, это сейчас не для меня!» Книги про

Шереметевых он сдал, а взял про Савонаролу. «Все! – сказал он Бурлакину. – Надо опроститься. Мы столько думали о грешном. А надо уйти в пустыню, и босым…» Однако не ушел босым в пустыню, ни в песчаную, ни в ледяную, ни в лесную, а желание стать Савонаролой быстро унеслось вдаль, Шубников принялся бранить Савонаролу, пустынников, отшельников, столпников, а уж Антония Великого, имевшего видения в Фиваидской пустыне, вовсе обзывал идиотом. В тот день он позволил себе погладить ротана Мардария, рыбу окаянную, но не дал себя укусить. Тогда же Шубников стал подолгу смотреть в зеркала. Несомненно, его сущности должен был соответствовать рост в сто восемьдесят шесть сантиметров. Если он, Шубников, и его воля изменили облик и формы ротана Мардария, отчего же он не мог украсить и облагородить себя? Для начала Шубников сбрил бороду, уж больно она стала казаться ему разночинской, усы же оставил с надеждой сделать их густыми и спадающими к подбородку, как у трагика. Волевыми усилиями Шубников попытался выпрямить и утончить нос и удлинить хотя бы шею, но ни нос, ни шея не поддались его воле, и Шубников решил улучшение внешности пока прекратить.

– Ба! Да мы с тобой закоснели! – заявил он Бурлакину. – Что мы расселись-то! Надо втравиться в предприятие!

– В какое еще предприятие? – спросил Бурлакин.

– А я почем знаю! Давай создадим дачный трест.

– Какой дачный трест? – насторожился Бурлакин.

– Не знаю какой. Надо узнать. Я видел вывеску: «Дачный трест».

– А зачем тебе именно дачный трест?

– Может, и вовсе ни к чему, – сказал, подумав, Шубников. – Проживем и без дач. А отчего у тебя нет идей?

– Давай научим Мардария говорить, – предложил Бурлакин.

– Оставь Мардария, – жестко сказал Шубников. Потом снова оживился: – Хватит лежать возле водяной батареи! Надо встрять и втравиться. Главное – встрять и втравиться, а там уж – либо карнавал, либо похоронные дроги!

– Ты-то небось закажешь, – предположил Бурлакин, – не дроги, а орудийный лафет.

– Ладно, – всепонимающе, словно бы уже с лафета, поглядел на него Шубников. – Неси из прихожей телефонную книгу.

– Вот, – сказал Бурлакин, вручая Шубникову толстый том, – но коли ты разбежался теперь неизвестно куда, не забудь о строгостях научного подхода…

– Все? – спросил Шубников. – И молчи! Я в своем разбеге и полете обойдусь интуицией, предчувствием, своей волей и своим творческим началом. Ты же поверяй все наукой, если тебе не скучно. И будешь у меня заместителем по науке. Я тебя даже в члены-корреспонденты произведу.

– Спасибо, – поклонился Бурлакин. – Но в члены-корреспонденты не производят.

– Ну изберу, – сказал Шубников.

Пальцы его уже шебутили справочник Московской городской телефонной сети.

– Так… Музеи… Парикмахерские… Поликлиники… – сообщал Шубников. – Это нам не надо… Опять музеи… Аварийные службы лифтов… Тут что-то есть… Пункты проката… И в этом что-то есть!.. Надо подумать… А? Но что мы предложим в прокат населению? «Или человечеству?» – уточнил Бурлакин. «Или человечеству, – повторил Шубников, но тут же спохватился: – Нет! До человечества мы не доросли. Пока только населению. Я еще не стал избранником!» «Избранником кого?» – спросил Бурлакин. «Ладно! Молчи! – рассердился на него Шубников. – Я думал вслух. Но ты этого не слышал!» Нет, несомненно стоило познакомиться с трудами служб проката. Ближайшие пункты помещались на проспекте Мира, в Астраханском переулке, в Рижском проезде и на улице Цандера. Назывался также Второй проезд Марьиной рощи, но там обслуживали население одним лишь постельным бельем. А люди, не обладавшие постельным бельем, были не из тех, с кем Шубникову хотелось бы иметь дело. Мимолетно заинтересовал Шубникова пункт проката театральных костюмов в Успенском переулке. Но тут же возрадовалось цеховое высокомерие Шубникова: это небось для самостоятельности и маскарадных глупостей. Более привлекал и обнадеживал прокат культурно-бытового и домашнего обихода: всяких стиральных и швейных машин, холодильников, магнитофонов, электрополотеров и прочего и прочего. При этом Шубников полагал, что торговлю овощами и фруктами он пока не оставит, а ему позволят совместить ее со службой под крышей проката. Казалось бы, что гадать – до Цандера Шубникову десять минут прогулки, но вспомнилось: там на месте пункта проката существовала аптека, до затопления ее парикмахерской, и заведовал ею Михаил Никифорович Стрельцов. «Ну и что нам помешает?» – удивился Бурлакин. «Все! Хотя бы память о нем стен!» – «О ком память стен?» «О Михаиле Никифоровиче!» «Это мальчишество! – сердито сказал Бурлакин. – И шаманство». «И сам он, Михаил Никифорович, что-нибудь учудит…» «А что ты предлагаешь

пустить в прокат?» – спросил Бурлакин. «Не знаю, пока не знаю», – сказал Шубников. «Не пожелаешь ли ты при этом возвратиться к своим запискам и заботам об исправлении нравов в Останкине и на Сретенке?» «Не исключено, – загорелся Шубников. – Не исключено!» И сразу же он принялся фантазировать относительно возможных нравственных услуг населению. Он стал размышлять вслух – для себя и для Бурлакина – о том, что в жизни человека все вообще выдается напрокат. Вернее, сама жизнь выдана человеку напрокат и на время. Бурлакин возразил ему, напомнив, что до жизни и после нее человека нет и, стало быть, некому получать жизнь в прокат. Шубников стоял на своем, заявив, что Бурлакин цепляется к словам, а суть оттого не меняется. Конечно, на жизнь человека можно взглянуть со ста восемнадцати точек зрения, применить к ней сто восемнадцать методов анализа и логического укрощения, разместить ее в ста восемнадцати мысленных плоскостях или футлярах, но поскольку возникла идея проката, то ему, Шубникову, позволительно совместить пребывание человека на земле именно с прокатом, а если же придет на ум нечто лучшее, нежели пункт проката на улице Цандера, бывшая аптека Михаила Никифоровича, можно будет и по-иному взглянуть на жизнь и ее ценности. Скажем, если бы ему нынче явилась в голову мысль купить тарантас и поехать на нем в Валуйки, то он бы приспособил размышления о жизни человека к тарантасу и дорожному движению до Валуек через Купянск, и эти размышления были бы верны. Или возьмем дачный трест… Нет, дачный трест оставим. Так вот, прокат. И не жизнь человека, а жизнь человечества. Будет ли спорить Бурлакин с соображением, что человечеству выдано напрокат все: и земные тверди, и воды, и воздух, и химические элементы, какие есть в таблице выпускника Тобольской гимназии и каких в ней нет, и извилины в голове, и травы в огороде, и братья старшие и меньшие для прокорма и забав, да все, все, чего и не перечислишь, выдано напрокат. Слово, конечно, какое-то глупое и узкое. Но ладно. Оно взято сейчас, и ладно… И вот человечество прокатывает себя по материкам, по временам и пространствам. К выданному ему инвентарю придумывает приспособления и поделки, таланты в землю не зарывает, напротив, из нее вытягивает и выкапывает, ловчит, когда нужно, голь, как полагают, хитра на выдумки. Хотя человечество изначально и не такая уж голь. Совсем не голь. И платит оно без задержек, известно как и известно чем. Но как бы не пришлось расплатиться вконец и не сдать все взятое на пункт проката обратно и навсегда. Пока же, пока не расплатилось вконец, почему бы и в самом деле не иметь в Останкине пункт проката, сходный по свойствам услуг со вселенским? «Хватит! – не выдержал

Бурлакин. – Пусть хоть в нем будет все, что есть на одесской толкучке!» «Там-то как раз одни приспособления и поделки», – возразил Шубников. «Ну и что? А эти твои душа, совесть, любовь – это что, не поделки и не приспособления к полученному, как ты говоришь, напрокат, только из иных сфер?» «Я опять забыл на полчаса, – сказал Шубников, – что ты закончил технический вуз. Но в одном ты, пожалуй, прав. Неплохо было бы иметь на Цандера то, что есть на одесской толкучке. Для начала. Чтобы приучить к себе людей». «Тут нам и понадобилась бы Любовь Николаевна, – задумался Бурлакин. – Вдруг она вернется из Кашина». «Прекрати думать и вспоминать о ней! – нервно сказал Шубников. – Не зли меня!».

Приятели долго не могли закончить разговор. Потом решили, что на сегодня хватит. Включили телевизор. Шла к концу программа «Время». И тут зрителям предъявили в ярком изображении остров Хоккайдо, город Саппоро. Чего только не увидели Шубников с Бурлакиным на главной улице этого холодного японского города! И дворцы, и драконов, и самураев, и каратистов, и висячие сады, и все, естественно, из льда. Шубников и Бурлакин были наслышаны о зимних строительствах в Саппоро, но нынешние виды вызвали у них особенное воодушевление. Диктор сообщил, что в этом году устройство ледяной симфонии было доверено местным пожарникам и они не подкачали.

– А наши-то пожарники, – пришел к мысли Шубников, – чем хуже японских! Один Васька Пугач за десять японцев может держать брандспойт!

– Это какой Васька? – спросил Бурлакин.

– Ну Васька, шофер с рыжими усами. Орет по-дружески: «Череп ты мой горелый!»

– Не помню, – сказал Бурлакин. – Нам не построить и Ледяной дом.

– Один Ледяной дом – это что! Это восемнадцатый век, пошлый красавец Бирон и дуреха баба при короне! – заявил Шубников. – А тут можно взять всю улицу Королева от Аллеи космонавтов и до башни и, пока снег и холода, обледенить ее так, что понаедут японцы с киноаппаратами и из Саппоро, и из Токио, и с Окинавы!

– Блажь! – сказал Бурлакин. – Ты бабу-то снежную слепить не сможешь!

– Во-первых, смогу! – обиделся Шубников. – А во-вторых, стоит тому же Ваське Пугачу влить мысль о профессиональной чести да пообещать, у нас на Королева, четыре с половиной Саппоро встанут!

– Ну пообещай, – вяло сказал Бурлакин. – А что же с прокатом?

– И от проката нечего отказываться! – успокоил его Шубников. – Завтра же схожу на Цандера или послезавтра.

И сходил. И оказался нужен. И был приглашен на должность подсобного рабочего.

33

А Михаил Никифорович поливал фиалки на подоконнике.

Несмотря на холод в Останкине, фиалки цвели в трех горшках, и бледно-розовые, и бледно-желтые, и лиловые на одиннадцати стеблях. Известно, прежде Михаил Никифорович цветы в доме не держал, не в оранжерее он проживал и не на клумбе, но с капризом Любови Николаевны смирился, однако о судьбах фиалок не беспокоился, посчитав, что пусть они заботят садовницу. Когда же Любовь Николаевна исчезла, Михаил Никифорович первым делом в сердцах отправил в мусоропровод шлепанцы, купленные ею, ходил по дому в крепких башмаках, будто бы снова ступив на твердую землю жизни. В дальний угол шкафа он зашвырнул пижаму – вериги или смирительные одежды сытой поры. И был готов выбросить горшки с фиалками. Но не выбросил. «Сами завянут», – решил он. Они и стали вянуть. И тут Михаил Никифорович чуть ли не жалость к ним ощутил, принес кастрюлю с водой и принялся увлажнять землю в горшках, столько вылил воды, что она растеклась по подоконнику и заструилась на пол. Михаил Никифорович выругался, но не цветы он ругал, а себя, фиалки же стали ему как бы и своими.

А потом, когда они ожили, когда воспрянули и припухли снова зелено-плюшевые сверху, опушенные белесыми волосками листья, когда развернулись родившиеся при нем цветы, Михаил Никифорович начал испытывать к фиалкам в горшках странное чувство. Вернее, чувство его было обыкновенное, и называлось оно нежностью. А странным было то, что оно явилось Михаилу Никифоровичу. Испытывал ли он когда-либо нежность к цветам? Он жил в согласии со многим в природе, ему были хороши и овраги под Ельховкой, и меловые берега деревенской речки, и степь курская под снегом, и сосны в Абрамцеве, и зеленая вода в Авачинской бухте, он любил все это, он ценил, как мать и как бабки, травы и старался понять их. Но вот нежность… И такая щемящая, ласковая, словно бы требующая воссоединения, чтобы растения с лиловыми, бледно-розовыми и бледно-желтыми лепестками стали частью его, Михаила Никифоровича, а он – частью их. Без этого жизнь будто бы могла оказаться бессмысленной, лишенной сути и тепла… Вот что было странным и неожиданным для Михаила Никифоровича.

Впрочем, он понимал, чем вызвана его нежность. Выходило, что хрупкие, будто настороженные цветы в глиняных горшках оставались

единственным из того, что принесла в его дом Любовь Николаевна, сохранившим для Михаила Никифоровича ее присутствие. Или иллюзию присутствия. Все остальные вещи жилички были от него отторжены. Они были, и их не было. Они его не беспокоили. Цветы же беспокоили Михаила Никифоровича, порой и как-то сладко, а нежность его, требующая воссоединения с ними, уходила словно бы в бесконечность, причем цветы с подоконника были не сами по себе, а чем-то хотя и малым, но обязательным и живым в разрыве, в пространстве между ним, Михаилом Никифоровичем, и Любовью Николаевной. Но может быть, это лишь чувства Михаила Никифоровича стремились прорваться куда-то в бесконечность, а Любови Николаевне в них вовсе не было нужды? Или вовсе не было теперь и никакой Любови Николаевны?.. Но так или иначе, сейчас вблизи фиалок его мучило что-то, и возвышало над всем, и требовало со всем слияния, и тянуло куда-то, словно морские воды притяжением ночного светила. «Дрянь какая-то лезет в голову! – останавливал себя Михаил Никифорович. – Цветочки какие-то! Надо это прекращать…»

И он решил посетить по очереди несправедливо забытых приятельниц, хотя бы трех, при этом каждой из них подарить по горшку с фиалками. Так он и поступил. Горшки Михаил Никифорович подарил, и приходили мысли, что он совершил что-то скверное. Либо обидел кого-то более слабого и незащищенного, нежели он сам. Кутенка, скажем, во дворе. Возможно, каждую из трех своих приятельниц. Возможно, горшки с цветами. Возможно, еще кого-то. Сразу же Михаил Никифорович и возроптал: это его приятельницы-то слабые и беззащитные? Да у каждой из них на службе под началом по десятку таких Михаилов Никифоровичей, а по телефону они с ним разговаривают, как капитаны автоинспекции с превысившим скорость. Можно было посчитать, что горшки с фиалками он пристроил хорошо. Кого же он обидел или обижает? Если только себя. Или…

Об этих «или» он не хотел думать, но думал. Был какой-то глупый разговор в пивном автомате с участием специалиста по тайской культуре Собко, инженера по электричеству Лескова, летчика Молодцова, социолога Серова, Игоря Борисовича Каштанова и прочих. Рядом со всеми молчал и кроткий дядя Валя (я отсутствовал). С чего-то заговорили о любви. По церемониалу мужских стояний, по протоколу мужских бесед и дискуссий заводить обмены суждениями или впечатлениями о женщинах, о чувствах к ним и подходах было не принято. И из желания не обидеть словом милых подруг. И из стремления не опошлить предвзятостями, ошибками

собственной житейской практики или просто глупостью высокий мужской разговор. А тут взяли и заговорили. И о чем? Может ли полюбить сорокалетний. Или даже мужчина более достойных лет. При этом глядели и на дядю Валю. Если верить народной молве, Валентин Федорович Зотов мог в нынешнем умозрительном разговоре опереться и на личные наблюдения, к каким привели его участия в лебединых игрищах. Но дядя Валя молчал. «А вот Михаил Никифорович-то! – подмигнул летчик Герман Молодцов. – Вы его спросите, что и как!» «Оставьте Михаила Никифоровича, – сказал таксист Тарабанько, – он серьезный человек, он аптекарь, он все, что есть в жизни, знает в миллиграммах и гранах. А состояния человека, измеренные в гранах, и названий иметь не могут. То есть могут, но это уже не любовь…»

Разговор тут же двинулся дальше, теперь судили о связях сексуального взрыва с развитием точных наук. Или же их противоборствах. И вышло, что связи были у них, у нас же – одни противоборства.

Михаил Никифорович пришел домой, закурил на кухне, уныло подумал, что он уж точно не полюбит. Да и не способен более полюбить. Я говорил как-то, что слово «любовь» он употреблял, даже и в мыслях, крайне редко. Высокие особенности человеческой жизни, такие, как любовь к женщине, как будто бы имели отношение к совершенным или великим личностям, но не к нему. Те личности и были смысловым обозначением человечества. Их песни и сути смогли уловить веды, Гомер, Библия, саги, Моцарт, Александр Сергеевич Пушкин. Он же, Михаил Никифорович Стрельцов, просто жил. Ел, спал, работал, исполнял определенные ему природой (для его же целей) мужские назначения. Старался быть при этом честным и не вредным для других. И, как справедливо заметил таксист Тарабанько, вырос аптекарем. Хлеб для него был хлеб, а не корень жизни. Хлопок – хлопок, а не белое золото. И формулу воды, пусть и условную, химическую, естественно, помнил Михаил Никифорович. И так уж сложилось в понимании им явлений, что о многих из них он говорил и думал с принижением высокого. Оттого и редко вспоминал слово «любовь». А теперь вспомнил и решил, что никакую женщину уже не полюбит, да и не способен полюбить более. Вот ведь до каких тонких чувств, до какой изящной словесности он дошел, иронизировал над собой Михаил Никифорович.

Но ведь знал же: никакую женщину, кроме Любови Николаевны!

Вместе с цветами пропали и запахи Любови Николаевны. Они не совпадали с запахами фиалок, они были самостоятельные, держались в

комнате, как стало ясно, и после отбытия Любови Николаевны сейчас же исчезли. И в этом был знак Михаилу Никифоровичу. Или даже наказание ему.

«Да взорвалось бы это все и сгорело!» – подумал как-то Михаил Никифорович, имея в виду обстоятельства собственной жизни. Но хотелось ли ему, чтобы все взорвалось и сгорело? А однажды он взял и поехал на Савеловский вокзал. Вокзал существовал скорее для пригородных поездов. Но прибывали к нему раза три в день и составы дальних странствий, в частности рыбинский и обходной ленинградский. А они забирали пассажиров в Кашине. Михаил Никифорович понимал, что такая особа, как Любовь Николаевна, вполне могла обойтись без ленинградских и рыбинских поездов. Зачем они ей? К тому же запахи перрона, шпал, тупиковых рельсов, мазутные, металлические, сырые, казались запахами расставания. Но и они не отгоняли Михаила Никифоровича.

А Любовь Николаевна все не приезжала. Она и не должна была приехать Савеловской железной дорогой из Кашина.

*

Стало известно: Шубников и Бурлакин опять затевают что-то… Говорили, что все силы пропавшей Любови Николаевны оказались при них. То ли были завещаны им. То ли она закопала силы в Останкинском парке под липовым деревом, а они их извлекли из недр. Существовала и неучтивая, неделикатная версия о том, что Шубников с Бурлакиным подорвали и исказили устои Любови Николаевны, заманили ее в сладкую жизнь, опоили, обобрали, отчего она и сгинула в пороке и позоре. Так или иначе в Останкине нечто назревало, нагнеталось и плавало в воздухе. В пункте проката на Цандера стали предлагать жителям во временное пользование два прекрасных секретера восемнадцатого столетия работы кведлинбургских мастеров, какие могли бы стоять и во дворцах Сан-Суси. Их ходили рассматривать, но с опаской, и в квартиры не брали. Да и что класть в секретеры? Бумаги? Для них и на службах хватало плетеных корзин. Долго не брали и изящную, с подсветкой, гонконгскую гильотину для деликатесных собак, вещь, на взгляд останкинских хозяек, странную и преждевременную. Лишь водитель Николай Лапшин отважился арендовать

гильотину и остался ею доволен: капусту, пусть и мороженую, она рубила замечательно. Пока капусту… Конечно, кведлинбургские секретеры и гонконгская гильотина были пустяками, но и они обнадеживали, хотя отчего-то и пугали.

А Шубников стал вдруг вглядываться в натуру и судьбу Потемкина и, вглядевшись, заявил: «Вот кто был великий режиссер и продюсер!»

Бурлакин пытался обратить внимание приятеля на то, что в силу своих особенностей Григорий Александрович и под попечением самого Шубникова вряд ли бы смог облагородить нравы в Останкине и на Сретенке, не говоря уж о бывших Мещанских улицах. Но Шубников был в полете. «При чем тут нравы! – досадовал он. – Ты послушай, какие спектакли он ставил, да еще с массовыми действами, как дурачил заезжих из Европы умников и дошлых наблюдателей!». И Шубников зачитывал Бурлакину кое-что из последних исследований о Потемкине. Выходило, что «потемкинских деревень», о каких Бурлакину сообщали в школе, не было, а Потемкин, развлекая правительницу киргиз-кайсацкия орды Фелицу, устраивал в государственном путешествии из Киева в Новую Россию представления с иллюминациями и фейерверками, в коих вензеля высокой петербургской дамы составлялись из пятидесяти пяти тысяч плошек, с декорациями, со внезапными явлениями аллеи лавровых деревьев с лимонами и апельсинами на них, с закладыванием соборов поболее римского святого Петра, с переодеваниями, со смотром в Балаклаве амазонской роты из вооруженных женщин в юбках малинового бархата и прочим, а всяким почетным гостям, всяким европейским агентам туманил глаза, лапшу вешал на уши, мозги завязывал бечевкой, давал, говоря языком лучших нынешних фильмов, дезинформацию, а они, агенты эти и гости, в числе их и граф Фалькенштейн, он же австрийский император Иосиф II, одну фанеру декораций и увидели, одно и то же «игровое» стадо скота, следовавшее за путешественниками, и углядели, возрадовались и толкнули Турцию, обнадежив ее фанерой, в войну. Турция-то вскоре и рухнула перед Россией на колени. «Ну и что? – спросил Бурлакин. Ну зачем тебе сейчас Потемкин? И зачем турки?» «Я пока не знаю», – признался, остыв, Шубников.

А на улице Цандера гражданам предложили в прокат красивого мужчину двадцати семи – тридцати лет. Красивого мужчину увели с квитанцией через полчаса. И не сколько особ записались на него в очередь. В описании формы услуги, вывешенном в помещении, сообщалось, что мужчина этот не только красивый, но и представительный, солидный, вежливый, блондин, относится к типу актера Александра Абдулова,

происходит из Черкасс и Бобруйска, с дипломом, знает три языка, в их числе и урду, на многих людей может произвести впечатление опоры и друга и тем самым укрепить репутацию человека (ее или его), оплатившего услугу в пункте проката. Цена за услугу была умеренная, сносная для останкинских жителей. Отмечалось, что арендованный мужчина не будет навязчивым, а станет действовать лишь по указаниям клиента. Населению было обещано, что вскоре, пройдя обследования и испытания, будут допущены к услугам еще несколько достойных мужчин разных способностей. Фотографические портреты кандидатов украсили витрину пункта проката. С близкой киностудии имени Горького пришла заявка на трех мужчин иностранной внешности для участия в острополитическом фильме из двенадцати серий с пением Кобзона. Михаил Никифорович, возвращаясь из аптеки, шел однажды по улице Цандера, взглянул на лица кандидатов и удивился: среди прочих проходил нынче обследования и испытания Петр Иванович Дробный. Дробный на самом деле был красивый, вежливый мужчина и с дипломом, но с чего он вдруг надумал идти в прокат?

Впрочем, Михаил Никифорович скоро прекратил гадать о побуждениях Пети Дробного, тот знал, что делал. Михаил Никифорович дома перекусил, переоделся и пешком, неспешно отправился на Савеловский вокзал.

34

В Кашин я попал лет пятнадцать назад по делу о канаве. Потом не раз обещал себе съездить в Кашин снова и не съездил. Позапрошлой осенью мой приятель хирург Шполянов купил «Жигули» первой модели, предлагал прокатиться километров за двести, в какой-нибудь незнакомый ему городок, в Боровск, Мещовск или Мстеру, я вспомнил Кашин, Шполянов обрадовался и Кашину, но опять мелкая житейская суета отменила поездку.

Понятно, я хотел взглянуть не на канаву, из-за которой отчасти и послали меня когда-то в Кашин в командировку. Да и есть ли она? Хотя, вполне возможно, ее так и не закопали. Вырыли же ее на землях женского Сретенского монастыря (бывшего, естественно) с намерением уложить трубу для стока вод. Потом трубе определили иное место, а канаву зарыть забыли. В монастырских строениях квартировали граждане, в общих комнатах проживали будущие ветеринары, канава, открывшая, кстати сказать, чьи-то гробы и кости, была совсем ни к чему сотням людей. Выносились решения, выплескивались чувства, вспухали нагоняи, но канава не исчезала, а по-прежнему мешала людям и машинам. Конечно, дело это было не самое существенное для страны, и решить его можно было звонком из редакции, куда прибыло из Кашина письмо. Но в той истории столкнулись два упрямых и примечательных человека, из-за их натур и позиций мне и выдали суточные, квартирные и дорожные. Я полагал, что в Кашине побуду недолго, а постараюсь заехать в давно манившие меня города – Калязин и Углич. Я и заехал в Калязин и в Углич. А Кащин, отправляясь в ту поездку, я принимал как бы в нагрузку. Да и что там, говорил себе, может быть, в городе этом с несколькими тысячами жителей, одно имя-то у него чего стоит – каша какая-то. Впрочем, я лукавил, приминал на всякий случай надежду на то, что и Кашин не расстроит. Да и прочитал я о Кашине многое, надежду эту вызвавшее.

И Кашин не расстроил. Может, и душу пленил.

Была тихая сухая осень. Кашин запомнился мне зеленым и золотым. Были в нем и другие краски: белые, желтые, лазоревые – старых кашинских зданий. В тридцатые годы удалого, энергичного журналиста, шагавшего от кашинского вокзала, привели в раздражение здешние церкви, не убранные к его приезду, он старался их не замечать, а смотреть через них как через пустоту. Ныне многие древности превратились в Кашине

именно в пустоту, однако иные все же стоят. Белое, желтое, лазоревое, порой и красное в ленивом или будто усталом воздухе бабьего лета входило в зеленое и золотое. Говорили, если бы приехал я месяцами раньше, увидел бы в Кашине синее и голубое и в небе и на земле, здешний край – льняной. Осеннее спокойствие, лень (или нега) были в зеленой воде Кашинки, текли в Кашине и еще две речки – Маслянка и Вонжа, и их струи не спеша шевелили тяжелые темно-зеленые водоросли. Зеленая, пусть и примятая сентябрем, стояла трава на кашинских холмах, валах и оврагах. Какой бы улицей я ни шел, крутой, идущей вверх, чуть ли не предгорной, или же спадающей с валов, я приходил к Кашинке. Кашин не был похож ни на один виденный мною город. Кашинка делала в городе несколько кругов, оплетая улицы, остатки монастырей, соборы, торжище кашинское, как бы опоясывая их спокойствием и мудростью тихого движения. Таким показался мне Кашин. Или мне таким захотелось при знать Кашин. Я был тогда спокоен и благополучен, хотя опять же мне могло только так казаться. И ведь я читал, слышал о судьбе и норове города. Вовсе не был он благонравным, несмотря на призывающие к благонравию святыни и гробницу смиренной Анны Кашинской, вдовы Михаила Тверского. Жил в Кашине народ бойкий, торговый, бедовый, предприимчивый и озорной. Уже в гостинице я услышал: «Кашинцы – они такие. Чего хочешь придумают, устроят и достанут. В Кесовой Горе или Сонкове белые булки пропадут, а тут – никогда!» Как бы в подтверждение этих слов в столовой предлагалась замечательная телятина по-кашински, какую в калязинских и угличских харчевнях я уже не встретил. Известно мне было и то, что крепость кашинская на валах (под конец своей судьбы с пищалями и ядрами) не стояла без дела. Несчастлив, распят был Кашин после сражения на Сити. А потом века сталкивались здесь в усобицах гордыни, честолюбия, амбиции, надежды людей разных, властных и слабых, справедливых и злыдней, князей тверских, московских, ростовских, кашинских, даже и литовских. И здесь осуществляла себя Россия. Здесь любили, воевали, радели о судьбе отечества, размышляли о сути жизни человеческой, строили, шумели на торгу, подличали, гнали фальшивые вина, терзали бесправных, молились, страдали, гибли от сабель и моровых язв, отбивались от отрядов Лисовского, ставили на берегах Кашинки дома не хуже тверских, умирали с думами о высоком или в печали и продолжали жизнь. Грустной тенью остался в памяти Кашина принц Густав Шведский, приглашенный Борисом Годуновым в женихи дочери Ксении, но отправленный поворотом истории или унылой судьбой сначала в Ярославль, а потом в Кашин, в Кашине и зачахший (искал я место, где

горевал на чужбине с единственным своим утешением – книгами – несчастный жених, но не нашел). Да что перечислять читаное! И о страницах Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, уделенных Кашину, я должен был знать. Хотя в пору приезда в Кашин я помнил о них не слишком внятно. Потом, перечитывая «Современную идиллию», наткнулся на них снова и удивился: да про тот ли это Кашин? Но все это было давно. Теперь-то я видел свой Кашин. Впрочем, история с канавой не давала поводов для умиления, она вышла бестолковой и горькой. Хорошо хоть, одному из воителей она послужила уроком гражданского поведения. И знал я, что в целебном, обнадеживающем уголке Кашина – парке с курортными корпусами при источниках сернисто-железистых вод – собрались гости вынужденные, люди с болями и усталостью от них, а то и калеки. Все это я знал и все это держал в душе. Но и тогда живой Кашин слился для меня с тихой сухой осенью, с зеленым и золотым. С ходом же времени он стал опускаться в воды Светлояра или застывать в предгорьях Рериха-старшего. Понятно, эти предгорья или глубины были местностями моей памяти. Он стал для меня мелодией малых русских городов, бывалых, пожилых, вынесших века, чуть придремавших в осенней теплыни. Мелодию его вела флейта (может, свирель?) и еще колокольцы где-то в отдалении. Я понимал, что заблуждаюсь или даже грежу, но заблуждение мое могло быть и намеренным. Мне хотелось, чтобы на земле были и такие места. В поездках своих по стране мне посчастливилось увидеть многие малые города, все без исключения они были для меня достойные и своеликие. В городах побольше, да еще имеющих чин и должность, случались обидные и неряшливые повторы, вызванные модами времен и желаниями, в частности, выглядеть не хуже столиц – при отсутствии монет в казне и самоценности во вкусах. В малых же городах повторов было меньше. И, конечно, виденные мною города не походили на Кашин. Флейты, свирели и колокольцев им бы не хватило. Да и состояния этих городов (и мое в них) были разные. Тут понадобились и виолончели, и балалайки с гармонями, и черные рояли, и вымершие клаксоны, и барабанные палки, и предостережения контра баса. Но в энергии, буйстве, решительности, напоре и тревогах нашей жизни мне необходим был и тот, запечатленный моей натурой Кашин. Он стал для меня реальным и условным. И такой России мне недоставало. И потом это была и Москва, которую я любил. Именно на кашинские улицы с огородами и палисадниками и походили когда-то сретенские переулки, сбегавшие не к Кашинке, а к Неглинке. Из таких улиц и переулков и сложилась Москва и моя судьба. И знать об этом было необходимо. И знать об этом было

хорошо.

Впрочем, все это, может быть, фантазии и сомнительные чувства. Ведь прожил-то я в Кашине всего две недели. А напридумал неизвестно что! И потому более в Кашине и не побывал, чтобы держать его чуть ли не в заповеднике души, а придуманного не развеять и не опечалиться при виде коробок из белесого силикатного кирпича, за пятнадцать лет, возможно, и исказивших Кашин. О Кашине я вспоминал, но, до явления Любови Николаевны, не слишком часто. Но теперь опять будто грезы нашли. Размышляя о Кашине, я думал и о сретенских переулках. Думал о том, что чувства летнего дня, когда я стоял у клена в Большом Головине переулке, а потом бродил по Сретенке, были острее ощущений иных дней. Накануне мы будто бы вольную получили от Любови Николаевны. Но вольная-то оказалась увольнительной или вовсе иллюзией вольной. И тогда на Сретенке я не освободился от мыслей о Любови Николаевне. И теперь нынешнее мое томление души и видения малого северного города Кашина, существующего и несуществующего несуетного уголка русской земли, я вынужден был связывать с Любовью Николаевной, хотя бы с памятью о ней. И грустно было и светло. И снова хотелось есть себя поедом, думать о своих несовершенствах, изводить себя сомнениями: а кто ты есть, необходим ли ты Москве, Кашину или нет? В отношениях с Москвой в сомнениях этих была и доля риторики, я ведь все равно жил в Москве, вдали от нее тосковал бы. Я был прикованным к гению Москвы человеком и хотя бы своими намерениями и обещаниями старался послужить городу… А Кашин? Что я был Кашину? Ничто. Приехал, уехал. Побывал… Но, выходит, Кашин стал нужен мне. И я от этой нужды в нем никогда не избавлюсь, пусть и вспоминаю о нем не каждый день, как не каждый день вспоминаю о Нестерове, Краславе, Ужуре, Минусинске, Рассказове, Катта-Кургане, Иланском. Там я был, и они остались во мне. Эти города сохраняли и оберегали нечто во мне. Пусть я и провел в каждом из них по нескольку дней (в тысячах других и вовсе не бывал), ничем не одарив их. Или сделав для них малое. Но без них не было бы и меня. Они оберегали нечто во мне, но и я хотел бы уберечь их. Как я мог это сделать? Я хотел бы, чтобы они не исчезали из вселенной. Но какие я силы должен был иметь для этого!

Что сберегал сейчас во мне Кашин? И только ли в связи с отсутствием Любови Николаевны? Не думаю. И я понимал, что сама Любовь Николаевна, хотя и вызывалась быть берегиней или была даже отряжена стать ею, вовсе не совпадала своей натурой с течением реки Кашинки и тихим золотом деревьев вблизи нее. К тому же, может быть, она не

отлетела в дали вселенские, а была сейчас все еще в промерзших деревьях и под речным льдом, и томили нас ее зимние печали и предвестья? И коли ей не суждено было уже вернуться, не остались ли ее печали в нас навсегда?

О жизнь наша морозная и прекрасная!

«В ней душа спиленного дерева…» – снова пришло на ум мне. Была ли в Любови Николаевне на самом деле – среди прочего – и душа спиленного дерева, родственного сретенскому клену или кашинской ветле?.. Вспомнилось мне, какие пилы и топоры держали мои руки. Ее нет и не будет, успокоил я себя. А если в ней – среди прочего – и умещалась душа спиленного дерева, то в ладу или в противоборствах с чем-то, что было не лучше топоров и пил. И не поспешили ли мы согласиться с дядей Валей, навязавшим нам ее имя?

В те дни я читал книгу об изографе Гурии Никитине и увидел в ней слова страстного проповедника, к каким великий костромич должен был бы относиться с уважением: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто… Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся… А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них большее».

Может быть, прав был Филимон Грачев, возразивший дяде Вале и назвавший ее Варварой?

Но нет, наверное, и не Варвара было ей имя…

Я не переставал вспоминать о Кашине. И будто бы старался отыскать никем не обретенное, но никем и не потерянное.

Нет, не должна была вернуться Любовь Николаевна.

Никогда.

35

Я ошибался. Любовь Николаевна появилась в Останкине.

Не знаю, что произнес бы Михаил Никифорович, увидев Любовь Николаевну на выходе из угличских или весьегонских вагонов, может быть, и ничего бы не сказал, дав ей понять, что он прогуливается здесь не ради встречи с ней, а просто так. Но увидел он Любовь Николаевну не на вокзале, а у себя дома. И дома он ничего не сказал ей, а снял с антресоли раскладушку. Любовь Николаевна сразу же попросила Михаила Никифоровича устроить завтра встречу пайщиков кашинской бутылки. В крайнем случае – послезавтра. Она даже улыбнулась Михаилу Никифоровичу, но улыбка ее вышла будто придавленная. В ней были и быстрое смущение и холод. Это была улыбка чужого Михаилу Никифоровичу существа.

– А где фиалки? – спросила Любовь Николаевна.

И так спросила, что стало ясно: исчезновение горшков с цветами озаботило ее сразу же при входе или влете в квартиру Михаила Никифоровича.

– Я их отнес в дома, – сказал Михаил Никифорович, – где к ним относятся внимательнее, чем здесь. Там их поливают.

– Их надо вернуть, – чуть ли не приказала Любовь Николаевна.

– Если для вас важно, – сказал Михаил Никифорович, – то и займитесь сами.

– Вынуждена буду заняться. – И Любовь Николаевна сжала губы.

– Проверьте прочие ваши вещи. Нет ли пропаж, порчи и потрав. Не загрызла ли их моль. Я за них в ответе.

– Прочие вещи меня не волнуют, – сказала Любовь Николаевна. – И я хотела бы, чтобы собрались на квартире Валентина Федоровича Зотова. Я должна сделать заявление.

Назавтра днем Михаил Никифорович зашел в пивной автомат, надеясь избежать походов по домам пайщиков кашинского сосуда. Особых удивлений по поводу возвращения Любови Николаевны в субботней компании высказано не было. Но и головные уборы в воздух никто не швырял. Даже Шубников с Бурлакиным. Похоже, все были раздосадованы или хотя бы озабочены.

– А что ей надо от нас? – спросил Филимон Грачев.

– Она выступит с заявлением, – сказал Михаил Никифорович. – Она

настаивала и на присутствии Шубникова с Бурлакиным.

– Опять ты, Миша, – печально произнес дядя Валя, – у нее под каблуком…

– Или под копытом, – сказал Филимон Грачев.

– А я не пойду, – сказал Каштанов. – У меня нет пая.

– Ни у кого нет никаких паев, – сказал Михаил Никифорович. – По этому поводу имеется документ. С кровью дяди Вали.

– Но что вспоминать о каком-то документе, об этом так называемом акте о капитуляции? – вступил в разговор социолог Серов. – Это же была игра.

– Игра, – поддержал его дядя Валя.

– Не похоже было, что вы, Валентин Федорович, тогда играли, – сказал я.

– Тогда было не похоже, а теперь…

– Все же надо прийти на встречу с ней подготовленными, – высказал соображение Серов.

После его слов собеседники зашумели. Еще чего! И так сделаем одолжение, если явимся на встречу с Любовью Николаевной, – отчасти из-за того, что и Любовь Николаевна была все же существом женского пола или рода, а отчасти и из-за бурундучьей любознательности. И все.

36

Как беспечны мы были!

И какими возмутительно корректными оказались мы в воскресный день! Все без пяти одиннадцать пришли на Кондратюка, в дом Валентина Федоровича Зотова. Иные, сами знаете почему, с сумками. Что нас туда принесло? Что нас сделало беспечными и забывшими все печали? Вера в собственную самостоятельность и независимость? В собственную самоценность и самодостаточность? И она. Но, главное, мы встали поутру беспечными, беззаботными, ничем не омраченными. Легкими и пушистыми… И выслушали заявление.

– Снова здорово! – удивился Филимон Грачев.

– Я пойду, – сказал я, – из-за своих четырех копеек я теряю уйму времени.

– Останьтесь, я вас прошу… К тому же мало кому известно, какое время потерянное, а какое – найденное.

Этот довод Любови Николаевны сокрушил меня. Любовь Николаевна сидела нынче в сером пиджаке и серой юбке английского стиля. Стиля определенно делового, причем при взгляде на Любовь Николаевну являлась мысль: «Вот такие пиджаки дамы надевают, когда хотят получать „Знак Почета“. Однако и иные ордена могли подойти к этому пиджаку. Несколько смягчала строгость английского стиля белая шелковая блуза с кружевным воротником. В ней было нечто от французов. Впрочем, и у французов случались Жанны д’Арк. И в блузе с кружевами Любовь Николаевна выглядела начальницей, способной править морями.

– А не влетело ли вам? – обратился к Любови Николаевне Филимон. – Не вмазали ли вам? Не накрутили ли хвост? Не выпороли ли розгами и не отправили ли под зад коленом обратно к нам?

– Я не имею сейчас возможности разъяснить вам все, – сказала Любовь Николаевна. – Но удивлена резким тоном вашего ко мне обращения.

– Филимон, ты на самом деле нынче неучтив, – деликатно и как бы призывая к добродушию произнес Каштанов.

– А ты замолкни! – сказал ему Филимон.

Получалось так, что Филимон Грачев становился чуть ли не застрельщиком в команде пайщиков кашинского сосуда, чуть ли не лидером атак в ней. Или нет. Команды в квартире дяди Вали не было.

Общность распалась. Она и прежде была условной, а теперь, выходило, распалась вовсе. Все утонули в своих интересах, и каждый думал, как именно ему быть дальше и что может именно ему принести поворот истории с Любовью Николаевной. Один Филимон Грачев для себя, видимо, все установил, разбомбил вертикали и горизонтали, угадал подъемный вес штанги, а потому и позволял себе быть неучтивым. Остальные же или просто оказались погребенными под сводами слов Любови Николаевны и к свету еще не выбрались, или же, не испытав особых расстройств, имели причины для дипломатического поведения. Серову, наверное, хотелось бы держаться подальше от неопознанных сил, однако – из-за каракулевой шапки – он был вынужден тихо сидеть со всеми. У Михаила Никифоровича образовались свои сложности. Валентин Федорович Зотов месяцы уже пребывал, возможно, душой не здесь. Бурлакин и Шубников, вероятно, не желали пока раскрывать себя. А Филимону Грачеву все было нипочем.

– Или вас разводным ключом огрели и подкрутили? – бесстрашно продолжал Филимон. – Или в вас новые лампы вставили?

– Все это сложнее, чем вам кажется, – мягко сказала Любовь Николаевна. – И проще. Но даже и терминами из энциклопедий и словарей, с которыми вы, Филимон Авдеевич, познакомились теперь, объяснить я вам все не смогу.

– Энциклопедий вы не трогайте! – обиделся Филимон. – Ясно! Выпороли ее там за то, что она ничего не умеет и не знает, за ее загулы и оскорбления земного достоинства и спустили снова на нас. А мы вроде ничего и не значим!

– Где это – там? – поинтересовался Каштанов.

– Ну там! – махнул рукой Филимон.

Глядя сейчас на Любовь Николаевну, нельзя было и представить, что ее где-нибудь, пусть и в самых необыкновенных, непонятных и недоступных останкинским умам местах, выпороли и тем более отколотили разводным ключом, достойным немытых рук мрачного водителя Лапшина. И упоминание о загулах и каких-либо других нравственных отступлениях Любови Николаевны, казалось, могло быть вызвано лишь особой неприязнью воображения Филимона Грачева. Любовь Николаевна походила нынче (не забудем и о пришедших мне на ум англичанках и француженках) и на женщину – детского хирурга, только что спасшую безнадежных детей, в думах она была и с нами и со спасенными детьми: не проспали ли у них осложнения дежурные сестры и ординаторы? И на знатную швейницу, заседавшую вечером при

Маслюкове в жюри конкурса теледевушек, походила Любовь Николаевна. Эта дама двадцати примерно семи годов никогда не бывала в загулах, и она не могла чего-либо не знать и не уметь. Она пребывала в светлом пути. Но, конечно, Любовь Николаевна была и просто женщиной, ее прекрасно причесали, может быть, и сам Судакян на Сивцевом Вражке, и кремы, и туши, и краски, и помады деликатно участвовали в ее макияже. Совсем не являлись сегодня мысли о тверских лимитчицах, и не возникали в квартире Валентина Федоровича запахи деревенского утра, парного молока, желтых кувшинок в тихой воде. Духи Любовь Николаевна употребляла эксвизитные, из дальних земель, такие мы дарим подругам раз в году. И то не в каждом… Любовь Николаевну можно было сейчас же избирать в исполнительные и в законодательные органы.

– А вы-то что? – сказал Филимон. – Что притихли? Отчего нам-то терпеть? И всему Останкину!

– Она ведь не желает нам ничего дурного, – виновато улыбнулся Каштанов. Как бы стыдясь чего-то – самого себя, что ли? – он опустил глаза и смотрел теперь, видно, что наслаждаясь зрелищем, на ноги Любови Николаевны. Ноги ее были красивые, крепкие.

– Мне наплевать на то, что она желает! – сказал Филимон. – Важно, чего я не желаю. И из-за чего меня-то впрячь намерены? Из-за того, что я тогда сходил за бутылками? За копытные? Я и так проучен. Я не пью вин. Я уже не амбивалентный, а горячительным напиткам предпочитаю умственный и гиревой спорт.

– А как же пиво? – спросил Михаил Никифорович.

– Наконец-то заговорил! – обрадовался Филимон. – А то все сидишь в плену и в дурмане. Пиво не горячительный напиток, а прохладительный, и ты как аптекарь должен это знать! Тут я делаю уступку организму. А пиво не дальше от безалкогольных напитков, нежели кефир. В «Жигулевском» меньше трех градусов, в автоматном же и двух не наберется.

– На Королева не должны разбавлять, – сказала Любовь Николаевна.

– С Филимоном трудно спорить, – обратился к Любови Николаевне Каштанов. – Он у нас энциклопедист.

– Филимон, – поинтересовался Бурлакин, – ты не состоишь в переписке с Дидеротом? Или с Монтескье?

– Я даты в скобках помню, – с упреком сказал Филимон. – Хотя, случись оказия, не постеснялся бы задать Д’Аламберу два вопроса. Но что мы друг друга болтовней отрываем от сути!

А ведь действительно отрывали.

Суть же была такая.

Любовь Николаевна не упразднена и не исчерпана, она по-прежнему раба и берегиня. Но она и не та, что была до возвращения. Она лучше, надежнее в делах. И вариант у нее – один. Срок ее присутствия вблизи нас ей определен вечный. То есть вечный этот срок для нас. Пока не прекратится существование каждого из нас, пока не кончатся наши сны и прогулки на земле со вдыханием ароматов чертополохов, смазочных масел, конских навозов, с питьем пива на улице Королева, пока не иссякнут наши заботы, пока не вычеркнут нас из списков жилищных контор, покидать Москву Любовь Николаевна имеет право лишь на время. Пора знакомств прошла, открылись закономерности и необходимости. Теперь: да – да, нет – нет, и не вправо, и не влево. Это касается не нас, а ее, Любови Николаевны. Сбоям, уступкам, неряшливой невнимательности не положено быть. Опять же это относится к ней, а для нас она раба и берегиня, такая ее функция в мироздании, это обстоятельство она просит нас принять во внимание. По ее наблюдениям и чувствам, мы, несмотря ни на что, натуры разумные, с благородными задатками, привитыми семьей, учебными заведениями и обществом, а потому она надеется, что мы понимаем ее тяготы, сами задумываемся о собственных ответственностях перед тем же мирозданием и не станем вредить себе же, не оттолкнем ее, Любовь Николаевну, снова, не создадим ей препятствий, не опустимся до эгоистических уловок, увиливаний и капризов. Нынче Любовь Николаевна не старалась вызвать у нас какие-либо жалости и сочувствия, войти в свое положение не просила, глаза ее не влажнели. Иногда в интонациях Любови Николаевны прорывались и напористая самоуверенность надсмотрщицы, какая позже, в восьмидесятые годы, услышалась мне в одной из вершинных строк отечественной песенной лирики: «…без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом…» Впрочем, чаще Любовь Николаевна все же подчеркивала, что мы – ее превосходительства, а она у нас в услужении.

Однако и при этих словах следовало встать и уйти.

Но никто не встал. И никуда не ушел.

Было в Любови Николаевне нечто прежде нам не предъявленное (или предъявленное, но не столь очевидно), что не давало ни встать, ни кашлянуть, ни щелкнуть комара на носу. Курильщики не дымили. В силу привычки и всегдашнего желания обнаруживать инвариантность бытия и существ я, то и дело соскальзывая мыслью с зеркальной гладкости реального, ставил Любовь Николаевну в разные ряды знакомого мне. Оттого и являлись англичанки, Жанны д’Арк, детские хирурги, швейницы, надсмотрщицы и прочие. Однако эти отсылы Любови Николаевны вдаль от

нее самой были лишь облегчением моего восприятия ее сегодняшней. Но я чувствовал: я не точен, то – внешнее, а Любовь Николаевна нынче будто… будто… будто жрица! Но опять это было «будто», и опять я помещал Любовь Николаевну в футляр стереотипа. И все же именно жрицей представлялась мне теперь Любовь Николаевна. Она сидела почти застывшая, лишь изредка коротко, красиво и резко двигались ее руки, чаще правая, но мне казалось, что Любовь Николаевна змеится и ввинчивается куда-то в пространстве, отчего в тесноте квартиры Валентина Федоровича создается энергетическое напряжение, оно – как руль или как власть, и во мне, внутри меня, происходило словно бы винтообразное движение, ритмически подчиняющее меня Любови Николаевне. И силы, неизвестные нам, лились, видно, в ней и исходили из нее, сияния и взблески возникали возле Любови Николаевны – и вблиз ее рук и над головой у самых волос (сзади – витой пучок и белая лента в нем). И нечто слышалось, но не треск и не шипение, а обрывный звон чембало или даже дрожание восьми виолончелей, случался и гул синтезатора… Мы были примяты к своим местам во времени и пространстве (или в судьбе?) и не роптали.

А Филимон Грачев взроптал. Слова и силы Любови Николаевны не одолели и не убедили его. Филимон выскользнул. Ропот же Филимона не сразу, но разбудил живое и в нас.

Серов осторожно напомнил Любови Николаевне о документе, крепость коему должна была придать кровь Валентина Федоровича Зотова. Он не стал называть документ актом о капитуляции, но решился сказать, что на том документе вблизи дяди Валиной кровавой печати стояла и подпись Любови Николаевны.

– Я помню, – кивнула Любовь Николаевна.

– И что же? – спросил Серов. – Договорные документы с вашей подписью вы вольны и отменить? Разве после этого смогут они, – Серов показал на собравшихся, а себя и не имел в виду, – вам верить и быть с вами в каких-либо отношениях?

– Тот документ спорный, и в нем есть строки, дающие возможности для разных толкований.

– То есть?

– Перечитайте документ, – сказала Любовь Николаевна.

– Валентин Федорович Зотов, – объяснил Серов, – к сожалению, считает, что документ утерян или украден.

– Валентин Федорович, – сказала Любовь Николаевна, – осмотрите, пожалуйста, полку в хозяйственном ящике в туалете, над смывным устройством.

Искорка выжглась возле виска Любови Николаевны, в слепящую иглу выпрямилась, но погасла, кто-то тронул четвертую струну арфы и тут же отвел пальцы.

– Подкинули! – клятвенно сказал дядя Валя, вернувшись с розовой бумагой. – Уворовали и подбросили!

Документ был зачитан.

И выяснилось, что текст собственного сочинения мы забыли. Мне казалось, что документ вышел кратким, но это было не так. Помнились из него лишь два пункта: о возвращении здоровья Михаилу Никифоровичу и об открытии автомата на улице Королева. В бумаге же теснились и другие требования и соображения. Но, может быть, сегодня нам явился и не наш текст, а документ поддельный? Филимон так и утверждал, но Валентин Федорович Зотов признал свою руку и ошибки этой руки, признал он и свою кровь.

Любовь Николаевна тихо напомнила, что и ее кровь есть на розовой бумаге. Однако кровь Любови Николаевны Филимона Грачева не волновала, это, вероятно, была и не кровь вовсе, а вот для установления подлинности крови дяди Вали он потребовал экспертизу. Никто его не поддержал.

– Ну и ладно! – сказал Филимон. – Капитуляция есть капитуляция! И ее никто не отменял!

Однако тут мы сразу вынуждены были вспомнить спор: брать пленных или не брать? Увлекшись формой договорного документа, мы тогда сами и запутались. Валентин Федорович Зотов – в ту пору трибун и победитель – не соглашался брать пленных, но, если их не брать, они подлежали уничтожению, однако уничтожить Любовь Николаевну никто не пожелал. И она оказалась в положении просто пленной, к тому же положение ее облегчали оплошные слова, записанные, если помните, дядей Валей по инерции или неизвестно зачем: «Сдалась на милость победителей…» Пленной же мы обязаны были отвести место пребывания, пусть и с охраной, и определить виды занятий и работ.

– Где это записано? – возмутился Филимон.

– А вот, – указала Любовь Николаевна.

До поры до времени она, Любовь Николаевна, не напоминала о себе, не сутяжничала, не отстаивала свои права, полагая, что поводов для этого нет. Место пребывания ей было определено и был указан начальный фронт работ. Пиво потекло, а что касается Михаила Никифоровича, то он сам не способствовал излечению. Что же дальше? Ей, Любови Николаевне, нужны занятия хотя бы для того, чтобы оправдать расходы на содержание

пленной. То есть никаких расходов вовсе и не потребуется, тут дело особенное, ни для кого в Останкине она не может быть обузой в денежном, что ли, смысле, однако…

– Уважаемая Любовь Николаевна, – неожиданно ледяно сказал Серов, и видно было, что он сдерживал возмущение, – не будете ли вы любезны объяснить, отчего вы отложили на несколько месяцев толкование вашего статуса после так называемого акта о капитуляции? Что же вы раньше-то не делали заявлений, а жили совсем не пленной и именно не в лагерном бараке? Все это выглядит… будто вы ожидали в засаде…

– Это не так, – резко сказала Любовь Николаевна. – Изменились обстоятельства. Я теперь иная. Тогда мне было тяжко, я обиделась на вас, решила: ну их, будь как будет, пусть и сгину. Но не сгинула… Сейчас же я не имею права на обиды. И не имею права сгинуть.

– Я говорил: опять сядет на шею, – пробормотал дядя Валя.

– Что? – спросила Любовь Николаевна.

– Да нет, я так, – смутился дядя Валя.

– А мы вот возьмем и ликвидируем акт о капитуляции! – заявил Филимон.

– Тогда я тем более, – воскликнула Любовь Николаевна, – должна быть рабой и берегиней! Да поймите же наконец! Так случилось, что я обязана присутствовать в ваших жизнях. Это неизбежно и для меня и для вас. Для всех вас.

– Давайте уточним, – насторожился я. – Кто тут «все»?

– Все, кто здесь, – сказала Любовь Николаевна. – И даже Николай Ильич Бурлакин.

– Почему «даже»! – возмутился Бурлакин. – Это Каштанов, может быть, здесь «даже». Или собака дяди Вали.

– Замолчи! – повелел Шубников.

– Все – это прежде всего люди, собравшие деньги для покупки известного сосуда, и человек, совершивший покупку и доставивший вещь хозяевам.

– Я, стало быть, вас на руках носил, – сказал Филимон. – Кабы знал…

– Но Каштанов-то теперь без пая! – ринулся в атаку Бурлакин. – И Михаил Никифорович должен Шубникову три рубля.

– Два пятьдесят, – поправил честный Шубников.

– Эти два пятьдесят посторонние, – сказала Любовь Николаевна.

– Мы будем оспаривать! – обиделся Бурлакин.

– Что касается Каштанова, то при уступке или продаже пая купчую оформили на Шубникова, – сказала Любовь Николаевна, – а Каштанову

были обещаны комиссионные, эти обещанные комиссионные и удерживают Игоря Борисовича Каштанова вблизи пайщиков.

Шубников с Бурлакиным переглянулись. Как же они оконфузились? Как же не уплатили комиссионные вовремя?

– Если вы так считаете… – заерзал на стуле Каштанов и словно бы обрадовался. – Я сочту за честь… Но зачем? Я откажусь от комиссионных…

– Уже поздно, – сказала Любовь Николаевна, и искорка проскочила над Каштановым.

Далее Любовь Николаевна сказала вот что. Стало быть, люди, при которых она возобновляется как раба и берегиня, названы, не объяснен пока Бурлакин, но по просьбе и завещанию Шубникова как владельца одного из основных паев Бурлакин признан сопровождающим лицом Шубникова, его пажом, оруженосцем, счетным устройством, наперсником, другом детства, а потому ему даны гостевые и совещательные возможности. Любовь Николаевна сообщила, что на этот раз каждый из нас имеет право отказаться, предположим, временно от общения с ней и от ее услуг, при этом, если все же возникнет надобность, возвращение к ним будет мгновенным. Возможно, объявила Любовь Николаевна, исполнение и единичных, разовых, выборочных или чрезвычайных желаний, то есть как бы включение контакта с ней на краткие сроки. В ее личностных подходах к каждому каких-либо предпочтений не должно быть ни из-за обстоятельств жизни, ни из-за увлечений и слабостей, со всеми ее отношения станут ровными, одной положенной, неутомленной температуры. Другое дело: величина вкладов каждого известна, а сколько дадено, на столько и будет отпущено. И при отказе пайщика от услуг о доле его не забудут, ни на кого другого она не прольется. Иные размышляют сейчас, как и прежде, о несвободе, об отсутствии выбора, о принуждении и гнете, но они не правы. Вольному воля. Зато она, Любовь Николаевна, от нас не свободна, и потому, чтобы позднее не было повода думать о ее небрежности или легкомыслии, ей хотелось бы получить письменные заверения об отчуждении от нее или о временном отказе от велений.

– Я признаю Любовь Николаевну рабой и берегиней! – великодушно произнес Шубников. Впрочем, тут же внес оговорку: – Но это не значит, что я стану опираться на вас, Любовь Николаевна, или излучать вам просьбы. Сейчас, как никогда, я рассчитываю на самого себя. Хотя от вас я не отчуждаюсь.

Каштанов сказал растроганно:

– Я обращусь к вам, Любовь Николаевна, но лишь в крайнем случае… Из уважения… Из симпатии к вам…

– Спасибо, – сказала Любовь Николаевна. – А вы, Валентин Федорович, как вы? Хотелось бы услышать вас.

– А что говорить? – сказал дядя Валя, и обреченность была в его голосе. – Проживайте в Москве, если уж так все вышло.

– Дядя Валя! Дядя Валя! – покачал головой Филимон.

– Я напишу заверение, – сказал Михаил Никифорович. – Какое там нужно вашей канцелярии? Что я сам по себе и что вы сами по себе, что вы добродетельная и что претензий к вам я не имею. Сейчас или потом?

– Лучше сейчас, – сказала Любовь Николаевна.

– Любовь Николаевна, – благонамеренно заговорил Серов, – а нельзя ли обойтись без письменных заверений об отказе? Они не для моей натуры. Нельзя ли устно? Да и не особенно взыщут-то за мои шесть копеек…

– Я верю вашему слову, – сказала Любовь Николаевна.

– Примите и от меня, – поспешил я, – устное заявление, сами знаете о чем, на мои-то четыре копейки.

– Хорошо, – согласилась Любовь Николаевна.

– А я – шиш! – заявил Филимон. – Для вас – она есть! А для меня – ее нет! Нет! Вы поняли? А вы якобы отказались, устранились и думаете, что освободились от нее! Шиш! Вы всегда будете помнить о том, что она есть и что отказ ваш временный! Вы увязнете в ней! И как это вы смиряетесь с тем, что вас впрягают неизвестно во что!

– Вы искажаете реальное, Филимон Авдеевич, – задумчиво сказала Любовь Николаевна. – И слишком вы горячитесь.

– А вы на меня не воздействуйте… Дядя Валя, что же вы-то как утихший лещ на крючке? Вы же, было время, призывали ее уничтожить!

– Призывал, – подтвердил дядя Валя. – Теперь поздно. Буянить без толку. Пусть она будет. Поучись терпению.

– Это не вы, дядя Валя! Вам бы еще раз надо стекла расколошматить в автобусе, чтобы вы очнулись.

– Что нам сидеть дальше-то? – сказал Серов. – Все разъяснено. День-то хоть и выходной, а дела – при нас.

– Но, может быть, стоит оговорить все мелочи? – предложила Любовь Николаевна. – Чтобы потом не возникло неясности.

Однако мы уже находились в состоянии нетерпения, а оно требовало заканчивать беседу и куда-нибудь нестись. Мы понимали, что не только не оговорены все мелочи, но и многое существенное еще следовало оговорить и оспорить, но сидеть уже не могли. И, несомненно, успокоило нас (вычтем

Шубникова, Бурлакина и Филимона) объявленное право на отказы и отчуждения. Все ведь могло быть и хуже. А так, пусть Любовь Николаевна – пленная, и пусть она – раба и берегиня, если ей нравится быть и той и этой, и пусть она, обогатившись нашими расписками, останется при своих должностях, функциях в мироздании, мы же отправимся на квартиры, в магазины и снова забудем о ней.

Любовь Николаевна согласилась с тем, что частные обстоятельства можно будет решить не сейчас, а в рабочем порядке, она была знакома с этим все улаживающим порядком. Видно, ей и еще что-то хотелось услышать от нас. А мы молчали. При напоре и изобилии информации, свойственных нашим дням и способных извратить существование человека, у многих из нас при включенных телевизорах, при проглатывании печатных изданий на кондопожской бумаге, при разговорах и в ученых собраниях выработалась охранительная манера выбирать нужное – слушая краем уха, глядя краем глаза, в полуполете внимания и мысли опережая дикторов и собеседников, определяя: мол, все и так ясно, и хватит, и довольно. А Любовь Николаевна опять призывала нас ко вниманию.

– Отчего же вы не спросите, – сказала наконец она, – в каком месте я буду пребывать?

– Нам-то не все равно? – ответил Филимон. – Где хотите, там и ютитесь!

– Ютится теперь, – сказала Любовь Николаевна, – скорее Михаил Никифорович.

Она замолчала, видимо, ожидая слов Михаила Никифоровича, но тот не пожелал вступать в объяснения с ней и обществом. Мы же смутились. В ее напоминании возникал сюжет, о котором люди сторонние могли строить только догадки. Снимая напряжение, Любовь Николаевна сообщила:

– С жильем я устроюсь. А исцеление Михаила Никифоровича я готова начать теперь же, было бы желание пациента…

Но Михаил Никифорович оборвал ее:

– Я не пациент. В особенности ваш.

Все притихли. И собака дядя Вали как бы заснула. Стали расходиться. Ушел Филимон, ушел я, ушел Серов, ушел Михаил Никифорович… Остался ли кто в квартире дяди Вали, продолжил ли кто разговор с Любовью Николаевной, превратив его в доверительный или даже в секретный, я не знаю. Я понесся прочь с улицы Кондратюка возбужденный, в ожидании радости, будто бы в сумке у меня лежало пляжное полотенце, а за углом перекатывало киммерийскую гальку

августовское море. Но за углом темнел снег. И скоро на душе стало неспокойно, уныло…

37

Шубников был виден теперь на Цандера в пункте проката за чуть припотевшими или омытыми мокрым снегом стеклами, в дверном проеме, в таинственных недрах услуг населению. Он выглядел грустным, рассеянным или, напротив, сосредоточенным на чем-то важном, вселенском. Мне он кивал надменно, надменность его вызывала желание посоветовать Шубникову произвести замену очков на монокль. Или на лорнет. Но на совет не хватало духу. Нечто мессианское угадывалось теперь в Шубникове. Будто застывал он в фаустовских раздумьях и печалях не на пороге здания бытовых служб о двух покоях, а на пороге великих перемен в нем самом и в Останкине. Совсем не напоминал он шалопая и скандалиста, вваливавшегося, бывало, в троллейбус с радостным объявлением публике: «Пригласительный!» И такой ли Шубников портил огрызками, обломками ржавого лезвия, струей из собственного родника следы Любови Николаевны? Он как будто бы и не был месяцы назад дерганым, егозливым, со скоморошескими повадками. И, казалось, Шубников стал стройнее, благороднее ликом, а в движениях его угадывалась мужественность бывалого офицера голубых беретов, не проявляемая без нужды. Впрочем, всем известно, Шубников учился возле Ростокинского акведука, в кинематографическом колледже, с перелетами – на трех факультетах, – и мог поставить себя. Но ведь не просто взял – и поставил! Причина возникла. Или цель… Так или иначе, прежде Шубников был пятаком, прыгающим по асфальту, а стал памятным рублем, выпущенным к юбилею Менделеева. Или по-иному. Прежде он гулял граненым стаканом при автоматах газированной прохлады, ныне нигде не гулял, а стоял в бельэтаже серванта богемским бокалом в ожидании пира. Впрочем, все не так. Я написал «в фаустовских раздумьях», потом подумал: «А отчего же не байронических?» Тем более что иногда Шубников выглядел лишним и глубоко разочарованным. Возможно, «байроническое» пришло мне на ум не зря. «Байроническое» труднее, чем «фаустовское», совместить с «раздумьями», но легче – с «позой». А не исключено, что Шубников застывал не в раздумьях, а в позе. Он-то способен был и сыграть и присвоить себе чужие хитоны и треуголки.

Кем он был сейчас в пункте проката, останкинские жители лишь гадали, но не разнорабочим. Говорили: он уже директор. Но и прежний директор выходил на работу. Говорили: Шубников согласился стать

художественным руководителем пункта проката. Сомневались, нужен ли прокату художественный руководитель, подумавши, отвечали самим себе: а почему бы нет, интеллектуальный уровень населения растет, Пугачева не может удовлетворить всех, есть ведь и в Останкинском парке – среди дубов и черемух, катальных горок, теней Прасковьи Ивановны Ковалевой-Жемчуговой, Николая Петровича Шереметева, старшего и младших Аргуновых, среди мраморных бюстов, квасных киосков и лебедих дяди Вали – главный режиссер парка, отчего же не быть в пункте проката художественному руководителю? Тем более сам пункт проката на Цандера внезапно взгремел в Москве, он упоминался, а что в нашем веке важнее упоминаний? «Вы слышали?» – говорили о нем. «А как же! Слышали!» Возрастал спрос на Дробного, и в городе утверждали, что на Цандера прокату, столь самобытному, тесно и необходимо Шубникову дать творческую мастерскую, прежде всего для нее подошло бы помещение пивного автомата на улице Королева, обитое под дерево, о чем уже писали в исполком деятельные жители. «Мы ему такую мастерскую устроим, ноги не уволочит!» – грозился мрачный водитель Лапшин, хотя сам пока рубил капусту гильотиной для корейских собак… Не имело значения, кем назывался Шубников в платежных ведомостях, он несомненно выбивался в лидеры, а стало быть, не мог обрести успокоение.

Но спокойно ли жили мы? От Любови Николаевны мы ушли, а – куда? Да и не ушли, как помните, а поспешили. Мы – это Филимон, я, Серов, а за нами и Михаил Никифорович. Вырвавшись из квартиры дяди Вали будто бы из жидкости пузырьками газа, мы перешучивались на улице, но не освобожденно, а скорее, нервно. Обсуждений не затевали, а разлетелись кто куда. В коротких же пересмешках (Михаил Никифорович молчал) чаще всего подскакивали и кувыркались слова «капитуляция», «пленная», «контрибуция», «раба», «берегиня», «чепуха-то какая!». Казалось, очевидной и объяснимой была потребность в смехе, причем в утробном, школьном, который, начавшись тихо в уголку, чуть ли не под партой, затем выворачивает весь класс и не может прекратиться. Опять мы оказались внутри игры, описание которой в сборниках для затейников могло быть напечатано рядом с правилами горелок или «я садовником родился»… Но очищающего смеха не случилось. Да и до смеха ли было? Выходило, что прав оказался Филимон Грачев: куда бы мы ни удалялись от Любови Николаевны – она была. И нам предстояло всегда помнить о том, что она есть и что удаление от нее временное или обманное, и если выйдет крайний случай, можно будет ее и попросить… Предстояло жить в соблазне воспользоваться особенными возможностями. Мне от этого было

не по себе. И можно было предположить, что и Любовь Николаевна обязана держать нас в поле знания, чтобы в случае нужды не опоздать и не оплошать в исполнении своей роли в мироздании. Но не захочет ли она тогда и без всякого крайнего случая опять принудить нас к чему-либо, на ее взгляд, благородному и целесообразному?

Однако тек песок в аптекарских часах.

И дня через три я уже думал о Любови Николаевне спокойнее. И даже новости пункта проката не настораживали и не вызывали мысли об энергии Любови Николаевны, они вполне объяснялись энергией Шубникова. Тем более что он обещал на нее не опираться. Зная же о стараниях городских служб быта устроить московским жителям совершенство благ, и удивляться было нечему.

Пункт проката радовал усердием и свежим взглядом на свою природу и задачи. Скажем, в новом объявлении любителям классики и старинных романсов, проживающим в Останкине, предлагался (для домашнего музицирования на квартирах и званых вечерах без выпивки, но с чаем) бас. Уточнялось: «Бас типа Шаляпина с применением новейших достижений лазерной техники, светотехники, пиротехники, сантехники и биотехники». В случае необходимости баса мог сопровождать лектор-популяризатор О.В.Сдвижков в лаковых туфлях, знающий тексты гимнов более чем тридцати государств мира на языках народов. При Сдвижкове, понятно, оплата услуги увеличивалась в полтора раза. Имело ли успех домашнее музицирование, сказать затрудняюсь. Останкинские жилища все же тесны для баса. Правда, могли привлечь новейшие достижения. Было известно, что они хороши при группах, скажем, Стаса Намина, и, наверное, интересно было ощутить их в сочетании с классическим басом и гимнами в подлинниках, тем более что достижения сантехники могли оказаться полезными в останкинских квартирах.

По-прежнему в витрине на Цандера Михаил Никифорович наблюдал большой портрет Петра Дробного. Мое же недоумение вызвала фотография доктора Шполянова. Шполянов был не бас, его басом и не аттестовали. Я сначала подумал, что это не тот Шполянов, тем более что он жил в Орехово-Борисове, но на фотографии были пшоляновские очки и его же усы. Рядом предлагалась в прокат лошадь с арабскими и кабардинскими кровями из гаража дома № 12 по улице Кондратюка для прогулок по саврасовским местам Лосиного острова. Сообщалось, что с середины апреля в прокат будет сдаваться конский навоз под огурцы для членов садово-огороднических товариществ. А доктор Шполянов был рекомендован останкинским жителям как игрок в преферанс. Я позвонил

Шполянову в клинику, спросил, с чего это он вдруг. Ну ладно объявил бы себя ловцом налимов или сплясал бы людям матросский танец «яблочко», что ему удавалось в праздничные дни. Шполянову было не до меня и не до Останкина, его ожидали в операционной. Пробормотав: «Шутят люди. Потом разберусь», он опустил трубку. Я решил потребовать ответа у Шубникова, но через день рядом с фотографией Шполянова увидел иное предложение. Шполянов как преферансист был отменен, а назывался наемным котом. Я отыскал Шубникова, произнес слова возмущения, за такие шутки, мол, и физиономию попортить стоит. Шубников не смутился, а будто бы испытал ко мне жалость и сказал, что кому-то надо ловить в Останкине мышей и исполнять другие обязанности котов, а на руках у него есть заявление Шполянова, и оно подлинное и искреннее. Я стоял сконфуженный. Шполянов – серьезный человек, но вдруг он для смены впечатлений и разнообразия жизни захотел побыть и наемным котом? Я опять позвонил ему, но Шполянова не было дома, спрашивать же его жену о вечерних планах мужа я не решился.

«Не втянули ли в дело дядю Валю?» – задумался я. Был момент, когда мне казалось: Валентин Федорович лишь делает вид, что он вулкан погасший и умиротворенный. И еще мне казалось, что дядя Валя готовит себя в боевики-одиночки, а сам скрытничает. Теперь приходили мысли: а не пересидел ли дядя Валя в своем скрытничестве, не замерзла ли его душа? Но ведь и ложными могли быть мои предположения о скрытничестве дяди Вали. В сухие дни я дважды заглядывал из любопытства на Лебединую площадку. Самого дядю Валю в те дни я там не обнаружил. А приятельниц дяди Вали мне показывали, кое-что я и услышал о них. Но я не считал их присутствие вблизи Валентина Федоровича способным отвлечь его от генеральных устремлений. Это были женщины достойные. Труженицы. И, пожалуй, самостоятельные. В них чувствовался житейский напор. Одевались они без шика, но опрятно. Они вообще были опрятные. Такие дядю Валю не могли погубить. А скрасить его жизнь, наверное, могли. И вряд ли бы им удалось изменить устремления и натуру Валентина Федоровича, вспомните, какие годы ковали эту натуру. Впрочем, что годы и эпохи по сравнению с какой-нибудь дамой!

И вот однажды возле Аргуновской я увидел дядю Валю со знакомой мне (правда, издалека) женщиной. Валентин Федорович нес лыжи, и женщина несла лыжи. Оба они были в куртках «аляска», возможно, гонконгского пошива, и вязаных шапочках динамовских цветов. Шли от десятикилометровой оздоровительной останкинской лыжни. Спутница

дяди Вали была румяная, сытная, улыбалась чему-то. Дядя Валя же и теперь казался унылым и сломленным.

– Здравствуйте, дядя Валя, – сказал я. И поклонился спутнице Валентина Федоровича.

– Здравствуй, – не слишком обрадовался мне дядя Валя, потом сказал как бы вынужденно: – Знакомьтесь… Это Анна Трофимовна… Нюша… А это… – И он представил меня.

– Пончики горячие были хороши после лыж. И кофе, – сказала Анна Трофимовна.

– Какие еще пончики!.. – поморщился дядя Валя.

Тут я заметил, что на щеке Анны Трофимовны осталась сахарная пудра от пончиков.

– Ерунда это все… Все эти пампушки с трюфелями…

Я бы обрадовался, если бы Валентин Федорович вспомнил тут же, какие трюфели он кушал в компании хотя бы с Сережкой Эйзенштейном и посрамил пончики Останкинского парка, но дядя Валя будто забыл о своей дружбе с Эйзенштейном и уж тем более с маршалом Жуковым.

– Автобус-то ваш, дядя Валя, ездит?

– Ездит. Что ему сделается? Но я, может, и уйду с базы…

– И куда?

– Зовут в пункт проката на Цандера… Мне и от дома близко, и… – Дядя Валя взглянул на Анну Трофимовну и замолчал.

– Там разве нужен водитель? – удивился я.

– Я не водителем, – сказал дядя Валя.

– Но кем?

– Кем зовут… Если дам согласие. И можно совмещать…

– Здесь большие перспективы, – уверила Анна Трофимовна.

– Я еще не дал согласие! – нервно вскрикнул дядя Валя.

– Что ты, Валентин, что ты! – принялась успокаивать его Анна Трофимовна. Но, похоже, она его укоряла.

На мгновение мне представилось, что лыжи Анны Трофимовны качнулись и готовы опуститься на голову Валентина Федоровича, но мало ли что может померещиться на Аргуновской улице.

– Собака-то ваша жива?

– Жива. Толстая, сытая собака, – сказала Анна Трофимовна. – Мы ее хорошо кормим. Ничего не жалеем. Для нее, собаки…

Дядя Валя не сразу, но подтвердил кивком уверения Анны Трофимовны.

– А не приставят ли вас в прокате к ротану Мардарию?

– Зачем?

– Ну, чтобы водить его по Останкину для оказания услуг.

– При чем тут Мардарий? – сказал дядя Валя, не глядя мне в лицо. – Никаких Мардариев! Я не знаю никаких Мардариев!

– Вы волнуете Валентина Федоровича, – расстроенно сказала мне Анна Трофимовна. – А ему нужен покой после лыж…

– Извините, – смутился я. – Действительно…

– Тебе-то еще не предлагали дела в пункте проката? – спросил вдруг дядя Валя. – Ты у них тоже в списке.

– И что же я должен делать по этому списку?

– Не знаю… может, писать сочинения.

– Какие сочинения?

– Ну, для детей сочинения… Которые на дом. Или для студентов… Форма услуг.

– Чрезвычайно польщен. А по другим предметам им от меня ничего не надо?

– Для других предметов пригласят других.

– Валентин Федорович! – строго сказала Анна Трофимовна.

– Я ничего не говорил. Я ничего не знаю, – будто опомнился дядя Валя. – Ты от меня ничего не слышал.

– Я слышал, – сказал я. – А вы еще и не дали согласия.

– Валентин Федорович даст согласие, – пообещала Анна Трофимовна. – Но необходимо обговорить условия. Чтобы потом не жалеть об автобазе. Водители автобуса на дорогах не валяются.

Теперь Анна Трофимовна гордилась Валентином Федоровичем.

– Дядя Валя, утверждают, что вы хотите бункер завести?

– Кто? – встревожился дядя Валя. – Какой бункер? Никаких бункеров! Пошли, пошли! Все! Покой и отдых! Пошли!

И лыжники отправились в сторону улицы Кондратюка.

Стало быть, и меня решили приставить к делу! И какая же будет установлена плата, гадал я, за сочинения, скажем, для восьмиклассников и какая для балбесов выпускников? Сколько потянет образ Печорина и сколько – Беликова, добавка выйдет Беликову за футляр и насмешки гимназистов или скидка? Я было хотел заглянуть к Шубникову, но раздумал: если им надо, сами отыщут, кстати, может, у них возникнет и конкурс на исполнителей, а мои способности вызовут и не самые лестные оценки. Что было волноваться заранее… Впрочем, относительно своего устройства в пункт проката я и не намерен был волноваться.

«Но, может быть, – подумал я, – вовсе не лишним окажется пункт

проката для москвичей? Вдруг Шубников и Бурлакин остепенились, вдруг их порывы благородны и честны, а мы записали их в разбойники, подозреваем неизвестно в чем. Ведь если дать человеку с головой, выдумкой и энергией волю, он сообразит и устроит такое, что десять министерств не одолеют. И отчего же не нужны Останкину наемные коты?»

Но тут же я и охладил себя. Подумал: а не подбирается ли к нам Любовь Николаевна с другого бока, желая добиться от нас того, чего не смогла добиться в мае и летом? Не собирается ли она воздать нам за непослушание: не следуете моим советам, так будьте лишь исполнителями школьных программ и наемными котами. Однако и эти мысли следовало оставить. В них были очевидные упрощения. И не знал я, как относится Любовь Николаевна к делам на улице Цандера.

При встрече с Михаилом Никифоровичем я между прочим спросил, призывали ли его Шубников и Бурлакин. Выяснилось, что призывали. К чему и с какой целью, Михаил Никифорович мне не сказал. Михаил Никифорович был задумчив, курил. Я узнал от него, что послезавтра Любовь Николаевна покинет его квартиру.

– Куда же она съедет? – спросил я.

– В общежитие на Кашенкин луг, – сказал Михаил Никифорович.

– Это же почти Останкино, – покачал я головой.

– Да, – согласился Михаил Никифорович, – только за телецентром.

– А почему именно в общежитие? – запоздало удивился я.

Михаил Никифорович разъяснил, что в общежитии на Кашенкином лугу у Любови Николаевны есть знакомые отделочницы и они взялись ее поселить.

– Повезет отделочницам, – сказал я, но сразу же перевел разговор: вдруг ирония моя могла показаться неприятной Михаилу Никифоровичу? – И что же ты ответил на призыв Шубникова?

– А ничего не ответил, – сказал Михаил Никифорович.

– Дядя Валя собрался к нему. Но какие-то там тайны. И будто бы дядя Валя чего-то стыдится…

– Похоже, – кивнул Михаил Никифорович.

Вот и весь разговор.

38

Через день Любовь Николаевна переехала на Кашенкин луг. Ей бы исчезнуть из квартиры Михаила Никифоровича в мгновение, как случалось прежде, а она потратила на сборы весь вторник. Михаил Никифорович работал днем, до трех часов. Уходил утром в аптеку, Любовь Николаевна возилась с какими-то тряпками; вернулся – чемоданы ее были раскрыты. Он спустился на лифте, дышал морозным воздухом, слушал споры и исповеди в автомате на Королева, появился в квартире снова, а Любовь Николаевна собиралась будто бы в курортную местность с игорными домами и толпами Лоллобриджид. В общежитии ее чемоданы могли смутить неустроенных девушек, а то и вызвать беспорядки. В последние дни разговоры Михаила Никифоровича с Любовью Николаевной были служебными, проживало бы в квартире третье лицо, они бы обменивались вынужденными словами через это третье лицо. Сейчас же Михаил Никифорович решил сказать Любови Николаевне о нравах в общежитии и ее чемоданах.

– А вам-то какое дело? – резко сказала Любовь Николаевна.

– Никакого… – растерялся Михаил Никифорович.

– Ну и помалкивайте! – предложила Любовь Николаевна. И тут же потребовала: – Вы бы лучше помогли чемоданы закрыть! Наступили бы на крышку. Вы же тяжелый.

Михаил Никифорович поднялся как бы с ленцой, нехотя, а сам взволновался. Вещи, уложенные в чемоданы, Любовь Николаевна прикрыла льняными скатертями, чемоданов было три, а вещей хватило бы на семь. Михаил Никифорович, надавливая на кожаные крышки коленями, су мел укротить сопротивление формы. Затянули они вместе с Любовью Николаевной ремни. Любовь Николаевна рас краснелась, капельки пота поблескивали на ее носу и над верхней губой:

– Ну вот! Хоть на что-то сгодился мужик.

Михаил Никифорович поглядел на нее, но тотчас взглянул на окна. Занавеси и ламбрекены висели.

– Это все ваше! Ваше! – успокоила его Любовь Николаевна. – Это я не беру.

– Я их выкину, – сказал Михаил Никифорович.

– Не выкинете, – уверила его Любовь Николаевна. – Они украшают квартиру.

– Выкину, – повторил Михаил Никифорович и пошел на кухню.

– А выкинете, будете дураком! – понеслось ему вдогонку.

Михаил Никифорович чуть было не ответил ей, но опустился на табуретку и взял в руки «Вечернюю Москву». Что она, скандал, что ли, желает устроить? Слова, какие ему явились для ответа, были самые базарные. Возня с чемоданами, пакетами, сумками будто вновь преобразила Любовь Николаевну или вернула ее в истинное состояние. Но какое ее состояние было истинным? По вечерам Михаил Никифорович видел теперь в своем жилище строгую, платиновую женщину, какая днем наверняка руководила текстильной фабрикой или даже целой отраслью легкой промышленности, скажем, обувной или льнопрядильной, а если брать занятие Михаила Никифоровича, то и всем аптечным делом, всеми микстурами, порошками и рецептами в отечестве. Да и оборонными предприятиями могла руководить Любовь Николаевна. Из-за иной Любови Николаевны Михаил Никифорович ездил на Савеловский вокзал. Та была и пропала. А может быть, той и вовсе не было… Приходила к Михаилу Никифоровичу тоска, какой он никогда не испытывал. Но серебристой оказалась эта тоска, она была и как мечта… А возвращенная в Останкино Любовь Николаевна в английском костюме и белой блузке с кружевами, если являлась на улицу Королева после усердий в отраслях и сферах, возможно, и ночами сидела над деловыми бумагами. Ей этаж в доме полагался, а не койка и тумбочка в общежитии. Когда Михаил Никифорович по недоразумению встречался взглядом с глазами Любови Николаевны, ему казалось, что он видит в них презрение, а то и брезгливость. «Ну и катились бы отсюда!» – желал сказать ей Михаил Никифорович, но не говорил: а вдруг в нынешней Любови Николаевне, в тайнах ее, пребывала прежняя Любовь Николаевна, летняя и осенняя.

Но сегодня-то Любовь Николаевна походила на ту, что готовила посинюшки, суп харчо, кабачки, фаршированные мясом, посылала Михаила Никифоровича на улицу Цандера за швейной машинкой и могла пуститься в загул. Да хоть бы и пустилась!.. Ту, летнюю и осеннюю, живую Любовь Николаевну почувствовал рядом с собой Михаил Никифорович, когда закрывал чемоданы. И запахи были – живой Любови Николаевны. Жаркая, в пушистом оранжевом свитере, в ношеных джинсах, высунув язык, помогала она ему затягивать кожаные ремни, плечом толкнула, и оно было живое, знакомое. Михаилу Никифоровичу захотелось отшвырнуть чемодан, обнять Любовь Николаевну. Не отшвырнул и не обнял…

– Как вы думаете, без паспорта можно поселиться в общежитии? –

Любовь Николаевна стояла в коридоре.

– Вам – можно, – сказал Михаил Никифорович.

– Вот и нет. И мне нельзя. Я и не особенная. Я обычная и с малым сроком проживания в Москве. А в бумагах я осталась Стрельцовой. Неразведенной. И можете представить, как нелегко было поселиться неразведенной и имеющей площадь на Королева.

– Позвольте вам не поверить насчет нелегко, – сказал Михаил Никифорович. – При вашей-то… пронырливости… Или пробойности… Или… А не разведенная вы, видимо, со мной?

– С кем же еще?

– С одной дамой я хоть разведенный…

– Я ее хорошо знаю, – напомнила Любовь Николаевна.

– Но зачем вам теперь нужна моя фамилия?

– На время, на время! Девушки из общежития помнят, что вы мой муж. Но это пустяки. Они могут и запамятовать. А вот площадь ваша останется у меня в резерве. Мало ли что. И вы, как неразведенный, посидите для меня на скамье запасных.

– Не нарушаете ли вы условия договоренности с нами?

– А хоть бы и нарушаю! – рассмеялась Любовь Николаевна.

– К чему вы все это мне говорите?

– Хочу – и говорю! Дразню вас. Скандала хочу!

– А-а, – сказал Михаил Никифорович и развернул «Вечернюю Москву». Когда он прочитал (слова прыгали со строчки на строчку и не сразу собирались в предложения) заметку о вымогательнице из парикмахерской, заслужившей восемь лет и конфискацию имущества, из комнаты донеслось: «У кого же нет капусты, прошу к нам в огород, во девичий хоровод…» Давно не пела при нем Любовь Николаевна. И как пела теперь! Михаилу Никифоровичу бы слушать и слушать ласковое ее пение, но он встал, газету бросил и, грозный, отправился закрывать дверь в комнату, чтобы никакие издевательские звуки не мешали ему жить.

И тут же Любовь Николаевна встала в дверном проеме, бедром прислонилась к косяку.

– А вы нервничаете, – улыбнулась Любовь Николаевна. – Дверью хлопнуть решились. Это я дверью должна хлопнуть. Вы-то что нервничаете, Михаил Никифорович? Вам один вечер и осталось терпеть. Или вы недовольны тем, что я ухожу в общежитие? Может, вы обижены? Может, удержать меня собрались? Что вы молчите, Михаил Никифорович? А может, у вас любовь ко мне?

– Хорошо, считайте, что любовь, – каким-то дурным, сдавленным,

чуть ли не хриплым голосом сказал Михаил Никифорович, повернулся и пошел на кухню.

– Вот тебе и любовь! – рассмеялась Любовь Николаевна. – А сами сбегаете!

«Издевается! Голову дурит! – старался уверить себя Михаил Никифорович. – Нет, надо продержаться, всего-то одна ночь, до петухов». И удивился себе: каких петухов, при чем тут петухи? Но не ущемляла ли в чем-то себя Любовь Николаевна ради его покоя, комфорта и свободы? Однако тут же он вспомнил Любовь Николаевну последних дней и за столом у дяди Вали. «Дурачит, дурачит! Или развлекается. И жить она может где хочет. Общежитие – ее блажь, блажью была и моя квартира», – говорил себе Михаил Никифорович. Но спокойствие к нему не приходило.

– Да! – Любовь Николаевна появилась на кухне. – Сбежали!

– Что вам нужно от меня? – спросил Михаил Никифорович.

– Теперь, пожалуй, и ничего не нужно, – сказала Любовь Николаевна серьезно. Печаль была в ее глазах.

Михаил Никифорович встал.

– Была надежда, – сказала Любовь Николаевна, – но, увы, то, что вы могли, вы не сделали.

– У женщины, со мной разведенной, – сказал Михаил Никифорович, – тоже была надежда, а я ее разочаровал. Вы знаете.

– Здесь иное, – сказала Любовь Николаевна. – Вы могли меня спасти, но не спасли.

И Любовь Николаевна ушла в комнату.

Мрачный Михаил Никифорович ходил по кухне и ругал себя. Он был тугодум, мыслить о житейских обстоятельствах быстро не умел. Виноватым признать себя было легко, но сообразить, что именно он не сделал, чтобы спасти Любовь Николаевну (и от чего?), он не мог. «Скотина я! – твердил себе Михаил Никифорович. – Но что делать? Что?» Подсказала бы она, как ее спасти (от чего – уже не имело значения), он бы и жизнь отдал.

А потом Любовь Николаевна снова запела. Вспомнила вначале о том, как ночевала тучка золотая на груди утеса-великана… Не оказался Михаил Никифорович утесом-великаном, так, стало быть, следовало понимать? Но Любовь Николаевна, став Лелем из оперы тихвинского волшебника, отчитала глупых девок словами чужанина: «Что за радость вам аукаться…» Никакой печали не было теперь в голосе Любови Николаевны. Михаил Никифорович ходить перестал. Напоминание об утесе-великане вряд ли было намеренным. Да она как будто бы и танцует, показалось Михаилу

Никифоровичу. Он закурил, стряхивал пепел в банку из-под майонеза. Майонез покупала Любовь Николаевна. Могла ли женщина, которую требовалось спасать, думать о майонезе? Сомнительно. А теперь она, судя по звукам, пританцовывала или водила сама с собой хоровод. Вовсе не грустным получался ее последний вечер в квартире Михаила Никифоровича, сладостной, возможно, представлялась ей жизнь в компании девушек-отделочниц. Да и одних ли девушек-отделочниц? А Любовь Николаевна запела «Черноокий, чернобровый, молодец кудрявый…», призывно запела, с удалью. Михаил Никифорович был чернобровый, но не кудрявый и глаза имел серые, не к нему был обращен призыв Любови Николаевны. Среди знакомых к чернобровым и чернооким можно было отнести Шубникова. Но черноокие и чернобровые нашлись бы и помимо Шубникова. Тем временем Любовь Николаевна отправилась в ванную, зашумел душ. Купание ее было недолгим. Веселая, ухоженная, прекрасная, босая, в мохнатом халате вышла она в коридор, манила Михаила Никифоровича шалыми глазами.

– Что же вы, Михаил Никифорович? – говорила Любовь Николаевна. – Или вы боитесь меня? А ведь когда-то были отважным мужчиной. Или вы полагаете, что я и впрямь полая, или на транзисторах, или вампир и кровью вашей наслажусь, или кикимора из полесских болот и сглажу вас?

– Не издевайтесь надо мной, – тихо сказал Михаил Никифорович.

– А если вы заслужили?..

Михаил Никифорович и сам будто не хотел, но резко направился к Любови Николаевне, возможно, чтобы высказать ей возмущение или даже скрутить, связать ее, затрещину влепить и прекратить ее развлечение. Но в шаге от Любови Николаевны остановился, ощутив, что несправедлив и нелеп, сказал лишь:

– Вы уезжаете. И ладно.

Любовь Николаевна протянула руку и пальцем, перстом указующим, дотронулась до груди Михаила Никифоровича.

– Все должно было быть иначе, – сказала она снова серьезно. – А вы, может быть, меня предали… Или себя…

– Вы объясните мне, – сказал Михаил Никифорович, – что я должен был сделать. Или что вы считаете, я должен был сделать.

– Михаил Никифорович, – грустно покачала головой Любовь Николаевна, – подсказки здесь невозможны.

Палец свой с огненным ногтем она не отнимала от груди Михаила Никифоровича, он будто жег. Мог и опалить.

Наконец отвела руку Любовь Николаевна…

– Да ведь шучу я, Михаил Никифорович! – сказала она. – Все я шучу! Или вы не видите?

– Зачем? – спросил Михаил Никифорович.

– А я и сама не знаю зачем. Просто я дурная, вам известно. Куражусь вот… Но, может, и удовольствие хочу получить напоследок. А? И вам небось хорошо будет.

– Не будет, – солгал Михаил Никифорович.

Желанная, единственная стояла рядом женщина, а Михаил Никифорович волю в себе собирал.

– Может, и случая потом не представится, – сказала Любовь Николаевна. – В общежитии то…

– Ну и замечательно! – произнес Михаил Никифорович, пошел к раскладушке, схватил ее будто за шиворот, скрылся в ванной и задвинул защелку с силой, достойной амбарных засовов.

Еще когда был в коридоре, услышал: «Ведь я про какой случай говорю… Вы же опять не поняли…» – но дальше разговор вести не пожелал. Нерушимое убеждение в том, что она развлекается, и не только ради собственного удовольствия, но и ради посрамления его как личности, казалось, захватило его. Михаил Никифорович был из тех людей, что чаще готовы и самые горькие, окаянные упреки по поводу их натуры и действий не отвергнуть, а посчитать верными и заслуженными, признать, что именно в них самих и есть источники чужих и своих бед. Но сейчас он заупрямился. Уверил себя в том, что и в те мгновения, когда Любовь Николаевна говорила якобы серьезно (что он ее не спас, а мог спасти, что предал ее и себя, а мог сделать нечто), и тогда она лицедействовала и развлекалась. Или развлекала кого-то. Она по чьему-то расчету или ехидству была навязана Останкину и ему, аптекарю, но она ему – не по силам. И он негодяй, что не отторгнул ее сразу, а существовал с ней рядом в теплой житейской сытости как с некоей беззлобной шуткой природы. И несомненно он был безразличен ей или интересен лишь как объект опыта. Возможно, в этом опыте, или, как было названо, в кашинском эксперименте, ему и отводилась особая роль, но он ее не исполнил и тем расстроил экспериментаторов. В мыслях об опыте Любовь Николаевна виделась Михаилу Никифоровичу наглой и бесстыжей, поступавшей против правил. Каких правил? Если и были у нее правила, то для Останкина непригодные. Так говорил себе Михаил Никифорович, лежа в ванной на раскладушке.

Ему казалось, что он слышит смех Любови Николаевны. Потом будто раздавались звуки царапающие, большой кошки или рыси. Потом словно

бы отмычкой или крючком хотели добраться до защелки и откинуть ее. «Спать, и все. А завтра ее не будет…» Но не слетал на Михаила Никифоровича сон. О своей жизни думал Михаил Никифорович и о Любови Николаевне. А может, надо было открыть дверь? И все бы пошло иначе… Ни за что. Никогда… Дальние шумы мерещились Михаилу Никифоровичу, подземные гулы и взрывы, обвалы в снежных горах. Тревожно и больно стало на душе Михаила Никифоровича, будто перед землетрясением. Или перед падением бомбы. Или перед гибелью близкого, внезапно осознанной… «Нет от смерти в саду трав», – явилось ему. Нет в саду трав… Что жизнь твоя, и ее, и его, и всех и зачем?.. Он хотел встать и зажечь свет, но не смог. Да и принес бы электрический свет облегчение и в чем бы укрепил? Вот и оставалось ждать до петухов… «Но отчего же до петухов?» – противился петухам Михаил Никифорович. Студено стало в ванной, стужа была не от льдов, не колымской, а сырой, будто от полесских болот, упомянутых Любовью Николаевной. Михаила Никифоровича знобило. Глаза его были закрыты, но виделось ему нечто быстрое, взлетающее и зеленое. Оно то приближалось к нему, то будто отпрыгивало или отбрасывалось от него, и лики чьи-то проступали в зеленом, незнакомые и скорбные. И уже не тревога была в Михаиле Никифоровиче, а боязнь, чуть ли не страх чего-то. И выло, выло в небесах ненасытное, злое. А тут из быстрого, взлетающего, зеленого бросилось нечто – птица ли, ветка ли ожившая, корявая, колючая, зверь ли какой оголодавший, – бросилось к Михаилу Никифоровичу, будто желая вцепиться ему в горло. Михаил Никифорович отшвырнул одеяло, рывком поднялся на локтях.

Тишина была в доме.

Вода ни из единого крана не капала, трубы и батареи отопления не громыхали, не скандалили и не стонали.

Кто-то заплакал. Заплакал тихо, но совсем рядом, в комнате или в коридоре. Плакал ребенок. Плакал, ничего не выпрашивая и никого не подзывая. Нет, теперь, жалуясь самой себе, плакала женщина. Михаил Никифорович захотел встать и пойти на плач, но его качнуло, опустило на раскладушку и прижало к ней. Глаза Михаила Никифоровича закрылись, и он заснул…

39

Проснулся он поздно, в девять, и то оттого, что в дверь ванной энергично постучали. Любовь Николаевна ожидала водных процедур. Была она деловой и чужой в квартире Михаила Никифоровича, вчерашний вечер мог оказаться и его сновидением.

– Доброе утро. Извините, – хмуро пробормотал Михаил Никифорович, собирая раскладушку.

Пока у Любови Николаевны были занятия в ванной, Михаил Никифорович сходил за газетами, поглядел на мир из окна кухни. Башня была на месте, троллейбусные провода висели необорванные, липы и тополя стояли прочно, буйств стихий ночью в Останкине не происходило. Михаил Никифорович был даже разочарован.

Он мог помочь Любови Николаевне перенести чемоданы и сумки на Кашенкин луг. Но руки нашлись. В двенадцать явились две товарки Любови Николаевны – девушки из комплексной бригады отделочниц, знакомые Михаилу Никифоровичу по осенним гостеваниям в его квартире. Имен их, впрочем, он не помнил. Девушка, та, что помоложе, смотрела на него с укором, чуть ли не враждебно, полагая, видимо, что именно он виноват в раздоре с супругой, столь милой и порядочной. Девушка постарше Михаилу Никифоровичу даже улыбалась, он чувствовал, что она готова начать разговор, какой бы мог уладить или хотя бы смягчить семейную драму. У порога, когда чемоданы и сумки были в руках у трех дам, она все же высказала сожаление о разбитой семье.

– Что тут сожалеть, – жестко сказала Любовь Николаевна. – Оно, может, и к лучшему… Найдутся люди и более достойные. А Михаилу Никифоровичу суждено пожалеть о том, что он выпустил из рук. И куда оно уйдет. – Жесткий взгляд Любови Николаевны был направлен теперь на Михаила Никифоровича. – И, видимо, скоро пожалеть. Как бы и не вышло бед.

Отделочница помоложе будто ждала этих слов и закивала одобрительно. Михаил Никифорович лишь руками развел.

– Проваливайте, проваливайте, – сказал он, закрыв за дамами дверь.

Ну и что он выпустил из рук, ну и куда оно пойдет? Пойдет и пойдет… Михаил Никифорович заглянул в комнату. Осматривать со вниманием комнату он не стал. Если что забыла – пришлет товарок-отделочниц. Занавески и ламбрекены висели. И возвращенные Любовью

Николаевной три горшка с худыми растениями стояли на подоконниках. Выкидывать их сразу показалось Михаилу Никифоровичу мелкой местью. Михаил Никифорович уселся на диван, зажмурился в удовольствии. Неужели он совсем свободен от Любови Николаевны? Свободен! И жив!

Но следовало собираться на работу. Михаил Никифорович забрал из шкафчика в ванной деловые бумаги и возвратил их в комнату. При этом полистал паспорт. Штамп с именем жены действительно не исчез, не выгорел и не стерся. «А-а! Исчезнет!» – легкомысленно предположил Михаил Никифорович.

После работы освобожденный Михаил Никифорович заглянул в ресторан «Звездный» и допустил нарушение диеты. Бывшая аптека Михаила Никифоровича, а ныне пункт проката, находилась метрах в семидесяти, огням там в двенадцатом часу полагалось бы не гореть, а они горели, и в недрах ощущалось служебное движение людей. И будто бы новая вывеска светилась. Впрочем, Михаил Никифорович не придал мелким странностям значения.

Он ожидал продолжения радостей в очищенной от наваждения квартире. Но никакие радости дома не возникли. Да пусть бы жила рядом с ним Любовь Николаевна, пусть бы стесняла, пусть бы ходила хоть и в сером английском костюме!.. «Суждено пожалеть…» И другие слова вспомнил Михаил Никифорович. Но и впрямь, от чего он мог уберечь Любовь Николаевну, от чего и как спасти, что он должен был делать, как он предал ее и себя? «Подсказки здесь невозможны…»

Иным вышел уход Мадам Тамары Семеновны. Тамару Семеновну надо было не спасать, а обеспечить. Ввести в Высший Свет. Спасти себя она могла сама. Что и сделала, расставшись с Михаилом Никифоровичем. А сейчас она, возможно, и обеспечена и вблизи светского общества, а то и в нем. Тогда его сожаления, растерянность, чувство вины оказались временными, а ощущение свободы – стойким. Тамару Семеновну Михаил Никифорович, пожалуй, не любил. Увлечение или влюбленность были в Крыму и позже в Москве, но они потихоньку выветрились… Нынешнее свое удрученное состояние Михаил Никифорович объяснил в конце концов тем, что он по своей натуре склонен привыкать или привязываться к чему-либо или к кому-либо и потом ему без этого привычного худо. Но пройдет время, и он отвыкнет от наваждения…

Михаил Никифорович направился к дивану. Но потом снял раскладушку, отправленную было на антресоль, расставил ее в ванной, там и улегся. Уснуть, как и накануне, не мог. Опасался закрыть глаза. Вот-вот, казалось, возникнет снова зеленое, гибкое и взлетающее, станет выть,

раздадутся шумы и грохоты, а потом из зеленого бросится к нему птица, ветка или зверь и уж теперь вцепится ему в горло. И боялся Михаил Никифорович услышать плач в тишине. Но не ожило зеленое, и никто не заплакал. Противно текла вода из бачка в туалете, и дрожали, постанывая, трубы водопровода…

40

Через два дня Михаил Никифорович достал из почтового ящика письмо от Любови Николаевны.

Любовь Николаевна благодарила Михаила Никифоровича за приют и терпение, извинялась, что не высказала этого при расставании. Она напоминала, что дала слово пайщикам излечить его, но не ее вина в том, что он заупрямился и отказался от ее участия. Сама же она навязываться не станет. Писала Любовь Николаевна и о деньгах. Она все помнит, заработает и, что должна, отдаст. Любовь Николаевна просила Михаила Никифоровича поливать цветы. И советовала не расстраиваться, если в Останкине возникнут не предвиденные им обстоятельства. Был на конверте адрес отправительницы с номером восемьдесят девятым комнаты в общежитии, Михаилу Никифоровичу не нужный. Деньги он получить от Любови Николаевны не ожидал и в расчет их не брал. Растения в горшках Михаил Никифорович осмотрел. Поливать их не стал, предоставив им самим зачахнуть или выжить. Может быть, следовало квартиру продезинфицировать или воспользоваться средствами войн с тараканами и клопами, чтобы ни одного микроба от Любови Николаевны в доме на Королева более не пребывало? Подумав, Михаил Никифорович решил обойтись пылесосом и мытьем полов.

Здание на улице Цандера украшала теперь вывеска «Ищущий центр проката». Михаил Никифорович быстро получил пылесос. В зале, где когда-то отпускали лекарства, сидели конторщики, принимавшие заказы. Конторщик при телефонах, мониторе и дисплее полистал паспорт Михаила Никифоровича, списал данные, сказал, что жена, наверное, может быть довольна таким усердным мужем. Михаил Никифорович чуть было ему не надерзил, но конторщик нажал кнопку, и сейчас же подсобный рабочий принес пылесос «Веселые ребята». Подсобный рабочий в черном опрятном халате был Валентин Федорович Зотов. Он поздоровался сухо, но доброжелательно, как государственный служащий с клиентом, на пустые слова времени не имел.

– Но беда-то ведь небольшая? А? – спросил Михаил Никифорович.

– Извините, – сказал дядя Валя и ушел.

Минуты через две он опять появился в зале. Теперь дядя Валя вывел верблюда-бактриана, чьи горбы по причине зимы были укрыты туркменским ковром, подвел его к даме в шубе из скунсов и после

некоторых формальностей сопроводил верблюда и даму к выходу. В дверях верблюду пришлось присесть, так, на карачках, он и выбрался на улицу Цандера.

– Там лед! – обеспокоился Михаил Никифорович.

Но, может быть, животное было подкованное. Михаил Никифорович хорошо знал все помещения бывшей аптеки и был отчасти удивлен. «Где же держат они вещи?» – недоумевал он. И не только, можно понять, вещи.

Уже у двери Михаил Никифорович обернулся и увидел Шубникова. Загадочный, похожий на черного иллюзиониста, кому в старом цирке отдавали полное представление, стоял Шубников. Несомненно он стал выше. И Шубников сухо кивнул Михаилу Никифоровичу, но доброжелательства не было в его глазах.

С пылесосом Михаил Никифорович зашел в пивной автомат. Время текло обеденное, знакомые присутствовали.

– Ба! Да он с покупкой! – обрадовался финансист Моховский.

– Я взял в прокате, – смутился Михаил Никифорович.

– Он от прокатчиков! – рассмеялся Моховский.

Но тут же и утих. И все отчего-то замолчали.

– Они не прокатчики, – с досадой произнес Филимон Грачев. – Прокатчики – другие, специалисты черной металлургии…

– А может, они как лучше хотят, – предположил Михаил Никифорович. – Мне пылесос выдали моментально. А женщине – верблюда.

– Может быть, и как лучше… – задумались собеседники.

В это мгновение в автомате появился Петр Иванович Дробный.

– Вон. Один из прокатчиков, – толкнул Михаила Никифоровича инженер по электричеству Лесков.

Петр Иванович презирал пиво, и видеть его вблизи кружек было удивительно. Дробный заметил Михаила Никифоровича, подошел к компании.

– Что это ты? – спросил Михаил Никифорович.

– Устал, – сказал Дробный. – Ужарился.

– На улице не жарко.

– Не жарко, – кивнул Дробный. – Но вот ужарился. И не на улице.

– На улице, – вспомнил Михаил Никифорович, – ты, бывало, созерцал. И мне советовал…

– Сейчас не посоветую, – быстро сказал Дробный.

Он действительно выглядел усталым и, видно, был отчего-то в раздражении.

– Как у вас в прокате? – поинтересовался таксист Тарабанько.

И его бесцеремонный вопрос вызвал раздражение, но Петр Иванович, как человек воспитанный, лишь промолчал и поглядел куда-то поверх Тарабанько. Потом он все же сказал, но обратившись к Михаилу Никифоровичу:

– Это интересно. Даже занятно. Но нелегко… Кстати, я встретил здесь общего знакомого. Хирурга Шполянова. Тогда он был у нас в мясницкой… У него хорошая услуга.

Если бы Михаил Никифорович не знал Дробного, он мог предположить, что тот чуть ли не завидует сейчас доктору Шполянову. Но Дробный считал зависть чувством бесполезным и лишним. Самого Дробного объявляли и кавалером, сопровождающим дам, и певцом для домашнего музицирования, как-то потянуло Дробного в каскадеры. При оказании какой услуги он сегодня ужарился и пожелал выпить пива?.. Дробный отозвал Михаила Никифоровича из компании и спросил, хорошо ли он знает Шубникова.

– Давно знаю, но это не значит, что хорошо…

– Мне показалось, – уже не спрашивая, сказал Дробный, и не для Михаила Никифоровича, а для себя, – он может быть и капризным. Или опасным…

Но сразу Дробный и замолчал, и Михаил Никифорович понял, что Дробный еще станет жалеть о произнесенных им словах. Дробный извинился, ему надо было идти и продолжать занятия; обеспокоенный, усталый и все еще раздраженный, он удалился из автомата.

– Этого дорого нанимать, – сказал Тарабанько.

– С чего ты взял? – спросил Филимон.

– А ты цифры посмотри в ценнике.

– Михаил Никифорович, – сказал Лесков, – но ведь вы тоже у них в прокате.

– Это кем объявлено? – спросил Михаил Никифорович.

– Все пайщики там.

– И Филимон?

– Я не пайщик, – заявил Филимон. – Я гонец.

– Призовут – и пойдешь, – сказал Тарабанько. – Будешь чрезвычайный и полномочный курьер. Или гонец по особо важным поручениям.

– Никогда! – пылко пообещал Филимон.

– И кем же я там? – спросил Михаил Никифорович.

– Твой пай – главный. И ты открывал бутылку.

– Если я чем-то и связан с пунктом проката, – сказал Михаил

Никифорович, – то лишь квитанцией на пылесос.

– Говорят, там у вас… у них… будет управление малых рек, – сказал Тарабанько, – и управление диких птиц.

– Как это можно управлять малыми реками? – удивился Филимон. – И зачем?

– Значит, можно, – сказал Тарабанько. – И надо. Они ищут. Можно будет взять напрокат малую реку, ну, участок ее, и поить в ней коров или ловить щук. Или вот у нас в доме нет горячей воды. Они будут давать в прокат горячую воду. Сразу по нашим трубам давать.

Слова Тарабанько взволновали Филимона. Он вскричал:

– Ее зовут не Любовью, а Варварой!

– Спасибо за компанию, – сказал Михаил Никифорович и поднял с пола картонную коробку.

– А может, они тебе поломанный дали? – спросил Лесков. – Или со взрывным устройством?

– Его взрывать не станут, – сказал Филимон. – До поры до времени.

Не прошел Михаил Никифорович и ста метров, как ему стало казаться, что в картонной коробке что-то шевелится, тикает и желает расшириться. Шевеление вскоре прекратилось, но тиканье, какое вполне могло сопутствовать взрывному устройству, становилось все наглее и громче. «Не мог дядя Валя…» – старался успокоить себя Михаил Никифорович. Тикало теперь с перебоями и как бы дергано, когда же наступал перебой, будто открывалась пропасть, и Михаилу Никифоровичу было страшно. «Бросить надо коробку, – подумал он, – и бежать…» Но механизм, наверное, был обречен сработать, а Михаил Никифорович проходил мимо окон, за которыми сидели девушки-счетоводы, и одарить их пылесосом с улицы Цандера было бы низко. И в некую гордыню отчаяния впал Михаил Никифорович: да пусть сокрушают, пусть взрывают его, он сейчас ни перед кем не взмолится, ни перед кем не опустится на колени, отклонит любые условия пощады, пусть взрывают и разносят.

Но от сведения счетов с ним природы, судьбы или кого-то, получившего силу, не должны были страдать люди. Куда же следовало вырваться с картонной коробкой, в какое одиночество, чтобы ни один осколок не побил ни в чьем жилище стекла, чтобы никто не застонал и не заплакал, он не знал. Сквер на улице Королева был сейчас пуст, но и там мог невзначай возникнуть человек, а за сквером лежали рельсы для седьмого и одиннадцатого трамваев. Куда же следовало уединиться и где притихнуть, не заскулив?.. Михаилу Никифоровичу было теперь все равно, кто она – Любовь или Варвара, главное, чтобы она была, однако неужели

она могла оказаться такой мелкой и тиканье коробки было связано с ней?

– Миша, что несешь-то, золотой мой? – услышал Михаил Никифорович.

Навстречу ему шла старуха Гладышева с пятого этажа их подъезда, несла в авоське пустые бутылки из-под кефира и портвейна «Чишма».

– Пылесос, – растерянно сказал Михаил Никифорович.

Старуха остановилась, она любила беседовать с Михаилом Никифоровичем, он не раз ей делал уколы по назначению лекарей.

– Ох и хороший пылесос! – оценила Гладышева. – И как тикает! Будто музыка! Будто Толкунова.

– Да, тикает, – согласился Михаил Никифорович, норовя убежать.

– А зачем тикает-то?

– Чтобы быстрее ходить по комнатам… Извините, я бегу.

– Ну беги, – поощрила его Гладышева. – Беги. Надолго твоя-то уехала?

Михаил Никифорович остолбенело посмотрел на старуху, прошептал: «Надолго!» – и побежал. Он знал, что любознательная Гладышева стоит и с добрым вниманием смотрит ему в спину. Он бы ее расстроил, если бы сейчас с пылесосом бросился в сторону от дома, может, и устои бы долговременные в ней обрушил, а потому и побежал в свой подъезд. Не надо было этого делать, но побежал. В лифте подумал: «Ведь теперь и весь дом разнесет…» Коробка отяжелела, будто в нее переместились из государственных подвалов золотые слитки, но тиканье не прекратилось, стало прыгающим, и опять в коробке что-то зашевелилось, принялось рваться наружу и раскачивать дом. В Михаиле Никифоровиче в самом все теперь, казалось, вздрагивало и вспрыгивало, но коробку на пол кабины он не ставил, полагая, что, держа ее на весу, всю ответственность за нее он оставляет себе… «Он может быть капризным. Или опасным…» Не намек ли был в этих словах Пети Дробного? Не предупреждение ли?

Лифт остановился. Бурлаком Михаил Никифорович доволок коробку на кухню, на весу она уже не держалась. Не раздеваясь, принялся развязывать узел бельевой веревки, стянувшей коробку, ему бы успокоиться, сообразить, что бы предпринял на его месте бывалый сапер, а он тормошил коробку, раздражал, злил то, что было в ней, хлебным ножом рассек веревку, распахнул крышки – в коробке стоял пылесос. Пылесос был скромный и, будто бы напуганный Михаилом Никифоровичем, не тикал, не шевелился, не подпрыгивал, никуда не рвался. «Да что же это я? – удивился Михаил Никифорович. – Что со мной?»

Но ведь и старуха Гладышева слышала тиканье. А она несла сдавать

бутылки, значит, не могла быть привидевшейся. Михаил Никифорович разобрал пылесос, не обнаружил взрывных устройств и часовых механизмов, снова собрал, воткнул вилку в розетку удлинителя, нажал кнопку. Не взорвалось, не разнесло, не опалило Останкино. Завыло по-домашнему, приласкивая, притягивая пыль. Видно, система «Веселые ребята» была рассчитана и на пыль музыкальную. Михаил Никифорович ощутил, как звуковые потоки от его кухонного приемника утекли именно в пылесос, и там пропали концертная программа «Маяка» и два выпуска новостей (три дня потом приемник молчал). Михаил Никифорович надеялся, что пылесосом были вобраны все остатки слов Любови Николаевны и ее песен. Когда деловой вой пылесоса прекратился, изумрудная тишина возникла в доме. Михаил Никифорович долго сидел в этой тишине без мыслей и желаний.

Но к трем часам надо было ехать в аптеку.

И снова вернулось беспокойство: не переутомление ли у него, не новые ли следствия отравлений? Что происходит с его нервами? То будто зеленое кидалось к его раскладушке, то мерещилось тиканье взрывного устройства, и пылесос, в котором всего-то килограмма четыре, показался телегой, застрявшей в грязи, вытащив какую можно было получить заворот кишок. Не начать ли ему пить пустырник?

Собранный, почти невесомый пылесос он уложил в коробку, подумал: «Надо же! Значит, не было ни тиканья, ни старухи Гладышевой, ни авоськи с бутылками…»

«Было! – услышал Михаил Никифорович мерзкий, алюминиевый голос. – Предупреждение! Вам сделано предупреждение!»

Слова эти прозвучали внутри Михаила Никифоровича и за пределы его не вышли.

41

Пылесос еще три дня стоял в квартире Михаила Никифоровича. В эти дни пустого времени у Михаила Никифоровича почти не было. Ни в аптеке, ни вне ее. Года два назад он придумал инвалидную службу. Вернее, не придумал, а затеял, придумали другие, в Орехово-Борисове, о чем он прочитал в газете. Лекарства в аптеке Михаила Никифоровича брало немало инвалидов войны. Один, безрукий, Зигнатулин, ходил, ходил в аптеку, а потом перестал. Позже от людей из дома Зигнатулина Михаил Никифорович узнал, что тот умер. Зигнатулин был одинокий, слег, на столе у него валялись рецепты. А если бы кто пошел с ними в аптеку, то Зигнатулин, возможно, и теперь бы жил. Михаил Никифорович знал примерно, в каких домах и переулках обитают их постоянные посетители. Он обошел эти дома и составил список инвалидов Отечественной, их обнаружилось сорок четыре, из них девять – второй группы и четверо – с домашним режимом существования. Михаил Никифорович завел на них карточки с адресами, телефонами, краткими историями болезней и сведениями о лекарствах, какие сорока четырем более всего прописывали. Потом в картотеке появились телефоны посетителей-инвалидов, переселенных на окраины, но заезжающих в аптеку из своих выселок по старой привычке и из упрямства. Все они были у Михаила Никифоровича под опекой. Заведующая, оценив затею как своевременную, предоставила ему даже шкаф, распорядившись назвать его фондом инвалидов Отечественной войны. При участии Михаила Никифоровича были налажены отношения со многими московскими аптеками, и когда какое-нибудь лекарство или трава, скажем, трентал или сушеная резеда, кончались, а за ними приходили в нужде, у просителей брали открытки или номера телефонов, аптекари связывались с коллегами, и где-нибудь в Лианозове отыскивались и трентал и резеда. Ради инвалидов, а к ним добавились и выявленные хронические больные из ближних кварталов, Михаил Никифорович путешествовал за лекарствами. В те дни он ездил то в Крылатское за лазексом для хроника Пустовойта, то в Люблино за верошпироном для отставного морского офицера Устинова. Расхворались тогда и некоторые его одинокие инвалиды, и им наносил визиты Михаил Никифорович.

А пылесос смирно стоял в прихожей. Михаил Никифорович к нему привык. Однако кому-то он мог понадобиться. Да и платить за услугу

полагалось. К тому же в Ищущем центре проката могли посчитать, что он запуган предупреждением. Или в смятении от него. Оттого и не решается вернуть предмет.

По дороге в пункт проката Михаил Никифорович встретил старуху Гладышеву. Теперь в ее авоське лежала морская рыба в прозрачном пакете и мытый картофель в сетке.

– Треску дают, – просветила Гладышева. – Безголовую. По пятьдесят шесть копеек. И очередь короткая. Отварил бы в сметане. И хорошо для твоей печени…

Ни о какой печени Михаил Никифорович старухе Гладышевой не докладывал. Он вяло одобрил покупку Гладышевой безголовой трески.

– Обратно несешь? – радуясь круговороту жизни, спросила Гладышева.

– Обратно, – подтвердил Михаил Никифорович.

– Надо же, вот попадется такая, загрязнит квартиру, – посетовала Гладышева, – а потом мужику маяться…

Михаил Никифорович чуть было не стал защищать Любовь Николаевну, но решил продолжить путешествие.

– Иди, иди! – напутствовала его Гладышева. – Там полезные дела. У них теперь души переселяют…

Михаилу Никифоровичу захотелось, чтобы в картонной коробке нечто зашевелилось, потяжелело, затикало, обещая террористический акт. И чтобы все в пункте проката ощутили это. Но ничто не затикало и не зашевелилось. Кротким, как Валентин Федорович Зотов, был груз в коробке. А Михаил Никифорович, отворяя дверь в пункт проката, взволновался, потому и не все сразу рассмотрел в помещении. Направился к конторщику, одалживающему ему пылесос, и увидел, что на его месте сидит Четвериков. Сергей Четвериков, как известно, учился вместе с Михаилом Никифоровичем в Харькове. Москву же облагодетельствовал, став в ней санитарным врачом. Четвериков Михаила Никифоровича узнал, но сделал вид, что не узнал. «Ну хорошо, раз так надо», – подумал Михаил Никифорович. Но все же спросил: «По совместительству?» Четвериков чиновно взглянул на Михаила Никифоровича, слова не произнес, но не выдержал и кивнул. Да и как он мог бросить улицу Кирова, кофейную, рыбную, хлебную, мясную, книжную, с электрическими инструментами, с шерстяными олимпийскими костюмами и грампластинками? Где бы еще так заслуженно тяжелели его портфели и сумки? Михаил Никифорович стал объяснять Четверикову, что с пылесосом все в порядке, он целый и умытый, а вот веревку пришлось разрезать. Четвериков нахмурился, дал

понять, что решение вопроса не в его возможностях, и ушел к компетентным служащим.

А Михаил Никифорович осмотрел зал и увидел под потолком степенно поворачивающееся табло венгерской фирмы «Электроимпекс». То и дело загорались слова: «Новинка услуг Центра проката». Под ними строки сообщали: «Сдается в прокат спартаковский дух. С сегодняшнего дня сдается в прокат спартаковский дух». «Вот, – подумал Михаил Никифорович, – откуда старухе Гладышевой зашло в голову переселение душ. Ей что дух, что души – одно…» А строчки поспешали: «Спартаковский дух может быть использован для подъема настроения спортивных коллективов, как высших, так и низовых. А также для одоления несправедливости и тупой силы в нравственных конфликтах. И для претворения наук в гул станков и звон дрезин. Силы спартаковского духа практически не ограничены и слабо исследованы. Возможны открытия. Выдается в стеклянных сосудах емкостью от 760 граммов до 12 литров. Мелкие дозы предлагаются в древесностружечной расфасовке. В особо важных случаях спартаковский дух отпускается материализованным в виде спортивной человеческой личности…»

Четвериков задерживался. На табло пошли лазоревые с фиолетовым слова: «Анонс! Анонс! Ближайшие новинки услуг Центра проката. Переселение душ. Подселение душ. Домашние гуру. Подробности последуют». Нет, старуха Гладышева не напутала. Не способна, видно, она была в том, что касается услуг, что-либо напутать.

Четвериков явился с укоризной в глазах. Михаила Никифоровича приглашали пройти в администрацию для разрешения возникших по его небрежности обстоятельств.

– Деньги, что ли, я должен уплатить за веревку? – спросил Михаил Никифорович. – Я заплачу. А на разговоры времени нет.

– Возникли осложнения, – церемонно сказал Четвериков. – И вас приглашают. А что я? Я ведь при кнопках и счетах…

И он нажал на кнопку. Или на педаль. Или повернул какой тумблер. Вблизи Михаила Никифоровича тут же засуетились три женщины в кимоно, они выпевали цифры и артикулы правил, а за ними глухонемыми Герасимами двигались два холодноглазых молодца, каких в автомате на Королева именовали бы Шкафами, они стали теснить его к двери в недра здания. Было видно, что они умеют не только теснить, но и знакомы с секретами боевых послушников Шаолиньского монастыря. Да и женщинам, наверное, не случайно форменной одеждой были определены кимоно.

– Я иду по приглашению, – сказал Михаил Никифорович.

Он не то чтобы сдался, ему надоела толкотня. И возник интерес – не из его ли, заведующего аптекой, бывшего кабинета последовало приглашение. Нет, указали ему на дверь комнаты, где когда-то сидела его горемычная заместительница. За дверью Михаил Никифорович обнаружил Бурлакина.

– Садитесь, – предложил Бурлакин.

– Для ваших претензий у меня две минуты, – сказал Михаил Никифорович.

– Мы вас пригласили, – сказал Бурлакин, – чтобы объявить о недопустимом нарушении… Вы были обязаны ознакомиться с текстом правил и…

– Там, наверное, первым делом написано – для блага и прочее… И эти амбалы-каратисты для блага населения?

– Какие каратисты? – чуть не расстроился Бурлакин. – Молодые люди, которые вас эскортировали ко мне? Неужели они вас обидели? Это почетное сопровождение. А так они грузчики. У нас есть услуги с тяжелыми предметами.

– Сколько уплатить? – спросил Михаил Никифорович.

– Хорошо, Михаил Никифорович, – обеспокоился Бурлакин. – Оставим веревку, если тебе неприятно говорить о ней. Хотя она теперь зафиксирована и никуда не денется… Конечно, мы тебя позвали по иному поводу. Ты нам нужен.

– Спасибо, – сказал Михаил Никифорович. – Но вы мне не нужны. Пылесосов я более брать не буду. Особенно с часовым механизмом.

– С каким часовым механизмом? – удивился Бурлакин.

– Ни с каким, – сказал Михаил Никифорович. – Это я так.

– Вот что, Михаил Никифорович. – Бурлакин поднялся. – Возможно, я эгоистично сказал. Хотя и верно. Да, ты нам нужен. Но мы бы желали, чтобы и мы тебе были нужны. И чтобы ты понял, что мы ищем не для себя, а для Останкина. А ты зарыл свой талант. Или талан.

– Стало быть, вы ищете вместе с Любовью Николаевной?

– Вместе.

– Но Шубников обещал, что не будет опираться на нее.

– Выходит, что вместе плодотворнее. Это пока ищем. А когда найдем и устроимся, сможем и не опираться.

– Обойдетесь без меня.

– Обойдемся, – согласился Бурлакин. – Но печально, что твои мощности стынут задаром. Да, мощности, энергия, силы, поля, желания,

мечты… И учти. Многие в Останкине нас поняли и со всем лучшим, что у них есть, пришли к нам.

– И дядя Валя?

– И дядя Валя. И Игорь Борисович Каштанов. И Серов. И Тарабанько. И… – Далее Бурлакин назвал Михаилу Никифоровичу еще несколько известных тому фамилий, в их числе и мою.

– Тексты объявлений вам не Каштанов пишет?

– И Каштанов.

– А кто у вас сам спартаковский дух? Тот, что для важных случаев и материализованный? Не Лапшин ли?

– При чем тут Лапшин? – обиделся Бурлакин. – Именно дух. Но материализованный в виде личности. Так привычнее и достовернее. На него уже есть заявка. Через час заберут. Вот он.

На стене слева от стола Бурлакина выявился экран, и на нем в цветном, объемном изображении был предъявлен спартаковский дух. Он Михаила Никифоровича разочаровал. Михаил Никифорович полагал увидеть богатыря с морковными щеками или хотя бы атлетическую, задорную натуру из передачи «Если хочешь быть здоров», а где-то на вокзальной скамье ожидал заказчика кислый, задерганный мужичонка лет сорока, со скудными волосами, такой бы задрожал при виде конной милиции.

– Его не возьмут, – предположил Михаил Никифорович.

– Ошибаешься, – возразил Бурлакин. – От его голоса может повалиться шишкинский бор. А если он соберет волю, то уж…

– Кто его заказал?

– Доменный цех. Для выполнения квартального плана.

Экран погас и исчез.

– Дальнейших вам успехов, – раскланялся Михаил Никифорович.

– Ты нас не серди, Михаил Никифорович, – помрачнел Бурлакин. – И уж не зли. Наш художественный руководитель…

Сразу же в комнату вошел Шубников. Я чуть было не написал – ворвался. Или влетел. Нет, не ворвался и не влетел, хотя появление его и вышло метеорным. Он протянул руку Михаилу Никифоровичу, и тот без всякого к тому желания ее пожал. Шубников был в черном халате, но халат его, долгополый, с серебряной застежкой под горлом, походил на плащ звездочета. Или алхимика. Шубников молча долго смотрел в глаза Михаила Никифоровича. Взгляд его Михаил Никифорович вытерпел. Но Шубников как будто бы и не пугал сейчас его, не пытался подчинить своей воле, он, казалось, стремился понять нечто в Михаиле Никифоровиче и

давал рассмотреть себя. Он серьезно изменился. Его случайным знакомцам могло прийти в голову, что это и не Шубников. Но Михаил Никифорович увидел, что ставшее безбородым лицо Шубникова удлинилось и утончилось, даже обострилось книзу. Шубников более не носил очки, даже и в минуты его безалаберных авантюр вызывавшие у людей сторонних соображения о простодушии и незащищенности останкинского баламута. Скорбная и важная мысль обнаруживалась в его глазах. Нос Шубникова выпрямился, стал резок и классичен, осунувшееся лицо прорезали глубокие вертикальные морщины уставшего и всепонимающего творца.

– Я догадываюсь, о чем был разговор, – сказал Шубников. – Очень жаль, Михаил Никифорович, что вы не хотите быть с нами – из упрямства или по инерции мышления. Но я не буду сейчас в чем-либо убеждать. Попрошу лишь об одном – прочтите. Здесь всего восемнадцать страниц на машинке. Необязательно сегодня. Когда будет время. Не откажите в нижайшей просьбе. Здесь есть факты и сообщения. Они должны объяснить, из-за чего и ради чего мы ищем. Да, мы и сами были нехороши, но отчего же и не подчиниться тяге к совершенству?..

Шубников протянул Михаилу Никифоровичу сафьяновую папку, на обложке ее было вытиснено: «Записка о состоянии нравов в Останкине и на Сретенке…»

– Я прочту, – неуверенно сказал Михаил Никифорович, взяв в руки папку. – Но это ничего не изменит.

– И еще. Здесь до проката была ваша аптека. Стены привыкли. И держат в себе. Не хотелось бы, чтобы они стали мешать. Вы знаете латинский. Вы помните Сенеку. Вот из него…

Михаил Никифорович знал латынь в пределах аптечной необходимости, из Сенеки же он ничего не помнил. Шубников продекламировал вовсе не по-латыни:

– Нет места лекарствам там, где то, что считалось пороком, становится обычаем.

– Слова эти не имеют отношения к аптеке, – сказал Михаил Никифорович.

– Я хотел, чтобы вы подумали и об этом, – как бы не расслышал его Шубников. – Когда вы прочтете «Записку», оно и само придет вам в голову. А относительно веревки все уладят.

– Благодарствую, – сказал Михаил Никифорович. – Только я вам свою принес взамен.

– Вся тонкость в разрезанном узле, – осторожно заметил молчавший при Шубникове Бурлакин. – Здесь нарушение правил…

– Уладим! – поморщился Шубников. – Вы, Михаил Никифорович, можете пройти мимо Четверикова, даже и не взглянув на него.

– Отчего же, – сказал Михаил Никифорович. – Взгляну. И на грузчиков-каратистов взгляну. Вдруг они стали у вас обычаем.

Шубников в недоумении взглянул на Бурлакина.

– Это заблуждение, – быстро сказал Бурлакин. – Это опять же твое заблуждение, Михаил Никифорович. Или инерция мышления…

И, уже закрывая дверь, услышал Михаил Никифорович продолжение его речи:

– Мы не торопим. Но вам нельзя медлить с делами.

Полчаса назад приемный зал Центра проката и коридор служебных помещений были почти пусты и тихи. Сейчас же здесь все забурлило, возможно, подтверждая слова Бурлакина о недопустимости медлить с делами. И коридор и приемный зал будто раздвинулись, приподняли потолки, в зале у окон с видами на ресторан «Звездный» Михаил Никифорович углядел теперь и зимний сад с кактусами, агавами, лианами и зарослями юного бамбука, в бассейне тучные китайские золотые рыбы томно проплывали под листами лотоса, синие мухоловки с лиан и бамбуковых палок перепархивали на электрическое табло, поклевывали слова с комплиментами спартаковскому духу. Людей же энергичных, обнадеженных были толпы в коридоре и зале. Сотрудники носились, летали, светились сознанием гражданского облагодетельствования. Один Валентин Федорович Зотов был хмур и строг. Четвериков же издалека кивнул Михаилу Никифоровичу с почтением, как значительному лицу. Может быть, равному с главнокомандующим всех санитарии, гигиен и эпидемий города. Что Михаилу Никифоровичу даже польстило. Подписывались квитанции, соглашения, договоры. Крупных животных особей, предметы и машины, сообщало табло, предлагалось забирать со склада, устроенного на улице Кондратюка. Михаил Никифорович услышал волнующую просьбу командированного из Петропавловского мясокомбината выдать им на воспитание двух или трех брошенных дурной матерью и почти замерзших уссурийских тигрят. Мясокомбинат решил тигрят усыновить. «Я же целый день летел сюда с полуострова! – гремел камчадал. – Мы про вас наслышаны… Хабаровский зоокомбинат нам отказал. А вы все можете!»

В неведении, вырастут ли приемные сыны мясного комбината и что обучатся кушать, вышел Михаил Никифорович на улицу Цандера. Снег падал неспешный, ласковый. Этот чистый, ласковый снег умиротворил Михаила Никифоровича. «А может, они впрямь ищут, страдают,

осовестились? – думал Михаил Никифорович. – Я же, выходит, саботажник? Может, и она, Любовь Николаевна, все же именно мучающаяся с нами природа?» Мысли об этом сделали Михаила Никифоровича вовсе благодушным. Они и обнадежили его. Он захотел сесть в троллейбус и поехать на Кашенкин луг. Комната в общежитии была известна. Восемьдесят девятая.

Но в троллейбус Михаил Никифорович не сел. Пришел домой и прочитал сочинение Шубникова. Потом позвонил мне. О «Записке» Шубникова не сказал, а поинтересовался, правда ли, что я согласился сотрудничать с Центром проката или даже напросился к ним сам. Я ответил, что это ложь, что никаких искательных разговоров со мной не вели, а если бы повели, получили бы отпор.

А Михаилу Никифоровичу стало нехорошо, тошнило, заныл правый бок. Он захотел прилечь. Зашел в комнату, но там двинулся не к дивану, а сразу же, будто ощутив знак, оглядел подоконники. Фиалки в глиняных горшках ожили, листья их были сочные, свежие и обещали появление цветов. А Михаил Никифорович фиалки так и не поливал…

42

Шубников плохо спал. Прежде, когда бывал в северных землях, он тяжко переносил белые ночи. И еще его беспокоила звезда Альциона скопления Плеяды. Шубников полагал, что ему судьбой приписана звезда Альциона… Но сейчас его бессонницы вызывала вовсе не звезда Альциона. Домой Шубников приходил часов на пять, остальное же время проводил в занятиях на Цандера и в местах, с которыми было связано теперь состояние дел в динамичном и благородном предприятии. Шубников сам удивлялся собственной энергии и работоспособности. Это были его энергия и работоспособность, они появились раньше, чем пункт проката изменил свои отношения с Любовью Николаевной. В жизни Шубникова случалось немало вспышек энергии, но они быстро гасли, ни разу не приведя к удаче. Шубников, как натура, неспособная к длительным унылым, словно бы и не задумывался над тем, нужна была ему удача или нет. Сейчас же он мечтал о ней.

По ночам Шубников ожидал озарения. Ему казалось, что он уже достоин его. Он столько усердствовал, столько порушил в себе мелкого, несуразного, такие мусорные ямы засыпал и замуровал, столько взрастил в себе совершенного и благоухающего, что не должен был зависеть от кого-либо, хотя бы и от Любови Николаевны, не должен был выпрашивать или вымаливать озарение. Оно обязано было снизойти на него само. Но пока не снисходило.

«Записка о состоянии нравов в Останкине и на Сретенке…» было заброшенная, снова занимала его. Перечитав ее, Шубников растрогался. Он хотел, чтобы и еще кто-то стал ее читателем. Любовь Николаевна дала ему понять, что письменное обращение к ней известно ей до последних опечаток. Бурлакин же как читатель «Записки» стал Шубникову неинтересен. Тогда Шубников и подумал о Михаиле Никифоровиче. Да, тот был обязан познакомиться с его наблюдениями и проектами. Проектов, правда, в «Записке» не было, но Шубникову казалось уже, что они есть. При этом Шубников думал, что в его обращении к Михаилу Никифоровичу нет корысти. Он вообще в своих заботах об останкинских жителях видел себя бескорыстным. Он уверил себя в том, что любит их и готов стать ради них не щадящим себя Данко. Но для трудов и подвигов требовались подпоры. И Шубников уговорил себя преодолеть неприязнь к Михаилу Никифоровичу и пригласить его в соратники. И для этого были причины.

Как счастливый сочинитель, взволнованный своим произведением, Шубников полагал сейчас, что оно вызовет конгениальное волнение и у каждого читателя. Михаил Никифорович должен был ощутить огонь его души и пойти за ним. И Любовь Николаевна могла бы оценить с благоразумием его обращение к Михаилу Никифоровичу.

Как бы только Михаил Никифорович не разорвал в сердцах рукопись. Как бы не оказался этот стервец упрямым эгоистом! И, представив в ночной час, как Михаил Никифорович, этот беспечный аптекарь, рвет листы, где каждая буковка не машинкой «Олимпия» отпечатана, а произросла в его душе, Шубников заскучал.

По коридору бродил ротан Мардарий.

Мардарий в последнее время настораживал Шубникова. Казалось, что Мардарий вот-вот пожелает жить сам по себе и не потерпит более подчинения в зависимости от них, Шубникова и Бурлакина. Он словно бы стал чужой, стеклянно-холодно поглядывал на воспитателей и молчал. При этом Шубников чувствовал, что существует несомненная связь между ним и Мардарием, будто бы Мардарий оказывался похожим на него. Или даже продолжением его. Называть его ротаном или рыбой стало теперь неловко и несправедливо. Ростом Мардарий был уже с Филимона Грачева, ходил на задних лапах, они удлинились и окрепли, хвост же Мардария получил приказ укоротиться. Шубников не удивился бы, если бы Мардарий потребовал сюртук, шляпу или даже кожаное пальто. К этому шло. Шляпа или шапка понадобились бы Мардарию большие, крупная голова, и так свойственная ротану, разрослась, но обнаружились на ней и неожиданные черты, украшения и подробности, какие делали ее вовсе не рыбьей. И если бы Мардарий в кожаном пальто и шляпе да еще и с тростью в руках прошелся по Москве, вряд ли бы он кого поразил. В крайнем случае его бы посчитали представителем малоизвестной страны, с какой у нас еще не установлены дипломатические отношения на уровне послов. А впрочем, не исключено, что и европейцем. Но Мардарий на улицу не просился. Он не требовал сейчас пищи. Бурлакин однажды в присутствии Любови Николаевны посетовал на прожорливость развивающегося Мардария, этак на самом деле можно было оставить всю систему вторчермета и утиля без сырья. Любовь Николаевна кивнула и сказала, что в силах отменить чревоугодие Мардария, отчего он не усохнет и не станет заморышем. Мардарий слонялся теперь по квартире Шубникова, рассматривал газеты и иллюстрированные издания, стоял у окна. И нельзя было понять, соображает он что-либо, держа передними (или верхними?) лапами «Воздушный транспорт» или «Рекламное приложение» или же

прикидывается неучем и лишенным интеллекта. И что он высматривал, стоя у окон? Бурлакин предположил, что Мардарий созрел и нуждается в подруге. Но откуда было ее взять и какую?

– А не загрызет ли он нас? – задумался однажды Бурлакин.

– Сейчас и загрызет! – иронически улыбнулся Шубников.

А почему бы ему и не загрызть?.. Мардария более не дрессировали. Мысль об этом не приходила в голову. Шубников жалел о том, что Мардарий вообще существует в доме. Экий дурак Бурлакин, что приволок его рыбной мелочью. Но и он, Шубников, был хорош, увлекшись летними и осенними забавами с Мардарием, его воспитанием, играми и выступлениями в Останкинском пруду! Однако тогда он еще искал себя, был к себе подлинному лишь на дальних подходах, а разве не бывают при поисках лишние тропы и ямы с капканами? Избавиться от Мардария Шубников не решался. Возможно, Мардарий и не позволил бы, чтобы от него избавились. Нечто тайное и сильное чудилось теперь Шубникову в Мардарий. Порой казалось, что Мардарий смотрит на него с усмешкой и чуть ли не высокомерно, будто он и есть в квартире высшее существо. Можно было, конечно, Мардария приспособить к делу и держать на складе возле ветеринарной лечебницы. Но и на это Шубников пока не отваживался. Останавливала мысль о том, что вдруг и впрямь нечто важное из его, Шубникова, натуры перетекло в Мардария, там привилось и преобразовалось и Мардарий знает о нем всю правду. Просить же Любовь Николаевну освободить его от Мардария Шубников не желал. Тогда бы вышло, что Мардарий ему неподвластен, он – ее создание. С этим Шубников не мог согласиться. Он убеждал себя в том, что и перемены в его собственной внешности не подарок или подачка Любови Николаевны, а вызваны его, Шубникова, желанием и усилиями воли. И Мардарий рос, преобразовывался по его велению – пусть и при авантюрном ассистенте Бурлакине. К Любови же Николаевне они прибегнули куда позже…

Что касается Любови Николаевны, то здесь, кажется, все было Шубниковым установлено для самого себя и отвердело благоразумными объяснениями. Да, он обещал не опираться на Любовь Николаевну и ее возможности. Но проявил слабость. Или нет, решился на деловое соглашение. Причем и самой Любови Николаевне было объявлено, что обращение к ней временное, что ее средства и эффекты не решающие, а вспомогательные, скажем, как пиротехника при съемках батального сериала. А самовар разгорался. Вот уж и пай Валентина Федоровича Зотова находился под контролем Шубникова. Невзначай обнаружилась неожиданная и скрытая страсть дяди Вали, тогда последовал

моментальный поворот винта, и дядя Валя был приручен и прикован к общеостанкинскому благу. Следовало остановиться и не нарушать доктрину далее; но так забурлило все на улице Цандера, что Шубников и стал подумывать о Михаиле Никифоровиче как о необходимом читателе известной «Записки»… Перед тем сам Шубников вновь просмотрел сочинение. Нет, он был не Савонарола, не Аввакум, не князь Михаил Михайлович Щербатов. У него было свое назначение в природе.

Но не спускалось, не снисходило на него озарение!

Оттого и приходилось искать и творить на улице Цандера в паршивом строении, пропахшем аптекой, с цирюльней на втором этаже, с наглой и глупой парикмахершей Юноной Кирпичеевой, пролившей когда-то воды на мерзкую аптеку, а ныне со своими пороками и порчеными нравами занесенной в «Записку». Впрочем, и Юнона не могла быть объявлена пропащей, и ради нее Шубников готовился светить в полумраке собственным сердцем. «Кстати, – подумал Шубников, – цирюльню пора подчинить прокату, надо завтра же сказать Ольгерду, чтобы сходил куда надо». Ольгерд Голушкин оставался директором, хотя и употреблял. Но он умел врать властям и населению, оттого был полезен. Шубников же полагал и его исправить. Хотя в настоящем искусстве нужны мастера и на злодейские роли. Однако не на злодейские ли роли он призывал Михаила Никифоровича? Нет, куда уж ему… «Да не Михаил Никифорович тебе нужен, а пай его, пай, самый богатый! – услышал в себе Шубников. – И лжешь ты, что нет в тебе корысти! Есть она!» «Да, значит, есть, – вступил с собой в объяснения Шубников, – но ведь если ты осознаешь свою корысть, огорчаешься из-за нее, готов ее изничтожить, стало быть, ты стремишься к совершенствованию, а потому успокойся. И все ли зло в тебе от тебя самого? А корысть-то или, скажем, интерес к паю, они ведь вызваны мыслью об усовершенствовании жизни всех…» Шубникову захотелось сейчас же записать свои соображения на бумагу. Раз уж не спалось, надо было начинать «Исповедь сына века». Почему «Исповедь сына века»? – удивился себе Шубников. Такая исповедь уже была. Она – чья? Гюго, что ли? Или Мюссе? Альфреда? Шубников стал вспоминать студенческую пору, и именно время экзаменов по зарубежной литературе. Ну да, вроде бы Мюссе. Однако никто не помнит этого Мюссе. Если только вот он, Шубников. Но разве он, Шубников, всего лишь «сын века»? Печально было бы, если только сын… Нет, название сочинений не подходило Шубникову. Да и, пожалуй, само сочинение пока еще не вызрело в нем…

Утром Шубников хоть и невыспавшийся, но после энергичной гимнастики и душа в деловых устремлениях вошел в Ищущий центр

проката. Одет он был так, будто собирался по вызову в солидное учреждение, но в такое, где уважают особенности художнических натур, а потому позволил себе вместо галстука повязать тонкий пестрый платок. Однако в учреждения ходил не Шубников, а директор Ольгерд Денисович Голушкин. Шубников велел сейчас же кликнуть Бурлакина, но вспомнил в досаде, что Бурлакин сегодня не придет. Бурлакин и не думал бросать службу, признавая прокат баловством и выделив для него выходные и библиотечные дни. Был повод Шубникову опять посетовать на одиночество и замкнутость его натуры в толпе. Но кабинет посетил директор Голушкин. Голушкин был курносый, важный и хитрый. Разговоры с Шубниковым из гонора и с высоты должности он начинал как начальник, но уже через несколько фраз выглядел чуть ли не курьером, готовым лететь с пакетом в Бирюлево-Пассажирское. Выгоды сотрудничества с Шубниковым уже ощущались его карманом, а рисковать Голушкин привык, походив и в гардеробщиках, и в инкассаторах, и в судебных экспертах, и в дегустаторах шоколадной фабрики. Да и догадывался он о Любови Николаевне, уползать же от нее в кустарники было поздно. Шубников разъяснил Голушкину ненормальность ситуации с парикмахерской, неразумно было не подчинить частную службу быта службе генеральной.

– Справедливо, – сказал Голушкин. – Это уладим.

– И еще, – пришло в голову Шубникова. – Надо подумать о новой услуге. У нас должны появиться антропомаксимологи.

– Это кто такие? – спросил Голушкин.

– Свежий ручей науки, – объяснил Шубников. – Резервы возможностей организма. Мать поднимает грузовик, под которым ее ребенок.

– Ну, это понятно, – успокоился Голушкин. – Это перспективно.

Об антропомаксимологии Шубников узнал случайно, взглянув нынче мельком на спортивную газету, приклеенную к фанере на Кондратюка. Строчки ее сейчас же подсказали Шубникову решения, чрезвычайно далекие от мыслей отцов антропомаксимологии, названных в газете Икарами двадцатого века. В их мысли он и не думал вчитываться.

– Но ведь в управлении могут и удивиться, – снова стал важным директор Голушкин. – Вдруг ручей не наш. Не останкинский.

Голушкин давал понять, сколь трудными могут оказаться его хлопоты в учреждении и какой он государственный человек в сравнении с новыми порханиями наук.

– Это для ваших плеч, Ольгерд Денисович, – поощрил его

Шубников. – Для ваших-то плеч – быть директором картины, и не на каком-нибудь «Мосфильме»! А то прокат!

Вся государственность спадала с Голушкина, когда Шубников производил его в директоры картины. Или продюсеры.

– Осуществим, – пообещал Голушкин.

– И что значит – удивятся? – сказал Шубников. – Хорошо, что удивятся. Будущее начинается с удивления. Чем сильнее удивятся, тем скорее привыкнут.

И Голушкин отбыл осуществлять. Шубников знал, что осуществит Любовь Николаевна, но на поверхности жизни должно было происходить чиновное движение бумаг. В минуты счастливых спокойствий и самому Шубникову могло показаться, что никакой Любови Николаевны вовсе нет.

Дело с антропомаксимологией как с видом услуг было административно решено к обеду, и Игорю Борисовичу Каштанову спустился заказ сочинить оду для электрического табло. Отвлекало и нервировало Шубникова ожидание Михаила Никифоровича. Однако Михаил Никифорович не приходил… Не пришел он и на второй день. И на третий. Нетерпение Шубникова, вызывавшее в бессонные часы сомнения и досаду, обернулось чуть ли не ненавистью. «Ах вот ты какой! Да тебя стоит стереть в порошок!» Но выражение вышло скорее аптекарское, и Шубников отчитал себя. Зачем же злиться на человека, если ему недоступно понимание высшего? Ему следует сострадать…

На четвертый день Михаил Никифорович явился, и Шубников сразу понял, какова будет рецензия.

– Это неправда, – сказал Михаил Никифорович, положив рукопись на стол Шубникова.

– Ни капли правды? – язвительно спросил Шубников.

– Капли есть, – сказал Михаил Никифорович. – Случаи, которые ты описал и перечислил, были.

– Ну так что же! – вскричал Шубников.

– Неправда то, к чему ты желаешь меня подвигнуть, – сказал Михаил Никифорович.

– Значит, бросить все, что мы делаем?

– Какое отношение имеет ваше дело к тому, что ты написал? Останкино оно не улучшит. Да вы и навязываете себя Останкину.

– Мы никому ничего не навязываем, – с достоинством произнес Шубников. – К нам идут, едут, плывут и прилетают.

– Возле вас сытые проголодаются.

– Помарки неизбежны. Особенно в поиске. И вначале. Но мы не для

аппетитов потребителей, ты ошибаешься.

– Хорошо, коли так. Но пока до свидания.

– Ты пожалеешь! – зло сказал Шубников. Или зловеще.

– Понимать как угрозу? Предупреждение уже было сделано…

– Рассуди сам.

– И что же, вы полагаете меня взорвать?

– Необязательно, – жестко сказал Шубников. – Но вдруг ты станешь свидетелем такого, от чего тебе будет стыдно и горько, и ты ощутишь себя виноватым?

– Присутствует ли честь в вашем предприятии?

– Ты напрасно оскорбляешь нас, подозревая в отсутствии чести. И дорого обойдется Останкину и тебе твое упрямство или неприязнь к нам, – произнес Шубников с грустью и с жалостью к Останкину и Михаилу Никифоровичу.

– Приму к сведению, – сказал Михаил Никифорович и покинул Ищущий центр проката.

Шубников рассвирепел, обиженным зверем метался по кабинету. Он был готов уничтожить саботажника и предателя. «Предатель! Предатель!» – шептал Шубников. Отчего Михаил Никифорович выходил предателем, Шубников не задумывался. Предатель, и все. Был рядом, обнадеживал участием, а взял и изменил делу. Да и более ярые мысли могли прийти в голову самолюбивому автору, чье сочинение, или исследование, было не принято и оскорблено. Оплевано было. Но вскоре Шубников решил, что уничтожать предателя, клеветника и саботажника – лишь унижать самого себя, а Михаил Никифорович достоин одного – презрения, презрения, презрения! Хотя, конечно, и ничто иное не исключалось. Остывая, Шубников стал думать, что гордость гордостью, а пай остается при Михаиле Никифоровиче и, возможно, он, Шубников, увлекшись и переоценив силу своей «Записки», в простодушии ошибся, а Михаила Никифоровича вовлекать в сподвижники следовало совсем иным способом. Каким – предстояло открыть. Или изобрести. Способ мог оказаться и самым неожиданным…

Часом позже Шубников рассказал Бурлакину о разговоре с Михаилом Никифоровичем. Рассказ вел в лицах, разволновался, Михаил Никифорович опять вышел у него предателем, клеветником и интриганом, останкинским Макиавелли.

– Слушай, – сказал Бурлакин, – ты-то не прикидывайся несведущим или отуманенным человеком, который не понимает, что занят вовсе не улучшением нравов.

– Если ты такой здравомыслящий и справедливый, почему же не приходишь сюда? – с обидой спросил Шубников.

– Мне свойственны увлечения. И пока интересно.

– Но ведь вы с аптекарем не правы, пусть и в разной степени. Да, за этот прокат я ухватился случайно, но форму, хоть и случайную, мы можем подчинить сути. И подчиним! А сорняки прополем и отбросим! Все войдет в соответствие с тем высоким, что есть сейчас во мне. И, надеюсь, в тебе.

– Не бредем ли мы в лес дремучий? – засомневался Бурлакин.

– Прежде ты любил рисковать.

– Ради чего?

– Если разобраться – ради ничего.

– Вот именно. И риск тот был собственный, огорчал немногих. Забавы хороши поначалу, но когда происходит их трансформация…

– Для меня теперь нет забав! – оборвал его Шубников. – Но если все так плохо, сейчас же все и прекратим!

Долго Шубников сидел сникший, будто раздавленный судьбой. Бурлакину стало жалко его.

– Попробуем еще немного… – сказал он неуверенно. – Но я тебя прошу. Ты особо не гни дядю Валю. Он ведь и сломаться может.

– Я все знаю. И вижу.

– Эх, Шубников, – покачал головой Бурлакин, – тебе бы какой-нибудь женщиной увлечься. Вон ты на вид какой стал плейбой. Или денди.

– Что? – удивился Шубников. – К чему ты заговорил о женщине?

– Сам не знаю к чему, – сказал Бурлакин. И удалился.

43

А через день вечером улицу Цандера посетили две гостьи, озадачив Ольгерда Денисовича Голушкина просьбой. О просьбе их Голушкин в записке уведомил художественного руководителя. Одна из женщин, прилично, как, впрочем, и ее приятельница, одетая, вежливая и миловидная, оглядев зал Центра проката, обронила слова: «Давно я здесь не была». В записке Голушкина Шубников прочитал: «Заказ. Уроки Высшего Света с погружением». Был приглашен Добкин, иногда дававший консультации по вопросам протокола и дипломатического церемониала: он сталкивался в Архангельске и Ялте с иностранными моряками. «Что ж тут неясного? – удивился Добкин. – С погружением – это как при изучении языка, с чаепитиями и балами в костюмах, и все на английском языке. А тут свои погружения». «Ольгерд Денисович, займитесь, – обрадовался Шубников. – И обеспечьте». «Попробуй обеспечь! Как же! – запыхтел Голушкин. – И какой брать Высший Свет? Ведь для каждого Высший Свет свой». И стало ясно, что Высший Свет Ольгерда Денисовича Голушкина может не совпасть с Высшим Светом Шубникова, иные в нем обнаружатся личности, напитки, запахи, туалеты, выражения и привычки. «Надо приготовить несколько вариантов Высшего Света, – указал Голушкину Шубников. – А как появятся вчерашние заказчицы, направьте их ко мне». Указание это вырвалось неожиданно для самого Шубникова. «Да что это я? – удивился Шубников. – Зачем мне смотреть на этих баб?» Однако Шубникову хотелось взглянуть на женщину, помнившую Центр проката аптекой. Или, может быть, слова Бурлакина о женщине раззадорили, раздразнили его? Случается ведь так – одно слово, произнесенное с намерением или, напротив, ненароком, производит поворот в мыслях и желаниях. В особенности когда натура к этому повороту оказывается подготовленной.

Действительно, с весны у Шубникова не случалось лирических приключений. И действительно, выглядел теперь Шубников плейбоем, денди и художником, к нему, как непременно после творческих терзаний и отборов написал бы Игорь Борисович Каштанов, приковывался женский взор. Но без толку приковывался. Шубников весь был в делах, в познании человечества и себя, во вселенской сосредоточенности. Но вдруг Бурлакин был прав? Стремление сжечь себя ради Останкина вовсе не отвергало женщину как подругу или сподвижницу. Почему не быть при нем своей

Аспазии? «При чем тут Аспазия? – подумал Шубников. – Кто такая Аспазия? Где, при ком она была?» Этого он не помнил, но имя Аспазия – светилось. Отчего же и не Аспазия? Была ли такая Аспазия в Останкине, в Ростокине, в Свиблове, в Медведкове, на Сретенке, во всей Москве? Может, и была, но как ее обнаружить и привлечь? Прежде и при своих очках, посредственном росте, вздорном носе провинциального простака Шубников в отношениях с женщинами был шустр и удачлив. Но какие ему выпадали женщины? С кем находил он утехи? С той же Юноной Кирпичеевой, с той же медсестрой районной поликлиники Анечкой Бороздиной, увлекшейся затем закройщиком Цурюковым! Об этих Юнонах и Анечках стыдно было вспоминать. Они ни в какие, даже и в самые незрелые, эпохи не годились в Аспазии. Хотя и были по-своему милы… Отчего теперь волновала Шубникова мысль о женщине, заинтересованной в уроках Высшего Света с погружением? Может, в ее приходе случилась подсказка судьбы? Однако, если эта женщина когда-то посещала аптеку на Цандера, она могла знать и Михаила Никифоровича… «Ну и что? Ну и что? – сказал себе Шубников. – Ну пусть и знала!» Впрочем, что думать именно о ней! Ведь он мог сейчас призвать и осчастливить и самую редкую женщину. Мог – сам и без помощи Любови Николаевны… Какая уж в этом деле помощь Любови Николаевны!..

Но ведь Любовь Николаевна была и красивая женщина! Михаил Никифорович вызывал неприязнь Шубникова еще и потому, что у них с Любовью Николаевной что-то произошло. Михаил Никифорович был ей небезразличен; хорош, нехорош – не важно, но не безразличен. Это Шубникова огорчало. Зависть ли, ревность ли окрашивали огорчение Шубникова. И особое отношение Любови Николаевны к аптекарю мешало ему. Но отчего он, Шубников, не мог оказаться любезен Любови Николаевне? Стоило ли искать Аспазию в Свиблове или Медведкове, не следовало ли предпринять попытку увлечь Любовь Николаевну? Или хотя бы остудить ее чувства к Михаилу Никифоровичу? Может, и вытеснить его из фаворитов?..

Тут Шубников чуть ли не рассмеялся иронически. Это Михаил-то Никифорович – фаворит! Хороши, стало быть, нынче в Останкине фавориты! Если такие, как Михаил Никифорович, попали «в случай», то почему бы не стать фаворитом ему, Шубникову? Теперь он более других в Останкине был достоин этого.

На стене, на экране, возникла физиономия Ольгерда Денисовича Голушкина. Шубников включил звук.

– Явилась старуха, – сказал Голушкин, – с ковровой дорожкой и двумя

безрукавками козлиного меха. Потребовала принять на сохранение. Ей объяснили: здесь не ломбард. Она скандалит.

– Скандалит… – на секунду озаботился Шубников, но сразу же опять и воодушевился: – Старуха – молодец! Почему и не ломбард? Примите ковер, безрукавки и выплатите! Заведем и ломбард! Сдавать станут не одни лишь ковры и козьи меха, натуры закладывать будут! А мы их улучшим!

– Я вас понял, – сказал Голушкин. – Я и сам так рассудил. Получены сведения о женщине, заказавшей уроки Высшего Света с погружением. Тамара Семеновна Каретникова, учительница географии, муж ее – районный архитектор, когда-то проживала в Останкине, прежний муж и теперь прописан здесь, кстати, он перед нами провинился, разрезав узел упаковки, и еще не компенсировал порчу, это некий Михаил Никифорович Стрельцов…

– Спасибо, – сухо сказал Шубников.

– Сама же Тамара Семеновна Каретникова…

– Спасибо. Я оценил ваши старания, – сказал Шубников и погасил экран.

Исчезнувший со стены Голушкин, надо полагать, обиделся, но пусть и соображает, капризно подумал Шубников, что расторопность расторопностью, а и следует догадываться о том, какие сведения могут оказаться для него, Шубникова, неприятными. Но почему неприятными? Что скверного в том, что какая-то Тамара Семеновна Каретникова была когда-то супругой какого-то Михаила Никифоровича Стрельцова? Отчего было расстраиваться? От знака, объяснил себе Шубников. От совпадения, в котором явно был знак.

Никаких женщин, сейчас же вышло постановление. Никаких Астазий! А коли востребует организм, утоление ему дадут Юноны Кирпичеевы и Анечки Бороздины. Но сейчас, в разгаре дел, организм должен был оказаться выше и не востребовать низменного. Любовь Николаевна и впредь обязана была оставаться для него лишь подсобным средством, но не женщиной.

Ломбард! Да, ломбард! Шубников встал из-за стола, направился к складу, надутому ребристому дирижаблю, усаженному возле ветеринарной лечебницы. И лечебницу следовало присоединить к Центру проката. А за ней, на спуске к Звездному бульвару, можно было уместить и ломбард. Начать его с палатки для старухиных мехов и ковровой дорожки, а потом произвести в палату. «Стоп! – сказал себе Шубников. – Палата? Чертог? Нет, чертог – не для нас. Палата. Почему бы и не Палата? Палата услуг…» Слово «ищущая» Шубников был намерен оставить. Для бумаг и

объяснений. Но в слове этом ощущались претензия и просительность. А останкинская Палата услуг ни о чем не должна была просить. Шубников вернулся в кабинет и пригласил директора Голушкина. Он извинился перед Голушкиным, объяснив, что разговор с ним прервал из-за того, что его посетила мысль.

– Думаю, что директор Палаты, – сказал Шубников, – получать станет не менее трехсот пятидесяти…

– Зачем Палата? – засомневался Голушкин. – Надо сразу Комбинат. Или Трест.

– Когда вы научитесь мыслить образами? – рассердился Шубников. – Или вы не для нас? Можете идти!

– Я здесь директор! А вы неизвестно кто. Я вас уволю! – вскричал Голушкин.

– Суд рассмеется, – устало и брезгливо махнул рукой Шубников. – Я же сказал: можете идти!

Доверяешь любому идиоту, думал Шубников, надеешься, что он расцветет, из вытертого сальными головами полотна обоев превратится в пикардийский гобелен, но возможно ли такое превращение? Раздраженный Шубников вышел из кабинета. Тогда он и столкнулся со мной. Я глазел на табло с текстами Каштанова.

– Автор у вас не совсем грамотный, – сказал я, – следовало бы его и править…

– У нас никто никого, – гордо заявил Шубников, – не должен править. – И спросил: – Чем могу быть полезен?

– Миллионами услуг, – сказал я. – Тут, говорят, и меня упоминали в числе ваших сотрудников.

– Безответственные болтуны есть повсюду. Но предложение мы были намерены тебе сделать. Вот наши условия…

– Не надо условий, – сказал я. – А имя мое в числе своих прошу не называть.

– Это досадно.

– Ну да, – кивнул я. – Мои четыре копейки…

– Это досадно, – повторил Шубников. – Мы делаем, а нас ненавидят. Мы ищем, а нас не понимают. Потом станет стыдно и будут просить прощения.

– Даже так? – взглянул я на Шубникова. – Но ведь вы не из тех, кто прощает.

– Досадно. Обидно, – сказал Шубников и ушел.

«Новая форма услуг! Переселение душ! – увидел я на табло. – А также

подселение душ! Домашние гуру! Домашние гуру! Подробности в ближайшие дни. Следите за табло!»

А Шубников в коридоре увидел подсобного рабочего Валентина Федоровича Зотова, стряхивавшего чужие табачные крошки с черного халата. «Черные халаты нехороши, нехороши! – подумал Шубников. – В них банальное неприличие нестираных халатов грузчиков винных отделов». Свой халат с серебряной застежкой Шубников носил как рыцарский плащ, был им доволен, но теперь, рассмотрев со вниманием дядю Валю, понял, что и его плащ убог. На улице Цандера полагалось носить специальные одежды, какие упрочили бы доверие к Палате услуг и вызвали бы разговоры в Москве. Шубникову вспомнилась легенда, гулявшая по вгиковским коридорам, об удивительных спецовках Хичкока. Какую-то куртку надевал на съемках Хичкок с собственной фамилией на спине и какой-то немыслимый картуз с пуленепробиваемым, что ли, козырьком, и всякие жути и чудеса с привидениями потом колыхались на экранах. Московские модельеры обязаны были посрамить Хичкока, следовало их немедленно призвать и вовлечь. Да что одни московские! Были ведь и прочие Кардены, и Нины Риччи, и Сен-Лораны, и, наконец, Кензо у восходящего солнца! Любовь Николаевна, лукаво полагал Шубников, не могла бы не пойти навстречу тяге Палаты услуг к достойной и красивой одежде и самого Шубникова одарила бы костюмом, пристойным творцу и мужчине, при виде которого вздрогнула бы и Тамара Семеновна Каретникова. «Опять Каретникова! – осерчал на себя Шубников. – Это уж глупо. И не видел я эту Каретникову. А она, скорее всего, и дура, и страшна. Да и какая могла быть жена у аптекаря!» И Шубников возвратил мысли к московским и заштатным модельерам. Халаты, несомненно, были нехороши.

– Да, – сказал дядя Валя, – дрянные халаты в службе быта, а на них еще табак сыпят.

– У нас, Валентин Федорович, – сказал Шубников, – не служба быта, а нечто несравненно высшее. Халаты же пойдут на тряпки для мытья стекол. Всем будет создана новая форма.

– Преображенского полка, – согласился дядя Валя. – Драгун украсят конскими хвостами.

– Какого Преображенского полка? – удивился Шубников. – Какие драгуны с конскими хвостами?

– Я пошутил, – покорно, будто испугавшись чего-то, произнес дядя Валя. – Школу вспомнил… Стихотворение…

– Однако… Преображенского полка… – задумался Шубников. – И с

конскими хвостами. Это, конечно…

Шубников был доволен тем, что возле дяди Вали его посетили соображения о необходимости переодеть и переобуть Палату услуг, а может, и дать ей новую сценографию, чтобы она отличалась от прежнего нищего пункта проката, как горный курорт Шамони, где Шубников, правда, не был и куда его не звали, от зимовья охотников за соболями. Но ему хотелось услышать теперь слова одобрения от Валентина Федоровича Зотова.

– У вас, Валентин Федорович, – спросил Шубников, – есть ко мне какие-либо предложения? Или вопросы? Или претензии?

– Нет, – сказал дядя Валя.

И тут он взглянул в глаза Шубникову, и Шубников ощутил во взгляде дяди Вали дерзость, обиду и тоску.

– Я вас не понимаю, – искренне сказал Шубников. – Вы получили то, о чем не смели и мечтать. И к чему шли всю жизнь.

– Вышел обман, – сказал дядя Валя. – Я ли в себе обманулся, меня ли ввели в соблазн – не важно.

– Вы ведь, Валентин Федорович, этак можете и обидеть.

– Чем это я могу теперь обидеть? За все спасибо. Премного благодарен. Не извольте беспокоиться. Пребываю преданным вам рабом. С нижайшим поклоном… – И дядя Валя раскланялся перед Шубниковым.

– Валентин Федорович, – хмуро сказал Шубников, – вы сейчас дурачитесь. Это нехорошо.

– А вот я возьму и удалюсь от вас, – сказал дядя Валя.

– Никуда вы не удалитесь! – выговорил, свирепея, Шубников. – Вы вот здесь у нас! А если в Останкине узнают о вашей тайной страсти, ныне утоленной, о вашем бункере, вам тяжко будет!

– Если ты что-нибудь еще вымолвишь про бункер, – зло сказал дядя Валя, – я тебя изувечу!

– Вы забываетесь! – вскипел Шубников. – Мы вас вышвырнем!

– Я и сам удалюсь, – печально сказал дядя Валя и коридором поплелся к выходу из служебных помещений.

«Каковы! Каковы! Неблагодарные! Блуждающие в потемках!» – говорил себе Шубников в метаниях по кабинету. Михаил Никифорович, Бурлакин, директор Голушкин, писака со 2-й Новоостанкинской (я). И теперь Валентин Федорович Зотов. Да, возле него Шубников остановился в надежде, что после сегодняшних слов непонимания, сомнений, дерзости он услышит или почувствует нечто, что его поощрит и подвигнет к делам дальнейшим. Но и дядя Валя оказался недоволен, недальновиден. Мразь!

Чернь! Никчемные люди! Рожденные ползать! «Куртизаны! Исчадье порока!.. Вы в разврате погрязли глубоко!» – вспомнились сейчас же Шубникову обличения несчастного шута мантуанского двора.

То в негодовании пребывал Шубников, то в отчаянии и обиде. Но какой буревой силы и ниагарьей мощи были эти негодования, отчаяние, обида! Если бы судьба человеческая распорядилась сейчас выпустить Шубникова на сцену, не каждая сцена оказалась бы достойной его, пришлось бы ему отдавать площадку театра Стратфорда-он-Эйвона или сцену в Афинах, чьи камни исходили герои отцов трагедии. Да, трагиком жизни ощущал себя теперь Шубников. То он был намерен пересилить заблуждения и ложные заботы сытой самоуспокоенной толпы и повести ее к высям. То готов был утихнуть, замереть, уйти в горы или в неизвестные никому пещеры, покинуть ограниченных, жалких людей и хотя бы уходом своим расшевелить, устыдить неблагодарных никчемностей. И в том и в другом виделась сладость. И жертвенный порыв и гордые слезы одиночества в пустыне мироздания могли принести усладу. Однако произнести: «Ах так, ну и живите как хотите, но без меня!» – никогда не поздно. Шубников убеждал себя в том, что уйти от бурь было бы теперь стыдно, это про таких, как он, сказано поэтом: «Горит наша алая кровь…» – и далее по тексту, а инерцию сытости и спокойствия, недальновидности в людях следует устранять с терпением и состраданием.

Попросил выслушать его директор Голушкин.

– С управленческим модулем решено, – сообщил он с экрана. – Покончим с коридорной теснотой.

– Хорошо, – сказал Шубников. – Только не надо называть модуль управленческим. Слово канцелярское. Мы же люди творческие, свободного поиска.

– Может быть, и слово «директор» несовместимо с поиском? – чуть ли не обиженно спросил Голушкин.

– Совместимо, – успокоил его Шубников. – И сочетание «директор Палаты услуг» совместимо пока с фамилией Голушкин.

– Корпус модуля и оболочка из сплавов, что идут в небеса. Выбили с трудом.

– Труд будет оценен, – сказал Шубников.

– Модуль поставим между складом и ломбардом.

– Завтра и ставьте.

– Завтра? – озадачился Голушкин. – Но его еще нет…

– Завтра и ставьте, – повторил Шубников и погасил экран.

«Ну вот, – подумал он растроганно, – порычал, посупротивился, а

делает, понял…» Досада на Голушкина стала теперь казаться напрасной. Да и нужны ли ему, Шубникову, механические исполнители? Пусть рычат и ворчат, пусть спорят, пусть злятся, а потом-то поймут и сделают как свое. И Бурлакин поймет и успокоится, он – при всех своих сомнениях – верный спутник в странствиях души. И Михаил Никифорович не столь недальновиден и безнадежен, как кажется, и дядя Валя, достойный, кстати, и сочувствия, и Мардарий, и прочие останкинские и сретенские жители.

Шубников тут же предложил Бурлакину насытить Палату услуг и завтрашний модуль техникой.

– Хорошо, – сказал Бурлакин. – А бумаг здесь более не будет. И тем более урн для бумаг.

– Но… – неуверенно начал Шубников, а вспомнив о своей «Записке» и предполагаемой поучительной для людей книге, сказал категорично: – Бумаги здесь будут. Не канцелярские, а документы духа и истории. Новые цивилизации, возможно, обойдутся без бумаги. Культура же всегда пребудет с бумагой.

В воодушевлении находился теперь Шубников. Ему были нужны зрители и слушатели. Люди для него новые. Хотя бы из посетителей Палаты услуг. «Женщину тебе надо завести! – прозвучало в Шубникове. – Женщину! И скорее!..» Голос взывал к нему чужой. Не его, Шубникова, и не Бурлакина. Незнакомый был голос. И не внутренний. «Это от бессонниц», – успокоил себя Шубников.

Он пригласил на экран директора Голушкина.

– Ольгерд Денисович, – спросил Шубников, – нет ли клиентов или заказчиков, у каких была бы нужда в разговоре со мной?

– Есть пара, – сказал Голушкин. – Рвутся. Супруги Лошаки.

– Кто такие? – спросил Шубников.

– Пожилые. Бывалые. Заслуженные, – объяснил Голушкин. – На вид – воспитанные. Но с запросами.

– Приглашайте ко мне Лошаков, – сказал Шубников. – Или нет. Я сам выйду к ним. Но пусть нам никто не мешает.

Вряд ли вы помните Лошаков. А супруги Лошаки появлялись в аптеке Михаила Никифоровича, иногда и досаждали ему. Жили они вовсе не в Останкине, но молва о здешней Палате услуг, как известно, взбудоражила Москву. Они вели себя смирно, льстили Голушкину, и тот посчитал, что именно Лошаки доставят художественному руководителю удовольствие. Шубников прошел в зимний сад и уселся на скамью из черного туфа возле бассейна с ленивыми китайскими золотыми рыбами, а Лошакам предложил расположиться на туфовой же скамье напротив. Лошаки сразу же забыли о

стеснительности, они уселись бы и без приглашений.

– Вот, уважаемый Виктор Александрович, не обслуживают. Наведите порядок, – сказал Лошак-муж и протянул Шубникову бумагу. Это был рецепт.

– Сандратол югославского производства по швейцарской лицензии, – объяснила Лошак-жена.

Шубников был важен, ему бы послать этих Лошаков по известным адресам, а он в великодушных раздумьях просвещенного вельможи держал рецепт перед глазами.

– У нас порядок есть, он наведен, – улыбнулся Шубников. – Но сандратола нет.

– Тогда вот эти, по списку, – заспешил Лошак и вынудил Шубникова взять новую бумажку.

На ней выстроились под номерами наглые, беспокойные медицинские слова.

– У нас и этого нет, – опять улыбнулся Шубников. – И не должно быть.

– Почему? – удивился Лошак, но так удивился, будто протестовал и гневался.

– У нас не аптека, – стал успокаивать его Шубников. – Вы зайдите в аптеки.

– Мы были во всех аптеках! – возмущенно заявила Лошак-жена. – Нам говорят: нет. Или говорят: есть аналог, но харьковского производства.

– И что же, – поинтересовался Шубников, – без сандратола по этой швейцарской лицензии вам или вашим близким грозит гибель?

– Нет! – сказали Лошаки. – Но надо иметь совесть!

Далее было сообщено, что все же есть аптеки, в которых может объявиться все, что перечислялось в списке.

– Вот вы туда и сходите, – посоветовал Шубников.

– Ха! – Лошаки смотрели на него как на идиота и бесстыжего издевателя. – В те аптеки надо быть прикрепленными!

И сейчас же последовал заказ Палате услуг прикрепить их, Лошаков, к четырем аптекам, чьи адреса и номера указывались, и еще к каким-то учреждениям, конторам, в коих, в частности, имелись грецкие орехи и ростовский рыбец.

– Это не в наших возможностях, – покачал головой Шубников.

Он растерялся. Лошаки галдели, напирали, настаивали, а он не мог найти ответных слов. В каком возрасте пребывали Лошаки, определению не поддавалось. Они были живые, с хорошими зубами, пожалуй, и не

фарфоровыми, быстрые в словах и движениях. Но, возможно, Лошаки ходили в гимназию при сражениях Куропаткина. Хотя вряд ли они получили гимназическое воспитание. Высоченный Лошак седым кучерявым чубом танцора кадрили и широким сильным носом должен был скорее заслужить фамилию Лось. Дама же походила на супругу Барсука. «Я их долго не выдержу, – повторял про себя Шубников, – не выдержу».

– Раз вы объявили себя Палатой услуг, – заорал Лошак, – значит, вы наши слуги! И извольте служить!

– Неужели вы при вашем напоре, – спросил Шубников без всякого притворства, – никуда не прикрепленные?

Супруга Лошака посчитала вопрос Шубникова проломом в казанских стенах и бросила на штурм конницу:

– Да, уж прикрепите, прикрепите нас!

И в руках Шубникова оказался новый список с заявкой Палате услуг на прикрепление.

– Вот что, – сказал Шубников, заставив наконец себя встать, – Палата услуг создана для того, чтобы помочь жить людям лучше и самим стать лучше. Вы же намерены с нашей помощью жить легче. Это нехорошо. Вы и сейчас ведете себя нескромно и крикливо. Зайдите через два дня.

– Через два дня! – раскинула руки Лошак-жена.

– Через два дня, – надменно сказал Шубников. – И не ко мне. А обратитесь в седьмое окно.

Он уже не видел Лошаков и не желал помнить о них, но его догнали слова дамы Лошак:

– И что ждать от них? Если у них художник-руководитель такой плюгавый мужичонка!

«Услуги! Слуги! Извольте служить! Ах вы твари лошачьи! Не будет никаких слуг и услуг! Все отменим и прекратим!»

Немедленной отмене всего помешало появление Голушкина в кабинете.

– Две трети окулиста, – сказал Голушкин.

– Что? – не понял Шубников.

– Две трети окулиста, – сказал Голицын. – Такая заявка!

– Сейчас мне не нужны остроты!

– Да помилуйте, какие остроты! – обеспокоился Голушкин. – Такая заявка. Я и сам не знаю, что предпринять…

Оказывается, новую поликлинику в Бибиреве по штатному расписанию оделили третью окулиста, теперь главный врач просил две трети окулиста хотя бы на полтора месяца, пока не отладят штатное

расписание.

– Выдайте им две трети окулиста! – приказал Шубников в раздражении.

– Да вы что, Виктор Александрович! – Брови Голушкина уползли к небу. – Откуда же я их возьму? Да и что это такое – две трети окулиста?

– Мне наплевать на то, что это такое! Выдайте, и все! Возьмите из моего резерва. Перешлите указание на Кашенкин луг!

– Слушаюсь! – сказал Голушкин испуганно и исчез.

Не упоминание ли Кашенкина луга напугало его?

«Ах вы твари! – не переставал думать Шубников о разговоре в зимнем саду. – Обнаглели! Еще и „плюгавый мужичонка!“, „извольте служить!“. Да пошло бы все в тартарары! Он тотчас удалится в горы! В сырую, с летучими мышами келью отшельника!

Одновременно с этими соображениями являлись Шубникову и слова, извлеченные Каштановым три дня назад из мудростей Даля. Услуживать значило оказывать услуги, помощь, угождение, приносить пользу. С услугами в названии как с подачкой идиотам следовало покончить. Примеривались Шубниковым иные слова. Шире, мощнее будет – Палата Останкинских Польз. Может быть, Палата Останкинских Общественных Польз? Определение «общественных» показалось казенным, от него пахло сукном и хромовым сапогом, и Шубников решил завтра же объявить, что теперь на Цандера будет размещаться Палата Останкинских Польз.

Тем временем невдалеке от Шубникова возник скандал. Опять вынуждали угождать и служить. Скандалил закройщик Цурюков. Полчаса назад он звонил, требовал, чтобы заявку у него приняли на дому и устроили ему сейчас же низменное развлечение, а с завтрашнего утра в постель приносили кофе с ликером. Цурюкову объяснили, что он пьян, и предложили перестать куролесить. Но совершенно трезвый Цурюков прибежал на Цандера, кричал, опять требовал низменных развлечений, но без женщин, от них он устал, каких именно низменных – на это у него не хватало знаний, он полагал, что Палата услуг и сама обязана определить степень и характер его личной низменности. Шубников поначалу подумал, что Цурюков оттого, что его не пригласили на Цандера сотрудничать, обиделся и выламывается. Но из слов Цурюкова выходило, что он и не унизился бы до сотрудничества с людьми, взявшимися гуталинить Останкину туфли и вытирать сопли. Шубников и прежде Цурюкова, этого наглого блондина нордического характера, считал мелочью. Он вывел его в своей «Записке», но вывел, основываясь на игре воображения. Неуважение к Цурюкову было вызвано отчасти и тем, что брюки он пошил ему

отвратительные. Однако в «Записке» Шубников не объявлял Цурюкова окончательно погибшим. И вот каков оказался неблагодарный Цурюков! Два холодноглазых молодца и женщины в кимоно выдворили Цурюкова, тот кричал, что происходит обман и крушение иллюзий, и просил освободить его из лап опричников и опричниц.

Тогда и Шубников покинул здание на улице Цандера. Покинул, как он полагал, навсегда. Уходя бросил директору Голушкину горькие слова о несовершенстве и непонимании его, Шубникова, души. А может быть, и вредительский умысел был у бывшего гардеробщика и эксперта, коли он направил ему на собеседование именно супругов Лошаков. Если это так, то пусть ему потом будет стыдно. Впрочем, он прощает Голушкину и несовершенство и вредительский умысел, потому как все прощает всем. И удаляется. Бедный, простодушный он человек! Недостойными Палаты Останкинских Польз выходили здешняя местность и ее люди!

Мокрый снег догонял Шубникова, бил в спину, залетал за шиворот, он был хорош сейчас для Шубникова, страдальца и изгнанника. «Мне бесконечно жаль моих несбывшихся мечтаний, и только боль воспоминаний…» Фу-ты, гадость какая, отчего ожили в нем пошлые слова из динамиков танцевальной веранды, где он служил затейником, не указанием ли на то, что там ему и место? Нет, Шубникову сейчас был нужен Байрон. Или Шиллер. Или Бетховен. Или пусть бы зазвучал «Полет валькирий»!

Шубникову показалось, что он и зазвучал…

*

Ротан Мардарий не спал. Стоял в коридоре, шелковый платок Шубникова повязав с претензией на причастность к цеху артистов. «Это еще что?» – удивился Шубников.

Мардарий, оценив состояние хозяина и воспитателя, молча стянул с себя платок, церемонно положил его на вешалку и скрылся в ванной. «Он что? – с тревогой подумал Шубников. – Иронизирует надо мной? Разыгрывает пародиста?» Следовало разобраться с Мардарием. Однако заходить в ванную Шубников не стал.

Вот он, стало быть, каким видится людям. Слуга. Плюгавый мужичонка. Не рыцарь, не вдохновенный провидец и проводник в

совершенство, не светоч, себя сжигающий, а будто половой в трактире, халдей с полотенцем, от которого ждут лишь угождений и севрюгу по-монастырски на подносе. Не дождутся! Слюной истекут и не дождутся! Все. Нынче – перелом. Одоление перевала. Переход через ручей, за которым – просторы великого одиночества кесаря. Сожжение знамен и отмена рескриптов.

Он ошибся в останкинских жителях. Они и те, кто населяет бывшие Мещанские улицы, Свиблово, Медведково, Сретенку, – люди никчемные, не стоящие его любви, страданий и жертв. Твари жалкие, растяпы, попрошайки, погрязшие в пороках вымогатели, все, что делается для них, их не исправит и не улучшит. Лошакам – лошаково. Даже те, кого он был готов произвести в сподвижники и соратники, даже они не поняли его сердца и полета души, даже они утонули в сомнениях, неверии и в предательстве. Никто из них не достоин равенства с его, Шубникова, помыслами, а стало быть, и с ним самим.

Может, теперь его и одарили озарением. Или не так: это озарение выстрадано им. Оно вознесло его на вершину ледяного одиночества.

Шубников подошел к зеркалу. Старуха Лошак была глупа и несправедлива. Шубников отражался в зеркале надменный, великолепный. Такому нечего было делать в толпе. Такому не следовало из горных чистот опускаться на мокрые асфальта Останкина.

Однако правдивый ответ зеркала («Чего-то честное зерцало…» – вспомнилось вдруг Шубникову) дал поворот его настроениям. Шубников не простил останкинских жителей, не перестал их презирать, не угасла брезгливость рыцаря духа к ним. Но в Шубникове стало нарастать предвкушение удовольствий. Он поставит останкинских жителей на колени. Он их укротит, обломает, они руки подымут и дадут слово отказаться от дурных привычек, фрейдистских заблуждений и низменных удовольствий. Он их кнутом погонит на поля и лужайки благонравия, на нивы здравых дел.

Как важен был для него пай Михаила Никифоровича! Как необходима стала вся энергия Любови Николаевны, полностью им покоренная и ему покорная! «А почему? – в азарте подумал Шубников. – А почему бы и нет?!»

Шубников понимал, что рискует. Мыслям его, уж тем более желаниям, объявленным или необъявленным, полагалось сейчас же стать известными Любови Николаевне. Ну и пусть она знает! Пусть знает о всех его желаниях. Пусть знает о том, что он желает ее! Кураж игрока, сладостно знакомый Шубникову, разгорался в нем. Пусть! Пусть Любовь

Николаевна знает, что и ее положение сразу же и волшебно должно перемениться, что она из существ потайных, подпольных, в связях с которыми стыдно и признаться, превратится в блистательную подругу, опору и сподвижницу с чистой легендой и возможностями делать в Москве то, что ей положено судьбой или поручением. В подругу, опору, сподвижницу останкинского Рыцаря, оставаясь, конечно, как было объявлено, и его рабой («И я рабом окажусь, преданным и нежным», – тут же пообещал на всякий случай Шубников, полагая, что Любовь Николаевна воспринимает сейчас его сигналы).

Обещание его вышло отчасти искательным. Не рассмеялась ли сейчас Любовь Николаевна, обеспокоился Шубников. Но если бы и рассмеялась? Все равно он имел основания полагать, что Любовь Николаевна должна была немедленно появиться пред ним, и такая, какой он ее к себе призывал. Не появилась Любовь Николаевна. Не откликнулась и не вняла.

Были ночью мгновения, когда Шубников оправдывал Любовь Николаевну, находил изъяны в своем призыве или позволял себе думать: она отлетела куда-то. Или просто уснула, утомившись. Но и эти объяснения вызвали в конце концов досаду Шубникова. И даже ревность. Он жаждал Любовь Николаевну. Но где она была и с кем? И как позволила себе не слушать его, Шубникова?

Обиды и жалость к себе снова выталкивали Шубникова в черно-синие выси. Сколько людей в скольких историях вминали его в грязь, не давали ему ходу, усаживали в телегу с неудачниками и глумились над ним, и всем им он должен был напомнить о себе и их ничтожестве (и этой дуре, теперь кинозвезде, Тугоморовой, рыло корчившей ему на втором курсе). Шубников и грозил сейчас, что найдет этим уклонявшимся от его призывов закон и управу, был в своих угрозах смел и страстен.

Что-то зашуршало, заскребло в коридоре. Шубников вскочил, бросился в прихожую. Высокомерно ухмыляясь, смотрел на него наглец Мардарий, опять повязавший шелковый платок Шубникова.

– Пошел вон! – истерично крикнул ему Шубников. Поспешил в комнату, уткнулся лицом в подушку. – Не отступлюсь! – шептал он. – Не отступлюсь! Ни от чего не отступлюсь!

Отчего-то на ум ему пришел утренний посетитель Палаты услуг, профессор, то ли Собакин, то ли Мышеловьев, изобретатель беспроволочной колбасы, предлагавший эту колбасу выделки Подольского мясокомбината и попробовать. «Будет Мардарий жевать Мышеловьеву колбасу», – пообещал Шубников и уснул.

44

У фиалок в горшках на подоконниках полнели стебли и листья. А Михаил Никифорович фиалки не поливал.

Пешеходные прогулки, если такие случались, Михаил Никифорович раньше совершал по аллеям Останкинского парка, по эллипсам и лучам Выставки достижений, бродил он и по историческим переулкам Белого и Земляного городов, но никогда ноги не приводили его на Кашенкин луг. А тут дважды привели.

Эскадрильи девушек-лимитчиц, громких, уверенных в своих прелестях и нарядах, пробовали завоевывать по ходу движения и Михаила Никифоровича, но он давал им отпор, впрочем, благодушно: «Да куда мне, я для вас дед…» Но не встретил Михаил Никифорович знакомых. Прогулки на Кашенкин луг Михаил Никифорович себе запретил, а запретив, стал поливать растении в горшках, чтобы ни у кого не складывалось впечатление, что их стебли и листья полнеют, процветают сами по себе или при чьем-то странном присмотре и участии. Михаил Никифорович вознамерился купить и удобрения для цветника на окне.

В автомате на Королева Михаил Никифорович как-то узнал, что на днях Любовь Николаевну видели при художественном руководителе Палаты Останкинских Польз и они друг с другом были любезны. Очевидец любезностей, правда, не присутствовал в автомате, и неизвестно было, кто этот очевидец, однако новость удивления не вызвала. Все снова замолчали и словно бы посерьезнели. Должен сказать, что в те дни в останкинской атмосфере стали возникать как бы напряжения. В такие минуты казалось, что над Останкином ворон кружит. Но эти минуты проходили…

В автомате теперь утоляли жажду жидким ячменным хлебом много новых для улицы Королева людей. Их называли и паломниками. Возможно, это было и не совсем верно. Паломники, пусть и притянутые святыми местами, все же из породы любопытствующих странников. Являлись и такие в Останкино. Но куда больше людей приводили к нам хлопоты и суета. Возникали и озабоченные иностранцы. Выходило, что Палата Останкинских Польз моментально стала известна и на Балеарских островах.

На улице Цандера стояли теперь автобусы телевидения и кинохроники. Ходили слухи, что один из павильонов Выставки с самым изысканным фронтоном будет отведен для передачи опыта достижений

именно Палаты Останкинских Польз. Желающие приобрести хоть бы и крупицы этого опыта являлись из разных местностей и земель к зданию на Цандера. Правда, сразу же растекались по окрестным магазинам, домам обуви, выставочным ярмаркам и салонам разнообразных красот. Но это вначале и по глупости. В каждом автобусе находились или ленивые, или простодушные люди, или те, кому просто поручали стеречь вещи и продукты, они никуда не растекались, а заходили в Палату, и скоро выяснилось, что и не нужно растекаться и стаптывать туфли, а все можно добыть и обеспечить на улицах Цандера и Кондратюка. Разве только введя себя в дополнительные расходы.

И снова приходили ко мне сомнения. Что из того, что мне многое не нравилось или вызывало подозрения в затеях бывших «прокатчиков», а ныне – «пользунов»? А может быть, я их не понимал? Бывало ведь, начнет жена шить себе блузку, платье или костюм, подойдет ко мне, спросит: ну каково, хорошо будет? И предъявляет только рукав, заколотый булавками, вернее, и не сам рукав, а пока лишь идею рукава. Я же проворчу что-то, предположив, что платье или костюм задуманы скверные, жене не к лицу и не к фигуре, потом же, как правило, окажусь посрамленным произведением домашней портнихи и швеи. Не выйдет ли теперь подобным образом с моим отношением к Палате Останкинских Польз? Не станет ли со временем досадно самому: вот, мог сделать нечто полезное, а не сделал? Случается по-всякому. В увлекшей меня книге об Аристотеле Фьорованти я прочел: «Результирующая форма возникла в результате преодоления неоднократно возникавших казусов непонимания или недопонимания с обеих сторон». Может быть, и Любовь Николаевна не знала, какой будет ее и наша «результирующая форма», или предчувствовала ее, а мы, устраняясь, топили дело (даже само предрасположение к делу) в «казусах непонимания». Не это ли происходило теперь?

Однако, как только я услышал о любезностях Шубникова и Любови Николаевны, мои сомнения отлетели. И причиной тут были одни чувства. Ах, значит, они заодно!.. И снова укрепилось во мне упрямство. Пусть я не прав, но мои четыре копейки в помощь им не пойдут. Но чем меня так расстроили сейчас любезности Любови Николаевны и Шубникова? Я и разбирать свои чувства не желал, расстроили, растревожили, и все. Ждать следовало не польз, а лиха…

А Михаил Никифорович сходил на Выставку достижений и там в ларьках купил пакеты с питательными порошками и крупинками для домашних растений. Посыпал ими землю в горшках, но в меру, чтобы не

сжечь фиалки. Он понимал, что, если пойдет в поликлинику и при известном там его недомогании пожалуется на боли, ему обязательно выпишут больничный листок, а то и уложат на койку, да еще и определят капельницу с эссенциале. Он решил перетерпеть боли, не жаловаться, авось пройдут. В его решении был и как бы вызов. Судьбе, химическому заводу-отравителю, ВТЭКам. Еще кое-кому. «Душа – самовластна…» – вспомнилось при этом Михаилу Никифоровичу. Но самовластна ли была сейчас его душа?..

*****

Мардарий начал бродить по Останкину. Об этом говорили как бы шепотом. Да и Мардарий ли это был, уверенно определить никто не брался. Может, и не Мардарий, а некто или нечто из новинок Палаты Останкинских Польз, вышедшее на прогулку. Или за сигаретами. Но потом все утвердились во мнении, что Мардарий. А однажды Мардарий зашел в автомат на Королева, выпил кружку пива. Выпил, не произнес ни звука, взглянул на гордость помещения – чеканку с изображением вяленой, но вымершей рыбы, то ли воблы, то ли хариуса, – высокомерно усмехнулся, забросил изящный конец вязаного шарфа за спину и ушел. Возможно, усмешку его вызвала судьба хариусов и вобл, а возможно, и мы, стоявшие под знаком не вынесшей развития цивилизации и торговли рыбы. Всем стало не по себе. Неприятно стало.

Летчик Герман Молодцов, вернувшийся из полетов, услышал, что таксист Тарабанько по надобности получил в прокат малые реки, и именно малые реки Яранского района Кировской области.

– Они-то хоть рыбные? – спросил Молодцов.

– Не будем говорить об этом! – быстро, нервно сказал Тарабанько. – У каждого есть свои секреты.

А я и потом встречал Мардария на 2-й Новоостанкинской в грязно-серые часы сумерек. Прохаживался Мардарий медленно, ни на кого не глядя, думу думал, а в позе и движениях его было нечто такое, отчего казалось, что все сущее Мардарий презирает и всем брезгует. При этом было в нем что-то невещественное, как у привидений от туманов. Видели Мардария, естественно, и другие останкинские жители и склонялись к мнению, что Мардарий похож на Шубникова. Вроде бы это была чепуха,

однако… Изменения во внешности Шубникова произошли существенные, но не такие, к каким приводит пластическая операция. В нынешнем облагороженном Шубникове проступил Шубников прежний, и думалось, что это мы сами раньше, грешным делом, воспринимали Шубникова как бы в искажении. Мардарий же на наших глазах пропарывал эры, эпохи, стадии, геологические периоды, девоны и мезозои, из какой-то водяной мелочи преобразовывался в степенную особу, расхаживавшую вблизи нас на двух длинных нижних конечностях. Срамил ли он при этом или подтверждал классическую теорию эволюции, не было времени разобраться. Но разве можно было сравнить красивую голову Шубникова с башкой Мардария? И, однако, приходили мысли о сходстве Мардария и Шубникова! Не поймешь отчего, но приходили. Кто-то высказал соображение, что Мардарий этот – мнимый, скорее всего, сам Шубников превращается в Мардария и бродит по Останкину с пока неясными нам, но далеко идущими целями. Соображение было признано глупостью. Но сколько соображений, признанных глупостями, оказывались потом верными.

Впрочем, прогулки Мардария были пустяками в сравнении с разворотом дел Палаты Останкинских Польз. О всех делах мы, естественно, не знали, но выстраивали предположения. Раз таксист Тарабанько при скромности его средств и интересов получил в прокат малые реки Яранского района, то можно было вообразить, какие приобретения случались у людей, чьи интересы и средства были нескромными. Выходило, что и закройщик Цурюков в конце концов испытал низменные удовольствия. Но опять же Цурюков – мелочь. К тому же он быстро утомился, захандрил, оказалось, что он и не готов к большому ряду удовольствий, а только хорохорился. Но столько являлось на улицу Цандера людей неугомонных, неизбыточных, неуспокоенных, жаждущих, с воображениями и страстями. Да что просто людей! Прибывали сюда представители самых разных предприятий, контор, театров, автоколонн, трамвайных остановок, колхозных рынков, учебных заведений и прочего. Услуги часто исполнялись штучные, с соблюдением (при желании клиента) тайны заказа. Потому и не обо всех услугах было известно. Но оставались услуги и для всех открытые. Доктор Шполянов встречался мне отощавший, с растормошенными усами, в сандалиях на босу ногу – и это при снеге, – меня он почти не узнавал, на разговоры у него не хватало сил, но, значит, наемных котов приглашали в квартиры и учреждения, а возможно, на крыши и в подъезды. Ходил ли он в свою клинику или вовсе перебрался в Палату, я не спрашивал. Можно было

догадаться, что доктор Шполянов, как и Петр Иванович Дробный, оказывает населению важные услуги, но вряд ли это были услуги планетарного значения. А вот когда Палата Останкинских Польз давала в прокат учреждению в Гнездниковском переулке свежайшие фильмы для показа на ривьерных фестивалях и сразу же Гран-при к ним, либо тулупы-невидимки резервным отарам овец в миллионы голов на альпийских джайляу, либо снимала тень с обратной стороны Луны по просьбе двух отдыхающих магаданцев, тут уж было к чему отнестись с интересом.

Однажды Филимон объявил, что Варвара становится все варваристей и варваристей. Ему возразили, сказали, что Любовь Николаевна не слишком плоха и опасна, а собой и просто хороша, на что Филимон ответил расстроенно:

– Эх вы! Покусились! Все вы теперь пусть и втайне, но рассчитываете на выгоды от нее.

Укор Филимона, похоже, никого не смутил.

– Люди мелочны и корыстны! – пришел к выводу Филимон.

Вечером у овощного магазина я повстречал дядю Валю.

– Ну как, Валентин Федорович, – легкомысленно поинтересовался я, – дела в вашем бункере?

– Что ты знаешь о бункере? – спросил дядя Валя с отчаянием. – Что?.. Отойдем отсюда!

– Да что вы, Валентин Федорович, что с вами? – теперь обеспокоился я. – Так, шутят в автомате о каком-то бункере. – И добавил, чтобы совсем прекратить собеседование на неприятную тему: – Говорят, у вас новую форму ввели.

– Ввели. Три комплекта, – вяло сказал дядя Валя. – Один с памятью о Преображенском полке. Второй – из звездных фантазий. Третий – рабочий, как его… забыл…

– Деньги за них будут вычитать из зарплаты?

– Нет. Они – собственность Палаты. Выдаются лишь в производительное время.

– С памятью о Преображенском полке – это для потешных парадов, что ли?

– Не шути. С ними теперь не шути, – сказал дядя Валя. – И не ссорься теперь с ними… А Преображенский комплект – для оказания антикварных услуг. В частности.

– Когда же вам положен чрезвычайный костюм?

– Послезавтра. Комбинезон со звездными мотивами.

– И во сколько произойдет церемония, ради которой вам назначены

звездные мотивы?

– Почему церемония? Оформление услуги. В два часа.

– Услуга особо важная?

– Выдача колесного парохода «Стефан Баторий», – сказал дядя Валя. – Важная или не важная – не мне знать.

– Почему же это не вам знать! – возмутился я. – Ваш пай не слабее пая этого самого художественного руководителя. Отчего вы полезли в маленькие люди? А что весной и летом говорили нам и Любови Николаевне, вы не помните?

– И не хочу помнить, – тихо сказал дядя Валя. – Я всего достиг. Достиг совершенства. Я утолил страсти. Я получил все.

Возможно, в подобной усыпляющей тональности произносили про себя уверения сторонники психологических тренировок.

– Словом, вам хорошо, – предположил я.

– Мне плохо, – закрыл глаза дядя Валя. – Я в прорубь нырну. Или с башни спрыгну.

– Но что же вы…

– Оставь меня, – попросил дядя Валя. Было ощущение, что у Валентина Федоровича не хватит сил донести домой сумку с капустой и морковью.

45

Через день без четверти два я встал из-за стола и пошел на улицу Цандера. И вот что я увидел: народ стремился к Палате Останкинских Польз. Шел и ехал. В служебное, кстати, время. Высаживали на углу Кондратюка путников лимузины с дипломатическими номерами, а сами отъезжали в поисках доступных стоянок. Уже на подходах к дому Шубникова привратники Палаты в костюмах, напомнивших о порохе Полтавы и Очакова, четверо из них имели и скунсовые шапки с конскими хвостами, приветствовали иностранных граждан, дипломатов и коммерсантов (один из них двигался с табличкой «Банко ди Рома», что возле ТЮЗа»), возможно, впрочем, и прохиндеев. А многие на Цандера производили впечатление обычных московских зевак. Но разве могут быть не симпатичны наши простодушные ротозеи? Правда, это они сейчас зеваки, а потом как пойдут по воду да поймают в проруби щуку! Хотя что было вспоминать о щуке именно сегодня? И опять же прибывало к Палате немало людей с ожиданием в глазах: и нам достанется! Или: а вдруг разверзнется – и мы увидим?

Было известно, что на Цандера и Кондратюка возникли строения ломбарда, складов, депозитария имени Третьяковской галереи, просмотровых залов, управленческого модуля, еще чего-то, но народ давился у дверей исторической части Палаты, прежнего пункта проката. А для этой реликвии и двадцати гостей было достаточно. Но вмещались! Вмещались! И я вместился. Вместе с толпой внесло меня в огромный зал с поднебесным куполом, где можно было подвешивать маятник Фуко и убеждать в правоте Галилея и Коперника упрямцев, каких не тронули еще доказательства Исаакиевского собора. Да что маятник Фуко! Тут и вертолеты, казалось, могли блуждать от стены в стене.

Среди людей, преимущественно мне незнакомых, я не обнаружил Михаила Никифоровича. Добкина со Спасским обнаружил, а его нет. «Кто-то ведь на днях собирался занять у Добкина семьсот рублей, – вспомнил я, – а ему сказали, что Добкин на Каймановых островах. Но вот же он, Добкин-то…» Я хотел было подойти к Добкину, сказать ему про Каймановы острова и семьсот рублей, но тут и разверзлось. То есть где-то под куполом куранты, сначала зашипев, пробили два часа. И сразу же в толпе произошло стеснение, возник коридор, устроенный усилиями хладноглазых служителей в робах с космическими мотивами, со

множеством каких-то блестящих заклепок, «молний», ремней, но без скафандров. В уважаемом месте, где маятник Фуко мог бы успокаиваться на ночь, образовался стол для подписаний с моделью колесного парохода «Стефан Баторий» на коричневом сукне. И модель была хороша, а уж каков стоял сейчас где-то в затоне сам красавец «Стефан Баторий»! На экране, слетевшем из-под купола, проявилось изображение документа из трех обрывков, на них виднелись черные и киноварные кресты, крючки, буквицы, нескладные рисунки четырех камней, козы и лука с натянутой тетивой. «План клада… – пронеслось в зале, – клада… клада…» Коза была несомненно самарская, а в луке с тетивой я сразу же угадал Жигули. И тотчас к столу со «Стефаном Баторием» проследовали участники подписания, люди, по всему видно, деловые и горящие нетерпением. Один из них был Шубников, во фраке и при белой бабочке, двое – явно из Палаты Польз, в черных художнических куртках с номерами на спинах (№ 1 и № 14) и фамилиями («Голушкин» и «Ладошин»). Четвертый же, в широких штанах, важный, привыкший выказывать себя барином, отчего-то сбивался с ноги и облизывал губы – наверное, был с нежной дутой и конфузился.

Голушкин, № 1, и человек в широких штанах уселись за стол, им предстояло подписывать. Человек в широких штанах начал перечитывать бумагу, наверное, ему известную. Что-то его будто расстроило, он стал тыкать пальцем в текст, затем левая его рука потянулась к модели колесного парохода, а правая открыла серьезный портфель. Палец указывал на какие-то подробности «Стефана Батория», возможно, несовершенные. Голушкин, вероятно, отстаивал достоинства «Батория». Но по движениям Ладошина, № 14, очевидно, секретаря, по его озабоченным взглядам можно было понять, что в церемониале подписания происходит заминка. Шубникова не тронули озабоченные взгляды, он был и здесь и над всеми, стоял, выдвинув левую ногу вперед и скрестив руки на груди, смотрел на пустоту жизни глазами всесильного, глумливого и утомленного гордеца. Впрочем, судя по скульптурным изображениям, сходные позы принимали некоторые адмиралы и просветители, а потому мои мысли относительно гордеца могли оказаться и ложными. Вдруг человек в широких штанах вскочил. Хладноглазые молодцы напряглись, некоторые из них бросали пулевые взгляды в толпу, отыскивая сторонников человека в широких штанах или же недоброжелателей Шубникова. И Шубников, похоже, огорчился, оглянулся дважды. А человек в широких штанах захлопнул портфель и, гордый, двинулся от стола, давая понять, что подписание не состоится.

И тогда ворвалась в зал Любовь Николаевна.

Человека в широких штанах столб воздуха или столб света остановил вмерзшим в пространство с прижатым к животу портфелем. В движениях, во взглядах, в линиях, в музыке Любови Николаевны было нечто, что заставляло думать: она пришла не на помощь, не экстренной пособницей, а была вынуждена где-то задержаться и просит извинить ее, но все это не важно, а важно то, что она теперь с нами, а мы – с ней и от этого и ей и нам должно быть хорошо и светло. Я сказал: в музыке Любови Николаевны. Я несомненно слышал в те мгновения музыку, и она вызвала во мне мысли о музыке, с какой Петр Ильич Чайковский в третьем акте привел на бал в замок Зигфрида блистательную Одиллию. Привел – не то выражение, он ею выстрелил. В цвете платья Любови Николаевны, длинного, свободного, с широкими романтическими рукавами, красном, черном и синем, были и пламень, и бездна, и небо. Сияли глаза ее, и сиял золотой гребень в светлых ее волосах, стянутых сзади эллинским пучком.

У стола Любовь Николаевна поклонилась четырежды в разные стороны света, и публика была тронута ее обхождением и простотой. Человек в широких штанах более не артачился, быстро подписал вместе с Голушкиным документы в синих папках с серебряным тиснением, обменялся с Голушкиным рукопожатием, секретарь Ладошин, № 14, осыпал их подписи протокольным песком. Арендатор колесного парохода и обрывков секретного плана позволил себе подойти к Шубникову, руку ему было протянул, но тот остановил его ледовитым кивком. А Любовь Николаевна с улыбкой благодетельницы неожиданно предложила человеку в широких штанах лобызать ее руку, отчего с тем случился солнечный удар. Публика же отнеслась к жесту Любови Николаевны благожелательно.

Было заметно, что Любовь Николаевна произвела на публику впечатление. А многие видели ее впервые. И ведь стояли в толпе люди из тех, что не разевают рты, а исследуют, у них есть что тратить и что вкладывать, и им надо знать, стоит ли иметь дело. Вспомнились мне слова историка, произнесенные об одной замечательной наезднице: «Она всегда была в полном сборе, в обладании всех своих сил». Любовь Николаевна и увиделась многими женщиной в полном сборе. Возникло ощущение, что она надежна и до того благополучна, но не в житейском прожиточном смысле, а в смысле судьбы и возможностей, что и другие вблизи нее могут быть благополучны и что в предприятиях с ней выйдет толк и сыщется поприще под ее покровом.

Но дело-то приходилось иметь не с Любовью Николаевной, а с

Палатой Останкинских Польз и ее художественным руководителем. С этим, наверное, и не сразу, но смирился важный человек в широких штанах. Про него вблизи меня говорили, что он, Сеникаев, то ли чабан, то ли овчар, то ли директор совхоза, то ли заведует ледником-глетчером, то ли руководит кафедрой встречных тем в песках, то ли пасечник. А может, он и подставное лицо. Сейчас этот Сеникаев принимал от Ладошина, № 14, модель «Стефана Батория». Ожидалась уплата суммы за услугу, но сведущие зашептали, будто кассы стоят в ином, бронированном, помещении. «Нет, по перечислению, – заверил Добкин. – Только по перечислению. Или почтовым переводом. Из рук не принимают». Почтовым переводом или в бронированном помещении – не имело значения, несравненно лучше было бы, если бы у всех на глазах с пересчетом бумаг и выдачей сдачи.

Так и вышло. Шубников знал людей. И медные монеты сдачи звякнули, падая на черную пластмассовую тарелку из тех, что украшали кассы останкинских продовольственных магазинов в сороковые годы. И у многих из взволнованно притихшей публики пересохло в горле. А может быть, напротив, у кого-нибудь выделилась слюна. И никто не кашлянул, как в Большом консерваторском зале при взлетах палочки Рождественского.

Оформление свершилось. Публика, однако, стояла. И одно бесплатное событие с колесным пароходом должно было ее накормить. Но нет, уходить было жалко.

– Сейчас будут оформлять оксфордскую мантию, – пообещал мне сосед.

– С чего бы? – удивился я. – Кому она нужна?

– Ну-у! – мечтательно протянул сосед. – Оксфордская мантия… Да с шапочкой-то! И с париком!

Видно, и он жаждал оксфордскую мантию. Но имелись ли средства на услугу у бедняги? Полагаю, что не имелись… Ожидание оксфордской мантии оказалось неоправданным. Шубников с Любовью Николаевной держали паузу. Пауза была нарушена появлением дяди Вали.

Поначалу я подумал, что тут притворство и игра чуть ли не по сценарию и дяде Вале отведена роль даже и не из театрального, а из циркового представления. И одет он был как шут и волок на поводке собаку. Кроме собаки он увлекал за собой и женщину, мне знакомую, из лебедих, Анну Трофимовну. Анна Трофимовна вцепилась в руку Валентина Федоровича с намерением отторгнуть его от общества, обратить внимание на пагубность поступка, кричала что-то, однако дядя Валя

оказался сильнее. Он наступал на Шубникова и Любовь Николаевну, выпятив грудь, с оттянутыми назад руками. Одежду его истерзали, возможно, в коридорах Палаты, брюки на дяде Вале были собственные, а помятая куртка относилась к комплекту с космическими мотивами, но многое на ней было утрачено или изуродовано. Хладноглазые молодые сослуживцы дяди Вали двинулись было на него, взглянули на Шубникова и Голушкина, но, не получив никаких распоряжений, остановились. А дядя Валя подскочил к Шубникову почти вплотную, пошел бы, видно, и врукопашную, если бы не был отягощен Анной Трофимовной и собакой.

Ярость Валентина Федоровича, не испепелив пламенем Шубникова сразу, словно бы и приугасла. Дядя Валя остановился. Бурлакин, никаким специальным костюмом не преобразованный, с ленцой шагавший за дядей Валей без видимого желания укротить героя, догнал его и тоже встал. Бороду подергивал. В высокомерии Шубникова проглядывало сострадание или даже снисхождение к дяде Вале, но я видел, что Шубников волнуется. Любовь Николаевна улыбалась, в глазах ее было: «Вот ведь как интересно-то! А вам? Я совсем не против этого! А вы?»

Теперь можно было рассмотреть, что из-под куртки Валентина Федоровича выехала и болтается, поблескивая зажимом, одна из подтяжек его брюк, что левого рукава у него вовсе нет, а из раздерганных звездных «молний» торчат клочки бурой шерсти, возможно, от конских хвостов. Анна Трофимовна попыталась схватить болтавшуюся подтяжку и укрыть ее, это движение словно бы вывело Валентина Федоровича из состояния контузии. Он очнулся. Сделал шаг к Шубникову. Нет, не было сейчас в дяде Вале притворства, не было! Оживал прежний Валентин Федорович Зотов. Глаголом обязан был сейчас жечь сердца людей, до того готовым к подвигу стоял он на виду у всех!

– Отдавай мои рубль сорок, сука! – сказал дядя Валя, охрипнув на первом же слове. – Отдавай, гад!

Шубников на мгновение опешил, он, видно, ожидал совсем иного заявления. Но услышанному обрадовался и даже улыбнулся, впрочем, надменно и коротко, и остудил движением руки ретивость молодых служителей.

– Покорно просим извинить и понять, – обратился он к публике. – Проще было бы вымести сор быстро, и метлой. Но не хотелось бы, чтобы у уважаемых гостей возникло искаженное представление об отношениях в Палате Останкинских Польз. Эти отношения простые и на равных. Как с действующим персоналом, так и с бывшими сотрудниками…

– Ах, гад! – вскричал дядя Валя. – Уже и с бывшими!

– Наш подсобный рабочий Валентин Федорович Зотов, – продолжил Шубников, – всегда обладал чувством достоинства. Но, видимо, его меланхолическое состояние, а также раны, полученные в разнообразных войнах, привели к разброду чувств. Валентин Федорович, я полагаю, вы не станете отнимать время у ни в чем не повинных людей и последуете со своими спутниками в кабинет директора, где ваша претензия будет рассмотрена незамедлительно. Анна Трофимовна, я думаю, это разумно?

– Разумно. Конечно, разумно, – подтвердила Анна Трофимовна и опять стала пристраивать подтяжку дяди Вали.

– Оставь меня! Пошла ты! – оттолкнул Анну Трофимовну дядя Валя. – Отдавай, гад, мои рубль сорок!

– Я у вас, Валентин Федорович, никогда никакие рубль сорок не брал, – возразил Шубников. – Если вы считаете, что вам недоплатили рубль сорок, то, повторяю, вам следует решить ваш частный вопрос с директором Голушкиным.

Шубников опять улыбнулся, но, естественно, не подсобному рабочему, а зрителям, в сочувствии которых не сомневался.

– Я требую вернуть не рубль сорок, – сказал дядя Валя, – а мой пай ценой в рубль сорок. Ты плут, жулик и мародер.

Шубников более не улыбался. Глаза его стали злыми.

– Вы всегда врали, Валентин Федорович, – сказал Шубников, – иногда и веселили кого-то. Но сейчас я не советую вам оставаться посмешищем далее. Клоунов хватает и без вас.

– Я не клоун, – гордо произнес дядя Валя. – Я Останкино желаю уберечь. Я всем говорю: одумайтесь и не соблазняйтесь! Вы не караванщики в пустыне, развейте миражи! Пусть истекут они из Останкина вонючим дымом! Здесь в вас поднимут пену мутную, и ею вы отравитесь! В вас оживут тени, о которых вы и знать не знали, и растерзают вас. Здесь в вас возбудят жадность, какую не насытишь, и камни будете грызть железными зубами. Здесь у вас душу не купят, а вывернут наизнанку, и тошно станет от самих себя. Я прошу вас: не соблазняйтесь доступностью недоступного! Я предупреждаю вас!..

– Хватит! – перебил дядю Валю Шубников. – Вы не клоун. Вы смешнее. Не приставить ли к вам учеников? Они будут записывать на телячьей коже ваши пророчества. А имея в виду ваши заслуги в сражениях, мы можем придать вашим ученикам бесплатно чтеца и барабанщика.

– Не трогай мои заслуги и сражения! – разгневался дядя Валя. – Ты-то кто есть? Ты-то и мог лишь воровать собак для поделки шапок. Верни мне рубль сорок! И тогда мы посмотрим, какой из тебя выйдет властелин мира!

Последние слова Валентина Федоровича, похоже, крайне задели Шубникова. Я видел: он с трудом удерживал себя от поступка. А поступок мог быть один: напустить на оратора хладноглазых молодых людей.

– Вы сейчас отсюда исчезнете, Валентин Федорович, – произнес наконец Шубников. – И я бы мог сообщить интересующимся, какие такие тени ожили в вас. Но мне противно. Только вы лжете, будто не знали, что это за тени. Знали! Всю жизнь знали и пестовали их в себе! А теперь прячете их в бункере!

– Эти тени не мои, а твои, – воскликнул дядя Валя, – ты во мне их развел и выкормил, забирай их и верни пай!

– Вон отсюда! – закричал Шубников. – Получите расчет после сдачи инвентаря и форменной одежды. И забудьте дорогу сюда!

– А местком? – рассмеялся дядя Валя.

– Да, конечно, и после решения местного комитета…

– На-кася, выкуси! – загремели под куполом слова дяди Вали, раскатились по залу, при этом Валентин Федорович произвел жест, известный как произведение фольклора задних дворов Марьиной рощи, по знаковой системе некоторых присутствующих эстетов и не совсем приличный, но вполне убедительный.

Шубников не удержался, и началась перебранка, более уместная на рынке, причем не на Птичьем, а на Минаевском. Шубников и дядя Валя горлопанили. Звучали выражения, связанные с культом здоровой и нездоровой плоти, частыми были фаллические мотивы, однако во взаимных аттестациях оппоненты обращались и к странностям животного и растительного мира, а потом вспоминали и о житейских несовершенствах. Публика в зале была обескуражена. Да что это? Куда мы попали? – было на лицах у многих. Не мне одному, похоже, стало гадко, хотелось не то чтобы уйти, а бежать куда-то. Шубников все грозил рассказать о бункере, о тайных страстях Валентина Федоровича, о слизняках его души; дядя Валя же обещал, если Шубников не вернет пай, сейчас же привести приятелей-головорезов с Екатерининских, Переяславских улиц, из двух Солодовок, семейной и холостяцкой, с ножами и дубовыми дрынами. Собака дяди Вали подпрыгивала и лаяла, рвалась к Шубникову, бешеная подтяжка буйствовала, в стараниях унять ее Анна Трофимовна вскрикивала, маятник Фуко, хотя его не было, совершал движения быстрее положенного, ударял по спинам, по ногам, по головам гостей-наблюдателей. Шубников нарекал дядю Валю неблагодарной тварью, дядя Валя же призывал в мстители все тех же несуществующих мифических головорезов и орал: «Отдай рубль сорок!»; энергия

перебранки должна была вызвать Ходынку, хождение по головам и костям. Палата Останкинских Польз теряла лицо. Я понимал: более других неприятен сейчас публике Шубников. Дядя Валя явился шутом гороховым, да и был он подсобный рабочий, возможно, и пьющий. Но Шубников-то, во фраке с белой бабочкой, как же он-то мог низвергнуться со своих скал в хляби и грязи? Его ожидал крах. И он должен был сообразить это…

Но что же Любовь Николаевна? Или хотя бы Бурлакин?

Бурлакин с места не двигался. Лишь бороду подергивал. Понятно, выяснение частного вопроса дядей Валей и Шубниковым заняло несколько минут. Обмен мнениями вышел пулеметный. Бурлакин смотрел на Шубникова и дядю Валю прищурившись, казалось, что обе стороны он выслушивает с одинаковой степенью внимания и участия.

А Любовь Николаевна все улыбалась. Она-то не стояла как вкопанная. Переступала с места на место, меняла позы, двигались иногда ее руки, будто бы какая-то пружина не давала ей застыть или замереть. Но в разговор она не вмешивалась. Не морщилась, не хмурилась, не расстраивалась, а улыбалась. Сияние ее прекратилось, а улыбка не исчезла, оставалась по-прежнему доброжелательной и лукавой. И не произнесла она ни слова. А помните: не произнесла ни слова Шемаханская царица, только хи-хи-хи да ха-ха-ха. Но что за существо была Шемаханская царица? Думаю, что и Александр Сергеевич об этом не знал. Римский-Корсаков догадывался, впрочем, музыкой легче догадаться, нежели словом. Однако я совершенно не собирался ставить в один ряд с Шемаханской царицей Любовь Николаевну, так просто подумал в быстролетности…

А может быть, Любовь Николаевна и не имела прав вмешиваться в диалог. Он, кстати, уже утихал. Шубников выкрикивал как бы устало о каком-то залоге, дядя Валя же твердил: «Подыхать ради тебя я не стану, не жди, а все равно отдавай мне рубль сорок, гад ползучий!» Но и дядю Валю утомила вспышка праведной борьбы. Он замолк. И замолк Шубников. Сырые яйца и тухлые овощи должны были сейчас же полететь в него. Он поджал губы, ресницы его захлопали, обещая ребячьи слезы, глаза молили о пощаде: «За что вы меня невзлюбили? Я же все это ради вас…» Но не было Шубникову пощады. Рокот неприязни к нему возник в зале.

В это мгновение на плечо его положила руку Любовь Николаевна. Позже говорили, что она не положила руку, а возложила. И что сразу же раздался треск. Или грянул гром. И ударила молния. И в это поверили. Тем более что московские грозы особенно хороши в Останкине, нередко и в зимнюю пору. И папоротник, говорили, тут же расцвел в углу Палаты Останкинских Польз. Я не помню ни треска, ни молнии, ни папоротника,

хотя допускаю, что они были. Любовь Николаевна по-прежнему улыбалась. И, сняв руку с плеча Шубникова, этой же рукой – сама в полупоклоне – произвела плавное движение, как бы поощряя Шубникова к произнесению слов. Мол, пожалуйста, вам предоставляется, и извольте, люди ждут.

Шубников взглянул на нее с испугом и недоумением: какие еще слова, зачем они? После того, что вышло, надо исчезнуть. Но испуг и недоумение эти были остаточными, он сделал решительный шаг вперед и заговорил. А толпа притихла. Будто пристыженная.

Речь Шубникова я не могу передать в точности, она вошла в меня с большими пропусками. Поначалу Шубников – пламень уже был в его голосе – поздравил всех нас и товарища Сеникаева, в широких штанах, с оформлением услуги. Шубников рассказал об истории строительства в начале века на Сормовском заводе для смешанного общества «Кавказ и Меркурий» колесного гиганта «Стефан Баторий», волжского ломовика и волжской чайки. Напомнил он – пламя разгоралось – о былинном походе свободолюбивых казаков в Хвалынское море к персидским пределам во главе с атаманом, чьим именем назван теперь пивоваренный завод в городе на Неве. «Сарынь на кичку!» – провозгласил Шубников и сразу же заговорил об Амударьинском кладе. Потому, объяснил Шубников, ему пришлось упомянуть об Амударьинском кладе, что в публике присутствуют уважаемые британские подданные. Он просит прощения у уважаемых гостей с туманного Альбиона, но обязан напомнить о том, что Амударьинский клад из множества золотых и серебряных предметов работы мастеров древних Парфии, Бактрии и Согдианы находится в Лондоне, в Британском музее, хотя должен принадлежать среднеазиатским народам. Сейчас же Шубников попросил наше воображение перенестись в карибские моря и увидеть, как кучки индивидуалистов, людей предприимчивых, но богатых, отыскивают на дне останки испанских галеонов, а в них затонувшие золото, серебро, драгоценности инков, оцениваемые в четыре миллиарда долларов. И вот теперь здесь произошло событие, какое не стыдно будет сопоставить с самыми замечательными подвигами искателей. И дальше пошли слова о ценностях персидской казны, о скорости хода «Стефана Батория», о комфорте его кают, об ароматах его кухни, о научной подготовке членов экспедиции, которых представляет здесь товарищ Сеникаев. Можно предположить, что теперь с помощью Палаты Останкинских Польз будут найдены в диких, непроходимых Жигулевских горах сокровища персидской казны и они послужат на благо всем. Частью на благо культуры и музейного дела.

Частью на благо развития отечественного сыроделия. Частью на благо экспедиции «Стефана Батория». Частью на благо всем. И он, Шубников, чрезвычайно рад тому обстоятельству, что Палата Останкинских Польз делами доказывает, как она служит на благо всем. На благо всем! На благо всем!

Вот, собственно, почти все, что я запомнил из речи Шубникова. А он говорил дальше. Что говорил, не вспомню, наверное, никогда. Пожалуй, слова «человек», «благо», «историческое предначертание», «добро», «воля», «повреждение нравов» им употреблялись, но в каких сочетаниях, я не помню. Но помню, что происходило как бы преобразование самого Шубникова и преобразование его слушателей. Очень скоро остававшееся в них чувство брезгливости было обращено уже вовсе не на Шубникова, а на самих себя, на свои несовершенства, на свои слабости и подлости. Как вы могли понять из моего пересказа, начало речи Шубникова выглядело обыкновенной вежливой болтовней, какую мог сочинить и помощник-текстовик. Теперь же Шубников стал трибун и борец. Он нас гипнотизировал, говорили потом, он нас завораживал. Не знаю, не верю. Ну, допустим… Хотя нет. Шубников, казалось, нас и не видел, а весь был в искреннем порыве, в безоглядном полете. Мы стали куда ниже Шубникова. А он возвысился над толпой. Мы осознали, что мы дряни, скоты, никчемные люди, но вот явился человек, способный вывести нас из паскудного состояния. В него надо верить, и ему должно подчиняться. Нам хотелось выть и кричать, чтобы выразить это свое состояние. Шубников стоял красивый, жертвенный, а голос его стал сладок и мощен, звал нас куда-то. И надо было идти, идти, идти за ним. И если бы сейчас в руке Шубникова возник факел, мы бы пошли за ним, не думая о жизни и погибели, а полагая, что прокладываем путь ко всеобщему благу и совершенству.

Шубников замолчал, молчала и толпа, ожидая новых слов или призывов, куда идти и что делать, но слов не последовало, и воодушевление осуществилось благодарственными криками, взлетом вверх рук с сомкнутыми или сжатыми пальцами, а Валентин Федорович Зотов рухнул на колени. Шубников великодушно взмахнул рукой, давая понять, что все это мелочи, последствия нервического хода времени и пусть дядя Валя успокоится. Великодушный жест Шубникова был замечен и оценен аплодисментами, кто-то бросил к ногам Шубникова букет гвоздик.

Тогда-то и приблизилась снова к Шубникову Любовь Николаевна.

Шубников, возможно, уставший, растративший себя ради нас, не сразу и сообразил, кто рядом с ним. А Любовь Николаевна, наклонив голову,

предложила Шубникову взять ее под руку. Шубников хорошо носил нынче костюм и красиво повел женщину. В левой вскинутой руке Любови Николаевны взблеснул золотой стержень с зеленым камнем, и опять вблизи Любови Николаевны возникло сияние. Сияние это принадлежало теперь и Шубникову (или исходило и от него). Шубников и Любовь Николаевна последовали к выходу, покидая восхищенных подданных. Они проходили мимо меня, и тут Любовь Николаевна взглянула на меня со значением или подсказкой и будто бы даже подмигнула мне. Не эта подсказка или подмигивание удивили меня тогда, нет, я увидел, что Любовь Николаевна смотрела на Шубникова восторженными глазами. Она была увлечена им.

А отчего же было ей не увлечься Шубниковым, если он всех увлек и заворожил? Стало быть, в нем есть сила, какая была надобна Любови Николаевне. И какая еще проявит себя в Останкине. Разве можно было сравнить с сегодняшним Шубниковым Михаила Никифоровича?

Публика расходилась с неохотой. Глаза у многих еще горели жаждой действия. Но, возбудив энергию и воодушевление, факел не зажгли и никого никуда не позвали. Одно успокаивало: еще позовут, и тогда пойдем.

Валентин Федорович Зотов удалялся домой (или продолжать службу? Тогда не знали) понурый и безмолвный. Подтяжка его была укрощена и прищеплена к брюкам. Анна Трофимовна деликатно молчала и опекала безмолвную же собаку. За дядей Валей шел Бурлакин в черной задумчивости.

– Женщина-то какая ядовитая! – услышал я от соседа, ожидавшего услугу с оксфордской мантией.

– Что? – рассеянно спросил я. – Какая женщина? Отчего ядовитая?

– Ядовитая! – сладко, закрыв глаза, произнес мимолетный сосед, и стало ясно, что «ядовитая» для него высшая степень одобрения женщины. Эх, кабы ему в жизни выпали оксфордская мантия с шапочкой и париком и ядовитая женщина!

– Вы из хлопобудов? – спросил я.

– Нет, – посмотрел на меня сосед с удивлением. – Нет. Не допущен. – Но сразу же добавил, словно стараясь сделать мне приятное: – Здесь есть хлопобуды. Есть. И немало. Тот, что стоит за мантией, например. Я думал, его время подошло. Ан нет… Но получит.

Дом мой был рядом, и отложенная тетрадь ждала на столе, но я все бродил возле бывшего пункта проката. Воодушевление сменилось во мне подавленностью. Из иных же воодушевление пока не истекло. Педанта, выразившего сомнение, не уместнее ли было бы оснастить экспедицию не

колесным пароходом, а стругами и челнами, тут же пристыдили. Палата Останкинских Польз знает свои резоны, и критики ей не нужны. Слова эти вызвали одобрительный гул. Возвращались иноземные автомобили и забирали любопытствующих гостей Москвы, видно, что озадаченных.

– Ядовитая женщина! – опять очутился возле меня мечтатель.

Я хотел было согласиться с ним, чтобы он отстал, но увидел Мардария. Мардарий сидел на крыше, свесив ноги в лунных сапогах, смотрел на суету людей и машин, был одинок и надменен.

– Да, ядовитая! – уже обижаясь на меня, заявил мечтатель. – Не я один ее возжелал. Но кто я? Она досталась по праву…

– По праву! – прервал я его и пошагал прочь.

46

Дня три у меня болела голова и было скверное настроение. Я будто угорел и никак не мог вывести из себя вред угара. Но от Шубникова, от его власти и силы я отдалялся. Явись он теперь ко мне с факелом и потребуй идти за ним осуществлять общее благо, я бы не пошел. Увольте, сказал бы я, от своих прихотей и видов. Я сказал бы это и Любови Николаевне. Но ни она, ни Шубников ко мне не приходили.

Отчего в Останкино съехалась, слетелась, сбилась публика? Что ее привлекло? Что заманило? Слух ли искаженный, но загадочный? Или, напротив, с подробными разъяснениями приглашение? Впрочем, что и как привлекло, было не самым существенным. А предъявили публике вот что: Шубников с Любовью Николаевной заодно, более того – она увлеклась Шубниковым, а что могут сотворить дама с фаворитом, известно всем. Далее: Шубников показал, что способен не только усмирить бунтаря Валентина Федоровича Зотова, он, наверное, уже и сейчас мог бы вызвать у тысяч людей состояние восторга и отваги, при которых впору было бы штурмовать Бастилии или же ломами сравнивать с землей Кордильеры. Полагаю, штурмы и сравнивания с землей еще предстояли.

Предъявлено так предъявлено, решил я. Но это их дело.

Приходили на ум реплики, услышанные в толпе и тотчас забытые, о тысячных – да что там тысячных! – уплатах за услуги и о том, что все дело в один миг возьмет и порушит фининспектор. Тогда казалось: это судачат завистники и очернители; теперь же думалось: даже если и не завистники, какая разница? Сможет ли что-либо порушить на улице Цандера и самый добродетельный фининспектор? Вспоминался и надменный Мардарий, сидевший на крыше… Однако мысли эти были как бы остатками угара. Они утекали. Потом голова перестала болеть.

А о Михаиле Никифоровиче я думал. И отчего-то с жалостью… Естественно, что эта моя жалость вряд ли могла быть существенна для художественного руководителя Палаты Польз. Но при отличиях наших размышлений и чувств объект их временами был один – Михаил Никифорович. Присутствие Михаила Никифоровича рядом на земле сейчас тяготило Шубникова. Он хотел бы не оглядываться на Михаила Никифоровича, совсем не знать, что такой есть, но не мог. В нем вдруг возникло: «Аптекаря не должно быть!» Но каким образом не должно быть? Отправить его с походной аптечкой долой с глаз, долой из памяти, своей и

чужой, куда-нибудь к морю Росса на антарктические станции или к зулусам, которые, как известно, с копьями ходят и на профсоюзные собрания? Или извести вовсе? Но кому отправить и извести? Не ему же, Шубникову. Это вышло бы недостойно его нравственного движения. И просить кого-то о пособничестве было бы унизительно. И подло. Вот если бы все случилось само собой и кто-то сам бы понял его, Шубникова, и легонько так, будто забывшись, сдунул бы Михаила Никифоровича с земли. Вот если бы эдак…

Это были мысли тайные, упрятанные в подземелье, прикованные там к чугунным столбам и будто бы даже удавленные кованой цепочкой, но они выживали и, как тараканы по ходам вентиляции, приползали к Шубникову. «Это низко! Это ниже тебя, какой ты теперь есть», – слышал Шубников, но ничего не отвечал укорам и усовествлениям. Он знал: через многое ему предстояло перешагнуть и, может быть, начинать следовало именно с Михаила Никифоровича… Однако Михаил Никифорович оставался при двух рублях с мелочью, и Любовь Николаевна могла иметь сентиментальные причуды. Фелица, владычица киргиз-кайсацкия орды, предположим, старалась не причинять неудобств и неприятностей отставленным кавалерам, напротив, она помнила о прежних удовольствиях без зла. Шубников ни разу не заговорил с Любовью Николаевной о Михаиле Никифоровиче. Но, не вытерпев, он пожелал, чтобы она открыла его, Шубникова, подземельные помышления, не названные словами и самому себе. Она открыла и назвала, и Шубникову стало болезненно сладостно.

Тогда-то Шубников чуть ли не успокоился и посчитал: да и не стоит связываться с такой убогой личностью, как неудачливый останкинский аптекарь! Пусть видит все, тогда и без специальных усилий он будет унижен, разбит и уничтожен. Ему же, Шубникову, и узнавать о крахах всяких дальних и ближних тварей необязательно. Что ему теперь Михаил Никифорович Стрельцов! Что ему все остальные останкинские никчемности! Ничто!

Теплое, непередаваемое, упоительное возникало в Шубникове, когда он вспоминал о проявленной им силе. Конечно, логично допустить, что ему в помощь был дан заряд, посыл энергии, но ведь выбрали для действия единственно его, и выбрали, стало быть, поверив в него, избрав его, признав его достойным чрезвычайного промысла. Но логично допустить и другое: ему ничего не объявляли, значит, и никто никого не избирал, а ему, Шубникову, судьбою, развитием мироздания была предопределена миссия, какую пришла пора исполнить. Сила явилась не на время, чтобы избавить

его от конфуза в споре с подсобным рабочим Зотовым, она не исчезла, Шубников проверял ее и играл ею, но пустячно, между прочим, и сегодня, и вчера, и позавчера. И он уверил себя в том, что сила и прежде существовала в нем, возможно, он одарен ею изначально, он предчувствовал, что она когда-нибудь пробудится, как пробудилась мощь мускулов в детине из Карачарова и заставила его отправиться на тяжелом коне в Киев, в рать Владимира Святославича. И свет в нем – собственный, и огнь в нем – собственный. И, видно, прежде он проявлял нечаянно силу, возможно, и Мардария ставила на ноги эта дремлющая в нем сила. И без Любови Николаевны могли приходить удачи в делах на улице Цандера, они – от неких протуберанцев его, Шубникова, дара, которому уже становилось тесно в гнетах определенного сроком покоя (Шубников представил, как рассмеялся бы при этом его построении естественник Бурлакин, ну и дурак; этот Бурлакин начинал надоедать, но еще мог понадобиться). «Нет. Свет во мне – собственный, – повторил про себя Шубников. – И огнь во мне – собственный!».

Ради вежливого равновесия в отношениях с предполагаемыми, но не объявившими себя, неведомыми сферами он готов был в мыслях признать Любовь Николаевну трутом, спичкой, от чьей вспышки свет и огнь пробудились и получили возможность светить и пылать. Дальнейшее было делом его воли и прозрений. Любовь Николаевна явилась к нему в пору, назначенную судьбой.

В реальности же это он явился к ней на Кашенкин луг, не выдержав после ночи, когда он безуспешно призывал Любовь Николаевну. Он робел, как прыщавый тринадцатилетний обеспокоенный мальчик. Но знал: или – или. Теперь крайность чувств на Кашенкином лугу вспоминалась со снисходительным пренебрежением, но тогда было именно: или – или. Однако не ждал его крах. Волчок рулетки уткнулся в его число.

С юношеских лет Шубников был везучий дамский забавник. Лишь в последние годы он не то чтобы притомился, а просто приятные обхождения с барышнями, требовавшие находчивости и игр, наскучили ему из-за повторов. Повторялся и он, повторялись и приятельницы в ласках и в легкости необязательной дружбы. Были в жизни Шубникова и трогательные истории любви, особенно в студенческую пору и после нее, с актерством, со страстями, с серенадами вблизи вгиковского Гвадалквивира – Ростокинского акведука, с подброшенными платками, с красивыми несчастьями, с болями и досадами всерьез. Те истории давно отодвинулись от Шубникова, но не были им забыты.

А на Кашенкин луг он направился без всяких намерений возобновлять

искусство любовной охоты. Не собирался он напоминать и о своих правах. После ночи ледяного одиночества, напрасного ожидания Любови Николаевны, он шел к ней, по собственному определению, в лохмотьях правды. Шубников не был влюблен в Любовь Николаевну и сказал ей об этом. И сразу же добавил, что готов служить при ней как рыцарь. «Как же, как же… – грустно улыбнулась Любовь Николаевна и напомнила строки трубадура, услышанные ею от Шубникова при первой встрече в доме Серова: „Я, вешней свежестью дыша, на пыльную траву присев, узрел стройнейшую из дев, чей зов мне скрасил бы досуг…“ Шубников подумал, что она смеется над ним, замер в гордыне. Но Любовь Николаевна предложила ему выговорить суть (будто бы не обязана была воспринять эту суть ночью). „Я в отчаянии, – сказал Шубников. – Я бессилен что-либо изменить и улучшить. Прошу вас стать моей сподвижницей во всех делах и усилиях“. „Я ждала этой просьбы“, – кивнула Любовь Николаевна.

И свершилось.

Ко всему прочему он пришел к Любови Николаевне впопад. Она не изменила своего отношения к товаркам, знакомым Михаилу Никифоровичу, но как будто бы их стыдилась. Не совпадали их интересы и досужие дела. В отделочницы она не пошла, сказала, что устроилась медсестрой в больницу у Северянина. В общежитии ей казалось, что все вокруг чувствуют, что она играет или притворяется. Или хуже того – дурачит их. Она и сама не могла объяснить себе толком, зачем на этот раз вздумала поселиться в общежитии. Разве только для того, чтобы Михаил Никифорович о чем-то задумался и пожалели товарки? Это было лишнее. В переезде на Кашенкин луг она проявила себя просто взбалмошной дурой. Жить там было уже невмоготу. И вот подоспел Шубников. Рано или поздно он должен был созреть. И созрел.

Разговаривали во дворе. День был унылый, сырой. Любовь Николаевна зябла, мрачной виделась пятиэтажная коробка общежития, глядя на эту коробку, Шубников сказал, что Любови Николаевне будет предоставлена резиденция.

– Какая резиденция? – оживилась Любовь Николаевна.

Шубников и сам не знал какая, но отступать не мог.

– Городская и деревенская, – сказал он. – Вы выберете. Или сами предложите. Когда вы намерены переехать?

– Послезавтра. В двенадцать дня, – сказала Любовь Николаевна. – И не нужны ради меня особые усилия. Я обойдусь без роскошеств. Снимите номер в гостинице. В «Космосе», раз он рядом.

– Хорошо, – согласился Шубников. – А за городом?

– Ну ладно, и за городом, – как бы уступила Шубникову Любовь Николаевна. – Но я бы очень хотела, чтобы дом или дача, опять же без роскошеств, были выбраны по Савеловской дороге. Там много ольхи и бузины. Трудовая, Некрасовская, Морозки – вот эти платформы, в крайнем случае Турист, а Яхрома – уже город…

Брошенный чьей-то злонамеренной или просто озорной рукой крепко смятый снежок ударил в плечо Шубникова, но не развалился, а отлетел к Любови Николаевне, проскользил по серому меху ее шубки, оставив на ней след и как бы соединив Шубникова и Любовь Николаевну. Шубников нервно рассмеялся, а она внимательно поглядела на него и, не сказав ни слова, ушла в общежитие.

Шубникову бы ликовать в те мгновения, а он думал о том, что зря медлил, Любовь Николаевна давно была обязана во всем подчиниться ему, не перестарался ли он теперь с поклонами ей и с предоставлением ей резиденции? Нет, решил Шубников, не перестарался. Желание угодить Любови Николаевне не прошло и было, как выяснилось, уместным.

– «Космос»? – задумался директор Голушкин. – Это можно. Но паспорт-то у нее хороший?

– Думаю, что хороший, – сказал Шубников.

– А какая у нее фамилия? – спросил Голушкин.

– Не знаю!

– Вот тебе раз! Это легкомысленно, – укоризненно произнес директор. – Ну ладно. А что касается Савеловского направления… У кого-то там есть дача. У Дробного, на Трудовой.

– Крыша у него не протекает? – спросил Шубников.

– Вы шутите! – рассмеялся Голушкин. – У Дробного-то!

На Трудовую для осмотра дачи Дробного был послан Самсон Ладошин, сорока четырех лет, бывший вагоновожатый, любимец Голушкина и его родственник. Про таких родственников говорят: был отдаленный, но приблизился. Работал в Палате Ладошин недавно, старался, покорил всех уменьем пользоваться словом «минусово». Возвратившись из Трудовой, он и произнес: «Минусово». Но это по поводу возможности снять дачу Дробного. Сама же дача, по мнению Ладошина, была не минусовая. Участками, и богатыми, после войны наделяли в Трудовой отставных боевых офицеров; дети одного из геройских летчиков разорились, Дробный купил у них землю. Поначалу Ладошин подумал, что попал в музей-заповедник. Метрах в тридцати от замка Дробного взлетала ввысь в соперничестве с елями псевдоготическая колокольня, вывезенная из запущенной усадьбы адмирала Апраксина. На бетонных плитах (по

случаю зимы – под навесами) стояли колокол пудов в триста и пушка, уступавшая в размерах кремлевскому орудию, но тоже отлитая Маториным. Справа от замка в каких-то стриженых кустах («В боскетах!») устроили стеклянный павильон («И лазер не возьмет!»), в нем держали возок и барабан. Дробный разъяснил, что возок и барабан из тех, на которых сидел и куда ставил ногу в российском походе Бонапарт. Ладошин пожелал перейти к делу и многого не увидел. Понял только, что помимо недвижимостей у Дробного есть еще и птица, фазаны, наверное, попугаи, павлины, прочая дребедень, и рыбы в петергофских каскадах. Содержание дачи и садовника при ней обходилось Дробному дорого, этим отчасти и объяснялось его усердие на улице Цандера. Но Дробный к себе на постой ни при каких выгодах никого пустить не согласился. А привел к соседу через два от него забора. Участок тот наследовал хороший, строения же его выглядели живописными развалинами, в чем была своя прелесть. Сосед этот, клерк из министерства с приборами, читатель Сабанеева, раб мормышки и вентеря, был готов сдать участок в аренду при условии, чтобы его завтра же освободили от служб и перенесли куда-нибудь под Весьегонск на воды и проруби, но с сохранением должности и стажа. Не возражал он и против северных надбавок. А там делайте на даче что хотите, стройте Монплезир, копайте колодец в Америку, разводите свиней и кобр на продажу. «Не минусовый вариант, не минусовый», – заключил Ладошин.

Он тут же подписал с читателем Сабанеева контракт. Директор Голушкин, предварив замечание Шубникова, сказал, что Любовь Николаевна станет жить отнюдь не в развалинах.

В назначенный полдень Шубников прибыл на Кашенкин луг на такси. За рулем сидел известный нам Тарабанько. Шубников с удовольствием покатал бы Любовь Николаевну на рысаках. Чтобы ахнула и взглянула на него с удивлением. Но еще лучше было бы заехать за ней в карете, запряженной четверней, – карету можно было бы взять в Эрмитаже или в каретных залах Дрездена. Однако происходило при этом как бы возведение Любови Николаевны в степень выдающейся особы, чуть ли не великой княжны, отъехавшей на встречу с Измайловским полком и тотчас ставшей императрицей. Кем же могла оказаться тогда Любовь Николаевна в Палате Останкинских Польз и кем он, Шубников? Да и просила она отказаться от роскошеств и особых усилий, а потому Шубников прибегнул к обычным московским средствам и вызвал Тарабанько.

Шубникову показалось, что Любовь Николаевна разочарована. Возможно, и она держала в уме тройки, рысаки или кареты. В «Космосе»

Любовь Николаевну ждали. Шубников взволновался, норовил незаметно заглянуть в бумаги, заполняемые Любовью Николаевной, в ее паспорт. Нет, не Стрельцовой звалась Любовь Николаевна, а Кашинцевой!

Номер Любови Николаевне отвели казематный, но лучший, супер, люкс и для иностранцев. Любовь Николаевна не проявила неодобрения.

– А загородная? – спросила она.

Шубников сообщил про Трудовую.

– Меня вполне устроит, – сказала Любовь Николаевна. – Пусть и с развалинами. У вас есть план участка?

Вольный рисунок Ладошина ее, похоже, обрадовал.

– В этом сарае я и размещусь! Вот здесь у него склад. Там есть бревна, доски. С деревом я все могу сделать сама. Дереву не будет больно.

Любовь Николаевна не выказывала никакого интереса к продолжению беседы в номере «Космоса», и Шубников холодно, передав ей ключи от калитки и строений на участке, откланялся. Любовь Николаевна пообещала звонить ему. Она и звонила. Интересовалась, нет ли в ней необходимости, при этом как будто бы откусывала и жевала яблоко, и Шубников строго говорил, что нет, никаких обострений не случилось. «Вот и хорошо!» – заключала Любовь Николаевна и клала трубку. Шубников расстраивался: он опять докладывал ей, так она себя поставила. Откуда Любовь Николаевна звонила, он понять не мог. И это было досадно. Однажды, когда Шубников снова сидел в тоске и тоска его уже перетекала в тоску вселенскую, в кабинете без всякого предварительного звона зазвучал голос Любови Николаевны. Рука Шубникова сама собой потянулась к трубке, но тут же и остановилась. На этот раз Любовь Николаевна не грызла яблоко. «Шубников, – протянула она лениво, но, как ему показалось, с лаской и укором, – что же это вы? Вы даже не хотите узнать, как я обустроилась. Этак я заскучаю в своей светелке и обижусь на вас!».

Шубников поехал на Трудовую. Поехал на электричке обыкновенным пассажиром. Никто в вагоне не ощутил его присутствия, не понял, кто едет среди прочих. «Ну ладно! – рассердился Шубников. – Вы еще поймете!» Вечер был темный, мокрый, ветреный. На дачной просеке, ведущей к Любови Николаевне, Шубников вскоре остался один. Следовало надеть в Москве сапоги, хотя бы резиновые, ботинки Шубникова и брюки внизу покрылись жидкой грязью. В темени за злыми черными лапами елок послышались противные наглые голоса загулявших подростков, местных ухарей и хозяев, каким доставило бы радость размять руки, избить, измордовать, а то и прирезать одинокого путника. Шубникову стало тоскливо и страшно. Теперь он жалел, что не взял с собой сопровождения,

хотя бы двух хладноглазых служителей, они бы шли за ним молча метрах в сорока сзади, сами по себе, и пусть бы тогда противно орали подростки, и выли намокшие волки, и гнусные глупые вороны орали с макушек берез. Даже Мардарий был бы сейчас хорош. Впрочем, Мардарий мог закапризничать или повести себя гордецом и никуда не поехать. Шубникову стала противна жизнь, мерзкая станция Трудовая, на которую он отправился в мокрые вечерние часы, вся земля, где он существовал. Надо было бежать сейчас же, вернуться в Москву и все прекратить, уйти в частную жизнь со щенками и торговлей шампиньонами у Сретенских ворот, спрятаться ото всех, не губить себя. Зачем ему прозрение или озарение, если с ними ухнешь в бездну или утонешь в вонючей отхожей яме? Неприметным, послушным человеком надо жить в коммунальной башне и не дерзить… Однако бежать на станцию Шубников не смог, его будто подталкивали к Любови Николаевне. Где же юнцы с ножами и кастетами, откушавшие портвейна или пожевавшие травки, где они? Шубников сейчас уже хотел, чтобы они вышли, не пустили далее, избили бы до беспамятства или бы кончили вовсе, до того боязно было ему идти к Любови Николаевне. Но голоса подростков не приближались к нему, они отдалялись, они стали вдруг визгливыми и испуганными, затопали ноги, словно за подростками погнался бешеный человек или зверь. И Шубников побежал, а когда ударился грудью о доски забора, понял, что стоит у дачи любителя рыбной ловли.

«Шубников!» – позвали его из-за деревьев. И луч фонаря выстелил ему дорожку в черноте. Тут же и фонари на столбах вспомнили, что им положено гореть. «Шубников! Проходите! Проходите!» Любовь Николаевна приглашала его. И потом повела по сырым дорожкам мимо неоживших руин. Шубников дрожал, плохо воспринимал то, что стояло или двигалось вблизи, слова спутницы не доходили до него. Она остановилась: «Вот и резиденция, тут и светелка!» – и впустила Шубникова в какой-то сарай. Внутри сарая было тепло и прибрано, но Шубников не успел рассмотреть, как обустроилась здесь хозяйка. Любовь Николаевна сказала: «Что же вы, Шубников, не спешили сюда?» И снова прозвучали слова лукавого трубадура: «Я, вешней свежестью дыша, на пыльную траву присев, узрел стройнейшую из дев, чей зов мне скрасил бы досуг…» Ну! Что же, Шубников? – спросила Любовь Николаевна. – Или ваш досуг и так скрашен?» «Нет, – пробормотал Шубников, – не скрашен…» «Ну коли не скрашен…» И Любовь Николаевна притянула к себе Шубникова.

Шубников тогда себя не уронил. Выходило, что дрожал он напрасно.

Утомленный, но самоутвердившийся, он вернулся в Останкино. Однако ожидаемых повторных зовов на Трудовую не последовало. Любовь Николаевна звонила по делу, говорила сухо и ни о каких скрашиваниях досуга речь не вела. Шубников, имевший основания считать, что по крайней мере не вызвал у Любови Николаевны досады или усмешки, чувствовал себя обиженным. Но он помнил, что на даче глаза у Любови Николаевны были холодными. Он уверял себя, что это ему показалось от волнений, от освещения. Но нет, не показалось. Не потеплели ее глаза и когда Любовь Николаевна дважды являлась на улицу Цандера, улыбаясь всем и показывая, что с ней в Останкине все будет к лучшему. «Неужели она играет со мной? – думал Шубников. – Или для чего-то, нужного ей, держит меня игрушкой? К чему эти ведьминские светелки в сараях, страхи на дачных просеках?»

Тогда-то Любовь Николаевна и уведомила его о желании присутствовать при оформлении услуги со «Стефаном Баторием». И вот когда толпа признала Шубникова, он и заметил, какими стали глаза Любови Николаевны. В них было обожание. А может быть, и восторг. Наконец-то Любовь Николаевна была им покорена. Приручена! Завоевана! Укрощена! Разубеждать себя в этом Шубников не был намерен. Его флаг взвился над Джомолунгмой! Да что над Джомолунгмой! (Шубников и не собирался производить Любовь Николаевну в сопоставлении с собой в Джомолунгму, просто ему на мгновения нравились возникающие фразы.) Он ступил ногой на Луну. Нет, не на Луну. На Юпитер! И не на Юпитер! На Солнце. Он прогуливался по Солнцу, он мог теперь все. (Опять же под Солнцем не предполагалась Любовь Николаевна, лишь в сотой степени – она, она-то была покорена и осталась позади.)

Так или иначе, Любовь Николаевна принимала теперь Шубникова, была мила. Шубников поспешил к ней, но и не прочь был показать Любови Николаевне, что делает это как бы нехотя. А в своих пешеходных прогулках по Солнцу и внутри светила он мог позволить себе отставить подземельные мысли о Михаиле Никифоровиче.

47

Но ненадолго отставить, ненадолго!

В услугах Палаты Останкинских Польз обнаруживались, к сожалению, и дефекты. Претензии на них были вежливые. И заказчики понимали, с кем они имеют дело, и дефекты случались пустячные. Однако Бурлакин углядел в дефектах этих, даже в странных непредвиденностях их, систему или логику.

– Аптека! – в возбуждении сказал он Шубникову. – Лекарства!

Шубников сидел в узбекском халате, пошитом в Японии, был сыт и спокоен. Кабинет его преобразили мраморные колонны, приставленные к стенам, бронзовые амуры и колчаны со стрелами между колоннами, а на мраморных же подставках – хрустальные жирандоли и канделябры. Вчера обстановку в кабинете не спросясь изменил воодушевленный Голушкин. Шубников хотел было отругать его и пристыдить, но смилостивился, оставил приобретения на день, на два на месте, чтобы испытать себя в свежем интерьере. «Какие лекарства?» – лениво спросил Шубников.

Бурлакин разложил перед ним таблицы с цифрами, арабскими буквами и объяснил какие. Ключ к заключению Бурлакина дала сегодняшняя претензия старухи Пульчинелловой. Та три дня назад получила двуствольный аппарат для одновременного извлечения из канцелярского клея араки и косметической туши. И третий день из обеих трубок у нее обильно тек лечебный раствор йода. Происходили и раньше всякие глупости. Скажем, в упаковках с теми или иными машинами либо ценностями обнаруживались совершенно не нужные заказчикам склянки или порошки – касторовое масло, например, или английская соль. Но теперь, после йода старухи Пульчинелловой, а в ее производстве не нашли технологических погрешностей, Бурлакина осенило, и все выстроилось. Выходило, что и прежде в нелепых трансформациях услуги срабатывал механизм, который мог бы иметь место при применении или при создании каких-нибудь лекарств. «Не совсем прямо, а по аналогии, по структуре или, напротив, по контрасту», – объяснил Бурлакин. Шубников не понимал техническую дребедень Бурлакина, но догадывался. «Пока это все мелочи, чепуха, – сказал Бурлакин. – Но такие номера можно будет ожидать и в важных делах. Они станут неуправляемыми. Аптека противится. Это предупреждение надо обдумать…» «Не аптека! – вскричал Шубников, вызвав нервный звон ампирного хрусталя. – Аптекарь! Этот подлец

Михаил Никифорович! Здесь стены пропитались аптекарем. Теперь же посмели мешать людскому благу! Надо объявить аптекарю, чтобы он прекратил мешать! Объяви ему! Я же ни встречаться, ни разговаривать с ним более не буду, и ты знаешь, какие для этого у меня основания».

Бурлакин в тот же день нашел Михаила Никифоровича, был серьезен, не ерничал и не гоготал (впрочем, уже давно не слышали его гогота), вопросы задавал ученые и как бы теоретические.

– Нет, – сердито сказал Михаил Никифорович. – Это не ко мне.

– Но, может быть, ты бессознательно, – осторожно высказал Бурлакин, – посылаешь импульсы, от несогласия, или от обиды, или из-за…

– Мелкого пакостника, что ли, ты во мне предполагаешь? – спросил Михаил Никифорович.

– Нет, не предполагаю, – быстро ответил Бурлакин.

– Я отношусь к вам без симпатий, – сказал Михаил Никифорович. – Но эти ваши заботы – не по адресу.

– Была просьба передать тебе, – вынуждая себя, произнес Бурлакин. – Хотелось, чтобы ты не мешал…

Шубников был недоволен Бурлакиным, кричал:

– И ты поверил ему на слово?!

– Да, я поверил его слову, – угрюмо сказал Бурлакин.

Шубников взглянул на него резко, удивленно, кивнул:

– Хорошо, поверим слову. Но необходимо, и немедленно, устроить противодействие стенам, пропитанным флюидами медикаментов и аптекаря. Перебираться отсюда на иное место было бы позорно.

Отправились к Михаилу Никифоровичу и другие представители с полномочиями по-приятельски потребовать от него: не дурить, иначе найдется управа. В их числе Игорь Борисович Каштанов и Валентин Федорович Зотов. Как стало известно в автомате, Михаил Никифорович ответил им неучтиво. А ко мне, совершенно для меня неожиданно, обратился сам художественный руководитель. Он возник передо мной в сумерках Останкина, и я под фонарем у магазина бытовой химии на Звездном бульваре разглядел, что на нем долгополый плащ из коричневого бархата с золотыми грифами-застежками и из бархата шапочка с грифом же. «Возрождение… шестнадцатый век», – пробормотал я и этим как будто бы смутил Шубникова. То ли иронию он уловил в моей нечаянной оценке, то ли не был уверен в своем костюме – словом, смутился, и разговор о Михаиле Никифоровиче был смят. Да я и дерзить стал Шубникову. «Хорошо. До свиданья, – сдержанно сказал Шубников. – Но прошу

обратить внимание: лишних слов я не произнес». И прежде чем повернуться и уйти, он взглянул на меня, грифы на плаще и на шапочке вспыхнули, взгляд же Шубникова словно бы все опалил у меня внутри, он был великий и правильный человек, хозяин дум и душ, истинно знавший, что надо людям, а я, недостойный, ничтожество, в следы его ступать не имевший права, еще и дерзил ему, казнить следовало меня, колесовать или жечь на костре, но до этого я обязан был нестись к Михаилу Никифоровичу, вразумить, а то и прибить негодяя. Тут меня что-то ударило в плечо, я отлетел, услышал и родимые слова, двое грузчиков, волочивших диван по Звездному, посетовали вслух на то, что нельзя огреть мебелью олухов, не желающих посторониться. «Спасибо!» – крикнул я им, выбившим из меня дурь. Огня уже не было во мне. Но все слова Шубникова я запомнил.

Шубников нервничал. Его раздражало то, что он не может освободиться от мыслей о Михаиле Никифоровиче. И приходило ему в голову: а не шутит ли с медикаментами Любовь Николаевна? «Нет, нет, – тут же он говорил себе. – Зачем это ей?»

Но нередко Шубников о Михаиле Никифоровиче и забывал. В особенности когда его захватывали замыслы и идеи Палаты Останкинских Польз, когда требовались моментальные постановочные или сюжетные решения. Тут Шубников был как Петр Великий на верфях Адмиралтейства. Или хотя бы как Бондарчук в Прикарпатье в окружении войск округа на баталии Ватерлоо (в минуты благодушия Шубников позволял развлекать себя кинематографическими историями ставшего ручным дяди Вали). В последние дни Шубников увлекся идеей массового гулянья на улице Королева с фейерверками, балаганами, каруселями и триумфальными арками, благо нашлись заказчики. Со вниманием относился Шубников и к урокам Высшего Света с погружением. Узбекский халат и бархатный костюм с плащом и шапочкой Шубников отверг. Голушкин их не сжег и не перепродал, а отправил в депозитарий имени Третьяковской галереи. Шубников носил теперь на службе сапоги, мушкетерские штаны, бязевую рубашку со свободными рукавами, завел трубку. С трубкой во рту он стоял над картой Останкина, где должно было развернуться массовое гулянье с потехами и когда возникло в его кабинете слово «пандейра».

Долго это слово, а тем более клиента, его произнесшего, хотя он и был человеком заслуженным, заведовал в пригороде свалкой, не пускали в кабинет Шубникова. Стыдно было не уважать заказ такого человека, тем более что он просил во временное пользование лишь одну пандейру, пусть и небольшую. «Все у меня есть, – говорил он, – но нет пандейры». Его

успокаивали, заверяли, что, конечно, непременно, сейчас же и необязательно небольшую. Но никто не помнил, кто такие пандейры. Наконец один из наиболее бесстыжих спросил, а что это такое – пандейро. «Вот тебе раз! – удивился клиент. – Если бы я знал, она бы у меня была». Похоже, он стал разочаровываться в Палате Останкинских Польз. Призвали Ладошина, интенданта и любимца директора Голушкина. Ладошин, не отказавшись от слова «минусово», начал с толком пользоваться словом «ксерить». Однажды он похвастался: «Брат-то у меня отксерил дисер». И смутился, ожидая, что местные лингвисты его пристыдят. Но Ладошина поздравили. С той минуты Ладошину стало легче общаться. То и дело слышалось: «ксерить», «отксерить», «ксерик». «Жена ксерила мне пять котлет. Не минусово» – похвала жене. «Я вчера неминусово отксерил двух…» – похвала себе. И так далее. (А в журнале деловых идей Шубников сделал запись: «Ксерить. Ксерики. Отдел (?) ксериков. Вещи одноразового использования. Люди одноразового использования». Однако идея с ксериками пока не была осуществлена.) Призванный Ладошин развел руками. Тогда во избежание потери лица или даже позора слово «пандейро» и было допущено в кабинет художественного руководителя.

Шубников что-то слышал в студенчестве. Но не помнил. Забегали служители, напряглись компьютеры. Выяснилось, что справочный аппарат Палаты слаб и легкомыслен.

– Любительство! – возмущался Шубников. – Самодеятельность!

Звонили в академические институты, в энциклопедическое издательство. Без толку. Шубников приказал сыскать Филимона Грачева. От Филимона пришла записка: «Самба должна иметь пандейро».

– Ну естественно! Как же забыли-то! – раздосадовался Шубников. – Ну конечно! Каждая самба должна иметь свое пандейро!

И другие, из взрослых, вспомнили, что четверть века назад была такая пластинка, на обороте – «Торрадо де Мадриде», скорость семьдесят восемь, еще для радиол. Теперь хотя бы стало известно направление поиска – следовало обращаться к хореографам-фольклористам, ученым-бразилеведам, в журнал «Латинская Америка». Клиенту предложили подождать два дня, но он чуть ли не захихикал, пандейра ему нужна была сейчас же, коли требовалось усилить плату, он был готов пожертвовать Палате сколько угодно.

– У меня все есть, – повторял он. – А пандейры нет. Ради чего тогда жить и работать?

– Выдайте! Выдайте ему пандейру, и немедленно! – закричал

Шубников. – Пусть платит!

– Какую? – озаботились Голушкин и прочие исполнители.

– Какую хотите! – кричал Шубников. – И чтоб через пять минут духу его здесь не было!

Шубников не успокоился и через десять минут, после того как ему доложили, что пандейра выдана и услуга оформлена. «Что за работники! – распалялся он. – Ничтожества! Бездари! Неучи! Завтра же создадите отдел справок! Иначе разгоню всех и призову Филимона Грачева!» «Создадим! Создадим! – принялся было утихомиривать Шубникова Бурлакин. – Не шуми…» Но с Шубниковым случился истерический приступ. Он метался по кабинету, швырял на пол бумаги, карты Останкина, малые электронные машины, не жалел канделябры и жирандоли, топтал шкиперскую трубку, кричал, что уйдет от всех, удалится, покинет сумасбродный город, пострижется в монахи, примет схиму, его здесь никто не понимает и никогда не поймет, какими-то идиотами с их пандейрами отвлекают от великих дел, и пусть все развеется прахом, пеплом, золой, он уйдет, уедет, удалится!

Тем временем Шубникова ожидал серьезный посетитель. Объявил, что ни с кем более разговаривать не станет, никаких предварительных объяснений не даст и что в беседе с ним должен быть заинтересован сам Шубников. Сказал, что посидит полчаса, а потом пусть пеняют на себя. Голушкин выяснил: посетителя привезла машина достаточно черная и ждет. Посетитель был, на взгляд Голушкина, тридцати восьми лет, грузный, но способный бегать кроссы в Сокольниках, ходить на стрельбище и использовать приемы ушу. Он имел вид сановника, который хотя и блюдет, но и не брезгует, а подчиненных направляет, как недреманный сыч, проверяя по часам, не храпят ли они, правильно ли расставлены, присутствуют ли и не пьют ли чай. Такому посетителю Голушкину особенно хотелось досадить. А тот, выдержав свои полчаса и сверх них сорок минут, дал понять, что недоволен и скоро себя проявит. Голушкин попросил Бурлакина предупредить Шубникова, если тот, конечно, остыл («Хорошо бы карты не валялись или хотя бы хрусталь не был разброcан»), и сообщил посетителю, что его, видимо, примут.

– Перегонов, – представился посетитель Шубникову и энергично, как награду, протянул ему руку.

Шубников руки Перегонова не заметил, кивком предложил посетителю сесть. Перегонов не стал скрывать возмущения, хмыкнул обещающе, сел, сказал:

– Батюшка, оказывается, невоспитанный. Что же, воспитаем.

– Что? – спросил Шубников.

– Я говорю: воспитаем! – обрадовался Перегонов.

После удовольствий, вызванных пандейрой и глупостями ничтожеств, Шубникову захотелось приоткрыть силу и убедиться – при нем ли она. Он взглянул на наглеца коротко и зло. Перегонов задергался, стал проверять карманы пиджака и брюк, вынул зеленый шелковый носовой платок и положил его на стол.

– Уберите, – сказал Шубников. – Я не страдаю насморком.

– Извините. Я совсем не то! – поспешил Перегонов.

– Слушаю, – сказал Шубников, отпуская силу.

– Мы бы хотели вас послушать…

– Слушаю, – повторил Шубников.

– Меня направили к вам с требованием, – словно бы не веря самому себе, произнес Перегонов.

– С чем?

– Нет, извините, извините, – заторопился Перегонов. – Меня направили к вам с предложением.

– Обратитесь в отдел предложений.

– Нет. – Перегонов проявил твердость, какую почувствовал и Шубников. – Меня направили к вам, более ни к кому.

– О чем вас направили просить? – быстро сказал Шубников.

– О вертограде многоцветном.

– Что имеется в виду?

– Именно вертоград многоцветный. Вы должны понять. А поняв, обязаны способствовать нам.

– Не обязаны, – сказал Шубников. – И не должны. Но понять сможем. Кстати, те, что вас посылали, имеют представление о ценах на подобные услуги?

– Есть случаи, – улыбнулся Перегонов, – когда можно обойтись и без цен.

– У нас ни для кого нет привилегий и исключений. Для нас все население одинаковое.

– Вашу деятельность никто не изучал? – поинтересовался Перегонов. – Хотя бы с финансовой точки зрения. Есть ли соответствие правилам и установлениям? Возможны и другие ракурсы.

Шубников не счел необходимым отвечать.

– А то ведь можно вас вот эдак да и ногтем! – И Перегонов движением пальца показал, как можно поступить с Палатой Останкинских Польз.

– Не вы ли уполномочены быть ногтем? – спросил Шубников.

– Не ваше дело, – нахмурился Перегонов.

– Вы не фининспектор?

– Неужели я похож на фининспектора?

– Вы похожи на начальника футбольной команды первой лиги.

– Ну-ну! Шутить изволите, батюшка. А дерзите вы нам напрасно. Я ведь пришел к вам от Каленова.

– От Каленова. И что же?

Этот вопрос как будто бы смутил Перегонова.

– От Геннадия Павловича Каленова. Вы его могли знать. Он жил недалеко отсюда. Мы потому и решили обратиться к вам, что он тоже был останкинский. – Но тут Перегонову его интонации, видимо, показались излишне искательными, он добавил с усмешкой имеющего за спиной войско: – Вот так-то, батюшка!

Шубников действительно знал Геннадия Павловича Каленова. Тот жил когда-то через три дома от него. Белокурый, бледнощекий крепыш, ровесник Шубникова или года на два старше, иногда появлялся и в автомате на улице Королева. Там его Шубников и видел на расстоянии. В ту пору Каленов был ровня всем. Он внезапно развелся и, отвергая благоразумные советы приятелей, рискованно женился. Но города пали к ногам смельчака. Теперь вряд ли бы представилась возможность наблюдать Каленова на улице Королева среди тех благоразумных, но бывших приятелей. Он уже был ровня не всем. Из Останкина Каленов уехал. По останкинским улицам ходили лишь легенды о его удачах и увлекательной жизни.

– Хорошо. Я позвоню Каленову, – сухо сказал Шубников.

– Вас с ним не соединят. Не удостоят.

– Это не ваши заботы, – сказал Шубников.

– Я бы просил вас не звонить пока, – заерзал Перегонов. – Вышло бы преждевременно…

– Он вас ко мне не посылал?

– Видите ли, он, возможно, и не знает…

– Я так и понял, – сказал Шубников.

– Но я уполномочен на подобные акции и походы.

– С вашими полномочиями, – сказал Шубников, – вам следовало бы идти не к нам, а в магазин, где торгуют севрюгой горячего копчения.

– Оттуда сами прибегают, – сдерживая себя, произнес Перегонов. – А вы не то что прибежите. Вы приползете.

Шубников хотел было опять предъявить силу Перегонову, но раздумал, сам себе удивился: до того стал спокоен.

– С вами скучно разговаривать, – сказал Шубников. – Вы объявляете, что вы в команде известного мне человека и будто бы представляете его интересы, но ведь, кроме угроз и усмешек, вы ничего толком не можете произвести и, видимо, не знаете, зачем пришли. Если только припугнуть и заставить чем-то вам способствовать, это несерьезно. Будут у вас определенные заказы, без угроз и усмешек, приходите. Коли в наших возможностях – поможем, но на общих основаниях.

– Дурака из себя не стройте, батюшка! – посоветовал Перегонов. – Мы вас именно на общих основаниях упраздним!

– А если вы хотите знать, – Шубников будто и не слышал последних слов Перегонова, – чем мы занимаемся и что можем, пожалуйста, пришлите своих наблюдателей.

– Наши наблюдатели здесь есть, – сказал Перегонов.

– А вы не наблюдатель? – спросил Шубников.

– Я не наблюдатель! – хохотнул Перегонов. – Я силовой акробат!

– Пусть так! – сказал Шубников. – Пусть так. Оттого вы, наверное, и не знаете, чего вам следует хотеть.

– Я знаю, – сказал Перегонов. – И многое могу. И даю вам время подумать. Сейчас вы уверены в себе, а завтра нечто возьмет от вас и упорхнет. И запомните: вертоград многоцветный.

– Посоветуйте заглянуть вашим наблюдателям на уроки Высшего Света с погружением.

– Вы все никак не можете взять в толк, с кем имеете дело, – опечалился Перегонов. – Ваши уроки – для мещан, пожелавших перейти во дворянство. У нас свои погружения, какие им и вам недоступны. И вы будете нам способствовать…

– Все! – встал Шубников. – Разговор окончен.

– Не суетитесь, батюшка!

– Прошу убраться! И если у нас завтра нечто может упорхнуть, то ведь и у вас послезавтра все может рухнуть!

– Вы думаете, что говорите? – Кулаки Перегонова были сжаты.

– Думаю! Да, рухнуть. И без всякого нашего вмешательства, а подчиняясь обыкновенному ходу времени. И вон отсюда!

– Ну-ну! – Теперь встал и Перегонов. У двери он улыбнулся, и в улыбке его было сострадание к безрассудному человеку. – Придется иметь дело с Михаилом Никифоровичем Стрельцовым.

– Вон отсюда! – кричал Шубников уже закрывавшейся двери.

Он немедленно запросил у директора Голушкина сведения о Каленове и его окружении. На улице Цандера могли упустить из виду пандейро, но о

Каленове обязаны были знать. Справка, поданная Голушкиным, показалась Шубникову куцей и дрянной. «Тупицы! Тупицы! – повторял Шубников. – Бездари!» Он прочел: «Они сидят на золотых стульях, уселись на них случайно, но полагают, что по праву. Они живут настоящим в отличие от хлопобудов, суетящихся ради будущего. Да и что им будущее, свое или чужое? У них все есть в настоящем. Будущего у них может и не быть. Они об этом не думают. Инспекторы ГАИ за ними не гоняются, да и не угнались бы. У них сейчас хорошие номера. Они игроки и повесы. Зачем им лишние сердолики, они и сами не знают. Такой стиль. Удовольствие и роскошь. А потому им чего-то должно не хватать. Зарвались. Но как бы нечаянно. Под покровом же их существуют и беззастенчивые дельцы».

Эдак можно было бы написать о ком хочешь, подумал Шубников. Тоже захотели свою пандейру. Только для них это – вертоград многоцветный. Теперь Шубников отчасти жалел о том, что резко разговаривал с Перегоновым и выгнал его. Но кто они? Мелкие твари, усевшиеся и не в золотые, а в позолоченные кресла. Однако все же с драгоценными камнями в подлокотниках!

Беспокойство, вызванное разговором с Перегоновым, не исчезало. Оно скоро стало тревогой, чуть ли не боязнью. По всей вероятности, Перегонов и вправду не знал, чего бы он хотел от Палаты Останкинских Польз и что для них самих – вертоград многоцветный. Но они привыкли к тому, что вокруг все расступались, кланялись и выходили с подносами, они наверняка пожелали и Палату на всякий случай держать под своим крылом. И конечно, непочтительных и непонятливых грубиянов они имели возможность вразумить и проучить. А то и действительно придавить ногтем. «Нет, надо было с Перегоновым говорить деликатное, – думал Шубников. – Пообещать что-нибудь или прикинуться простаком… И не повредило бы сотрудничество с ними, не повредило бы…» Теперь же следовало ожидать самых непредсказуемых неприятностей, какие мог учинить Перегонов и Палате и ему, Шубникову. Шубников испугался. И несомненно Перегонов, говоря, что завтра нечто возьмет и упорхнет, имел в виду Любовь Николаевну. «А вдруг у них есть своя Любовь Николаевна?» – тут же подумал он. Нет, вряд ли тогда соизволил бы прийти к нему Перегонов и вряд ли стал бы пугать останкинским аптекарем как возможным союзником. Шубников возрадовался. У них нет Любови Николаевны и не будет! Возбужденный, он ходил по кабинету, презирал себя за страхи и уныние, презирал Перегонова и всяких попавших в случай Каленовых, а подлеца Михаила Никифоровича был готов изничтожить. «Нет, что я? – останавливал себя Шубников. – Он и

недостоин, чтобы о нем думали…» Однако опять возникало подземельное: вот если бы да как бы само собой сдуло Михаила Никифоровича с Земли… Не так Каленов с Перегоновым были неприятны Шубникову, как Михаил Никифорович.

Бочком, бочком вдвинулся в кабинет директор Голушкин.

– Что еще? – грозно и чуть ли не обиженно спросил Шубников.

– Собственно, пустяк, – сказал Голушкин. – Предложения о новом роде услуг, неясно названные. Суть же одна. Она – в этих словах, сформулированных пока приблизительно.

Шубников взял протянутый ему листок и, будто ожегшись, чуть не выронил его из рук. Он прочел: «Ты этого хотел. Но сам делать не стал бы». Глазами провидца он долго смотрел на Голушкина. Потом сказал:

– Хорошо. Это возможное направление работ. В случае частных просьб создадим отдел.

– Эти просьбы в каждом из нас, – печально склонил голову Голушкин.

Глазами Шубников вывел, выбросил директора Голушкина из кабинета.

48

Сведения о том, встречался ли Перегонов или кто-то из его знакомых с Михаилом Никифоровичем, получены не были. Предупреждать аптекаря о нежелательности его союза с Перегоновым Шубников не посчитал нужным.

Бурлакин о визите Перегонова молчал. Голушкин ходил не то чтобы напуганный, но чрезвычайно предупредительный и со всеми сотрудниками был ласков, предполагая в каждом из них наблюдателя. Шубникову он не давал советов, лишь маленькими, почти незаметными словами наводил на мысль.

– Ладошин – чудак. Но говорит о Каленове…

– Что говорит о Каленове? – спросил Шубников уже нервно.

– Он говорит: «Не минусовые люди. И руки у них не минусовые». Далеко, надо полагать, – перевел слова Ладошина Голушкин, – могут дотянуться. И у кого захотят, пошарят за пазухой.

– Не дрейфить! – сказал Шубников. – Никто не сможет посягнуть на нашу независимость. А к Каленову и Перегонову я не питаю зла. Если выйдет выгода, на сносных для нас условиях возможно и сотрудничество с ними…

– Конечно, выйдет выгода! – обрадовался Голушкин. – Конечно!

А приносил Голушкин бумаги с подробностями массового гулянья. Шубникову не понравились эскизы качелей с кабинами, он велел директору надраить уши самонадеянным художникам, уже потому бездарным, что имели дипломы института, возможно, Строгановского.

– Надраим, нарвем вместе с бухгалтером, – пообещал Голушкин. – А вас очень просят оказать любезность прийти на уроки Высшего Света.

– Хорошо, – поморщился Шубников. – Зайду.

Перегонов высказался об уроках Высшего Света пренебрежительно. Оно и понятно. Владетельные персоны, скороспелые продвиженцы пронеслись сквозь суету горожан и оказались над ними, в положении, в каком пребывают соколы над дождевыми червями. Шубников опять испытал неприязнь к Перегонову, а следовательно, и к Каленову, который в самом деле мог и не знать о визите Перегонова. Неприязнь эта была многослойная. Наглые здоровяки как явление жизни сами по себе раздражали Шубникова. Вызывало у него желание дерзить пренебрежение Перегонова к делам Палаты. И не мог простить Шубников Перегонову

собственные испуги и страхи. Шубников стыдил себя: подобные страхи мог бы испытывать Шубников, торговавший помидорами и грибами шампиньонами у Сретенских ворот, а не он, утвердивший себя сущностного. Это ведь они пришли к нему на Цандера, а не он принялся разыскивать Каленова. Если же он задумает позвонить Каленову, его моментально соединят. Но не позвонит. А если они бросятся на него в атаку, если станут принуждать к унижению, он не вскинет руки и не уползет огородами в заросли камыша. Азарт разжигал Шубникова. Сейчас они удачливы. Но кем и где они будут завтра? Нет, на сотрудничество с ними, пообещал себе Шубников, он пойдет лишь при крайней нужде. Да и что иметь дело с людьми, оказавшимися в случае? Каждому из них определен срок.

Но сам он, подумал Шубников, не в случае у Любови Николаевны? А хоть бы сейчас и в случае. Шубников был убежден: не произойдет изменений и если случай рассеется. Однако ради спокойствия позвонил в гостиницу «Космос». Просто так. Любовь Николаевна не подняла трубку. Долгие гудки услышал Шубников и после звонка в светелку Любови Николаевны на станции Трудовой.

Шубников не видел Любовь Николаевну два дня.

Пожелав удач экспедиции на пароходе «Стефан Баторий», Любовь Николаевна Палату более не посещала. На Трудовую Шубникова возил таксист Тарабанько. В случае весеннего непролазья Шубникову подали бы и вездеход. Любовь Николаевна была с ним ласковая, иногда даже горячая, ненасытная, в иные же вечера она казалась будто бы исследовательницей. Тогда Шубникову становилось не по себе. «Вот возьмет, – приходило ему в голову, – закончит исследования и в доме откажет. Или сама пропадет». Но эти мысли Шубников гнал, он знал теперь цену себе. Любовь Николаевна выслушивала все, что Шубников рассказывал ей о делах в Останкине, о своих замыслах и сложностях, сама же говорила мало. Однажды, посчитав ее дремлющей в кресле возле горячей печи, Шубников еще раз повторил острую останкинскую новость. Любовь Николаевна вскинула веки. «Я слышала, я поняла, – как бы в удивлении сказала она. – Я все знаю». Более Шубников производственные разговоры для того, чтобы поддерживать общение, не вел. А о чем беседовать с ней или рассуждать. Шубников не знал. Был случай, как-то Шубников примчался на Трудовую страстным любовником, однако Любовь Николаевна, испытав его пылкости, мягко дала ему понять, что более бенгальских огней не надо, у них не медовый месяц, а нечто совсем иное. Шубников обиделся, но потом был благодарен Любови Николаевне. Страстному-то любовнику полагалось колено

преклонить перед возлюбленной и так стоять век, быть в ее власти и царстве, – смог ли бы тогда Шубников исполнить свое предназначение? Оттого позже он приезжал на Трудовую достаточным кавалером, но утомленным трудами и ходом судьбы, чтобы доставить удовольствие, предписанное природой, именно сподвижнице и компаньону.

Не откликнулась Любовь Николаевна и на третий день звонков Шубникова. Не ночевала Любовь Николаевна в отеле. Шубников поехал на Трудовую электричкой, он бы и металлические крики подростков вытерпел, лишь бы Любовь Николаевна ждала в светелке. Он представил, как она в костюме танцовщицы на уроке – в вольном толстом свитере, в темных рейтузах и поверх рейтуз в шерстяных длинных носках, небрежно опущенных, – ходит по светелке или сидит в кресле и грызет орехи из дмитровских лесов, разволновался и чуть ли не побежал. Но светелка была пуста.

«Где она и с кем? – негодовал Шубников. – Какое имела право, не объявив и не испросив позволения?» Вблизи Михаила Никифоровича она не показывалась, было доложено Шубникову. Попытки вызнать, не выкрали ли ее Перегонов и прочие силовые акробаты, ни к чему не привели. Да и с какой целью ее стоило красть? Если только по дурости или из ухарства. Шубникову сейчас более хотелось видеть себя обиженным и обманутым, нежели Любовь Николаевну жертвой. Она-то сразу бы нашла управу ворам и насильникам, а если бы затаилась в их остроге из интереса, все равно бы скоро изничтожила любые цепи и препоны. А потому за нее как за уворованную нечего было беспокоиться. Но, скорее всего, ее не уворовали, а она загуляла. То обстоятельство, что и при ее отсутствии в делах изменений к худшему не произошло, напротив, все процветало, укрепляло Шубникова в мнении, что причиной всему его собственная самоценность, его огонь и сила. Можно было обойтись и без Любови Николаевны. Но обидно было Шубникову, обидно. Он ревновал. При этом сознавал, что не истреблена ревность к Михаилу Никифоровичу, а теперь возникала ревность и еще неизвестно к кому. Однажды Любовь Николаевна согласилась называть то, что между ними возникло, независимой любовью… ну, не любовью… чувством… связью… отношениями… чем-то. Независимым чем-то. И вот сейчас, когда Любовь Николаевна, подтверждая уговор, беспечно загуляла, Шубникову открылось в этом оскорбление. «И ведь она знала, – мрачно думал Шубников, – что я могу ревновать! Значит, и не беспечно. Значит, нарочно!» Ревность его была не чувственная, объяснял себе Шубников, а совсем иного рода, здесь он без предрассудков. Легкомыслием своим

Любовь Николаевна оскорбляла его единственность и избранность! А уж если она поступила нарочно, то и он учинит что-либо нарочно. И в противоречии с соображениями о собственной единственности и избранности Шубников принимался рассуждать как огорченный семиклассник. И являлся на ум верный школьный способ воздействия на обидчицу или заблудшую: сейчас же завести новую подругу и предъявить ее обидчице, чтобы кусала локти.

Впрочем, дела отвлекли Шубникова от принятия мер воздействия. Заказчики массового гулянья, ознакомившись с постановочными решениями Шубникова и сметой, стали мямлить и словно были готовы пойти на попятную. «Не от Перегонова ли идет эта растерянность?» – задумался Шубников. Директор Голушкин нудил:

– Вы обещали посетить уроки Высшего Света, а так и не пришли. А они просят…

– Ах, отстаньте вы с этими уроками! Потом когда-нибудь! – хмурился Шубников.

Хмурился еще и потому, что был намерен появиться на занятиях, хоть бы на балу, вместе с Любовью Николаевной. Люди действительно пробились на уроки примечательные и глазастые, и им надо было видеть его, Шубникова, под руку с Любовью Николаевной.

– Ну хорошо, – не отставал Голушкин. – Вы бы хоть выбрали минутку и приняли Тамару Семеновну.

– Какую еще Тамару Семеновну?

– Ну как же, Тамара Семеновна Каретникова – староста всего потока, – сказал Голушкин. – Она первая пришла с заказом на уроки Высшего Света. По вашему интересу я наводил о ней справки, она…

– Вспомнил! – оживился Шубников. – Ее приму!

«Почему бы и не Тамара Семеновна?» – воодушевляясь, подумал Шубников.

А Голушкин сумел просунуть в его заботы слова об Институте хвостов.

– Это вы сами, сами! – махнул рукой Шубников.

– У них претензии… аптечного характера, – сказал Голушкин.

– Ну вот и сами, сами решите! – покривился Шубников.

– И они, – продолжил Голушкин, – могли бы заказчиками участвовать в массовом гулянье. У них юбилей или что-то вроде…

– Институт хвостов? – удивился Шубников.

– Да, тот самый институт…

– Это любопытно. Это ценно! – сказал Шубников. – Это неожиданно.

Но ведь придется изменять программу…

И сейчас же мысли художественного руководителя приняли новое направление.

Научно-исследовательское учреждение, упомянутое Голушкиным, называлось Институтом хвостов [6] только в просторечье. Причем называлось так без ехидства, без незаслуженных намеков, а для удобства общения: академическое наименование института, произнеси кто его, долго бы висело в воздухе. Да и какие могли родиться ехидства и намеки, если институт занимался переселением наружного органа и частей тела, которыми располагали люди и животные. В институте, в клетках, имелись и грызуны, и обезьяны, и особи кошачьих, и даже завезенные из лесов Амазонки мраморные броненосцы, но движение научных идей привело к убеждению, что целесообразнее всего привлекать для опытов телят. Выбор животных, и сам по себе удачный, вызвал и побочные результаты. В науке, как известно, эксперименты, и при заблуждениях ученых умов, ведут к прогрессу. И, естественно, опыты промежуточные, опыты ошибочные и просто безалаберные предусматриваются как необходимые, и их должно быть куда больше, нежели опытов, в коих на глазах у теоретика срывается с ветки яблоко. Таких, может быть, и вовсе не бывает. Но если в других институтах материалы неудачных работ недальновидно списывались в отходы, то здесь они справедливо распределялись между сотрудниками. А потому в их домах всегда предлагали гостям нежные котлеты и отбивные, не лишним оказывались и пальто из телячьих шкур, пошитые кому – мехом наружу, кому – мехом внутрь. Менее интересными получались из тех же шкур головные уборы. Но в конце концов институтские модники обзавелись чрезвычайно эффектными косматыми шапками, хоть им и пришлось ждать – не сразу удалось выбить волков из республики Коми для охраны подопытных животных в вольерах. Что же касается обиходного, но отнюдь не фамильярного названия учреждения, то и тут были свои резоны. Научной программой предписывалось пересаживать всякое, и программа не отменялась, но пока счастливее всего удавались в институте переселения хвостов. Чудеса тут какие-то творились! Прижившиеся хвосты будто расцветали, удлинялись, обрастали шерстью яков или хотя бы покрывались голубым пухом. Иронисты-завистники ухмылялись: к чему все труды? Институт создан для человека, а хвоста у человека нет. Ну и что, и что, горячились в ответ патриоты, сейчас нет, а завтра вдруг будет. Так или иначе, хвосты стали профильными для института. Ему и в планы вписывали прежде всего хвосты: хоть это пересаживается, глядишь, начнет прирастать и другое. К тому же, имея в виду этику и общественные науки,

пересадка хвостов выглядела наиболее пристойной; если бы начались приращения наружных органов и частей тела, могли бы возникнуть нравственные и прочие неловкости. И уж совсем подкупало то, что ни в одной развитой стране, даже в Японии, так далеко с хвостами не заехали.

– Да, да! – сказал Шубников. – Будем менять сюжеты балаганов, фейерверков, ледяных гор.

– Каких ледяных гор? – засомневался Голушкин. – Все ведь растает…

– Будут ледяные горы и дворцы похлеще, чем в Саппоро, – уверил его Шубников. – Но какие претензии у института?

– Претензии… – вздохнул Голушкин.

К телятам в этом году решили прибавить овец и тихоокеанских каланов. Овец выделили, шерстяных, бурдючных и мясных, а каланов – нет. Четырех каланов попросили напрокат в Палате Останкинских Польз. Их доставили в институт, устроили им ванны с булыжной галькой у бортов и с водой от берегов Камчатки, но на пятый день вместо морских бобров в ваннах плавали медицинские эластичные пояса и корсеты для поврежденных позвоночников.

– Аптека! – разъярился Шубников. – Аптека! И этот!.. Доставьте им новых каланов. Извинитесь и доставьте! Но они всерьез намерены стать заказчиками гулянья?

– Всерьез. Однако у них странные пожелания…

– Пожелания оформите и положите мне на стол. Чем страннее, тем увлекательнее! Но каков негодяй аптекарь!

– Вряд ли это он… – деликатно возразил Голушкин. – Если бы он. А то как бы не вышло что серьезнее и опаснее. Надо искать глубже, чтобы дать отпор…

– Ищите! Ищите! – нетерпеливо сказал Шубников. – Если даже не он, все равно негодяй!

Привиделась Шубникову картина: по улице Королева идут Любовь Николаевна и аптекарь, лица их – веселые, они несут сумки с провизией и вот сворачивают к подъезду Михаила Никифоровича. Шубников в ярости сломал стек, неизвестно как оказавшийся в его руках.

– Относительно отдела «Ты этого хотел. Но сам делать не стал бы», – напомнил о себе Голушкин. – Люди подобраны. Положение выработано. Вот оно.

Шубников настороженно взглянул на Голушкина – не в чтецы ли мыслей преобразовывался бывший судебный эксперт и гардеробщик?

– Ваш… – Голушкин замялся, – э-э… Мардарий проявил внимание к практике нового отдела. Он хотел бы сотрудничать.

– Он заходит сюда? – удивился Шубников, сказал холодно: – Я подумаю.

Вот ведь стервец оказался Мардарий!

Сейчас же сквозь стены было сообщено: прибыла староста потока Тамара Семеновна Каретникова, ожидает приема. И Голушкин поспешил встретить гостью.

Тамара Семеновна вошла. «Она мила», – подумал Шубников. На ней была короткая, выше колен, шубка в белых и рыжих разводах жесткого меха. «Из телят, что ли?» – мелькнуло у Шубникова. Пребывание на разных ступенях останкинской лестницы не позволило ему подойти к старосте потока и принять ее шубку. Когда же шубка и шляпа повисли на крючке, Шубников увидел, что Тамара Семеновна пришла к нему в забытом нынче костюме. Она пришла в матроске! В детстве Шубников был влюблен в девочку, носившую матроску. И тонкий запах духов, названия которых Шубников не помнил, Тамара Семеновна принесла из его детства. Теми же духами упоительно пахло от мамы девочки в матроске, красивой загорелой женщины с бирюзой в серьгах и браслетах у благородных запястий. Та женщина однажды приласкала маленького Шубникова, сказала: «Какие живые у него глаза. Он себя еще проявит». И две намеренные соломенные косички Тамары Семеновны напомнили о девочке из сладкой поры Шубникова. Он разволновался. И радость, и синяя тоска по детству, и жалость к самому себе пришли к Шубникову.

Просьбы или пожелания Тамары Семеновны казались исключительно уроков Высшего Света с погружением. Преподавание иных дисциплин требовало совершенствования. Учитель фехтования, мастер шпаги, был хорош: из олимпийской сборной, – а вот рапирист попался им никудышный, всего лишь со вторым разрядом. Учитель танцев сносно показывал брейк на линолеуме. А на паркете, под колоннами, забывал фигуры сарабанды. Неплохо было бы иметь двух преподавателей и ввести раздельное обучение – нынешних и исторических танцев. Вызвали уважение педагоги латыни, древнегреческого и древнееврейского языков, француженка же досталась им досадно шепелявая. Профессор Чернуха-Стрижовский увлекательно вел в салоне уроки карточных игр, пасьянсов, фокусов, гаданий и умственных развлечений, но как человек азартный порой забывал обо всем объеме предмета и часами занимался игрой в очко или буру лишь с самыми способными учениками в ущерб другим. Тут Тамара Семеновна запнулась, смутилась, посмотрела на художественного руководителя – не посчитал ли он ее ябедой? Однако Шубников кивнул одобрительно, давая понять, что староста, тем более всего потока, и

должна быть строгой и ответственной. Тогда Тамара Семеновна сообщила, что учеников одолевают желающие проникнуть на уроки Высшего Света, москвичи и провинциалы, с предложениями перекупить их ученичество. И есть соблазненные, продавшие свои места на занятиях и даже в очереди на занятия. «Разберемся со строгостью!» – нахмурился Шубников. Тамара Семеновна встала. Замечу, что в беседе с Шубниковым она нет-нет, а изящно и, надо думать, к месту вставляла словечки и выражения по-французски, вряд ли существенные для сути беседы, но несомненно украсившие ее. Шубников их смысла не понял, в школах и в институте его пытались научить дойче шпрахе, но не научили, теперь же лингвистические изящества Тамары Семеновны не получили его видимого отклика. Тамара Семеновна почтительно напомнила Шубникову об обещанном посещении уроков, это было бы не так скучно и самому художественному руководителю, а уж какими полезными оказались бы его творческие указания.

– Хорошо, хорошо, завтра, – пообещал Шубников.

Тамара Семеновна сама сняла с крюка шубку, сама надела ее, мило, но отчасти и кокетливо улыбнулась на прощание Шубникову, ее нисколько не удручало, что он опять не поспешил ей услуживать, не лакеем же назначено было ему пребывать на улице Цандера. А Шубников просто не нашел сил двинуться к ней. Он был покорен нынче Тамарой Семеновной. В матроске и в духах блаженной поры случилась лишь подсказка судьбы. Тамара Семеновна была ему нужна. Такая женщина должна была состоять при нем в грядущем. В его отношениях с Любовью Николаевной при всех удовольствиях не исчезало напряжение, оглядка на нее сковывала Шубникова, зависимость от нее вызывала даже порой ощущение какой-то своей мелкости. Рано или поздно Любовь Николаевну как подругу ожидала отставка, она, конечно, осталась бы сподвижницей Шубникова (до поры до времени), но должна была вернуться на определенное ей место рабы и берегини. Да, именно так! А Тамара Семеновна (или такая, как Тамара Семеновна) не переставала бы глядеть на него как на героя, творца и благодетеля.

Но не отправила ли его самого в отставку Любовь Николаевна? Не глумилась ли над ним теперь, в отдалении или высях? Пусть попробует, пусть осмелится! Недолго продлятся ее шутки и дерзости! При нем его сила.

Шубников распорядился доставить ему учетное дело Тамары Семеновны. И увидел в нем то, чего хотел бы не помнить. Нынешний муж Тамары Семеновны, районный архитектор, Шубникова не волновал. Но

первым мужем Тамары Семеновны навечно оставался Михаил Никифорович Стрельцов.

Отменять Тамару Семеновну Шубников не был намерен. В ней проступали смысл, благодать и успокоение.

А Михаилу Никифоровичу требовалось воздать.

49

Любовь Николаевна не объявилась ни вечером, ни разумным утром, и Шубников решил посетить уроки Высшего Света один. Да пусть бы Любовь Николаевна теперь и вовсе не существовала.

Шубников почувствовал, что на уроках он появится в форме черного гардемарина. Отчего именно черного гардемарина и что это за форма, Шубников не знал. В голове как нечто влекущее засело однажды – черный гардемарин. Костюма черного гардемарина не было в Палате Останкинских Польз, ни тем более в гардеробе самого Шубникова, и, чтобы удовлетворить свой каприз, он вытребовал костюм (без примет императорского флота) личным пожеланием. Вскоре, вытянув шею, гардемарином стоял Шубников перед зеркалом в своей прихожей и сознавал, что как мужчина, как воин он грозен, ослепителен и неотразим. Из-за угла коридорного выступа смотрел на него, открыв в удивлении пасть, Мардарий, и в наглых глазах его виделось: «И мне!» «Перетерпишь!» – грубо сказал ему Шубников и проследовал на улицу Цандера. Уже у Палаты Шубников вспомнил о драме вселенной, о своем предназначении, стал хмур. Мальчишка-первоклассник, что ли, он, налепивший на курточку бумажные погоны и ожидающий, что его сейчас же во дворе признают Рокоссовским? Да и зачем ему это? Какой он гардемарин! Неужели эдак подействовала на него матроска?

Начальственным энергичным шагом, скупо кивая кому-то на ходу, Шубников прибыл к парадному подъезду Высшего Света. Там в вестибюле у нижней площадки лестницы, протекающей в гранитах и мраморах двумя рукавами, напоминая о Посольской, или Иорданской, лестнице Растрелли, восстановленной Стасовым и ведущей к Невской и Большой анфиладам, его ожидали директор Голушкин, всяческие служилые лица, среди них жизнелюб Ладошин и скучный нынче Бурлакин. И им Шубкин жестко кивнул. Поклонился лишь Тамаре Семеновне. Та встречала его вовсе не в матроске, а была с обнаженными плечами, в длинном белом платье из тончайшего шелка, сквозь который виднелся плотный чехол, жена моя нашла бы в этом платье увлечение античностью, высокое положение талии, малый объем лифа и прочие тонкости стиля ампир. И вчерашние косички отсутствовали у Тамары Семеновны, прическа ее была теперь высока и сложна. Не соответствовали платью бумаги и тетради, которые держала Тамара Семеновна, но как без них могла обойтись староста потока?

Шубников быстро, чуть ли не перескакивая через ступени, стал подниматься по лестнице, уже наверху, у развода анфилад, выразил директору Голушкину недоумение, указав на золоченую лепнину, барельефы с копьями и шлемами римских легионеров, на голого и сытого Зевса, примявшего перины облаков плафона:

– Зачем эти излишества?

– Но ведь с погружением… – сказал Голушкин и замолк обиженно.

– Ученики хотят, чтобы было роскошно. И готовы платить, – мило улыбнулась Тамара Семеновна и добавила французские слова, какие не могли объяснить Шубникову, осуждает ли она стремление к роскошному или согласна с ним.

– Мы ведь можем все ксерить, – выступил из свиты вперед Ладошин.

– Ладно, – махнул рукой Шубников. – Обсудим потом.

И продолжил движение.

Уж кто-кто, а он, естественно, сам знал, что помещения Палаты и их обстановка разорительных затрат не требуют. Двухэтажному строению на улице Цандера можно было обойтись и без видимых останкинским пешеходам пространственных приобретений. Когда следовало что-либо в Палате раздвинуть, углубить или возвысить, это происходило сейчас же по волевому заказу, утвержденному им, Шубниковым. При благонадежии в делах Шубников стал доверять подробности заказов директору Голушкину и его помощникам. Был оборудован в Палате и пульт Метаморфоз. Все возникало – веди искусствоведов и ювелиров! – как подлинное, не то что в сиротских павильонах жалкого «Мосфильма». Излишествами же сейчас казались Шубникову два рукава дворцовой лестницы, золоченые копья и шлемы, плафоны размером со скаковое поле. Достойны ли были этих лестниц и плафонов ученики, всякая шваль? Подай им чего-нибудь роскошного! «И что это Голушкина тянет к классицизму? – думал, раздражаясь, Шубников. – И мне подсунул мебель с канделябрами и жирандолями! Может быть, он в душе просветитель? Но ожидает Бонапарта?» Голушкину, Ладошину, а заодно и ходячему процессору Бурлакину довелось бы сейчас услышать, возможно, и обидные слова, но Тамара Семеновна в ларинском платье и с бумагами в руках грохоту мешала. Шубников понимал, что раздражение его вызвано не лестницей из Зимнего дворца (хотя и ею: таких лестниц ему пока не выкатывали), а ожиданием каких-то неприятностей, может быть, и скандала. Отнюдь не безболезненной оказалась пропажа или отлучка Любови Николаевны.

– Ладно, показывайте мне классы, – приказал Шубников. – Но без церемоний и без остановки уроков. Будто нас и нет.

– Но ученики хотели бы и поговорить с вами…

– Что? – недовольно обернулся Шубников в сторону Тамары Семеновны и замолк. Справа в свите, но и несколько поодаль от нее и сам по себе шел Перегонов.

Шубников чуть было не поинтересовался у Голушкина, отчего возникли посторонние, но посчитал, что пусть Перегонов походит, ему тоже требовалось роскошное, может, Растреллиева лестница заставит его расстроиться, может, и был в ней резон.

– Ученики имеют претензии? – спросил Шубников.

– Наверное, они хотят о портретах… – поспешил Голушкин.

Тамара Семеновна сообщила, что все ученики желают иметь по окончании занятий портреты, маслом на холсте или же на доске темперой, для фамильных галерей, персональные и групповые.

– Групповые, – усмехнулся Шубников, – это как «Ночной дозор», что ли?

– Они хотят, – сказал Голушкин, – чтобы мы предоставили им живописцев.

– Напрокат, что ли?

– Некоторым и скульпторов для мраморных бюстов.

Шубников, сузив глаза, посмотрел на Перегонова, каково тому-то, но наткнулся на взгляд ехидный и будто бы обещающий конфузы не далее чем через полчаса.

– Хорошо, – помрачнев, сказал Шубников. «Нет, свинья какая! – подумал он о Перегонове. – Издевается!» Но, может быть, на самом деле Любовь Николаевна была у них, в лапах у Перегонова и его подельников, заложницей, а то и мученицей, или, может быть, она сама перекинулась в их стан, в стан игроков, удачливых и ей понятных? Мерзкие ощущения и обиды испытывал сейчас Шубников. Но пока он не был намерен опять показывать Перегонову силу; коли лестница и анфилады присутствовали, то и сила была при нем. Его сила, его свет, его жар и ничьи другие.

Заметив, что Шубников взглянул на часы, Тамара Семеновна с некоей укоризной улыбнулась гардемарину и сказала, что много времени у него не отнимут, он сейчас увидит занятия в классах, а затем, после перемены, ученики всех групп сойдутся на пятидесятипятиминутный бал. Тамара Семеновна протянула Шубникову картонный лист с расписанием и предложила самому определить порядок похода по классам. «Все-таки она трогательна и без матроски, – ощутив опять запах духов из детства, подумал Шубников. – И прелестна». Ему захотелось, чтобы мысль эта донеслась до Любови Николаевны.

– Заглянем сюда, – выбрал Шубников урок «Сочинение стихов в альбом. Группа семнадцатая». – По каким принципам формировались группы? – мягко спросил он.

– По кругам… – сказала Тамара Семеновна.

Люди пришли сюда разные, принялась она объяснять, то, что они в зрелые годы отважились учиться, достойно похвалы, но все они со своим норовом, амбициями, предрасположениями и привычками, гордецы и упрямцы, и это мешало тишине на занятиях, проще всего оказалось объединить в группы людей своего круга.

– Группа семнадцатая? – спросил Шубников.

– Сфера обслуживания, – сказала Тамара Семеновна. – Главным образом продукты питания. Ими довольны почти все преподаватели. Лучше многих готовят домашние задания.

Движением руки Шубников указал Голушкину и свите остаться в коридоре. И Перегонову было отказано в посещении этого занятия. Войдя в класс, Шубников с Тамарой Семеновной уселись за стол у стены с наглядными плакатами и диаграммами. По неловкости Шубников наткнулся на Тамару Семеновну, тут же, извинившись, отодвинулся от нее, но соприкосновение тел, похоже, оказалось приятным и для него и для Тамары Семеновны.

Если бы вошел в класс Михаил Никифорович, он тотчас бы углядел здесь некоторых своих знакомых. В частности, мастеров, рубивших бумажные деньги в мясницкой Петра Ивановича Дробного. Не было самого Петра Ивановича, не было физика-расстриги с молочной фамилией, а вот толстый мясник по прозвищу Росинант, мясники Николай Ефимович и Фахрутдинов пополняли образование. На табло светились слова: «В альбом одной московской барышни: „Нет прошедшего, но его воображает тщетное воспоминание. Нет будущего – его рисует необузданная надежда. Есть одно настоящее, но в одно мгновение оно переходит в лоно небытия. Итак, поистине жизнь есть воспоминание, надежда, мгновение“. Сальваторе (Николай Иванович) Тончи». Кто такой Тончи, Шубников вспомнить не мог, пожалуй, судьба никогда и не сводила его с этим Сальваторе, или Николаем Ивановичем. «Тончи…» – глубокомысленно прошептал он на всякий случай. Вторая половина восемнадцатого века – начало девятнадцатого, – сразу же шепотом откликнулась Тамара Семеновна, – поэт, философ, певец, живописец, автор портрета Державина в собольей шубе и шапке от иркутского купца Сибирякова, авантюрный человек, считавший, что все в мире призрачно, все грезится и мерещится. «Да, да», – согласился с ней Шубников. «Она понимает, она чувствует

меня!» – подумал он с умилением.

Ученики и ученицы семнадцатой группы (а сидели они во фрачных костюмах и в бальных платьях) выглядели чрезвычайно старательными. Иные, в их числе Росинант, писали, в усердии высунув языки. Писали кто чем, но четверо – глухариными перьями. Возможно, имели отношение к «Лесной были» или «Дарам природы». Тему записи Тончи ученикам следовало разработать и создать стихотворный экспромт в альбомном жанре. Трое преподавателей, одним из которых оказался Игорь Борисович Каштанов, занятие проводили также во фраках. Шубников отчасти удивился: неужели Каштанов не был накормлен нынешним его местом, неужели не довольствовался составлением направленческих текстов? Да и совместимо ли было его положение с ролью учителя? Шубников решил не горячиться, в особенности вблизи Тамары Семеновны, может, Каштанову и полагалось быть в классах… Один из преподавателей, по словам Тамары Семеновны, был историк быта и нравов Прикрытьев, другой, большой, грудастый, бритый наголо (фрак и манишка с черным бантом его тяготили, теснили, заставляли дергаться и поводить шеей), считался лирическим поэтом, песню его исполнял по «Маяку» сам Виктор Шпортько. Историк похаживал по классу благодушный, он привык ко всяким нравам. Да и чем страннее выходили быт и нравы, ему как исследователю, надо полагать, было приятнее. Игорь Борисович Каштанов при явлении Шубникова притих. А вот лирический поэт Сухостоев шумел, страдал, знакомясь с упражнениями учеников, видел повсюду влияние Евтушенко и Юнны Мориц: «Да что же это! Да как же так! Да у нас в литобъединении „Борец“ за такие слова…» Румяный белоголовый историк его снисходительно успокаивал, уверял, что экспромты и буриме не падают нынче августовскими звездами, да и прежде иные признанные чародеи месяцами загодя мусолили дома свои импровизации. «Я не про это! – не унимался лирический поэт. – Я про раскрытие темы пусть и грубыми, но своими понятиями!» «Давайте еще посмотрим, – предложил румяный историк и взял листы у тихого Росинанта. – Вы кто по профессии? Да, знаю, помню. Вы-то что написали? Давайте. Ага. „В альбом тов. Т.Р.Б.“. Это хорошо. Дальше: „Что наша жизнь? Игра! Под стук кровавый топора. Так будь же, ангел мой, добра, не бей подушкой комара!“ „И это все?“ „Все“, – выдохнул взволнованный Росинант. Сухостоев был, похоже, обескуражен. „Ни у кого не списали?“ – покосился он на Росинанта. „Н-нет…“ – с хрипом произнес Росинант. Сухостоев стал дергаться, лист бумажный вертел и осматривал и все повторял слова „Под стук кровавый топора“, но по-разному, то ставя их на один бок, то на другой. „Нет, в литобъединении

«Борец“… – сказал он наконец. Шубникову надоел Сухостоев, он поднялся, давая понять Тамаре Семеновне, что здесь ему все открылось. Игорь Борисович Каштанов принялся говорить об особенностях стихосложения середины семидесятых годов в условиях умеренно континентального климата, но его не слушали. Ученики, прежде не замечавшие Шубникова, смотрели теперь в его сторону, да так, будто прыгнуть на него хотели. В их взглядах Шубников увидел просьбы, требования, жажду. В классе возникло энергетическое поле, и черный бант наконец отлетел от адамова яблока поэта Сухостоева.

– Дальше! – приказал Шубников в коридоре Голушкину.

Теперь движение Шубникова по классам было спешным, будто бы объезд позиций на боевом коне. Впрочем, гардемаринам кони вряд ли полагались. Из класса в класс Шубников переходил хмурый, улыбался редко и лишь одной Тамаре Семеновне. Не могли удержать Шубникова и в фехтовальных залах. Ему были противны победные и прощальные крики «а-а-а-а!» при уколах шпагой или рапирой, особенно если кричали, скидывая железные маски, какие-нибудь педикюрши или бездельницы из Минприцепа, и были ему противны ароматы их мушкетерского пота. Недолгим вышло и пребывание Шубникова в тире, где двадцать третья группа совершенствовалась в стрельбе по-македонски. А Перегонов на тех стрельбах застрял и этим сделал Шубникову одолжение. Сразу же Шубников попал на урок изящного образа жизни. Девятнадцатая группа знакомилась с обстановкой и гигиеной будуаров. Нынче погружались в будуар, устроенный Л.Бакстом в третьем году. Занятия проводила Клавдия Петровна Воинова. Шубников остался недоволен. Белое сукно, закрывшее пол, с орнаментом из черных и серебряных прошивок показалось ему лишним, стулья же, пусть и с бархатной обивкой, и кровать были болезненного модерна, в таком будуаре, да еще и без алькова, не хотелось ни сидеть, ни спать.

«Изыски какие-то! – постановил Шубников. – Хоть и Бакст!» Затем его провели в кабинет политической экономии. Сорок первую группу, корпевшую над ошибочными соображениями Давида Рикардо, целиком собрали из апельсиновых женщин полуденных лет. «Кто такие?» – спросил Шубников. «Девушки из бассейна Христа Спасителя», – сообщил Голушкин. «С Кропоткинской набережной, – подтвердила Тамара Семеновна. – Они ходят туда плавать, загорать, исходить истомой в парной». Сказала она это пренебрежительно и, может быть, с допустимой старосте иронией. Девушки из бассейна Христа Спасителя были актрисы, киноведки, вязальщицы и чьи-то жены. Давид Рикардо давался им легко. И

опять на пути Шубникова возник спортивный зал, где под портретами Брюса Ли и Чака Норриса грузно-степенные, но и задорные дамы и мужчины из министерств земных и надземных сообщений овладевали приемами каратэ и боевой пластикой шаолиньских монахов. Рядом расположился манеж, и в нем гарцевали всадники восемнадцатой группы. Следом находилась псарня, ее запахи взволновали Шубникова, но он лишь заглянул в помещение, где носились милые его сердцу Каратаи и Бушмены, где звучали охотничьи рожки и пролетали не тронутые дробью вальдшнепы. Шубников бежал дальше, воспоминание о постыдной поре сотрудничества со скорняками ухудшило его настроение, и без того невеселое. Зачем, зачем ему его предназначение, зачем ему его свет и жар! Жил бы просто, служил бы егерем или хотя бы псарем – как было бы хорошо! А тут еще и Любовь Николаевна покинула его. Шубников нервно взглянул на Тамару Семеновну, а потом поискал Перегонова, но не было Перегонова рядом.

– До перемены осталось двадцать пять минут, – сообщила Тамара Семеновна.

Теперь в некоторые классы они лишь заглядывали. Совершенно не захватили Шубникова уроки музыки. Вполне пригодный в светские львы архитектор-улучшатель Москвы, с медалью лауреата, автор стакана-постамента кому-то, дурно играл на фаготе, врал. А вот специалист, об азартных увлечениях которого Тамара Семеновна рассказывала накануне, профессор Чернуха-Стрижовский, дылда с очками рассеянного учителя сороковых годов, Шубникову понравился. Не то чтобы понравился – вызвал любопытство и понимание. Это был очевидный пройдоха, возможно, шулерствовавший при случаях в поездах дальнего следования где-нибудь между Читой и Могочей, с картами он общался как артист. К тому же Шубникову пришло в голову, что именно такими были боевики-анархисты и что этот лукавый пройдоха еще ему понадобится. Нынче профессор показывал ученикам камни, игру, особо любимую голштинским выходцем, недолгим и нелепым российским императором, в ней вместе с картами действовали фишки. «Не велика ли группа?» – спросил Шубников. Выяснилось, что к профессору прибились и ученики с других уроков. «Наказать! – рассердился Шубников. – Вплоть до отчисления!» «Но красиво общается с картами, мерзавец, красиво, – думал Шубников, шагая далее. – Такой и бомбу бы бросил где надо!» Будто вызванный этой мыслью, впереди, в далеком сгибе коридора, возник Мардарий. «Да что это он! – возмутился Шубников. – Обнаглел, негодяй!» Ему показалось даже, что Мардарий возник в костюме черного гардемарина и дразнит его, так ли

это, он разглядеть не успел, Мардарий пропал. Тамара Семеновна пыталась обратить на что-то внимание Шубникова, но он грубо оборвал ее, губы Тамары Семеновны задрожали.

– Ба-ба-ба! – услышал Шубников противный ему голос Перегонова. – А инспектор-то сердится! Неужели так плохи уроки? Совсем не плохи. Особенно в тире.

Шубников ему не ответил.

Были на лету еще представлены уроки: публичного и частного права (по расписанию – одиннадцатая группа, мастера кудрей), тонкой словесности (седьмая группа, шахматные стратеги и тактики, титаны защиты Нимцовича, а также администраторы со студии Горького и банщики из Астраханского переулка), спиритических сеансов в неосвещенной гостиной с вопросами осведомленным духам (двенадцатая группа, дамские угодники; нынче на связи были духи – девственницы и почитательницы искусств Христины Шведской, Ваньки Каина и Отто Скорцени, этого спрашивали о Янтарной комнате), каретной географии (тридцать первая группа, бойцы охраны и вертуны речных течений), вышивания бисером, крестом и мережкой (шестнадцатая группа, девушки вечерней воды бассейна Христа Спасителя), дипломатического церемониала и протокола (десятая группа, другие мастера кудрей), разговоров о погоде (двадцать седьмая группа, средние чины из аппаратов и лица, попросившие не разглашать их должностей и профессий, преподаватели достались им весьма приятные, два блондина, с усами и без усов, призванием которых были теплые и без осадков прогнозы), правил контактов с инопланетянами (четвертая группа, труженики ГАИ). И вот уже Шубникова проводили мимо класса, где зрелые мужи и дамы, взявшиеся наконец за ум, должны были изучать латынь. Урок латыни давали тринадцатой группе. «В ней спортивные комментаторы, – сообщила Тамара Семеновна. – Вы их знаете в лицо и по звуку…» «А не Михаил ли Никифорович у них преподаватель латыни?» – подумал вдруг Шубников. Сама мысль об этом была глупая, однако Шубников, будто ему встретилась баба с порожними ведрами, готов был бежать от класса с латынью. «Да что же это я?» – недоумевал Шубников. И он рванул дверь класса. Преподавателем был сорокалетний язвенного вида мужчина, пребывавший в осеннем, возможно, дедовском пальто, потертой шапке-пирожке и в валенках. «Недоросли! – кричал он ученикам. – Недоросли! Простейшее римское выражение, его знали не только патриции, его знала толпа! А вы не можете его усвоить! Семнадцатая группа куда способнее вас. Недоросли!» Семнадцатая группа дописывала сейчас стихотворения в

альбомы, не подозревая о комплиментах латиниста.

Прозвенел звонок. Шубникову было не по себе. Не забывалось ощущение, испытанное при уходе из класса с альбомами. Но семнадцатая группа казалась теперь Шубникову деликатной. Мгновенные взгляды в его сторону на других уроках были агрессивнее, там ученики не то чтобы могли на него прыгнуть – могли и растерзать. Всем им что-то было необходимо от него. Вот-вот, ожидал Шубников, должен был случиться конфуз или скандал. Душно стало Шубникову, находила гроза. Душно, но и знобко.

Шубников полагал теперь, что исполнителем воли громовержца станет Перегонов.

Для порядка появились в коридоре хладноглазые молодцы и женщины в кимоно. Но шум в коридоре стоял, ученики не бегали и не озорничали, а, похоже, выясняли какие-то отношения. То и дело Шубников слышал выкрики: «Пандейро!», «Скачки!», «Шляпы!», «Трибуны!», «Сектор!». Шубников захотел узнать, в чем суть коридорных бесед учеников. Тамара Семеновна стала объяснять как бы с неохотой. Кроме портретов все желают получить и пандейро, каждый свое. «Какие пандейро?» «Вы знаете какие», – сказала Тамара Семеновна. А в ближайшие дни предстоит погружение на трибуны Королевских скачек, какие ежегодно устраиваются в пригороде Лондона. И вот, к сожалению, возникли споры и даже конфликты из-за мест на трибунах с предъявлением прав, привилегий, житейских значений, традиций и связей тех или иных кругов. «Где же хотят сидеть?» «Естественно, ближе к главной ложе. Почетнее по правую сторону. Дамы спорят и из-за шляп, какие кто получит. На скачках в обычае смотр шляп…» «Думаю, что самая завидная и дорогая шляпа достанется вам, – сказал Шубников. – Я вас обидел давеча. Прошу прощения. Мне нынче что-то нездоровится». Он чуть не добавил: «Видно, гроза будет».

– Ну вот и звонок, – сказал Перегонов. – Теперь нам следовать на бал.

– А вас приглашали? – зло повернулся к нему Шубников.

Перегонов рассмеялся. «Если сейчас он скажет „батюшка“, – подумал Шубников, – я его истреблю».

– А разве не приглашали? – спросил Перегонов.

– Ладно, – хмуро сказал Шубников. – Посчитаем, что приглашали.

– Вы, видимо, не помните, о чем мы с вами беседовали. Ваша недальновидность приведет лишь к бедам. Кто и что за вами? Цветы одуванчики. Сейчас цветут, а потом стоит раз дунуть… Можно ведь только распорядиться – и все разлетится и рассыплется. И не будет никаких балов.

А вы дерзите. Вы ведь только гардемарин. А у нас есть – о-хо-хо! Вот так-то, батюшка.

Ни слова не мог произнести Шубников.

– Не знаю, кто вы, – обратилась к Перегонову Тамара Семеновна, – но то, что вы грубиян и хам, это очевидно. Не знаю, кому вы еще угрожаете, но то, что вы угрожаете и мне как старшей на занятиях, с балами в частности, тоже очевидно. За вами какие-то «о-хо-хо». Однако мы вас на занятия не звали, и, если вы сами не потрудитесь уйти, вас выведут. Есть кому. – Тамара Семеновна добавила два слова по-французски, возможно, выругалась.

Перегонов откинул голову, ухмыльнулся, подкинул металлический рубль, поймал его и, наверное, согнул, смял в ладони. Тамару Семеновну он увидел впервые, женщин он не принимал всерьез, таких дамочек он щелкал на счетах собственной судьбы сотнями, а эту мог сейчас и размазать. Тамара Семеновна стояла гордая, готовая дать отпор. Но Перегонов склонил перед ней голову, сказал:

– Извините. Я пошутил. Я нескладный человек. Всегда завидовал Печорину. Я прошу: впустите меня посмотреть. Я тихонько посижу в углу.

– Если только тихонько, – смилостивилась Тамара Семеновна. – И если только в углу.

«Дурака валяет, – думал растерянно Шубников. – Неужели Любовь Николаевна у них или с ними?»

А Тамара Семеновна ввела Шубникова в зал собраний и балов. Зал с колоннами и зеркалами был празднично освещен, три оркестра расселись наверху: на балконе – скрипачи с Бессарабки, на хорах слева – музыка полковая, на хорах справа – бесшабашный ансамбль, способный поднять на ноги едоков самого степенного ресторана. Зал был пока почти пуст, распорядитель бала и еще какие-то люди, возможно, представители групп, суетились у закрытых парадных дверей. Шубникову по-прежнему было душно и знобко. «Скорей бы все это началось и кончилось…» Подлетел распорядитель будто из тех, что с шашкой наголо встречают во Внукове премьер-министров, сказал о том, что нынче бал не показательный и тем более не выпускной, а учебный, учебный, учебный, а потому в нем, к сожалению, будут происходить заминки, неловкости, нелепости, может быть, с точки зрения высокой эстетики, и безобразия. Однако какое может быть ученичество без неловкостей и безобразий? После этого распорядитель поинтересовался, не соизволит ли Шубников вместе с Тамарой Семеновной открыть бал, стать первой парой в торжественном полонезе.

– Нет, ни в коем случае! – в испуге сказал Шубников.

Танцевать он любил и считал себя отменным танцором, но разве мог он теперь предстать танцором перед толпой? Тамара Семеновна, похоже, была разочарована.

– Но только не тяните, – сказал Шубников распорядителю. – И в учебном должны быть ритмы и темп.

Распорядитель кивнул, взмахнул рукой, духовой оркестр взгремел полонезом, парадные двери царственно отворились, шествие черных кавалеров и белых дам началось. Пусть и не участвовал в нем кордебалет Большого, пусть кавалеры и дамы были самых разнообразных степеней совершенства, стройности и полноты, шествие не получилось ни неуклюжим, ни ущербным, ни смешным. Распорядителю, как выяснилось, доводилось устраивать зрелище и в Лужниках. Дамы и кавалеры были именно не кордебалетом, во всем кордебалете не нашлось бы столько драгоценностей, какие украшали иных дам и взблескивали на пальцах иных кавалеров, они ощущали и выказывали свою важность, двигались с достоинством, с просветленными лицами значительных людей, им было хорошо. Кончился полонез, и был объявлен менуэт, и менуэт удался. Ученики танцевали с охотой, а кто и с вдохновением. И забылись коридорные споры с выяснением прав и привилегий. Протанцевали пасодобль и начали темно-вишневое танго, томили душу скрипки, возможно, из «Гамбринуса».

При звуках скрипок и вошла в зал с колоннами пропащая Любовь Николаевна.

Скрипки не успокоились, и не прекратилось танго, но музыканты и танцоры, несомненно, смотрели теперь в сторону Любови Николаевны. Она явилась на бал в костюме олимпийской наездницы – во фраке с блестящими отворотами, в черных брюках, в сапожках и с хлыстом, шляпку швырнула на ходу служителю, волосы ее, светлые нынче, падали на плечи. Участники бала могли предположить, что Любовь Николаевна выезжала на место грядущих Королевских скачек, неурядицы задержали ее, этим и объясняется и ее опоздание и ее костюм.

Любовь Николаевна встала рядом с Шубниковым и Тамарой Семеновной, не одарив их ни словом. Шубников не удержался и отыскал глазами Перегонова. Тот дремал невдалеке за мраморной колонной и впрямь смирный. Любовь Николаевна, на взгляд Шубникова, была сегодня чертовски хороша. Но и Тамара Семеновна была хороша. Причем если Любовь Николаевна была именно чертовски, дьявольски, ведьмински хороша, то Тамара Семеновна была ангельски хороша, серафимски

хороша; как еще… «Ну и пусть, – решил Шубников, – значит, так и должно быть».

Шубников успокаивался. Синие, серые и лиловые тучи собирались в битву, но одумались и разбрелись. После «Ча-ча-ча», экосеза и рока был объявлен перерыв для бесед, желательно на иностранных языках, в их числе и древних. И для десертов. Неугомонные танцоры наседали на распорядителя, упрашивая его включить во вторую часть бала брейк. «Измажете мастикой фраки и платья», – был неумолим распорядитель. Но большинство учеников расхаживали у зеркал с неспешными разговорами. Многие же сидели в креслах на подиумах перед колоннами и между ними. К наиболее примечательным личностям подводили людей заинтересованных для представлений, выстраивались и очереди, кого-то освежали перламутровыми веерами с китайскими пейзажами, кому-то целовали ручки. Служители в белых чулках и коротких штанах с застежками под коленом разносили напитки, прохладительные и светские. Среди них Шубников увидел и Валентина Федоровича Зотова. «Зачем его-то? – подумал Шубников. – Впрочем, пусть знает свое место».

Шубников будто бы не помнил, что он не только не истребил Перегонова, унизившего его, но и попросту сник перед наглецом (впрочем, помнил, как помнил и о заступничестве Тамары Семеновны). Он стоял, с терпением и высокопревосходительностью смотрел на забавы взрослых людей. Впрочем, сюда они ездили и ходили не ради развлечений. Тамара Семеновна не отходила от него, словно бы уравнивая себя с Любовью Николаевной или даже бросая ей вызов. Любовь Николаевна постукивала хлыстом по голенищу сапога, иногда и улыбалась сдержанно (или иронически?). Шубников прикрыл глаза. Какая суета, какие ожидания от него подачек, помощи, осуществления надежд, грез, ночных видений! От него, и ни от кого больше. Он, Шубников, объял покровом не одно лишь Останкино, но и весь взбаламученный желаниями, недостойный его город.

– Коньяк… Шампанское… Апельсиновый напиток…

Шубников открыл глаза. С подносом в руках стоял перед ним Валентин Федорович Зотов. Маленький, лысый, с оттопыренными ушами, в зеленом камзоле, в коротких штанах, белых чулках и лакейских туфлях с пряжками, он был точно шут гороховый. Точно Фарнос со сретенского лубка. Шубников рассмеялся.

– Валентин Федорович, у вас две пуговицы камзола не застегнуты. Нехорошо на балу-то! И парик стоило вам надеть.

– Ах ты паскуда! – вскричал дядя Валя, рванулся, роняя посуду с подноса, к Шубникову, успел подхватить хрустальный бокал и плеснул

шампанское в лицо Шубникову. – Паскуда! – кричал он. – Фальшивомонетчик! Возьми бункер себе! Верни мне душу!

Женщины в кимоно, сейчас же оказавшиеся рядом, бережно, но и мужественно взяли Валентина Федоровича под руки и повлекли к запасному выходу, никто не бросился ему на помощь, не залаяла собака, доносились лишь слова уводимого с почетом Валентина Федоровича:

– Выдворят тебя из Останкина, вышвырнут… И этих стерв!..

– Надо же, с цепи сорвался! – вынырнул откуда-то с полотенцем в руке директор Голушкин.

Но капли и струи шампанского с лица гардемарина уже нежно снимала батистовым платком Тамара Семеновна. А Любовь Николаевна постукивала хлыстом по сапогу и улыбалась уголками рта.

Ученики уже выстраивались для фигур краковяка, выходка дяди Вали, возможно, удивила танцоров, но не настолько, чтобы отвлечь от их интересов: мало ли в нашем городе отыскивается дурно воспитанных людей и смутьянов. К тому же шампанское плеснули в лицо не им. Но за колоннами у парадных дверей возникло какое-то движение и шум. «Места, что ли, на скачках объявляют?» – сообразил Голушкин и поспешил к дверям. Распорядитель дал знак. Черед был полковой музыки, и она заглушила все в зале. Краковяк понесся буйный и неистовый, но в развитии его вдруг вышла заминка, а потом, после истошного возгласа или воинственного кровожадного клича, красота и гармония танца были разрушены, патрицианское собрание стало бушующей толпой. Начался и рукопашный бой. «Круги поссорились из-за мест…» – сказала побледневшая Тамара Семеновна. Распорядитель взмахивал руками, полагая, что воспоминание о краковяке или хотя бы о менуэте облагоразумит драчунов, возвратит им поэтическое состояние душ, возродит в них артистов, но взмахи его были лишь ложно истолкованы музыкантами, а потому зазвучали сначала скрипки, а затем и промышленный ансамбль с электрической аппаратурой. Не было понимания на паркете, не было понимания на хорах и на балконе. Духовой оркестр дул краковяк, бессарабские скрипки взвились мольбой, пересыпанной, впрочем, Дерибасовскими шутками о ниспослании дождя выгоревшим буджакским степям, а электрические музыканты опрокинули на толпу веселье заказываемой им по средам за двадцать пять рублей песни «Ты ж мене пидманула, ты ж мене пидвела». Однако внизу была своя музыка и свои слова, безрассудство, опьянение амбициями правило там бал. «Стыд-то какой! – шептала Тамара Семеновна. – Безумие какое!» Трещали фалды и рюши, сыпались на пол жемчуга, серебряные браслеты

сингапурских часов, заколки слоновой кости из растрепанных вражьими когтями волос, кусочки коралла с золотых цепочек, выскакивали пластины паркета, выбитые тяжелыми ногами, на мраморе колонн виднелись царапины будто бы от сабель, опадали граненые подвески люстр, апельсиновые женщины из бассейна Христа Спасителя, уж на что добродушные, и те с туфлями в руках каблуками вперед наступали на растерявшегося Росинанта и учеников семнадцатой группы, супруги Лошаки, только теперь замеченные Шубниковым, схватив по стулу, громили предсказателей погоды, столбовой толкователь на экране заморских оскалов и гримас совал головой в зеркала селезневского банщика и орал: «Твои места в секторах „У“, „Ф“, „Х“, „Ц“, „Ч“, а ты дачу рядом со мной строишь!» У иных на лицах были кровь и ссадины, иные волочили ноги, в чьих-то руках увиделись Шубникову ножи, кастеты, разводные ключи. А сверху по-прежнему падали звуки – буханье тубы, удары медных тарелок, ехидные укоры скрипок, издевательские электрические искажения трепака. И вдруг, к ужасу Шубникова, из толчеи стали выскакивать тугие кислородные подушки, растянутые бандажные пояса, протезы ног и рук, согнутые в металлических суставах, надутые эластичные чулки для страдающих тромбофлебитом. Они плясали, дергались над толпой, их становилось все больше и больше.

Оставаться в зале Шубников уже не мог. «Мерзость какая! – думал он. – Какие ничтожества! И ради них я был готов вырвать сердце!» В коридоре его догнал Перегонов. Он не был похож на только что дремавшего человека.

– Ну-ну, – сказал Перегонов. – Ну-ну.

50

Ночью Шубникову снились угрюмые сны.

Будто в зале с колоннами его терзала толпа, требовавшая: «Пандейру!» Нет, это были и не сны. Заснуть Шубников, казалось, не мог. Он боялся гасить свет, лежал на диване, не сняв костюм гардемарина, но все же проваливался в дремоты, и тогда в пустом и отчего-то сыром зале изо всех щелей, из потаенных мест, из царапин на колоннах, из-под пластин паркета начинали вылезать ученики благонравных занятий и бросались на Шубникова. Требование пандейры оказывалось для них лишь поводом, им был нужен он, Шубников, весь и по частям, его тело, его внутренности, его легкие и его кишки, его сосуды, его сухожилия… Шубников вздрагивал, стонал, открывал глаза в ужасе, сердце его колотилось. Ему казалось, что жизнь его вот-вот прекратится. Мардария или не было в доме, или он затаился где-то, напуганный возвратившимся со службы гардемарином.

Утром к Шубникову пришло желание жить аскетом, и он постановил: спать отныне на солдатской постели, укрываясь одной лишь шинелью. Он насмотрелся на фраки, манишки, ожерелья, кулоны, браслеты и хлысты. Нога его более не ступит на камни дворцовых лестниц. Все женщины – интриганки с беличьими мозгами, Любовь Николаевна и Тамара Семеновна в их числе. Он подумал даже о том, чтобы спать на досках с гвоздями, но посчитал, что это излишне, что Рахметову они понадобились не для аскезы и страданий, а для житейского спора, ради приключений, свойственных времени. К досаде своей, Шубников вспомнил, что кровать с металлической сеткой Мардарий, проголодавшись, может и изжевать, а диван он не трогал, и Шубников решил ночевать и думать лежа на диване, однако имея одну лишь солдатскую шинель. Собравшись же уходить из дома, Шубников понял, что носить теперь будет ватник. Однако ватника в доме не было, и его пришлось востребовать известным способом. «В последний раз», – уверил себя Шубников.

О своем намерении удалиться от дел он полагал объявить Голушкину сразу же. Но, приняв его, неожиданно отдал распоряжение, не совпадающее с гордым решением: «Уберите все эти ампиры, все эти канделябры и жирандоли. Кабинет должен быть строгим и соответствовать времени». Директор Голушкин, не дождавшись выговоров и укоров, стал каяться. Да, он совершил ошибку, согласившись разрешить подсобному

рабочему Зотову прислуживать на балу, уж больно тот упрашивал об этом, и вот такой скандал.

– А-а-а… – протянул Шубников равнодушно. – Он что, и теперь буянит?

– Нет, – сказал Голушкин. – Не буянит. Ходит тихий. Убрать его?

– Ни в коем случае, – сказал Шубников. – Пусть ходит тихий.

– О том, как закончились вчера занятия с погружением, вам доложит староста. Но она сейчас на Королевских скачках.

– Хорошо, – кивнул Шубников.

Голушкин разъяснил себе и ватник, и удаление жирандолей, и утреннюю апатию Шубникова, а потому незамедлительно разложил на столе документы, эскизы, сметы, имеющие отношение к народному гулянью на улице Королева. Шубников сначала встал как бы нехотя, потом тоже как бы с ленцой снял ватник, а через три минуты преобразился. Он не мог удалиться в частную жизнь, не устроив грандиозное для Останкина зрелище с балаганами, каруселями и фейерверками. Заказчики с водонапорной башни прекратили сомневаться, в особенности когда узнали об интересах Института хвостов, их даже обидело намерение Института хвостов оттеснить их.

– Средства они уже внесли, – сообщил Голушкин и стал рассказывать о проблемах депозитария имени Третьяковской галереи, а Шубников все любовался эскизом двухэтажной карусели-самоката с вертящимся фонарем-чебуречной.

– Что, что? – переспросил Шубников.

– Такое стали в депозитарии закладывать, что не по себе бывает, – сказал Голушкин.

– И что же такое?

– Души предлагают, я советую этим острякам обращаться по иному адресу, хотя бы на Лысую гору или в Лейпциг, в известный кабачок…

– Напрасно, – серьезно сказал Шубников. – Души принимайте в заклад.

– Да? – обеспокоенно взглянул на него Голушкин.

– Безо всяких сомнений. Еще что предлагают?

– Все чрезвычайно невещественное. Скажем, муки совести. Или воздушный поцелуй актрисы Неёловой. И такое, о чем неприятно говорить. Память о матери. Или – любовь к отечеству.

– Воздушный поцелуй оставьте поклоннику актрисы. А все остальное берите, но при строжайшем соблюдении документации.

– Есть заявки на переселение душ. Просьбы интимных свойств, –

подал новую бумагу Голушкин.

– Это ваша компетенция, – сказал Шубников. – Переселите несколько штук для пробы. Свалим гулянье и займемся проблемами переселения душ.

Шубников взял панорамный эскиз, на котором от башни и до станции метро бродили толпы.

– Вот смотрите: гуляют, кушают бублики и поют.

– Народ, который поет и пляшет, зла не думает, – сказал Голушкин.

– Это вы к чему? – удивился Шубников.

– Это не я, – объяснил Голушкин. – Это Екатерина, которая Вторая.

– Полагаю, что женщина заблуждалась, – покачал головой Шубников.

– Вас поджидает помощник по текстам, – уходя, сообщил Голушкин.

Вот уж Игорь Борисович Каштанов вовсе не нужен был нынче Шубникову! Каштанов вошел чистый, новенький, расплатившийся недавно с досадными долгами, частными и государственными, пахнущий детским мылом. Сказал:

– Я хотел поговорить с тобой по-дружески…

– По-дружески – в другие часы и при других обстоятельствах. Но что-то я не помню, чтобы мы с вами были когда-то особенными друзьями.

– Но я… Все-таки я не самый последний человек здесь… Я ведь при… вас… министр словесности, что ли. И не одной лишь словесности. Я и пропагандирую дело…

– Ладно, говорите. Но я ценю ваше время.

– Тогда я обращусь к вам в другие часы и при других обстоятельствах.

– Не устраивайте сцен. Если у вас есть соображения по службе, выкладывайте их теперь.

– Вестник с приложением.

– Как понимать?

Понимать следовало так. Пришла пора Палате Останкинских Польз иметь собственное издание. Предположим, вестник. Издание серьезное, с информацией, литературными и критическими материалами, с останкинскими детективами, с выкройками и кроссвордами, но и с иллюстрациями. Он, Каштанов, знаком с практикой подобных изданий, сам возглавлял журнал с картинками после выпуска из института, который, кстати, как всем известно, кончал художественный руководитель Палаты. «Мне, к счастью, не дали закончить этот ваш Оксфорд», – надменно напомнил Шубников. Каштанов было замялся, но продолжил излагать соображения. Так вот, без сомнения, Палата будет располагать куда более богатыми полиграфическими возможностями, нежели не только какие-то задрипанные «Футболы – хоккей», «Экраны», «Штерны», «Плейбои», но

даже и само «Здоровье». Вестнику Палаты не помешало бы и приложение, лучше – еженедельное. Скажем, в вестнике можно было бы из номера в номер давать репортажи о ходе экспедиции парохода «Стефан Баторий». «Еще не началась навигация», – заметил Шубников.

Но ведь начнется, пообещал ему Каштанов, и тогда репортажи с долгожданным концом объединятся в документальную повесть, ей и будет отведен специальный выпуск. Или вот в Останкине, а также на Мещанских улицах, на Сретенке, в Марьиной роще и в Ростокине ходят легенды о «Записке» художественного руководителя Палаты, но народ не имеет возможности ее прочесть, слухи же о ней и отрывочные сведения из «Записки», передаваемые из уст в уста, могут привести к недоразумениям, искажениям реальности, а потому и к недостатку общественной пользы. «Записку» несомненно надо опубликовать в вестнике, а потом или даже одновременно издать приложением на мелованной бумаге и в телячьей коже, Институт хвостов вряд ли откажет в содействии. И конечно, в вестнике найдется место для биографии художественного руководителя или – лучше! – для обширного автобиографического документа, для хроникальных и портретных фотографий, для публикации речей, посланий и творческих распоряжений с видеоприложением в кассетах. «Ну уж это слишком…» – неуверенно произнес Шубников. Усмотрев упрек в этих словах, Каштанов стал говорить о жанровой широте вестника. В частности, на его взгляд, можно было публиковать в вестнике исповеди привидений, заложенных в депозитарий душ или душ переселенных, записки наемного кота доктора Шполянова или, скажем, жизнеописание Валентина Федоровича Зотова с его отважными фантазиями.

Шубников нахмурился, сказал:

– Все материалы по вестнику и приложению передайте машинам Бурлакина для расчетов.

– Надо бы дать название, – сказал Каштанов. – «Останкинские куранты» или «От Останкина до Марьиной рощи»…

– К названию вернемся позже, – заключил Шубников.

– Вы недовольны тем, что я сижу на уроках погрусветов? – помолчав, спросил Каштанов.

– На уроках кого?

– Погрусветов. Термин экспедитора Ладошина. Но привился. Погружение в Свет. Нас же зовут пользунами.

– Ваше дело, где вам сидеть. Может, и там ваше место.

– Я пытаюсь противопоставить истинную культуру напору Сухостоева, этого вурдалака с замашками лирического поэта. Он

сокрушает ужасами литобъединения «Борец» хрупкие и незрелые натуры учеников, – сказал Каштанов, как бы оправдываясь.

– Высказывание Тончи вы предложили как тему?

– Историк Прикрытьев. Но Тончи, хоть и писал всякую чушь, личность занятная. И хороший художник. Судя по репродукции державинского портрета. В его истории более всего меня тронули шуба и шапка Гаврилы Романовича на портрете. Даже не шуба и шапка сами по себе, а тот факт, что богатей Сибиряков прислал из Иркутска поэту соболью шубу и шапку как благодарность за тексты. Где нынче подобные читатели? Сейчас если и пришлют тебе что, так это просьбу одолжить пять рублей.

Не об отсутствии ли собственной собольей шубы и шапки грустил теперь Игорь Борисович Каштанов? Впрочем, взгляд его наткнулся на ватник Шубникова, и Каштанов заспешил:

– Все. Вестник с приложением, думаю, сразу станет дефицитом. Спасибо за разговор и понимание.

«Ползуны, – пробормотал Шубников, – погрусветы…» А кто, по терминологии Ладошина, люди, в чьем стане силовой акробат Перегонов?.. Свежие сведения о погрусветах Шубников узнал лишь на следующий день, когда его посетила Тамара Семеновна. Слово «погрусветы» ее не обидело, она его знала, неологизм Ладошина применялся уже и в опорных бумагах занятий, заметно облегчая делопроизводство. Тамара Семеновна опять пришла к Шубникову в матроске и с синими бантами в косичках. Не раз ее речь украшало слово «пардон». Ученикам стыдно, и они передавали Шубникову свои извинения. Вчера состоялись Королевские скачки, на трибунах ученики вели себя удивительно благородно. Все сидели на предложенных им местах, не роптали. Дамы же, за редким исключением, радовались доставшимся им шляпам.

– Надеюсь, – осторожно поинтересовался Шубников, – у прелестной старосты потока не было причин недовольства своей шляпой?

– Да, не было, – смутилась Тамара Семеновна. – Мне преподнесли шляпу в виде трехмачтового фрегата. Она получила первый приз. – Потом Тамара Семеновна добавила, взглянув на Шубникова: – А Любовь Николаевна была без шляпы…

То ли недоумение, то ли сожаление о чем-то прозвучало в ее словах.

– Ученики хоть знают, какие им нужны пандейро? – спросил Шубников.

– Каждому свое, – уклончиво ответила Тамара Семеновна. – Они объяснят…

Раз объяснят, кивнул Шубников, им, что надо, и выдадут. А вот о каких портретах возмечтали ученики, Тамара Семеновна рассказала: для них, пожалуй, важна была не точная передача всех подробностей их лиц и фигур, а нечто другое. Лицо-то и фигуру могут запечатлеть и фотографы. Конечно, многие не отказались бы иметь дома собственные образы, как бы предназначенные вечности и более возвышенные, что ли, нежели те, какие они, ученики, могли явить натурой в будние дни. Но, главное, имелось у них – не у всех, далеко не у всех – и нечто дорогое, милое душе, что они в силу разнообразных причин не могли каждый день открывать обществу. А на портретах открыть это дорогое (или попросту заставить ахнуть приятельницу с Маросейки) было вполне можно. И тут уж потребовалось бы от мастеров кисти лактионовское умение передать каждую ворсинку аукционных мехов на белых плечах, каждый отблик гранатового ожерелья на драгоценной шее, блеск золотого с бриллиантами медальона меж пламенных грудей, переливы полосок на муаровых лентах. «И что все эти разночинцы поперли на занятия с погружением?» – подумал Шубников не в первый раз. Тамара Семеновна не бралась говорить о всех, она не знала, что у каждого в тайниках и погребах, но, наверное, цели и причины тут разные: кого подтолкнули к занятиям собственные несовершенства, кто не захотел отстать от знакомых, кому занятия припрогнозировали в очереди хлопобудов. Впрочем, она не знает, и не ее это дело. Шубников решил не лезть ей в душу и тем более не спрашивать, отчего она сама затеяла занятия с погружением. Бурлакинские устройства и игрушки с электронными мозгами на все ему могли ответить. Шубников лишь заметил, что его вопросы или недоумения связаны с односторонним, на его взгляд, направлением занятий, чуть ли не мемориальным, чуть ли не музейным. Отчего в учебной программе нет связей с житейской практикой и нравами конца столетия: наш век кое-что изменил и придумал в светских отношениях, а уж наползает третье тысячелетие. Тамара Семеновна разволновалась и вступила в полемику с Шубниковым. Основой образования для погрусветов, считала она, должно стать фундаментальное классическое наследие. К тому же пока ведь идет первый семестр, и, конечно, далее поводов говорить об отрыве учебы от задач живой действительности не будет.

– Ну хорошо, – миролюбиво сказал Шубников. – Я ведь к тому: не затоптали бы потом наших выпускников другие светские львы и буйволы.

– Наших не затопчут, – уверила его Тамара Семеновна.

Тамаре Семеновне бы уйти, а она сидела и молчала. И Шубников молчал.

– Какой вы одинокий, – сказала Тамара Семеновна. – И как вы устали и озябли.

Шубников вскинул голову, посмотрел на Тамару Семеновну. «У нее домашние, уютные, сладкие щеки, – подумал Шубников, – от них будет тепло…» Он знал, что удивления: «Какой вы одинокий» и «Как вы устали» – выказывались еще в пору кремневых наконечников копий, знал и к чему они приводили. Однако теперь он был убежден, что слова эти прозвучали впервые и единственно ради него. Тамара Семеновна поднялась, подошла к Шубникову, стала гладить его волосы, смотрела на одинокого и уставшего с жалостью старшей сестры или матери, она понимала его и сострадала ему. Она верила ему. Шубников обнял синюю юбку матроски, прижался к ногам Тамары Семеновны, чувствовал ее жар и ее стремление к нему. Ничто его не страшило, ничто не могло остановить.

Раздался звонок. Любовь Николаевна приглашала Шубникова к себе в светелку. Шубников хотел было выругаться в трубку, но обернулся. Тамары Семеновны не было в кабинете. Пришлось вызывать извозчика Тарабанько и ехать на станцию Трудовую.

Ехал Шубников воинственный, был готов устроить скандал в светелке или учинить допрос, и уж во всяком случае выразить презрение к загульной даме. Но ни скандала, ни допроса не произошло. Любовь Николаевна поставила себя так, что Шубников тут же ощутил ее превосходство и свою заинтересованность в ней. Забитым мужиком при властной, своевольной бабе показался Шубников сам себе. В подполье его, в сыром, заплесневелом углу его тотчас завозилось возмущение, заерзало мечтание поставить Любовь Николаевну на место, да еще и унизить ее именно как бабу. Впрочем, Любовь Николаевна дала понять Шубникову, что ни на какое превосходство она не претендует, что она по-прежнему раба и берегиня, а уж потом подруга, сподвижница и компаньон. В нечаянном же отсутствии ее Шубников не должен видеть обиды, по правилам ее поведения она обязана в любой миг чуять желания и состояния пайщиков кашинской бутылки, но вовсе не обязательно ее присутствие вблизи их. Она и прежде по необходимости пропадала, но никто на нее не ворчал и не дулся (для Шубникова этим «никто» был, конечно, гадкий аптекарь Михаил Никифорович, до сих пор не сгинувший), и в будущем ей, несомненно, придется пропадать. О бале она знала, но опоздала и не успела переодеться, здесь она виновата, но, впрочем, как она поняла, было кому пройти в первой паре под руку с гардемарином.

– Ох и шалун, – лукаво улыбнулась Любовь Николаевна и погрозила

Шубникову пальцем.

Напрягшийся было Шубников стал уверять ее, что она заблуждается, что он прост и прямодушен и весь здесь – в светелке.

– Шалун! Шалун! – укоризненно улыбалась Любовь Николаевна. – Но я-то ведь не собственница с острогом, я не держу…

Волновался он, переживал, рассказывал ей Шубников, скучал без нее и боялся за нее, боялся, как бы не полонили ее лихие разбойники, как бы не стали ее пытать и мучать с намерением сломить и прибрать в свой стан.

– Успокойтесь, – посерьезнев, сказала Любовь Николаевна. – Здесь полонить и сломить меня никто не может. Если только…

– Что – если только?

– Нет, ничего, забудьте.

Шубникову казалось: Любовь Николаевна как женщина должна в нем нуждаться, тем более что начался апрель, но пылкости Шубников не ощущал в Любови Николаевне. Она была с ним – и в отдалении от него. Это Шубникова сердило. Потребовать же установить какую-либо определенность в их с ней вечерних отношениях Шубников не желал из опаски увязнуть в них, потерять себя или даже попасть в капкан. Да и вдруг Любови Николаевне предстояло на его глазах превратиться в лягушку, или в склизкую медузу, или в жидкость, схожую по свойствам с серной кислотой, или в металлическую рухлядь с электронной начинкой. Шубников посчитал, что при поездках в светелку для него главное – держать ситуацию в руках. В ситуацию эту, приоткрыв дверь и перешагнув порог, уже вступала Тамара Семеновна. Но женщины, пусть и две, постановил Шубников, в грядущих его делах должны были находиться в обозе. Зная об этом, Шубникову бы не нервничать и не раздражаться в светелке. А он порой все же раздражался. В особенности когда Любовь Николаевна (молчание ее он переносил, привык, ладно) глазами и мыслями уходила куда-то в дали дальние, недоступные ему, а он сидел рядом дурак дураком. О чем-то она грустила все чаще и чаще, из-за чего-то маялась, изводила себя, но ему ничего не открывала. Шубников готов был бегать по светелке и кричать что-то. Однажды он вскочил и именно закричал. Кричал о том, что ему мешает аптека или всякие аптекари, что не только рукопашная на балу расстроила его, пусть бы и дрались эти идиоты, их дело, его оскорбило издевательство аптеки, пляски и колыхания над толпой непрошеных кислородных подушек, бандажных поясов, чулок для тромбофлебитных ног, и если это допустит Любовь Николаевна, он устроит такое, что все Останкино, все Останкино, все Останкино!..

– Успокойтесь, – холодно сказала Любовь Николаевна. – Я приняла

ваши слова к сведению.

*

А как тем временем поживал Михаил Никифорович, не забытый Шубниковым, но забытый нами? Утренний полив цветов на подоконниках стал для Михаила Никифоровича ритуальным действием. Он и желал бы отторгнуть от себя Любовь Николаевну (или себя от нее), но не получалось. Выходило, что в своей жизни Михаил Никифорович привязался к женщине эдак впервые. То, что Любовь Николаевна его покинула, было справедливо. Тоску же, считал Михаил Никифорович, возбуждали дурные стороны его натуры. Умный человек назвал любовь возвышенной формой собственности, ревность же и страдание покинутого любовника, по его мнению, вызывались уворованной собственностью. Раз ты такой дурной, говорил себе Михаил Никифорович, то и терпи.

Ему рассказывали про Палату Останкинских Польз, а он не хотел про нее слушать. Многие из его знакомых ринулись туда (иные по приказу жен) и были там при интересах и при деле. Однако подходили к Михаилу Никифоровичу и люди, возмущенные Шубниковым и Палатой, летчик Герман Молодцов в их числе. Они требовали от Михаила Никифоровича прекратить безобразия. Михаил Никифорович хмурился, противодействие его Шубникову теперь могло быть понято и истолковано в одном смысле. Но, может быть, Любови Николаевне понадобился поединок у подножия трона? Да и отчего же поединок, отчего же не турнир? Нет, так думать о ней Михаил Никифорович не хотел. И он все же по-прежнему считал Шубникова человеком-пустяковиной, пустозвоном и безобидным арапом, а потому полагал, что бед и досад Останкину он не причинит. На его памяти Шубников не был постоянен в увлечениях, все ему быстро наскучивало, должна была скоро наскучить и Палата Останкинских Польз. Что же пока происходит в Палате и как, Михаил Никифорович знать не желал. Лишь об одном он бы спросил осведомленного человека: а напевает ли сейчас при случаях Любовь Николаевна и что напевает? Как будто бы нечто зависело от того, напевает она или нет…

В апрельский день Михаил Никифорович поехал в Сокольники на выставку «Фармацевтика Югославии». Там в чистом, как коробка для шприцев, павильоне, переходя от стенда фирмы «Пливо» (антибиотики) к

стенду фирмы «Галеника» (сердце, сосуды), он наткнулся на харьковского однокашника Сергея Батурина. Прошлым летом посидели они в шашлычной, повздорили из-за слов, разошлись каждый со своими правдами и с тех пор не встречались.

– Не надумал к нам в лабораторию? – шумно спросил Батурин.

– Нет, – сказал Михаил Никифорович. – Пока не надумал.

– Все еще намерен спорить с утверждением мудрецов: «В саду от смерти нет трав»?

– Что толку с ним спорить, – вздохнул Михаил Никифорович.

«В саду от смерти нет трав», – повторял он потом. И вспоминал Любовь Николаевну, призывавшую их к подвигам. Горько было Михаилу Никифоровичу. Он долго еще бездумно бродил аллеями Сокольников. А дома его ждало письмо от матери. Матушка писала, что надумала поехать погостить к Павлу, среднему сыну, в Ленинград, давно обещала и Павлу, и невестке, и внукам и вот поедет. Под май она вернется в Ельховку, чтобы все посадить в огороде, и надеется, что по дороге домой на день-два сможет заглянуть к нему в Москву. Обрадованный Михаил Никифорович вспоминал свой дом, представлял, как хлопотала мать, собирая гостинцы внукам, думал, как принять ее и что бы устроить ей в Москве ладное и хорошее…

51

Гулянья предстояли через пять дней, а Шубников ходил злой. Как было на улице Королева Поле Дураков, так оно и осталось. Ветры здесь гуляли и волки выли. Шубников утешал себя: так всегда перед премьерой, ничего нет, актеры бездари и спились, но занавес в семь часов раздвигается. И нельзя сказать, что на улице Королева и на прочих выбранных Шубниковым площадках вовсе ничего не делалось, нет, здесь стучали молотки и визжали электропилы, вертолеты опускали фермы, мачты, ячейки покрытий, желтые искры рассыпали сварщики, но все шло не так, как бы хотелось метавшемуся по Останкину художественному руководителю. Метался он в ватнике, метался в упоении устройством и режиссурой праздника и проклинал всех, при случаях и себя. В конце концов все декорации, строения и аттракционы, все, все могло бы явиться и ночью в канун гулянья в единое мгновение по его, Шубникова, запросу, но тогда бы вышло, что сам он – лодырь, лежебока, несостоятельный мастер, способный лишь на веление. Нет, он должен был все устраивать сам, тем более что люди и силы в городе были, их только следовало взъерошить и впрячь в дело.

Но с кем взъерошивать и запрягать, если его окружали идиоты? Худо выходило с пожарниками. Тем, на которых надеялись, предстояло в горячие на улице Королева дни быть на вахте или на учениях.

– А какие тут могут быть льды? – сказал Голушкин. – Жара стоит июльская. Я парюсь в тенниске. Льдов теперь никаких быть не может.

– Что?! – грозно, с актерским преувеличением грозности спросил Шубников. – Льды будут! Ледяные горы и дворцы есть в контракте, и они должны быть, даже если завтра здесь начнет протекать река Лимпопо. Иначе мы позорные люди! Взялись делать – извольте делать!

Представитель водонапорной башни, два месяца назад заказавший гулянье сотрудников на природе, был скромен в запросах и ни о каких ледяных дворцах речи не вел. Единственно он просил о том, чтобы гулянье хоть немногим напомнило известные по литературе весенние чаепития в Марьиной роще. Теперь в Марьиной роще все застроено, порабощено кирпичом, там не только что пить чай, там и шпроту негде съесть с дамой на природе. «А народ у нас хороший, – сказал представитель, – отзывчивый на все мероприятия». Шубников тогда мгновенно вспыхнул, размечтался, бегал по кабинету, взмахивал руками, приводил

представителя водонапорной башни в восторги и ужасы картинами народного гулянья. А вспомнив о сотворенных в Саппоро пожарниками ледяных дворцах, уговорил представителя вставить в контракт ледяные горы и дворцы.

– Можно найти людей взамен пожарников, – предположил Голушкин.

– Взамен пожарников найти никого нельзя, – сказал Шубников.

– Ну если не взамен, то помимо… А то вот просятся.

– Кто просится?

Уважительно просилась витаминная, вкусная и солидная фирма, ближняя овощная база. Она бы хотела стать участником праздника на правах третьего триумфатора. База предлагала и помощь в подготовительных работах, ей ничего не стоило вызвать на перетруску чеснока сколько хочешь и каких хочешь специалистов, можно кандидатов, можно докторов, можно академиков, можно скрипачей, и направить их на улицу Королева. Имелись на базе ледники и холодильные установки.

– Это ценно, – согласился Шубников. – Но три триумфа для одного вечера много. А что же они раньше терпели?

– Только теперь сняты путы с поводов для триумфа.

– В следующий раз. Заявку от них примите. А на гулянье мы их допустим. Пусть себе гуляют в первых рядах.

– Значит, если согласятся на простое гулянье, – сказал Голушкин, – мы потребуем работников с перетруски чеснока. И попросим фрукты для гуляющих.

– И семечки.

– Семечек у них может не быть, – обеспокоился Голушкин.

– Пусть достают! – решительно сказал Шубников. – И побольше! Жареных и каленых!

– Жареных и каленых… – записал Голушкин. – Ну вот, отыскались работники на льды. Если уж вам так любезны льды.

– Но руководить этими работниками должны пожарники. Не трудитесь противоречить. В контракте записаны пожарники, а не перетрусчики чеснока, хоть бы и скрипачи.

Непоколебимая вера в то, что наши пожарники ничем не хуже японских, тем более из их японского, северного, захолустья, сладостно и ревниво существовала в Шубникове независимо от контракта с водонапорной башней.

– Такой каприз! – сказал Шубников. – Уважьте. А что же, и Васька Пугач пропал?

Стараниями экспедитора Ладошина пожарный водитель Василий

Пугач был найден. На три дня он мог предоставить себя в начальники ледяного строительства. На вопрос, не может ли он наскрести еще хотя бы пяток пожарников для руководства, Васька, загоготав, ответил, что может. Однако сказал, что пожарники-то они пожарники, но бывшие, один теперь водит ассенизационную машину, другой грузит на комбинате красную рыбу и копченых лещей. И так далее. Но в душе все они остались пожарниками.

– Выбраковали их, что ли? – спросил Голушкин.

– Ну выбраковали, – процедил сквозь зубы Васька и взглянул на Голушкина с интересом: а хочешь, и тебя выбракуем?

– Василий, – сказал Шубников, – ты читал эпитафию на могиле пожарника?

– Ну?! – удивился Васька Пугач. – Какую эпитафию?

– Известную. «Сорок лет стоял на башне, так и умер не едавши». У тебя эпитафия будет хуже.

– Вот дурень! – рассмеялся Васька. – Я же не на башне, я в кабине!

Постановили: Васька Пугач и пятеро его приятелей, все с несгораемыми усами, станут ледовыми зодчими безвозмездно, их лишь предстоит кормить и поить, чтобы не схватили в жаркие дни у льдов расстройство желудка. И ни в коем случае эти пятеро приятелей никому не должны, даже и за понюшку табаку, открывать, что пожарники они бывшие. Мало ли ведь какие агенты будут шнырять в эти дни в Останкине.

– Все путем! – загоготал Васька Пугач. – Череп ты мой горелый! Да мы такие дворцы наворочаем, что эти самураи запрыгают!

– И ледяные горы, – хмуро добавил Шубников.

После ухода Васьки Пугача Шубников раскричался на Ладошина и Голушкина. Что за разгильдяйство! Что за легкомыслие! Ведь сто раз говорил о льдах и пожарниках – и эдакий провал. И все так! И всегда так! Обиженный Голушкин стал говорить, что пока он не давал поводов для крика, исполнял свою службу с усердием и толком и, если им недовольны, готов подать в отставку. Шубников выгнал Голушкина и Ладошина на площадки, но досада не была исчерпана, требовалось разрядиться на ком-либо, и Шубников вызвал Бурлакина.

– И у тебя такой же бардак, как у всех?

– Я кричать тоже умею, – сказал Бурлакин. – А голос у меня от природы громче. Другое дело, ты более актер.

– Хорошо, – утих Шубников. – Докладывай.

– Возьми вместо меня пиротехника-исполнителя. Пусть он к тебе и бегает с докладами и за распоряжениями. А как я исполню задачу – мое

дело. Я не подведу.

– Но и не доверишь мне свои сюрпризы и тайны?

– Чепуха, – нахмурился Бурлакин. – Никаких тайн нет.

– Однако о них уже идет молва.

– Глупая, стало быть, молва. Решения у нас заурядные. При Петре Великом мастера были куда изобретательнее. Мы забыли их ремесло и дерзость. Кстати, для триумфа водонапорной башни мне нужны уточнения. Там два пункта. Сто двенадцать лет башне. Так? И рекорд в напоре воды. Какой именно рекорд?

– Я не помню, – поморщился Шубников. – Рекорд, и есть рекорд, не важно какой.

– Мне важно, – сказал Бурлакин. – Дай мне точные данные, какой объем башни, какой напор, давление, сколько пролито воды за сто двенадцать лет, сколько…

– Дадут тебе, дадут! Не зуди!

– Какой у башни вид? Где стоит она?

– Откуда я знаю, где она стоит! – возмутился Шубников. – Стоит и стоит. У какого-то моста. Или путепровода.

– Ты неконкретный человек, – покачал головой Бурлакин.

– Для конкретностей есть мелкие, бескрылые служащие!

– Ты вообще неконкретный человек, – сказал Бурлакин. – И это плохо. И для меня. И для тебя. И для всех. Тебя увлекает лишь сам ход дела, процесс, игра, авантюра, лепка ситуации, мечтание о чем-то, что получится и сотворится, а что именно получится и сотворится – об этом ты не имеешь никакого представления да и не хочешь иметь, чтобы не заскучать или не разочароваться раньше времени, а между тем выходят глупости либо гадости, какие можно было бы предугадать или вычислить.

– Я – творец! – высокомерно воскликнул Шубников. – Пусть вычисляет ваша наука.

– Какой ты творец! Ты недоучка и игрок, которому долго не везло по мелочам. Но вырастет у тебя седая полынь.

– Какая же полынь вырастет в день с фейерверками?

– В этот день – не самая горькая. Этот-то день промежуточный. Но драки, перебранки и скандалы ожидать можно.

– Только-то? – усмехнулся Шубников. – Это не причина для печалей. И полагаю, что драк и перебранок не случится. Есть кому постеречь спокойствие. А не хватает сторожей – наксерим. Иногда необходимы и персонажи одноразового использования.

– Их надо отменить вовсе, молодцев и девушек в кимоно.

– Ба! – чуть ли не обрадовался Шубников. – А кто же это их придумал и завел, не напомнишь?

– Я, – сказал Бурлакин. – Но был беззаботен или безрассуден. Придумал ради шутки, как пародию. Теперь вижу, что они способны принести лишь пагубы и порчи. Они саморазвиваются и еще возьмут Палату в зависимость. Их необходимо отменить. Но это придется сделать тебе.

– А ты что же, устраняешь себя?

– Фейерверк – мое последнее дело на улице Цандера. Я уйду отсюда.

– Измена? Отступление? Или позорное бегство? – с издевкой спросил Шубников.

– Я не хочу более играть чужими игрушками, – сказал Бурлакин. – Или по-другому – играть на чужих инструментах.

– Моими, что ли? Или – на моих?

– В том-то и дело, что и не твоими. И не на твоих.

– Хорошо, – сказал Шубников. – Договорим после.

– Договорим. Каштанова ты ко мне присылал?

– С чем?

– С указанием, прозвучавшим, впрочем, просьбой. Восславить в небе тебя. Водонапорную башню, Институт хвостов и тебя. Выдан был даже текст бегущей в небе строки.

– Я его не присылал.

– Не присылал, значит, не присылал. Я пойду. И вот тебе смета на фейерверк. А с ней и список необходимого.

Смета и список озадачили Шубникова. В примечании Бурлакина утверждалось, что фейерверк с лазерами и иллюминация на улице Королева должны превзойти огненные и световые эффекты триумфа Ништадтского мира. Но то празднование, успокаивал Бурлакин, было небогатым, а вот однажды только на храм Януса в небе Петербурга пошло двадцать тысяч огней, в небе же двигались и огненные воины, затворявшие дверь храма и подававшие друг другу руки. «Этак он нас разорит», – подумал Шубников. Впрочем, средства он мог не жалеть, к тому же теперь его Палата соединилась делами со множеством контор и фирм, имевших деньги, какие неизвестно на что надо было тратить, деньги эти директор Голушкин научился, к удовольствию многих сторон, пускать в ход. Шубников умел на время забывать неприятности либо использовать их выгодно для себя, и он сразу как бы выпустил из памяти измену или отступление Бурлакина, а вот мысли об украшении неба похлестче, чем после Ништадтского мира, его возбудили.

С той минуты Шубников почти не сидел в кабинете, за пять дней он и домой забегал редко, не беседовал с Мардарием, совсем не спал, если и задремывал, то на сухих досках где-нибудь на площадке, положив под голову чужой ватник, пахнувший соляркой или креозотом, ничего не ел, кроме яблок джонатан из рук Тамары Семеновны. Тамара Семеновна то и дело оказывалась вблизи Шубникова преданной сестрой добросердия, укладывала ватник под голову Шубникова, сидела рядом с тружеником, отгоняя от него шумы. В глазах ее Шубников заставал умиление и был благодарен ей за то, что она не вступала с ним в разговоры, а быстро уходила куда-то, стараясь не быть навязчивой. Впрочем, когда Тамара Семеновна исчезала, он забывал о ней.

Шубникову нравились дни азарта. Да, он много бранился на площадках, кричал, называл виноватых и безвинных разгильдяями, барчуками, бездарями, которые все провалят, все пропьют и все разворуют, грозил, что сейчас же все бросит, но не бросал, а хватал пилу, молоток, рубанок, кисть, чтобы показать разгильдяям, барчукам, бездарям, как и что нужно делать, вставал под стрелу крана и под вертолетные стропы и указывал, куда опускать перекрытия, а куда насаживать карусельный круг с фигурами полицейских и грабителей. В те пять дней мелькали вблизи Шубникова знакомые лица, некоторые смутно ему известные, другие же – известные хорошо. Находил Шубникова у костров Игорь Борисович Каштанов с макетом, а потом и с оттисками первого, но сразу же экстренного выпуска вестника «Останкинские триумфы». Шубников глядел на свои цветные портреты, читал, отчего-то без волнения, сигнальный экземпляр ожидаемой публикой «Записки», листал составленный Игорем Борисовичем рекламный проспект «Переселенье душ не терпит суеты» и снова бросался к каруселям и балаганам. Перегонов был неоднократно замечен Шубниковым. В глазах Перегонова Шубников обнаруживал любопытство, будто бы тот нынче приценивался и соображал, а не поставить ли на него, Шубникова. Перегонов его не задирал и не заставлял нервничать. Хитрил, возможно, и прикидывался простаком. Как бы не были им устроены взрывы в разгар гуляний. «Будем блюсти! – откликнулся на опасения Шубникова директор Голушкин. – Неприятных людей вообще можно будет не допустить». «Зачем же такие строгости?» – позволил себе быть просвещенным либералом Шубников. Возле игровых аттракционов, игротек, кегельбана, полей для гольфа и крокета уже шастал хозяином патлатый верзила в очечках тихого учителя профессор Чернуха-Стрижовский, привлеченный Шубниковым. Несколько удивило Шубникова присутствие при профессоре грудастого вурдалака

Сухостоева с замашками лирического поэта и сорокалетних подростков, чьи зрачки в масленых глазах были странно расширены. «Наркоманы, что ли? – обеспокоился Шубников. – Ладно, разберемся».

Увеселительный городок вырос удивительно быстро. Директор Голушкин не мог не заметить, что на этот раз чаще обходились без известного рода запросов. Строительство происходило доступными и другим москвичам способами, до того, стало быть, Палата Останкинских Польз вросла в систему городских производственных отношений. Впрочем, она из нее и выросла. Другое дело, что всех возбудил, взвинтил, завел Шубников; именно его энергия, беготня, фантазии у костров, удачные распоряжения, порой и истерика дали предприятию счастливый ход. Мотором и заводилой проявил себя Шубников. Ай да он!

Но вот с капризом Шубникова удачи не было. Теплынь из заволжских степей, от миражей Павла Кузнецова, ворвалась в останкинскую реальность и впрямь июльская, ночами можно было спать во дворах, скверы улицы Королева зарастали травой, отцветали одуванчики. Лед ослушивался Шубникова и таял. В отчаянии пребывали юноши из МАРХИ, чьи проекты ледяных строений были утверждены художественным руководителем. Расстраивались и перетрусчики чеснока, предоставленные овощной базой, среди них кандидаты, доктора и члены-корреспонденты, а также артисты оркестров трех театров – скрипачи, альтисты, деревянные и медные духовики. Один лишь Васька Пугач оставался бодряком и уверял, что раз горы и дворцы нужны, значит, они и встанут.

Произошло так, как и предполагал Васька Пугач. Ледяные горы, дворцы, хижины и монументы со студеными цветами вокруг встали на улице Королева. В гремящей суете кануна гулянья, когда Шубникову опять пришлось швырять ватник на асфальт и топтать его ногами, он, изнуренный творческим беспокойством и всеобщей бездарностью, был вынужден пойти на крайний шаг – вытребовать горы и дворцы мысленным повелением. Увидев, как стал нарастать лед и принимать ожидаемые формы, Шубников рухнул у одного из костров и заснул. Когда же он проснулся при свете утра, саппорским зодчим был утерт нос. Возникли на льдах и скульптурные изображения, какие в эскизах не встречались и накануне Шубниковым заказаны не были. Скажем, здание, ставшее ледяной реконструкцией Парфенона, украсила скульптурная группа, несомненно отражавшая борение титанов античности (числом трех) с силами зла или коварными духами природы. Группа была трагически динамична и напомнила Шубникову об экспрессии «Лаокоона». Шубников

увидел довольных юношей из МАРХИ с папками в руках и перетрусчиков чеснока, готовых вернуться на базу, но и те и другие казались отчего-то растерянными.

– А где Васька Пугач с ребятами? – спросил Шубников.

Директор Голушкин начал мычать что-то, в глаза Шубникову не глядя.

– Где Васька Пугач с ребятами? – переспросил Шубников.

– Да вон они! – выдохнул Голушкин и показал на скульптурную группу, украсившую Парфенон. – Сами хороши! Полезли куда не надо. Пытались вырваться, но мороз уже взял их.

– А где еще трое?

– Где-то в других дворцах.

– Надо их изъять и разморозить.

– Поздно, – сказал Голушкин.

– Что значит поздно?

– А то значит, что приемная комиссия все осмотрела, ощупала, приняла и подписала. Скульптура над Парфеноном одобрена, акт на руках у Ладошина.

– Какая приемная комиссия?

– Из Управления культуры. И еще откуда-то.

Приемная комиссия, которую никто не приглашал, явилась сама, пришла в восторг, намаявшегося художественного руководителя великодушно не стала будить и удалилась.

– Они пили что-нибудь? – мрачно спросил Шубников.

– Кто?

– Васька Пугач с работниками.

– Мадеру! – безнадежно махнул рукой Голушкин. – Мадера, видите ли, им понравилась.

Это известие не принесло Шубникову радости. Если бы он узнал, что Васька с приятелями для способствования работы употребили хотя бы антифриз, он бы несколько успокоился. А то ведь ледовые зодчие увлеклись мадерой, какая хороша для людей в белых панамах на ялтинской набережной. Шубников рассердился и пригрозил кулаком центральной фигуре самозваной скульптурной группы. Сами виноваты, негодяи! Тотчас Шубников вспомнил средневековые легенды, по которым выходило, что для крепости, благолепия и удачливой судьбы зданий в их камнях полагалось замуровывать живьем пленников или городских красавиц. Пусть Васька Пугач хоть чему-нибудь послужит. А ледяные горы и дворцы в солнечных лучах, в нежной юной зелени стояли прекрасные. Массовое

гулянье проводить вблизи них было не стыдно. Шубникову уже не терпелось начинать представление…

Я попал на гулянье, когда там уже все гудело и бурлило. Настроение у меня было скверное. Накануне я узнал, что Михаила Никифоровича телефонным звонком, а потом и телеграммой вызвали в Ленинград. Случилось несчастье. На ходу, на бегу, в гостях у среднего сына умерла мать Михаила Никифоровича. Я пошел к нему, застал в сборах. Спросил, какая нужна помощь. «Какая уж тут помощь, – сказал Михаил Никифорович. – От смерти нет в саду трав». Уход матери ошеломил его. Никаких предчувствий не предшествовало этому, никаких знаков судьба ему не подала. Мать жила семьдесят пять лет работницей на земле, считала себя здоровой и крепкой или старалась выглядеть такой для людей, в города к детям и внукам не переезжала. И вот в Ленинграде произошел у нее разрыв аорты. Теперь Михаил Никифорович казнил себя, будто бы он был виноват, что матери не стало. Но я знал, что его никак нельзя было отнести к черствым и бессовестным сыновьям. Кроме меня в его квартире были и другие люди, кто-то заметил, видимо в утешение Михаилу Никифоровичу, что смерть его матери в одночасье – счастливая и такую смерть можно пожелать. «Счастливых смертей не бывает», – тихо сказал Михаил Никифорович. Я вызвался проводить его на вокзал, но Михаил Никифорович ушел из дому один. Может быть, ему хотелось, чтобы к вагону провожатым явился (или скорее явилась) некто, видеть кого сейчас возле Михаила Никифоровича было бы нам странно. Может быть…

Я сидел дома, пообещав себе на улицу Королева не ходить. Но любопытство подзуживало, я уговаривал себя не пропустить зрелище, какое, может, и не повторится, тем более что я был бы на нем не участником, а сторонним ротозеем. И я отправился на улицу Королева. Было уже десять часов.

Зрелище на самом деле открылось мне удивительное! Мне приходилось и прежде попадать на массовые гулянья. Но те гулянья были вялые, полусонные, двигались на них люди, чающие чего-то необыкновенного, что оправдало бы их приход в толпу, что подчинило бы всех, завертело и понесло куда-то в веселье и удали. Но плясали и пели лишь на концертных эстрадах, явно отбывая за плату номер, кого-то (и неумело) пытались рассмешить затейники, бранились пьяные, оживление возникало лишь в очереди за шашлыками, и не происходило ничего необыкновенного, что завертело и понесло бы всех куда-то. Нынче же в гвалте, в шуме, в волнах музыки публику именно вертело и несло. В глазах многих я наблюдал волнение и жажду что-нибудь добыть или урвать. А

добыть или урвать было что. На великаньих вертелах, вращаясь, жарились телята, всюду били доступные гулявшим цветные фонтаны крепких и слабых напитков. Ритмы движения людей (их, наверное, не вместили бы и Лужники) были карнавальные. Знакомые, не только из Останкина, но и из московских дальних западов и дальних Востоков, попадались мне часто. А какое удовольствие получали, видно, любители ледяных гор! Раскрасневшиеся, шумные, забывшие о дневных заботах, слетали они из поднебесья по взблескивающим желобам – кто на санках, кто в бобах, кто на алюминиевых тазах. Впрочем, и вокруг были смех, игра электрических лучей, движение людей, разряженных и увлеченных преображениями останкинских ландшафтов. Вокруг все было живописно, пестро, голосисто. И вкусно пахло. Вращались карусели, взлетали на длинных балках кабины перекидных качелей, толпились зрители у входов в балаганы, в паноптикумы с показами землетрясений, пожаров, крушений кораблей, с похищениями премьер-министров, гремели металлические машины аттракционов из привозных луна-парков, пищали дурашливые и едкие петрушки, представлявшие комедь в разных углах, цыгане и сергачские укротители водили ученых топтыгиных, иных воспитанных и по правилам Сморгонской медвежьей академии, одинокий бродил верблюд, шарманщики исполняли шлягеры рок-ансамблей, их звуки не гибли от музыки десятка оркестров и хоров, усаженных в парковых раковинах, сбитенщики зазывали испить сбитень из медных баклаг, запахи горячего хлеба притягивали к столам с калачами, лавашем и чебуреками. Невдалеке от царьградского ипподрома, выложенного из глыб льда, происходило конное ристалище, туда верхом на своей лошади проследовал Игорь Борисович Каштанов. Внимание публики привлекали силачи, канатоходцы и каскадеры. Среди каскадеров я увидел Петра Ивановича Дробного. Он рискованно лазал по ледяным уступам и скалам, срывался с крыш ледяных же пармских обителей, спасаясь от преследования ревнивцев, вот-вот должен был разбиться вдребезги, но в последний гибельный момент, совершив тройное сальто, попадал в седло мотоцикла, приготовленного сообщниками, на мотоцикле же уезжал в безопасную для него жизнь. Позже я видел Дробного на новой площадке, там он, перепрыгивая через сталкивавшиеся автомобили, стрелял на лету в мессинских мафиози, троих укладывал, автомобили же немедленно взрывались. Совершенно неожиданно для меня выступал на подмостках доктор Шполянов. Он предстал перед публикой силачом, держал зубами пудовые гири, поднимал зубами же за ноги лилипутов, а потом, наглотавшись игральных карт, печени налимов, плакатов с изображениями троллейбусных билетов,

выпускал изо рта зеленое пламя. Стало быть, и такие причуды и способности были открыты в докторе Шполянове.

Очереди выстраивались к шатрам звездочетов, от них за терпимую, как утверждали, плату можно было получить пророчества, гороскопы и денежные советы. Я был уверен, что обнаружу среди звездочетов знакомых, а может, и сокурсников по университету, но к шатрам я не пробился. К тому же мне показалось, что невдалеке мелькнула Любовь Николаевна. Мне захотелось сейчас же догнать ее, сказать о несчастье Михаила Никифоровича и посмотреть ей в глаза. Я мог наговорить ей и грубости. Но что бы дал теперь разговор с ней? Ничего бы не дал, кроме досад и глупостей. Да и Любовь ли Николаевна мелькнула впереди? Я все же бросился за ней, подлинной или мнимой, однако беготня моя превратилась в погоню Мизгиря за Снегурочкой. Лешим же, дразнившим меня, мог оказаться и воспитанник Шубникова ротан Мардарий, чью голову в мохнатой мохеровой кепке вокзального носильщика я несколько раз видел в толпе. Но и к Мардарию я не смог пробиться. Приблизился наконец к нему, а он нырнул в круглое строение «Всемирной косморамы». Но зачем мне понадобился сам Мардарий? Я не знал и отстал от него…

Прогулки Мардария были замечены и Шубниковым. Шубников хотел было одернуть его и отправить домой, потом подумал: гуляет и гуляет, но завтра – посмотрим. В грохоте, в сутолоке веселья к Шубникову порой приходила усталость, тогда он желал снова придремать у костра и чтобы Тамара Семеновна отгоняла от него шумы и летучих насекомых. В эти минуты ему было все равно, как настроена нынче Любовь Николаевна, отчего она мечется, мелькает всюду, и на улице Королева и на Ракетном бульваре, будто ищет кого-то, отчего она озабоченная и хмурая. И был ему безразличен силовой акробат Перегонов, посерьезневший и оттого по временам зловещий. Ему хотелось прекратить гулянье или ускорить его ход, отняв, скажем, у ночи два часа. Но потом усталость и безразличие пропадали, возвращались азарт и воодушевление, огонь, Шубников в ватнике носился от павильона к павильону, от каруселей к вертепам, кричал, негодовал, распекал женщину-паука, не дотянувшуюся гибкой ногой до серебряной спицы, хвалил бородатую турецкую кибер-девицу Фатиму, засматривался на представленное в балагане прибытие Наполеона на остров Святой Елены, справлялся у Бурлакина о готовности ракет, зарядов и запалов. Директор Голушкин выслушивал нарекания Шубникова, вызванные сонным состоянием некоторых ученых медведей. Голушкин предполагал, что сонные медведи – либо оборотни, либо экземпляры с переселившимися в них душами, возможно, не привыкшими

к ночным разгулам. Иногда пробивались к Шубникову представители водонапорной башни и Института частей тела и наружного органа. Представитель башни был чувствительный и восторженный, все ему нравилось. «Добрый напор! – говорил он о гулянье Шубникову. – Напор добрый! Представитель же Института хвостов надоел Шубникову, ему чудилось, что их недооценивают и обижают. К ночи посвежело, около ледяных гор воздух вовсе стал прохладный, дальновидные люди не зря захватили из дома пальто из телячьих шкур. Но было заметно, что научные труженики мехом внутрь держатся на гулянье поодаль от работников мехом наружу, возможно, они представляли два творческих подхода к проблеме и разногласия их мыслей мешали единению в часы веселий и забав. Представитель, занудивший Шубникова, ходил мехом наружу. На ватник он смотрел с подозрением, не подшит ли к нему мех, не свойствами ли верхней одежды художественного руководителя вызвана неприязнь к нему.

– И что же? – интересовался представитель. – И фейерверк наш дадите во вторую очередь?

– Как оговорено в контракте, так и дадим! – раздражался Шубников.

Увидеть фейерверки ему уже не терпелось самому. Бурлакин не подпускал его к наземным устройствам огненного представления, кричал в ответ на крики Шубникова. Шубников чувствовал, что Бурлакин непривычно для него волнуется, может быть, и не верит в удачу, как еще пять дней назад он, Шубников, не верил в удачу всего гулянья. Волнение Бурлакина передалось Шубникову, он заметался по улице Королева. Ему казалось теперь, что все происходит на гулянье уныло, вымученно, бездарно, что необходимо сейчас же устроить здесь гром с молниями, оргию, брейгелевское беспутство на площади, шабаш, ночь на Лысой или Брокеновой горах. Прибежав снова к Бурлакину, он закричал:

– Начнешь через пять минут! Приказываю!

Но Бурлакин и без его приказа знал, что через пять минут начнет.

Шубников же понесся сам не понимая куда, но в ожидании провала и того, что за провалом неизбежно последует. Опять, как во снах после учебного бала, ему стало мерещиться, что руки десятков, сотен, тьмы людей с железными когтями вот-вот потянутся к нему, к его горлу, к его груди, растерзают, растреплют, задушат его. Через две минуты он уже стоял на верхней открытой галерее ледяного колосса, чей проект был вызван воспоминанием автора, не обремененного точным знанием, о циклопическом вавилонском зиккурате. Здание это таращилось в небо, не уступая в росте монументу космонавтике в титановых листах, к вершине

его можно было взлететь на лифте, но Шубников туда взбежал. «Зачем я это все затеял? – думал Шубников. – К чему все это?»

А по ледяным лестницам будто вдогонку за ним взбирались, карабкались, неслись какие-то люди, с ними, похоже, и ротан Мардарий. «Броситься, что ли, вниз?» – родилось в Шубникове. Нет, этого сделать он не мог. Не мог, не мог, не мог! Он мог только жить. Да и люди, подымавшиеся за ним на галерею ледяного колосса, не преследовали его, не собирались его терзать, они привыкли считать себя окружением и свитой художественного руководителя и полагали, что им по их земному положению необходимо быть теперь по обе стороны Шубникова или хотя бы сразу же под ним на ближних обходных галереях.

И зазвенело, завыло, застонало, объявляя огневое зрелище.

Черно-синее небо растрескалось, и тут же его будто разодрали белые, режущие глаза линии и вертящиеся малиновые круги. Но быстро линии и круги стихли и пропали, качающиеся кисельные сполохи наползли на небо с ярославской, вологодской, архангельской стороны, удивили Останкино невиданным здесь прежде северным сиянием. И сияние скоро было убрано, запалили пушки, начиная триумф водонапорной башни. Бурлакин с командой напомнил гуляющим о том, что у неба четыре угла, разместив в них переливающиеся сиреневые числа: 112, 112, 112, 112. Прямо же над головами зрителей загорелась сама водонапорная башня с баком, исполненная как бы в разрезе, с показом циркуляции воды. Взревели все оркестры на эстрадах и на балконах ледяных дворцов, приветствуя стодвенадцатилетний безостановочный, безудержный и безупречный напор воды вердиевским победным маршем из «Аиды». Было представлено в небе действие башни со сливным и грязевым устройством, уравнивавшей работу насосных станций и подававшей жидкость в водонапорную сеть в момент максимального потребления гражданами и перерыва в трудах насосов. Сейчас же по бокам башни запрыгали радостные слова: «Даем рекордный напор воды!» и «Заставим покраснеть Ниагарский водопад!». Позже вокруг начали бить желтые, бирюзовые, фиолетовые, голубые фонтаны, родники, гейзеры, принялись подскакивать водяные личности, русалки и рыбы, рядом ездили на бочках водовозы, витийствовали отечественные водолеи, из их ртов охотно текла вода. Зрители и аплодировали, и подбрасывали вверх головные уборы, и кричали: «Виват!» Представитель башни стоял невдалеке от Шубникова и плакал. Представитель же Института хвостов имел вид отчаявшегося неудачника, зудил: «А мы? А животные? А где же наш триумф?» «Сейчас, сейчас», – успокаивал его Голушкин, но представитель зудил, что они все

равно не будут первыми, а сумма ими внесена такая, что именно их следовало чествовать первыми. Шубников обернулся и увидел Любовь Николаевну. Любовь Николаевна стояла в синей бекеше, хлыст в руке не держала, смотрела насмешливо, дерзко.

Бурлакин же словно услышал сетования представителя института, сдвинул башню, фонтаны, родники к южному краю небесного полотна, над улицей Королева теперь появилось стадо жизнерадостных телят. Телята, поддержанные снизу музыкой Бизе, паслись, резвились, бодали друг друга, а их, к ублажению устроителей массового гулянья, обегали торжественные слова: «Каждому теляти – не меньше четырех хвостов!» Триумф института и был вызван долгожданным приращением нежному существу трех чужих хвостов в компанию к одному своему, природному. Телят на небе принялись кусать огромные оводы, слепни, злые пчелы, городские исполинские клопы и тараканы, телята дергались от боли, падали, теряли сознание. Грустно стало в Останкине. Но вот вынырнул откуда-то бойкий, отважный триумфальный теленок, своими четырьмя длиннющими хвостами перебил, перекалечил не только бесстыжих насекомых, напавших на него, но истребил и обидчиков своих примитивно защищенных родственников. Во второй раз стали палить пушки, снова взлетали в воздух головные уборы, снова слышались возгласы: «Виват!» Запрыгал, торжествуя, представитель института. Шубников отметил, что все четыре хвоста триумфального животного были мохнатые, в меху, видимо, к удаче пришли сторонники направления мехом наружу. Однако и сторонники направления мехом внутрь радовались достижению института.

А в небе началось подлинное игрище. Сооружения, устройства, персонажи водонапорной части фейерверка сдвинулись к стаду телят, совместились с животными, зажили общей радостью. Опять били фонтаны, изливались потоки из башни-юбиляра, прыгали и плавали водяные личности, русалки, рыбы, ездили на бочках водовозы, ораторствовали водолеи, телята, некоторые и с букетами хвостов, носились по небу, оркестры гремели, хоры (академические, акапелльные, народные из Омска и Воронежа), рок-группы (хардовые, панковые, металлические) пели всякий по-своему, вздымали здравицы в честь триумфаторов. Люди кричали в упоении, указывали пальцами в небо: «Чудо-то какое! Какое искусство! Какие здесь пиротехники!» Последнее восклицание охладило Шубникова. Несносный Бурлакин выбирался, выкарабкивался теперь в кумиры, в идолы толпы, в ее первые любовники, не так ли? О нем, Шубникове, истинном творце и хозяине всего, словно бы забыли. Вспомнилось тут же Шубникову и то, как Каштанов упрашивал Бурлакина

устроить и третий триумф, носил Бурлакину и одические тексты. Если бы сейчас и впрямь Бурлакин восславил в небе его, Шубникова, заслуги, он бы протянул ему благодарную руку. Но нет, огненная вода все изливалась, ее становилось все больше, она теснила телят, отчасти растерявшихся, казалось, телятам вот-вот предстояло быть утопленными или же превратиться в подданных морских царей. Вода, обычная, дождевая, закапала и на земных участников гулянья, не остудив, правда, их веселья или разгула. «Нет, это надо немедленно прекратить! – подумал Шубников. – Все. Хватит. Все!» Но он не смог сделать и движения, не смог и звука произнести, усталость, снова давшая о себе знать, была уже и не усталостью, а бессилием, погибелью всех его клеток и атомов. В глазах его все расползалось, растекалось, в полуобморочном состоянии он стал падать, но ухватился за холодный стержень, устоял, однако ничего не видел и не слышал. Он погибал…

– …речь! Речь! Все ждут речь!

Шубникова повели куда-то, поддерживая с боков и сзади, ноги его скользили, сопротивлялись, но Шубников сейчас был – один страх, он думал, что его ведут к краю ледяной площадки, чтобы сбросить вниз, совершить обряд жертвоприношения толпе.

– Нет! Нет! Не могу! Не хочу! Не надо! Нет!

– Вас просят, – шептал ему Голушкин. – Все просят. Как милости. И триумфаторы просят. В контракте упомянута речь.

– Нет… Я устал… я потом… – Страх не ушел из Шубникова, и ни к какой речи он не чувствовал себя расположенным.

Указующая рука опустилась на плечо Шубникова, рука Любови Николаевны.

Шубников, озираясь испуганно по сторонам, шагнул в световое пятно, к возникшим там микрофонам. Сначала он говорил, ничего не видя ни вокруг себя, ни в небесах, ни на земле, и говорил, трудно дыша, будто долго бежал за троллейбусом и теперь вскочил на подножку. Но очень скоро дыхание его улучшилось, голос стал громок, как разрывы снарядов, а зрение обострилось так, что Шубников видел каждого человека в толпе – и на улице Королева, и на сквере Космонавтов, и у главного входа Выставки, и на Ракетном бульваре, видел и в самых черных углах, будто его снабдили приборами ночного наблюдения. Минут пять Шубников прославлял, впрочем, довольно сдержанно, водонапорную башню, затем перешел к достоинствам и дерзаниям Института частей тела и наружного органа. Он призывал к новым рекордным напорам и изливам воды, тем более что она ничего не стоит и лить ее можно сколько хочешь и куда хочешь. «Всю воду

прольем до единой капли и в мировом масштабе!» – взволнованно поддержал его энтузиаст с крыши застывшей карусели. А уже лило с неба, доставляя публике неудобства. Шубников, увлекаясь, стал говорить о хвосте, этом обособленном подвижном заднем отделе тела животных, нынче используемом чрезвычайно бесхозяйственно. Конечно, сейчас хвост как полезное приспособление утоплен, но не водой, а долговременной игрой природы, но мы обязаны думать о нем как о богатейшем резерве живых организмов. Далее пошли слова уже о резервах человеческой души и совести, удивительно легко Шубникову явившиеся и с нарастаемой энергией им произносимые. Опять он переполнялся, как считал Шубников, собственной силой, собственным огнем и жаром и мог повести за собой людей, внимающих ему у подножий ледяных дворцов.

Я стоял в толпе метрах в трехстах от Шубникова, полагая, что не забыл, с какими чувствами и зачем я пришел на улицу Королева. Но снова начиналось наваждение. Снова, как при подписании условий экспедиции на «Стефане Батории» или как при встрече с Шубниковым на Звездном бульваре, меня прожигала чужая энергия, мною не званная, выламывала, выметывала из меня мою самостоятельность, мою сущность, уменьшала меня, сводила в какую-то цифру или знак, склеивала с месивом чего-то безличного, бессмысленного, что остывало бурой эластичной гуттаперчей, гуттаперчу эту можно было растягивать или рубить. И вскоре я уже верил тому, что Шубников прав и велик, что следует преклоняться перед его жертвенной, пылающей душой, следует идти за ним, истребляя в себе и в других всяческие слабости, мерзости, гнуси, и делать то, что он сегодня же назначит Останкину. Лил дождь, но это был дождь очищения. И все вокруг меня стояли с горящими – от огней останкинской ночи, от слов и силы Шубникова, от костров собственных несовершенств – глазами.

Шубников и впрямь мог повести куда-то тысячи людей, но куда – он не знал, озарение не являлось, а ему было мало сейчас одного лишь поклонения и подчинения, его томила эта малость. И было обидно. Не случилось апофеоза, не раздалось тутти, не слилось все в катарсисе, не закрутил, не понес всех и все ураган, повелителем которого стал бы он, Шубников. Что-то немедленно надо было предпринять, что-то сказать единственное, гениальное, вздорное, но – на века, раздуть ураган. Рука Шубникова, нервно дергавшаяся в кармане ватника, наткнулась на семечки, врученные ему на пробу охотниками за триумфом из овощной базы, и Шубников неожиданно для себя, явив людям на вскинутой ладони каленые плоды подсолнечника, оставив слова об общем благе, но не забыв их совсем, заговорил о семечках. Что именно он говорил, он позже не

помнил, как не помнил этого никто из гулявших, видеоаппаратура, несмотря на гарантии островных фирм, не смогла записать речь Шубникова. Но все (естественно, и я) запомнили, как толпы от Останкинской башни и до Оленьих прудов в Сокольниках захватила стихия и мощь Слова о семечках, и вот-вот могли возникнуть то ли общее рыдание, то ли вой, несомненно удививший бы ночную Москву, то ли громогласный клич, то ли тысячеустый смех, притом вовсе не беззаботный и не счастливый, а, наверное, глумливый и сырой…

Запомнилось и другое. Запомнилось, как Шубников стал великаном, вознесшимся над Останкином, существом, какому были дарованы особая судьба, преимущества и полномочия. И когда Шубников призвал толпу пожирать семечки, требование его было воспринято с возгласами благодарности, с ревом голодных, кому милосердно дозволили ворваться наконец в провиантские склады. И дальше все ели, жевали, кусали, грызли, перемалывали семечки, подсолнечные, арбузные, грушевые, кабачковые, огуречные семенные, тыквенные, жареные, каленые, высушенные, соленые, сплевывали в траву, на асфальт шелуху, лушнеюшку; ели, грызли, жевали, выплевывали в едином порыве и ритме, руки, подносившие семечки ко ртам, двигались одновременно, согласно, с выверенными, будто на тренировках фигурного катания, сгибами в локтях, создавая динамическое устремление всех в сторону ледяной вершины с Шубниковым на ней. Никого не занимало, откуда вдруг взялись семечки, откуда они прибывали, заваливая траву, асфальт, доходя иным уже до колен, все словно бы вместе пели сейчас, правда кто – с ожесточением, с напором, кто – с покорностью судьбе, но вместе, и готовы были взлететь в невиданные пределы. И моя рука двигалась, и я сплевывал шелуху под ноги, а оркестры ревели, по толпе, по дворцам, по ледяным горам метались лучи прожекторов, сталкиваясь друг с другом, в мокром небе моментально менялись фигуры и краски, но главными усилиями света по-прежнему выделялся на ледовом уступе вдохновенный Шубников…

Шубников устал. Но об этом внизу не знал никто. Его рука перестала доставать из кармана семечки. Ему надоело творить действо и зрелище. Он все это мог, и следовало опускать занавес. Он презирал останкинских гуляк, всю никчемную шваль, недостойную просветления и нравственных улучшений, продолжавшую жрать и выплевывать по его воле бессмысленные семечки. Он бы разогнал сейчас всю эту шваль, он бы разнес дворцы и балаганы Останкина, но он устал. Он не ответил растерянному Голушкину, а директор его неверно понял, и снова под скалой Шубникова ожили балаганы, карусели, ледяные горы, игорные

заведения профессора Чернухи-Стрижовского, забили фонтаны пахучих и бесплатных жидкостей, новые телячьи туши были насажены на вертелы, шарманщики напомнили о походе Мальбрука. Шубников утомленно смотрел на суету, копошение пустых вертопрахов и вяло думал о том, чем же их еще унизить, чем еще им досадить, а может, и указать на их будущее. Прожектора с Ракетного бульвара высвечивали алексеевскую Церковную горку с известным Шубникову кладбищем. Усмехнувшись зло, Шубников вызвал на Ракетном бульваре, а потом и на улице Королева меж балаганами, каруселями, горами движение склепов, памятников и гробов. На Церковной горке покоились многие строители и работники городского водопровода, это в особенности показалось существенным Шубникову, оттого по его велению камни склепов, решетки оград, надгробия и гробы проползали, пролетали теперь всюду, расталкивая порой и гуляющих, не вызывая, однако, к досаде Шубникова, никаких чувств, не нарушив очереди ни к фонтану апельсинового ликера, ни к мороженщицам. «Впрочем, так и должно быть! – чуть ли не обрадовался Шубников. – Так и должно быть. Кто они и кто я!» То, что он стоял над гулявшими на ледяном утесе, не отвечало уже его положению в мироздании. «Я выше их, – повторял про себя Шубников. – Я выше их. Я больше их». Он чувствовал, что стал расти. Скоро он уже не мог находиться на выступе циклопического ледового сооружения. Но и в Останкине негде стало ему разместить ноги. Шубников перерос Останкинскую башню, и возвеличивание его не прекратилось. Шубников и не желал его прекращать. За ходом времени он не следил, но, видимо, песка в горловину стеклянных часов просыпалось немного. Останкино, еще различаемое Шубниковым, было по-прежнему залито светом, там ползали и шуршали насекомые. Но ни они, ни Останкино ничто не значили для Шубникова. Просыпались еще четыре песчинки, а Шубников висел над планетой в черноте вселенной, сам куда крупнее планеты, называемой насекомыми-эстетами голубой и зеленой. Она вскоре для него стала как глобус, тыква, страусиное яйцо, мяч (и его ничего не стоило пнуть ногой) или как плавающая в безвоздушье мина, для чьего взрыва хватило бы и секунды. «Это мы еще успеем», – пришло вдруг в голову Шубникову. Но он тут же ужаснулся этой мысли. И более не желал расти. Ему стало страшно. Не далеко ли он зашел в своей дерзости? Но не захотел он сразу же и уменьшиться. Так и висел неким монументом, прижав к ватнику скрещенные на груди руки. Однако не смог находиться долго в бездействии, требовалось удовлетворить некое желание. Коли пока он не отважился выйти боярином, сеньором во вселенную, убоялся, ему

захотелось показать хотя бы самому себе (но, наверное, и еще кому-то), что на тыкве, на глобусе, на мяче, на страусином яйце с газовой оболочкой он может сотворить все, на что укажет его воля и каприз. Подробности Земли он был способен разглядеть сейчас, и когда возжелал увидеть отсутствовавший ранее финиковый оазис в песках пустыни Намиб, он его тотчас и увидел. И увидел при этом, как финиковые пальмы росли. Ему захотелось столкнуть два самолета над Северным морем, они столкнулись, один транспортный, тяжелый, другой – частный, с тремя пассажирами, и Шубников наблюдал, как падали обломки в серые волны. Озеро, блестевшее в сосновых берегах, он взбаламутил, сделал вонючим, а потом и вовсе спустил его воды неизвестно куда. Ему стало интересно: как поведет себя взорвавшийся вдруг котел, или турбина, или что там еще стояло в каком-то сооружении, греющем дома, этом иллюзорном утешении ученых недоумков, полагающих, что они что-либо знают и умеют. Комодский ящер попался на глаза Шубникову, он приделал ему крылья и заставил лететь к мазурским болотам. «Все, – повелел себе Шубников. – На сегодня хватит». Со скукой властелина он оглядел черные просторы вокруг, и ближние звезды, и страусиное яйцо, покрытое кое-где буро-зеленым мхом. И тогда разрешил уменьшить себя и вернуть в Останкино.

Директор Голушкин, будто Шубников никуда и не отбывал, бережно дотронулся до рукава ватника, прошептал с уверенностью, что обрадует: «Сейчас! Сейчас будет третий триумф! Если разрешите». Шубников важно кивнул. Небо снова разодрали над Останкином, но теперь оно стало багровым. Предчувствие неприятного тотчас явилось к Шубникову. Пожары полыхали над улицей Королева, куда-то в черноту уносились пылающие балки, резные наличники, хлопья смятой бумаги, пепел (мне в те мгновения пришли мысли о босховском небе в правой створке «Воза сена»), какие-то фигуры неслись ввысь, то ли саранча с лестницами и ведрами, то ли загубленный Василий Пугач с горемычными приятелями. Небо трещало. Обещанием перемен или, напротив, катастрофы поплыла по небу от Крестовского моста пламенеющая буква «Ш», увеличивалась, уплотнялась, шипела; волной огня на глазах ожидающих неизбежности людей к ней стал вздыматься Мардарий.

И Шубников не выдержал, закричал:

– Прекратить! Залить водой! Прекратить!

52

Утром Шубников вызвал Любовь Николаевну. Планета, одним из отделений милиции которой он был милостиво прописан, оставалась страусиным яйцом, миной якорной под его ногами, и Любовь Николаевна была обязана об этом знать. Шубников лежал на койке, заменившей диван, на солдатской шинели. Он собирался иметь в доме одну шинель, но ему прислали две. Отменив распекай Голушкину. Шубников с ними согласился, накрыл одной из шинелей металлическую сетку корабельной койки. Лежа на шинели, согнув левую ногу и возвысив острым коленом вторую шинель, хмурый Шубников ожидал Любовь Николаевну.

*****

Я бродил по Останкину и ругал себя. Надо было иметь в себе неприятие чужой силы и неприятие это вчера употребить. «Маяком» было объявлено, что движение троллейбусов и автомобилей по улице Королева временно закрыто, но жертв и разрушений старых построек практически нет. Теперь на Королева работали бульдозеры, снегопогрузчики и транспортные дирижабли. Никакие дворцы, балаганы, карусели на Королева и на Ракетном бульваре уже не стояли, а завалы семечковой шелухи виднелись повсюду, кое-где высота досадных холмов достигала одиннадцати с половиной метров. Трудились и пожарники. С чувством удивления и объяснимой радости я обнаружил на работах Василия Пугача и пятерых его приятелей с усами. А ведь все слышали вчера об их утрате.

– Так ты живой, что ли? – спросил я.

– А то не живой? – загоготал Васька Пугач. – Череп ты мой горелый!

– И что же, врали, что ты стоял в скульптурной группе?

– Может, и стоял. Хрен в сумку! Разморозили нас сегодня и отогрели. Да если бы мы кушали не мадеру, а это, нас бы никакой мороз не взял.

– Он и так не взял, вы и так посрамили Саппоро.

– А то не посрамили! – опять загоготал Васька Пугач. – Сорок лет стоим на башне!

*

Поклонившись, Мардарий доложил Шубникову, что к нему пришли. В улыбке Мардария была оскорбительная многозначительность. Шубников хотел было отчитать его, но лишь сказал:

– Поставь ей табуретку. Не здесь. Вон там, у ног.

Перед рассветом Шубников в мыслях определил Любови Николаевне служебное место, промежуточное или связное, в его отношениях с судьбой. Мысль Шубникова была непроизнесенная, но отчетливо выраженная, и не узнать о ней Любовь Николаевна не могла. Шубников ощутил к тому же, что сейчас ему не нужна женщина-тело, в крайнем случае он мог востребовать Тамару Семеновну для житейских необходимостей, и ни в какие светелки ездить он более не желал.

– Садитесь, – указал Шубников Любови Николаевне.

– Я могу и постоять, – улыбнулась Любовь Николаевна.

– Садитесь, – строго сказал Шубников.

Любовь Николаевна присела на табуретку, оглядела стены: в доме Шубникова она была впервые.

– Я вас слушаю, – произнесла Любовь Николаевна.

– Бессмертие, – сказал Шубников.

Любовь Николаевна не ответила.

– Бессмертие! – нетерпеливо повторил Шубников. – Мне!

– Я услышала. Но правильно ли я вас понимаю…

– Полагаю, что правильно. Бесконечность жизни.

– Вам может стать скучно. Не многие желали бессмертия. Напротив, оно было наказанием. Вам должно быть известно о страданиях Агасфера. Или Картафила.

– Бесконечно большой величине не бывает скучно, – сухо сказал Шубников.

– А бесконечно малая стекает в нуль, – сказала Любовь Николаевна.

– Это вы к чему? – раздраженно взглянул на нее Шубников. – Я требую от вас вовсе не нуль.

– Да, – согласилась Любовь Николаевна. – Но, по вашим понятиям, бесконечное несотворимо и неуничтожаемо. Вы к несотворимому и неуничтожаемому не принадлежите.

– Не вам судить об этом! – закричал Шубников. – Я вам приказываю, и будьте любезны!

– Выполнить ваше приказание не в моих возможностях.

– Свяжитесь с теми, у кого возможности есть. Немедленно.

– Увы, ничего не изменится.

– Но как же! Как же! – воскликнул Шубников. – Это ведь несправедливо!

Слезы были на его глазах. Шубников искренне считал теперь, что назначение ему жизненного предела – несправедливо, обидно и приведет к несчастью всего человечества. Отчасти он жалел, что избрал в разговоре неверный тон, возможно, надо было не кричать на женщину, а разжалобить ее, вызвать в ней сострадание матери или хотя бы любовницы. Впрочем, заискивания перед Любовью Николаевной могли привести и к унизительному положению, и это после вчерашнего величия!

– Если мне не дадут вечно служить совершенствованию людей, – мрачно сказал Шубников, – я обозлюсь и натворю бед.

Любовь Николаевна молчала.

– Больше вы мне ничего не скажете? – спросил Шубников.

– Я при вас, – сказала Любовь Николаевна. – Но наградить или наказать вас бессмертием я не могу.

– Вон! – закричал Шубников, приподнимаясь на локтях. – Вон! И чтобы быть теперь в отдалении от меня!

– Как прикажете, – встала Любовь Николаевна.

– Вон! – кричал Шубников. Он и кроссовку схватил с пола, швырнул ее в Любовь Николаевну, но той в комнате уже не было.

Шубников рыдал, укрывшись с головой солдатской шинелью. Какая досада, какая несправедливость, какая трагедия, думал он. Ему ничего не нужно, кроме этой кровати с металлической сеткой, кроме шинели и ватника, он может обладать всем, но это все ему не нужно, ему нужно одно – быть, быть, быть вечно. Но слепцы и безумцы приговорили его, он умрет, умрет, и, наверное, скоро. Шубникову стало страшно. Он чувствовал себя огрызком сухаря, упавшим в крысиную нору. И прежде случались в его жизни грустные дни, но никогда так не сжимала его вонючими лапами безнадежность отчаяния. Мерзкие люди, некоторые из тех, кого он вчера заставил пожирать семечки, возможно, будут жить и когда его не станет. Ну нет, откинув шинель, решил Шубников, ну нет, он отыграется. Ему отказано в бесконечной жизни, но он отыграется. На ком-то. И на Любови Николаевне. И на ком-то! Шубников ожил. Отчаяние его перестало быть безнадежным. Оно было теперь злым. Оно требовало мести и установления его, Шубникова, справедливости. Отныне Останкино не должно было знать покоя.

Приоткрыв дверь, Мардарий сказал:

– Директор Голушкин.

– Сними ватник! – закричал Шубников. – Не дразни меня! Я не в духе. И куда ты собрался?

– На прогулку, – жестко сказал Мардарий. – И по делам.

И исчез.

Директору Голушкину Шубников объявил, что он устал, что в ближайшие дни в Палату Останкинских Польз ходить не желает и пусть устанавливает с ним связь через экраны, компьютеры и прочее. Шубников не мог более пребывать на улицах, в магазинах, в автобусах среди останкинских жителей – до того они стали ему противны. Голушкин же сообщил, что гулянье произвело чрезвычайное впечатление, овощная база рвется в триумфаторы. И примечательно, что аптека не безобразничала на этот раз, не портила общую картину триумфов.

– И более никогда не испортит! – голосом пророка произнес Шубников.

Завалы семечковой шелухи вряд ли уберут и к вечеру, но это уже заботы коммунальных служб. Отдел «Ты этого хотел. Но сам делать не стал бы», сказал директор Голушкин, он предлагает назвать отделом Таинственных случаев. Или – Тайных просьб. Или – Устранения препятствий.

– У вас какой-то особенный интерес к этому отделу, – сказал Шубников, будто бы осуждал Голушкина или подозревал его в пороках, о которых ему, Шубникову, не следует знать.

– У многих есть этот интерес, – скромно сказал Голушкин и поглядел на Шубникова со значением.

Шубников вскричал:

– Хорошо! Хорошо! Если у вас такой интерес к отделу, то и занимайтесь им!

– Я бы хотел, – добавил Галушкин, – чтобы занятия были и у Мардария и чтобы занятия эти отвлекли его от безрассудных похождений, какие могут принести лишь вред и Палате и вам как личности… Обязан заметить, что Мардарий избалован, мнит о себе нечто несуразное и что-то замышляет…

– Займите и Мардария! – заспешил Шубников. – Займите! Что еще?

Ожидал разговора Перегонов. Беспокоил Голушкина Бурлакин, он будто бы заявил, что закончил все свои дела в Палате и более там не появится.

– Перегонову, – нахмурился Шубников, – отведите пять минут

видеосвязи. Не более. Бурлакин же обязан явиться ко мне для беседы. Хотя бы и по принуждению.

Лицо Перегонова на экране Шубников наблюдал без радости, услышал от него то, что хотел бы услышать днями раньше, но это услышанное не принесло ему теперь ни удовлетворения, ни тем более удовольствия. Перегонов просил, и видно, что без ехидства, извинения за недавние дерзости и колкости. Он недооценил Шубникова, догадавшись же о его сути, полагает, что разговоры он вел преждевременные и необоснованные. Без отношений с Шубниковым, Любовью Николаевной и Палатой ему, Перегонову, и людям, которых он представляет, жить будет спокойнее. У них есть все, и они все добудут. Думали взять и Палату в свой кошель на всякий случай, про запас, «на вырост» и так далее и желали показать, что любому сомнительному предприятию можно найти управу. Но нынче ясно, что лучше жить без чужих добыч.

– Вы испугались? – усмехнулся Шубников.

– Меня не отнесешь к людям осторожным, – сказал Перегонов. – Но все же во мне есть нечто от моей старой мамы. А она при всяких переменах обстоятельств прежде всего задумывается: «Только бы не стало хуже!» Это не трусость. Это благоразумие. С вашими добычами и увлечениями может стать хуже. А потому мы пока с вами раскланиваемся.

– Пока?

– Ну кто же знает, что с нами будет завтра?

– Я знаю, что завтра будет с вами, – сказал Шубников. – И вам станет хуже, если будете путаться у нас в ногах.

– Вот это вы зря, – надулся Перегонов. – Я говорил с вами откровенно. И мы обидчивы, запомните это.

«Раскланяться решили! – думал Шубников. – А наблюдателей-то наверняка оставили. Мы еще раскланяемся! Мы еще со всеми раскланяемся! С истреблением света!»

– Напрасно меня вели сюда сопровождающие, – сказал доставленный к Шубникову Бурлакин. – Я бы и сам сегодня пришел. Но беседовать, полагаю, мы будем без свидетелей.

Сопровождающие удалились.

– Все, – сказал Бурлакин. – Надо прекращать. Сушить весла. Снимать червей с крючков. И ты это понимаешь.

– Я не понимаю, – суетливо заговорил Шубников. – Не понимаю! Рано. Не понимаю!

– Твое дело. Я ухожу.

– Это измена! – вскинул руки Шубников. – Ты – предатель!

– Не юродствуй, – сказал Бурлакин.

– Да, ты – предатель! Это постыдное бегство! Измена!

– Считай как хочешь. Я сыт игрой и развлечением.

– Тебе не было интересно? Ты лжешь!

– Поначалу, по безрассудству, было, – сказал Бурлакин. – Но я повзрослел и посерьезнел. И увидел, что для меня здесь все чужое. Увидел, к чему все может привести. Понял, что мне лишь дозволили тешить себя чужими игрушками. Ты заказывал, я придумывал, но все это было не мое, не мной сотворенное, а мне лишь поданное неизвестно зачем. Стало быть, и я был устройством при чужих игрушках и устройствах. А это не по мне. Опыт следует прекратить. Он не удался. Он может принести лишь вред. Он и сейчас приносит вред.

– Мы же мечтали, – с пафосом произнес Шубников, – исправить и улучшить нравы!

– Ты об этом говорил. Но не я.

– Да, я говорил об этом! Я! И была ли у меня тогда и сейчас корысть? Вот эта кровать и вот эта шинель – и вся моя награда. Стали бы люди лучше и жили бы лучше!

– Твоя Палата лучше их не сделает. Напротив.

– Это спорно! Это спорно! Хотя, предположим, пока не делает. Но они сами таковы, что сразу не могут истинно понять, что им нужно. И пусть, пусть их заблуждения дойдут до крайности, пусть загнивают их души, пусть созреет и станет багровым нарыв, тогда-то и наступит раскаяние, а потом и обновление.

– И это ты поведешь останкинских жителей сквозь искушения, сквозь раскаяние к обновлению?

– Я. Мне так назначено. Моей натуре и моей воле! – гордо произнес Шубников.

– Ничто и никем тебе не назначено, – сказал Бурлакин. – А твоя воля – просто похоть.

– Не оскорбляй меня! Не дерзи судьбе! Я все отдам людям!

– Эти люди для тебя – цифры, знаки, спички, окурки. Семена и торф для опытов. Помнишь, что пели подданные Додону у Римского-Корсакова: «Без тебя мы и не знали, для чего существовали. Для тебя мы родились и детьми обзавелись». Тебе ведь нужны такие люди. Взмахнешь рукой – и они станут пожирать семечки. А потом еще что-либо, что придет тебе в голову. Угомонись, сдай пай, заживи человеком, а не избранником и пророком, тебе же будет легче и всем в Останкине, хотя многого уже и не исправишь.

– Ты не только постарел, но и поглупел! – рассерженно заключил Шубников. – Если бы ты захотел, я бы произвел тебя в академики, в те, что заправляют институтами и ездят в Стокгольм за премиями, и предоставил бы тебе открытия, какие другим в этом веке не снились!

– Это опять же были бы чужие игрушки. Да и неплохо бы научиться пользоваться открытиями, какие уже сделаны.

Шубникову вдруг захотелось разжалобить Бурлакина, ощутить снова его дружеское расположение и понимание, он и слезу сострадания к себе, к Бурлакину, к человечеству готов был пролить сейчас, обхватил Бурлакина за плечи, предложил пойти на кухню, поставить на стол бутылку коньяка, стаканы…

– Нет, – сказал Бурлакин. – Я прошел сквозь искушения и раскаяние. Ничего отменять не буду. И ты верни пай.

– Я не могу! Нет! Не тот день. Не тот час… Сегодня мне… нам… нам! – отказано в бессмертии!

– Мне не нужно бессмертия, – сказал Бурлакин.

– А мне нужно! Нужно! – закричал Шубников. – Но мне в нем отказано!

– Теперь ты станешь совсем опасен, – покачал головой Бурлакин. – Но оставь хоть в покое дядю Валю. Облегчи ему жизнь. Иначе он погибнет.

– Он не погибнет, – холодно сказал Шубников. – Это не в моих интересах.

– Я знаю, что это не в твоих интересах. Однако в увлечении ты можешь совершить и то, что не в твоих интересах.

– Не ты ли вместе со мной начинал затею с дядей Валей?

– Я, – сказал Бурлакин, – я за все отвечаю вместе с тобой. И если ты не прекратишь забавы, я стану тебе мешать.

– Помешать мне ты вряд ли сможешь, – высокомерно сказал Шубников.

– Смогу. И знаю как. И не вбивай в голову, что ты особенный. Ты вполне заурядный. Но это-то и опасно.

– Мешай мне! Топчи меня! – Шубников вскинул руки и словно бы готов был рвать на груди рубаху. – Унижай меня! Обижай меня, заурядного, сирого и босого!

– Я тебе все объяснил, – сказал Бурлакин. – Прощай!

Он пошел в прихожую.

– Погоди! – погнался за ним Шубников. – Никогда не говори «прощай»! Не накликай на себя бед! Погоди, брат!

Но дверь за Бурлакиным закрылась.

Шубников бродил по квартире, как зверь бешеный. Бурлакин был для него уже не брат, не друг и не приятель. Шубников и прежде испытывал желания, какие гнал от себя, а для Любови Николаевны объявлял их недействительными. Желал он не видеть людей, знавших его в прошлом и бывших когда-то с ним на равных. Его нередко уже раздражало присутствие вблизи него и Бурлакина, и Каштанова, и других, да, они были ему пособники, но им в деле, наверное, нашлась бы и замена. Пожалуй, Шубников не возражал бы, если бы сменили всех жителей в Останкине, скажем, свезли бы их всех в какой-нибудь Нижний Ломов Пензенской области, а нижнеломовцев переселили бы в Останкино. Но работники ему несомненно были нужны. Они и выныривали сами из пучин обыденности. Обрадовал Шубникова патлатый верзила профессор Чернуха-Стрижовский, его Шубников со временем полагал держать по правую руку. Нашлись бы деятели и по левую руку. Пригодился бы и мрачный водитель Лапшин с его гильотиной. А всяких извозчиков Тарабанько, сеятелей информации Каштановых, ходячих процессоров Бурлакиных следовало потихоньку пусть и с почестями, но удалить, чтобы не мозолили глаза и не вызывали неоправданных чувств и надежд у толпы. Но так полагал Шубников совсем недавно. Теперь же он знал, что ему ненадолго понадобится и новое окружение. Теперь он знал, что скоро и впрямь прекратит дело. Но прекратит совершенно не так, как бы хотелось этому ничтожеству Бурлакину!

«Ах мразь! Ах сволочь! Ах тварь!» – повторял то мысленно, то вслух Шубников. Какое уж теперь он мог назначить удаление с почестями этой мрази, этой сволочи, этой твари! Не бегство, не предательство, не вчерашнее отвратительное багровое небо с шипящей, будто недогоревшее полено, брошенное в воду, буквой «Ш», не это неразъясненное предзнаменование оскорбило и разозлило Шубникова в особенности, а тихое утверждение, что он, Шубников, не избранный, а заурядный останкинский житель! Одно это нельзя было оставлять без возмездия.

Потом Шубников снова лежал на кровати. Его била дрожь. Он был зол на всех. Он должен был расквитаться со всеми. Он был обречен. Как, впрочем, были обречены все! Но какое ему дело до изначальной обреченности всех! Смерть – благо, утверждал больной, слабый, напуганный человек, она – закономерное прекращение случайного сновидения, являющегося издевкой или ошибкой. Он, Шубников, не больной и не слабый человек. Назначенный ему предел – преступление, и оно не останется без наказания. Этот назначенный ему предел – свидетельство просто безрассудства и упрямства природы или кого там,

кто взял на себя право распоряжаться его жизнью. Именно скудостью средств, несовершенством устройства, безрассудством можно было объяснить нежелание или боязнь хоть бы в единственном случае устроить испытание бесконечной жизни. А бессильному, скудному, безрассудному в природе Шубников был готов бросить вызов. Пусть его прикуют к скале, пусть натравят на него орла, но и тогда он не смирится с несовершенством мироздания.

Так он лежал под шинелью, не думая о ходе времени, злясь на всех и укрепляясь в гордыне. Однажды шинель с него будто сорвали. Шубников открыл глаза. Над ним стоял Мардарий.

– Я понял, – сказал Мардарий. – Я тебя понял.

«Сними ватник, мерзавец!» – хотел было выкрикнуть Шубников, но губы его не разжались. Мерзавец же Мардарий растворился в воздухе, шинель накрыла лицо Шубникова, и через минуту он уже не знал, привиделся ли ему Мардарий или залетал на мгновение с прогулки. Шубникову пришли на ум слова авантюрного человека Сальваторе Тончи, облегчавшего свое предельное проживание на земле мыслями о том, что в жизни нет ничего существенно действительного, что и сам он призрак и что все ему грезится и мерещится. Нет, ему, Шубникову, ничто не грезится и не мерещится, разве только мерзавец Мардарий. И все то, что не грезится и не мерещится, останется и после него. Он, Шубников, сгниет, сгорит, рассыплется, погрузится в небытие, а оно останется. Нет, пообещал Шубников, не останется. И оно пропадет и сгинет!

В мозгу Шубникова, будто на экране компьютера, побежали телетайпные слова: «Бурлакина нет… нет… Между двумя электричками… Исполнено… Платформа Болшево Северной железной дороги…» Шубников откинул шинель, вскочил. «Нет! – кричал он в испуге. – Нет!»

Одно дело было грозить кому-то неведомому, укрывшись с головой шинелью, или выпускать воды из озера, вблизи которого он никогда не бывал, другое… Бурлакин ведь действительно ездил на работу за город электричкой с Ярославского вокзала…

– Мардарий! – закричал Шубников. – Мардарий!

Мардарий явился незамедлительно, словно ждал где-то за углом в нетерпении быть расспрошенным и вознагражденным. Шубников чуть было не вцепился в его ватник, но с брезгливостью отвел руки, от Мардария разило вонючим прудом.

– Что? Что? Что? Говори! – метался по комнате Шубников, стараясь не глядеть на Мардария.

– Ты этого хотел! – с удовольствием выпалил Мардарий. – Но сам

делать не стал бы.

– Я не хотел! Ты врешь! Мерзавец! – со сжатыми кулаками пошел на Мардария Шубников. – Я ничего не хотел! Ничего!

– Ты хотел, – повторил Мардарий. – Но сам делать не стал бы.

Шубникову показалось, что Мардарий улыбается с издевкой. Над кем он издевался? Над ним, Шубниковым, над родом ли людским, над собой? Впрочем, толковать выражения, знаки глаз и пасти этой подлой рыбы было занятием пустым и сомнительным. Но была в мерзкой образине злая радость, была!

– Уйди отсюда! – закричал Шубников. – Более не попадайся мне на глаза! Ничего не говори мне! Ничего! Ни о чем не рассказывай! Я ничего не хотел! Ты врешь! Пропади пропадом!

Теперь уж точно Мардарий откровенно насмехался над ним и глядел на него как на зарывшегося в ил карася. Мардарий и движение сделал ртом, словно желал втянуть, всосать в себя карася. «Уж не стал ли он вампиром? – явилось Шубникову. – Не электричкой небось, не электричкой…»

– Пропади пропадом! – заорал Шубников. – И сейчас же!

Пропал Мардарий.

В новые дни Шубников не выходил из квартиры уже не потому, что не желал быть среди останкинских жителей, одинаковым с ними, а из-за страха. Страх его вызывало все, что было в мире, что было в нем самом. Шубников прекратил отношения с Палатой Останкинских Польз, не смотрел в окна, ничего не ел и не пил, не подходил к водопроводным кранам, опасаясь, как бы из них не выплыл Мардарий и не загрыз его. Надо сказать, что страхи Шубникову даже нравились, они гасили мысли о Бурлакине, создавали ощущение вины перед ним мира. Постепенно он укрепился в мнении, что все перед ним виноваты. Или необязательно перед ним, а просто виноваты вообще. Если действительно с Бурлакиным случилось нечто неприятное, то, конечно, виноват был сам Бурлакин, пытался же он, Шубников, остановить его, воззвать к разуму, наконец, просил не говорить «прощай» и тем не притягивать беду. Определение вины разным личностям, сообществам, явлениям стало для Шубникова увлекательным и важным занятием. Несомненно, виноваты были теперь все люди и существа, какие могли жить и после его кончины. И те, кто мог прожить «после» более лет, были и более виноваты. И выходило, что самыми виноватыми оказывались дети. На ум Шубникову все чаще являлся детский сад во дворе дома номер пять по улице Королева и посетители этого сада. Шубников уже знал, что с ними-то он непременно

что-то учинит, на них-то обязательно отыграется, может быть, с них и начнет… В конце концов Шубников успокоился, мысли о Бурлакине, об ошалевшем от злой радости Мардарий утихли, отлетели далеко-далеко, уравнялись с мыслями о неведомом лесном озере, о самолетах, какие он столкнул над Северным морем. Но пришло беспокойство иного рода. А не строят ли ему каверзы? Не затеяли ли все эти Бурлакины, Каштановы, Голушкины, Любови Николаевны в коварном союзе с аптекарем или даже с Перегоновым заговоры и бунты с намерением устранить его от дел? Ну уж нет, не устранят! Жажда действовать возродилась в Шубникове. Предел ему, надо полагать, должен был наступить не завтра и не послезавтра, и требовалось напомнить, кто в Останкине велик, а кто ничтожество.

Шубников решил немедленно восстановить связь с улицей Цандера. Однако экраны не зажглись, что-то затрещало, чей-то писк был сразу задавлен, прекращен треском. Не заговорил и трехпрограммный приемник, включенный в сеть. До Шубникова дошло, что и лампочки в комнате горят чуть ли не в треть накала. И вода из кранов еле текла. Взволнованный Шубников послал повеление – системами Любови Николаевны – директору Голушкину: выйти с ним на связь. Вскоре экран посветлел и ожил, однако изображение оказалось безобразным, лицо Голушкина искажали помехи.

– Что происходит? – спросил Шубников.

– …результате похождений Мардария… – забормотал искаженный Голушкин, – после несчастья с Бурлакиным ведет себя рискованно… нас не слушает… самонадеян и упрям… не могу умолчать об этом…

– Какого несчастья? Каких похождений? – актерски удивился Шубников.

Голушкин принялся рассказывать о подробностях несчастья, о погребении Бурлакина, но Шубников перебил его, закричал:

– Мардария ко мне! Немедленно!

Слова о несчастье с Бурлакиным более не ужасали Шубникова, он привык к ним, но подробности знать не хотел.

Похождения Мардария состояли вот в чем. После дела с Бурлакиным и других дел он то ли возгордился, то ли увидел в себе нечто необыкновенное, в отношениях с работниками Палаты стал несносен, высокомерен, грубил, пускался же в затеи, для самой Палаты вредные. К тому же он оголодал. И вот за два последних дня Мардарий выпил всю энергию Останкинской башни, все ее волны и импульсы, все звуковые и световые сигналы, отчего граждане не имеют возможности видеть даже программу «Время», а потом посетил Останкинские мясной комбинат и

пивоваренный завод и их лишил энергии и многого из материальных фондов. Останавливать же его не решались, полагая, что действует и живет Мардарий с ведома художественного руководителя Палаты. «Ах, Мардарий! Ах негодяй!» – думал Шубников. Но он и завидовал Мардарию.

Но когда Мардарий явился, в ватнике, перепачканном опилками, машинным маслом, ржавым железом, принес запах болотной тины, он снова стал мерзок Шубникову.

– Ну что, брат? – сказал Мардарий, не дожидаясь слов Шубникова и улыбаясь нагло. – Скучаешь, брат?

– Как ты смеешь так называть меня! – возмутился Шубников. – Какой ты мне брат?

– А кто же я есть? – спросил Мардарий. – Я – твой. Я – это ты, но другой. Я – твое дитя. Я – твой выкормыш.

«Не только мой!» – хотел было выкрикнуть Шубников, но сразу же понял, куда его может привести восклицание, и сжег мысли о Мардарий и Бурлакине.

– Твой, твой, – сказал Мардарий. – Из-за тебя я столько вытерпел, из-за тебя столько увидел и узнал, столько прочитал, Дхармакирти, Шопенгауэра, Ницше, Гартмана, Бергсона среди прочего, этих на языках подлинников.

Шубников не читал никаких Шопенгауэров, Ницше и Бергсонов, о Дхармакирти же и Гартмане слышал впервые и был несколько удивлен признанием Мардария.

– Да, – сказал Мардарий, – я многое прочитал, увидел и узнал из того, что должен был прочитать, увидеть и узнать. А теперь я многое решил и не без твоих подсказок и желаний понял, что надо делать. А потому я тебе больше чем брат. Ты же киснешь и собираешься киснуть. Тебе и обе женщины сейчас не нужны. А мне они необходимы. Хотя бы на время. Отдай мне их, брат!

Рассвирепевший Шубников чуть было не выразил сомнений по поводу мужской силы Мардария, но не отважился. Мардарий более не улыбался, смотрел на него серьезно. «Ба, да ведь он сожрет меня!» – осенило Шубникова. Часами раньше Шубников холодно думал о Любови Николаевне и Тамаре Семеновне, но теперь покушение, посягательство на его, Шубникова, достояние возмутило, словно бы подожгло изнутри. И догадка о том, что Мардарий проглотит и сожрет его, требовала мгновенного решения.

Мардарий все понял, угадал судьбу, вид у него был страдальческий, он еще надеялся на что-то, затрясся, задрожал, хотел было убежать,

улететь, уползти, но не смог сдвинуться с места, желал ухватиться за что-либо в воздухе, но и этого ему не позволили. Мардария повлекло к Шубникову, корчась в судорогах, с хрипами и стонами отчаяния он был вдавлен, вмещен в Шубникова. Теперь стал дрожать и Шубников. Жар, только что подымавшийся в нем, исчез, ледяные иглы кололи Шубникова изнутри. Но дрожал Шубников и оттого, что ему сейчас открылось. Дрожал из-за тех бездн, которые он ощутил. «Зачем я? – думал Шубников. – Ведь этого нельзя было делать…»

53

Холода приползли в Останкино.

А ведь шел май, и уже осыпались лепестки черемухи. Бывая в других краях Москвы, я не ощущал там останкинской студености. Люди в Замоскворечье, на Покровке, в Чертанове сняли свитеры и пиджаки, мы же являлись к ним в ушанках и куртках на меху. «Да вы небось из Останкина», – говорили они. Как раз в ту пору стало известно из телевизионного остроумия метеорологов, что если Африка в Москве – Балчуг, то Антарктида – Останкино. К тому же батареи в домах у нас не грели и горячая вода в квартиры не допускалась. Ну ладно бы прекратили топить на Балчуге…

Впрочем, приходили в голову мысли, что не географическое положение Останкина, не открытость нашей местности всем ветрам, северным в особенности, не ремонтные работы в котельных с думами о зиме должны были нас тревожить. Ну холод. Ну мороз и мороз. Ну нет горячей воды. Неужели это новости для останкинского жителя? Однако уныние захватило многих. Морозец, пусть и без снега, с прижатыми к окаменевшей земле травинками, со стеклышками льдинок там и тут, должен был при ясном небе бодрить и призывать к действиям. Но нет, не призывал и не бодрил. Трусаки и те прекратили бегать в скверах и парке. Слабость, будто после воспаления легких, ощущалась не мной одним. Слабость и апатия. И несомненное беспокойство, предощущение скверного, чему следовало бы помешать, но как и какими силами – неизвестно. Холод был в душе Останкина.

Неприятно было возвращаться с работ или выходить из домов вечерами. Останкино стояло черное, выстуженное или простывшее, мрачное, устроенное словно бы и не для жизни людей, а неведомо для чего, пустынное, одни лишь охранители уличных приличий и попадались навстречу. В магазинных залах у прилавков и касс поубавилось жизнелюбивой толкотни – многие останкинские жители утеряли аппетит.

Да что аппетит! В жизни каждого случаются минуты тоски, усталости и отчаяния, когда кажется, что ничего светлого более для тебя не будет. Но, однако ж, опять вскоре бежишь куда-то, и о чем-то хлопочешь, и чего-то ждешь. Сейчас же уныние ощущалось как вечное и единственное состояние жизни. Звезды, о каких в городе не думаешь, высвечивались во всем их пугающем множестве, с ледяной очевидностью открывались при

этом втягивающие в себя глубины и пропасти не наверху (да и где был верх?), не в небе, а в сути мироздания, напоминая о краткости и беспощадности жизни. И приходили испуги, как в детстве, когда усыхал фитиль керосиновой лампы, а ты, шестилетний, лежал один в зашторенной из-за вражьих самолетов комнате, и думалось, что мать не вернется никогда. Теперь я пытался успокаивать себя соображениями о том, что эсхатологические настроения неизбежны для людей, но что даже и при всех несовершенствах человека сама материя, мироздание, природа (или что там еще) не запрограммированы на самоубийство, не имеют его целью, потому и не следует ожидать конца света. Но уныние в Останкине порой было словно бы предощущением именно скорой гибели мира. И возникало осознание вины, нет, и не вины, а причины этой предощущаемой гибели в самом себе, но не личностное (хотя я сознавал в те мгновения и малость, глупость, ошибочность своей жизни), а словно бы всеобъемлющее; я, как и другие люди, твари, насекомые, звери, камни, осока болотная, был составным малости, глупости, ошибки… О люди, люди! Откуда мы? Зачем мы? Куда идем? Куда гоним себя?

У остывших батарей я жалел о том, что сейчас в Москве не затопишь печь. Я уж и забыл, как грелся у печей в Напрудном, в Юрине, в Яхроме, будто этого и не было никогда. Воспоминания уводили меня из Останкина в места, в каких мне жилось хорошо и покойно. А ведь были и война, и несытые годы, и стечения грустных обстоятельств в жизни взрослых, отца с матерью. Но для меня в очаге дома горел огонь.

Из Напрудного переулка я переехал в Останкино лет семь назад. Останкино не было для меня чужим. Первая Мещанская, на которой стояла моя школа, перетекала через Крестовский мост в Ярославское шоссе, а оно километра через два прибывало в Останкино, куда мы ездили в парк и на Выставку. Напрудный же переулок лежал в Мещанских улицах, между Второй и Третьей, и был, как и белая церковь Трифона, вблизи которой охотился Грозный Иван, памятью о селе Напрудном, известном с двенадцатого века. Или, по другим источникам, Напрудском. Теперь из четырех Мещанских осталась одна, последняя. Усовершенствователей разных лет раздражали огорчительные для них названия. К тому же, видно, им казалось, что как только благородное слово заколотит слово сомнительное, сейчас же изменится суть населения и его жизни. По той причине, наверное, в Тульской области поселок Лаптево произвели в город Ясногорск. Или втекающий в нашу Первую Мещанскую Протопопов переулок назначили быть Безбожным. И Мещанские улицы еще до войны улучшали именем Гражданские. При этом не принимались в расчет память

города и то обстоятельство, что лишь по неведению «мещанин» можно было отнести к словам оскорбительным, срамным для нового быта. Мещанские улицы, известно всем, возникли в семнадцатом веке, когда из возвращенных Россией западных земель были переселены Алексеем Михайловичем в Москву мещане, жители белорусских городов – мест. Названия Гражданские заменой не вышли и не прижились. Однако усовершенствователи не унялись и возвели Первую Мещанскую в ранг проспектов, отчего она, гнутая историей и ходом дороги в северные земли, проспектом все же не стала. Но дело было начато, и вскоре на Второй и Третьей Мещанских улицах поснимали на время таблички и фонари с домов, а улицам дали новые метки с именами Щепкина и Гиляровского. Именами, что и говорить, уважаемыми, но для наших улиц необязательными, важные свои годы и Щепкин и Гиляровский провели не здесь. При этом ни о чем не спрашивали у жителей улиц. Да и о чем же спрашивать-то у них, коли их облагораживали? Но все же мы оставались мещанскими, а не щепкинскими и Гиляровскими, как оставались москвичи к востоку от нас – переяславскими, а к северу – трифоновскими и марьинорощинскими. Нет памяти у людей, сквозь Москву пролетающих, но у Москвы есть память, и ее ничем не истребить.

Напрудный переулок и был одним из самых мещанских. После войны Центр находился от нас чрезвычайно далеко – километрах в четырех к югу: мы жили почти у Рижского вокзала, у Крестовской заставы. Останкино же и Ростокино представлялись нам загородными, дачными местностями. А нынче Рижский вокзал для жителей Бескудникова или Бибирева – чуть ли не Центр. От моего же переулка остались лишь мостовая да три дома. Но он не исчез, он – во мне. Несколько лет назад, взрослым человеком, я забрел в Напрудный. Стоял еще наш дом. Людей в нем жило мало. Поводов для межсемейных столкновений на кухнях более не существовало. Сыростью, неустройством, болезнью тянуло из лестничного колодца, желтые, из известняка, знакомые мне ступени были совсем стерты. Не узнанная мною старуха высунула голову из крикливой когда-то квартиры сапожника Минералова, тут же захлопнула за собой дверь. Дом был не жилец. Но мог ли Напрудный остаться в городе, а не превратиться в проезжую часть при унылых новых строениях, какие из-за несоответствия ценностям города будут рано или поздно снесены? Думаю, мог бы. Три века с лишним был он в городе одним из ручьев жизни, не портил Москву, мог бы существовать в ней обновленным, с участием крепких старых домов, если бы решали его судьбу люди, смыслящие в красоте, а не те, что нерадивость, отсутствие таланта, безразличие или нелюбовь к Москве

оправдывают нуждой человека в утепленном пространстве. Но это разговор другой…

А в прежний, живой Напрудный возвратили меня воспоминания об огне и печи. Напрудный моего детства был обычным московским переулком с домами в два и три этажа, деревянными и кирпичными, с судьбою в столетия, с флигелями в зелени во дворах, с земляными, позже – асфальтовыми тротуарами, с травой и пылью летом, с сугробами – зимой, горластый, радостный, со множеством кое-как одетых детей, с их играми в войну, в дочки-матери, в штандор повсюду – на лестничных клетках, на чердаках и крышах, на тротуарах, с одним футбольным мячом на всю ребятню, с патриотизмом дворов, с соседством легендарно-разбойных Солодовок, со звоном трамваев в отдалении. Здесь все знали друг про друга. Здесь бранились, дрались, но и не оставляли одних в горестях. Напрудный переулок, населенный людьми разных дел и судеб, был из тех, что и делали Москву «большой деревней». Такие переулки я встречал в Дмитрове, в Угличе, в Ярославле, на енисейском берегу и в Кашине. При всех бедах и несогласиях нашей земли это были переулки общего житья и даже несуетного уюта. Отчего им не быть больше? Пусть бы стояли и жили со всеми приобретенными столетием удобствами…

У каждой квартиры на задних дворах Напрудного были дровяные сараи. Хранилась там всякая всячина, чаще и вовсе ненужная и необъяснимого происхождения. Летом в сараях спали. Для жильцов второго и третьего этажей сараи служили и подполами. Но все же они были дровяными сараями. Дрова по ордерам выдавали в Самарском переулке. Дважды в год с матерью мы сопровождали свои кубометры, доверенные возчику, по Самарскому и по Третьей Мещанской. Случалось, нанимали пильщиков. Но чаще пилили и кололи сами. Отец со своими костылями в пильщики не годился. Да и приезжал он с работы под утро. Пилить и колоть я никогда не отказывался, а вот когда посылали в сарай за охапками дров, ворчал. Именно из-за пустячности занятия. Оно всегда чему-то мешало – то играм, то книгам, то урокам. Но усаживался у открытой печи следить за огнем и забывал о ворчаньях, вчерашних и завтрашних.

Я и теперь вижу тот огонь и себя у печи зимой, возможно, пятидесятого года. Я сижу на низенькой скамье, вместившейся в узость между печью и сундуком от бабки с дедом. В руке у меня малая кочерга, загнутый стальной стержень, похожая на крюк, какими мы цеплялись за полуторки и трехтонки. Я постукиваю кочергой по поленьям, следя за тем, чтобы они горели ровно, а угли от них утеряли голубые огни

одновременно. Рядом стоит таз для головешек, но головешек не должно быть. Иначе ты плохой хозяин и плохой кочегар, скверно подбирал поленья в сарае и в один глаз, зевая, следил за огнем. Стыдно было бы перед матерью, которая все умела и успевала. Случалось, конечно, хватал дрова в спешке и в темноте, попадались поленья с несоответствиями – сухие и сырые, от разных пород, плотные и трухлявые. Но и тогда можно было топить так, чтобы не осталось головешек и тепло не вылетало в трубу. Каждой спичке в доме в ту пору вели счет. Но вот поленья потрескивали, в трубе гудело весело и с удалью, и тогда можно было, перемещая кочергой поленья или просто переворачивая их с боку на бок, смотря по тому, какие у них были кривизна, кора, сучки, вызывать в печи огненные картины и действия с перетеканиями, а то и с борьбою языков огня, со вспышками, с разлетами искр, со сменами мелодий печного гуда. Было хорошо, от доброго жара краснело лицо, мороз за стеклами в крещенских узорах прогревался августовским солнцем, а в печи перед тобой происходили сражения людей или стихий, борение волшебных сил, тебе неведомых, однако всегда одолевали силы, покровительствовавшие нашему дому, матери, отцу, мне. А может быть, и оберегавшие нас. Благие дни детства, спасибо им! Их фантазии, грезы, видения в рисунках печного огня зимней Москвы существуют во мне и теперь, противятся черному и серому, зябкости горьких туманов!..

А в Яхроме печи стали топить торфом. К дому моей тетки торф привозили на лошади, грузовику к нему подъехать было трудно. Дом стоял на горе. У жителей Кавказа, Хибин или даже волошинской Киммерии утверждение о том, что под Москвой есть горы, могло бы вызвать и улыбку. Хотя горцы из Бакуриани и приезжали именно в Яхрому соревноваться в прыжках с трамплина у Парамоновского оврага. Путеводители, призывающие в Яхрому взглянуть на известный монумент защитникам Москвы, называют местные возвышенности высотами. Монумент стоит на Перемиловской высоте, откуда и началось памятное наступление зимой сорок первого. Сибиряки и уральцы прошли на запад и мимо дома моей тетки, на террасе его немцы на сутки устраивали командный пункт, на крыльце ставили пулемет, восточнее в Подмосковье они, пожалуй, не забирались. И хотя в историю войны вошли именно яхромские высоты, патриоты города, и я с ними, называют высоты горами. Перемиловская гора, Семешкинская гора, Красная гора, Андреевская гора. Горы эти, правда, лишь немногим превышают двести метров, оставлены они московским оледенением, состоявшимся в четвертичном периоде, и принадлежат Клино-Дмитровской гряде. (Замечательно, что гряда

дотягивается до Останкина, здесь и обрывается, наша башня стоит на южном склоне гряды.) Гряду рассекает, обнажает долина реки Яхромы, во времена Ивана Калиты – судоходной. Ныне долина Яхромы стала долиной канала с мостами, шлюзами и пристанями, канал впустил в себя воды не только Волги, но и Яхромы, иссушив ее, – такая судьба. А с белых палуб особенно хороши яхромские высоты! Горы! Естественно, горы! Я в Яхроме не приезжий. Для меня Яхрома – город родной. На Перемиловской горе, возле церкви Вознесения, упокоились мои предки. В Яхроме встретились и полюбили друг друга мать с отцом. Я рос в Москве и рос в Яхроме. Жил здесь летом, в зимние каникулы, и здесь был мой дом. На расспросы мальчишек во дворе в Напрудном я первым делом отвечал, что в Яхроме все просматривается на двадцать километров. На двадцать не на двадцать, но с Андреевской горы был виден Дмитров, а с наших, правобережных, гор, казалось, можно было осмотреть весь свет. И уж, конечно, не только Дмитров, но – что там было за ним? – и Вербилки, и Талдом, и Савелово, и Дубну, и Рыбинск, и Кашин, и Углич. Замкнутое пространство действует не только на людей, удрученных клаустрофобией. Даже если оно не угнетает, то несомненно что-то в тебе ограничивает и пресекает. В Яхроме, и особенно на ее высотах, являлось ощущение простора, открытости земли и жизни, подобное какому я в детстве редко где испытывал. И звезд мне открывалось здесь больше, чем где-либо, парными августовскими ночами дядя, учитель математики, давал им ради меня названия. Местная ребятня знала, что Яхрома находится не где-то на отшибе и в тупике, а посреди всех земель и вод. В яхромский шлюз, по щедрости декораторов эпохи украшенный бронзовыми каравеллами и прославленный в «Волге-Волге», входили теплоходы, сухогрузы, буксиры, приписанные к портам речным и морским. В дни праздников военных моряков для столичных церемоний, на нашу радость, под мостом проносились к шлюзу катера, а мы качались на их волнах. Вся земля с континентами и океанами была видна из Яхромы, и здешний простор не мог не понуждать к желанию простора, свободы в душах и судьбах. Вижу себя в отроческие годы на земляничном подъеме горы Красного поселка, удивленного, очарованного миром, с ожиданием полета в дальние дали, с томлением души…

Эка меня повело! Вспомнил о том, что в Яхроме в пятидесятые годы развозили торф для печей, и пошли чуть ли не стариковские умиления по поводу отгоревших лет! Кстати, понятно, что, если рядом росли леса, в дело шел не один торф. Летом мне не раз для кухонной печи приходилось быть заготовителем дров и хвороста. Хворостом чаще всего оказывались сухие сучья бузины. Гора Красного поселка была раскорчевана под

огороды, под картошку, на самой спине ее пасли коз (и мне доводилось), лес начинался в километре от теткиного дома и уходил к Загорску, к местам Сергия Радонежского. Свободные же склоны Семешкинской горы и горы Красного поселка были в зарослях бузины. Бузина росла в Яхроме всюду. Для меня бузина соединена с Яхромой и детством. Однажды меня попросили написать для нравоучительного журнала нечто душевное о любимом растении или дереве. Я сказал, что напишу про бузину. Рассмеялись, заметив, что бузина будет иметь успех лишь при наличии в Киеве дядьки, а так растение – дрянь, имеет неприятный запах, недозревшими ягодами ее стреляют из зеленых трубочек, или, проще говоря, плюются, а потому напоминать о ней детям – лишь вводить их в грех. Я обиделся за бузину. Я всегда считал бузину красивым кустарником. Меня нисколько не огорчало то, что ягоды бузины несъедобны, скорее устраивало, что вблизи нее можно было просто жить, не имея к ней никакой корысти, можно было играть в ее зарослях, строить шалаши в ее тайниках и смотреть на ее красные ягоды. Осенью пламенеющая в Яхроме бузина всегда была для меня образом, знаком стойкости и огня земной жизни.

Такое странное течение мыслей и картин происходило во мне в дни останкинских холодов. Я искал успокоение и опору. Но разве верным было обращение именно к огню, причем не к истинному, который мог бы сегодня согреть промерзшего, а к огню давних лет? Да и так ли уж он согревал тогда? И потом, не смешно ли было возводить глубокомыслия, имея в виду такое пустячное занятие, как топка домашней печи? Да и что такое вообще огонь? Не в ином ли следовало искать успокоение и опору? Можно было бы вспомнить, как огонь сжигал, как им пытали и истребляли живое. Можно было вспомнить и те сомнения, что нет-нет, а являлись в детстве. Огонь в печи оттого был хорош, что он служил тебе. Но не сгорало ли при этом нечто, что имело право и необходимость быть само по себе, без всякой обязанности согревать человека, не сгорало ли, не погибало ли при этом живое, не исходила ли пламенем живая душа, скажем, спиленной березы или ольхи? При этих мыслях однажды увиделось мне лицо Любови Николаевны, будто бы предъявленное мне кем-то, возникало оно и позже. И вспомнились клен в сретенском переулке, желтые кувшинки-кубышки в тихой воде речки Кашинки, осенняя бузина между Семешками и Красным поселком, милые сердцу места земли, куда меня приводила жизнь. И снова я вспоминал, как мать посылала меня в сарай за дровами, как двигал я стальным крюком поленья, и будто бы опять в их огне печалилось, жило, улетало и не могло улететь лицо Любови Николаевны…

54

Вернувшись в Москву, Михаил Никифорович попросил в аптеке недельный отпуск за свой счет. С двумя братьями он должен был поехать в Ельховку, решить, как быть с хозяйством, добром и домом матери, родным своим домом. Скорее всего, его предстояло продать. Никто из родственников в Ельховке теперь не жил.

Дважды я встречался в те дни с Михаилом Никифоровичем. Мы бродили по Останкину, заходили в парк, а оттуда в Ботанический сад. Михаил Никифорович молчал, курил сигарету за сигаретой, а я его ни о чем не спрашивал. Лишь однажды он вспомнил, как года два или три назад, осенью, уговорил было меня съездить с ним в Ельховку на полмесяца, я согласился, но так и не поехал из-за московской суеты, так и не узнал мать Михаила Никифоровича. «Какую картошку мог бы тогда привезти семье! Взвалил бы на спину два мешка!» – попробовал пошутить Михаил Никифорович, но тут же замолчал. Потом он признался, что хоть и прожил на свете сорок лет и всякое испытал, а вот после ухода матери понял, что он только теперь стал взрослый или даже старый. То есть не совсем так. А ощутил он, будто бы при матери, пусть она и существовала вдалеке от него, ему было легче жить, будто бы она, мать, несла какую-то ценную, определяющую, земную ношу, важную для всей их семьи и вообще для людей, несла ношу и за него, младшего сына; со смертью матери ноша эта не исчезла, но она нынче – на его плечах.

Когда мы подходили к оранжерее, Михаил Никифорович сказал, что, наверное, нехорошо, что мать похоронили не в Ельховке, а в Ленинграде. Так постановили на семейном совете, посчитав, что в Ленинграде будет кому присмотреть за могилой. Однако теперь Михаил Никифорович был в сомнениях. Он вспоминал, как они ехали куда-то далеко в ритуальном автобусе, как трясло автобус, как гроб съезжал к самой дверце и крышка его сдвигалась, а он, Михаил Никифорович, оказавшийся ближе всех к гробу, удерживал его, подтягивал крышку, будто следил за какой-то путешествующей вещью, шкафом или сервантом, и теперь ему казалось, что матери лежать в чужой земле будет нехорошо, неуютно…

Я не стал рассказывать Михаилу Никифоровичу о гулянье с триумфами на улице Королева. Чувство неловкости или стыда при мыслях о всеобщем и всесогласном поедании семечек, о гипнотическом воздействии речей и жестов Шубникова возникало теперь не у одного

меня. Гулянья в разговорах старались не касаться. Но я знал: Михаил Никифорович не мог не понять, что в Останкине неладно, что в Останкине душа мерзнет.

*

Вечером перед отъездом Михаила Никифоровича в Ельховку к нему пришла Любовь Николаевна.

– Впустите меня, Михаил Никифорович, – сказала она. – Я ненадолго.

Что было делать Михаилу Никифоровичу? Выругаться? Захлопнуть дверь? Он не смог.

– Проходите, – сказал Михаил Никифорович.

Любовь Николаевна пожелала пройти в комнату. Была Любовь Николаевна в коричневой замшевой куртке, светлом свитере и серой суконной юбке. В комнате сразу же взглянула на окна и на подоконники. На окнах оставались сшитые ею занавески и ламбрекены, а на подоконниках в черной влажной земле росли и цвели фиалки. Любовь Николаевна смутилась оттого, что проявила интерес к вещам, какие ее вовсе не должны были волновать.

– Михаил Никифорович, – начала наконец Любовь Николаевна, – я знаю о вашем горе. Примите слова сочувствия. Хотя они, наверное, вам не нужны и противны. Но для меня очень важно, чтобы вы не думали… То, что случилось с вашей матушкой, не связано с тем, что здесь… Не связано со мной… Меня тяготила мысль о том, что вы могли бы так подумать.

– Я знаю, – сказал Михаил Никифорович. – Так не могло быть.

– Вот и все, – сказала Любовь Николаевна. – Теперь я уйду.

Однако она не дошла до двери, остановилась, попросила робко:

– Можно, я посижу здесь немножко?

– Посидите, – разрешил Михаил Никифорович.

Любовь Николаевна присела на стул, закрыла глаза, сидела молча, вспоминала о чем-то, может быть, и о происходившем здесь, в ее комнате, или же она собиралась с мыслями и силами, готовясь к тому, что ей предстояло исполнить и свершить, губы ее лишь иногда шевелились или вздрагивали. «А не напевает ли она про себя?» – подумал, волнуясь, Михаил Никифорович.

– Я была у могилы вашей матушки. – Любовь Николаевна открыла

глаза. – Я принесла ей цветы и травы из Ельховки.

Веки Любови Николаевны вновь опустились.

Что это было? Лицемерила ли она? Лицедействовала ли? Или его дразнили, задирали, вынуждали к безрассудным поступкам? Нет, решил Михаил Никифорович, если бы она лицемерила и лицедействовала, она бы, наверное, явилась в трауре, в черном платье и черном платке. Конечно, отсутствие нарочито демонстрируемого черного цвета ничего не доказывало, однако Михаил Никифорович сумел подавить в себе подозрения. Он рассмотрел теперь на груди Любови Николаевны удерживаемую золотой цепочкой камею, сюжет которой показался ему легкомысленным, и это легкомыслие также успокоило Михаила Никифоровича. Три пухлых проказника малыша с крылышками то ли играли с прекрасной девушкой, почти обнаженной, то ли пытались уловить ее и связать. Позже он попытался описать мне происшествие камеи, и я понял, что это Эроты мучили Психею. Я принес Михаилу Никифоровичу каталог эрмитажного собрания, и в нем одно изображение показалось ему знакомым. Только тут, на камее, резанной более чем две тысячи лет назад из сардоникса, два, а не три Эрота прижигали факелами крылья Души-Дыхания-Психеи, и без того воспылавшей страстью, и делали это в присутствии Диониса. А ведь были предупреждены поэтом: «Если ты душу, Эрот, будешь сжигать непрестанно, то берегись – улетит: у нее два крыла». Я сказал Михаилу Никифоровичу, что сюжет камеи Любови Николаевны вряд ли можно было назвать легкомысленным. Мне стало казаться, что лицо эрмитажной Психеи напоминает лицо известного нам с ним существа. Не желала ли Любовь Николаевна вызвать у наблюдателей мысли о том, что она, возможно, имела отношение и к миру Эллады, прошла сквозь него, сохранив в себе его отблески и струи? Но все эти соображения о камее Любови Николаевны пришли позже. Позже!

А тогда Михаил Никифорович недолго смотрел на камею. Нервничал. Любовь Николаевна снова была рядом с ним. Ему и в голову не приходило, что она могла быть причастна к смерти матери, смерть матери назначила судьба. Но он желал бы вытравить в себе нежность, с какой он глядел сейчас на Любовь Николаевну, и не мог. Любовь Николаевна осунулась, казалась удрученной и отчаявшейся.

– Я устала, Михаил Никифорович, – сказала Любовь Николаевна. – Очень устала…

Она открыла глаза, в них стыла тоска.

Михаил Никифорович шагнул к ней. Но Любовь Николаевна движением руки остановила его порыв.

– Я не пришла просить вас, Михаил Никифорович, о чем-либо, – сказала Любовь Николаевна. – Не поймите так… Не поймите! Отчего пришла, я сказала. А теперь не найду сил, чтобы встать и уйти. Да еще и жалуюсь вам. Простите. Но мне более некому здесь пожаловаться.

Михаил Никифорович подошел к окну, закурил, стоял спиной к Любови Николаевне. Как желал он в последние месяцы каждый день и каждое мгновение видеть ее, как скучал без нее, несмотря на все свои мысленные построения и клятвенные запреты, несмотря на гордость и ревность! Что же ему оставалось делать теперь? Умертвить плоть? Отрубить руку? Но разве это изменило бы что-либо? Нет. Он не знал, как ему жить дальше.

– «На нем защитна гимнастерка… она с ума меня сведет…» – услышал Михаил Никифорович. Любовь Николаевна не пропела, а прошептала эти слова.

Михаил Никифорович повернулся.

– Вот и все объяснение любви, – сказала Любовь Николаевна тихо. – Того, что есть между нею и им… Она с ума меня сведет… Отчего – разве важно?

– Любовь Николаевна… – начал Михаил Никифорович.

– Молчите, Михаил Никифорович, – сказала Любовь Николаевна. – Не говорите ничего…

Слезы были на глазах Любови Николаевны.

И опять Михаил Никифорович смотрел в синее Останкино, курил. Через час и десять минут он должен был ехать на Курский вокзал. Недвижно простоял этот час Михаил Никифорович у окна. Но происходило и собеседование его и Любови Николаевны. Норой нельзя было понять, говорит ли Любовь Николаевна или она думает, но чувства ее, названные словами или даже не названные, перетекали в Михаила Никифоровича, чаще не требуя ответов. Больше в их беседе случалось молчания, иногда же произносились или же беззвучно проникали в Михаила Никифоровича слова обрывочные, как бы случайные или внешние к чему-то невысказываемому, недоступному, истолковать иные из них Михаил Никифорович был не в состоянии. Среди прочего он услышал о том, что женское начало, или женственность, вечно ожидали от мужского подвигов, потому, видно, и кашинский сосуд достался именно останкинским мужчинам, но эти слова были мимолетные, ветреные, тут же распались. Из других же слов и сигналов Михаил Никифорович мог вывести, что Любовь Николаевна – накануне несчастья или обрыва. Да, да, перед ней обрыв, омут, пропасть, трещина бездонная. И ее ведут к обрыву,

и сама она несется к нему. Вновь, как когда-то, он услышал слова о том, что она задумана совершенством, но она грешница, что в ней не может быть спокойствия, что она ищет себя воплощенную и никогда не найдет, что она не может совладать со своей стихией и свободой, азарт стихии и свободы бывает прекрасен и безрассуден, но сейчас в ней берут верх отчаяние, самоотрицание и даже желание прекратить все. Однако все прекратить никому не дано. Но теперь ей страшно! Страшно за всех. И за себя. То, что создалось в Останкине и лавой растекается в завтра, ей не по нраву! Она не к этому шла. Не к этому! Ей страшно. И это сейчас – не ее. Она бы хотела стать сиделкой, может быть, и в этом ее назначение, готова без сна быть при самых тяжелых больных, подставлять и выносить судна, тазы с кровью и желчью, снимать гнойные бинты, смазывать пролежни. Сиделкой она готова стать не ради того, чтобы отбелить грехи, и не из смиренной корысти с мыслями о балах позже. Она по сути своей сиделка. Но перед ней обрыв. А она желает и не желает обрыва. Она ведь почти и не жила, хотя и жила долго. Но она устала, утомилась, и ее терзают… Она грешна перед ним, Михаилом Никифоровичем, и не желает что-либо оправдывать или преуменьшать, но ведь все могло пойти и иначе. Однако не пошло иначе. И теперь в ее жизни много вынужденного… Нет, она ничего не выпрашивает ни у кого, у Михаила Никифоровича в особенности, просто она устала и отчаялась. Ей горько, а сказать об этом некому.

– Любовь Николаевна… – опять произнес Михаил Никифорович.

– Не надо, Михаил Никифорович. – Любовь Николаевна встала. – Это мне вас надо было бы сейчас приободрить. А не вам – меня. Вам ехать на вокзал.

Стояла перед ним истомившаяся, настрадавшаяся женщина, чьей жизни грозил омут, обрыв, единственная для него, Михаила Никифоровича, и ее нужно было сберечь или спасти.

– Все, – сказала Любовь Николаевна, – поезжай.

Она протянула руку, нежными своими пальцами, ладонью стала гладить его щеку, волосы… Никуда Михаил Никифорович не мог ехать, сомнения сгорели, он был обязан свершить все, свершить несвершенное, лишь бы быть всегда с ней.

– Нет, – сказала Любовь Николаевна. И отвела руку. – Поезжай. Прощай.

– Это не прощание, – сказал Михаил Никифорович. – У нас не должно быть прощания!

– Поезжай. И оставь тревоги, – улыбнулась впервые сегодня Любовь

Николаевна. – Мне стало легче. А вот тебе хуже. Я виновата. Сама-то ожила, а тебя потратила. Но ты оставь тревоги. Плохого без тебя здесь не случится. Я обещаю.

«И с дядей Валей…» – хотел было сказать Михаил Никифорович.

– И с ним, – кивнула Любовь Николаевна. – И со мной. Потому сейчас и не выйдет прощания. Я провожу тебя к поезду?

– Не надо. Спасибо, – сказал Михаил Никифорович. – Не обижайся. Я привык уезжать из дома один. Есть примета.

Они присели перед дорогой, помолчали, спустились лифтом, под липами на улице Королева расстались. Снова Любовь Николаевна гладила его щеку и волосы, снова Михаил Никифорович был готов забыть обо всем, лишь бы сберечь, спасти ее и быть с ней.

– Все, – сказала Любовь Николаевна. – Поезжай…

– Я вернусь, – выдохнул Михаил Никифорович. – И тогда…

– Поезжай… Твой троллейбус…

*

Шубников нигде не появлялся. Он растерялся. И был напуган. Вобрав в себя Мардария, он долго носился по квартире, то желая все изломать и изжевать, то намереваясь забиться в какую-нибудь клопиную щель, чтобы о нем никто не помнил, не знал и не догадывался. Гнусные, невообразимые ощущения испытывал он. В нем проживало чужое, склонное к бунту, решившее разорвать, разнести его и выкарабкаться на свободу. Тошно, ледяно было Шубникову. Он выл, готов был вывернуть себя наизнанку, лишь бы пришло облегчение. И все же выпускать из себя Мардария он не захотел. Отчасти из упрямства, отчасти из-за боязни мести Мардария. Посчитал, что надо перетерпеть, привыкнуть к своему новому состоянию, добиться, чтобы Мардарий естественно, без болезненных сдвигов, без температур, воспалений, царапаний лапами, истерик растворился в нем, совпал с ним, тогда, полагал Шубников, он сможет легче и безобразнее исполнить то, что ему предназначено. И Мардарий утихомирился, то ли сдался искренне, то ли затаился в засаде. Но Шубников пока опасался предпринимать действия, к каким его вынуждали, отказав в бессмертии. Действия эти были отложены, но не отменены.

Воспоминания о Бурлакине Шубников запретил себе и Мардарию

свинцовым приказом. Но всем известен комплекс больного зуба. И Шубников нет-нет, но возобновлял видения. Приближалось лицо Бурлакина, искаженное ужасом. Бурлакин убегал, но за ним гнались быстрее, лицо Бурлакина надвигалось, увеличивалось. И возвращался в сорок четвертый раз… в семидесятый… миг, когда горло Бурлакина перехватывала знакомая Шубникову пасть. Шубников дрожал, видение угасало, обмякшего Бурлакина волокли куда-то по шпалам, налетала электричка, и все пропадало… Разбираться в своих ощущениях Шубников себе не позволял, но видения возобновлял, полагая, что готовит себя к тому, что предстояло… Ему было интересно думать, что вот Бурлакин был, а теперь его нет и он не мешает. И в будущем, считал Шубников, от него не дождутся слабостей и угрызений, свойственных мелким тварям. Он распорядился устроить в Палате Останкинских Польз мемориал Бурлакина – сподвижника, верного ученика, одного из основателей, чьими трудами и открытиями, страдальца и прочее. На могиле Бурлакина было решено поставить бронзовый монумент. Изготовленный голографами портрет сподвижника Шубников повесил на кухне, настенный Бурлакин глядел на Шубникова задорно, ободряюще и словно благодарил за все содеянное и для него и для вселенной. Принес портрет жизнелюб Ладошин. Директор Голушкин приболел, но Шубников знал, что Голушкин лишь сказывается больным, сам же надеется утечь со службы в Останкине, пока не поздно. А вот богатый словами Ладошин, понимавший все не хуже Голушкина, старался и был даже воодушевлен. Ладошина моментально перевели в исполняющего обязанности директора (до закрытия Голушкину больничного, раз надорвался и устрашился) с доплатой денег. Во влиятельные фигуры был возведен патлатый профессор Чернуха-Стрижовский, тому еще предстояло набирать и вести за собой боевиков. Игорь Борисович Каштанов, так и не расставшийся с заблуждениями о каких-то своих встречах и разговорах с Шубниковым в прошлом, о каком-то уступленном или проданном пае, о роли кинематографического института в судьбе художественного руководителя, не был еще устранен совсем, но и его провели мордой по столу. Каштановские материалы к биографии Шубникова вызвали неудовольствие, они были не о том Шубникове. Каштанова понизили в должности и назначили заведовать отделом «Совмещенные иллюзии добра и зла». В биографы же Шубникова по справедливости был произведен лирический поэт Сухостоев. Удивил Шубникова силовой акробат Перегонов. Пораздумав и посоветовавшись, он решил: сотрудничать с Палатой Останкинских Польз имеет смысл. «Принимаю к сведению», – ответил Шубников. Сам же подумал злорадно,

что и этим млеющим от удовольствия в саунах вертограда многоцветного он очень скоро учинит! Устроит! Учинит!

Было обидно, что Тамара Семеновна, похоже, растерялась и более не просилась к нему в собеседницы. Ну и пусть, думал Шубников, пусть! Еще день, еще два, еще неделя – и все в нем устроится, все совместится или, напротив, подойдет к критическому состоянию, какое может разрядиться лишь взрывом, и тогда он начнет, тогда он взъярится и разберется со всем и всеми!

Вскоре в мыслях Шубников произвел себя в одинокого ратоборца, рыцаря, противостоящего мирозданию, вселенскому порядку или вселенскому беспорядку. Такие рыцари являются раз в миллион лет. Но более миллионов лет для планеты Земля, не понявшей и не оценившей его, не будет. Ее со всеми ее тараканами, мокрицами, людишками, чудищами, камнями, водами, запахами помоек следует принести в жертву хотя бы для того, чтобы нечто, предположим, остающееся существовать и дальше во вселенных и галактиках, застонало, взревело, одумалось, поняло, как все в мире нелепо, скучно и подло. Шубников был горд и велик оттого, что бросал вызов, полагая при этом, что он не невидимая противнику кусачая оса, а равносилен, равноумен, равножесток ему. И чтобы жертва вышла оправданней (хотя Шубников постановил не искать для себя никаких оправданий, он в них не нуждался, к тому же и жизнь человечья сама по себе не имела оправданий) или поучительней, ему хотелось, чтобы люди, пусть и те, что проживали в Останкине, становились все подлее и гаже. Шубников велел Палате принимать и самые мерзкие просьбы и пожелания. «Правильно! Так их! Дави! Грызи их! – слышал он в себе голос Мардария. – И поделом им!».

Мардарий растворялся в нем. Иногда, правда, хныкал, просил отпустить, обещал быть при нем, Шубникове, на побегушках и охранником тела. «Нет! – сердился Шубников. – Никогда!» Мардарий умолял разрешить ему хотя бы прогулки и посещения библиотек, приставал с просьбами провести ученые беседы, скажем, обсудить утверждение Ларошфуко: «Наши прихоти куда причудливее прихотей судьбы» – или устроить критический разбор «Карманного оракула» испанского болтуна Бальтасара Грасиана. Шубников знал теперь наизусть и Ларошфуко, и Грасиана, и Марка Аврелия, и Ницше, и Гартмана, и Чаадаева, кого только не знал, и всех именно на их языках. И всех их он презирал. Иногда Шубников все же снисходил и занимался разбором досужих писаний так называемых мыслителей. Чего они стоили, эти мыслители и говоруны? Их нет. И листы их книг исчезнут. Или их некому будет читать. В библиотеку,

а порой и погулять Шубников Мардарию, лишенному телесной формы, позволял. И дважды посылал во двор дома номер пять, к детскому саду, просто так побродить, посмотреть. О детском саде он думал все более и более. Он знал, что начнет с детского сада. И детям, визгливым и вонючим, выйдет облегчение. Не придется им через пятнадцать лет мучиться в поисках анаши, героина или «Розовой воды». Как это он сделает, Шубников еще не решил. Главное, что они не будут жить после него. «Именно! Так!» – слышал он подстрекательское, и наплывало видение. Убегал Бурлакин, но и приближался. Открывалась, разверзалась пасть, что-то скрежетало, хрустело, и лилось теплое, густое. «Нет! Нет! Нет! – шептал Шубников, его начинала бить дрожь. – Нет! Нет! Никаких детских садов!»

Тошноты и слабости стал испытывать Шубников. Все, что Мардарий в последние дни его самостоятельности испил, пожрал в Останкине на мясном комбинате, на пивоваренном заводе и телевизионном центре, уже послужило Шубникову и отправилось своим путем в коловращении веществ. Требовалось подкрепиться энергией и пищей, тогда и тошноты, а главное, дрожь должны были пройти. Шубников разорил два завода и электростанцию в Конакове, но не стал сыт. «Пора брать энергию Каспийского моря, – подсказал Мардарий. – И приниматься за океаны».

*

А Михаил Никифорович думал о Любови Николаевне и в поезде с курскими соловьями на занавесках, отчего-то синими, и в Ельховке. В особенности когда разбирал травы матери. Опять до него будто бы доносились сигналы или даже слова Любови Николаевны, и запах трав был ее запахом. Он очень хотел увидеть на левой руке Любови Николаевны следы от детских прививок, какие и ему когда-то делали здесь, в Ельховке. «Она такая же, как мы, – рассуждал он. – Как я. Как моя матушка. Как мои братья. Мы долго смотрели на нее как на диковинку, как на пришлую и чужую. И никогда не ставили себя на ее место. А она от нас. Она такая же хрупкая, ломкая и ранимая, как мы. И у нее есть начало и есть конец. И ей грозит беда. Я чувствую, что ей грозит беда. Из-за нас, из-за нее самой, еще из-за чего-то…» Теперь Михаил Никифорович по-иному смотрел на свое устранение от дел с Любовью Николаевной, вызванное многим, в частности и его щепетильностью, его понятиями о достоинстве человека.

Ничего в этих понятиях он не был намерен менять и не намерен был приспосабливать их к случаю. Однако он не сделал вовремя того, что был обязан сделать. И сейчас ему было очевидно, что необходимо действовать. «Оставь тревоги, – услышал Михаил Никифорович. – Оставь… Плохого не случится…»

А хлопоты в Ельховке и в районе, грустные, обидные и несуразные, с оформлением бумаг, сами по себе потеснили тревоги Михаила Никифоровича…

55

Дня три или четыре в Останкине казалось, что – отпустило. Настроение у жителей было ровное, случалось, что они и улыбались. И вдруг опять – тоска, ожидание конца света. Поговаривали, что вот-вот будут высылать дипломатов. Нет, дипломатов не выслали. Но, возможно, оттого, что дипломаты в Останкине и не проживали. Небесные светила, дневное и ночное, вопреки всем астрономическим необходимостям пропали в полных и безнадежных затмениях, от них исходил не свет, а копоть. На Балчуге же и в Мневниках видели и луну и солнце. И опустился на Останкино смрад, тяжелый, черный. Хотелось забить ноздри ватой, но желание это было вялое и неосуществимое, как и все желания тех дней в Останкине. И вроде бы следовало уехать куда-нибудь, в подмосковные сады-огороды или к родственникам на Шаболовку, но никто никуда не ехал. Что-то держало нас здесь. Доктор Шполянов уж на что, если помните, проживал в самом Орехово-Борисове, в Шипиловском проезде, а и тот каждый день приезжал в Останкино. К тому же мы быстро стали привыкать к полным затмениям светил, смраду, ознобам, ожиданию конца света. Естественным было предположение многих, что скоро над нами снова поднимется Шубников, укажет и направит. И мы пойдем. Воспоминания о пожирании семечек, хотя все еще и вызывали чувство неловкости, стыда, представлялись теперь и отрадными.

А Шубников, нами ожидаемый, спал. Спал на кровати с металлической сеткой, укрывшись шинелью, спал с храпом, со свистом, при втягивании воздуха, со скрежетом зубов. Оголодавший было, он перенасытился. Сокрушил металлургический завод на Урале, стоявший с демидовских времен, а потом, по соблазну Мардария, повелел перенести себя в Бискайский залив. В часы приливов и отливов он с фырканьем перекачал в себя энергию Атлантического водоема и ощутил в себе крепость. Сразу же пошла и зевота. Но прежде чем улечься на кровать, Шубников позволил себе снова разрастись, подняться к звездам, вселенским исполином со сложенными на груди руками зависнуть над Землей. Над этим страусиным яйцом, над тыквой поганой, над футбольным мячом, требующим пинка. Над этим притоном разврата и кораблем дураков, с которым он был готов расстаться с одной лишь усталой усмешкой, презрительной и мудрой… Шубников чувствовал уже не крепость, а дурную тяжесть обжоры. Эдак перебрал. Двигался будто

пингвин на суше. Добравшись до Аргуновской, сразу же залег спать. Понимал, что заснет не на одну ночь. Но местные жители и Палата Останкинских Польз нуждались в присмотре и управлении. «Усилим гнет! – согласился Мардарий. – Усилим!» Тогда и опустился на Останкино смрад тяжелый, черный, заразный.

В один из дней Шубниковского сна разлетелась по Останкину весть: дядя Валя удавился. Будто бы ремнем. Или шнурком. Или сухим мочалом. Будто бы в каком-то подполе, подвале или бункере. Будто бы подруга Валентина Федоровича Анна Трофимовна, из парковых лебедих, понесла в судках в подпол или бункер обед и нашла удавленника. Будто бы перед тем в доме дяди Вали завыла собака, а во дворе в гараже, рыдая, ржала лошадь Каштанова и била копытом. Будто бы Валентин Федорович оставил письмо и завещание. Письмо и завещание забрали милиционеры, прибывшие по вызову Анны Трофимовны из пятьдесят восьмого отделения.

Дядю Валю давно не видели. Слышали, что в каком-то людном собрании или на балу он устроил скандал с оскорблением Шубникова и битьем хрусталя, а потом куда-то исчез.

Узнав о гибели подсобного рабочего Зотова, жизнелюб Ладошин прервать сон художественного руководителя не отважился. За что Шубников позже был готов его растерзать.

Весть о Валентине Федоровиче Зотове будто бы вывела Останкино из оцепенения. Никто еще не знал, из-за чего дядя Валя удавился, плавало лишь в воздухе странное и неизвестно откуда взявшееся выражение «сухое мочало», но мы ходили виноватыми. «Что же мы-то? Кто мы теперь такие? – думали иные останкинские жители, не все, увы, не все. – В какой полон мы попали? И куда пригребли?» И полагали, что далее к туманным ядовитым заливам грести не будут.

Анна Трофимовна плакала, слов почти не произносила, собака дяди Вали слегка замолкла. Следователь посещал квартиру дяди Вали, Палату Останкинских Польз, осматривал бункер. И опять шелестело – «сухое мочало», «сухое мочало». Одним из первых – и была на это причина – ознакомили с письмом и завещанием дяди Вали Михаила Никифоровича, вернувшегося из Ельховки вечером накануне дяди Валиных похорон. Уже шумели в Останкине дочь и бывшая жена Валентина Федоровича, каждая – с мужем-таксистом, шли войной на Анну Трофимовну, жаждали прав, оскорбились, узнав, что завещание прежде показывают какому-то аптекарю, а не им. От Михаила Никифоровича мы узнали единственно, что и письмо и завещание Валентина Федоровича кончались одинаково: «Но беда-то небольшая? А?» Филимону Грачеву, интересовавшемуся сухим

мочалом, Михаил Никифорович сказал угрюмо: «Было и сухое мочало».

Позже, не через день и не через два, выяснилось, что произошло с дядей Валей и что это за сухое мочало. Рос дядя Валя в Лазаревском переулке, почти на углу с Трифоновской улицей, и потому относил себя к марьинорощинским. Было ему лет одиннадцать, в пыльный июльский день он играл с ребятней, когда в их двор зашел Китаец Ходя с двумя мешками в руках, большим и малым. (Были и другие китайцы ходи, со своими улицами и дворами.) В большой мешок Ходя укладывал бутылки и тряпье, из малого доставал «уйди-уйди» и мячики-прыгуны из опилок на резинке. Улыбался он виновато, будто соглашаясь с тем, что его надо терпеть. Валя Зотов вынес из дома две бутылки, получил свой мячик и с чайником в руке залез на крышу сарая. Чайник был смятый, со сломанным носом, вода в нем не держалась. На крыше сарая чайник стал бронепоездом. Но после двух бомбежек бронепоезда резинка оборвалась, а из лопнувшего мячика потекли опилки. Осердившийся на себя, на чайник, на опилки Валя Зотов выругался. Китаец Ходя еще наделял девчонок последними «уйди-уйди». Валя закричал: «Ах ты, китаец!» – и с силой швырнул чайник в Ходю. Ходя стоял к нему спиной метрах в десяти от сарая, чайник угодил ему в ногу ниже колена, от боли и неожиданности Ходя осел на траву. Уходил он со двора волоча ногу, обернулся и сказал, все так же виновато улыбнувшись: «Нехороший мальчик. Никогда не будет у тебя сухого мочала».

Что за чушь сказал Китаец Ходя! Какое такое сухое мочало? Какие такие сухие мочала есть у китайцев? И сколько оно стоит? Не две, а три пустые бутылки? Или рваные сатиновые штаны, которые ни во что не перешьешь? Зачем ему, Вальке, Зотову, сухое мочало? Перед ним – весь мир!

Он и позже вспоминал об этом сухом мочале смеясь. Он спросил бы о нем Ходю, но Китаец Ходя более в их двор не забредал. И столько ждало Вальку Зотова дел, игр, хлопот по дому, что о словах Ходи он думал редко. А потом их и забыл.

И вот год назад случилось странное. Когда Любовь Николаевна после долгих подходов и просьб наконец разжалобила пайщиков, вытянула, вымолила из них желания, он, Валентин Федорович, вызвавшись стать экстрасенсом, вспомнил и о сухом мочале. Он поднимал и переносил мусорные ящики, жилые дома, ларьки с квасом, останавливал кровь, ставил диагнозы на расстоянии и через стены. Ему бы пожелать все автомобили мира, всех фирм и всех лет, и кататься на них, а он не забывал о сухом мочале. Что же это? Он не был жадным и завистливым, не считал себя

неудачником, не был обделен житейскими приключениями, утехами и бедами, жизнь с войнами и прочими обстоятельствами не позволяла ему скучать, нетребовательность же его к условиям существования, шустрость и везучесть не давали поводов для уныний и ложных мечтаний. Столько он пережил, столько испытал, столько имел! А в своих разговорных фантазиях на публике он вообще мог обладать всем, и этого ему хватало. И вдруг такая нелепица с сухим мочалом!

Да попросить бы у Любови Николаевны сухое мочало. Эдак, как бы дурачась, с шутками. Подержать бы его в руках, успокоиться, плюнуть на него, да и выбросить на помойку. А не смог. Стыдно было! Стыдно! И с шутками бы не смог. Браня себя за блажь, за слабость, слово дал, что и никогда не попросит. А слово дядя Валя, если давал, умел держать.

Как помним, его горения на работе, у политической карты мира, донорство, рекорды не привели к удачам. Надо было побороть или уничтожить Любовь Николаевну. День капитуляции поначалу обнадежил дядю Валю. А потом пошло… Он ходил подавленный и будто потерявший голос. Смирял себя, словно затаиваясь, чтобы застать врага врасплох, но сам становился кроткий и покорный. И одолевала хандра. Дядя Валя посчитал – от одиночества. Оттого, что, несмотря на все его приобретения, жена не захотела отвыкать от таксиста. Ну и пусть, решил дядя Валя, ну и таксист с ней! Он сыскал себе подругу, Анну Трофимовну, Нюшу, взбодрился, жил человеком, о сухом мочале почти и не вспоминал, а если и вспоминал, то как о веселой глупости, о которой можно было и рассказать на потеху публике. И рассказал когда-то Шубникову и Бурлакину, тогда еще обычным останкинским горлопанам и баламутам. Рассказал на свою беду.

А Шубников с Бурлакиным позднее, уломав или обведя вокруг пальца Игоря Борисовича Каштанова, сказали как-то дяде Вале, что, конечно, волхвы нынче не те да и дяде Вале вряд ли предстоит поход к неразумным хазарам, но все же стоило бы ему, Валентину Федоровичу, освободиться от комплекса марьинорощинского детства, получить на руки сухое мочало и тем самым утереть нос Китайцу Ходе. Дядя Валя, пожалев о своей напрасной откровенности, сказал, что он дал себе слово не просить у Любови Николаевны сухое мочало. И вообще ничего не просить. «А вы ничего и не просите! – обрадовался Шубников. – Мы попросим! И вам принесем. Мы ведь теперь можем желать!» Дядя Валя сам был лукав, стоек, увертлив в случаях подвохов и ловушек, а тут задумался: «А может, и впрямь? Пусть они принесут, а я подержу его и выкину!» Шубников с Бурлакиным не забывали и о своей корысти. Коли дядя Валя не мог снять с

себя слово, а они доставили бы ему сухое мочало, он обязан бы им дать нечто в залог на время, ну хотя бы пай, ему совершенно ненужный, с условием, что этим паем они смогут пользоваться на благо людей. Дядя Валя воскликнул: «А! Была не была!» Сразу же, как бы продолжая шутку, составили купчую, при этом договорились, что как только дядя Валя насладится сухим мочалом, как только выкинет его, залог ему будет немедленно возвращен. Вечером же Шубников и Бурлакин принесли честно заказанное Любови Николаевне сухое мочало. Валентин Федорович расписался в получении. Возбужденный, он хохотал, но был и разочарован. Все же он надеялся, что ему принесут нечто волшебное, чего, по обещанию Ходи, он не был в жизни достоин. А он держал в руках мочало, какое выделывалось из липового луба, из липового подкорья, размоченного и разодранного на волокна. Впрочем, дяде Вале стало казаться, что в цвете, в крепости волокон есть нечто особенное и благородное. Может, и изготовляли доставленное ему мочало каким-то чудесным способом и единственный раз. Тайна, несомненно, была в нем… Но дядя Валя уверил себя, что – все, мочало у него есть, оно побудет у него, полежит, а через день, через два он его выкинет, ко всеобщей радости. Или сплетет лапоть.

Не выкинул, не изрубил, не развеял.

Уже ночью дядя Валя понял, что боится потерять сухое мочало. К удивлению Анны Трофимовны, он сунул его под подушку. Ушел утром на службу, но часа не провел на улице Цандера, прибежал домой со страхами: не выкрали ли мочало, не разгрызла ли, не заглотала ли его собака. Собака никогда не допускала злокозненных действий, а тут он и ее заподозрил в безобразии. С того дня дядя Валя стал носить мочало на себе, в сырые дни стараясь не выходить на улицу.

Он упрашивал Шубникова и Бурлакина забрать у него мочало и вернуть его Любови Николаевне. Те сказали, что нет, не могут, что если он будет привередничать, они откроют Останкину его тайную страсть, возможно, порочную, и пусть он пеняет на себя. Да он и сам, заметил Шубников, не отдаст им мочало. А Валентин Федорович уже знал, что не отдаст. Мочалу требовалось убежище не только от жулья, но и от катаклизмов. Не сразу, но выпросил дядя Валя у Шубникова бункер. Сначала под домом на улице Кондратюка, потом – глубокий, с лифтом. Устраивая бункер, Шубников старался. Тайную страсть Валентина Федоровича следовало подогревать и раздувать.

Вскоре дядя Валя стал выходить из бункера, затворив бронированные двери, лишь ради служебных дел на улице Цандера. Подруга его Анна Трофимовна не слишком роптала. Не меньшей, нежели любовь к

Валентину Федоровичу, была у нее любовь к огороду и к садовому домику на станции Шарапова Охота. Шубников дал понять Анне Трофимовне, что платить дяде Вале и ей в Палате – по заслугам – станут больше, денег хватит на то, чтобы садовый домик превратить в дом. Или в виллу. Но кормить Валентина Федоровича горячими блюдами Шубников рекомендовал. А дядя Валя сидел в бункере, думал, вставал, подходил к мочалу, теребил его пальцами, гладил, брал на руки, носил по помещению, баюкал. Мало было у него сухого мочала, мало! Шубников, дожидаясь, правда, просьб Валентина Федоровича, с охотой приносил в бункер охапки мочала. «Хорошо-то как у вас! – сказал он однажды. – Здесь бы еще устроить сауну!» «Нет! Никаких саун! – испугался Валентин Федорович. – Оно же будет мокрое!»

Бурлакин, просивший дать дяде Вале послабления, из жалости к нему и чтобы незаметно для Шубникова изменить интересы Валентина Федоровича, установил в бункере компьютер многоцельного назначения. Не отлучаясь от сухого мочала, дядя Валя мог попасть, куда бы пожелал, и исполнить все, что ему взбрело бы в голову. Компьютер был и игровой. Валентин Федорович мог вызвать в бункер любых людей и животных, быть их повелителем, разыгрывать сражения, производить перестановки правительств, лепить историю по своему усмотрению. Дядю Валю электронное развлечение поначалу радовало. Он рассчитался с негодяем Уриэрте, кровавой бестолочью из Гондураса, кого год назад, если помните, он не мог достать и уязвить при попытках установить во всех регионах мира справедливое течение жизни. Вновь встречался дядя Валя с Эйзенштейном, еще Сережкой, еще лохматым, с Протазановым, с композиторами Лепиным и Будашкиным, сам видел себя среди мастеров кинематографа и легкой музыки, видел, с каким благоговением они выслушивали его замечания и советы, как, обрадовавшись его подсказке, Сережка Эйзенштейн гонял детскую коляску по одесской лестнице. Дядя Валя заново устраивал события последних войн – испанской, на какую он стремился, но не смог попасть, финской, Отечественной, – воскрешал убитых, искалеченных и умерших, сам под бомбами трясся по фронтовым дорогам на «эмке» и трехтонке, карал оккупантов, пробирался и в самое логово зверя. Озорничал дядя Валя мальчишкой в Лазаревском переулке, катал в лодке барышень на пруду Екатерининского парка, когда-то те барышни воротили нос от малорослого, щуплого Вальки Зотова, теперь же они гонялись за ним. Иные из них выходили чуть ли не живыми в глубину бункера.

Но лишь в первые дни общений с компьютером Валентин Федорович

был спокоен или даже беспечен. Потом-то он всех раскусил! Потом-то он понял, что все, все, не только сволочи из логова зверя, не только бесстыжая бестолочь с лампасами Уриэрте, но и приветливые, хоть и легкомысленные барышни и даже честный горячий Сережка Эйзенштейн, косят глаза на сухое мочало. Ни разу не вызывал дядя Валя компьютером Китайца Ходю, но теперь ему стало казаться, что и Ходя притаился где-то внутри бурлакинской машины и вот-вот протянет желтую руку за мочалом. У дяди Вали уже не было сомнений, что все его знакомые, старые и вновь приобретенные, лишь прикидываются, что они снимают киноленты, воюют под Порховом или под Тильзитом, угнетают бесправных на банановых плантациях, катаются на лодках с воздушными шарами в руках, сами же только и думают о том, как бы отвлечь его и ухватить сухое мочало. Более дядя Валя в живых картинах никому не доверял, стал сердит и бдителен. Уловив его настроение, Шубников направил в бункер шкафы и сундуки с орденами, медалями, почетными знаками большинства честолюбивых государств мира. И опять дядя Валя увлекся новой возможностью на два или на три вечера, был в своих решениях справедлив, великодушен, издавал указы с именами людей, забытых в реляциях или незаслуженно обойденных недоброжелателями и трусами. Так Звезду получил из рук дяди Вали подводник Маринеско. Но потом награды стали присуждаться исключительно Валентину Федоровичу Зотову. Воевал, сначала с армиями за спиной, а позднее и в одиночку, против всех – он. Все рати земли, все императоры, все гений и герои, все мафии, все невольники шли теперь войной на него с низкой целью отнять сухое мочало. Они проигрывали сражения, погибали, попадали в чумные лагеря, но все равно шли. Двумя шкафами орденов были отмечены Валентином Федоровичем собственные удачи в оборонительных войнах и упреждающих ударах. Достойных орденов не хватало для оценки сокрушительных побоищ. Разгром армий Александра Македонского, коварно решившего подойти к Останкину со стороны Петрозаводска, дяде Вале пришлось отметить всего лишь попавшим под руку то ли либерийским, то ли сенегальским орденом Зеленой Ящерицы. Были пошиты дяде Вале специальные френчи, кителя, сюртуки для ношения наград. А враги все лезли. Обнаглели и понеслись на звездных кораблях инопланетяне, прослышавшие о сухом мочале. Валентин Федорович страдал, становился все злее и однажды не выдержал, схватил лом и стал сокрушать им Тамерлановых лучников, и так уже без дыхания валявшихся в снежной степи.

Разбитый компьютер Бурлакин распорядился унести, полагая его починить, но дяде Вале не возвращать. Унесли и ордена. Бурлакин ходил

по бункеру расстроенный, ничего Валентину Федоровичу не сказал, только качал головой. А дядя Валя, оставшись наедине с сухим мочалом, будто бы пришел в себя.

Да что это с ним? В кого он превратился? Ведь вся его жизнь противоречила тому, что в нем вдруг открылось. Или образовалось. Он, добрый человек, возненавидел всех. И из-за чего? Из-за какой-то глупой гнуси! Валентин Федорович был намерен бунтовать. Но против кого? Дважды набрасывался он на Шубникова, окруженного людьми, зная, что при зрителях Шубников может ради впечатления проявить себя и великодушным. Но получились лишь безобразные скандалы, не вышло освобождения. «Удавиться, что ли? – подумал тогда Валентин Федорович. – Все лучше, чем бункер с мочалом…» То есть в просветные свои часы он понимал, что произошло с ним нечто несуразное. Но недолгими выдавались такие часы у Валентина Федоровича. Тут же спохватывались и усмиряли его. После скандала на учебном балу Шубников осерчал, в бункер ни разу не спускался. Лишь передал Валентину Федоровичу, что удавиться ему не дадут и пусть искореняет в себе малодушие. А то ведь его ославят и устроят в бункере музей останкинского идиота. «Посмотрим, – пообещал Шубникову и себе дядя Валя. – Посмотрим».

Но опять, руша все, обваливалась на него страсть к сухому мочалу, постыдная, подпольная, бункерная. В просветные минуты Валентин Федорович написал прощальное письмо и завещание. Завел в бункере тайник, туда упрятал завещание с письмом. В мгновения торжества сухого мочала – и не раз – сам хотел уничтожить бумаги, но не уничтожил, что-то удержало его… Валентин Федорович все чаще вступал в разговоры с сухим мочалом, и оно будто отвечало ему, оживало, вытягивалось к потолку, колыхалось, светилось с оранжевыми, фиолетовыми, зелеными переливами в темноте, а то свивалось в какие-то клубки, ползало само по себе пауками, осьминогами, неведомыми тварями, менявшими формы, линии, глаза, рты, щупальца, гибкие хоботки. Движения, жизнь сухого мочала увлекали, волокли куда-то дядю Валю, душа его томилась, в минуты, когда казалось, что он на пределе любви к мочалу или ненависти к нему и сейчас произойдет взрыв, дядя Валя судорожно включал свет, слышал шуршание опадающих волокон, дышал тяжело. «Все, – думал он, – больше не могу. Я один, меня отъединили от всех. А я не бывал один… Ах, Михаил Никифорович, Михаил Никифорович… Но ведь и сам я… И сам… Нет, конец…» Однако снова приходило желание погасить свет, и выяснялось, что предел еще не вышел. В последние дни будто бы

случилось усиление, ужесточение чувств, движений и странностей в бункере. Валентин Федорович желал унизить всех, кто мог посягнуть на сухое мочало. А это был весь мир. В погибельный свой час он почувствовал, что колышущиеся лианы, сети, сплетения, твари на них стали наглее, напористей, все в бункере заволновалось, напряглось, будто бы желая вырваться, выплеснуться, вытечь куда-то, и он представил, как вскоре все Останкино будет захвачено, угнетено рожденным в бункере, и при этом его, ничье больше, мочало уйдет, убежит от него. Валентин Федорович с муками пробрался, проскребся, прополз к тайнику, открыл его, вытащил ремень. Стальной костыль был вбит им в стену бункера в пяти метрах от тайника…

Хоронили Валентина Федоровича Зотова на кладбище в Долгопрудном. День был ветреный, дождливый. Над нами, над мокрой бурой землей неслись низкие, угрюмые облака от Приполярного Урала. Люди стояли в плащах, с поднятыми воротниками, с зонтиками, укорявшими небо. Желавших проститься с дядей Валей привезли на кладбище три автобуса. Два выделили в автохозяйстве Валентина Федоровича, один был нанят в конторе ритуальных услуг. Дочь дяди Вали и ее мать, хотя и давали понять, что здесь они самые важные и необходимые покойнику, вынуждены были держаться особняком, к ним никто не подходил. Хотя что было сердиться на них… Говорили речи сослуживцы дяди Вали, водители и механики, снова благородной представлялась нам история жизни Валентина Федоровича Зотова. Назначенные распорядителями лица держали на бархатных подушках четыре медали и орден Отечественной войны второй степени. Дядя Валя лежал в гробу маленький, без очков, на застывшем лице его запечатлелась несомненная досада. Тарабанько пытался прикрыть дядю Валю зонтом, но при толчках ветра капли попадали на его лицо. Забухала невдалеке музыкантская команда «Прощание славянки»: привезли старого офицера. Потом застучали молотки могильщиков, плакали женщины, комья рыжей глины стали падать на крышку гроба. Хлюпала земля под ногами, приставала к ботинкам и сапогам. Прощай, дядя Валя! Прощай, Валентин Федорович Зотов! Прощай, работник и воин, станет беднее без тебя Останкино…

В автобусе, увозившем нас из мокрого грустного северного Подмосковья, больше молчали и тяжело думали. И не пропадало ощущение собственной, пусть и необъяснимой, вины. Было известно, что в завещании дядя Валя просил помянуть его всем желающим останкинским и марьинорощинским жителям. Завещались на поминки и деньги. Дочь

дяди Вали и его бывшая жена эти деньги оспаривали. Указывали пальцами и на Анну Трофимовну. Без столкновения мнений было решено никаких завещанных денег не трогать, а устроить поминки в складчину.

Братья Ибрагимовы, известные умением договариваться с администраторами всех значений, вызвались уломать ресторан «Звездный», тем более что там Валентина Федоровича знали. Столы разрешили накрыть и в соседнем зале диетической столовой, по вечерам пустом. Отпустили оркестр, уплатив неустойку, поставили внизу у дверей двух доброхотов с поручением приглашать к столам всех прохожих и ни в коем случае не впускать Шубникова и верховных служащих Палаты Останкинских Польз. Было много тягостных пауз. Летчик Герман Молодцов предположил, что дядя Валя мог бы остаться недоволен такими поминками. Понятно, поводов для радостей нет, однако же Валентин Федорович запомнился всем и шутником, отчего же не говорить о нем и светлое? Молодцов попробовал даже подойти к оставленному дремать роялю и спеть «Гори, гори, моя звезда!», Валентин Федорович, случалось, прашивал когда-то Молодцова исполнить именно этот романс. Но и музыка сейчас же умерла в ресторанном зале. Многие сидели поникшие, думали о самих себе, о том, что произошло и с ними и с Останкином, если шутнику дяде Вале захотелось удавиться. Уговаривали сказать слова Михаила Никифоровича, но он молчал. Я заметил, что Михаил Никифорович не раз оглядывался, он сидел спиной ко входу в зал. Ожидал, видимо, кого-то. Но этот кто-то так и не пришел… Уже под конец поминок Михаил Никифорович поднялся. Говорил он нескладно, пожалуй, и не слишком внятно, но из слов его выходило, что Валентин Федорович совершил поступок отчасти и жертвенный.

56

Оглядывался Михаил Никифорович в ресторанном зале «Звездного» в ожидании Любови Николаевны. Он и на кладбище в Долгопрудном думал, что она вот-вот появится. Но, может быть, она была и на кладбище и на поминках, но не показывалась на глаза, имея для этого основания…

Отошедший от сна Шубников уже третий день пытался вырвать у пятьдесят восьмого отделения милиции бумаги с завещанием подсобного рабочего Зотова. Он клял себя. Ведь он знал, к чему может привести кончина и тем более самоустранение Валентина Федоровича, знал, но прошлепал, проморгал, проспал! В объяснительном письме дяди Вали дурного для Шубникова не было. Дядя Валя просил никого не винить. Он писал о своем одиночестве и о том, что сам искривил, измочалил конец жизни. «Прощайте, – заключал дядя Валя. – Но беда-то ведь небольшая? А?» Но вот завещание вышло для Шубникова неприятным. В шутейном якобы соглашении, составленном в Останкинском парке Шубниковым, Бурлакиным и Валентином Федоровичем, было оговорено (и записано), что в случае кончины В.Ф.Зотова привилегии, данные ему ради утоления страсти, как и сам предмет страсти, исчезают, а пай-залог переходит к наследникам Валентина Федоровича. Тогда же дядя Валя пообещал всех пережить, устроить в своей квартире Абхазию, заверил при этом, что если все же судьба учинит вдруг над ним шутку, он, конечно, откажет пай-залог милостивым государям Шубникову и Бурлакину. Любовь Николаевна чрезвычайно серьезно, как к законным документам, стала относиться ко всем бумагам, подписанным пайщиками, пусть составление этих бумаг и казалось авторам игрой. Заверение же Валентина Федоровича отказать пай-залог милостивым государям растаяло в воздухе, на бумагу тогда оно не было занесено. Позднее, после скандалов дяди Вали на публике и опасений Шубникова, Бурлакин поручил электронным мозгам промерить дяди Валины перспективы, задача была поставлена некорректная, но ответ мозги выдали: дяде Вале предстояло жить долго, к безрассудствам он был не склонен и не готов; но в ответе все же рекомендовали ослабить на него давление. «Ослабим, ослабим», – пообещал Шубников. И не ослабил. Наблюдать, как корежит, как сокрушает, как мучает дядю Валю тайная страсть, стало для Шубникова удовольствием. «Какие низкие, какие мерзкие и грязные людишки!» – думал Шубников. Не образумило его и предостережение Бурлакина. Не отпустил он дядю Валю, не облегчил ему

долю, до того был уверен, что никакие мелочи уже не смогут помешать его жестокому, великому подвигу.

А Валентин Федорович Зотов объявил наследником Михаила Никифоровича Стрельцова.

Напомню. Пай Михаила Никифоровича составлял два рубля сорок копеек, пай дяди Вали – рубль сорок четыре копейки, пай Каштанова, добытый Шубниковым, – рубль тридцать шесть. Шесть и четыре копейки добавили соответственно Серов и я.

В Шубникове был теперь раздор идей и желаний. Мардарий выступал как радикал и экстремист, требовал тут же спалить пятьдесят восьмое отделение со всеми его бумагами, потрохами, портупеями, устранить Михаила Никифоровича, воскресить подсобника Зотова, пусть и вопреки воле покойника, или хотя бы изготовить в мастерских Палаты Останкинских Польз двойника и предъявить его Останкину, следствию, собаке, родственникам как воскресшего и признавшего завещание подложным. Гордость и упрямство ратоборца отвергали пожелания Мардария. Пусть останется он с рублем тридцатью шестью копейками, но до воровства, подделок не опустится. Шубников проверил: ослаблений в делах Палаты Останкинских Польз не случилось и после изъятия пай-залога дяди Вали. Любовь Николаевна из послушания ему не вышла. Но теперь она окончательно была переведена Шубниковым в существа восьмистепенные. В нем были собственная сила, свет, жар, в нем! «В саду от смерти нет трав», – болтал останкинский аптекарь. Именно! Именно! И никогда ни для кого не будет спасительных трав, коли не сделано исключения для него! Скоро, скоро он начнет и устроит! Скоро! Возможно, и завтра!..

*

Ночью, после поминок дяди Вали, Михаил Никифорович заснуть не мог. Он думал о Валентине Федоровиче Зотове, думал о Любови Николаевне, об Останкине, о матери, но более всего он думал о себе. Не стал ли он в конце концов именно продавцом лекарственных препаратов? Всего лишь торговцем лечебными средствами? «Продавец! Продавец! – горячась, говорил ему на Сретенке Батурин. – Ты продавец! И никто более!» Если так, лучше бы он пек караваи или обжигал кирпичи. Но

Михаил Никифорович знал, что ему необходимо быть аптекарем, что эта необходимость вызвана не записью в дипломе выпускника фармацевтического института, а состоянием или охотой его души. Да, с ходом времени дело во многих профессиях расслаивалось, дробилось, но не мог, не должен был стать аптекарь продавцом. Боль, страдания людей, их страхи, их надежды, силы их сопротивления грубому, жестокому в природе заставили человека узнать, какая ягода и какой листок остановят кровь, какая мазь заживит рану, от чего избавит железо и от чего – ртуть. Боль живого создала лекаря. Тысячелетия назад в беде, в стенаниях и плаче произносилось слово «фармаки», значившее – избавитель, защитник. Он, Михаил Никифорович Стрельцов, – фармацевт, и он – избавитель и защитник. То есть обязан быть избавителем и защитником. Находясь внутри замкнутых забот дня, внутри останкинского семьдесят шестого года, внутри очередного пролетающего столетия, Михаил Никифорович не забывал и о своем пребывании в вертикальном движении человечества во времени и пространстве. Вернее, случалось, и забывал, и нередко забывал, не думал об этом, но рано или поздно мысли о собственном местонахождении или состоянии в протяженно-бесконечной судьбе живого в нем возобновлялись. Как возобновились теперь. В том вертикальном движении человечества, или не вертикальном, а в спиралеобразном, или вовсе в другом, но в движении он был и Михаил Никифорович Стрельцов, останкинский аптекарь, и фессалийский врач и царь Асклепий, и суматрский знахарь, кулаками старавшийся выдавить злого духа из груди недужного, и инкский жрец, почуявший избавление в горечи хинного дерева, и увлеченный ученик исцелителя гладиаторов, а затем и придворного врача Клавдия Галена, корпевший в аптеке учителя в Риме над составами пластырей, мыл, лепешек и пилюль, и енисейский шаман, желавший звоном нагретого бубна из ближнего чума облегчить мучения роженицы, и переписчик лечебника в келье на берегу Белого озера, и ведун-мельник, пастух заложных русалок, и сиделец зелейной лавки в Коломне, и счастливый алхимик, в неизбывных стремлениях к великому эликсиру добывший бензойную кислоту из росного ладана, и цирюльник в Севилье, в Гренобле или Дрездене, готовый отворять кровь и устраивать судьбы, проказник и отчасти шарлатан, но бескорыстный, от озорства, от желания отвести от сограждан печали, и почитатель Пастера, способный погибнуть, но испытать на себе спасительное для людей соединение веществ, и фельдшер, под пулями вблизи аула Салты помогавший Пирогову оперировать раненого, и фронтовой врач из тех, с кем сводили дороги войны его отца… И иные ряды выстраивались в воображении

Михаила Никифоровича прежде в минуты его воодушевлений или, напротив, в минуты драматических неспокойствий или самоедства. Иногда приходили на ум одни имена, иногда – другие. Но всегда вспоминались Михаилу Никифоровичу личности самоотверженные, подвижники, добровольцы, воители с болью людской, пусть часто и неудачливые, пусть и выросшие в заблуждениях, они были истинно избавителями и защитниками. Мысли о них, пребывание Михаила Никифоровича фантазией в их историях и в их сущностях, в их шкурах укрепляли его. Какое благородное дело – быть на земле лекарем и подателем лекарств! Но был ли Михаил Никифорович в последний год в Останкине избавителем и защитником? Не устранился ли? Не отчаялся ли, посчитав, что он бессилен что-либо изменить в этом мире, и не отошел ли малодушно в сторону, предоставляя распухать недоброму? Да, в саду от смерти нет трав. Но сам-то сад должен быть! Сам-то сад должен цвести!

Утром Михаил Никифорович, вспомнив о правилах отношений с Любовью Николаевной, написал несколько фраз (чуть было не поставил над ними: «Заявление»), в которых сообщал, что он отменяет отказ от услуг Любови Николаевны и объявляет свой пай действенным. Он подтверждал также, что готов исполнить волю покойного Валентина Федоровича Зотова и принять в пользование его пай. После этого Михаил Никифорович пригласил к себе Любовь Николаевну к десяти часам тридцати минутам.

*

В Останкине решительно потеплело. Шубников не мог сидеть более дома. Несмотря на тепло и, может быть, протестуя против него, Шубников надел ватник. Срок остатнего существования планете Земля им был определен малый. Начинать надо было сейчас же, и с детского сада. Но полчаса он решил уделить женщинам, не оценившим его в школьные и студенческие годы. К ним он посчитал необходимым присоединить преподавателей, оставлявших его без стипендии, а потом и не допустивших к диплому, в первую очередь доцента Кулебяко. Ах да, вспомнил Шубников, был ведь еще подлец Свеколкин, оператор на телевидении, добившийся перевода его, Шубникова, в помощники осветителя. Сразу же пришло на ум множество всяческих подлецов, так

или иначе досадивших Шубникову или, что хуже для них, не заметивших его, не обратившихшх на него хоть бы секундного внимания, а потому достойных дыбы, пыток огнем и водой, колесования. Шубников набросал список достойных дыбы на пяти листах для патлатого профессора Чернухи-Стрижовского, уже закрывшего левый глаз черной повязкой, для его боевиков и Лапшина. Сам же отправился во двор дома пять по улице Королева, к детскому саду. Пришлось пройти мимо музыкальной школы, и Шубников понял: после детского сада он прекратит мученические удары по клавишам и стоны смычков. Конечно, существовало противоречие между не подлежащим отмене решением Шубникова пнуть небесное тело, названное Землей, согнать его с придуманной кем-то орбиты, разнести, раскурочить и желанием сейчас же покончить с юнцами, которые по несообразности природы могли жить долго и после него, Шубникова. Что с ними торопиться теперь, если он разнесет здешнее небесное тело? Однако тянуло Шубникова торопиться, тянуло…

Ровно в десять часов тридцать минут Любовь Николаевна позвонила в квартиру Михаила Никифоровича.

Сели на стулья у письменного стола. Любовь Николаевна попросила разрешения курить, Михаил Никифорович курить ей позволил. Он старался не смотреть на Любовь Николаевну из боязни оживить запрещенные самому себе чувства, но, естественно, не мог не заметить, что Любовь Николаевна пришла в знакомом ему белом свитере с античной камеей на золотой цепочке, в узкой серой юбке. Красивы и крепки были ноги Любови Николаевны.

– Я полагаю, – сказал Михаил Никифорович, – вы знаете о кончине Валентина Федоровича Зотова.

– Да, – сказала Любовь Николаевна, – я была на похоронах и поминках.

Михаил Никифорович взглянул на Любовь Николаевну. Шутит она или говорит всерьез? Не сообщит ли следом, что приносила цветы на могилу Валентина Федоровича?

– Нет, я не приносила цветы, – сказала Любовь Николаевна. – Здесь совсем иной случай, нежели с вашей матушкой.

– Полагаю также, – сказал Михаил Никифорович после некоторого молчания, – вам известно, что Валентин Федорович завещал свой пай мне.

– Этот пай уже ваш, – кивнула Любовь Николаевна. – Завещание вступило в силу три дня назад.

Михаил Никифорович встал, подошел к окну, постоял, вернулся к письменному столу, сел.

– Вы ведь обещали, – сказал он, – что без меня в Останкине плохого не случится. Я вам поверил.

– Я виновата, – сказала Любовь Николаевна. – И не виновата.

– Вы могли предотвратить гибель Валентина Федоровича?

– Не знаю, – покачала головой Любовь Николаевна. – Наверное, и не смогла бы.

– Но вы и не пытались препятствовать его гибели?

– Да, – сказала Любовь Николаевна. – И не препятствовала.

– Какие на то были причины?

– Посчитайте причиной мою беспечность. Пусть это вас обрадует и успокоит. Или мою безалаберность. Или…

– А почему вы не смогли бы предотвратить гибель дяди Вали, если бы попытались предотвратить?

– Возникло многое, – сказала Любовь Николаевна, – чем я не могу управлять. И произошло стечение обстоятельств, созданных не мной… И не только мной. Предположим, и вами тоже.

– Любовь Николаевна, – сказал Михаил Никифорович, – вы были искренни и честны со мной, когда говорили, что находитесь на краю обрыва, что вам страшно? Или вы тогда желали с какой-то целью разжалобить меня?

– Михаил Никифорович, – надменно произнесла Любовь Николаевна, – вы теперь располагаете силой в три рубля восемьдесят четыре копейки, а потому я обязана выслушивать любые ваши выражения.

– Достаточно ли этой силы в три рубля восемьдесят четыре копейки, – сказал Михаил Никифорович, стараясь сдержать себя, – чтобы вы навсегда исчезли из Останкина?

– Нет, – сказала Любовь Николаевна, – этой силы недостаточно.

– Но вы остались на краю обрыва или вам вышло облегчение?

– Сегодня я вам не скажу об этом.

– А новые разговоры между нами могут и не случиться.

– Воля ваша, коли так, – улыбнулась Любовь Николаевна, но с некой грустной загадочностью, будто приоткрывая дверь в дальние тайны. – Вы сами себе причините боль. Как знать, может, и не будет у вас иной суженой.

– Наверное, мне станет больно и плохо, – сказал Михаил Никифорович. – Однако сад должен быть. И сад должен цвести.

– Какой именно сад? – спросила Любовь Николаевна.

– Вы знаете какой!

– Да, я знаю, какой сад вы имеете в виду, – опять с грустной

загадочностью улыбнулась Любовь Николаевна. – Но есть ли в действительности такой сад?

– Должен быть! И должен быть всегда!

– Вы зря кричите, Михаил Никифорович. Я вас слышу. И вы полагаете, что я в этом саду лишняя? И еще вы согласились с тем, что вам может стать плохо и больно, если я исчезну. А вы не думаете о том, что и мне может быть плохо и больно?

– Я думал об этом, – сказал Михаил Никифорович.

– И к чему же вы пришли?

– Тому, что пожелает совершить Шубников, или похожий на него, или я, если я забуду о чести и меня захватит низкое, вы имеете возможность помешать?

– Нет, – сказала Любовь Николаевна. – Не имею. У Шубникова пай, обеспеченный рублем и тридцатью шестью копейками. Он обладает правом желать.

– Вы все же намерены сейчас разозлить меня. Или вы даже издеваетесь надо мной, зная, что избавиться от вас мы не можем.

– А вы хотите избавиться от меня? – рассмеялась Любовь Николаевна.

– Да! – воскликнул Михаил Никифорович. – Да!

– Эко вам не терпится избавиться-то! Ну вот и избавьтесь. Ведь сделать это проще простого.

– То есть как? – растерялся Михаил Никифорович.

– Раньше не возникало нужды говорить об этом. А теперь я скажу. Если вы, конечно, хотите знать. Вы не спешите. Вы подумайте, надо ли вам знать.

– Я хочу знать, – угрюмо произнес Михаил Никифорович.

– Коли хотите, то и знайте. Проще простого. Вон те цветы на подоконнике. Фиалки. Вами ухоженные и политые. Горшки разбейте, землю выбросьте, а растения с цветами, листьями, стеблями и корнями разрежьте, разрубите, сожгите над газовой плитой, пепел пустите по ветру с балкона, и меня в Останкине не будет. Проще простого. Все в мире хрупко и тоньше шелковой нити. Другое дело, что никто иной в Останкине, кроме вас, действие это произвести не может. А вы особенный и единственный. У вас и пай в три рубля восемьдесят четыре копейки, и вы открывали бутылку. И вы… вы для меня… Но – неважно…

Михаил Никифорович сидел молча. Не лукавила ли, не смеялась ли над ним теперь Любовь Николаевна?

– Вы попробуйте, попробуйте, Михаил Никифорович! И горшки с цветами рядом. Две-три минуты – и все. Кровь не прольется, не бойтесь.

Просто вы меня более не увидите. Только не думайте, что без меня вам будет легче.

– Вы совсем исчезнете? – волнуясь, спросил Михаил Никифорович.

– Хоть бы и совсем! – Любовь Николаевна смеялась. – Вам-то какая забота? Что вам моя жизнь и боль? А уж если вы на что-то оглядываетесь, то посчитайте себе в облегчение, что я лишь отсюда исчезну, а где-то буду. Буду. Пусть и ощущу мелкие неприятности вроде разбитого корыта, испорченной карьеры и прочего. Посчитайте так.

– Вы не вводите меня в заблуждение? – спросил Михаил Никифорович. – Не дразните меня намеренно?

– А хоть бы и дразнила! Вас, выходит, надо раздразнить, разозлить, чтобы вы решились на столь малое дело?

– Это дело не малое.

– Пусть будет для вас малым. Или мелким. А потом вы про все забудете.

– Вы будто готовы принести себя в жертву…

– Не держите это в голове. Чтобы меня извести совсем, надо не только наши с вами фиалки сжечь и развеять, но и истребить еще многое. Скажем, клен в переулке на Сретенке, бузину в низине у деревни Семешки, а вы о такой деревне и не знаете, желтые кувшинки в речке Кашинке да и множество чего другого, зеленого, красного, белого, пахучего, живого, до чего вам и не дотянуться! А потому и посчитайте, что у вас есть оправдания и облегчения.

– Останкину сейчас не нужны оправдания и облегчения, – сказал Михаил Никифорович.

– Вот вы и заговорили не о своем, а об общем. И думайте об общем. А своего для вас будто и нет. И тем более моего.

Теперь Михаил Никифорович был убежден, что Любовь Николаевна куражится, в интонациях ее он угадывал уже знакомые ему бесстыжесть и наглость, без сомнения, накануне его отъезда в Ельховку она приходила к нему пусть и искренне опечаленная, подавленная усталостью (но усталость ее могла быть вызвана и тяжким или недостаточно стремительным ходом ее дел, возможно, именно карьерных, отсюда и ощущение обрыва), приходила, чтобы разжалобить, ослабить его, ей нужен был ослабленный, размягченный держатель наиболее основательного пая, сейчас же она смеялась над ним, наивным останкинским жителем, недотепой, возомнившим, что он обязан стать избавителем и защитником.

– А ведь я поверил вам, Любовь Николаевна, – горько сказал Михаил Никифорович. – Ведь я… – Он встал.

– Все, о чем стоило объявить, я вам объявила, – сказала Любовь Николаевна, из глаз ее исходило сияние, оно казалось Михаилу Никифоровичу зловещим. – И вы уж не тяните, а то ведь опять ничего не совершите.

– Действительно ли то, что вам раньше подчинялось, стало теперь не управляемым вами? – спросил Михаил Никифорович.

– Да, есть и такое, – сказала Любовь Николаевна. – Но оно – в вас, а не во мне.

«В нас, в нас, конечно, в нас! – подумал Михаил Никифорович. – Но чтобы разобраться во всем, прежде надо отогнать от нас подалее эту огненную коварную змею!»

Любовь Николаевна расхохоталась торжествующе, будто бы счастливо и так, что дом Михаила Никифоровича должен был рухнуть от ударов звуковых волн. Но дом устоял.

– Назовите меня еще и гулящей! – все еще с сиянием в глазах сказала Любовь Николаевна. – Или хотя бы вспомните снова Манон Леско. И вам будет легче принять решение.

– Я уже принял решение, – сказал Михаил Никифорович.

– Наконец-то, – стала серьезной Любовь Николаевна. – Впрочем, я сомневаюсь, выполните ли вы его.

– Я выполню его.

Любовь Николаевна пристально и долго смотрела на Михаила Никифоровича.

– Раз так, у меня к вам просьба, – сказала она. – Исполните свое решение через час. Дайте мне еще час побыть с Москвой.

– У вас есть час, – кивнул Михаил Никифорович.

– Ну вот и все, – сказала Любовь Николаевна. – И все.

И тогда она поднялась, шагнула к Михаилу Никифоровичу, протянула руку и опять, как десять дней назад, стала горячей ладонью гладить его щеку и волосы, ни оттолкнуть ее, ни отступить от нее Михаил Никифорович не мог, его втягивали в себя глаза прекрасной женщины, в них была боль, затравленность, пропасть, в них была нежность, была верность, была жалость, возможно, к нему, Михаилу Никифоровичу, и к самой себе, в них было прощание.

– Вот и все.

Любовь Николаевна повернулась и летяще пошла к двери. Застывший было Михаил Никифорович не сразу, но бросился за ней в коридор, кричал:

– Погодите, Любовь Николаевна, постойте!

– Оставьте меня, Михаил Никифорович, – властно сказала Любовь Николаевна. – У меня лишь час московского времени.

Уже переступив порог квартиры Михаила Никифоровича, она снова насмешницей остановила его словами:

– Спалите, спалите фиалки-то! Пустяшное дело! Но, может, у вас и не выйдет ничего! Может, я просто дурачила вас!

Захлопнулась, закрылась дверь за Любовью Николаевной.

*****

Шубников ходил, ходил вдоль забора детского сада, а потом взял и ударил ребром ладони по серому шершавому столбу. Тут же повалилось бетонное прясло, уставившись железными костями арматуры в сметанно-белесое небо. Впрочем, мгновенное падение прясла не произвело никакого впечатления ни на наглецов детей, ни на их беспечных воспитателей, ни на прохожих. Мардарий заскрежетал в Шубникове, стал исходить слюной: «Давай же! Давай! Вон с той девки-воспитательницы начнем! Прыгай же через забор! Прыгай!» Деспотические указания Мардария рассердили Шубникова. Он и сам был готов начать, и он присмотрел воспитательницу в красной куртке, крашеную блондинку, худущую, манившую длинной шеей, однако теперь ему захотелось Мардария томить и мучить. «Э нет, погоди, дай насладиться ожиданием, а пока мы с тобой сходим в сквер, посидим на лавочке и обсудим борение дионисийского и аполлонийского начал в живом». Мардарий застонал. Но не сам ли он днями раньше умолял Шубникова вести с ним глубокомысленные беседы, не сам ли он навязывал дискуссию со взаимными оскорблениями о ранней писанине соблазненного в кёльнском доме развлечений: о беззаконии жизни, о том, что жизнь терпима лишь как представление, о трагедии и музыке? Занятого назидательным разговором с Мардарием Шубникова уже на тротуаре улицы Королева толкнули два заезжих из провинции бездельника и грубо обругали. «Это что же!» – возмутился Шубников, а Мардарий в нем чуть ли не заплакал. Заезжие оскорбители моментально были отправлены Шубниковым – один в Ямполь Винницкой области, другой в Шумерлю – и там оба разжалованы в смотрители ночных общественных туалетов. Шубников нахмурился. Неужели он для всех никто? Неужели каждый проходящий мимо дурак может его толкнуть? Следовало сейчас же всех

вокруг приструнить и припугнуть. И всерьез. Шубников распорядился перенести на Останкинский пруд грозный корабль, приказав объявить на нем по дороге боевую тревогу, расчехлить орудия, а боцманам высвистать всех наверх. Поначалу Шубников вытребовал авианосец «Саратогу», но выяснилось, что пруд тому будет тесен, и тогда доставили от причалов военно-морской базы Форталеза знаменитый линкор «Ду Насименту» под зелено-желтым бразильским флагом. Оказавшиеся вблизи Останкинской башни, по-прежнему недомогавшей, офицеры и матросы, все больше с кофейными лицами, смотрели на новые для них виды с удивлением и испугом, однако были готовы выполнить боевую задачу. Орудия главного калибра по приказанию были наведены на дома номер пять и номер семь по улице Королева, за которыми и скрывался волновавший душу Шубникова детский сад. «Пусть жизнь и представление, пусть, – говорил Шубников с Мардарием. – Главное, кто в этом представлении зритель, и кто постановщик, и кто безымянный и обреченный статист!» В одном из домов, закрывших детский сад, проживал Михаил Никифорович Стрельцов, и это чрезвычайно устраивало Шубникова, впрочем, гнусный аптекарь мог сидеть и в своей аптеке за Садовым кольцом, километрах в пяти от линкора «Ду Насименту», и Шубников на всякий случай приказал навести орудие главного калибра и на дом с аптекой. «Нет, не так! Мы же не так их хотели!» – взвыл Мардарий, загремел, задрожал. «Погоди! Не вой! – осадил его Шубников. – Разнесут два дома. А детей мы и сами!» Но он все не мог забыть о двух заезжих подлецах, оскорбивших его, и ему снова хотелось вознестись, возвеличиться, зависнуть в черноте величия над мячом футбольным, тыквой поганой, яйцом страусиным, на котором были бы уже неразличимы ни Ямполи, ни Шумерли, ни вонючее Останкино.

…Обещанный Любови Николаевне час Михаил Никифорович провел в нетерпении. Откуда взялись в нем ярость и желание уничтожить все, связанное со случайной жительницей его квартиры? Будто бы внушили ему ярость и нетерпение. Сейчас же Михаилу Никифоровичу Любовь Николаевна без всяких сомнений представлялась во всем виноватой, именно ехидной, злокозненной, коварной змеей, бесстыжей, блудливой негодяйкой, всегда игравшей с ним ради своего или чужого удовольствия ли, опыта ли. Какую верность и какую нежность мог он углядеть в ее глазах, какую боль, какую пропасть, какую горькую судьбу? Обман и игра стыли в ее глазах! Она была чужая для Останкина, для Земли. И когда минутная и секундная стрелки доползли, добрались до определенной обещанием черты, Михаил Никифорович чуть ли не кинулся к подоконникам. Он в ярости, в исступлении громил горшки, сбрасывал с

балкона красно-рыжие черепки, жирную черную землю, бил по балконной ограде зажатыми в руке растениями, чтобы отрясти с корней последние прилипшие землинки. Но когда он отнес на кухню освобожденные от земли, смятые им растения, он словно бы опомнился. Что он делает? Какие глупости он творит! Не стал ли он орудием в чьих-то руках? И все же он положил фиалки на перевернутую на газовой плите сковородку, будто водворил их на эшафот, и взял коробку спичек. Но не бумага лежала перед ним и не картон. Перед ним лежало живое. Он ощутил, каким мучительным и долгим выйдет убиение и умирание живого, он как будто бы увидел растения, истекающие зелеными слезами и зеленой кровью. Он не мог убить их. Но три куста фиалок сами мгновенно высохли, уменьшились, замерли, будто бы десятилетия лежали придавленными в потайном гербарии. Жестко-сухие, они, казалось, могли рассыпаться от прикосновения. Превращение растений было истолковано Михаилом Никифоровичем как требование сдержать слово, исполнить принятое им решение. Он зажег спичку, высохшие цветы, вздрогнув, вспыхнули и быстро стали пеплом. Михаил Никифорович отнес сковороду на балкон и тихо сдунул пепел на яблоневые деревья.

*****

«Пойдем! Пойдем к ним!» – торопил, тянул, нудил Мардарий. Шубников же, пожелавший возвеличиться и вознестись над Землей, почувствовал вдруг, что сила из него уходит. Похолодевший от испуга, от догадки, он приказал линкору немедленно открыть огонь по домам номер пять и номер семь. Возможно, его не расслышали. Шубников вскочил и, распахивая ватник, закричал, срывая голос: «Пли!» Однако орудия линкора «Ду Насименту» залп не произвели.

Михаил Никифорович сидел удрученный. Никаких изменений в Останкине не ощущал. И, возбуждая в себе надежду, он стал предполагать, что, возможно, Любовь Николаевна опять пошутила, провела его, заставила заняться глупым делом – погромом глиняных горшков и сжиганием комнатных растений, и сейчас она объявится и он услышит ее иронический смех. Михаил Никифорович был готов услышать ее смех. Он жаждал его.

Но в тот день в Останкине никто не смеялся.

Звук, услышанный всеми, возник, но это был не смех. Будто бы все птицы, какие обитали в европейской части России, не приняв к себе грачей и ворон, сбились над Останкином, собрались улететь куда-то и сообщили нам об этом секундным криком, или клекотом, или курлыканьем. И был стон, уже не птичий, томительный, от него многим стало тоскливо. Потом раздался треск, и на глазах у очевидцев в небе возникла брешь, недолго, правда, темневшая. Всюду, даже и на кухнях при жарений рыбы мерлузы, был ощутим в Останкине запах лесных трав и цветов. И встали над Останкином живые цветные полосы, это была не радуга, а нечто светоносное, мерцающее.

Оно быстро исчезло.

57

Долго шли дожди.

Их тягучесть и бесконечность объяснялись по-разному. Мнение старухи Гладышевой не совпадало с метеорологическим мнением башни, потихоньку оправившейся. Гладышева в очередях, имея в руках авоськи, утверждала, что льет из-за бреши в небе. Что временная жиличка их дома, надо признать, прописанная законно, была так здорова и, видно, сердита, что при отлете вышибла в небе дверь или окно или люк отверзла, починить никто не в силах, оттого и льет. Суждение старухи Гладышевой оспаривалось здесь же в очереди, при этом следовали ссылки на космические испытания, на загрязнение воздуха промышленными дымами, на слухи об углекислом лете, но Гладышева стояла на своем. А когда лить перестало, а потом и стекла с неба сметана, старуха Гладышева обрадованно заявила: «Заросло! Само заросло!» Впрочем, все это, казалось, мало кого уже волновало. Что было держать в памяти Любовь Николаевну Кашинцеву и какие-то события, хотя бы и удивительные, но уже состоявшиеся? Пусть этими событиями занимаются историки в грядущих столетиях, если захватят их в невода своих курсовых или даже аспирантских работ, а нам-то самим лишь бы поспеть за мелькающими днями! Тем более впереди светились очередные невиданные великие сражения гигантов новоиндийской защиты!

Неосведомленные люди из дальних московских захолустий, рассеянные провинциалы еще приезжали на улицу Цандера, имея в виду обнаружить здесь Палату Останкинских Польз. И, конечно, бывали чрезвычайно удивлены и раздосадованы, не найдя Палаты. Жалкие же вывески «Пункт проката» украшали и их края и земли. На улице Цандера за словами «Пункт проката» не скрывалось теперь никаких тайн и волшебств. Предлагались все те же детские коляски, туристские палатки, весла для байдарок, альпенштоки, пылесосы (но без взрывных устройств), ксилофоны с пластмассовым звуком. Директор пункта проката Ладошин, по-прежнему жизнелюб, но иногда застывавший будто бы в философствованиях о чем-то, вынужден был объяснять, что с перечнем услуг у них минусово. По сведениям знатоков, отгремевший директор Голушкин утек, удалился снова то ли в судебные эксперты, то ли в гардеробщики, скис, запил, пил тяжело, запираясь на два замка и цепочку, но пил не в одиночестве, а с портретами. В пункте проката на Цандера

было теперь тихо, шестеро работников скучали. Постройки так называемой Палаты, в частности и на улице Кондратюка, не исчезли, остались подарком Москве, но прокату они теперь не принадлежали, были переданы кому положено. Так, знаменитый когда-то депозитарий имени Третьяковской галереи, угодивший в список архитектурных побед, стал складом турецких Табаков. Но и сейчас иногда сухую тишину пункта проката взрывали скандалисты. Поначалу же к двухэтажному строению на улице Цандера являлось множество неуравновешенных спорщиков, можно сказать, что и неумных. Были среди них и иностранцы, эти – без понятия. Известно, из-за чего они скандалили и канючили. Требовали от Палаты исполнения услуг, трясли квитанциями об оплате. Когда же до них доходило (не до всех, нет, не до всех!), что Палаты нет, лопнула, сгинула, унеслась в тартарары или ее и вовсе не было, они из упрямства, из жадности, по глупости либо исходя из неправильного толкования отдельных статей конституции требовали возврата денег. Службе быта и райисполкому пришлось создать особую комиссию. Все претензии комиссией были признаны необоснованными. Не помогли ссылки на то, что останкинское движение подхвачено, что повсеместно создаются подобные Палаты Польз, а где-то якобы, то ли в Тюмени, то ли в Бобруйске, они уже созданы и оказывают еще более замечательные услуги. Ну и поезжайте, было сказано, то ли в Тюмень, то ли в Бобруйск. Не помогли и ссылки на якобы успешный ход экспедиции парохода «Стефан Баторий», о чем вот-вот должен был рассказать Сенкевич. Стало известно, что пароход «Стефан Баторий» затонул в первые же дни экспедиции при внезапных обстоятельствах и тотчас вместе с экипажем растворился в волжских водах. Спасшиеся же путешественники сколотили плот из молевых шарьинских бревен, назвали плот «Стефаном Баторием» и нашли клад, но вовсе не в Жигулях и не персидскую казну, а на низменном берегу против Юрьевца, и открыли они, как выяснилось при археологических исследованиях, забытое хранилище минеральных удобрений. Посрамленные клиенты в хозяйстве Ладошина более не появлялись, некоторые из них и на самом деле бросились в Тюмень или в Бобруйск. А люди поумнее из имевших с Палатой Останкинских Польз дела помалкивали и на улицу Цандера не лезли. Кому-то не было никакого резона объявлять вслух, о чем они Палату просили. Другие оказались довольны и тем, что успели попользоваться. Протекли, просочились сведения о том, что кое у кого приобретения периода Шубникова не были никем изъяты, то ли забыли о них, то ли посчитали их пустяками. У кого и что, сказать не берусь. Таксист Тарабанько однажды намекнул,

улыбнувшись ласково, что как выдали ему пандейро, так оно при нем и есть. И другие давали понять, что и у них застряли приобретения, какие более не сыщешь, сдавать их в пункт проката они не намерены, тем более что хозяйство Ладошина отреклось от Палаты. Хотя полагали, что Ладошин дурил общество, выступив с отречением, сам же что-то припрятал либо ожидал возвращения сил Шубникову, потому и не уходил с улицы Цандера. Так или иначе остаточные явления недавнего прошлого давали о себе знать. То и дело возникал на останкинских улицах верблюд, ходил, жевал, сплевывал, растворялся в воздухе и снова осуществлялся. Возможно, тоже был брошенный, как чеховский Фирс. По сведениям наблюдательного Тарабанько, подкрепленным шепотом Игоря Борисовича Каштанова, некоторые из переселенных или подселенных душ не пожелали возвратиться в отведенные им естественным ходом бытия тела и теперь где-то гуляли в чужих шкурах или пребывали в неподвижных предметах, металлических, каменных или деревянных. Выявить их и водворить обратно вряд ли бы кто взялся, да и кому это было нужно? Покинутые душами тела, по всей вероятности, без забот носили пиджаки, мундиры, платья и брюки, ущербными не казались, аппетита не теряли, во всяком случае из остальных граждан они ничем не выделялись.

Но об этом в Останкине имели соображения лишь посвященные. Да и то забывая потихоньку о кашинских паях и о Любови Николаевне. Как, по выражению старухи Гладышевой, небо над Москвой само заросло, так заросла для большинства останкинских жителей и история с кашинской бутылкой, массовым гуляньем на улице Королева, Палатой Польз и прочим, прочим.

Впрочем, верны ли были мои предположения? Не знаю. Сам-то я не забывал о Любови Николаевне Кашинцевой. И не мог забыть. Года четыре назад в январе я шел как-то Крымским мостом, сгибаясь от ветра, стараясь уберечь кепку, спешил. Крымский мост был для меня продолжением улицы, но вдруг до меня дошло, что подо мной река и что она бело-серая. Я поразился. Но не тому, что увидел реку, а тому, что мне было совершенно безразлично, как живет в моем городе река, что до случайного прохода по Крымскому мосту мне и в голову не приходили мысли: замерзла Москва-река или по ней бродят пароходы? Камни, асфальты, интерьеры с мебелью, суета выбрали, выключили меня из природы. Я забыл имена многих растений и цветов. Или вообще в камнях города не знал их. Но это как не знать или забыть имена близких. Если помните, я сомневался в Большом Головине, клен передо мной или не клен. Оказываясь за городом, отходя под деревьями от машинно-служебного

дрязга, часами лежа в траве, мог смотреть на лесные и полевые цветы. А потом листал книги, определяя, кто же были мои сегодняшние собеседники или сомолчальники. Выяснялось, что это бархатный спорыш, а это – серый икотник, а это – дубравная вероника, а этот верзила – коровяк холмовой или медвежье ухо… В присутствии Любови Николаевны, что особенно ясно стало теперь, я ощутил нечто, прежде мною не испытанное. Пришло чувство стыда перед всеми травинками оттого, что я отчужден от них. Или даже изменил им. И вдруг это отчуждение стало истаивать, зеленое, цветное, душистое, шелестящее словно бы втягивало меня в себя. Да и камни оживали для меня… И эти мои ощущения были лишь частицами того, что высекла во мне встреча с Любовью Николаевной.

А раз уж я вспомнил о клене… В Большой Головин снова я попал не сразу. А попав, остановился и молчал минут пять. Клен стоял зимний, с голыми ветвями, черный, будто опаленный. Земля под ним была покрыта не умершими еще листьями. Зеленели рядом три дерева. «Что с ним?» – спросил я у женщины, сидевшей на скамье. «Кто знает, – сказала она. – В несколько минут осыпались… Может, потрава какая…» Месяца через полтора я гостил у родственников в Яхроме. За столом в разговоре упомянули огурцы. Жаловались, что огурцов нынче будет мало или их не будет вовсе. Не засолишь, не замаринуешь и так не поешь. Будто бы нашла вредная туча с градом, и листья огурцов, а вышел уже шестой лист, даже и под пленкой моментально пожелтели и скукожились. Нашлись удачники, Рябовы, у них туча не тронула огурцы. Рябовы говорили: ну и что, случается, что вредность из туч выбирает места, вон на склоне Семешкинской горы вся бузина засохла, а рядом растет орешник, ему хоть бы хны. Я отправился в низину между Красным поселком и Семешками и расстроился. Заросли бузины, государство счастливых игр детства, были черными. В кривых сплетениях измученных, будто бы сопротивлявшихся ветвей виделись обида и безнадежность. Съездить в Кашин в те дни я не мог, но думаю, что и там я бы застал речку Кашинку мрачной и уж, конечно, без желтых кувшинок. Я не стал рассказывать Михаилу Никифоровичу о зарослях на Семешкинской горе, Головин переулок он мог посетить и сам…

Перечитывая сочинение Вельтмана «Светославич, вражий питомец», написанное Александром Фомичом полтора столетия назад, я наткнулся на выражения о пришельцах и мимошельцах. А может, Любовь Николаевна была Мимошелицей? Нет, она не была Мимошелицей. Впрочем, это уже шла игра в слова. Кто она? Что она? Откуда я знаю. Важнее для меня выходило то, что история с ней оставалась укором. Ведь на самом деле,

она, явившись, приглашала нас если не к совершенству, то хотя бы к лучшему, призывала преодолеть в себе нечто, противоречащее званию человека. А мы старались избавиться от нее, от ее напряжений. Не напрасно ли? Порой казалось, что и напрасно. Желал ли я теперь ее возвращения? Не знаю. Могло бы все опять пойти сначала, и опять мы стали бы требовать избавления от Любови Николаевны Кашинцевой. Не раз я думал теперь о светоносности (или лучезарности?) Любови Николаевны, хотя как будто бы лучезарность эту я в особенности ощутил лишь в день исчезновения. «Лучезарность-то лучезарностью, – осаживал я себя, – а Бурлакина и дяди Вали нет». Да, Бурлакина и Валентина Федоровича Зотова нет… Но рядом с Бурлакиным и дядей Валей были мы, а не одна лишь Любовь Николаевна. И не заплатила ли она своим уходом, исчезновением, отлетом, кленом опаленным, замершими кустами бузины за все, что случилось в Останкине с нею и с нами? Не с горечью ли решилась она на свой отлет? Но и об этом можно лишь гадать. В воспоминаниях моих Любовь Николаевна существовала только живой женщиной, и никем другим, а женщина, какая бы она ни была, вызывала среди прочих чувств у меня и чувство вины перед ней, и сейчас я ощущал себя виноватым перед Любовью Николаевной. Но опять, опять приходило: а Бурлакина и дяди Вали нет…

С Михаилом Никифоровичем я виделся. Но не часто. Выглядел Михаил Никифорович удрученным, почти не улыбался. Я спросил однажды, как его гепатит. Гепатит Михаила Никифоровича беспокоил. Бумаги, в которых сталкивались мнения по поводу присуждения ему пенсии, осели где-то и затаились. Михаил Никифорович не побуждал их к жизни и к канцелярскому движению, но и не отзывал свои просьбы. Пусть лежат в чужих столах, вдруг возьмут и сами поплывут. К тому же он ощутил несомненное действие ельховских трав из сборов матери и уверил себя в том, что они совершенно излечат его. Стало быть, не боли и не тошноты удручали Михаила Никифоровича в первую очередь. Надо полагать, и не его аптечные дела. Особенности жизни и денежной оценки трудов медиков по-прежнему вынуждали его по совместительству работать в двух аптеках. Но это его не тяготило. Напротив, он был готов вовсе лишить себя праздных времяпрепровождений. Увлекаясь, рассказывал мне о своих неближних поездках к одиноким, немощным ветеранам с лекарствами в руках, хотя порой хворым или увечным людям, опекаемым Михаилом Никифоровичем, требовались и не лекарства, а простой разговор. Иным своим собеседникам он завозил и продукты. «Не надоест ли тебе твоя благотворительная деятельность? – поинтересовался я. – Не

принуждаешь ли ты себя к подвижничеству?» «Нет, – сказал Михаил Никифорович. – Жалко одиноких… И есть интересные мужики…» Не одиноким ли был теперь сам Михаил Никифорович? Не к одиночеству ли приговорила его Любовь Николаевна? Однажды он мне признался (а и поводов к тому в разговоре не было), что, видно, стал старым, скучает в компаниях с развлечениями и не может выбить клин клином. Сразу же он замолчал и тяжело закурил. Я хотел было выразить сомнения о старости в сорок лет, да и на вид Михаил Никифорович был вовсе не генерал Крутицкий, но не произнес слов.

Теперь Михаил Никифорович принимал Любовь Николаевну такой, какой она была, не выделяя в ней ни изъянов, ни совершенств. Просто она была женщиной, без которой он тосковал. И он помнил (убедив себя, что так и было) о том, что она сама будто бы коварством, лицедейством, бесстыжестью, в действительности же – истинно страдая, сама подтолкнула, подвела его к решению, а потом и освободила его от необходимости резать, толочь, сжигать живое! Каково при этом было ей? И ведь ждала, ждала она от него свершений, гордых, высоких, бесстрашных, одно лишь старосветское совместное проживание с любовью к супам харчо и цветной капусте, жаренной в сухарях, конечно, не могло удержать Любовь Николаевну в его доме. Однако, как и я, Михаил Никифорович помнил и о том, что нет Бурлакина и нет дяди Вали…

Как-то (мы держали тогда в руках кружки пива) мрачный водитель Коля Лапшин, рубивший теперь капусту тесаком, предложил скинуться на бутылку, вдруг опять выпадет кашинская. «Давай! – подтолкнул он локтем Михаила Никифоровича. – Ты везучий!» Мышца задергалась над правой ноздрей Михаила Никифоровича, он поставил кружку на стол, хмуро взглянул на Лапшина и вышел на улицу. «Дурак ты, Коля! – сказал летчик Герман Молодцов. – И даже хуже дурака!» Лапшин не понял, обратился с предложением к Каштанову. «Пошел вон!» – сказал Игорь Борисович Лапшину.

Игорь Борисович Каштанов вернулся к деятельности строительного рабочего. О том, что он был когда-то словесным помощником, чародеем рекламы, литератором, доверенным биографом, издателем, педагогом в классе альбомного стихосложения, он, похоже, не помнил. Да и зачем ему было помнить об этом? Он до того устал от букв и типографских знаков, что не читал более ни книг, ни газет. Старался Каштанов не думать о том, что с долгами-то он расплатился во времена кашинского пая и как бы те деньги не были признаны ложными. Снова видели его в обществе известной в Останкине покорительницы сердец Панякиной, случалось, что

Игорь Борисович, как в былые дни, стоял перед дочерью сандомирского воеводы на коленях, пил из ее туфли либо «Акстафу» либо «Агдам» и потом по какой-то неустранимой и роковой традиции получал пощечину. Инженер Лесков снова интересовался, не слишком ли стоптана и нечиста обувь дамы, на что Каштанов гордо отвечал: «Мужланы! Здесь высшая трагедия! Вам не понять! Этот узел ни развязать, ни разрубить!» А в общем, Игорь Борисович вел жизнь смирную, благонравную и не вызывал нареканий административных органов.

Сентиментальные чувства пробуждала в Останкине открывшаяся в Каштанове любовь к лошади. У иных наблюдавших, как Игорь Борисович расчесывает лошади гриву или выковыривает из-под подков сезонную городскую грязь, влажнели глаза. Хозяин гаража, где квартировала лошадь, уехал на пять лет в Бангладеш, доверив Каштанову надзор за помещением. И гараж стоял удивительно чистый, здоровый. В нем поселилась и собака Валентина Федоровича Зотова. Все были убеждены, что собака не переживет дядю Валю. Но она пережила. Лошадь как могла опекала осиротевшее животное. Лошадь и собака словно бы не имели кличек, все их называли – лошадь Каштанова и собака дяди Вали. Умная собака часами сидела у гаража, смотрела на мир открытыми глазами, возможно, желала рассказать свою историю и историю дяди Вали, но не могла. О слиянии чувств лошади, собаки и Игоря Борисовича Каштанова узнали в городе, они втроем стали достопримечательностью Останкина (в особенности после воспитательных публикаций писателя Мысловатого), смотреть на Каштанова с животными привозили детей.

Не раз являлся на улицу Кондратюка созерцать лошадь и собаку Петр Иванович Дробный. Дробный ставил красную «тоёту» на Цандера у районной поликлиники и проходил во двор Каштанова. Во дворе под яблонями и вишнями стараниями дяди Вали когда-то были поставлены лавочки. Дробный созерцал иногда стоя, иногда сидя на лавочке, иногда и опустив веки, и куда длительнее, чем на Сретенском бульваре. Будто бы Петр Иванович и не обращал теперь внимания на ход делового времени. Однажды Дробный, возвращаясь сознанием или духом в гвалт и спешку Москвы, стал говорить Михаилу Никифоровичу о непостижимости жизни и о том, что лишь созерцанием можно совместить себя с великим и непостижимым, достичь – хоть в немногом – очищения, возвышения духа, сотворить – хоть ненадолго – в себе гармонию души, совершенно невозможную в мгновения, когда тебя обдает грязью трамвай или когда к тебе проявляет интерес автоинспекция. При этом Дробный полагал, что созерцание и недеяние и есть наилучшее состояние человека, деяниями же

своими он может лишь все испортить в мире. Однако Михаил Никифорович не мог не сказать, что житейская практика Петра Ивановича отчасти противоречит его положениям. «Да, да! – горестно согласился Дробный. – Да!» Это какому-нибудь Ван Вэю можно было удалиться к горам, водам и туманам и там лишь созерцать, а нам-то каково? Нам-то приходится крутиться! Крутиться! Крутиться! Впрочем, мясные ряды Дробный оставил, каскадером на студии Горького лишь прирабатывал, искал нового приложения сил. К тому же натура его еще не остыла, еще полностью не была готова к сплошному созерцанию. И было дано понять Михаилу Никифоровичу, отчего Дробный вдруг разоткровенничался перед ним: в надежде на откровенность Михаила Никифоровича. Не будет ли третьего пришествия известной особы? Не восстановится ли Палата Останкинских Польз? Устал Дробный в делах на улице Цандера, однако жалел, жалел, что дела эти оборвались. Но что мог сказать Дробному Михаил Никифорович? Ничего.

А вот доктор Шполянов нисколько не жалел о прекращении останкинских приключений. И вовсе о них ничего не помнил. Однажды я бестактно поинтересовался у Шполянова, отдыхавшего после операций, весело ли было ему гулять наемным котом или утомительно. «Каким наемным котом? – удивился Шполянов. – Бред какой-то! С чего бы вдруг – наемным котом?» И он задремал в кресле.

Дважды гостьей побывала в квартире Михаила Никифоровича его бывшая жена Тамара Семеновна, произведенная теперь в заведующие учебной частью специальной, с юго-восточными языками, школы. Приезжала Тамара Семеновна и просто так и с какой-то целью, ей не совсем ясной. Но, чуткая женщина, она сразу поняла состояние Михаила Никифоровича и призывать его ни к чему не стала. Что-то в ней то ли перегорело, то ли остыло. Временами, когда она тихо задумывалась, Михаилу Никифоровичу казалось, что ей не в завучи предстоит идти, а в монахини. Однако шла она в завучи, и, по ее словам, с охотой. О чем-то желала спросить она, может, как и Дробный, узнать, не случится ли в Останкине возобновление… Но не спросила. Расстались Михаил Никифорович с Тамарой Семеновной дружелюбно, пообещав иногда звонить друг другу.

Из ответственного и долгого отсутствия вернулся в общество Анатолий Сергеевич Серов. Оказалось, что когда произошло преобразование пункта проката в Палату Останкинских Польз, Серов незамедлительно вызвался читать лекции на дальних приисках Колымы и Чукотки. Да и на Аляску и в фактории на берегу Гудзонова залива поехал

бы Серов, если бы его командировочное удостоверение и суточные смогли произвести впечатление на Аляске и в Гудзоновом заливе. До того все, что происходило в Останкине, начало противоречить научным знаниям Серова, гранитам и базальтам его основ. Временами Серов звонил жене, выждал на всякий случай полгода после исчезновения Любови Николаевны и вот теперь смог прекратить чтения в долине Индигирки. Выглядел Серов полярником, доставленным со льдины Папанина, его радостно обнимали, хлопали по плечам, всем окончательно стало ясно, что раз Серов возвратился, колебать краеугольные камни в Останкине никто более не будет. А когда Серов остановился возле Филимона Грачева, тот ткнул в грудь Серова пальцем и радостно заявил: «Шиктрюмод!»

Филимон в последние месяцы никак не мог приостановить свое культурное развитие. А оно уже стало мешать его занятиям гиревым спортом, отчего возникали перекосы в общем движении гармонической личности. Филимон уговорил было себя отдохнуть от книг и умственных упражнений, но тут сначала в газетах, а потом и в телевизионных выпусках сообщили о замечательном турецком кроссворде. Кроссворд был разложен создателями на полу общественного здания в Анкаре и занял там шестьдесят квадратных метров паркета. Вопросы к кроссворду издали девятью предъявленными зрителям томами. Филимон Грачев не сомневался, что со своим багажом он одолеет и турецкий кроссворд, не подведет останкинских и в Анкаре. Он был уверен, что рано или поздно попадет в Турцию – либо туристом, либо в делегации работников инструментальной промышленности. Несколько смущало Филимона полное и глухое незнание им турецкого языка. Но каких бастионов не крушили со светочем науки в руках! И Филимон взялся за турецкий язык. Успехи его были блестящи. Однако произошла глупость. Как-то в автомате же на улице Королева у кого-то оказалась многотиражная газета «Московский железнодорожник». Вопросы кроссворда были там дрянные, но к ним прилагалась чужая картинка с клеточками. В типографии перепутали клише, только и всего. Разгадывали кроссворд люди случайные, необразованные, вписывали любые слова, лишь бы заполнить пустоты. Столица Сенегала стала у них Дакарша, балет Хачатуряна – «Трибунал», автор романа «Колеса» – Станюкович. И все равно некоторые клетки остались белыми. Протянули газету Филимону Грачеву. Филимон взглянул на бумагу как мастер, рассеянно, все еще находясь в турецком языке, не оценив Дакарш и Станюковичей, он быстро принялся вписывать в клеточки буквы, но, увидя возникшее слово «шиктрюмод», остолбенел. «Шиктрюмод» соответствовал вопросу о выборном или назначенном

представителе. Ни на кого не глядя, повторяя: «Шиктрюмод! Шиктрюмод!» – Филимон удалился из автомата. Он перестал ходить на занятия турецкого языка. Не поднимал более гирь и штангу. Его ум был смущен. Филимон желал освободиться от Шиктрюмода, но не мог. Он хотел бы осознать, ощутить Шиктрюмода как понятие или даже как существо, выяснить с ним отношения, но удач не имел. Шиктрюмод снился Филимону, но и во снах он оказывался неуловимым. Мы уговаривали Филимона нарисовать Шиктрюмода, чтобы тем самым хотя бы поймать его, пригвоздить к бумаге, но всякий раз Шиктрюмод выходил у Филимона неясным и несбыточным, то мешком каким-то вздутым, то скрюченной лапой дракона, то смятым колпаком повара. Способов вызволить Филимона будто бы и не было. И вдруг теперь, ткнув пальцем в грудь Серова, он заявил совершенно осмысленно: «Шиктрюмод!» – и унесся куда-то в воодушевлении. Возможно, к гирям и штанге, возможно, к учебнику турецкого языка. Не важно. Он увидел Шиктрюмода и освободился от него. Услышав от нас об истории с Филимоном Грачевым, о ее благополучном, как представлялось, исходе и о произведении его, Серова, в Шиктрюмоды, Серов не обиделся. Он смеялся. А вот о Шубникове Серов спрашивал с осторожностью.

Но что можно было рассказать о Шубникове? Шубников отдалился от всех. Ходили слухи, что он затеял обмен, ездил в Банный проезд, был якобы согласен и на Лыткарино, но с обменом у него ничего не вышло. В росте Шубников не уменьшился, но согнулся, голову он теперь наклонял и устремлял вперед, будто собирался боднуть кого-то. В разговоры он мало с кем вступал. Порой забредал в автомат, молча выпивал кружку пива и уходил. И на него смотрели молча. Но на Сретенке возле Успения в Печатниках, где Шубников снова продавал на воздухе помидоры и карибские грейпфруты, он шумел. Он громко общался с людьми, делился с ними философскими соображениями, возможно, и не своими, а приобретенными в недавно прочитанных книгах. По необходимости торгового дела он вынужден был обращаться к покупателям, но совершенно отказался от привычных «мужчина» и «женщина», заменив их «братом» и «сестрой». Он произносил с искренним пафосом и так, чтобы его слышали в пиццерии на Рождественском бульваре: «Вот твои помидоры, брат!» Или: «Возьми свои полтора килограмма, сестра!» Хотя сестра годилась ему в прабабки. В Останкине Шубников жил незаметно. Но однажды я столкнулся с ним взглядом, в его глазах был вызов и неутоленная жажда действия. И будто бы огонь вспыхнул в них…

*

Июньским днем я договорился встретиться на Сухаревке по делам со своим приятелем Владимиром Алексеевичем Даниловым. Володя долго жил в Останкине, но три года назад переселился в Лужнецкий переулок. Работа за столом сегодня меня не ждала и, расставшись с приятелем, я стал бродить по Сретенке. Прошел Печатниковым переулком, Колокольниковым, Трубной улицей, поднялся к Сретенке Большим Головиным. И опять был вынужден остановиться в известном мне дворе. Клен не вырубили, чего, по предположениям жильцов, следовало опасаться. А теперь его и не за что было вырубать. На трех ветвях его краснели и багровели листья. И всюду обещали жизнь дереву тугие почки. Клен возрождался в разгар лета. Троллейбусами я добрался до Савеловского вокзала, сел на дмитровскую электричку. Оживала бузина на склонах Семешкинской горы и горы Красного поселка! Вернувшись из Яхромы, на перроне Савеловского вокзала я увидел Михаила Никифоровича. Ожидал он не меня. Михаил Никифорович смутился. И я не знал, что сказать ему. И тут у меня вырвались слова, какие я не намерен был произносить. Я поинтересовался, не завел ли Михаил Никифорович цветы в горшках. Михаил Никифорович посмотрел на меня то ли с подозрением, то ли с испугом, потом улыбнулся растерянно и сказал: да, завел. Оказывается, горшки, землю и отводки Михаил Никифорович приобрел еще прошлой осенью. Но фиалки не жили. Михаил Никифорович менял землю, удобрял ее, покупал отводки на рынках, ездил за цветами в Ботанический сад, а цветы не принимались. И вот позавчера… «Что позавчера?» – перебил я Михаила Никифоровича. Позавчера в одном из трех горшков из черноты пробился зеленый росток. Я старался успокоить себя. О клене в Головине и семешкинских зарослях бузины я не стал говорить Михаилу Никифоровичу, чтобы не обострять в нем ожиданий. А он и сам будто бы тут же забыл о цветах. «Ты чаще меня бываешь в книжных магазинах, – сказал он. – Если тебя не затруднит, посмотри для меня книжки. Обещаны издательством „Медицина“ „Фармакология и фармакотерапия“. В двух томах. Авторы такие – Сатоскар и Бандарнар. Перевод с английского». «Индусы, что ли?» – предположил я. «Наверное», – сказал Михаил Никифорович. Я записал название книги и фамилии авторов. «Домой не едешь?» – спросил я. Нет, Михаил Никифорович ожидал прихода рыбинского поезда. Я отправился в

Останкино.

Месяца через полтора, сойдя с яхромской электрички, я снова увидел Михаила Никифоровича. Шел дождь.

1983-1986

---

notes

1

Сразу же должен сообщить, что события эти происходили, а может быть, и не происходили в Останкине в 1975 году. (Прим. здесь и дальше авт.).

2

Прошу обратить внимание и на то, что сумма собиралась, характерная для воскресного дня именно семьдесят пятого года.

3

Должен заметить, что сам я ни про какого Уриэрте и ни про каких других политиканов из Гондураса не слышал. Возможно, и дядя Валя напрасно сгоряча приписал этого Уриэрте Гондурасу. Но для Валентина Федоровича Уриэрте несомненно существовал.

4

А его там, скорее всего, и не было.

5

Теперь стараются, но не спеша.

6

Автор просит не путать тружеников Института хвостов (которого, может, и вовсе нет в Москве) с уважаемыми врачами, об операциях которых по пересадке сердца, почек и печени все наслышаны. Да и саму важную идею трансплантации жизненно необходимых органов автор, естественно, не ставит под сомнение, напротив…